

Б.Н. Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

Москва сороковых годов

Путешествие за границу







Б. Н. Чичерин. 1870-е гг.

Б.Н. Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

Том 1

Москва сороковых годов

Путешествие за границу

МОСКВА
Издательство им. Сабашниковых
ММХ

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)
Ч72

*Издательство выражает благодарность
Российской государственной библиотеке
за помощь в подготовке настоящего издания*

Под редакцией
Л. Заковоротной
Предисловие, примечания
С. Бахрушин
Рецензенты
А. Жидкова, Г. Любина

Чичерин, Борис Николаевич

Ч72 Воспоминания. В 2-х тт./ Б.Н. Чичерин; предисл., примеч. С. В. Бахрушин. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2010. – с. 496.

ISBN 5-8242-0120-X

Борис Николаевич Чичерин (1828 – 1904), юрист, историк и общественный деятель был свидетелем ключевых моментов российской истории, выступал в роли оппонента или единомышленника многих знаковых фигур своего времени: А. Герцена и Н. Чернышевского, К. Победоносцева и М. Каткова, реформаторов Д. и Н. Милютиных, писателей Льва Толстого, Ивана Тургенева и многих других.

Первый том воспоминаний рассказывает о днях юности, учебы в Московском университете, противостоянии западников и славянофилов в предреформенный период.

ISBN 5-8242-0120-X

© Издательство им. Сабашниковых, 2010

От издательства

Воспоминания Бориса Николаевича Чичерина (1828 – 1904), на глазах которого сменились три царствования (Николай I, Александр II, Александр III), представляют собой в культурно-историческом плане уникальный источник. Общественное положение, образование и круг интересов позволили автору стать участником ключевых моментов российской истории, выступать в роли оппонента или единомышленника почти всех знаковых фигур своего времени: Герцена и Чернышевского, Победоносцева и Каткова, выдающихся реформаторов Д.А. и Н.А. Милютиных, писателей Льва Толстого и Ивана Тургенева и многих других. Он был и очевидцем, и действующим лицом описываемых событий, и при этом обладал необходимой исторической, юридической и философской подготовкой, делающей его в высшей степени квалифицированным исследователем весьма обширного исторического отрезка.

Современники знали и ценили работы Чичерина по истории русского права («Областные учреждения России в XVII в.», 1857; «Опыты по истории русского права», 1859), по вопросам философии и теории государственного права («История политических учений», 1869 – 1877; «Собственность и государство», 1882 – 1883; «Курс государственной науки», 1894 – 1898; «Философия права», 1900), как специалиста по представительным и демократическим учреждениям («Очерки Англии и Франции», 1859; «О народном представительстве», 1869).

Эти фундаментальные труды в момент выхода в свет представляли явление исключительное в русской научной литературе и выдвинули его – по выражению одного из его биографов – «в ряды наиболее выдающихся представителей не только русской, но и общеевропейской мысли». Тонкость и точность юридических формулировок, глубина обобщений, ясность и чистота языка подкупают и сегодня.

При этом Чичерин никогда не был чисто кабинетным мыслителем. Опыт профессорской деятельности в Московском университете, работы в губернских земских учреждениях и Московской городской думе представляют Б.Н. Чичерина как практического деятеля, талантливого педагога, публициста и политика.

Чичерин родился 26 мая 1828 года в семье состоятельного тамбовского помещика, ведущего свой дворянский род со времен царя Василия Ивановича. Окруженный с детства обстановкой утонченной усадебной культуры, Чичерин получил прекрасное домашнее воспитание и 17-ти лет поступил на юридическое отделение Московского университета.

В 1857 г. он защищает диссертацию, и с целью продолжения образования совершает в 1857 – 1861 гг. ряд заграничных поездок, знакомясь с трудами ведущих европейских ученых, уделяя особое внимание вопросам работы представительных органов и демократических учреждений Франции и Англии. В преддверии освобождения крестьян и либеральных реформ 1861 года для России это был ценнейший опыт.

Не случайно в начале 1861 г. он был избран профессором по кафедре государственного права Московского университета и осенью того же года начал чтение лекций. Блестящая научная подготовка и проявившийся педагогический дар послужили тому, что в 1862 г. Чичерин был приглашен читать курс государственного права юному наследнику великому князю Николаю Александровичу. Эти занятия продолжались до самой преждевременной кончины молодого человека в 1866 г.

Чичерин, либерал по взглядам, проповедник законности предлагал программу поэтапного вхождения России в русло конституционной жизни. В Лондоне он встречался с Герценом, и хотя к самому издателю «Колокола» относился сочувственно, яростно критиковал его политическую программу, видя в революционном нигилизме главную опасность для России.

Ближе всего по взглядам он был к окружению великой княгини Елены Павловны, составлявшему своеобразный интеллектуальный центр разрабатываемых реформ, цвет русской культуры, литературы и науки. В одно время с Чичериным постоянными участниками ее кружка были И. С. Аксаков, К. Д. Кавелин, Ю. Ф. Самарин, А. Ф. Кони, И. С. Тургенев.

Университетская деятельность Чичерина оборвалась в 1868 г, когда он демонстративно вышел в отставку вместе с профессорами С. М. Соловьевым, Ф. М. Дмитриевым, И. К. Бабстом, С. А. Рачинским и М. Н. Капустинным вследствие принципиальных расхождений с Советом Московского университета и политикой министерства народного просвещения, возглавляемого с 1866 г. графом Д. А. Толстым. Теперь он мог целиком посвятить себя научной работе, совмещая ее с земской деятельностью в Тамбовской губернии, а позже в Московской городской думе.

Приняв пост московского городского головы в 1881 году, он активно участвовал в работе городского хозяйства, решении административно-правовых вопросов, обновлении законодательной базы городского самоуправления, однако не сошелся с тогдашним московским генерал-губернатором В. А. Долгоруковым. Все более усиливались и его разногласия с К. П. Победоносцевым, хотя изначально их связывали дружеские отношения.

Поклонник «справедливых» реформ Александра II и вместе с тем горячий поборник прав того сословия, к которому он принадлежал, убежденный проповедник законности и борец против революции, в высших сферах Чичерин тем не менее прослыл «красным». Конфликт раздувался подвластной М.Н. Каткову прессой. На обеде городских голов, приуроченном к торжествам по случаю коронации Александра III в 1883 г. в Москве, Чичерин выступил с призывом к «единению всех земских сил для блага отечества». Новой власти, стремившейся всячески обуздать местное самоуправление, призыв показался неуместным. Чичерин вынужден был подать в отставку, в дальнейшем сосредоточившись на научной и литературной работе.

Свойственное его философскому уму стремление к познанию природы вещей вылилось, в частности, в увлечение естественными науками. Он предпринял интереснейшую попытку переосмыслить теорию химических элементов Менделеева и опубликовал ряд статей в «Журнале физико-химического общества» в 1887 – 1892 гг., вышедших отдельной книгой уже по смерти автора в 1911 г. под заглавием «I. Система химических элементов. II. Законы химических элементов».

Свои воспоминания Чичерин писал уже в преклонном возрасте. Но выступает в них как автор страстный, подчас нетерпимый к чужим мнениям, с горячностью юноши переживающий события, в которых участвовал. Личные симпатии и антипатии, сословные пристрастия придают мемуарам яркую публицистичность. И даже не обилие подлинных фактов и документов, приводимых в записках, а именно этот подчас субъективный анализ, раскрывающий мировоззренческую позицию автора, делает его мемуары столь ценными для характеристики как его личности, так и описываемого времени.

Публикуемые воспоминания передают переживания человека переломной эпохи, что делает их созвучными чувствам людей современной России. Многим будет понятен горький оптимизм и мудрость автора, заключенные в его словах, что жизнь «...дает медленным и трудным путем то, что в идеале представляется легко достижимым». Общественный и личный опыт автора, отражая реалии давно ушедшего, демонстрирует, что переживания и чувства, идеалы и разочарования людей в разное время могут совпадать, отражая тем самым единство исторического времени для одной страны.

Подготовке воспоминаний Чичерин посвятил около семи лет жизни (1888 – 1894). В 1902 г. во время пожара в имении Караул рукопись чуть было не сгорела. Автор, спасая ее, получил чувствительные ожоги. Следы пламени и сейчас заметны на тетрадах в зеленом переплете, в которые Чичерин переписал окончательный вариант своих воспоминаний.

Он умер 3 февраля 1904 г.

В апреле 1922 г. племянница ученого, Наталья Аркадьевна Чичерина, заключила договор с издательством М. и С. Сабашниковых об издании мемуаров. В собственность издателей была передана машинописная копия воспоминаний (РГБ. Ф. 261. К. 1. Ед. хр. 48. Л. 2; Ед. хр. 43. Л. 1).

Вся рукопись в копии составляет 1138 страниц, разделенных на 15 глав. Издательство М. и С. Сабашниковых (с 1930-го г. – Кооперативное издательство «Север») готовило в 1928 – 1934 гг. их к печати в 4-х выпусках серии «Записи Прошлого».

В выпуск, озаглавленный «Москва сороковых годов», вошли главы «Приготовление к университету», «Студенческие годы», «Москва и Петербург в последние годы царствования Николая Павловича», «Литературное движение».

Второй выпуск включал в себя главу «Путешествие за границу».

Третий, озаглавленный «Московский университет», включил в себя главы «Вступление на кафедру», «Занятия и путешествие с наследником», «Выход из университета».

Наконец, последний выпуск, озаглавленный «Земство и Московская дума», включал главы «Жизнь в провинции», «Конец царствования Александра Николаевича», «Начало нового царствования», «Служба московским городским головою», «Старость».

При этом главы «Мои родители и их общество» и «Мое детство» оказались вовсе не подготовленными к печати. В наши дни была опубликована лишь часть «Воспоминаний», соответствующая выпуску издательства М. и С. Сабашниковых «Москва сороковых годов»¹.

В настоящее издание включен весь текст, подготовленный в издательстве М. и С. Сабашниковых, а также главы «Мои родители и их общество», «Мое детство». Таким образом мемуары Б.Н. Чичерина станут полностью доступны современному читателю.

При подготовке научно-справочного аппарата книги использованы предисловие, часть примечаний и указателя имен, выполненных непосредственно редактором серии «Записи Прошлого», известным историком С.В. Бахрушиным, который в связи с арестом в 1930 г. не смог довести работу до конца. В ряде случаев нами сделаны необходимые дополнения и уточнения к ним. Кроме этого, к главам, соответствующим выпуску «Москва сороковых годов», воссозданы примечания и подготовлен именной указатель, в свое время так и не напечатанный. Примечания, сделанные автором, обозначены как «Прим. Б.Н. Чичерина».

Орфография и пунктуация подготовленного к печати оригинала сохранены в тех случаях, когда возможен компромисс с современными грамматическими нормами, что позволяет передать историческую характерность текста. В остальном особенности авторской манеры и редакторской работы С. В. Бахрушина оставлены без изменений.

¹ Русское общество 40-50-х гг. XIX в. Часть II. Воспоминания Б.Н. Чичерина. М., МГУ, 1991

Предисловие С.В. Бахрушина

[...]* Б. Н. Чичерин вступил в Московский университет, по его собственному выражению, в «лучшую эпоху московской жизни, эпоху умственного движения сороковых годов, когда всюду, и в литературе, и на университетской кафедре, и в гостиных, кипели умственные интересы и происходили блистательные ристалища славянофилов и западников». Начало его ученой и литературной деятельности охватывает «другую хорошую для Москвы эпоху, время возрождения русского общества... время пылких надежд и зарождающейся (говоря его словами) свободы». В ряде ярких характеристик он рисует людей той эпохи: профессоров и ученых, как Грановский, Кавелин, Соловьев, Забелин, Шевырев, Крылов, Корш, Редкин, Морошкин и другие, литераторов различного направления, как Павлов и его жена, Кетчер, Тургенев, Лев Толстой, Катков, Леонтьев, славянофилы Хомяков, Юрий Самарин, Аксаковы, Киреевские, видных государственных деятелей, как братья Милютины, и тут же он изображает общий фон московской жизни той эпохи и быт ее великосветского общества. В итоге получается цельная картина той переходной эпохи, которая знаменовала собою глубокий кризис, пережитый Россией в середине прошлого столетия – развал крепостнического общества и зарождение на его развалинах общества буржуазного, кризис, нашедший себе выражение в литературном движении 40-х годов и завершившийся реформами 60-х годов.

Мировоззрение Чичерина всецело отразило собою ту бурную эпоху Sturm und Drang, с которой совпали его юношеские годы. Он пережил на себе волну новых запросов, противоречий и исканий, которая охватила тогда все мыслящее русское общество. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина тем и интересны, что с особенной рельефностью рисуют нам глубокую раздвоенность, переживавшуюся передовым представителем того класса, который под напором неизбежной необходимости, должен был отказаться от своего первенства в обществе.

* Данное предисловие С.В. Бахрушина предшествовало выпуску воспоминаний «Москва сороковых годов». Опущенные здесь первый и последние абзацы давали характеристику публикуемых глав в общем корпусе авторского текста.

Среда, из которой вышел Чичерин, была богатая дворянская среда, – «аристократическая», употребляя любимое им слово. «Моя молодость протекла среди старого дворянского быта», – говорит он сам. Он и рисует в первых двух главах своих «Воспоминаний» этот «старый дворянский быт», патриархальный, веселый, изысканно-изящный. Уголок Тамбовской губернии, где протекли годы его детства, в соседстве с «Марой» Боратынских, с «Любичами» Кривцовых, был один из типичных центров дворянской культуры, доживавшей блестящий век накануне своего падения. Усадьбы в европейском вкусе с английскими парками, с павильонами в готическом стиле, гротами, искусственными оврагами, башнями «англо-саксонской архитектуры», оранжереями и теплицами, библиотеками и готическими часовнями, вечные семейные праздники, вечные гости («помещики объезжали весь край, везде гостили по несколько дней, а более близкие по целым неделям»), «разного рода затеи», леса, освещаемые ночью «разноцветными фонарями и бенгальскими огнями», «пиршества» с угощениями и плясками крестьян, и тут же тонкость литературных интересов, блеск и остроумье беседы, самые утонченные плоды умственной культуры – вот те рамки, в которых рос Б. Н. Чичерин. Отец его был представителем новой формации дворянства, не в смысле происхождения (Чичерины вели свой род от времен Василия Шуйского), а в смысле новых хозяйственных устремлений.

Образование Николай Васильевич Чичерин получил более чем скромное. «13 лет он окончил изучение языка у тамбовского семинариста, потом учился в полку, переписывая то, что ему нравилось в книгах, и стараясь отгадывать правила и красоты языка, не имея никого, кто бы мог их ему объяснить». Но природная сметка вывела его на широкий путь. Крупный тамбовский помещик, он в 30-х годах умножил свое состояние промышленной предприимчивостью по винному откупу. В 1834 г. он, говоря словами его сына, «кроме крупной доли в Тамбовском откупе, взял еще Кирсанов; 8 лет он держал эти города; под его непосредственным надзором предприятие шло успешно, и мало-помалу полученные им от отца 300 дес. возросли до 1300». И по политическим своим убеждениям, этот типичный представитель нарождавшейся дворянской буржуазии, выработал себе чисто буржуазные умеренно-либеральные взгляды. В его кабинете висели портреты «освободителей народов» – Вашингтона, Франклина, Каннинга – которые после его смерти вместе с его убеждениями по наследству перешли к его старшему сыну; но, «как русский человек, он понимал положение России, потребность в ней сильной власти. Поэтому он всегда относился к власти с уважением и осторожно... Когда в 50-х годах заговорили о реформах, он вполне признавал их необходимость, но смотрел вперед с некоторым сомнением, опасаясь неизвестного будущего и полного переворота в частной жизни».

В этой обстановке, соединявшей блеск старого дворянского быта, основанного на крепостном праве, с новыми запросами буржуазного хозяйства и буржуазной идеологии, Б. Н. Чичерин рос настоящим барчуком, окруженный заботою и холею. Его не отдавали учиться в училище, и он получил чисто домашнее образование, пользуясь уроками частных учителей. Для подготовки в университет он вместе с братом был отвезен в Москву, где готовился к экзаменам под руководством лучших профессоров университета; на экзамен его, 16-летнего юношу, повез отец. И в университете Чичерин попал в тесную среду дворянской молодежи, образовавшей «аристократический кружок», державшийся особняком, на который несколько косилось остальное студенчество. «Люди с одинаковым воспитанием, – откровенно говорит он по этому поводу, – естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими».

Богатая дворянская среда, в которой родился и воспитывался Б. Н. Чичерин, наложила сложный отпечаток на всю его идеологию. В его «Воспоминаниях» ярко выступает почти наивная идеализация поместного дворянства и наряду с этим высокомерно пренебрежительное отношение к городской буржуазии, к «кущам», о которых он отзывался не иначе, как с какой-то презрительной снисходительностью.

Особенно характерно вырисовывается дворянская окраска Чичерина в его взглядах на дворянские привилегии. Всякий раз, как в самом дворянстве или в правительственных кругах возникал вопрос об уравнивании дворянства в правах с прочими сословиями, в нем вспыхивал полемический задор. Как умный человек, он не мог не согласиться с справедливостью такой меры, но спешил оговориться, что проведению ее в жизнь должно предшествовать коренное переустройство всего государственного порядка. Так высказался он по поводу нового воинского устава Александра II, «когда само московское дворянство... рукоплескало отнятию присвоенных ему дворянскою грамотою прав». «Это была, – пишет он, – отмена основной статьи жалованной дворянской грамоты, которою дворянству на веки веков даровалась свобода от обязательной службы. При разрушении государственного строя, опиравшегося на сословные различия, и водворении на место его порядка, основанного на всеобщей свободе и равенстве, эта льгота рано или поздно, конечно, должна была пасть. Но нежелательно было уничтожение исторически укоренившейся свободы без замены ее другою, высшею. С точки же зрения чисто дворянской, подчинение благородного сословия рекрутчине, наравне с мужиками, шло наперекор всем понятиям о дворянской чести, которые установились в течение столетия».

«Среди самого дворянства выдающиеся люди находили мое направление слишком консервативным», – не без чувства удовлетво-

ренного самолюбия пишет он. Недаром петербургский предводитель дворянства П. П. Шувалов, которому представили Чичерина в качестве «un des rares défenseurs de la noblesse»*, отвечал не без язвительности: «Je trouve que Monsieur nous defend trop»**.

Так, на всем протяжении своих записок Чичерин остается тем, чем он был по происхождению, – дворянином, дворянином умным, просвещенным, далеким от крепостнических вожделений своего соловья, но насквозь проникнутым с детства воспитанными классовыми представлениями и взглядами.

Из дворянской же среды вынес Чичерин и глубокое принципиальное уважение к представителям верховной власти. Еще детьми он и его брат «проникались благоговеньем, когда... (им) говорили, что перед государем и наследником нельзя являться иначе как в коротких белых штанах и шелковых чулках». Позже на смену этим ребяческим впечатлениям пришли другие, более серьезные. Не принадлежа непосредственно к придворному кругу, Чичерин через близкую ему группу родовитой знати рано завязал связи с двором; уже в конце 50-х годов он сблизился с сравнительно демократичным двором великой княгини Елены Павловны; в 1862 г. гр. Строганов, «попечитель» наследника, рано умершего сына Александра II – Николая, привлек его сначала к учебным занятиям с цесаревичем, а затем и в его свиту при путешествии по Западной Европе. К этому молодому человеку, в лице которого Россия, по его словам, «рисковала иметь государя просвещенного», Чичерин испытывал необычное для его сухой души чувство грустной нежности, в котором условное восхищение перед личностью будущего венценосца сплеталось с привязанностью к талантливому ученику.

Эти разнообразные и сложные отношения к высоким сферам не могли не отразиться на строе мыслей Чичерина. Долгое время он упорно боролся и печатно, и устно против всяких конституционных «вожделений» либеральной части общества. Известная книга Б. Н. Чичерина «О народном представительстве», появившаяся 1866 г., имела целью, как мы теперь знаем из откровенного признания самого автора, показать неприменимость конституционной формы правления к России. И если в конце своей жизни Чичерин должен был изменить свою точку зрения и опубликовал за границей брошюру, в которой осторожно высказывался за конституцию, то он уступил лишь поневоле неоспоримой убедительности фактов, в значительной степени под влиянием личного раздражения и перенесенных унижений со стороны не только придворного круга, для которого он всегда был чужим, но и самих носителей верховной

* Один из немногих защитников дворянства (фр.).

** Я нахожу, что он нас даже слишком усердно защищает(фр.).

власти, разочаровавшись в их личных достоинствах и убедившись в безнадежном гниении окружавшего их «болота». Но к каким бы выводам он ни пришел в последние годы перед смертью, всю жизнь Чичерин оставался под обаянием обветшалых, сделавшихся вопиющим анахронизмом после освобождения крестьян дворянских политических идеалов, в основе которых лежала мысль о просвещенном абсолютизме, опирающемся на дворянскую аристократию.

И в области религии Чичерин в детстве был окружен атмосферой старой дворянской традиции, из которой он почерпал «младенческую веру», утраченную им лишь в юношеские годы.

Так, среда, в которой воспитывался Чичерин, способствовала консерватизму убеждений и классовой узости мышления. Чичерин был, однако, слишком умен, чтобы сделаться примитивным реакционером. Традиционная дворянская идеология XVIII в. в том кругу, к которому принадлежала его семья, как мы видели, уже в представителях старшего поколения была несколько поколеблена новыми буржуазно-либеральными веяниями, а в младшем поколении она была уже совершенно нарушена благодаря блестящему образованию, полученному в семье и в университете, которое вводило молодежь в круг философских и научных интересов Западной Европы, переживавшей расцвет послереволюционной культуры. Особенно глубокое впечатление произвел на Чичерина Московский университет, в который он вступил в 1845 г. Вот в каких восторженных выражениях говорил он о нем уже в старческих годах: «Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоль неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уж работать самостоятельно, заниматься на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание... Весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь, я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием».

Из университета Чичерин вышел последователем «гегелизма» и глубоким поклонником Запада. Еще более расширило его кругозор и приобщило к результатам либерально-буржуазной культуры путешествие по Западной Европе, которое он совершил по окончании университета, в частности, пребывание в Англии. Так, из лекций московских профессоров-западников, особенно Грановского, имевшего на юношу исключительно сильное влияние, из западно-европейской литературы, в частности из философии Гегеля, наконец, из

личных наблюдений черпал молодой Чичерин новый строй религиозно-политических понятий. Принадлежа к дворянским кругам, уже приближавшимся к буржуазии, он воспринял этот строй понятий во всей их полноте, но, подобно своему отцу, должен был так или иначе попытаться примирить их с внедренной с детства старой идеологией. Отсюда известная раздвоенность его мирозерцания.

Влияние университета, первым делом, отразилось на религиозном мировоззрении молодого студента. «Младенческая вера», в которой он воспитывался, сменяется теперь скептицизмом. «Скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего», – говорит Чичерин. «Знакомство с европейской литературой, – пишет он далее, – и в особенности с ученою критикою могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение «Всеобщей истории» Шлоссера показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда в его «Истории еврейского народа», и на все наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии». Этот скептицизм приводил в сущности к своеобразному атеизму. Христианство он «признавал религией средневековою, окончившею свой век, отслужившей, так сказать, свою службу, а так как будущая религия, религия духа, еще не явилась, то... [я] думал, что современное человечество, по самому своему положению, лишено религиозных верований». Чичерин, однако, не делал естественного дальнейшего шага от своего религиозного индифферентизма. От религии он не отказался и в более зрелые годы он вернулся к христианству, хотя и понимаемому им по-своему.

Такие же колебания испытал молодой Чичерин и в отношении социально – политических своих взглядов. В годы молодости он, «как 20-летний юноша, разумеется, сочувствовал крайнему направлению». Но события 1848 г., показавшие наглядно угрозу для его сословия, таившуюся в этом «крайнем направлении», оттолкнули его от него: «Для меня громовым ударом, – пишет он, – были июльские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрошен и водворен Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества; на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и

самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достичь прочных учреждений».

Впечатления 1848 года толкнули Чичерина, таким образом, в сторону консерватизма. Это отразилось на его отношении к социализму. Если в юности он готов был принять его как «смутный идеал отдаленного будущего», то события, развернувшиеся перед ним, сразу охладили его сочувствие к нему, и «все эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую пору жизни». Отсюда исключительно резкие отзывы о социализме и его провозвестниках, отсюда декламация против «шарлатанства демагогов, которым нетрудно увлечь за собой невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей всякие небылицы и возбуждая в ней ненависть к высшим классам», отсюда недостойные выходки по адресу Чернышевского и вообще всех русских «нигилистов». Борьба с революцией делается основным лозунгом политической программы Чичерина. Манифестом этой борьбы было известное его письмо в «Колоколе» 1 декабря 1858 года.

Но, выступая против революционных лозунгов, Чичерин отмежевывается и от крайних правых взглядов. Поклонник правового строя и культуры Запада, он зло высмеивает славянофильские фантазии и жестоко бичует реакцию в лице Каткова, гр. Дмитрия Толстого, Победоносцева. И в своем консерватизме он был непоследователен. Он признавал блага парламентского образа правления. «Теоретически, – говорил он – конституционная монархия лучший из всех образов правления,.. к представительному порядку стремится всякий образованный народ, но... он требует условий, которые не всегда налицо». Этих условий Чичерин долгое время не находил в России. В России он проповедовал необходимость сильной власти, мощного государства. Его письма к брату в 1861 г., негласно доходившие до царя, представляют собой сплошной гимн «сильной власти» и приобрели ему благорасположение высших сфер; его приятельница Э. Ф. Раден, фрейлина великой княгини Елены Павловны, сравнивала его с наиболее видным из современных носителей идеи консерватизма в Западной Европе, с Руэ. Но, идеализируя власть, Чичерин отрицал то, что он называл «власть в голом виде», то есть произвол. Сильную власть необходимо было, как он внушал Горчакову, соединить с «либеральными мерами».

Предоставляя государству всю полноту власти, Чичерин мыслил это государство, как государство правовое, и в этом было опять тяжелое противоречие, которое язвительно отметил в желчном письме к нему Кавелин. Свой политический дуализм он рельефно выра-

зил в вступительной речи в Московской городской думе, когда был избран городским головою в 1881 г.: «По своему характеру, по своим убеждениям, я не человек оппозиции. Я держусь охранительных начал не в том, конечно, смысле, в каком нередко принимается это выражение, которое выставляется каким-то пугалом, означающим врагов всякого улучшения, а в том смысле, какой может придавать ему разумный человек, любящий свободу, но понимающий необходимость чего-нибудь прочного в жизни. Я приверженец охранительных начал в том смысле, что я глубоко и живо чувствую потребность власти и порядка. Я вижу в этом завет всей русской истории и существеннейшую нужду настоящего смутного времени. Поэтому я всегда буду готов идти рука об руку с властью. Но идти рука об руку с властью не значит поступаться своими правами, а еще менее отрекаться от независимости своих суждений. Человек с самостоятельным образом мыслей дает свое содействие не иначе, как сознательно и свободно. Я уверен, что в интересах самой власти встречать перед собой не страдательные только орудия, а живые, независимые силы, которые одни могут дать ей надлежающую поддержку, ибо только тот, кто способен стоять за себя, может быть опорой для других. Мы живем в трудное время, где приходится бороться с внутренними врагами, и это налагает на нас обязанность быть вдвойне осторожными в своих действиях. Мы должны обдумывать каждый свой шаг, дабы не поколебать и без того обуреваемую враждебными стихиями власть. Не покидая... почвы права, мы должны стараться соблюсти счастливую середину между старыми привычками безусловной покорности и новыми стремлениями к безотчетной оппозиции... Будем постоянно помнить... что только согласным действием правительства и общества мы можем победить гнетущий нас недуг и приготовить для своего отечества более светлое будущее». Таково политическое credo Чичерина, как оно сложилось к концу его общественной деятельности.

Политическому идеалу Чичерина вполне, в сущности, удовлетворял бюрократический либерализм начала царствования Александра II. Реформы 60-х годов оставались для него всегда проявлением высшей государственной мудрости и справедливости, во имя которой он готов был многое простить власти.

В конце концов, как и многие самые просвещенные его современники, он был сторонником «абсолютизма», действующего на основах строгой законности и социальной «справедливости».

Этот политический идеал нашел себе выражение во всей общественной деятельности Б. Н. Чичерина. Он хотел работать рука об руку с властью, под условием, чтобы власть действовала закономерно. Свой тонкий ум, свою блестящую диалектику, свои глубокие познания, все силы своей мысли он готов был предоставить в распоря-

жение «просвещенного и мудрого» правительства; оппозиция для оппозиции ему претила. В 1861 г., когда вспыхнули студенческие беспорядки, он осуждал правительство за его мероприятия, но со всей силой убежденности поддерживал его требования и помогал восстановлению порядка. В эту эпоху он пытался даже играть роль негласного маркиза Позы и посредством писем к брату, доходивших через Горчакова до государя, стремился влиять на действия правительства в направлении, которое он считал справедливым. В 1868 г., когда большинство Совета университета допустило, по его мнению, ряд незаконных действий, он обратился, первым делом, к начальству для восстановления попранного права и, не добившись правосудия, вызвав своим упорством недовольство монарха, подал в отставку и не вернулся в университет, несмотря на то, что доброжелателям удалось замять дело. Избранный в 1881 г. московским городским головою, он проявил те же свойственные ему черты – независимость перед администрацией и лояльность в отношении монарха, и пытался использовать свое почетное положение для достижения основной цели своей политической деятельности – установления связи между верховной властью и обществом, в чем он видел единственное средство для создания сильного правительства и для борьбы с революцией. Таков смысл его знаменитой речи на обеде городских голов. В правительственных сферах она была истолкована, как требование конституции, и политической карьере Чичерина был положен конец.

Так, под маскою сильного и самоуверенного человека, доктрина с строгим и определенным, научно построенным мирозерцанием, проглядывают черты человека переходной эпохи, с характерными для нее раздвоенностью и колебаниями. Борьбу этих двух идеологических течений, которые столкнулись в его личности, Чичерин пережил именно в те годы, которые связаны с пребыванием в университете и с подготовкой к научной деятельности. Это и делает публикуемые главы его «Воспоминаний» особенно интересными. Чичерин как бы переживает вновь свои юношеские увлечения новыми идеями; отсюда свежесть и сила его «Воспоминаний» за эти годы. Но по этим впечатлениям молодости прошла уже рука старика, отказавшегося от своих былых исканий и думающего, что в «зрелую пору жизни» нашел верный ответ на все волновавшие его юношескую душу вопросы. [...]

С. Бахрушин.
20 июня 1929 г.

Предисловие

О милый гость, святое Прежде,
Зачем в мою теснишься грудь?
Могу ль сказать: живи — надежде?
Скажу ль тому, что было: будь?

Жуковский (Песня, 1818)

Наше поколение пережило эпоху величайшего перелома в русской истории. Мы видели конец быта, построенного на крепостном праве, мы были деятелями или свидетелями великих преобразований, разрушивших до корня старый порядок и положивших начало новому общественному строю, основанному на всеобщей гражданской свободе; нам довелось, наконец, видеть воочию ближайшие плоды этих преобразований, плоды, которые на первых порах вместе с радостями принесли нам, может быть, еще более горя. Сколько пламенных надежд, сколько благородных стремлений — и как мало настоящее соответствует ожиданиям! Казалось, освобожденное русское общество, стряхнувшее вековые оковы, воспрянет с новой силою и проявит все сокровища, таившиеся в глубине народного духа.

Вместо того перед нами расстилается однообразная серая равнина, где с трудом можно встретить какое-либо отрадное, возвышающее душу явление. Сверху гнет старой бюрократической рутины и формализма, стремящихся к прежнему безграничному господству; снизу стоячее болото, где мелькающие огоньки мысли служат только признаком гнилого брожения; дряблость и раболепство в обществе, пошлость и бездарность в литературе — вот все, что нас окружает. И в такой безотрадной картине незаметно ничего, что бы обещало лучшее будущее.

Человеку, пережившему это смутное время, видевшему вблизи все действовавшие в нем пружины, подобает передать потомству взгляд современников на эти знаменательные события. Я могу сделать это с полным знанием дела и с возможным для человеческой природы беспристрастием.

Моя молодость протекала среди старого дворянского быта, которого я состою живым свидетелем. Я видел этот быт и в провин-

ции, и в столице. Я воспитался в умственном движении сороковых годов и был близок к главным его деятелям. Я коротко знал и всех замечательнейших людей эпохи преобразований. Наконец, мне самому привелось быть деятелем и участником в различных общественных средах, созданных или обновленных реформами прошедшего царствования, в университетах, в земских собраниях, в городском самоуправлении. И теперь, приближаясь к концу своего земного поприща, живя почти в полном уединении, отставши от людей и не имея ничего впереди, среди поблекших надежд и разрушенного счастья, я часто мысленно переношусь в утекшие времена и нахожу отраду в беседовании с прошлым. Передо мною восстают образы людей, к которым я был близок и которых я любил, представляю себе благородные черты того крепкого поколения, среди которого я воспитался, их живые умственные интересы, их глубокое уважение к образованию, их сильные характеры, их широкий, просвещенный и вместе светлый взгляд на жизнь. Почти все они сошли в могилу; с ними похоронено все, что их мучило и вдохновляло. Явились новые люди, с иными взглядами и стремлениями; люди, среди которых я чувствую себя чужим, как бы остатком вымершей формации:

Один — на ветке обнаженной
Трепещет запоздалый лист!..*

Однако эта сердечная память о прошлом не заставляет меня смотреть недоброжелательно на те преобразования, которые положили конец старому порядку. Напротив, я глубоко убежден в их необходимости и своевременности. На старости лет я не отрекся от благородных стремлений своей юности, но сохранил непоколебимую веру в те идеи, которые нас тогда воодушевляли. Совершенные преобразования составляли самую заветную мечту лучших людей прежнего поколения. Эта мечта сбылась, и если она не принесла того, что от нее ожидалось, то виною в том прежде всего неотразимый ход жизни, который дает медленным и трудным путем то, что в идеале представляется легко достижимым. Виноваты в значительной степени и люди, которые своим неразумием, невежеством, иные сумасбродными мечтами, другие мелкими и корыстными целями портили и портят великое дело. Виновато, наконец, измельчавшее, погрязшее в апатию, испуганное чудовищными явлениями общество, потерявшее веру в прежние идеалы и, главное, потерявшее уважение к человеку.

Преобразования застигли Россию в критическую эпоху. Прежний невыносимый гнет не только не давал ничему приготовиться, но, напротив, беспощадно подавлял всякие благие зачатки, которые по-

* Строки из стихотворения А. С. Пушкина «Я пережил свои желанья...» (1821).

являлись в незрелой еще общественной среде. Препрежнее общество исчезло, когда новое еще не сложилось. Наши потомки пожнут плоды посеянного ныне, но нам этими плодами не придется насладиться. Нам остается только передать им назидательную повесть о том, что мы видели и совершили, о своих целях, надеждах и разочарованиях.

Может быть, потомок найдет некоторый интерес в моем повествовании, а если нет, то оно послужит услаждением для меня самого. Переносясь в прошлое, я буду вновь переживать счастливые дни своего мирного детства, пламенные увлечения и разочарования юности, испытания зрелых лет, все радости и горе жизни; я буду беседовать с теми, кого любил и кого уже нет. Во всем этом есть поэзия, которая служит украшением старости, особенно если мы лишились тех радостей в настоящем, которые на склоне лет служат утешением людей. Поэтому да не посетует читатель, если в моих воспоминаниях будут вырываться черты, чисто лично до меня относящиеся. Постараюсь не слишком о них распространяться; во всяком случае, я не намерен вводить хотя бы и будущую публику в свою сокровенную жизнь.

19-го сентября 1888 года
Село Караул

Мои родители и их общество

Я родился в Тамбове 26-го мая 1828 года. Мои родители были тоже тамбовские уроженцы. Отец мой принадлежал к отрасли старого дворянского рода, давно поселенной в Тамбовской губернии. В наших дворянских документах значится, что наш предок, Матвей Меньшой сын Чичерин, за московское сидение при царе Василии Ивановиче получил из поместья в вотчину имение в Лихвинском и Перемышльском уездах ныне Калужской губернии*. Оттуда наша ветвь перешла в Тамбовский край. Мой прадед Дементий Андреевич был здесь воеводою и оставил по себе хорошую память. После учреждения губерний** он был выбран советником уголовной палаты. Председатели в то время еще назначались правительством. Дед мой Василий Дементьевич в екатерининские времена служил в Преображенском полку. Он вышел в отставку с чином полковника, женился на Извольской и поселился в Тамбове. Мне в детстве показывали его длинный и низенький деревянный дом на берегу реки, на углу Тезикова переулка. После его смерти этот дом был продан. Ни деда, ни бабки я не знал; мои воспоминания начинаются с отца.

Николай Васильевич Чичерин родился в 1803 году. Он воспитывался дома, но, по тогдашним провинциальным нравам и средствам, получил весьма скудное образование и рано был определен в военную службу. «Меня не учили так, как вас, – пишет он в одном письме. – Я окончил изучение языка тринадцати лет у тамбовского семинариста. После я учился в полку, переписывая то, что мне нравилось в книгах, и стараясь отгадывать правила и красоты языка, не имея никого, кто бы мог мне их объяснить».

Отец служил в Переяславском конно-егерском полку, который был расположен где-то в провинции, кажется, около Венева. К счастью для любознательного юноши, в ту местность, где стоял полк, приехал одно лето погостить к приятелю известный профессор сельс-

* Об этом упоминается в грамоте царя Михаила Федоровича 1619 г. (См.: Известия Тамбовской ученой архивной комиссии. Тамбов. 1904. Т. 1. Вып. 47. Примеч. С. 428.)

** Имеется в виду «Учреждение о губерниях» – закон о местном управлении, подписанный Екатериной II в 1775 г.

кого хозяйства в Московском университете Михаил Григорьевич Павлов. Это был человек высшего ума и образования, с философскими взглядами, умевший действовать на молодежь. Молодые офицеры собирались вокруг него, и он старался возбудить в них жажду знания. Искра запала в восприимчивую душу моего отца, он взял отпуск и уехал учиться в Москву.

Здесь он через посредство М. Г. Павлова завел некоторые литературные знакомства. В особенности он сблизился с известным остроумным водевилистом Писаревым и Николаем Филипповичем Павловым. Оба они были люди умные, образованные и даровитые и оба страстные игроки. Они в то время жили вместе у Федора Федоровича Кокошкина, тогдашнего директора театров. Михаил Семенович Щепкин рассказывал, что однажды, зашедши к ним перед каким-то праздником, он застал их играющими вдвоем в азартную игру. Ни у того ни у другого не было денег; весь их капитал состоял в двадцати пяти рублях, которые переходили из рук в руки. Через два дня Щепкин поехал поздравить Кокошкина с праздником и опять зашел к двум приятелям. И что же он увидел? Они с тех пор не вставали с места; в халатах, с раскрасневшимися глазами, с растрепанными волосами, они продолжали свою азартную игру, и те же несчастные двадцать пять рублей, с переменной счастья, переходили от одного к другому.

Памятником тогдашнего пребывания отца в Москве осталась только одна записка следующего содержания: «Посылаю тебе Мнемозину, любезный пустынный, а Жофруа* постараюсь достать завтра. Будь здоров, весел и спокоен. Твой Писарев».**

Связь с Писаревым продолжалась недолго, ибо он рано умер; но дружба с Н. Ф. Павловым сохранилась на всю жизнь. О нем мне приходится много говорить в своих воспоминаниях. Павлов рассказывал мне, что они с отцом жили вместе, учились, ходили в университет слушать лекции. Но уже в [18]27 году отец вернулся на родину, вышел в отставку с чином поручика и женился на дочери тамбовского же помещика, Катерине Борисовне Хвошинской. С тех пор он остался на постоянном жительстве в провинции.

Отец мой по своим свойствам был человек из ряду вон выходящий. Проживши до шестидесяти лет, я могу сказать, что не встречал в своей жизни человека, у которого было бы такое полное и гармоническое сочетание всех сторон человеческой души, ума, воли, чувства и вкуса. У него не было ничего выдающегося, но и ничего мелочного, не было: ни пристрастия, ни увлечений, ни предрассудков,

* Речь идет об альманахе «Мнемозина» (Ч. 1—4. М. 1824—1825) и книге стихов провансальского поэта-трубадура XII в. Рюделя Джауфрея (чаще: Жофруа).

** Здесь и ниже цитируются документы из архива Б. Н. Чичерина (РГБ. Ф. 334).

ни каких-либо суетных страстей и побуждений. Ум был твердый, ясный и здравый, способный понимать как теоретические вопросы, так и практическое дело. Всякий поступок его был зрело обдуман, и раз принятое решение исполнялось с неуклонною твердостью. По природе он был вспыльчивого нрава, и случалось иногда, что, застигнутый врасплох, он не воздерживал своего гнева. Но и в эти минуты проявлялась отличительная черта его характера: его сила воли выражалась прежде всего в умении управлять собою. Мать рассказывала мне, что, когда он, бывало, вспылит, он тотчас же уходил в свою комнату и запирался, пока не улегался его гнев. Сам он пишет в одном письме по поводу кражи, совершенной его камердинером: «Ты думаешь, что я вспылел, когда узнал о низком деле моего камердинера, совсем напротив. Катерина Петровна сказала мне поутру, я просил ее никому не говорить и дал себе несколько часов на размышление. Когда он мне признался, я сказал ему, что мне его жаль, потому что он навсегда испортил судьбу свою. Я могу рассердиться за неловкость, глупость и бестолковость, могу вспылить по нечаянности и в мелких случаях жизни, но во всем, что серьезно, я всегда останавливаю первое мое движение, чтобы иметь время размыслить. Это – верная черта моего характера».

И при такой силе воли, при таком редком самообладании в нем не было решительно ничего жестокого. Во все отношения к близким он вносил удивительную сердечную теплоту и неизменную деликатность. Мы, дети, глубоко уважали отца и боялись чем-либо заслужить его осуждение, но никогда не испытывали на себе его гнева и не слыхали от него ни единого сурового слова. Перечитывая его письма, писанные к совершенно еще молодым людям, исполненные мудрых наставлений, нельзя было не быть пораженным их мягко отеческим тоном. Всякий касавшийся нас вопрос, будь то учение, работа, удовольствие или даже хозяйственное распоряжение, обсуждался им заботливо и основательно, со всех сторон, но всегда в виде совета, а никогда приказания. «Милый Борис, не оставь без внимания моих замечаний, – пишет он в одном письме. – Может быть, я не хорошо высказал мои мысли, но я убежден, что говорю дельно в отношении к вам. Это убеждение происходит не от размышления только, сердце его внушает. Подумай и отвечай мне с искренностью. Если согласен, то старайся не забывать».

Так относился к детям этот человек, всегда умевший собой повелевать. Что касается до жены, то во всех его письмах к моей матери выражается такая горячая любовь, такое полное доверие, такая нежная заботливость, такая ласковость и деликатность, что лучшей семейной связи невозможно придумать.

Подобные отношения, конечно, могли установиться только при высоком нравственном строе. И точно, я не знаю в отце ни одного

поступка, ни одного душевного движения, в которых бы не высказывалась пламенная и полнейшая прямота. Подчиняясь нравам среды, снисходя к слабостям других, он никогда не вступал в сделки с собственными нравственными убеждениями. Обязанность была для него не отвлеченной меркою, не внешним предписанием, с которым человек должен сообразоваться, а внутренним голосом разумной совести, не допускавшей уклонения от истинного пути. Вцецело преданный семье, поставив себе целью жизни устройство своего семейного быта и воспитание детей, он старался тот же нравственный строй водворить и в своей домашней среде; но в этом не было никакой узкости, никакой требовательности или нетерпимости. Мы никогда не слышали от него назидательных наставлений. Нравственный дух водворялся сам собой, как нечто естественное и необходимое. Это была атмосфера, которой дышало все кругом.

С теми же нравственными требованиями и с тем же широким пониманием разнообразных свойств человеческой природы он обращался и к другим. Он всегда был сдержан в своих суждениях и редко высказывался резко; но суждение было всегда твердое, когда дело шло о нравственном поступке. Снисходительный к слабостям друзей, он глубоко огорчался всяким не совсем благовидным действием, так что мать, особенно в последние годы, старалась скрывать от него то, что в этом отношении могло быть ему неприятно. Но скрыть от него что бы то ни было было чрезвычайно трудно; с своею тонкою проницательностью он легко обнаруживал всякую ложь и всякие прикрасы. Недаром Н. Ф. Павлов, посвящая ему свои первые «Три повести»*, обратился к нему с следующим характеристическим четверостишием:

Тебе понятна лжи печать,
Тебе понятна правды краска,
Но не могу я разгадать,
Что в жизни быть, что в жизни сказка.

Эта твердость и ясность в суждении, это широкое понимание человеческой природы, эта проницательность в уловлении самых сокровенных ее изгибов делали его глубоким знатоком людей. Это была, может быть, самая выдающаяся черта его ума. Он сразу умел оценить человека и оценить настоящий его уровень. Его письма представляют в этом отношении замечательные примеры. Так, в 1844 году вернулся из долговременного путешествия за границую тамбовский помещик А. М. Циммерман. Он несколько лет жил в Италии и привез оттуда собрание художественных произведений. В однообразной провинциальной жизни это была находка; все собирались его слу-

* В имени Чичериных Умет, где Павлов гостил в 1832 г., были написаны повести «Именины», «Аукцион».

шать. Но отец разом понял, что тут не было ничего, кроме внешней скорлупы. Он писал матери, которая в это время была с нами в Москве: «Общество здесь сделалось как-то еще вялее; в кругу дам оно оживляется рассказами путешественника N., который знает о Европе только то, что можно видеть простым глазом, ощущать рукою, и для которого остались непонятными, как китайский язык, причины явлений, представлявшихся глазам его, мысли, составляющие внутреннюю жизнь европейцев, даже значение светских условий и обыкновений. А они слушают его с почтением». Надобно заметить, что отец никогда еще не бывал за границею и большую часть жизни провел в русской провинции.

В это время приехал в Тамбов по винокуренным делам человек гораздо высшего разряда, нежели Циммерман, пользовавшийся известностью в литературном мире, Александр Иванович Кошелев. Но и его отец тотчас раскусил. Он писал о нем матери: «Вчера он у меня обедал и провел весь день. Я слышал о нем как о человеке очень умном, отлично хорошо воспитанном, имеющем большие сведения и много путешествовавшем; такое явление в Тамбове очень редко, и я залучил его к себе, чтобы насладиться, слушая. В продолжение всего дня он говорил много; в разговорах виден был человек рассудительный и расчетливый, но ни одной идеи, которая выходила бы за обыкновенный круг, ни одного тонкого замечания, ни одного оборота речи, в котором можно было бы заметить человека нерядового; он даже неловко говорит. Странное дело! Видно, есть люди, которые сокровища ума и сердца прячут так глубоко, что до них не доберешься». Оценка совершенно верная.

Гораздо лучшее впечатление произвел на него приехавший в то же время для свидания с родными Алексей Алексеевич Тучков, отец второй жены Огарева*. «Это не Кошелев, – писал мой отец, – в каждой фразе его виден умный человек. Правда, что по живости своей и говорливости он иногда нападает на ложные мысли, но всегда умно и прилично их поддерживает. Особенно замечателен он тем, что говорит о математике с какой-то увлекательной прелестью».

Из этих выписок можно судить, каким тонким пониманием человеческих свойств и характеров был одарен мой отец. Его мнение имело тем более веса, что оно высказывалось всегда сдержанно и осторожно, но с полнейшей независимостью. Для себя он ничего не искал и не добивался и в людях ценил качества ума и сердца, а не положение или богатство. Эти правила он старался внушить и детям, предостерегая их от всякой суетливости и тщеславия. И в этом отношении письма его содержат в себе удивительно глубокие наставления. Однажды брат Василий, который тотчас по выходе из уни-

* Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна

верситета начинал свою службу в Петербурге, высказал сожаление по поводу того, что ему не удалось быть представленным в некоторые аристократические дома. Отец отвечал ему: «Прочитавши эти строки, я не мог не пожалеть о тебе. Неужели ты так скоро заразился пустым тщеславием, этою общею болезнью великосветских людей? Неужели твоя свежая душа приняла уже в себя гнилые миазмы светской атмосферы? Рассуди хорошенько, для чего ты желаешь войти в так называемый высший круг, составленный по большей части из людей, в сущности, пустых, но чопорных и надутых, прикрывающих, конечно, свой жестокий эгоизм и внутреннюю бедность блеском наружной роскоши и приятностью форм. Подумай о том, что в этот круг ты мог бы только иногда являться, но оставаться в нем постоянно для тебя было бы невозможным, не имея денежных средств... Я начинаю думать, что в тебе менее самостоятельности, нежели я предполагал; мне казалось, что, вступая в свет, ты будешь изучать его формы и благоразумно наслаждаться его удовольствиями, не теряя из виду своей цели, не забывая условий своего положения, сохраняя прямоту понятий, истину и теплоту чувства; но теперь мне кажется, что свет коснулся твоей души своею дурною стороною. Одумайся, милый Вася, пока еще есть время, пока порча не проникла до костей, как говорится. Яд тщеславия сначала понемногу всасывается в душу, а потом так в ней растворяется, что не оставляет свежего местечка. Тебе оно, кроме нравственной порчи, принесет еще и тот вред, что всегда будет тебя мучить как неудовлетворенное чувство. Пойми, что я говорю о тщеславии, а не о том естественном самолюбии, которое каждому образованному человеку внушает желание принадлежать к хорошему обществу. Это самолюбие в тебе должно быть удовлетворено, потому что некоторые из тех домов, в которых ты бываешь, принадлежат к высшему кругу, и если в других знакомых тебе домах не отличаются утонченностью светских условий, изяществом форм, зато в них находишь истинные условия хорошего общества: при отсутствии грубости и невежества простоту обращения, пристойность, искренность в сношениях, благородство чувств и образа мыслей. Во всех этих домах ты или любим, или оценен как молодой человек не без достоинства – чего же тебе еще хочется относительно общества? Может быть, ты мало встречаешь людей с высоким развитием; но таких людей везде немного, а в высшем кругу еще менее, нежели в сферах более скромных. Я не жил в высоком кругу, но известно, что там этикет и формы составляют существенные условия, до того стеснительные, что не оставляют ни малейшего простора уму и чувству. В такой сфере для меня было бы не только скучно, но и душно. Правда, я стар, и потому всякое принуждение мне тягостно, но ты можешь и должен выдержать всякое принуждение, если имеешь в виду достижение какой-нибудь серьез-

ной цели; только надобно, чтобы эта цель была не пустое тщеславие. Еще раз повторю: берегись этой заразы, умертвляющей все истинно доброе и прекрасное в душе человека, и разочти свои денежные средства. По моему мнению, не надобно ставить себя в такое положение, которое нельзя долго выдержать».

Опасения насчет брата были напрасны; они проистекали из любвеобильного отцовского сердца. Но эти строки показывают, как трезво, тонко и глубоко отец смотрел на людей и на отношения. Трудно встретить более меткое, благородное и вместе мягкое назидание.

Оттого он и пользовался всеобщим уважением. Расположения его искали как дара; дружба его была редким сокровищем. По своему просвещенному уму, по своей любви к умственным интересам и образованию, он естественно сблизился более всего с людьми, стоявшими с ним на одном уровне, и таких, как увидим, можно было найти в Тамбовской губернии. Но он охотно сходилась и с людьми не столь высокого свойства, в которых привлекали его симпатические стороны характера, добродушная веселость или рыцарское прямодушие. Вообще, не любя большого общества, он был доступен в домашнем кругу и гостеприимно открывал двери своего дома многочисленным родным и приятелям.

Наконец, ко всем этим редким свойствам ума и воли присоединялось врожденное чувство изящного. Самая его наружность носила на себе печать изящества. Он был среднего роста, с выразительными и красивыми чертами лица; в молодости он был очень хорош собою. Одевался он просто, но всегда тщательно и по последнему вкусу; во всей его особе не было ни малейшего признака неряшества. Он представлял из себя старого военного хорошего тона; как бывший офицер, он носил усы. Безукоризненным изяществом отличались и его манеры, полные спокойствия и достоинства. Его редкое умение управлять собою выражалось в том, что у него никогда нельзя было заметить ни одного нетерпеливого или некрасивого движения. Он умел воспитать в себе ту изящную простоту форм, которую он ценил и в других, не придавая им, впрочем, преувеличенного значения. Изящество он любил и во всей своей обстановке. Со вкусом сделанный дом, хорошо разбитый сад, щегольский экипаж, красивые лошади, стройное дерево приводили его в восторг. Но никогда он внешнему убранству не жертвовал ничем существенным и еще менее думал делать из этого предмет пустого тщеславия. Он мог точно так же жить среди самого простого быта, задавая себе только целью постоянно украшать свою жизнь по мере сил и средств, в чем и успел совершенно.

Но главное, что его пленяло, это было изящество речи. Всякое меткое выражение, всякий счастливый оборот останавливали на себе его внимание. Нередко он даже записывал фразы, которые его по-

ражали. Напротив, его коробила всякая неправильность. Помню, что он не мог переварить слышанного им от заезжего из Петербурга барона Розена*, который во французском разговоре произнес «бюрократа» вместо «бюрокраси». «Как возможно столичному жителю, вращающемуся в высшем обществе, говорить таким образом!» – восклицал он. Такое чуткое внимание к красоте форм делало его тонким судьей литературных произведений. Не только общий их характер, но и каждую частность он ценил и взвешивал с верным пониманием. Бывало, Павлов прочтет какие-нибудь стихи; отец тотчас скажет, что в них хорошего и дурного. Раз при мне кто-то прочел неизданное стихотворение, которое приписывалось Пушкину. Отец тотчас сказал: «Да, это его; никто другой не мог этого написать».

Понятно, что и в воспитании детей одна из существенных забот его состояла в том, чтобы внушить им необходимость выработать в себе изящество речи. Он твердил мне об этом постоянно и сетовал на то, что я не обращал на это достаточно внимания. Однако он и тут не переходил через меру и никогда не думал жертвовать сущностью форме. Как умно и верно он судил об этом вопросе, можно видеть из следующих строк, писанных к нам, когда мы были уже студентами: «Прежде я не желал, чтобы вы получили сильное литературное образование, боясь его невыгоды, которая состоит в том, что оно дает способность говорить о всяком предмете, не изучив его, и от этого молодые люди приучаются удовлетворять себя искусством убирать внешним образом внутреннюю пустоту. Этого нельзя не бояться, но неуменье владеть словом еще хуже, особенно у нас в России, где до сих пор ценят форму гораздо более, нежели содержание». Когда же я вступил на литературное поприще, он строго судил всякое неправильное выражение и говорил, что он для меня необходим как литературный судья. Он не подозревал, увы, что в последующее время изящество речи будет становиться ни во что.

Сам он говорил мало. Серьезный и сдержанный, он редко высказывался и, понимая шутки, сам никогда почти не шутил. Однако он умел вести светский разговор с дамами, которые его занимали, и любил иногда распахнуться в дружеской беседе, особенно за бокалом вина. Он охотно угощал у себя приятелей, а когда приезжал в Москву, то первое дело было поехать с друзьями пообедать и насладиться умным разговором. Он редко позволял себе и это удовольствие, ибо оно вредно действовало на его здоровье; но он любил вино как воодушевляющее средство для оживленной беседы. Оно имело для него некоторую поэзию. Не раз за обедом, поднимая бокал, он повторял стихи Баратынского:

* Вероятно, барон Михаил Карлович Розен.

И покрыл туман приветный
Твой озябнувший кристалл...

Могут спросить: какие были его убеждения, религиозные и политические? Что он в этом отношении мог передать детям?

Религиозный по натуре, исполняя обряды своей церкви, он никогда не прикреплялся к наружному богочестию. Религия представлялась ему не в виде узкой догмы или кодекса обязательных правил, а высшим освящением нравственного мира, залогом и предвозвестником будущей жизни. Он говорил, что чувству открывается многое, что недоступно разуму. Но чувство у него было широкое и терпимое; в нем не было ничего вероисповедного и еще менее сектантского. Отец одинаково обращался с религиозными и нерелигиозными людьми, понимая, что высшие вопросы бытия могут различно решаться внутренним разумением каждого. Поэтому он не старался влиять и на детей в том или другом направлении. Давши им религиозное воспитание, в детском возрасте вверив их вполне попечению матери, он в более зрелых годах предоставил их руководству жизненного опыта и собственной совести, зная, что заложенных в них задатков достаточно для того, чтобы рано или поздно вывести их на истинный путь.

Столь же мало старался он влиять на них и в отношении к политическим взглядам. Сам по убеждениям он был умеренный либерал. Кабинет его украшали портреты освободителей народов: Вашингтона, Франклина, Боливара, Каннинга. Впоследствии он подарил их мне, и они висят в моем кабинете, напоминая мне счастливые дни детства и священные предания семьи. Но, как русский человек, он понимал положение России, потребность в ней сильной власти. Поэтому он всегда относился к власти с уважением и осторожно: мой юношеский либеральный пыл иногда приводил его в ужас. Когда в пятидесятых годах заговорили о реформах, он, вполне признавая их необходимость, смотрел вперед с некоторым сомнением, опасаясь неизвестного будущего и полного переворота в частной жизни. Его страшила судьба детей. Прежде всего он был патриот. В Крымскую кампанию его мучила и волновала всякая неудача русского оружия**. Честь и слава России были для него всего дороже. Но и в этом чувстве не было ничего узкого и исключительного. Любя свое отечество, он был далек от бессмысленного самопревознесения и еще более от невежественного самохвальства. И в этом, как и во всем остальном, с верным и здравым чувством соединялся просвещенный разум, чуждый всякой односторонности и всякого увлечения.

* Строки из стихотворения Е. А. Баратынского «Бокал» (1835).

** В ходе Крымской войны 1853—1856 г. русские войска потерпели ряд поражений, что привело к сдаче Севастополя и подписанию унижительного Парижского мира (1856).

Таков был мой отец. Все знавшие его близко сохранили о нем благоговейную память. Не много их осталось в живых; все старые друзья дома давно вымерли. Но когда я на старости лет встречаю старика, видевшего нашу тогдашнюю семейную жизнь, я с удивлением слышу повторение тех же благоговейных отзывов. В начале пятидесятых годов жил у нас в деревне учителем младших братьев только что окончивший курс в университете, впоследствии профессор русской истории, Бестужев-Рюмин. Не видав его много лет, я встретился с ним в Ялте, где он проводил зиму, больной и на покое. Я глубоко был тронут, услышав, что он со слезами на глазах вспоминает о моем отце, особенно о его высоком нравственном влиянии, которому, по его словам, он обязан лучшим, что у него сохранилось в душе. Больной и разбитый старик мечтал о том, чтобы когда-нибудь ему удалось совершить паломничество в Караул, где протекли самые светлые годы его жизни. Этой мечте не суждено было сбыться.

Не одно сыновнее чувство побудило меня распространяться о моем отце, а также и желание дать верное изображение той среды, в которой протекла моя молодость. Отец мой может служить представителем лучших сторон тогдашнего провинциального быта, недостаточно оцененного русскою литературою. Это не был столичный житель, случайно заброшенный в степную глушь; он родился, воспитывался и почти всю жизнь провел в провинции. Подобные люди делают честь тому обществу, из которого они вышли. Могут сказать, что это было исключение. Нерядовые люди всегда бывают исключением, но они вырабатываются под влиянием окружающей среды и носят на себе ее отпечаток. Вообще было бы крайне ошибочно судить о русской провинции прежнего времени по «Мертвым душам» и «Ревизору» или даже по «Запискам охотника». Лучшие ее элементы остались незатронутыми русской литературой, которая в преследовании высших идеалов беспощадно карала то, что было им противно, не заботясь о полноте изображения. Благородная цель служит оправданием одностороннего направления сатиры прежнего времени. Но теперь, когда это все отошло в область давно прошедшего и представляет как бы отжившую формацию, какую цель можно иметь, изображая старый русский провинциальный быт в виде «Пошехонской старины»? Разве доказать, что автор в своей жизни ничего не видал, кроме грязи?

Моя мать была достойною подругою моего отца. И она родилась и воспитывалась в Тамбовской губернии; но ее воспитание было настолько тщательно, насколько было возможно по тогдашним средствам. Наставником ее был живший в доме моего деда, добрейшего Бориса Дмитриевича Хвощинского, швейцарец Конклер, человек образованный и почтенный. Когда он по окончании занятий уехал на родину в Сен-Галлен, мать оставалась с ним в переписке до самой

его смерти. От этого воспитателя у нее сохранились на всю жизнь уважение к образованию и любовь к умственным интересам, качества, которые, конечно, могли только усилиться и развиться под влиянием отца. С своим живым и восприимчивым умом, интересующимся всем на свете, она охотно слушала умные речи, хотя с свойственным ей тактом редко вмешивалась в разговор об общих вопросах, умея только своим вниманием вызывать выражение мыслей. Характера она была живого, пылкого, даже ревнивого, не в отношении к отцу, который никогда не подавал к тому ни малейшего повода, несмотря на то, что был поклонником женской красоты и изящества, а позднее в отношении к женатым сыновьям, которых она часто несправедливо ревновала к семействам их жен. Глубоко религиозная, она строго исполняла правила благочестия и тому же учила детей. Вся она была предана семье; счастье мужа и попечение о детях были единственною ее заботою. К мужу она питала не только самую горячую привязанность, но и глубокое уважение. Всякое слово его было для нее свято; всякое его желание, малейшее удобство были предметом заботливого попечения. Она боялась неловко затронуть в нем какое бы то ни было чувство, и, когда высказывала суждения, несогласные с его мыслями, она всегда делала это в самой любовной форме, предоставляя ему окончательное решение. И отец, с своей стороны, столь же мало стеснял ее, как он мало стеснял детей; все ограничивалось нравственным авторитетом. Взаимное доверие между супругами было полное. Поводов к разногласию было тем менее, что они сходились во взглядах и на людей и на отношения. Для обоих вся цель существования заключалась в благе семьи, которое они одинаково полагали не в суетных прикрасах, а в серьезных основаниях жизни.

Для себя же лично мать требовала весьма малого. Она не любила ни шумного общества, ни нарядов. Одета всегда просто, но никогда небрежно, она ни в чем не проявляла ни малейшей прихотливости и часто воздерживала стремления отца к украшению обстановки. В одном письме она пишет мужу, который в это время был по делам в Петербурге, что напрасно он купил дорогую коляску, без которой можно обойтись. Сама она до конца жизни, слепую старухою, ездила в деревню в простом тарантасике и никогда не хотела иметь другого экипажа. При таких вкусах она редко выезжала из дому и только в самую раннюю пору посещала большие собрания и вечера; обыкновенно же туда отправлялся один отец для поддержания светских сношений. Зато дома она любила принимать родных и друзей. Родственные отношения были для нее святы, как вообще для людей старого века, а так как роднёю была чуть ли не половина губернии, то гостей у нас собиралось всегда много. Но и с посторонними она сближалась охотно, если они приходились ей по сердцу. Приветли-

вая и ласковая ко всем, в отношении к более близким она была неизменным и искренним другом, принимала горячее участие в их радостях и горе и всегда готова была все для них сделать, даже с значительным самопожертвованием. Поэтому она до конца жизни пользовалась безграничною преданностью всех, кто ее знал короче. Дом наш был теплым приютом, где отдыхали сердцем, куда стекались и старые и молодые. И когда она, после смерти мужа, ослепшая и окруженная семейством, осталась жить в родном городе, она была предметом всеобщего уважения, и все ездили к ней на поклон.

Первые годы после свадьбы мои родители провели большею частью в родовом имении отца селе Покровском Козловского уезда. Но они жили там недолго. Местность была довольно безлюдная; образованных соседей, с которыми приятно было бы иметь постоянные отношения, почти не было. В 1830 году отец занемог и вместе с моей матерью отправился на лечение в Москву, взявши меня, еще двухлетним малюткою, с собою и оставив второго моего брата на попечение тетки, Софьи Борисовны Бологовской. В Москве отцу делали какую-то операцию, после чего ему нужно было еще оставаться там для окончательного излечения. Но так как мать должна была родить и ей неудобно было ехать в позднюю осеннюю пору, то она вернулась одна, на этот раз в имение моего деда, село Умёт Кирсановского уезда, куда потом приехал и отец и где родился мой третий брат. Здесь они остались жить, ибо среда была совершенно иная, нежели в Козловском уезде.

В другом месте* я имел случай изобразить то замечательное общество, которое сложилось в этом отдаленном уголке России. Здесь для полноты картины я должен повторить многое сказанное там.

Ближайшими соседями были Кривцовы. Они жили в Любичах, всего в трех верстах от Умёта, так что дамы нередко делали друг другу визиты пешком. Николай Иванович Кривцов был человек необыкновенного ума, с европейским образованием и с железным характером. Он также был родом из провинции. Все свое детство он провел в деревне в Орловской губернии, почти без всякого воспитания. Еще юношей его повезли в Петербург и прямо определили в полк. Сначала он предался обычному в военной службе разгулу: в одном месте своего дневника он упоминает о своей бурной молодости. Но гвардия александровских времен отличалась не одними кутежами. Аристократическая молодежь того времени питала в себе благородное стремление к образованию, с чем неразлучны были и либеральные идеи. Роковое событие 14-го декабря положило конец всем этим зачаткам. Либерализм в гвардии был истреблен до корня, с ним вме-

* См.: Чичерин Б. Н. Из моих воспоминаний (по поводу дневника Н. И. Кривцова) // Русский Архив. 1890. № 4. С. 501—525.

сте исчезло и стремление к образованию; остались одни кутежи. В восприимчивую душу Кривцова запали благие семена, рассеянные в окружающей его среде. Военной его карьере не суждено было длиться. Оторванная под Кульмом* нога принудила его покинуть военное поприще. Он решил посвятить себя гражданской службе и с целью подготовиться к новому делу поехал путешествовать по Европе. Он посетил Германию, Швейцарию, Францию, Англию. В особенности долго он жил в Париже, который в то время был центром умственного движения в Европе. Молодой человек с жадным любопытством и раннею проницательностью осматривал все, что встречалось ему по пути; он слушал лекции по самым разнородным предметам, посещал музеи, много читал, учился английскому языку, знакомился с замечательными людьми.

Вернувшись в Россию, он разом вступил в высший литературный круг, сделался приятелем Карамзина, Тургеневых, Вяземского, Блудова, молодого Пушкина, Император Александр, который любил выдвигать даровитых молодых людей, осыпал его милостями. Сначала он вступил в Министерство иностранных дел и был причислен к русскому посольству в Англии. Там он внимательно изучал учреждения и нравы этой сильно привлекшей его к себе страны. В особенности он пленился английским сельским бытом, который представился ему идеалом изящества и удобства. С тех пор он сделался англоманом, что придало новый аристократический оттенок прежнему либеральному его образу мыслей. Однако он недолго пробыл за границей; цель его была служить отечеству внутри России. Вернувшись, он был назначен губернатором сначала в Тулу, потом в Воронеж и наконец в Нижний. Но и гражданское его поприще было непродолжительно. Человек вполне независимого характера, не привыкший гнуть спину, с аристократическими приемами и убеждениями, он, в сущности, вовсе не был создан для чиновничьей карьеры. Беспреданно выходили столкновения, в которых его поддерживало только расположение любившего его государя. После смерти Александра Павловича поддержки уже не было, и он скоро должен был оставить службу. Враги его не гнушались даже измышлением всяких клевет, которые потом повторялись провинциальными сплетниками. Его выдавали за человека необузданного, тогда как в действительности он был чрезвычайно сдержан, хоть мог иногда через меру вспылить, когда его выводили из терпения. За строптивый нрав (официальный термин для независимости характера и неумения угождать начальству) он лишился губернаторского места и был причислен к департаменту герольдии. Возмущенный, он вышел в отстав-

* Близ чешского села Кульм 17–18 августа 1813 г. проходили упорные бои союзных войск России и Пруссии с французской армией. Сражение закончилось поражением французов.

ку и с тех пор поселился в деревне, исполняя свое заветное желание сделаться помещиком и осуществить на деле свой идеал частного быта. Этого он и достиг вполне.

Имение, в которое Кривцов переехал на жительство, принадлежало его жене, рожденной Вадковской. Но помещичьего поселения тут не было. Негде даже было пристать, так что на первых порах пришлось приютиться в Умёте у моего деда, который принял нового соседа с своим обычным радушным гостеприимством. С тех пор завязалась тесная связь между обеими семьями. Построив небольшой флигель, Кривцов перевез сюда свое семейство, состоявшее из жены и единственной дочери. Затем он неутомимо принялся за работу. Труд предстоял громадный, ибо в Любичах не только не было жилья, но не было ни одного деревца. Чистая и голая степь с маленькою речкою Вяжлею, на которой стояла небольшая мельница, – вот все, что он тут нашел. Задача была тем более трудная, что средства были далеко не широкие. Нельзя было, в подражание английским лордам, кидать деньги на всякие затеи, а приходилось рассчитывать каждую копейку. Но глубокий практический смысл Кривцова, его редкая энергия и неуклонное постоянство в преследовании раз задуманной цели все превозмогли. Мало-помалу, под влиянием мысли и воли этого замечательного человека кирсановская степь украсилась изящною усадьбою, совершенно в европейском вкусе, не похожую на окружающие помещичьи поселения. Дом был большой и удобный, отделанный с всевозможным комфортом и изяществом, содержимый в неизвестных русской жизни чистоте и порядке. В нем была большая библиотека с отдельным помещением возле гостиной; были примыкающие к нему оранжереи и теплицы. Вокруг дома с отменным вкусом был разбит большой английский парк, среди которого возвышалась красивая, англо-саксонской архитектуры, башня, где помещались приезжие гости. Она служила украшением местности и была для хозяина напоминанием о любимой его стране. В том же стиле построены были впоследствии домовая церковь и дом для причта; наконец, в пустынной степи воздвиглась маленькая готическая часовня, где хозяин заранее приготовил себе собственную могилу с характеристическою надписью: «Nec timeo, nec spero»*. Так же капитально, хотя и в более простом вкусе, построены были все принадлежности и хозяйственные здания. Всякая подробность была заранее обдумана, изучена, рассчитана и исполнена с совершенною точностью. Кривцов работал без усталы, не жалея себя, разъезжая обыкновенно в таратайке, иногда даже в телеге. А когда нужен был совет, он обращался за ним без малейшего самолюбия, без всякого желания показать, что он сам все делает. Несмотря на то что он был

* Не боюсь и не надеюсь (лат.).

страстный и знающий садовод, когда пришлось разбивать парк, он отправился в Пензу за известным в то время садовником Макзигом, стоявшим во главе казенного сада. Он привез его с собою, работал с ним вместе и сам, с своею пробочною ногою, взбирался на башню, чтобы оттуда обозревать окрестность и чертить общий план дорог и посадок.

Результат всей этой многолетней деятельности вышел такой, что хозяин мог им справедливо гордиться и называть себя создателем Любичей. Это был благоустроенный, образованный центр, заброшенный в далекую русскую степь, дело великое и благотворное во всяком гражданском быту. Кривцов жил здесь, вполне довольный своею судьбою. Он нередко это высказывал, прилагая к себе стихи из «Бориса Годунова»:

Я долго жил и многим наслаждался;
Но с той поры лишь ведаю блаженство,
Как в Любичи* Господь меня привел.

После бурной молодости, после великих войн, которых он был участником, видев вблизи образованнейшие страны Европы, коротко узнавши высшие светские, литературные и политические круги, испытавши превратности бюрократической карьеры, он отдыхал душою в своем деревенском уединении. Он наслаждался своим созданием, наслаждался любимыми им сельскими занятиями, наслаждался деревенскою тишиною и свободою, которую он здесь пользовался, и друзьями, которых он обрел в этой глуши. Здесь порою смягчалась и раскрывалась эта обыкновенно сдержанная, железная натура. Тетка рассказывала мне, что иногда, сидя вечером на террасе, в домашнем кругу, Кривцов говорил наизусть множество стихов из любимых им поэтов, некоторых лично ему близких, и вдруг, под впечатлением тихого и теплого летнего вечера, носящегося кругом благоухания и поэтического настроения, вызванного обновленными в его памяти образами и звуками, этот с виду совершенно холодный человек заливался слезами.

Понятно, какое сокровище представляло собою подобное соседство в провинциальной глуши. С Кривцовым можно было обо всем поговорить и обо всем посоветоваться. Весь его домашний быт, устроенный на европейский лад, с европейскими привычками и с светским изяществом, мог служить образцом для края, и сам хозяин, приветливый, разговорчивый, шутливый, с широкими взглядами и разносторонним образованием, обладавший неисчерпаемыми сокровищами ума, знания и вкуса, наблюдательности, практического смысла, доставлял своею беседою редкое наслаждение. Самая наружность его внушала уважение. В нем было что-то величавое. Он был

* В оригинале поэмы: «Как в монастырь Господь меня привел».

большого роста, довольно полный, коротко остриженный, в золотых очках, ходил, несколько влача свою пробочную ногу, которую он в Англии заменил оторванный член. Он был еще не стар, когда поселился в Любичах; ему не было сорока лет. Но жизнь положила на него свою печать; он рано поседел и казался старше своих лет. Выражение лица было серьезное, а иногда тонко ироническое, разговор разнообразный и занимательный, всегда подходящий к уровню слушателей. Отца моего он скоро оценил и сошелся с ним на всю жизнь. Он помогал ему советами, чертил для него планы, делал закупки, наблюдал за его постройками, брал на себя даже заботу о жене при его отлучках. «*Je vous appartiens de coeur et d'ame*»*, – пишет он в одном письме к моей матери.

Не менее привлекательна была его жена Катерина Федоровна. Это была женщина высшего петербургского света, *une grande dame dans toute la force du terme*** , как выражалась про нее Софья Михайловна Баратынская, но не в смысле чопорности и важности, а в смысле полного изящества, внешнего и внутреннего, изящества форм, мыслей и чувств. Ум у нее был тонкий, наблюдательный, подчас насмешливый, разговор остроумный и блестящий. Можно судить о нем по ее письмам, которые представляют редкое сочетание игривости и грации. Она любила письма и писала прелестно. В самых пустых ее записках встречаются необыкновенно счастливые выражения и обороты. И в этой сверкающей игре ума и воображения не было ни малейшей сухости: все было проникнуто самым тонким и чутким пониманием сердца. Ее письма в этом отношении представляют необыкновенную прелесть. Она перед друзьями изливала все, что сдерживалось несколько холодным характером мужа, мало доступного тонким влечениям и потребностям женского сердца. Любя его беспредельно и пользуясь искренней его привязанностью, как можно убедиться из ее писем, она охотно покорялась ему во всем и радовалась, как наивный ребенок, когда он позволял ей исполнить самые невинные ее желания: «Из всех песен я больше всего люблю припев, – писала она моей матери, – повиноваться тому, кого мы любим, гораздо приятнее, чем повелевать»***. Однако при случае она умела за себя постоять: когда случалось, что муж над ней подшучивал, она с своей находчивостью и остроумием отвечала так, что общий смех всегда был на ее стороне. Наконец, ко всему этому присоединилось живое поэтическое чувство. Она любила беспредельный простор степей, глубокое звездное небо, обаяние весны; ее радовал каждый распускающийся цветок, и она, так же как муж, вполне

* Я принадлежу Вам душой и сердцем (фр.).

** Гранд-дама в прямом смысле (фр.).

*** В подлиннике по-французски.

наслаждалась деревенскою жизнью, независимую и привольною, которую она не променяла бы ни на какие светские удовольствия и выгоды. С моею матерью Катерина Федоровна скоро сошлась и соединилась самою нежною дружбою, которая продолжалась до конца ее жизни. В одном письме она называет мою мать «*Ma soeur de choix et d'election*»*. Она поверяла ей все свои радости и горе, все, что ее занимало и что с нею происходило. Ее письма и записки могут служить живым изображением той жизни, которая велась в этой степной глуши.

Судьба как бы нарочно свела здесь целый кружок выдающихся людей. В пятнадцати верстах от Умёта жила другая семья, которая представляла такое сочетание самых привлекательных свойств, столько разнообразных и живых элементов, такую полноту умственных интересов, что подобное редко можно встретить даже в наиболее просвещенной среде. Большое село Вяжля, лежащее на реке того же имени, было пожаловано Павлом Петровичем** братьям Баратынским, служившим при нем еще в то время, как он великим князем жил в Гатчине. Из них Абрам Сергеевич был женат на фрейлине Марии Федоровны – Черепановой, одной из первых учениц Смольного монастыря. Императрица очень ее любила и одарила ее приданым. После смерти Павла Баратынские поселились в той части Вяжли, которая носит название Мары, и тут зажили на широкую ногу. Покрытый лесом овраг с бьющим на дне его ключом был обращен в парк; здесь были устроены пруды, каскады, каменный грот с подземным ходом из дома, красивые беседки, искусно проведенные дорожки. В своем стихотворении «Запустение» поэт Баратынский оставил поэтическое описание этой местности, где протекли его младенческие годы. Вернувшись домой после долгих лет странствования и горя, он искал давно знакомых впечатлений, дорожек, по которым он бродил ребенком, светлого пруда, прыгучих вод памятной ему каскады, но везде находил только следы разрушения, и тень давно умершего отца, создавшего этот уютный мир, воскресла перед его задумчивой душою***. Но если исчезли внешние прикрасы жизни, то обитавший здесь дух не оскудел. После смерти мужа вдова его не думала о барских затеях, но всецело предала себя воспитанию детей. Александра Федоровна Баратынская была женщина старого времени, чрезвычайно умная, образованная и с характером. Она знала многие языки, все читала и пользовалась безграничною любовью

* Моя избранная сестра (фр.).

** Император Пввел I.

*** Пересказ стихотворения Е. А. Баратынского «Запустение» (1834). Поэт родился в имении отца – Мара («татарская родина»). В родовом гнезде бывал наездами в 1827, 1828, 1832–1834 гг.

семьи и общим уважением. Жила она очень уединенно и редко показывалась посторонним. Я, близкий семье человек, видел ее всего один раз и то мимоходом. Но детям она умела внушить любовь к просвещению, образованный взгляд на вещи и тот высокий нравственный строй, который ее одушевлял. Богато одаренные природою, воспитанные такою матерью, все они вышли люди нерядовые.

Старший брат Евгений, известный поэт, был одною из самых высоких и привлекательных личностей, каких производила русская земля. Пылкий и страстный по натуре, соединявший с необыкновенною глубиною чувства самые возвышенные стремления, он рано был надорван случившеюся с ним несчастною историей. За юношеские шалости пажей, в которых он менее всего был виновен, он был разжалован в солдаты. Это наложило неизгладимую печать грусти на всю его жизнь и на все его произведения. С годами это внутреннее неудовлетворение благородной души могло только усилиться при том тяжелом гнете, который в царствование Николая сдавливал русскую жизнь, поражая все лучшие стремления человека.

К чему невольнику мечтания свободы? –

печально спрашивает он в одном из своих стихотворений и с каким-то криком боли отвечает:

О, тягостна для нас
Жизнь, в сердце бьющая могучею волною
И в грани узкие втесненная судьбою.*

Ни дружеский литературный круг, которого он был одним из корифеев, ни счастливая семейная жизнь не могли рассеять этой глубоко засевшей в нем тоски. Только жена** его, умная и образованная женщина, которую он страстно любил и которая отвечала ему тем же, «в нем таинство печали полюбя», иногда умела возбудить в нем более светлые мечты. К ней поэтому он и обращался в самых сердечных и трогательных выражениях:

О, сколько раз к тебе, святой и нежной,
Я принимал главой своей мятежной,
С тобой себе и небу веря вновь.***

Когда к концу жизни исчезли один за другим лучшие его друзья (Дельвиг, Пушкин) и он остался один из немногих представителей этой блестящей плеяды, которая доселе лучезарным созвездием сияет на небосклоне русской литературы, когда иссякло то упоение поэзией, которое носилось в воздухе в эту эпоху общего духовного

* Строки из стихотворения Е. А. Баратынского «К чему невольнику мечтания свободы?» (1833) цитируются Чичериным с большими неточностями.

** Баратынская (урожд. Энгельгардт) Анастасия Львовна.

*** Строки из стихотворения Е. А. Баратынского «Когда, дитя и страсти и сомненья...» (1844).

подъема, гнетущая его тоска овладела им с неудержимой силой и выразилась в этом удивительном стихотворении «Осень», составляющем одно из самых глубоко прочувствованных произведений, вышедших из-под человеческого пера. В нем вылилась вся бесконечная скорбь русской души, придавленной и оскорбленной в самых возвышенных и святых своих стремлениях и надеждах. Сбирая в «зернах дум» посеянное им семя, оратай жизненного поля обретаёт одно:

Увы! к мечтам, страстям, трудам мирским
Тобой скопленные презренья,
Язвительный, неотразимый стыд
Души твоей обманов и обид!*

Баратынский не всегда умел совладать с формой; стих у него нередко тяжелый и некрасивый. Он сам не ослеплялся насчет своей музыки, считая ее неспособною пленять и увлекать толпу. Но никто из русских поэтов не соединял такой глубины мысли с такою силою чувства. Всякое стихотворение у него является не свободным излиянием творческой фантазии, а как бы плодом внутренних мучений возвышенной природы. Этому содействовало и то, что, по какой-то странной примете, он считал вдохновение неразлучным с жизненными невзгодами. Всякий раз, как оно на него находило, он терзался опасениями и старался отдалить от себя эту чашу:

И отрываясь, полный муки,
От музыки, ласковой ко мне,
Я говорю: до завтра, звуки!
Пусть день угаснет в тишине.**

Но чего он не хотел и не мог выразить в стихах: все его заветные думы, его сердечные чувства, его возвышенные стремления – все это сообщалось непринужденно в дружеской беседе. Знавшие его близко единогласно свидетельствуют, что в разговоре он был очарователен. В приятельском кругу, особенно за бокалом вина, душа его раскрывалась и все затаенные в ней сокровища изливались наружу: тут проявлялись и тонкий вкус, и живое чувство изящного, и высокий нравственный строй, и сердечное отношение ко всему человеческому – все это облеченное благородною и увлекательною речью. Немудрено, что приезд его в Мару был праздником не только для семьи, но и для соседей. Обыкновенно он жил в Москве или в подмосковной, но нередко он приезжал с семейством к матери и гостил здесь подолгу.

* Строки из стихотворения Е. А. Баратынского «Осень» (1836–1837).

** Строки из стихотворения Е. А. Баратынского «Люблю я вас, богиня пенья...» (1841).

Из Петербурга наезжал и второй брат, Иракий. Он служил в военной службе и был флигель-адъютантом, что в то время было знаком особенного отличия. Женат он был на известной красавице, недавно умершей Анне Давыдовне, рожденной Абамелек. Среди деревенской жизни он являлся элементом из петербургского великосветского круга, но сохранившим все дорогие предания семьи. Иракий Абрамович был тип светского человека в самом лучшем значении, с приятными и мягкими формами, без всяких претензий, равно чуждый искательства и спеси, обходительный, образованный, благородный, то, что англичане называют истинным джентльменом. Жена его, дама высшего света, славилась не только красотой, но и любезностью. «Я не встречал более любезной женщины», – говорил один из петербургских стариков. К этому присоединилось литературное образование; она знала много стихов наизусть и сама занималась переводами. Свойственные среде придворные наклонности выражались тонко и сдержанно, не мешая близким отношениям в домашнем кругу. По своим сердечным свойствам Анна Давыдовна скоро сошлась с семейством мужа и вошла в него как родная.

Третий брат, Лев, тоже служил сначала в военной службе, он был адъютантом князя Репнина. Но он рано вышел в отставку и поселился в деревне недалеко от Мары. Причиной отставки была любовь к княжне Варваре Николаевне Репниной, женщине редких сердечных свойств, доньне еще живущей в Москве и пользующейся общей любовью и уважением. Оба они были страстно влюблены друг в друга, но чопорная мать, рожденная Разумовская, не хотела слышать об этом браке, считая Баратынского недостаточно знатным. Он удалился и остался навеки холостяком, а она никогда не вышла замуж, посвятила себя делам благотворительности и до глубокой старости сохранила сердечную память о любимом ею человеке. Его портрет висит у нее в спальней, и все его родные делают предметом особенной ее ласки. Увлечься им было немудрено. Он был статен, красив, неистощимого веселья и остроумия, отличный рассказчик анекдотов, которых у него был громадный запас, притом литературно образован, поклонник Шиллера, хороший музыкант и певец, вообще натура несколько легкая, но живая и блестящая. В веселой компании он был неоценим. Слетами он опустил, любил играть в карты и принял все привычки старого холостяка. Но в то время, о котором идет речь, он был в цвете молодости и сил, проявляя во всем блеске свои разнообразные общественные таланты.

Но из братьев отец мой ближе всего сошелся с младшим, Сергеем, который постоянно жил с матерью. Это был человек замечательный во всех отношениях, натура могучая, полная жизни, удивительно разносторонняя и своеобразная. У него, можно сказать, во все стороны была ключом переполнявшая его даровитость. Всякому делу,

за которое он брался, он предавался со всем пылом своей страстной души и во всем проявлял изумительные способности. По природному влечению он сделался медиком, учился в Московской медицинской академии, затем, поселившись в деревне, бесплатно лечил весь край, который питал к нему безграничное доверие. За ним присылали из дальних мест, и он, не обинуясь, ездил во всякое время и по всяким дорогам. Таким же мастером он был и в механических работах. Он сам был и изобретателем и исполнителем. В домашнем быту он выдумывал всевозможные приспособления, которые он устраивал собственноручно. Он гравировал на меди, делал сложные музыкальные инструменты, а для забавы занимался приготовлением иллюминаций и фейерверков к домашним праздникам у себя и у друзей.

И все, что выходило из его рук, было всегда точно, отчетливо, совершенно. К механическим талантам присоединялся и большой художественный вкус. Он был не только доктор и механик, но также архитектор и музыкант. Слух у него был необыкновенный: он в большом хоре тотчас улавливал малейший оттенок ноты, неверно взятой тем или другим хористом. Впоследствии он у себя дома ставил целые оперы, которые исполнялись его семейством, наполняя часы досуга в зимние вечера. Таким же художником он был в постройках: прелестные здания воздвигались по его плану и под его руководством. И все эти разнообразные способности получали еще большую цену от удивительной живости и общительности его нрава. Это был самый прелестный собеседник; с ним можно было говорить обо всем и серьезно, и шутливо. Самой веской мысли он умел придать своеобразный и игривый оборот. Остроумие у него было неистощимое, и остроумие совершенно из ряда вон выходящее: ничего заученного и приготовленного, ничего затейливого или натянутого. Это был поток, бьющий полным ключом, самородный фейерверк, поражающий своим блеском и своею неожиданностью. Разговор пересыпался то тонкими шутками, то забавными выходками, то меткими замечаниями. Его приезд в приятельский дом был для всех настоящим праздником. И старые, и молодые – все собирались вокруг него, и он ко всем относился равно дружелюбно, со всеми сходилась, как добрый товарищ. По целым дням длились оживленные беседы; с утра до вечера около него раздавался громкий смех. Обыкновенно в дни его приезда появлялось на стол любимое его вино, шампанское, и тут уже не было удержу; за бокалом он развешивался весь. При этом он мог пить сколько угодно, никогда не доходя до опьянения. Физически это была натура железная, способная все выносить. Зимой он спал с открытым окном, а иногда, закутавшись в шубу, ложился спать на снегу или возвращался из бани в легком халате и в туфлях на босую ногу.

У нас он гащивал часто и подолгу. В моих детских воспоминаниях сохранилась память об этих посещениях как о времени какого-то бесконечного веселия. Как живые воскресают передо мною эти прерываемые громким хохотом беседы за чайным столом, шумные завтраки с шампанским, в то время как гость собирался уезжать и лошади стояли уже запряженные у подъезда. Но хозяин о них забывал. В неудержимом порыве он продолжал потешать собеседников до тех пор, пока наконец становилось поздно и к общей радости лошадей приказывали отпрячь. Так протекали день за днем: разговоры и хохот не прерывались, лилось шампанское, сверкало остроумие, лошадей запрягали и отпрягали, и насилу наконец гость вырывался из дружеской семьи, где отцы и дети одинаково были ему рады. Эти тесные отношения с обоими поколениями сохранились неизменно до конца его жизни.

Менее близка к моим родителям была его жена Софья Михайловна, рожденная Салтыкова, вдова Дельвига, следовательно, коротко знавшая весь литературный круг того времени. Это была женщина очень умная и приятная, с тонким вкусом, с изящными формами, с большим литературным образованием. Но жила она более дома, погруженная в семейную среду и мало общаясь с посторонними. После смерти мужа, которого она долго пережила, она оставалась как бы живым памятником прошлого, сохраняя до глубокой старости всю свежесть своего ума и всю чуткость своего сердца.

Значительный элемент в дамском обществе Мары составляла и жившая с матерью незамужняя дочь, умная и пылкая Наталья Абрамовна. Изредка наезжала с семейством и Варвара Абрамовна Рачинская, которая по своему приятному и основательному уму и ровному характеру представляла резкий контраст с восторженным пылом своей более блестящей сестры. И вся эта состоявшая из столь разнообразных элементов семья жила в полном согласии и единении. Катерина Федоровна не могла этим довольно налюбоваться. В своих письмах к моей матери она живо и остроумно описывает посещения жителей Мары и Любичей. Иногда совершался наезд целым большим обществом. «Самым забавным было то, – пишет она, – что абсолютно все разъезжали, а конечной целью всеобщего нашествия была Мара. Как и следовало ожидать, я присоединилась к веселой компании, и, предупредив их заранее об этом налете, мы перенеслись туда в воскресенье. Мы очень весело провели весь день. Дамы из Мары были очень любезны, каждая в своем жанре: одна очень положительная, вторая – романтическая, а третья* – возвышенная и сверх того еще тетюшка – хозяйка. И действительно, я никогда не видела мадам

* Настасья Львовна, жена Евгения Абрамовича, Софья Михайловна и Наталья Абрамовна. – *Прим. Б.Н. Чичерина.*

Serge такой веселой и разговорчивой. Мадам Устинова была превосходна. В гостиной, которая всегда носила отпечаток тайны, витал дух праздника. После обеда монсеньор и мадам Устиновы вместе с Сергеем отправились с визитом к мадам Панчулидзевой; Евгений ушел к себе в комнату, а три двоюродные сестры, Леон и я принялись болтать, безумно хохоча почти до половины восьмого, пока все не вернулись. Полчаса спустя мы тоже отправились в Любичи. Как Вам нравится эта увеселительная прогулка?.. Таков порядок!»*

Затем все три брата Баратынских приехали навестить соседей в Любичах: «Евгений был очень любезен, – пишет Катерина Федоровна. – Знаете ли Вы, что женщины замечают только любезность, объектом которой в большинстве случаев они являются. Ну и что ж! В этот раз был мой черед; он сел за стол рядом со мной, много разговаривал, и все это так просто и естественно, и меня нисколько не смутило его превосходство, напротив, я почувствовала себя смелее; поэтому это было не просто завязавшееся знакомство, а дружеский договор. После обеда мы с Леоном пели, и в пении он был так же снисходителен, как и во всем остальном, он никак не хотел отойти от рояля. Сергей нам сопровождал, и мы «с остервенением» музицировали до 11 часов вечера. На следующий день они уехали только после 2 часов; Евгений сказал мне, что у него никогда не было более приятного знакомства, сделавшего таким очаровательным прошедший день. Вы догадываетесь, о ком идет речь; но о чем, Вы, вероятно, не догадываетесь, так это об удовольствии, которое я испытала, когда он назвал имя Вашего мужа. Он мне сказал, что очень огорчен тем, что дела лишают его возможности видеться с ним»*.

Особую прелесть имела Мара летом. Главное ее украшение составлял упомянутый выше покрытый лесом овраг, на дне которого бил холодный ключ. Это место, запустевшее после старого барина, вновь обновилось и оживилось при новом поколении. Построенный стариком обширный каменный грот служит убежищем от летнего зноя. Здесь нередко все общество обедало и затем проводило время в веселых разговорах до глубокой ночи. Впоследствии Сергей Абрамович возвел над ним прелестное летнее жилище в любимом своем готическом стиле, в гармонии с лесной обстановкой, с высокими стрельчатыми сводами и гостиной и наружными лестницами, дающими вход в различные летние помещения. В том же стиле была воздвигнута изящная купальня с дождем возле родника; через овраг был перекинут красивый мост, а на противоположной стороне, прямо против грота, построены были большие готические ворота, фантазия, придуманная собственно для украшения вида. Художественному глазу хозяина не нравилась пустота, оставшаяся здесь между гу-

* В подлиннике по-французски.

стою сенью берез и дубов; он и поставил тут бесполезное здание, на котором с удовольствием мог покоиться взор. Но ему надоели наконец вопросы: на что нужны эти ворота? – и он обыкновенно отвечал, что они принадлежат не ему, а соседу, Рафаилу Ивановичу Фельцыну, который неизвестно зачем поместил их тут. На лето вся семья переселялась в это жилище. В семейные праздники съезжались гости; вечером лес освещался разноцветными фонарями и бенгальскими огнями. Оживленные беседы, пенье и музыка продолжались иногда до рассвета. Гости расходились и ложились спать, когда уже занималась утренняя заря и в свежей листве деревьев раздавалось неумолкающее щебетанье проснувшихся птиц.

От всего этого веселья, увы, остались одни воспоминания. Старое поколение сошло в могилу; Сергея Абрамовича давно нет; недавно скончалась и престарелая Софья Михайловна. Еще прежде нее умер сын – опора семьи; умер и внук, подававший хорошие надежды. Хранительницами семейных преданий остались в Маре три старые девицы: дочь Дельвига и две незамужние дочери Сергея Абрамовича*, как весталки, поддерживающие священный огонь в запустелом храме. Но кто пережил то время, тот не может о нем забыть.

Поньше, когда мне случается быть в Маре, я иду в знакомый мне лес, совершая как бы некое паломничество к святым местам. Холодный родник все еще бьет на дне оврага; над гротом все еще возвышается красивое здание с заостренными окнами; незыблемы стоят готические ворота, как памятник прежних затей; но все здесь тихо и пусто. Человеческие голоса не раздаются уже под стрельчатыми сводами, деревянный мост обрушился, никому не нужная купальня пришла в ветхость и наклонилась набок, грозя неминуемым падением. И я с сердечною болью вспоминаю прежде кипевшую здесь жизнь, оживленные беседы до глубокой ночи, хоры из классических опер, волшебное освещение рощи, пение птиц при занимающейся заре; вспоминаю в особенности того, кто был душою этого маленького мира, с его огненным взором, с его живым, оригинальным умом, с его яркою даровитостью, проявлявшеюся в каждом слове, в каждом движении, с его сердечным расположением к нам, молодым людям, с которыми он беседовал и пировал, как с нашими отцами. Куда девалась эта порода? Новая жизненная волна унесла все это поколение, полное жизни, сил и талантов, поколение, давшее России столько замечательных деятелей. Под старость Сергей Абрамович сам сознавал себя остатком отжившего строя. Иногда он подзывал к себе молодого человека: «Пойди, садись сюда; ведь ты другого такого не увидишь».

* Дельвиг Елизавета Антоновна, Баратынские Александра Сергеевна и Анастасия Сергеевна.

Любичи в летнее время тоже наполнялись гостями. Сюда съезжались со всех сторон и из ближних губерний. Из Балашовского уезда приезжал князь Григорий Сергеевич Голицын, старый вельможа, разорившийся на постройки и всякие затеи и забавлявший себя на старости лет тем, что задавал балы для дворовых людей всей окрестности. Наезжали и его сыновья, живые и веселые молодые люди с разнообразными светскими талантами. Подолгу гостила в Любичах и его дочь, графиня Шаузель. Из Сердобского уезда той же Самарской губернии приезжал владелец большого села Бекова Адриан Михайлович Устинов, добрейший человек, недалекого ума, но живой, образованный, все читавший, большой охотник до споров, притом страстный садовод, обладатель великолепных оранжерей. Из Пензенской губернии приезжали декабрист Горсткин, умный и острый, с красивою женою, чета Кеков, известный агроном Иван Васильевич Сабуров и брат его Яков Васильевич. В то время такие далекие путешествия считались нипочем. Помещики объезжали весь край и везде гостили по несколько дней, а более близкие даже по целым неделям. Из соседей бывал знаменитый гастроном Рахманов, который и в Москве и в деревне задавал тончайшие обеды и к которому весь край посылал поваров на обучение. Являлся и живший в Кирсанове откупщик Бекетов, тоже большой любитель гастрономии, человек умный, веселый и образованный, состоящий в близких сношениях со всеми окрестными помещиками. Помню, как в детстве мы, проезжая через Кирсанов, у него останавливались и ночевали.

Умёт, с своей стороны, обладал в это время таким гостем, который мог составлять драгоценный вклад во всякое общество. Николай Филиппович Павлов по приглашению отца приехал сюда писать свои первые «Три повести», которые в свое время были видным явлением в русской литературе. Павлов был человек замечательного ума, живой, меткий, остроумный, с тонким литературным чутьем. Отчасти вследствие прирожденной лени и малой усидчивости в работе, отчасти вследствие разнообразных увлечений, которым он постоянно поддавался, он далеко не выработал из своего таланта все, что он мог дать. Но в лучших своих произведениях, например, в «Письмах к Гоголю»*, он проявил такую силу мысли и такое мастерство изложения, которые ставят его наряду с лучшими русскими писателями. В московском литературном кругу он занимал видное положение и был близок к корифеям тогдашней словесности. Разговор его был одушевленный и блестящий; изящество выражения, которое в литературном его слого, особенно в раннюю пору, впадало в изысканность, в устной речи выливалось в непринужденность и про-

* См.: Письма Н. Ф. Павлова к Н. В. Гоголю по поводу его книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Павлов Н. Ф. Соч. М. 1985. С. 254–278.

изводило впечатление на слушателей. Кто близко знал этого человека, мог ценить и прекрасные качества его сердца, его теплую дружбу, его чуткое понимание человеческих отношений. К сожалению, все эти свойства нерядовой природы затмевались неудержимой страстью к игре, которая вовлекала его иногда в самые трудные положения и заставляла выпутываться не всегда благовидным образом. Были и другие страсти, которые увлекали его за пределы должного. Но в деревне единственным соблазном была разве игра в шахматы с гостившим иногда в Умёте Яковом Ивановичем Сабуровым, которому он и проиграл в это время более тысячи рублей ассигнациями. В деревне Павлов мог, вдали от светской суеты и рассеяния, на свободе развивать свой талант и вместе с тем вносить одушевление в окружавшее его общество. Разумеется, и в Любичах, и в Маре старались заманить такого гостя. Он читал там свои новые произведения и оставил самые лучшие воспоминания между жителями этого отдаленного уголка. «Ты внушил искреннее живое участие каждому из лиц, составляющих наше маленькое общество, – писал ему мой отец после его отъезда. – Мы с Баратынским несколько раз беседовали вдвоем, пили твое здоровье; он тебя любит искренно, влюблен в твой ум и в твой талант, говорит, что если бы ты имел решимость посвятить себя труду и учению, то стал бы выше всех русских писателей своего времени. Как ты думаешь, его мнение должно иметь некоторую цену?» Такие же светлые воспоминания увез с собой и Павлов из деревенской глуши. «О степи, степи! – писал он, вернувшись в Москву, моему отцу. – Спасибо тебе, друг, ты мне открыл у себя в доме новый мир, ты разрешил мою жизнь надвое: мне кажется, другая половина должна быть лучше, хотя, может быть, мучительнее. Обними Баратынского, да покрепче. Славный он человек!» Павлов с удовольствием вспоминал про осетры моего деда, который любил хорошо покушать, и про улыбающееся лицо Бекетова, у которого, по выражению Николая Филипповича, к концу стола и на лбу и на губах было написано: сладена! «Погрейся за меня у кривцовского камина, – прибавлял он, – а с Баратынским выпей рюмку рома». Между соседями были почти ежедневные сношения.

От этого времени сохранилось много записок Катерины Федоровны к моей матери, писанных в ее игривом тоне по всякому поводу: с пересылкою книг, журналов или нот, с сообщениями или просьбами о разных дамских нарядах, с вопросами о здоровье, с приглашениями или изъявлениями сожаления о невозможности приехать; и все это вдруг прерывается совершенно оригинальными и неожиданными выходками. Так, в одной записке, отсылая шаль и обещая прислать Павлову просимые им книги и журналы, чтобы сколько-нибудь отплатить ему за доставленное им удовольствие, она добавляет: «Скажите Вашему мужу, что я прошу его верить в то, что я

очень хороший человек; я тщательно обследовала себя со всех сторон, и этот осмотр еще раз доказал мне, что я очень хорошая»*. И затем в постскриптуме большими буквами, с восклицательным знаком: «Oui, tres bonne!»**

Сохранились записочки Сергея Абрамовича к моему отцу, писанные иные по-французски, иные по-русски, иные на смешанном языке, всегда с оригинальными оборотами и с своеобразным юмором. То он созывает приятелей на обед: «Что Вы думаете по поводу завтрашнего визита к Чичериным? Что думает об этом ученый Павлов? Не сочтите за труд навестить нас завтра к двум часам дня. Как относится к этому ученый Павлов? Если Вы хотите знать, что об этом думает Кривцов, скажите посыльному, чтобы он зашел к Вам, возвращаясь из Любичей, и прочтите ответ Кривцова». В другой записке в ответ на вопрос Павлова о назначении дня для чтения повести он пишет: «Гордец Павлов просит назначить ему день для визита. Он слишком полагается на мирное и робкое простодушие нашей провинции, чтобы поверить, что на него могут рассердиться за это возвышенное самоуничижение... Он для нас — желанный гость в любое время, я хотел бы, чтобы он пришел сейчас же! Но вот мой ответ. Полагаясь на мою волю, пусть он появится раньше, чем эта записка придет к Вам, либо пусть больше не занимается глупостями.*** Dixi. Приезжай, ради бога, завтра обедать или ужинать, как знаешь! Привези Павлова и его тетради».

Иногда он сетует на расстояния, говоря, что он всегда считал земной шар слишком великим для потребностей и желаний человечества, которое никак не умеет справиться с пространством: «Проклятая выдумка Вселенной! Жалкий человеческий род, который обольщается своим воображаемым могуществом!! Бедные люди! Черт их возьми всех!» «Пятнадцати верстам должен покорить все свои желания! — пишет он в другой записке. Если бы, по крайней мере, не было на свете времени, я бы успел приехать в том же расположении духа. Пространство, время, морозы — все лишние вещи! — восклицает он. — Брат едет на днях; неужто мы не простимся вместе?»

То он поздравляет друзей с Новым годом: «Поздравляю тебя, Чичерин, с околевающим годом и с его наследником. По-моему, старый год лучше новых двух, а сверх того пора бы эту династию вовсе уничтожить. Революция во времени должна иметь необыкновенную прелесть! Как ты думаешь? Впрочем, я не с тем сел писать. Скажи мне, жив ли ты? Здоров ли? Опять я по вас, друзья, соскучился! Вот все,

* В подлиннике по-французски.

** Да, очень хорошая! (фр.)

*** В подлиннике по-французски.

что я хотел сказать». А в другой записке: «Я с отъезда от тебя еще не развеселился и, по-видимому, буду долго, как медведь, сосать лапу. Мне бы хотелось с тобой повидаться, хоть во сне».

То, извещая о приезде брата Евгения, он просит дать ему взаймы вина, ибо выписанное им запоздало. «Солнце уже вступает в знак Мадеры, – пишет он, – и скоро вступит в знак Рома (новый календарь моего сочинения), а мы все еще должны упиваться жидкою надеждою на будущие вина. Сжался над нами, бедными!» В другом письме, писанном в Тамбов, он просит достать ему табаку: «Позаботься, Чичерин, о спасении души моей. Если бы дело шло не о таком важном предмете, я бы тебя не беспокоил, но табак! Ты сам знаешь... нет еще слов для выражения этой необходимости. «Du tabac! Du tabac!»* Ты поймешь это восклицание, если читал Мельмота**; там кричат: «Du pain! Du pain! etc.»*** И рядом с этим балагурством в том же письме высказывается скептический взгляд на развитие человечества. Сообщая о рождении сына, которого должен был крестить мой отец и которому поэтому нельзя уже было жениться на будущей дочери своего крестного отца, Сергей Абрамович прибавляет: «Впрочем, вопреки Гизоту лет через двадцать новая Комиссия о составлении законов подведет под Свод законов и беззакония****. Я не верю, что способность человечества к совершенствованию не имеет предписанных границ... Что Вы об этом думаете? А это сумасшедшее благо? Стали ли Вы лучше всех после того, как опередили тех, кто уже был просвещенным или считался таковым? Вы приобретете еще больше знаний, идей, а станете ли Вы от этого лучше? ...Само развитие Ваших идей не приведет ли Вас к скептицизму? Что же это будет за философия, сомневающаяся в своей основе? Этого вполне достаточно, чтобы наскучить Вам до смерти... Прощай, обнимаю тебя!»

Можно себе представить, какие одушевленные беседы обо всем происходили между друзьями, когда они собирались вместе. Сторонние люди, приезжие из столицы, были ими очарованы; они не могли наслушаться этих разговоров. Недаром Катерина Федоровна, проводя зиму в Петербурге после долгого отсутствия и вращаясь в образованнейших салонах столицы, вздыхала о дружеских собрани-

* Табака! Табака! (фр.)

** Вероятно, речь идет о романе Чарльза Роберта Метьюрина (1780–1824).

*** Хлеба! Хлеба! (фр.)

**** Кодификационная деятельность II-го отделения С. Е. И. В. канцелярии, руководимой М. М. Сперанским, завершилась изданием многотомного Свода законов Российской Империи 1649–1825 гг. (1835). Эта работа противопоставлялась административной деятельности французского министра Франсуа Гизо (1787–1874) по укреплению основ конституционно-монархического строя.

ях в деревенской глуши. Сравнивая их с пустою светскою болтовню, которой предавалось окружающее ее общество, она восклицала: «Quelle difference avec nos reunions de Lubitchi, d'Oumette, ou de Mara!»*

Эта полная прелести жизнь в сельском быту, удаленном от суеты больших городов и от мелочности малых, в тесном кругу образованных друзей, понимавших и ценивших друг друга при всем различии свойств и характеров, продолжалась недолго. В 1833 году умер мой дед, и мои родители выселились из Умёта, который перешел к старшей сестре моей матери Софье Борисовне Бологовской. На долю матери пришлось участие в тамбовском откупе и в лежащем недалеко от Тамбова винокуренном заводе на Ляде. Эти новые занятия так мало подходили к вкусам и наклонностям отца, что друзья его пришли в сомнение: «Да хранит Вас Бог и поможет Вам в Ваших делах, – писала Катерина Федоровна моей матери, – Вы оба этого заслужили во всех отношениях, и мне кажется, что этот вид деятельности настолько противоположен вкусам Вашего мужа, что небеса помогут ему и вознаградят его за это».**

А Баратынский писал отцу: «Скоро ли ты продерешься сквозь векселя, отчеты, разделы и т. п. и будешь мочь думать без выкладки на счетах и писать так, чтобы не мерещился двуглавый орел в заглавии листа? Я, право, не знаю, как тебе писать, боюсь смеяться. Несмотря на все шутки, я испытываю очень горестное чувство. Слишком много у Вас надежд и философий связано с новым видом деятельности, к которому судьба Вас приговорила, и вот почему у меня плохое предчувствие, что Вы для меня потеряны... Впрочем, черт возьми! Никто как Бог! Почему знать, чего не знаешь? Примите мои утешения... Прощай, будь здоров».

Один Павлов крепко верил в энергию и способности моего отца. «Подвизайся, друг, – писал он, – и помни природу русскую: у нас много силы для начала, да мало терпитя до конца. Впрочем, если ты уже взялся, то я надеюсь на тебя, хоть, кажется, ты должен будешь очень насиловать себя для занятий несообразных ни с привычками твоей души, ни с прежним образом наружной жизни. Это составляло предмет моего сегодняшнего спора с Брусиловым и Зубковым. Да хранит Вас Бог и поможет Вам в Ваших делах. Я стоял за твое терпение и что откуп не есть дело сверхъестественное; все страшно издали».

Павлов был прав. Вначале, правда, особенно после привольной и поэтической жизни в Умёте, отцу бывало подчас очень тяжело. «Вижу, брат Павлов, – писал он последнему, – что я продал жизнь

* Как это не похоже на наши сборища в Любичах, Умёте или в Маре! (фр.).

** В подлиннике по-французски.

свою за деньги; хорошо еще, если она пойдет по порядочной цене. Горько!» Но польза семьи требовала усиленного труда; дед оставил долги, которые нужно было выплатить. Отец, по обыкновению, умел себя переломить и принялся за работу с той разумною решимостью, которая составляла отличительную его черту. Он стал изучать совершенно новое для него дело, вникая во все подробности, всякий день сам ездил в контору, сводил и проверял счета, вел винокурение. Скоро он со всем этим освоился, и дело пошло на лад. В 1834 году он сам с матерью, взявши меня с собою, отправился в Петербург на торги, и, кроме крупной доли в тамбовском откупе, взял еще Кирсанов. Восемь лет держал он эти города. Под его непосредственным надзором предприятие шло успешно, и мало-помалу полученные им от отца 300 душ возросли до 1300; мы зажили в довольстве. В <18>42 году, вместо Тамбова и Кирсанова, которые пошли дорого, он взял долю в Симбирске, но сам туда не поехал. Загальное дело было убыточно, и в <18>46 году он совсем бросил откупа. Довольствуясь приобретенным, обеспечив благосостояние семьи, он не искал наживы и никогда не пукался в рискованные и несообразные с силами и средствами предприятия. Менее всего он позволял себе прибегать к тем уловкам, посредством которых откупщики нередко вывертывались из затруднительных положений и умели убыток превращать в барыш.

При новых условиях приходилось жить главным образом в Тамбове. Еще при жизни деда был куплен небольшой дом, где Василий Дементьевич и скончался, а в <18>36 году, при все умножающейся семье и увеличивающемся благосостоянии, мы перешли в другой, более просторный, приобретенный после владелицы старухи Циммерман. Он стоял как раз напротив старого, на большой улице возле немецкой кирки. Имея уже порядочные средства, отец захотел отделать его по своему вкусу. В <18>38 году, при вторичной поездке в Петербург на торги, там была куплена мебель в лучших магазинах, у Гамбса и Тура. Дом был отделан щегольски, со вниманием ко всем подробностям, хотя без всяких лишних украшений. При мне раз отец смеялся над одним господином, который заметил ему, что обоим следовало бы иметь побогаче. Он любил, чтобы изящество соединялось с простотою. Помню, как еще ребенком я любовался просторною и светлою гостиною с резною ореховой мебелью, обитою пунцовым штофом, усеянным белыми цветами, с высокими резными зеркалами, с белым мраморным камином, выписанным Кривцовым из Италии, с изящной отделки бронзою, с мраморною статуею, изображающею молящегося мальчика. Любовался я и кабинетом матери, уставленным мягкою мебелью, обитой зеленым набивным бархатом, с красными стульчиками из палисандрового дерева, с резным письменным столом и атласными драпировками на окнах. Ныне этот дом,

перешедши через несколько рук, находится во владении семинарии, которая устроила там общежитие для своих воспитанников. Переехав в Москву для воспитания детей, отец, к сожалению, его продал. В то время он не предполагал, что когда-нибудь этот семейный приют опять станет ему нужен. Он не мог подозревать, что со временем вся его многочисленная семья снова соберется в Тамбове, что там останется жить ослепшая его вдова и что все сыновья, испытавшие различные поприща, вернутся на родину и окончательно там поселятся. И теперь, когда я бываю в Тамбове, я не могу без стеснения сердца проходить мимо этого старого нашего жилища, где протекли лучшие годы моего детства. Я смотрю на подъезд, сохранившийся в прежнем виде, заглядываю на обширный двор, где мы мальчиками резвились и играли, на небольшой палисадник, где мы, бывало, строили себе ледяные горы. Каждое окно мне знакомо, каждый угол полон воспоминаний, и я не могу без боли думать, что в этом семейном нашем гнезде ныне обитают семинаристы. Отец в этом случае поступил по обыкновению всех русских людей. У нас жизнь сложилась так, что при самых счастливых домашних условиях мы вовсе не дорожим той материальной обстановкою, которая связана с бытом семьи. Дом, в котором воспитывались дети, с изменившимися потребностями сделавшись не нужен или не удобен; он продается чужим, и никто не думает о том, сколько с этим исчезает теплых чувств и сердечных воспоминаний, сколько семейных преданий прерывается с уничтожением старого домашнего очага.

Скоро, однако, устроилось новое гнездо, которое еще в большей мере, нежели городской дом, могло иметь значение семейного центра. Проводя большую часть года в Тамбове, мои родители на первых порах после выселения из Умёта не имели постоянного летнего пребывания; в 1835 году они большую часть лета гостили в Любичах. Они помещались в башне со всем своим маленьким семейством, состоявшем уже из пяти сыновей. Снова возобновилась прежняя приятная жизнь в дружеском кругу; при прощании Катерина Федорвна залилась слезами. «После Вашего отъезда первое, – писала она моей матери, – что я услышала от Кривцова, которого я встретила на террасе, было следующее: я думал, что ты в Мару отправилась, ну уж будут вздохи сегодня. Вместо этого я почти не разговаривала, мы строили планы о нашем путешествии в Беково. Вечером, проглотив свой отвар, я отправилась прогуляться по террасе и совершенно естественно оказалась у башни, которую освещала одна только луна; ни живого существа, ни света, только я одна в этой аллее, которая еще накануне была такой оживленной; все это показалось мне таким грустным, и не только по причине Вашего отъезда, было что-то от смерти в этом спокойствии и пустоте, и я вернулась на террасу, откуда вид не был более живым, но, по крайней мере, там был свет».

Это было как бы предчувствие, что друзьям не придется уже по долгу жить вместе. В <18>36 году Кривцовы опять звали моих родителей на лето в Любичи, но мать должна была родить в начале июля, и вместо Любичей мы на май и июнь, по приглашению Камбаровых, переселились в лежащее недалеко от Тамбова имение Замятчину, принадлежавшее брату Лизаветы Михайловны, Александру Михайловичу Циммерману, который в это время жил за границей. Это было приятное лесистое местечко с многочисленными березовыми рощами и с небольшим прудом, через который перекинут был ручной плотик. Мне памятно, как мы с гувернанткой, а иногда и с матерью ежедневно переправлялись на этом плотике в лежащую на том берегу рощицу и со страстью предавались собиранию растущих там в бесчисленном количестве грибов. Помню и множество находящихся на этом низменном месте светящихся червячков, впервые привлекших мое внимание, а также восхитившего меня павлина, который горделиво расхаживал на лугу перед домом, раскидывая свой великолепный хвост, и которого дикий ночной крик доселе остался для меня поэтическим воспоминанием детства. В моей памяти сохранился и образ старика-управляющего, поляка Ивана Савича, с нафабранными усами, закрученными в виде колец. К июлю мы вернулись в Тамбов, где родился брат Сергей, а когда мать встала, я заболел тифозной горячкой, так что пришлось конец лета и осень оставаться в городе.

Это было последнее лето, которое мы проводили не у себя. В начале 1837 года было куплено то имение, которое с тех пор сделалось главным нашим местопребыванием, село Караул на берегу Вороны, в том же Кирсановском уезде, но в пятидесяти верстах от Мары и Любичей. Это имение принадлежало старику Сергею Васильевичу Вышеславцеву, деду Льва Владимировича, долго бывшего председателем Тамбовской губернской управы, и Алексея Владимировича, известного писателя и любителя художеств; оба они родились в Карауле. И старик, и жена его Мария Афанасьевна, рожденная Соймонова, были добрейшие люди, тихие и кроткие. Купив это имение в 1818 году у богатого, но разорившегося помещика Арбеньева, Вышеславцев со страстью занялся разведением сада, в особенности всяких пород яблонь; но об остальном хозяйстве он мало заботился. Про него рассказывали, что он даже никогда не подходил к окну, выходившему на двор, чтобы не видеть происходивших там беспорядков и не быть вынужденным сделать какое-нибудь замечание. Эта старинная барская беспечность довела его до того, что он наконец должен был продать это прелестное имение. Про эту почтенную чету говорили в шутку, что они, как Адам и Ева, были выгнаны из рая за яблоки.

И точно, это был рай земной. Я живо помню то впечатление, которое произвела на нас эта местность, когда мы в первый раз приехали туда весной 1837 года. Отец, уже прежде ездивший посмотреть имение, тотчас повел нас на самую красивую точку зрения, на выдающийся холм за церковью, который получил название мыса. Мы были поражены открывшейся перед нами картиною. У подножия холма текла широкая река, которая вправо протекала кудрявыми лесами в виде правильного канала, а влево образовала несколько заливов, также окруженных густою зеленью. По сю сторону, вправо от реки, к окаймляющему берег лесу примыкали обширные луга, по которым текла речка Панда, впадающая в Ворону. За Пандою виднелись опять луга, села и холмы, теряющиеся в туманной дали, с сияющим в отдалении озером Ильмень. А по ту сторону Вороны блистали также небольшие озера: окаймленные лесами, гладкое как зеркало озеро Ясное и далее направо – Лебяжье, в то время еще не поросшее камышом. Вдали виднелось большое село Чернанка с двумя церквами, и глазам представлялась бесконечная перспектива лесов, пашен, деревень. Горизонт простирался на двадцать пять верст, и все было пышно, привольно и разнообразно. Какое-то торжественное величие царствовало над всею окрестностью. Мы, дети, ничего подобного еще не видали. Затем отец повел нас в сад по березовой аллее, идущей от церкви на протяжении полуверсты, с расположенными по обеим сторонам куртинами плодовых деревьев. В конце аллеи, отделенная от нее вишняком, примыкала прелестная роща, тогда еще молодая, из самых разнообразных деревьев – дубов, кленов, лип, берез, вязов, ильмов, с разбросанным между ними цветущим шиповником. От дома же к березовой аллее, сообразно с вкусом того времени, шли в разных направлениях стриженные липовые аллеи, украшенные кое-где цветниками. Вокруг дома цвело множество алых и белых роз, взлелеянных заботливою рукою сестры прежней хозяйки, которая была большая охотница до цветов. Но строения были невзрачные. Небольшой деревянный дом, покрытый тесом, без всякой архитектуры, с двумя стоящими близ него флигелями, служил обиталищем хозяев. Убранство в нем было самое безыскусственное. Невысокие деревянные надворные строения походили на крестьянские избы. Только на выгоне за двором возвышалась прекрасная построенная из кирпича ветряная мельница. Одним словом, это было самое простое помещичье поселение, вовсе не соответствующее красоте окружающей местности. Но было к чему приложить руки; хозяин, обладавший вкусом и средствами, мог сделать из этого все что угодно.

Покупка Караула была отпразднована большим пиршеством. Родные и друзья были созваны к 13-му августа, дню рождения моей матери. Баратынский приехал уже за месяц вперед, со всяким ма-

териалом для иллюминации и фейерверка. Он вместе с зятем моего отца Николаем Федоровичем Стриневским поселился в садовой беседке, на фронтоне которой он наклеил четырехугольную бумажку с долго сохранявшейся надписью большими печатными буквами: «Застрахован от воды». Веселье было непрерывное. Нам, детям, дозволено было участвовать в приготовлении снарядов, делать бумажные фонари, склеивать обертки от ракет, что нас тешило чрезвычайно. За несколько дней до праздника съехались уже гости, и тут начались каждый день обеды, ужины, вечерние катанья на лодках при освещении пылающими смоляными бочками, расставленными по берегам. В самый же день праздника вся березовая аллея была освещена гирляндами из шкаликов; по роще и по липовым аллеям были развешаны разноцветные фонари; перед домом был пущен большой фейерверк с вензелями, луст-кугелями, римскими свечами и заключительным букетом из ракет. Пиршество продолжалось до глубокой ночи; вино лилось разлитым морем. На следующие дни веселье возобновилось, пока наконец все гости, утомленные, разъехались.

Осенью, по окончании полевых работ, отец задал пиршество и новоприобретенным крестьянам. По всему двору расположены были длинные столы, уставленные разными яствами, с скамейками по обоим бокам. И тут вина было вдоволь, и пляски продолжались до ночи.

Пятьдесят лет спустя я вспомнил этот праздник, и в память полувека, истекшего со времени приобретения Караула, я задал такое же угощение свободным уже крестьянам, с которыми, несмотря на коренную перемену положения, сохранились прежние патриархальные отношения. Отслужив вместе со всем миром панихиду по моим родителям, я напомнил старикам, видевшим прежнее время, в каком довольстве и благосостоянии они жили под разумным и справедливым управлением моего отца, и не было человека, который бы не мог подтвердить истины моих слов.

С тех пор установилась совершенно правильная жизнь, зимою в Тамбове, летом в Карауле, за исключением 1838 года, когда мои родители опять поехали на торги в Петербург, взявши с собою двух старших сыновей и оставив младших на попечении Н. Ф. Стриневского и добрейшей, всецело преданной нашей семье Катерины Петровны Осиповой, о которой я буду говорить ниже. Мне памятна эта поездка. Мы выехали в феврале, ибо в марте мать опять должна была родить. На проводы собралось множество гостей; после обильного завтрака отправились в путь. Но друзья и родные не хотели тут проститься, а решили провожать нас до станции Дворики, лежащей в сорока верстах от Тамбова, на полупути до Козлова. Из заставы протянулась длинная вереница возков, повозок и саней. В Дворики по-

слан был вперед повар с провизиею; к приезду заготовлен был большой обед с обилием вина. Помню, что мне дали выпить бокал шампанского, вследствие которого у меня закружилась голова и я тотчас заснул. Меня разбудили уже к отъезду; но веселая компания и тут не хотела расставаться: решили провожать до Козлова. Туда мы приехали уже вечером. Нанята была целая большая двухэтажная гостиница; зажжено было столько свечей, сколько можно было найти. Заказан был большой ужин, и опять пировали до ночи. На следующее утро наконец простились и разъехались в разные стороны.

Такие веселые пиршества были, впрочем, исключением. Обыкновенная тамбовская жизнь текла тихо и мирно. В гостеприимном доме моих родителей, открытом запросто для всех близких, за столом было всегда несколько гостей. Вечером обыкновенно собирались на маленькую партию или у нас, или у других. Но больших обедов и вечеров они не давали, разве случался приезжий, которого хотели угостить, или получалась какая-нибудь отменная провизия, которую надобно было употребить вместе с приятелями.

Тамбовское общество в то время было довольно многолюдное и разнообразное. В особенности родни было много, главным образом со стороны матери. Из родных и свойственников отца в Тамбове жил только упомянутый выше Николай Федорович Стриневский. Он был женат на моей родной тетке, с которою, однако, по несходству характеров, разъехался. Она не жила в Тамбове и после его смерти пошла в монастырь. Николай Федорович был сын весьма хорошего и уважаемого доктора, помещика Тамбовской губернии. Сам он был студентом Московского университета, что в то время в провинции было редкостью. Он состоял в приятельских отношениях с поэтом Баратынским и его московским кружком. Помню его бесконечные рассказы по возвращении из Москвы о Баратынском, Соболевском и их друзьях. Это был человек чрезвычайно живой, образованный, прямодушный, но необузданного характера. В минуты вспыльчивости он себя не помнил. В 1837 году, когда учреждено было Министерство государственного имущества, которое, как тогда полагали, должно было устройством казенных крестьян подготовить освобождение помещичьих, Николай Федорович с большим самоотвержением пошел туда служить; он сделался окружным начальником. Но постоянные разъезды по деревням во всякую погоду сломили его здоровье. Через несколько лет он умер от чахотки.

Со стороны матери ближайшими родными были Бологовские; но они редко жилали в Тамбове, обыкновенно же зиму и лето проводили в деревне. Софья Борисовна была женщина добрая, весьма неглупая, очень живая, даже чересчур живая, ибо она всегда была в суете, говорила без умолку и часто без толку, что отражалось и в практической жизни, в хозяйстве и в воспитании детей. Все это ве-

лось без определенной мысли и особенно без постоянства, почему и результаты часто бывали плачевные. Муж ее, отставной военный, статный и красивый, страстный любитель псовой охоты, был человек ограниченный и крутой, строгий к своим подвластным, любивший хвастать тем порядком, который он у себя содержал. Его прозвали Змеем Горынычем и подтрунивали над его французской речью, которая пересыпалась постоянно повторяемой частицей *enfin donc**. Однажды, желая выразить свои чувства, он ничего не нашел, кроме фразы: «*Enfin donc, enfin donc, mes sentiments... mes sentiments... sont tres sensibles...*»** В одном письме Екатерина Федоровна с большим юмором рассказывает визит, сделанный ею в какой-то праздничный день в Умёте, когда там жила уже тетка с мужем. «День прошел чудесно, – писала она, – настроение у шурина было прекрасное, к чему, надеюсь, и я приложила руку, сказав, что не могу прийти в себя от царившего вокруг порядка, хотя был праздничный день и в деревне был кабак, в то время как у нас, несмотря на отсутствие оно-го, все уже, должно быть, пьяны. На что он мне ответил: «Ну, значит, я не знаю, значит, я у себя настоящий хозяин, у меня есть управляющие, экономы». Словом, я бы еще слушала о его хозяйских законах, если бы не доложили о том, что экипаж подан»***.

Шутки, однако, он не любил. Одно время он вдруг обиделся неизвестно чем и не только сам перестал к нам ездить, но и своей жене запретил видеться с сестрою. Уже несколько лет спустя, опять без всякого повода и объяснения, гнев прошел и дружеские отношения между семьями возобновились, к великой радости моей матери. Он скончался скоропостижно в начале сороковых годов. Подозревали насилие со стороны крепостных, но ничего не было выяснено.

Постоянными посетителями нашего дома были двоюродные братья моей матери Хвощинские. Старший из них, Дмитрий Андреевич, был маленький, толстенький, весьма невзрачный собою, за что, в связи с темно-бурым цветом лица, его прозвали Ефиопом, болтливый, суетливый, вечно в хозяйственных хлопотах. Жена его, известная своими капризами барыня, держала его в руках и муштровала детей. Второй брат, Федор Андреевич, был отставной военный, холостяк, отличный ездок, силач, постоянно влюбленный, но всегда веселый, любивший подтрунивать, особенно насчет супружеских отношений. Нередко приезжал в Тамбов и Владимир Андреевич, который служил в Петербурге, был камер-юнкером и вращался в высшем обществе столицы. У него был прелестный голос, и он хорошо пел, особенно русские песни. Петербургскому жителю трудно не за-

* словом, словом (фр.).

** словом, словом, мои чувства... очень чувствительны... (фр.).

*** В подлиннике по-французски.

разиться чинолюбием и тщеславием, но это приходит уже в позднейшем возрасте. В молодости Владимир Андреевич отличался добродушной веселостью и обходительностью, что в соединении с прекрасными формами и музыкальным талантом делало его привлекательным. Отец любил его пение и его шутивные великосветские рассказы; отношения были родственные и дружеские.

Но из всех братьев самым близким человеком в нашей семье остался до конца младший, Петр Андреевич. Он был холостяк, неизменно веселый, порхающий как бабочка, ухаживающий за дамами с неумолкаемым лепетанием, приправленным самыми невинными шуточками. Под этою легкою наружностью скрывалось, однако, золотое сердце, а вместе и большой здравый смысл, при полном отсутствии всяких претензий. Петр Андреевич умел ценить людей, а для близких он был незаменим, истинным другом, всегда готовым на всякое самопожертвование. Впоследствии он подолгу гостил в нашем доме и в Тамбове, и в Москве, и в деревне, и мы все его сердечно любили не только как милого и доброго родственника, но и как товарища, принимавшего живое участие во всех наших юношеских забавах и интересах. А когда мать, овдовевши, ослепла, он ухаживал за ней, как нянька, и редко от нее отлучался. Обыкновенно же он жил у своей сестры, Марии Андреевны Ковальской, летом в прелестной Княжой, а зимою в Тамбове. Она была замужем за местным жандармским полковником, человеком добрейшим и благороднейшим, имевшим и порядочное образование. У него была довольно большая библиотека, к сожалению, сгоревшая при его жизни вместе с записками, которые он вел в течение многих лет. В то время, при первом устройстве тайной полиции*, было принято выбирать жандармских полковников из лучших людей, дабы тем смягчить ненавистные стороны этого учреждения. Таков был в Москве Перфильев, и таков был Ковальский в Тамбове. Нельзя не заметить, что людей можно было находить, когда их искали и когда требовали от них только должного.

В столь же близком родстве с моею матерью состояли братья Сабуровы, Яков Иванович и Алексей Иванович. Мать их была сестрою моего деда. Яков Иванович жил постоянно в Тамбове, долго был уездным предводителем, а потом попечителем в гимназии, единственным, кажется, который интересовался делом и ездил даже на уроки. Он был человек весьма неглупый и образованный, много читал, имел большую библиотеку, был в сношениях и с литературным миром, и с высшими петербургскими сферами. В Петербурге он обыкновенно

* В 1826 г. Николаем I для решения задач политического сыска учреждено III отделение С. Е. И. В. канцелярии. Его начальник был одновременно и шефом жандармов.

останавливался у Льва Кирилловича Нарышкина, который был ему хороший приятель. Оба они были легкого пошиба либералы. Вообще у Якова Ивановича все было довольно легко; при несомненном уме основательности было мало. Голова его представляла сбор самых разнообразных сведений и взглядов, и политических, и экономических, и сельскохозяйственных, которыми он с удивительной самоуверенностью умел пускать пыль в глаза новичкам. Этим он производил эффект в петербургских гостиных; многие его считали замечательно умным человеком. Но в провинциальном кругу его тотчас раскусили и ценили по достоинству. Раз Сергей Абрамович Баратынский, долго живший у нас в Тамбове по случаю болезни матери, от скуки вздумал диктовать мне, еще мальчику, каталог книг, якобы писанных разными лицами из тамбовского общества. Первый номер был «Нечто обо всем», сочинение Я. И. Сабурова. Затем шел: «Разбор сочинения Ивана Васильевича Сабурова Яковом Ивановичем Сабуровым, где Яков Иванович Сабуров говорит обо всем, кроме сочинений Ивана Васильевича Сабурова» и «Разбор сочинений Якова Ивановича Сабурова Иваном Васильевичем Сабуровым, где Иван Васильевич Сабуров говорит большею частью о своих сочинениях».

При всем том, в обществе Яков Иванович мог быть остер и занимателен. Иногда он выкидывал забавные штуки. Раз при нем одна уже довольно почтенных лет родственница, славившаяся в Тамбове своею страстью к сплетням, рассказывала разные небылицы, утверждая, что уж если об этом говорят, то верно уж что-нибудь есть. Несколько дней спустя по городу распространился слух, что соседи этой дамы видели, как один живший в Тамбове пожилой холостяк в пять часов утра лез к ней по лестнице в окошко. Разумеется, этот слух немедленно до нее дошел, и она пришла в неопишемую ярость. В присутствии Якова Ивановича она разразилась страшною бранью. «Желала бы я знать, – восклицала она, – какой это негодяй распускает подобные выдумки». «Это я, – спокойно отвечал Яков Иванович. – Ведь Вы утверждали, что если говорят, так уж верно что-нибудь есть; я Вам хотел доказать противное». Тут нашла коса на камень, ибо сам он по этой части был мастер.

Яков Иванович был нередким гостем и в Маре и в Любичах. Катерина Федоровна любила его посещения, ценя его живой и образованный ум, хотя ей и приходилось иногда терпеть от его страсти к сплетням. В Маре находился его портрет, который однажды Сергей Абрамович за какую-то вину повесил вверх ногами, и так он долго оставался. Случиться это могло весьма легко, ибо по своему характеру Яков Иванович не пользовался уважением. Он был циник и эгоист, никогда ничем не стеснялся и позволял себе иногда поступки, нарушавшие всякую деликатность. Летом он обыкновенно жил в

имении у своего овдовевшего зятя Владимира Сергеевича Вышеславцева, сына бывшего владельца Караула. Там он присвоил себе лучшую комнату и всячески притеснял этого безобидного человека, который только втихомолку жаловался на него своим друзьям. После смерти Александра Николаевича Бологовского он взялся управлять делами овдовевшей тетки Софьи Борисовны, и тут пошла потеха. Яков Иванович хотел, чтобы его слушались беспрекословно. Софья Борисовна всегда возражала, часто без толку, а иногда совершенно здраво, что еще более бесило Якова Ивановича. По малейшему поводу возникали споры, поднимался шум, крик; сцены были самые забавные. Яков Иванович наконец отказался от управления, но сделал это с таким нарушением нравственных приличий, что несколько лет не видался с родными.

Совершенно иных свойств был брат его Алексей Иванович. Он служил в военной службе, был сначала ремонтером, потом полковым командиром и наконец начальником Ремонтной комиссии. Это был человек без всякого образования, страстный игрок и бешеного нрава. Неистовый тон составлял даже отличительную черту его обыкновенной речи, и это впечатление еще усиливалось непрерывным нервным морганием. С годами он угомонился, ибо, в сущности, тут было много напускного. Под этою необузданною оболочкою скрывался добрый, дельный и рассудительный человек, отличный семьянин. Он был женат на своей двоюродной сестре, которую он, страстно влюбившись, увез из дома родителей. Она была рожденная Сатина, сестра известного в литературе Николая Михайловича Сатина, приятеля Огарева и Герцена, и приходилась также двоюродною сестрою моей матери. В молодости она отличалась романтическими и сентиментальными стремлениями, но с годами сделалась совершенно положительною барынею. Толстая и довольно пошлая, страшная к картам, недалекого ума, она была добрая женщина, отличная мать семейства, хорошая хозяйка. Семья жила дружно и в довольстве. Лето они проводили в своем имении Лукино, в 18 верстах от Караула.

Сестра Сабуровых Наталья Ивановна, женщина умная и бойкая, близкая моей матери, была замужем за упомянутым выше Владимиром Сергеевичем Вышеславцевым. Она рано умерла. Муж ее – человек совершенно старого времени и старых привычек, тихий и кроткий, составивший себе идеал из века Людовика XIV, остался в коротких отношениях с нашей семьей и подолгу гостил в Карауле с своими дочерьми. Сыновья же Лев и Алексей, с которыми мы с детства были дружны, воспитывались в Москве в Дворянском институте и приезжали в наши края на летние вакации.

Троюродными братьями этим Сабуровым приходились другие два брата Сабуровых, тоже тамбовские помещики, Александр Ива-

нович и Андрей Иванович. Последний не жил в Тамбове. Пустой и тщеславный, составивший себе большое состояние карточной игрою, он всегда витал в знатных петербургских сферах, к которым чувствовал неодолимое влечение. Другой же брат, Александр Иванович, отец Петра Александровича, бывшего посла в Берлине, и Андрея Александровича, бывшего короткое время министром народного просвещения, обыкновенно жил с семейством в деревне недалеко от Тамбова, а иногда проводил зиму в городе. Его кроткий вид и картавый выговор (он не произносил буквы «р») составляли контраст с его необыкновенною толщиной, происходившею от страсти к еде, в связи с чисто помещичьим образом жизни. Он был большой гастроном и славился также мастерством играть в коммерческие игры. Не отличаясь умом, он был человек очень добрый, мягкий и обходительный. Особенно дружна с моею матерью была его жена, Александра Петровна, рожденная Викентьева, милейшая женщина очень приятной наружности, изящных форм, добрая, кроткая, приветливая, вся преданная многочисленной своей семье.

Из посторонних жителей Тамбова близкими людьми к моим родителям была чета Камбаровых. Он был уже пожилых лет отставной гусар, маленького роста, но с военными ухватками, страстно любивший коммерческие игры, а потому коренной член Английского клуба, но человек высокой честности и прямотушия. Друзья называли его рыцарем. Жена его была наивно-добродушная, обходительная женщина, которую все любили.

В Тамбове жил и один из лучших друзей моего отца Антон Аполлонович Жемчужников, человек далеко выходящий из нашего провинциального уровня. Мать его была немка, так что немецкий язык был ему почти родной и во всем его существе выражалась какая-то немецкая медлительность и неповоротливость. Воспитывался он в знаменитом Училище колонновожатых, был товарищем и приятелем Алексея Алексеевича Тучкова, который женился на его сестре. Послужив и постранствовавши по России, он женился на весьма некрасивой, но необыкновенно доброй женщине, которая без памяти его любила, и поселился в ее имении в Лебедянском уезде. Там он несколько трехлетий был уездным предводителем, затем был выбран совестным судьей и поселился в Тамбове.

Антон Аполлонович был человек чрезвычайно тонкого, наблюдательного и просвещенного ума, а вместе и прекрасных душевных свойств. Речь его, несколько медленная, не отличалась ни живостью, ни блеском, но всегда была пересыпана тонкими шутками, своеобразными оборотами, остроумными замечаниями, которые, в связи с большим разнообразием его сведений, делали его разговор чрезвычайно приятным. У него было совершенно оригинальное собра-

ние анекдотов и рассказов, набранных им во время странствований, и он умел с большим юмором применять их к случаю.

Раз Баратынский получает от него письмо с эпиграфом из где-то подслушанной солдатской сказки: «Принцесса пошла в сад и нашла там разные фрукты, декокты* и алмазы». «Фрукты у меня есть, – писал Жемчужников, – алмазов не нужно, а за декоктом я к тебе обращаюсь». «Ах, как я уважаю людей с претензиями!» – восклицал он в другом письме к моему отцу, жалуясь на то, что скучные соседи навещали его, не дождавшись даже, чтобы он им отдал визит.

Он удивительно метко и остроумно умел одним словом характеризовать людей. «Знаете ли, отчего он так пуст? – говорил он про жившего в Тамбове поляка Пильховского, который за вечно восторженное состояние получил прозвание губернского энтузиаста. – Оттого, что он все из себя выходит!» Четырех описанных выше Сабуровых, толстого Александра Ивановича, чванного Андрея Ивановича, бешеного Алексея Ивановича и оригинального Якова Ивановича, Жемчужников, как любитель ботаники, обозначал латинскими прилагательными: первый был *Saburof monstruosus*, второй *gloriosus*, третий *furiosus*, четвертый *curiosus***.

Так же метко и глубоко судил он не только о людях, но и об общем положении дел. Так, летом 1848 года он писал отцу по поводу тогдашних европейских смут: «Я, со своей стороны, думаю, что результат всего этого будет усиление монархической власти, в измененной несколько форме; ибо Франция, кажется, как женский монастырь, рада штурму и охотно покорится ему, чтобы только выйти из настоящего положения». Известно, как скоро сбылось это предсказание.

При основательном уме и тонкой наблюдательности, Жемчужников был человек с большим вкусом, ценитель искусства, знающий садовод. Он не только умел разбить сад, красиво расположить группы, дать приятную форму дорожке, но он знал все подробности ремесла, мастерски выводил растения, мог руководить садовником. Его оранжереи при небольших средствах были образцовые. Вообще все, что приходилось ему делать, было изучено с величайшею тщательностью и вниманием. В особенности мой отец всегда удивлялся его искусству вести людей. Никогда не употребляя строгих мер, он с удивительным терпением и любовью, вникая во всякую мелочь, умел направлять их смолоду, наставлять и поучать их, когда следовало. Крепостная прислуга состояла у него почти на степени домашних друзей. Нередко человек, подававший блюдо или стоявший с тарелкою за спиной барина, вмешивался в разговор господ.

* Здесь: лечебное снадобье.

** Сабуров страшный... славный... неистовый... смешной. (лат.)

Сам он был, однако, характера крайне мнительного и нерешительного. Он вечно заботился о своем здоровье, воображал в себе всякие небывалые болезни, тщательно закрывал все окна и жаловался на «пламенных дам», которые всегда ищут сквозных ветров. Когда он был совестным судьей, Петр Андреевич Хвощинский, который был при нем заседателем, рассказывал разные забавные анекдоты о его колебаниях. «Как Вы думаете, Петр Андреевич, – спрашивал Антон Аполлонович, – сколько следует дать розог этому мальчику: две или три?» – «Три», – свирепо отвечал Петр Андреевич. «А не думаете ли Вы, что это будет слишком жестоко?» Сам, впрочем, Антон Аполлонович подсмеивался над своими колебаниями. Он говаривал, что человек главным образом затем женится, чтобы кто-нибудь за него решал. Под старость эта черта характера привела его к тому, что он легко подпал под влияние людей, которые умели к нему подлаживаться и играть на слабых его струнах.

Сердечно привязанный к моему отцу, Антон Аполлонович мечтал лишь о том, чтобы поселиться в его соседстве. «Я всякий день горюю о том, что ты мне не сосед, – писал он отцу в <18>48 году. – Чем старше я становлюсь, тем теснее становится кружок тех людей, в присутствии которых и сердце и душа испытывают истинную потребность». Наконец ему удалось купить имение в семи верстах от Караула; он стал там устраиваться, воздвиг дом, разбил сад и основался там на постоянное жительство, однако ненадолго. После смерти моего отца, тяготясь новыми порядками, вызванными освобождением крестьян и сопряженными с этим хлопотами, он продал это имение и переселился в Москву. «Освобождение крестьян – хорошая вещь, – говорил он, – но приступили к нему несвоевременно: надо было дожидаться, когда не станет стариков».

Характеризованный им поляк Пильховский был также постоянным посетителем нашего дома. О нем в бумагах отца сохранилась полученная из Петербурга справка. В ней сказано, что хотя он в прикосновенности к злоумышленным за границею обществам законным образом не уличен, но так как он разными своими действиями во время мятежа, как-то: укрывательством за границею, испрашиванием в Галиции тамошнего гражданства и тайным возвращением в отечество в 1834 году – навлек на себя сильное подозрение, то, согласно с представлением графа Гурьева, последовало 11-го марта 1837 года высочайшее повеление: «Имение взять в казну, а его, как подозрительное в злоумышленности лицо, отправить на жительство в Тамбов». Прибавлено, что в настоящее время для него ничего нельзя сделать. И так в те времена по простому подозрению конфисковывали имения и обрекали людей на многолетнюю ссылку! И это делалось шесть лет после восстания*.

* Речь идет о восстании в Польше 1830 – 1831 гг.

В Тамбове ссыльного приняли ласково, и так как он был человек добрый, не сплетник, искренно привязанный к своим друзьям, то старались несколько усладить его горькую участь и охотно прощали ему разные польские замашки: его пустые восторги, хвастовство и в особенности страсть, когда он слышал какой-нибудь рассказ, непременно рассказать что-нибудь еще более удивительное, разумеется, большею частью вымышленное.

Не могу при этом не заметить, что в нашей провинциальной среде я в детстве никогда не слышал не только от родителей, но и от посторонних, чтобы слово «поляк» или «немец» произносилось с недоброжелательством или укором. Столь же мало видел я какое-либо подобострастие перед иноземным. Любовь к своему родному самым естественным образом соединялась с уважением к другим. К полякам питали даже некоторого рода жалость, как к людям, постигнутым горькою судьбою. С столь обычным у нас самодовольным патриотизмом, подбитым презрением к чужому, я познакомился уже позднее, в столице.

Этим кружком людей, часто посещавших дом моих родителей, не ограничивалось тамбовское общество. Был и другой кружок с более светскими стремлениями, состоявший главным образом из нескольких родственных между собою семей: Араповых, Сазоновых, Родзянко, Охлябининых, Лион и пр. Там были красивые и нарядные дамы, которые любили веселье, танцы, катанье с гор. Заезжие, желавшие веселиться, вращались более в этом кружке. В тридцатых годах в Тамбове жили и богатые помещики Андреевские, которых дом считался одним из первых в городе. Он был отставной генерал, впавший почти в детство, она, рожденная Лешкова, была красивая и бойкая барыня, большая поклонница тогдашнего весьма умного архиерея Арсения, впоследствии киевского митрополита. У них бывали частые собрания, а иногда детские балы и спектакли, на которые и нас возили. Когда дочь вышла замуж, а сыновья определены были в Пажеский корпус, Андреевские выселились из Тамбова, но старший сын впоследствии основался в Кирсановском уезде, где он девять лет был предводителем*.

Были, наконец, и помещики, которые, не принадлежа к коренному тамбовскому обществу, селились в Тамбове, находя пребывание в нем приятным. Одно время проживал там богатый помещик Кологривов**, который задавал великолепные обеды. В начале сороковых годов поселился там граф Кутайсов с женою, урожденною Урусовой. Он отличался азиатской тупостью; она же была приятная светская женщина, отлично писавшая записочки, предмет страсти

* Андреевский Михаил Степанович.

** Вероятно, И. С. Кологривов, владелец сел Кологривовка и Слепцовка Аткарского уезда.

Федора Андреевича Хвоцинского. Проживал в Тамбове и известный князь Юрий Николаевич Голицын, бывший потом губернским предводителем, сумасброд и повеса первой руки, с очень милою и кроткою женою, которая была с ним совершенно несчастлива. Наконец он ее бросил и похитил девушку, с которою бежал за границу.

Во время пребывания родителей моих в Тамбове эти различные кружки жили между собою в мире и согласии. Отношения были более наружные, светские, но не заводилось ни ссор, ни дразг. Устин Иванович Арапов был губернским предводителем, и отец мой всегда клал ему белый шар. Но вскоре после нашего переселения в Москву произошла буря, которая повела к полному разрыву и к нескончаемым распрям. Поводом послужила распря между губернатором Булгаковым и ревизующим сенатором Курутою. Последний находился в тесной дружбе с Араповым, к которому Булгаков, напротив, относился очень неприязненно. Воспользовавшись открытием разных злоупотреблений по основанному на дворянские деньги женском институту, он добился того, что вновь выбранный губернским предводителем Устин Иванович Арапов не был утвержден как находящийся под следствием; велено было произвести новые выборы. Булгаков настойчиво уговаривал Жемчужникова баллотироваться, и тот наконец сдался, хотя очень неохотно. Он так мало дорожил почестями, что полученный им крест надевал только на дорогу с целью побудить станционных смотрителей скорей давать ему лошадей. Зимой, когда он садился в возок, ему зараз подавали шубу, теплые сапоги и «Анну на шее». Когда на последовавших затем выборах он прошел первым кандидатом, он обратился к своим приятелям с приветствием: «Поздравляю вас, я выбран губернским предводителем!» Но, получивши немногими шарами больше второго кандидата, моршанского уездного предводителя князя Константина Ивановича Гагарина, человека доброго, но весьма ограниченного, он сам через губернатора просил об утверждении последнего, что и было сделано к великому его удовольствию.

Губернаторы, естественно, играли первенствующую роль в губернском городе, однако дома их никогда не были общественным центром, несмотря на то что тогдашний уровень губернаторов был гораздо выше нынешнего. Первый, которого я помню, был Николай Михайлович Гамалея, человек очень умный, дельный, с разносторонним образованием. Он был женат на немке, отличной женщине, но довольно дикого и нелюдимого нрава. Это не помешало ей, однако, весьма близко сойтись с моей матерью, которая своею сердечностью умела расположить к себе всех. Оба они, и муж и жена, находились в дружеских сношениях с моими родителями.

При Гамалее в 1836 году был единственный на моей памяти приезд государя в Тамбов. К этому заранее делались большие приготов-

ления; весь город был в суете. Дворянство должно было дать бал. Дамы заказывали и выписывали себе разные наряды; мужчинам портной Никандр Великолепов шил короткие белые штаны, все запасались шелковыми чулками и башмаками с пряжками, ибо такова была в то время необходимая форма в присутствии царственных особ. Помню, как нас, детей, повезли смотреть на въезд. Мы ждали, ждали, но напрасно. К вечеру прискакал курьер с известием, что государя близ Чембар вывалили из коляски и он сломал себе ключицу. Все приготовления были отменены. Спустя некоторое время государь, еще не совсем оправившись, приехал в Тамбов, но остался в нем только одну ночь. Нас опять повезли смотреть на въезд на квартиру Гамалеев, которые временно выселились из губернаторского дома, где стоял государь. Мы с большим любопытством смотрели на проезд царя с сопровождавшими его толпами народа, которому запрещено было кричать, чтобы не беспокоить больного. Вскоре, проводив державного гостя, приехал Николай Михайлович, в мундире, с коротким белым исподним платьем, в чулках и башмаках. Мы глядели на него с удивлением, ибо в первый раз видели этот костюм. Он рассказывал, что государь принял его отменно милостиво и объявил ему, что берет его в Петербург. В то время организовалось новое Министерство государственных имуществ, и Гамалея назначен был первым товарищем министра, чем и пробыл долгое время.

Дамские наряды и мужские костюмы не пропали, впрочем, даром. На следующий год, как бы в вознаграждение тамбовским жителям, приехал наследник, Александр Николаевич, который, по достижении совершеннолетия, путешествовал по России. И ему дворянство давало бал, который на этот раз состоялся. Случилось это в конце лета, когда мы жили в Карауле. Отец и мать одни поехали в город. Сначала думали взять меня с собою и обещали даже повести меня на хоры, но в последнюю минуту, к великому моему огорчению, решили оставить меня в деревне, ибо тамбовский наш дом был полон съехавшимися отовсюду гостями. Мне ужасно хотелось полюбоваться новым для меня зрелищем, которое представлялось мне чем-то волшебным, посмотреть на русского наследника, видеть папа в белых шелковых чулках и башмаках с пряжками, как я в этот год видел губернатора. И вдруг я всего этого был лишен!

По возвращении родителей я жадно слушал оживленные рассказы и шуточные разговоры о том, что происходило в Тамбове, о великолепном бале, данном в новопостроенной зале Дворянского собрания, о красоте и уборах дам, о том, как мужчины чувствовали себя неловко в непривычном им узком придворном одеянии, с икрами, затянутыми в шелковые чулки и открытыми для всех взоров. Мать говорила, что это было чрезвычайно красиво и придавало празднеству необычайную нарядность, а отец с усмешкой рассказывал, что,

когда они сели за ужин, они все под столом протянули свои пленные ноги. Никто, впрочем, этим не тяготился. Все считали долгом почтить наследника русского престола, и когда для этого надлежало облекаться в придворный костюм, который многим приходилось напяливать в первый и в последний раз в жизни, то этим только увеличивалось внешнее обаяние царского дома. Даже мы, дети, проникались благоговением, когда нам говорили, что перед государем и наследником нельзя являться иначе, как в коротких белых штанах и шелковых чулках. Нам это казалось признаком какого-то недостижимого величия. В мирной тамбовской жизни приезд высокого гостя был событием, о котором долго вспоминали и которое никогда уже более не повторялось. Насчет впечатления, произведенного великим князем, помню, что говорили о его стройной фигуре и симпатичной наружности, но внимание моих родителей было привлечено в особенности Жуковским, который сопровождал наследника и с которым они тут познакомились.

На место Гамалея назначен был Александр Алексеевич Корнилов, брат знаменитого адмирала, лицеист первого выпуска, товарищ Пушкина. Толстяк и добряк, большой говорун, он был хотя невысокого ума, но человек вполне честный, благородный и образованный. Герцен в своих записках рассказывает про него*, что, когда он был губернатором в Вятке, где Герцен находился в ссылке, он при первом свидании дал ему прочесть книгу Токвиля «La Démocratie en Amérique»**. По-видимому, Герцен не очень был тронут этим поступком, но нам, принадлежавшим к другому поколению, он служит признаком таких нравов и такого образования, которые давно исчезли. Найдется ли теперь хоть один губернатор во всей России, который бы читал Токвиля, не говоря уже о том, чтобы дать его прочесть ссыльному юноше?

Жена Корнилова была женщина добрейшая, но необыкновенно странных манер: она по всякому поводу и даже без всякого повода вскакивала, бегала, пищала, визжала, что сначала несколько удивляло тамбовцев, но потом они к этому привыкли. С Корниловыми приехал в Тамбов и родственник их той же фамилии – Федор Петрович. Он приходился Александру Алексеевичу дядей, хотя был гораздо моложе его, почему его звали иногда: l'aieul***. В то время он был приятным молодым человеком, хотя и тогда уже отличался формализмом, вследствие чего в каталоге книг Сергея Абрамовича о нем значилось: «Свод Препятствий, сочинение юного и беспечного Корнилова». Прозвание «Свода Препятствий» за ним и осталось. Впоследствии он сделал видную карьеру, был управляющим делами Ко-

* См.: Герцен А. И. Собр. соч. в 30 томах. Т. 8. М. 1956. С. 267.

** «Демократия в Америке».

*** Дед, предок (фр.).

митета министров, наконец, членом Государственного совета и превратился уже в совершенного чиновника.

В начале сороковых годов Корнилова сменил Петр Алексеевич Булгаков, последний из губернаторов, управляющих губерниею во время нашего жительства в Тамбове. Это был человек сильного ума, необыкновенно живой, деятельный, энергичный. Он был студент Казанского университета и если не приобрел большого образования, то питал большое уважение к образованию. Говорил он много и хорошо, особенно об администрации, которую любил и знал основательно. Эти выдающиеся качества омрачались, однако, необузданным нравом, некоторым цинизмом в отношении к женщинам, а иногда и полным неуважением к приличиям. Впрочем, эти свойства сказались в нем уже позднее, когда он, одолев противников и упившись властью, стал разыгрывать в Тамбове роль маленького паши. На первых же порах он вел себя сдержанно и осторожно, и так как был умен, обходителен, приятен и заискивал расположение лучших людей из местных жителей, то скоро стал в доме моих родителей на приятельскую ногу. Жена его была в то время совершенно молоденькая, невинная, миловидная и недалекого ума женщина. Впоследствии он сгубил ее своим примером и своим поведением.

В дружеских отношениях к моим родителям состоял и бывший при Булгакове вице-губернатор Алексей Михайлович Замятнин. Он был тамбовский помещик, человек весьма добрый, честный, с светскими формами, с некоторым литературным образованием, но недалекого ума и страстный охотник до споров, в которых он всегда ужасно горячился, за что Сергей Абрамович прозвал его разъяренным голубем (*le pigeon enrage*). Жена его, рожденная Левшина, весьма недурная собою, была добрейшая и милейшая женщина. Она скоро и близко сошлась с моей матерью. Впоследствии Замятнин был предан суду по несправедливым наветам ревизиющего сенатора Куруты, который мстил на нем за удаление Арапова. Он успел оправдаться, но карьера его была сломлена. Он вышел в отставку и поселился в деревне, где разного рода затеями, а более всего беспечностью, расстроил свое довольно порядочное состояние.

Из других местных властей в постоянных, хотя и неблизких сношениях с моими родителями находилась чета Лешерн фон Герцфельд. Она была рожденная княжна Куракина, женщина светская и весьма неглупая. Он был председателем казенной палаты, тоже человек с утонченными светскими манерами, любивший выказывать свою знатную женитьбу. Отец рассказывал про него, что, когда при торгах на поставку вина он привозил ему обычную со всех винокуренных заводчиков дань, Лешерн умильно жал ему руку и говорил: «*Merci, je sais que Vous êtes bon*»*. В те времена подобные приноше-

* Благодарю за Вашу доброту (фр.).

ния считались делом самым заурядным, почти обязательным для обеих сторон. Никто этим даже не возмущался.

Через Стриневского сделался приятелем в нашем доме и первый управляющий Палатой государственных имуществ Алексей Васильевич Ельчанинов, человек уже почтенных лет, совершенно русского пошиба, без всяких светских форм, говоривший только на родном языке, но весьма неглупый, чрезвычайно живой, веселый, всегда отпускающий забавные шутки. Мы, дети, очень его любили, ибо он всегда с нами нянчился. Впоследствии оказалось, однако, что этот с виду совершенно простодушный человек взимал с крестьян большие поборы. Это выходило уже за пределы обычных приношений и особенно не могло быть терпимо в Министерстве государственных имуществ, которое должно было служить образцом и было учреждено именно затем, чтобы устроить благосостояние казенных крестьян. Ельчанинов должен был выйти в отставку, что не помешало возобновлению после него тех же злоупотреблений, которые въелись в плоть и кровь русского чиновничества. Для искоренения их требовалось преобразование всей жизни.

Кроме местных чиновников, были и приезжие. В то время господствовала система сенаторских ревизий. В нашу губернию, как сказано, прислан был сенатор Курута, умный и хитрый грек. Он прибыл с семейством в сопровождении целой свиты молодых людей и довольно долго прожил в Тамбове. Вращаясь в кругу Араповых, он с моими родителями только изредка обменивался визитами, но различные мытарства ревизии, враждебные отношения к губернатору и вообще прилив новых элементов, конечно, возбуждали толки и вносили оживление в общественную среду. Из сопровождающих его чиновников бывал у нас Михаил Александрович Поливанов, человек приятный и образованный, студент Московского университета, товарищ и приятель Кавелина. В это время останавливались проездом в Тамбове и чиновники, сопровождавшие князя Гагарина на ревизии в Астрахани, барон Бюлер и Блок. Помню, что это была пора безумных увеселений в нашем городе. Концерты, балы, катанья следовали друг за другом. О них барон Бюлер, ныне начальник Московского архива иностранных дел, вспоминает доселе. Рассказывали в особенности про бешеный галоп, какой танцевали эти господа с какою-то приехавшею в Тамбов госпожою Миницкой, представлявшею подобие вакханки.

Долго жил в Тамбове на ревизии и будущий государственный контролер Валериан Александрович Татаринев, человек умный, образованный и приятный, основатель нынешней системы государственного контроля. Он довольно часто бывал в нашем доме.

При таких разнообразных общественных элементах можно было без скуки жить в провинциальном городе. Приезжие находили удо-

вольствие в тамошнем обществе. «Я получила много новостей из Тамбова, – пишет в одном письме Катерина Федоровна по случаю прибывания там Николая Ивановича, – и в действительности, было чем потревожить мою ревность, стоило мне только почувствовать ее пробуждение во мне. Кривцов сам писал мне, что его друзья доказали ему свое расположение и он чувствует себя среди них превосходно, что женщины очаровательны, что он серьезно ухаживает за мадемуазель Замятиной и т. д. Соловой мне сказал, что все это время уходит на визиты и обхаживание. Признайтесь, что понадобится столько мужества и терпения, чтобы все это вынести, не растратив сил, а наоборот, процветая, что я и делаю»*.

В особенности гостеприимный дом моих родителей служил отрядным приютом для тех из приезжих, которые искали умственных интересов и сердечного удовлетворения. Так, в <18>36 году довольно долго прожил в Тамбове по служебным делам псковский помещик Пальчиков, человек очень умный, живой, образованный, приятель московских друзей и знакомых отца – Павлова, Брусилова, Зубкова. По отъезде из Тамбова он писал отцу: «Никогда, никогда не забуду, почтенный друг, вашей ласки и гостеприимства, всех утешений душевных, которые я находил в вашем милом семействе. Пусть мир Божий лежит на нем навсегда. Посылаю маленьким друзьям своим псковской пастилы; надеюсь, что они не успели еще меня забыть. Передайте Катерине Борисовне мои чувства живейшей благодарности за милости, которые она мне оказывала. Истинно не могу думать о вас иначе, как о самых близких мне людях».

Однако отец жаловался иногда на скуку провинциальной жизни. Особенно на первых порах, после пребывания в Умёте, среди деревенского приволья, в кругу друзей, выходящих из ряда вон по уму и образованию, окунуться разом в откупные расчеты и мелкие отношения губернского города было нелегко. Контраст был слишком велик. «Мне Умёт кажется раем с тех пор, как я переехал в Тамбов, – писал отец Павлову. – Что за мир! Несмотря на мою привычку жить в самом себе, бывает так тяжело, что хоть в воду! Растолкуй мне, пожалуйста, отчего, судя по описанию Бальзака, провинция во Франции так сходна с нашею? На днях читал «Le celibataire et la femme abandonnee»**, и мне пришло в голову, что Бальзак долго жил в Тамбове под чужим именем, иначе он не мог бы изобразить с такою верностью не только характеры, мнения, тон здешнего общества, но даже оттенки мелочных страстей, которые составляют главную его жизнь. Странная вещь!»

* В подлиннике по-французски.

** Дословно «Холостяк и брошенная женщина». Вероятно, речь идет о романе «Покинутая женщина» (1832).

Это письмо служило ответом на сетование Павлова о скуке московской жизни. «Не один ты скучаешь в столичном городе, – писал отец, – Кривцов говорит, что он умер бы от скуки в Петербурге и приехал в Любичи хоть один месяц подышать свободно». Люди с высшими потребностями вообще редко находят общество, которое бы их удовлетворяло.

Со временем отец мой свыкся с бытом губернского города. Жизнь мало-помалу устроилась и текла спокойно и мирно среди многочисленной семьи и довольно значительного круга друзей. Однако потребность высших умственных интересов так присуща была его натуре, что недостаток их ощущался им постоянно. «Не знаю, как избавиться от скуки, – писал он в начале 1845 года моей матери, которая в это время поехала с старшими детьми в Москву. – Читать нет времени, по утрам дела, а вечером всегда кто-нибудь придет мешать. Преферанс мне решительно надоел, но как ни глупо целый вечер играть в карты, а пошлые разговоры еще утомительнее. Всего ужаснее в жизни провинциального города то, что тратишь время, страдаая от скуки и пошлости, и не только не приобретаешь какого-либо знания, но забываешь то, что знал, и когда придется переместиться в круг людей умственно деятельных, следящих современные интересы высшего разряда, тогда почувствуешь себя отсталым, выйдешь ни пава, ни ворона... Может быть, – прибавляет он, – я слишком нападаю на провинциальную жизнь, может быть, мне все кажется таким скучным и досадным, потому что я разлучен с тобою и живу здесь поневоле».

Были, однако, времена когда это однообразное течение провинциальной жизни нарушалось и город получал необыкновенное оживление. То были эпохи дворянских выборов. Тогда съезжались помещики со всех сторон. Из Кирсанова приезжали Кривцов и Баратынский, которые останавливались у нас в доме, из Лебедяни – Жемчужников, из Моршанска – Василий Васильевич Давыдов, человек умный и отличных душевных свойств, чрезвычайно приятный в обществе, с тонкими шутками, с разнообразным разговором, большой садовод. Приезжал с меланхолическою физиономиею Плещеев, двоюродный брат Катерины Федоровны. За утренними собраниями следовали ежедневные обеды и вечера. Отец и его ближайшие друзья не принимали участия в игре партий, в волнении страстей, но следили за всем в качестве наблюдателей, и разговорам не было конца. «Я не знаю, что Вы сделали с Кривцовым, – писала Катерина Федоровна моей матери после выборов 1837 года, – но теперь он клянется только Тамбовом и уверяет меня, что развлекался там, как король. Он с Баратынским как два студента, которые с удовольствием вспоминают время, проведенное на каникулах. Баратынского я понимаю, но я очень удивлена и довольна Кривцовым, уверяю Вас. Он так яростно говорил на днях, что на ближайшие выборы необхо-

димо поехать туда всей семьей, что было очень забавно! Вы понимаете, почему он к этому пристрастился».*

По поводу выборов не могу не рассказать врезавшийся мне в память случай, который показывает, как тамбовское дворянство того времени умело поддерживать порядочных людей. Председателем Гражданской палаты выбран был человек, пользовавшийся общим уважением за свою прямоту и бескорыстие, Кондырев. У одного из его приятелей, богатого помещика Протасова, было дело в Государственной палате, дело несправедливое, но Протасов, надеясь на приязнь председателя, был уверен, что он его выиграет. Вдруг в его присутствии читается решение ему неблагоприятное. Это так его взорвало, что он, будучи бешеного нрава, тут же подошел к председателю и дал ему пощечину. Его, разумеется, взяли, судили и сослали в Сибирь. Кондырев подал в отставку и министр ее принял; для исправления должности послан был чиновник из Петербурга. Но на следующих выборах дворянство опять блистательно выбрало Кондарева, правительство вторично его не утвердило, и снова был назначен чиновник. Однако дворянство не отстало; оно продолжало выбирать Кондырева до тех пор, пока правительство наконец уступило. И это происходило в такое время, когда все трепетало перед властью и малейший признак оппозиции считался государственным преступлением!

Живя зимою в Тамбове, мои родители, как сказано, проводили лето и даже осень в Карауле. Тут уже ничего не мешало полному наслаждению. В очаровательной природе и в деревенском раздолье, вдали от мелочных дрязг губернского города, среди мирных сельских занятий, при многочисленной семье, которая пользовалась широким довольством и доставляла только радости, жизнь была настоящим праздником. Почти всегда бывали гости, съезжались родные и соседи, близкие и дальние. Близким соседством считалось пятнадцать-двадцать верст, дальним – от пятидесяти до шестидесяти. В ближайшей окрестности не было помещиков, с которыми сношения были бы часты. Владелец села Богданова, отстоявшего на семь верст от Караула, Михаил Дмитриевич Козловский бывал в наших странах только наездом. Изредка приезжал и владелец Хорошовки, прелестный старик Семен Яковлевич Унковский**, постоянный житель Калуги. В несколько позднее время поселился в Чернавке Сергей Гаврилович Дурново, который тотчас приехал знакомиться, но и с ним все ограничилось обменом визитов. Это был отставной военный, еще не старый, довольно пустой, ветреный и любивший покутить. Он вздумал разом насадить себе большой сад, натывал огром-

* В подлиннике по-французски.

** С.Я. Унковскому (1788 – 1882) в это время было около 50-ти.

ных деревьев, чему завидовала другая соседка, страстная любительница садоводства; но эти так называемые Армидины сады* с первого же года исчезли без следа. С Дурново жили его сестры, две старые девы с большими светскими претензиями. Они почему-то считали принадлежностью великосветского тона непременно ложиться не ранее трех-четыре часов ночи, и хотя в зимние вечера умирали от скуки и засыпали, слушая однообразное чтение дворового мальчика, однако ни за что не хотели отстать от этой аристократической привычки. От них к нам часто приезжал доктор Алексеев, которого Дурново привез с собою из Петербурга и который был у нас годовым и для семьи и для крестьян. Как медик он не пользовался большой репутацией, но был человек добрый, мягкий, веселый, чрезвычайно подвижный, несколько легкомысленный и тоже очень любивший покутить. Мы, молодые люди, были с ним большие приятели. Он постоянно забавлял нас всякого рода шутками и анекдотами.

В числе соседей, с которыми сдружились мои родители, был самый крупный помещик Кирсановского уезда, владелец более 30 000 десятин земли Григорий Федорович Петрово-Соловово, или просто Соловой, как его обыкновенно звали. Он был отставной кавалергард, женатый на петербургской великосветской красавице. Она в то время редко приезжала в наши края, а большею частью жила в Петербурге или за границею; он же, оставив военную службу, поселился в своем обширном поместье и был в течение двадцати лет предводителем дворянства в Кирсановском уезде. Это был человек весьма оригинального свойства, как бы склеенный из разнородных элементов. Образование он имел то, которое получали в то время гвардейские офицеры, то есть внешний лоск и никакого умственного содержания. Но сердце у него было доброе; он всегда был рад всякого одолжить, а к друзьям своим питал искреннюю и неизменную дружбу и готов был все для них сделать. Характер у него был чрезвычайно живой и общительный; он говорил без умолку, часто забавно, иногда без толку. При этом у него были рыцарские понятия о чести, но с этими понятиями, совершенно искренними, уживались самые мелочные, вовсе не свойственные рыцарю расчеты. Это происходило, впрочем, не из скарденности, ибо деньги он бросал иногда совершенно зря, а от страсти хлопотать, которая составляла отличительную черту его характера. А так как имение было огромное и было к чему приложить руки, то здесь он давал себе полную волю и наслаждался этим безгранично. Как-то раз зимою он уезжал из Тамбова в деревню. Его спрашивали, куда он так

* Армида – героиня произведения итальянского поэта Т. Тассо (1544–1595) «Освобожденный Иерусалим» (1595).

спешит. «Как же мне не спешить? – отвечал он. – Ведь там я все, а здесь ничего!» В свое имение он был так влюблен, что его приятели иногда над ним потешались. У Баратынских в доме были две маленькие девочки, которых Сергей Абрамович звал Фероской и Атроской. Одну из них он научил особенного рода географии. Когда приезжал Соловой, он в присутствии последнего делал ей экзамен: «Какие главные города Солововского царства?» И та скороговоркой отвечала затверженный урок: «Карай, Салтыки, Горюшка, Царевка, Ледавка, Маркунья, Гречушка».

Особенную страсть имел Соловой к мельницам; он их строил, перестраивал, запруживал с огромными хлопотами и издержками, толковал о них без конца, и все это приносило только убыток. С таким <же> увлечением и часто с столь же малым толком принимался он и за всякие другие дела: у него был значительный конный завод, большая винокурня; он сам по своим селам держал кабаки, ибо не хотел терпеть в своих пределах никого постороннего, строил, сажал, держал летом тридцать человек «для барской глупости», как он сам выражался. На своей усадьбе он воздвиг бесчисленное множество надворных строений, разбросанных как бы случайно; только дома не построил, уступая настояниям жены и отца, а ограничился положением громадной каменной лестницы от фундамента к реке, сам же жил в старой конторе, прилаженной к потребностям семейства, к которой он приделал большой и прекрасный зимний сад, единственное, что ему вполне удалось. Вообще вкуса было мало, а в знаниях был часто недостаток, но он все хотел делать сам, ни с кем не советуясь; в этом состояло его главное наслаждение. И так как все обыкновенно у него делалось по случайному внушению, без всякого общего плана, то выходили иногда совершенные несообразности: никак нельзя было догадаться, какими он руководствовался соображениями. Случались даже и катастрофы. Однажды в самый день именин жены, который всегда праздновался очень пышно, обрушился огромный, воздвигнутый им по собственным планам свод для винного подвала и задавил двенадцать человек рабочих. Разумеется, он щедро вознаграждал семейства.

Но и вверялся он некстати. Ловким людям нетрудно было его обойти. Раз один из его управляющих заключил с соседом формальный договор, по которому Соловой обязан был ежегодно с большими издержками прудить чужую мельницу, которая его самого подтопляла. Пришлось вести процесс по поводу убытка, который он сам себе наносил. Другой поверенный сделал еще хуже. Влюбленный в свое имение, Соловой всячески старался его округлить. Во время межевания он искал каких-то документов, которые, по его убеждению, давали ему право на значительную прирезку, и хитрый делец взялся их добыть. Документы действительно были отысканы в Межевой кан-

целярии. Соловой заплатил за них большие деньги и был в полном восторге. Но что же оказалось? Все они были подложные, и это было опубликовано. Для Солового это был жестокий удар. Он подвергся как бы публичному позору и не только не добился желанного, но принужден был уступить гораздо более того, что от него первоначально требовали.

Особенную гласность старался придать этому делу губернатор Булгаков, который терпеть не мог Солового вследствие происшедшего между ними столкновения, характеристического для обоих. Оно произошло в Карауле. Булгаков гостил у моих родителей, и туда же приехал Соловой. После обеда, среди оживленного разговора, Соловой упрекал Булгакова в том, что он не обращает достаточного внимания на его разные представления как предводителя дворянства. Булгаков, раздосадованный и разгоряченный вином, с свойственной ему бесцеремонностью воскликнул наконец: «Да наплевать мне на Ваше предводительство!» – «А мне наплевать на Ваше губернаторство!» – спокойно отвечал Соловой. Тот опешил, встретив такой неожиданный отпор. «Я вовсе не хотел Вас обидеть», – сказал он. «Если бы Вы хотели меня обидеть, – отвечал Соловой, – то у меня был бы другой ответ: на это у Солового есть шпага. Но Вы обидели то сословие, которого я состою представителем, а этого я не могу спустить». Их старались примирить, и с виду это удалось: на следующий год они даже в тот самый день съехались опять в Карауле. Но Булгаков воспользовался первым удобным случаем, чтобы выместить свою досаду.

Жена Григория Федоровича Наталья Андреевна, рожденная Гагарина, иногда приезжала летом к мужу, а он зимою ездил к ней в Петербург. Но с моими родителями она редко видалась; помню ее всего два раза в Карауле. Привычки, понятия и интересы великосветской львицы мало приходились к нашей провинциальной среде. Поэтому в то время ее здесь не жаловали. Сергей Абрамович говорил даже, что между Марою и Караулом сделался опасный проезд, выросла гора. Но пришло время, когда в этой женщине, всей устремленной на светские удовольствия, проснулось живое материнское чувство. Она чаще стала жить с мужем и детьми в деревне, а когда она выдала замуж своих дочерей, она совершенно основалась в наших краях, уезжая только на зимние месяцы. Под влиянием новых чувств и новой среды вся нажитая с младенчества великосветская мишура отпала; под нею оказалось горячее сердце, чуткое ко всему доброму, способность быть искренним, неизменным другом, с полным доверием открывающим свою душу, постоянное желание одолжать других, и притом всегда с тончайшею деликатностью. Пользуясь большим достатком, она не только охотно дает деньги всякому, кто к ней обращается, но и сама с участием предлагает их

своим друзьям, когда может предположить, что в них есть нужда, ставя при этом только одно непеременимое условие: не давать расписок и не платить процентов. «J'oblige mes amis, mais je ne prête pas à interest*, – говорит она. Однажды моя жена уехала в Малороссию на свадьбу сестры, а я через некоторое время должен был следовать за нею. Мы не хотели везти в такую даль свою маленькую дочь и оставили ее на попечение Натальи Андреевны. Уезжая, я благодарил ее за дружеское одолжение. «C'est a moi de vous remercier, – отвечала она. – Vous me confiez ce que Vous avez de plus cher au monde»**. А в минуты горя никто не умел сказать такого душевного, идущего к сердцу слова, как эта прежняя модная красавица. «Знаете ли, – говорил я однажды Софье Михайловне Баратынской, – кто после смерти моей дочери написал мне письмо, которое всего более меня тронуло? Наталья Андреевна!» «Представьте, – отвечала мне Софья Михайловна, – что после смерти сына я испытала то же самое. Кто бы мог это ожидать от женщины, некогда всецело преданной свету?» Понятия в известные лета при недостатке надлежащего воспитания, конечно, трудно переработать, поэтому у Натальи Андреевны проскальзывают иногда странные суждения. Но рядом с этим неожиданно проявляется удивительно здравый смысл, спокойный и трезвый взгляд на вещи; а все, что может подсказать сердце, все пошло впрок. С моими родителями она в молодости не могла сойтись, но в старости мы с женою пользуемся сердечным ее расположением и с своей стороны питаем к ней искреннюю любовь и уважение.

Были, однако, соседки, с которыми моя мать могла сблизиться. В пятнадцати верстах от Караула жила Вера Николаевна Воейкова, рожденная Львова. Она была родная племянница второй жены Державина и воспитывалась в доме знаменитого поэта. Замужем она была за жандармским полковником Воейковым, который был вовлечен в падение Сперанского***. По выходе его в отставку они поселились в деревне, унаследованной от родственника, и Вера Николаевна рассказывала, что некоторое время она жила в карете, пока не был готов флигель, который назначался для их житья. Муж ее давно умер; вдова же, выдавши дочь замуж и поместивши сыновей в Царскосельский лицей, осталась жить в деревне, где усердно занялась хозяйством и отлично устроила свои дела. Из своего степного голого местечка она сделала все, что можно было сделать: насадила прекрасный сад, построила в память мужа прелестную церковь, ко-

* Я оказываю услуги моим друзьям, но не даю денег под проценты (фр.).

** Это я должна Вас благодарить. Вы доверяете мне самое для Вас дорогое (фр.).

*** 12 марта 1812 г. Михаил Михайлович Сперанский (1772–1839) был отправлен в ссылку по обвинению в государственной измене. Большую роль в его падении сыграл тогдашний министр полиции А. Д. Балашов.

торая, возвышаясь против дома за небольшим прудом, окруженным высокими деревьями, придает всей местности чрезвычайно изящный вид. Сама она была старушка весьма живая, толковая, словоохотливая, с светскими манерами, но с меньшим образованием, нежели можно было ожидать по литературной среде, в которой она возросла, и к тому же имевшая привычку, так же как Пильховский, постоянно восторгаться по пустому.

Старший сын ее Леонид Александрович по выходе из Лицея служил в военной службе, в сороковых годах тоже приезжал в деревню хозяйничать, а впоследствии, женившись, совсем в ней поселился. Он бывал у нас, но в то время мало сближался с нашей семьей. По летам он был гораздо моложе отца и старше нас. Притом в молодости у него были черты не совсем приятные: некоторая свойственная иногда молодым людям резкость и самоуверенность, с выставляющимся напоказ уважением к деньгам. Однажды при мне на вопрос моей матери, что он более ценит в жизни, он резко отвечал: «L'argent, Madame»*. Такие выходки меня от него отталкивали. Впоследствии я встречался с ним в земстве и очень с ним сближился, нашедши в нем человека хотя невысокого ума и несколько упорного характера, но вполне доброго, честного, прямого, рыцарски благородного, притом искренно преданного общественному делу, и на которого всегда можно было положиться. К этим высоким качествам присоединилось и то, что он был хороший хозяин и умел отлично управлять своими и чужими делами. Так резкие черты молодости сглаживаются иногда под старость, и открывается внутренняя сущность, которая скрывалась под не совсем привлекательной оболочкой.

Еще более моя мать сблизилась с другою соседкою, жившею от нас в двадцати пяти верстах в селе Каравайне с Софьей Николаевной Ивановой, рожденной Сандуновой. Она была дочь знаменитого юриста и профессора Московского университета**. От отца она получила глубокое уважение к образованию, много читала, постоянно пополняла свою библиотеку. Когда я поступил студентом в университет, я должен был ежегодно составлять для нее список книг, преимущественно исторических, которые она тотчас выписывала. Сама она была женщина добрейшая, ласковая, приветливая, с живым разговором, приправленным тонкими шутками, страстная любительница цветов. При всегдашнем ее радушии и гостеприимстве все охотно к ним ездили, и она всех умела угощать отлично. Повар был от Рахманова, который, пока жил в Калуге, был им сосед и приятель, провизия всегда самая лучшая, вина отборные. В день ее именин 17 сентября у них бывал огромный съезд и разливанное море.

* Деньги, мадам (фр.).

** Сандунова Николая Николаевича.

Муж ее Петр Степанович, отставной капитан, совершивший поход двенадцатого года, был человек старого времени, ограниченный и крутого нрава; но она втихомолку, делая вид, что во всем ему покоряется, так умела прибрать его к рукам, что он, расхаживая петухом и воображая себя командиром, в сущности, делал все, что она хотела. Она успела даже внушить ему уважение к просвещению. Он постоянно, хотя и без большой пользы, читал серьезные книги, исторические, а иногда даже философские, в которых ровно ничего не понимал. В особенности же он любил с тонким видом вести политические разговоры.

С ними в то время жила и ее сестра Надежда Николаевна, впоследствии вышедшая замуж за Белостоцкого, но скоро разъехавшаяся с мужем. Это была девушка очень умная и образованная, хорошо говорившая по-английски, коротко знакомая с английскою литературою, с скромными, сдержанными приемами, но отличная наездница. Неудачный брак увлек ее в другую сторону. Она получила какое-то презрение к людям, а вместе и стремление к материальному приобретению, в котором она видела практически полезную цель. Действительно, она успела приобрести порядочное состояние; самое Каравайно перешло к ней после смерти стариков. Там она завела большой конный завод, который был единственною ее страстью. Но все это кончилось весьма печально. Она вверилась сыну, с которым нянчилась с ранних лет, которого она провела через университет, женила и развела, но который вышел совершенно пустым малым. Он тайно от нее замотался, наделал долгов, и неожиданно для всех наступил крах. Она в отчаянии, видя крушение всего, чему она отдала свою жизнь, наложилась на себя руки, открыв себе вены в ванне, по примеру Сенеки, но была спасена. Имение все перешло к кредитору, а она осталась в совершеннейшей нищете.

К более или менее близким соседям принадлежала и семья Алексея Ивановича Сабурова, проживавшая летом в Лукине, в восемнадцати верстах от Караула. Позднее, как сказано выше, в семи верстах от нас поселился в селе Алатырке Жемчужников, что для отца, уже стареющего и больного, было большим сердечным удовлетворением, ибо ни с кем он так коротко не сходил, ни с кем не был в таком общении мыслей, вкусов и взглядов. Свидания были почти ежедневные; то они бывали у нас, то мы у них. Но и более отдаленные соседи почасту гостили в Карауле. Приезжали Хвоцинские, Ковальские, Вышеславцевы, Яков Иванович Сабуров. Нередко гостил и Баратынский, которого приезд всегда вызывал общую радость и оживление. В первые годы приезжали и Кривцовы, чаще он один, реже она с расцветшею уже в полной красе дочерью. Здоровье Катерины Федоровны в это время сильно расстроилось, и она с трудом могла предпринимать далекие поездки. Кривцов же на первых порах был глав-

ным советником по устройству усадьбы. Отец в этом деле имел еще мало опытности, а между тем надобно было все почти перестраивать заново, ибо старая и тесная караульская усадьба вовсе не подходила к потребностям нашей семьи. Кривцов по этой части был мастер, и он охотно приходил на помощь своим друзьям. В его письмах встречаются указания и наставления относительно самых мелочных потребностей построек: где и в каком направлении поставить надворное строение, на какую глубину копать фундамент, какой толщины и какого размера делать рамы. Он сам во время поездок в Москву и Петербург делал закупки для отца; иногда он приезжал надсматривать за работами, а в 1842 году, когда отец уехал на торги в Петербург, он принял все постройки в свое распоряжение. По его плану выстроен был сначала деревянный флигель для гостей, впоследствии надстроенный братом и перевезенный в имение его жены, куда он переселился, затем каменный флигель для кухни и жилья; но тем, к несчастью, и ограничилось драгоценное содействие этого замечательного человека. Летом 1843 года пришло совершенно неожиданное для всех известие, что Николай Иванович скончался. Он был болен всего три дня и по обыкновению никому о том не говорил. Его смерть поразила всех как громовым ударом. Для друзей это была незаменимая потеря; всякий понимал, что подобного человека он в другой раз в жизни не встретит. Обрушился один из коренных столбов тесного кружка мыслящих людей нашей местности.

Но еще несравненно большим ударом это было для Екатерины Федоровны, которой все существо переплелось с любимым человеком. Эта слабая и больная женщина долго пережила своего с виду атлетического мужа; но жизнь ее с тех пор была только непрерывным плачем о прошлом. Все ее письма к матери наполнены невыразимой грустью. Даже когда несколько лет спустя дочь ее вышла замуж, она с глубоким сокрушением признавалась, что не в состоянии разделить ее счастья. «Мое сердце так одиноко, – писала она, – и даже при виде счастливой Сонечки оно как бы укутано в саван моего бедного дорогого Кривцова: так иногда и почти всегда грустно, что часто сил нет! Я чувствую себя гадкой, неблагодарной к Провидению, ведь я никогда не была эгоисткой. Теперь я ей стала. Сонечка счастлива! Неужели мне этого мало? Нет, нет, уверяю Вас, моя дорогая. Никто и ничто не находится в мире со мной. Любичи совсем другие, я совершенно одна и не чувствую привязанности ни к кому, я даже не хочу более здесь оставаться, все безразлично*. Куда Бог пошлет, как он устроит, воля его!» Однако она с Любичами не рассталась, а все более и более привязывалась к этому месту, где протекали все лучшие годы ее жизни, где схоронен был тот, который, по ее выражению, как величавый дуб,

* В подлиннике по-французски.

осенял ее своим покровом. Здесь она прожила почти в полном одиночестве большую часть времени до своей смерти. Насилу дочь могла вызвать ее в Петербург, где она и скончалась. Тело ее привезли в Любичи и положили рядом с мужем. Оба они спят в построенной Кривцовым уединенной часовне, среди пустынных степей. Никто не приходит поклониться одинокой могиле; Любичи, перешедшие в чужие руки, давно перестали быть притягательным центром. Но поныне еще для меня, старика, эти два имени, столь знакомые мне с детства, Николай Иванович и Катерина Федоровна, звучат как святое предание о блаженных временах, как память о быте давно исчезнувшем и которого отдаленные отголоски все более и более теряются среди новой жизни и новых людей.

После смерти Кривцова главным советником и помощником при устройстве Караула сделался Баратынский, которого архитектурному вкусу и знаниям отец вполне доверял. По его плану и рисунку был построен обширный каменный конный двор в виде зубчатой крепости, с большими готическими воротами, с двухэтажными флигелями для прислуги. Из Мары был также заимствован рисунок купальни, поставленной в углу сада. Но насчет дома отец решился прибегнуть к московскому архитектору. Постройка дома должна была завершить собою переустройство усадьбы, и к этому заранее готовились все нужные материалы. За несколько лет из Моршанска привезен был отборный сосновый лес, ибо отец не хотел строить каменного дома, опасаясь холода и сырости. Скуплены были старые дубовые избы для паркетов и рам. В основание проекта положен был составленный Кривцовым план для деревянного дома Бологовских, но для расширения его, согласно с своими потребностями и вообще чтобы дать строению надлежащий вид, отец обратился в Москве к весьма знающему и талантливому архитектору Миллеру, бывшему тогда профессором в Училище живописи и ваяния. Миллер, получив нужные указания, выработал план дома со всеми подробностями, и, когда все было готово, в несколько месяцев обширное здание как бы выросло из земли. В то время, в <18>49 году, мы с братом Василием выходили из университета. Приехав в Караул после экзамена, мы увидели новый дом уже под крышею, а к Покрову мы совсем перешли в него на житье. Мебель, бронза и камин для гостиной были перевезены из тамбовского дома, который тогда же был продан. По старому обычаю новоселье было отпраздновано съездом гостей и фейерверком, устроенным Баратынским, который приехал со всею семьей. И он и отец мой часто любовались этим завершением многолетних дум и труда. И точно, дом вышел удобный и красивый. Это не было случайно возникшее здание, которое расширялось и перестраивалось по мере возникших надобностей. Все тут было заранее и задолго обдуманно, рассчитано и приспособлено к потребностям

большого, но живущего в довольстве семейства. Тут была общая мысль, были знания и вкус, а потому хозяева могли быть вполне довольны результатом. Лучшего поселения для помещичьей жизни, обставленной достаточными удобствами и даже <с> некоторой роскошью, нельзя было желать.

Отец занялся и садом, к которому он особенно пристрастился в последние годы своей жизни. В старом саду делать было нечего; но перед домом простиралась к заливу пустынная гора, не представлявшая ничего, кроме навозных куч, поросших бурьяном. Здесь работы предстояло так много, что даже Кривцов не считал возможным обделывать эту гору без значительных издержек. Поэтому на первых порах отец ограничивался тем, что выравнивал площадь около дома и кой-где делал посадки, соображаясь с общим характером местности. После смерти Кривцова он, по примеру последнего, пригласил из Пензы Макзига, который приезжал в Караул несколько лет сряду, разбив сад, назначал места для посадок и присылал из пензенского казенного рассадника нужные деревья и кустарники. Не только отец, но и я, будучи уже студентом, ходил с ним всюду и с величайшим интересом следил за всеми его работами, научаясь у него правилам и приемам пейзажного садоводства. Тут я понял, каков должен быть изящный изгиб дорожки, как следует располагать группы и массивы. Я увидел, что это – настоящее искусство, представляющее удивительно привлекательные стороны, и сам сильно пристрастился к этому делу. Гуляя и беседуя с Макзигом, нетрудно было заразиться этою страстью. Он был садовод из ряда вон выходящий, образованный, с знанием, вкусом и талантом. Небольшого роста, толстенький, живой и словоохотливый, он без устали бегал вниз и вверх, все высматривая, и объяснял на ломаном русском языке, останавливаясь на каждой точке зрения, что для полноты картины следует открыть и что закрыть так, чтобы окружающая местность с простирающимися вдаль видами представляла как бы продолжение сада и гуляющий мог бы с различных точек получать разнообразные впечатления. С таким мастером новый сад мог действительно отвечать всем желаниям хозяина. Каждое дерево, каждый куст были посажены с мыслью и толком; все было обдуманно и расположено со вкусом. Отец наслаждался им вполне. С какою любовью следил он за своими посадками, наблюдая за ростом каждого деревца, придумывая все новые и новые украшения. Ежедневно видели мы его гуляющего после обеда с своею палкою в каком-то тихом упоении; то он останавливался на выдающемся месте, то садился на разные скамейки, чтобы любоваться видом дома или расстилающейся перед ним облитой вечерним закатом прелестною перспективой окрестности. Все им задуманное и с таким постоянством созидаемое в течение многих лет принимало все лучший и лучший вид и мало-помалу приближалось к тому, что носилось перед его воображением.

И ныне, когда я по его примеру гуляю по своему саду, где каждое место и каждое дерево знакомы мне с детства и будят во мне целый рой воспоминаний, когда я вижу, как все это с тех пор еще более разрослось и украсилось, я постоянно думаю про себя: как бы этим любовался отец? что бы он сказал, увидев свой Караул достигшим той полноты художественного впечатления, о которой он мечтал? С теми же мыслями брожу я по комнатам дома, где каждый предмет говорит моему сердцу и ведет со мною беседу о старине. И в эти минуты мне кажется, что тут, рядом со мною, мелькают освященные тени, любуясь так же, как я, всем оставленным ими и всем сделанным после, благословляя всякое новое дело и наказывая потомству благоговейно оберегать полученное от них достояние. Священные предания семьи! С ними связано лучшее, что есть в человеческой жизни, но они становятся еще вдвое крепче и еще глубже проникают в душу, когда они сосредоточиваются около родного гнезда, где все так дорого и так близко, где все так живо напоминает и тех, кого любил, и собственные невосвратимо ушедшие годы, невинное детское веселье, увлечения юности, все радости и горе, которые довелось испытать в течение минувшего века. Да, домашний очаг, переходящий из рода в род со всем окружающим его миром, с могилами отцов, с преданиями старины, составляет одно из драгоценнейших состояний человека. И кому удалось создать такой центр и передать потомкам связанный с ним нравственный дух, тот может сказать, что он на земле совершил великое и святое дело. Благо стране, в которой есть много таких передаваемых от поколения к поколению центров! Они служат для нее источником устойчивых сил и рассадником людей. Это элемент, которого ничто не может заменить. Общество, в котором он утратил свое значение, теряет необходимое равновесие и предается на жертву смутам и колебаниям. Не говоря о безумных мечтах людей, отвергающих поземельную собственность. Они обличают совершенное непонимание коренных условий человеческого общежития.

В 1852 году мои родители праздновали в Карауле свою серебряную свадьбу. Съехалось множество родных и друзей изблизи и издалека. За обедом отец мой, поднимая бокал, сказал от глубины сердца: «Я прожил двадцать пять лет так счастливо, как только может жить человек. Желаю каждому из своих сыновей прожить так же, как я».

И точно, лучшего желать невозможно. Достигши шестидесятилетнего возраста, много странствовав по белому свету, видевши вблизи самые разнообразные сферы, до самых высших, я, с своей стороны, могу сказать: лучше старого русского помещичьего быта, при широком довольстве, при счастливых семейных условиях, я ничего не видал.

Мое детство

Описание моего детства может иметь некоторый интерес как указание на то воспитание, какое можно было в то время получить в провинции, ибо до семнадцати лет, т. е. до поступления в университет*, я почти безвыездно жил в Тамбовской губернии. Для меня оно имеет и другое значение, побудившее меня распространяться о том, может быть, более, нежели следует. Мысленно переношусь в давно прошедшие времена, в лучшие свои годы. В душе моей возникают милые дорогие сердцу образы, воскресает золотой век на заре личной жизни. И детские радости и невинное детское горе представляются в тихом сиянии невозмутимого счастья. И это не мечта воображения, как золотой век поэтов. Нет, такова была действительность. Все в ней было направлено разумом и окружено любовью; все было полно, и светло, и согласно. Я не вынес из своего детства ни одного скорбного чувства и ни одного тяжелого впечатления.

Семья наша была очень многочисленная. Нас было семь братьев и одна сестра, младшая из всех**. Между мною, старшим, и сестрою было одиннадцать лет разницы, остальные размещались в промежутке, отстоя друг от друга всего на год или на два, причем трое старших, все погодки, составляли отдельную группу и воспитывались вместе. Из всей семьи умер один только ребенок, младшая из всех сестра, которая жила всего несколько недель, после чего детей уже не было. Остальные были живы, здоровы и возрели в полном благополучии. Можно себе представить, какое оживление было в доме, какая резвость и веселие при стольких ребятишках, которым жить было привольно под ласковым попечением родителей, хотя баловства мы не знали, не играли в доме первенствующей роли и никогда не мешали занятиям и беседам старших. За столом мы сидели смиренно, я всегда возле отца, и не вступались в разговоры; в гостиной, когда были гости, не ходили, а тешились и веселились в своей детской или классной.

* Б. Н. Чичерин поступил в Московский университет в 1844 г.

** Борис, Василий, Владимир, Аркадий, Андрей, Сергей, Петр, Александра (в замуж. Нарышкина).

Самые ранние мои воспоминания восходят к умётской жизни и носят на себе характер литературный. Я помню себя четырёхлетним мальчиком, сидящим на диване в умётской гостиной и внимательно слушающим Павлова, который, сидя возле меня, читал мне «Тришкин кафтан». Помню также отца, читающего мне басню «Госпожа и две служанки», которая восхищала его своей художественностью. Впрочем, в то время я сам уже умел читать. Мать выучила меня грамоте, и первую и любимейшею моею книгою были басни Крылова. Они не выходили у меня из рук; я их постоянно перечитывал и многие знал наизусть. К стихам я вообще был очень восприимчив и легко их заучивал. По рассказам родителей, меня иногда еще совсем малюткою сажали на стол, и я декламировал стихи из недавно вышедшего «Бориса Годунова» и другие стихотворения. Особенно восхищался я «Конем» Языкова, некоторые строфы которого с того времени сохранились в моей памяти. Я упивался этими образами и звуками и с восторгом повторял:

Скачет, блестящий очами,
Дико голову склонил;
И по ветру он волнами
Долгу гриву распустил.*

Такие впечатления запавшие в душу ребенка, оставляют по себе неизгладимые следы. Когда я сам впоследствии сделался отцом, я вспомнил свое детство и снова открыл басни Крылова, которые много лет не брал в руки. Я был очарован их тонким юмором, их художественною отделкою, их глубоким проникновением в человеческую душу, наконец, их чисто русским складом, которые делают их неоцененным сокровищем для воспитания в настоящем русском духе. Я читал их своей дочке, которая также их любила и твердила наизусть; но от этого, увы, кроме вечной живой сердечной раны, ничего не осталось.

Физически мне на первых порах хотели дать воспитание несколько спартанское. Павлов однажды пришел в ужас, увидев меня бегающим босиком по морозу. Я сам помню, как мы в Умёте с босыми ногами барахтались в лужах. Однако эта система была скоро оставлена, не знаю почему. Впоследствии нас всегда держали в некоторой доле, хотя без преувеличения.

В эти годы мы были всецело на руках русских нянек, разумеется из крепостных. Но моя личная няня, женщина средних лет, очень мягкая и добрая, рано от меня отошла. Она влюбилась в молодого парня из наших же дворовых и, с разрешения моих родителей, вышла за него замуж. Он долго служил у нас в доме дворецким и буфетчи-

* Строки из стихотворения Н. М. Языкова «Конь» (1831) приведены с неточностями (См.: Языков Н. М. Стихотворения и поэмы. Л. 1988. С. 270).

ком; впоследствии, уже вдовцом, он был уволен с предоставлением права искать себе места, когда узнали, что он был подкуплен московскою полициею, чтобы следить за нашими студенческими собраниями. Но мне как ребенку он памятен в особенности своею страстью к птицам. Между прочим, он вынашивал ястребов и охотился с ними за перепелками, ловил также перепелов в сети под дудку – увеселения, бывшие некогда в большом ходу между дворовыми, которым делать было нечего, но совершенно исчезнувшие ныне. У него всегда было множество домашней птицы и лягавые собаки. Я несказанно любовался красивым и статным хищником с поперечнополосатою грудью, с острым и смелым взглядом, сидевшим у него на руке, и с восторгом слушал его рассказы о приметах различных пород и о прелестях охоты. Сам я охотником не сделался, но страсть к птицам впоследствии развилась во мне в сильной степени.

С переездом в Тамбов нам взяли гувернантку, мадам Манзони, для обучения главным образом французскому языку, но также и разным элементарным наукам. Она была какой-то смешанной народности; мать, по ее словам, была испанка, муж – итальянец. Родом она была, кажется, из Беарна или из баскских провинций, о которых всегда рассказывала с увлечением. Расставшись с мужем, она приехала в Россию искать счастья и попала в Тамбов, в частный пансион госпожи Фицтум, откуда перешла к нам. Это была особа средних лет, весьма неглупая, очень бойкая, с светскими формами и привычками, лихая наездница, притом очень занята собой, несмотря на довольно толстый нос, безобразивший ее лицо. Красуясь своими длинными белокурыми волосами, она всегда носила необыкновенные прически; утром она являлась к уроку вся в папильотках, а свою косу она громоздила в виде высокого конуса или башни, на что употреблялось довольно много времени и что приводило в отчаяние служившую ей горничную, которая никак не умела ей угодить. Характера она была капризного и имела разные причуды: она уверяла, что не может видеть жабу и арбуз, не падая в обморок. Когда случалось, что летом за столом при ней подавали арбуз, она вскакивала и стремглав убегала в свою комнату, так что ее уже заранее предупреждали о появлении этого злокозненного фрукта. А во время вечерних прогулок она каждую прыгающую лягушку принимала за жабу и кидалась из стороны в сторону в неистовых припадках.

С нами она сначала обращалась очень ласково, и так как она по своей живости умела занимать нас разными играми и сама иногда в них участвовала, то мы ее полюбили и всегда звали «*Ma bonne amie*»*. Но впоследствии капризный ее характер дал себе волю, и она начала нас муштровать по всякому поводу и нередко без всякого толку.

* Наш добрый друг (фр.).

Серьезных притеснений мы от нее, конечно, не могли испытать; в нашем доме это не допускалось. Но были постоянные мелкие придирки и несправедливости, которые нас оскорбляли. Сперва предметах ее фантастических выходов были мои младшие братья, но наконец очередь дошла и до меня.

Поводом послужила моя неподатливость разным ее затеям. Она любила не только сама наряжаться, но и наряжать детей, и это она производила с большим искусством. Однажды, когда мои родители проводили вечер у Камбаровых и за ними рано должна была ехать карета, мадам Манзони нарядила меня турком и отправила туда, давши подробное наставление, как я, войдя медленными шагами в гостиную, должен скрестить руки на груди и с глубоким поклоном произнести: «Салямалек!» Все это я исполнил с точностью. Как теперь, вижу изумленную фигуру Ивана Александровича Камбарова, который в эту минуту подносил трубку к губам и так с нею и замер при неожиданном появлении маленького турка. Мои родители, разумеется, тотчас меня узнали и расхохотались. Меня это забавляло менее, нежели гувернантку, но так как я вообще был покладистого нрава, то я позволял делать с собою, что она хотела, до тех пор пока наконец пришел случай, который возбудил во мне дух сопротивления.

Однажды за уроком гувернантка сообщила нам, что накануне было совещание по поводу предстоящего у Андреевских детского маскарада и по ее совету было решено, что мы с братом Василием, вместе с двумя девицами Сабуровыми, дочерьми Александры Петровны, составим кадрили, одетые басками, в черных курточках, в плотно облегающих коротких штанах телесного цвета, стянутых пряжками под коленом, я в красных, а брат в голубых шелковых чулках, с таких же цветов жилетами и вязаными шапочками, оба, наконец, в крошечных круглоносых башмачках с помпончиками, что, по ее словам, было чрезвычайно красиво. Гувернантка подробно и с любовью описала национальный костюм своей родины, в котором она жаждала нас видеть, а я, слушая ее, внутренно трепетал, и, когда в эту минуту вошла мать, неся показать красный и голубой шелк для будущих чулок, меня поразила ужасом перспектива явиться на бал, при сиянии огней, под устремленными на меня со всех сторон взорами с окутанными таким образом ногами, в обтяжных штанах и в башмачках с помпончиками, да еще вдобавок в первой паре под ручку с девицей. Мне казалось, что я ни за что на свете не решусь переступить порог бальной залы в этом виде. Но гувернантка была в восторге от своего изобретения. Заметив мое смущение, она старалась внушить мне, как я буду хорош в шелковых чулках, с длинными завитыми локонами, падающими из-под красной шапочки, красиво надетой набекрень. Она с услаждением говорила, что сама будет нас

одевать, прибавив, что моя дама будет мне совершенно под пару, и все будет так мило, что и сказать нельзя. Но я не только не пленялся ее изображением, а напротив, все более возмущался против сулимого мне наряда. Мое волнение еще усилилось, когда я в кабинете матери нашел бумажку с обозначением костюмов обоих кавалеров и дам. Тут под моим именем стояли роковые слова: «Culotte couleur de chair, souliers noirs, bas rouges»*. Они показались мне моим приговором. Я не мог от них оторваться, спрятал к себе бумажку и несколько дней все ее вытаскивал и перечитывал. Мне живо представлялось, как на меня будут надевать эти ужасающие меня короткие штаны в обтяжку телесного цвета, и разряженного, в завитых буклях, как у мадам Манзони, поведут на бал, где я под ручку с Катюшей Сабуровой, оба одинаково обуты в красные шелковые чулочки и в крошечные башмачки с помпончиками, буду совершать свой торжественный вход в гостиную Андреевских. Я ничего никому не говорил, но все обдумывал в своей маленькой голове, как бы мне этого избегнуть. Беда казалась неминуемой; уже пришел домашний портной Влас снять с нас мерку. Сердце во мне замерло, когда он узенькою бумажкою плотно обхватил мою ляжку и подколенок. Я решил из любопытства примерить костюм, чтобы испытать, как это будет, но затем что-нибудь учинить с собою, что бы мешало ехать. Мысль останавливалась на том, чтобы поранить себе ногу перочинным ножиком, так чтобы нельзя было обуваться.

До этого, однако, не дошло. Отмена маскарада пришла мне на помощь и избавила меня от муки; но впечатление было так сильно, что с тех пор я возненавидел всякие переряживания. Между тем гувернантка продолжала свои затеи. Вместо отмененного маскарада она вздумала нарядить нас турками, вместе с девицами Сабуровыми, и дома устроить в гостиной большое торжественное угощение. Но на этот раз я решительно отказался участвовать в представлении, сказавшись, что у меня болит голова. Пришлось заменить меня третьим братом. Мимо меня прошла вся эта костюмированная процессия, а я даже не пошел в гостиную, но остался в классной комнате, погруженный в свои любимые книги.

Меня не принуждали, но мадам Манзони сочла это непростительным упрямством с моей стороны, и с тех пор началось мелкое преследование, часто без малейшего повода, что крайне меня возмущало. Случалось, что из чистого каприза она прогоняла меня из класса, как будто я не хочу учиться, и я не знал куда деваться. Однажды она вздумала, что я сердито на нее смотрю, и за это поставила меня в угол, и когда я, огорченный несправедливостью, заплакал, она надела на меня чепчик. Но этого позора я не вынес. Видя, что мои уси-

* Бриджи телесного цвета, черные туфли, красные чулки (фр.).

ленные моления не действуют, я решительно сорвал с себя чепчик и убежал под крыло матери, куда гувернантка, чувствуя себя кругом неправую, не дерзнула меня преследовать. С тех пор она сделалась осторожнее.

К счастью, эта система мелких притеснений продолжалась недолго, ровно столько, что я мог почувствовать на себе, что такое капризный произвол в отношении к подвластным. В мою детскую душу заронилось глубокое негодование против несправедливости. В 1838 году, перед нашей поездкой в Петербург, мадам Манзони от нас отошла. При расставании она нежничала, и я расплакался. Но в душе я сохранил к ней неприязненное чувство, и, когда в следующем году она заехала к нам проездом через Тамбов, меня даже не могли уговорить пойти с нею поздороваться. С тех пор я ее не видал и не знаю, что с нею случилось.

Четырехлетнее ее пребывание в нашем доме было, однако, для меня чрезвычайно полезно. Не только она нас школила и приучала к дисциплине, но, несмотря на свой капризный характер, она была хорошая учительница. Мы скоро привыкли болтать и даже, что гораздо важнее, правильно писать по-французски. Истории и географии она учила совершенно элементарно, сообразно с детским возрастом, но толково. Главное же, что в ней было хорошо и что оставило по себе прочные следы, это то, что она старалась возбудить любовь и привычку к чтению. У нее был порядочный запас исторических и литературных книг, которые она заставляла меня читать вслух или давала мне читать про себя, т. к. я оказывал к этому большую охоту. В эти годы я впервые познакомился с произведениями Корнеля, Расина и Мольера, которые возбудили во мне, с одной стороны, любовь к героям, а с другой – чувство комизма. В то же время в прочел всю древнюю историю Роллена и приходил в восторг от великих мужей древности. Моим любимцем был в особенности Аннибал, вследствие чего я ненавидел римлян. Как я ни пленялся Цинциннатом, которого от плуга призывали к диктатуре, Фабрицием, отвергающим дары самнитов, Регулом, который для сдерживания данного слова добровольно возвращался на мученическую смерть, но с горькою судьбою Аннибала и с разрушением Карфагена я не мог примириться со взятием Афин Лизандром*. Помню

* Аннибал (Ганнибал) (ок. 247 – 183 до н. э.), карфагенский полководец, в течение 15 лет вел борьбу с Римом на Апеннинском полуострове. Римский консул Марк Регул в 225 г. до н. э. был взят в плен спартамцами, где умер (248 до н. э.). Цинциннат Луций (ок. 519 до н. э. – ?), по преданию прямо из деревни призван исполнять обязанности диктатора (458 – 439 до н. э.), считался образцом скромности и доблести. Фабриций (III в.), консул в Риме, в 282 г. воевал с самнитами и захватил большую добычу. Лизандр (Лисандр) (V – IV вв. до н. э.), спартанский полководец, захвативший в 404 г. до н. э. Афины.

также, что я прочел какую-то историю Соединенных Штатов. Меня очень занимала их борьба с Англией, которая напоминала мне войны греков с персами*. Я восторгался высоко нравственным образом Вашингтона, которого портрет висел у отца в кабинете. С жадностью прочел я также историю освобождения Греции и воодушевлялся подвигами Боциариса, Канариса и других героев греческой независимости**. Кроме того, из открывшейся тогда в Тамбове публичной библиотеки мадам Манзони взяла для нас собрание путешествий Кампе, и я прочел чуть ли не все пятьдесят томов этого сборника. Я очень увлекался описанием путешествий, переносился воображением в великолепные страны юга, представлял себе разнообразных животных и растения, которыми они изобиловали, и мне самому хотелось испытать приключения мореплавателей. Разумеется, не забыт был и «Робинзон Крузо», а за ним и «Швейцарский Робинзон»***, которые были для нас источником истинных наслаждений. Гувернантка достала мне также небесную карту и вместе со мною отыскивала созвездия, которые я изучал с большим интересом.

В то же время было и русское чтение. Кроме Крылова, нам с ранних лет давали сочинения Жуковского в стихах и в прозе. Я их читал и перечитывал, был очарован прелестью его стиха и многое твердил на память. Так, я выучил балладу «Ахилл», которая привлекла меня образами героев Троянской войны; выучил также всю балладу «Граф Габсбургский», которую я доселе с того времени знаю наизусть. С восторгом твердил я патриотические песни двенадцатого года: «Певец во стане русских воинов» и «Певец в Кремле». Сердце мое билось за отчизну, и я с гордостью ставил русских героев наравне с греками и римлянами. Затем мне дали Карамзина, и я с увлечением прочел все двенадцать томов. Помню, как я, десятилетний ребенок, был огорчен, когда проездом через Москву в Петербург в <18>38 году я дошел до роковой фразы: «Орешек не сдавался...»**** – и не мог узнать, что произошло далее. Впоследствии уже я восполнил этот пробел чтением Устрялова; но что такое сухое, краткое, вялое изложение Устрялова перед Карамзиным! Доныне я еще чувствую недо-

* Война американского народа за независимость (1775 – 1783) вызывала у Б. Н. Чичерина аналогии с греко-персидскими войнами V в. до н. в., приведшими к расцвету республиканского строя в Афинах.

** Речь идет о героях национально-освободительного движения в Греции (1821 – 1829) против турецкого ига Марко Боциарисе (1788 – 1823) и Константине Канарисе (1790 – 1877), возглавлявших нападения на турецкие суда в Эгейском море.

*** Имеется в виду подражание Д. Дефо, написанное Виссом.

**** Этими словами обрывается последний 12 том «Истории Государства Российского» (СПб. 1829) Н. М. Карамзина.

статок хорошо написанной русской истории, доступной молодому возрасту. Соловьев дает глубокое и основательное исследование, равно необходимое для учащихся и для более зрелых учащихся, но оно не может заменить живой, увлекательный рассказ, представляющий картинное изображение прошлого и действующий на воображение юношей.

Кроме чтения, мы в это время начали брать уроки русского языка у гимназического учителя Рождественского; но он скоро умер, и об его преподавании у меня сохранились весьма смутные воспоминания.

Гораздо памятнее мне та непримиримая вражда, которая, по поводу капризного отношения гувернантки к детям, кипела между нею и живущей у нас в экономках старушкою, игравшею весьма видную роль в нашем детстве. Звали ее Надеждою Ивановной Анцифировой. Она была дворянского происхождения, рожденная Извольская, и состояла в каком-то дальнем родстве с матерью отца, которая была той же фамилии. Вследствие этого мы звали ее бабашей. Разъехавшись по неизвестной мне причине с мужем, она поселилась у нас в семье и прожила у нас до конца жизни, исполняя должность экономки. Женщина она была самая простая, никогда в гостиную не являлась, а жила в своей кладовой, выдавала провизию, отлично варила варенье и всякие лакомства, делала настойки и наливки. Ее преданность семье была безграничная; оберегание хозяйского имущества и услаждение детей составляли всю ее жизнь. Поэтому главными врагами ее были повар и гувернантка. С поваром столкновения были постоянные. Всякий день беспрерывно при выдаче провизии она приходила в остервенение от того, что на кухню забирали слишком много; раздавались возгласы, крики, брань. Но все это ни к чему не вело, ибо отец, который сам заказывал стол, не полагаясь на гастрономические способности матери, требовал, чтобы всегда всего было вдоволь, и не хотел входить в мелочные расчеты.

Другой же враг была гувернантка, которую она звала не иначе как фарзоной. Она ненавидела ее всеми силами души и ополчалась на нее всякий раз, как та осмеливалась наказать кого-нибудь из ее любимцев. Нас она обожала и голубила, как первые сокровища в мире. Мы всегда пили у нее в кладовой чай, который она сама разливала; она постоянно угощала нас всякими сладостями, сколько это было дозволено, а иногда и втайне. Но главным ее любимчиком был мой третий брат, Владимир, который с раннего детства беспрестанно витал в кладовой, заглядывал в шкафы и с особенною охотою раскладывал и расставлял по порядку всякие провизии и бутылки, вследствие чего его прозвали «хозяином». Когда мадам Манзони держала посягнуть на этого фаворита, происходила буря. Однажды при мне Надежда Ивановна с шумом ворвалась в комнату гувернантки и

жалобным голосом возопила: «Аделаида Ивановна, простите Володюшку». Получив надменный отказ, она бросилась на колена перед ненавистной фарзоной и, простирая к ней руки, продолжала умолять: «Простите Володюшку! Я сделаю для Вас все что хотите!» Но та осталась в своем непреклонном величии. Тогда Надежда Ивановна в сердцах вскочила, плюнула и хлопнула дверью. Вражда закипела пуще прежнего.

Как большая часть простых женщин, Надежда Ивановна была набожна и богомольна до чрезвычайности, постоянно ходила в церковь и строго соблюдала все посты, вследствие чего при всяком разговении объедалась и была больна. Но у нее была одна особенность, которая отличала ее дворянское происхождение: это – страсть к чтению сентиментальных романов. Раз одна из гувернанток, бывших при сестре, слышит, что Надежда Ивановна вбежала в соседнюю девичью и с отчаянием воскликнула, обращаясь к сидевшим там горничным: «Представьте, Мишель-то утопился!» Та, изумленная, выскочила, чтобы узнать, с кем случилось такое несчастье; оказалось, что это был герой одного из читанных ею романов.

Говоря о Надежде Ивановне, не могу не вспомнить и о другой старушке, которая также связана со всеми воспоминаниями детства, об упомянутой выше Катерине Петровне Осиповой. Она была замужем за толстяком Осиповым, который был гораздо старше ее и, умирая, оставил ей дом, стоявший почти напротив нашего, с большим простирающимся за ним садом. Дом она отдала внаймы, сама же поселилась в флигельке и усердно занималась своим садом, в котором собственноручно сажала и поливала цветы и взращивала плодовые кустарники. Для нас, детей, этот сад служил источником больших наслаждений. Мы часто гуляли и резвились в нем осенью и весной. Особенно в весеннюю пору нас манила густая тень старой липовой аллеи и две стоявшие недалеко от нее большие ели. Мы прислушивались к живому пению птичек, порхающих в кустах смородины и малины, и с любопытством следили за садовыми работами хозяйки, которая всегда нас чем-нибудь угощала. Наша семья была для нее как родная, дети были предметом ее обожания. Я уже говорил, что в отсутствие моих родителей она переходила в наш дом для надзора за оставшимися детьми. Впоследствии она совершенно к нам переселилась, продала свой дом и до конца своей жизни осталась неизменной спутницею моей матери. Обе они скончались на расстоянии немногих дней одна от другой.

Катерина Петровна была женщина доброты необыкновенной. Всегда тихая и кроткая, она на всем своем существе носила печать какой-то особенной ясности, точно теплый и тихий летний вечер. Никто никогда не замечал, чтобы голос ее возвышался, никто не слышал от нее резкого слова. Однако же когда она хотела, она умела сво-

ей спокойною твердостью внушить к себе уважение и заставить делать то, что она считала нужным. На мою мать, особенно в последние годы ее жизни, когда она была уже слепой и беспомощною старухой, Катерина Петровна имела огромное влияние. Обладая большим здравым смыслом, она умела кротко и тихо успокаивать ее волнения. Для себя она ничего не требовала и не искала, а смотрела на жизнь как на божий дар, которым надобно пользоваться с невозмутимым благоговением, в ожидании лучшего бытия. Смолоду воспитанная в глубочайшей набожности, свято соблюдая все уставы церкви, она не пропускала ни одной службы, ни одного поста; благолепие церковного служения было одним из главных наслаждений ее жизни. Но у нее было и поэтическое чувство природы: она очень любила цветы, и нельзя было сделать ей большее удовольствие, как подарить букет. Дома она говорила мало, а большею частью сидела спокойно за какою-нибудь работою. Одним словом, это было существование, насквозь проникнутое какою-то прозрачною теплотою сердца, которая, казалась, не оставляла места ни для каких житейских волнений.

Со времени поездки в Петербург мы поступили уже под мужской надзор. Там приставили к нам рекомендованного кем-то немца, полугувернера и полудядьку, который должен был за нами смотреть и учить нас немецкому языку. Звали его Федор Иванович Дюмулен. Он был уроженец саратовской колонии Сарепта, человек лет тридцати с небольшим, несколько дубоватой наружности, белокурый, горбоносый, тщательно причесанный, с небольшими усами. Образования он не имел никакого, но был совершенно пригоден для той должности, которую он призван был исполнять. Молчаливый и хладнокровный, он, казалось, недоступен был никаким душевным движениям; по крайней мере, мы ничего подобного не могли заметить в течение довольно долгого времени, которое он пробыл в нашем доме. Но аккуратности он был непомерной и самым тщательным и добросовестным образом исполнял все, что на него возлагалось. В комнате у него все было прибрано и расставлено в неизменном порядке и в безукоризненной чистоте. Летом не допускалось даже присутствие мух. С этой целью у него и днем и ночью окна были затянуты сетками, а дверь завешана пологом, и, если случалось, что какая-нибудь легкомысленная муха проникала в это святилище, неумолимая хлопучка преследовала ее до тех пор, пока она падала жертвою своего дерзновения. С такою же неизменною точностью исполнял он и все возлагаемые на него поручения и не только этим не тяготился, а напротив, любил, чтобы ему давали комиссии, и щеголял своею аккуратностью в исполнении. Зато не было для него большего удовольствия, как подметить какой-нибудь беспорядок в хозяйстве; он с тонкой усмешкой об этом рассказывал, давая почувствовать, что при

надлежащей аккуратности этого не могло бы случиться. Он любил, впрочем, вечером поиграть с приятелями в карты, причем почти всегда выигрывал, и был также большой поклонник женского пола. Но об этом мы в то время ничего не знали, и это отражалось на нас лишь тем, что иногда, против своего обыкновения, он сердился, когда мы засиживались за положенный час. Только впоследствии, когда он от нас отошел, оказалось, что он влюбился в одну из горничных, которой единственная прелесть состояла в округлых формах и белизне кожи. Он стороною, через родных, ее выкупил и на ней женился.

И при всем том у этого сухого, дубоватого и материального человека была черта, которая как будто не клеилась со всем остальным. Может быть, вследствие происхождения из степной глуши, у него было живое чувство природы. Он любил водить нас гулять по красивым местам, сам наслаждался и видами и воздухом. Летом же в Карауле аккуратно каждый день, в один и тот же час после обеда, он выходил на выгон, который нравился ему своею ровною поверхностью, и шел к лугам, где, лежа на вершине спускающегося к ним холма, любовался захождением солнца и мирным зрелищем возвращающихся деревенских стад.

Мы Федора Ивановича нельзя сказать, чтобы любили, и нельзя сказать, чтобы не любили, а смотрели на него как на какую-то машину, роковым образом управляющую нашими действиями. С этим мы и свыклись, ибо, хотя в нем не было ничего, что бы нас привязывало, зато мы не ощущали и притеснений. Урок он давал нам с тою же неизменной аккуратностью, всякий день с восьми часов утра до десяти. Один день был перевод, другой диктовка; и это продолжалось безостановочно в течение шести лет. Находясь с ним в постоянном общении, мы скоро выучились порядочно болтать по-немецки, и я писал почти безошибочно. Но знакомства с литературою мы, конечно, от него не могли получить. Только в <18>43 году, когда отец поехал один на торги в Петербург, он привез мне полное собрание сочинений Шиллера, и я жадно принялся читать. С восторгом прочел я сначала все драмы, от первой до последней, затем баллады, из которых некоторые были уже мне знакомы из переводов Жуковского, наконец исторические сочинения «Историю Тридцатилетней войны» и «Восстание Нидерландов».

Одним Федором Ивановичем нельзя было, однако, довольствоваться. Относительно французского языка кое-что пополнялось уроками доброго Корне, оставшегося в Тамбове пленного двенадцатого года. Мы с ним долбили грамматику Левизака. Он дал мне прочесть очень увлекшую меня историю крестовых походов Мишо* и какие-то фолианты римской истории с картинками, в которую я совсем

* Мишо Ж. Ф. История крестовых походов. СПб. 1822 – 1836. Ч. 1 – 5.

погрузился. Но все это было слишком поверхностно. Надобно было искать настоящего гувернера. За этим мать обратилась к своему бывшему воспитателю Конклеру, который жил на родине в Сен-Галлене. По его рекомендации в 1840 году прибыл к нам новый гувернер, голландец Тенкат. Это был человек уже пожилых лет, низенький, толстый, в очках, с редкими волосами. Фигура была совершенно голландская, но характер был вовсе не голландский, а напротив, чрезвычайно живой, вспыльчивый и подвижный, с большим юмором и некоторой язвительностью. Он обладал широким и разносторонним образованием, много видел, много путешествовал. Родом из Амстердама, он долго жил в Париже в самую блестящую эпоху парижской жизни, несколько лет провел в Соединенных Штатах, наконец, судьба забросила его учителем в Швейцарию, откуда он к нам и прибыл. Он отлично знал как французский, так и английский язык и литературу; в особенности он был страстным поклонником Англии, ее государственных людей, ее учреждений, ее писателей и поэтов. Преданный Оранскому дому, ненавидя Наполеона и его владычество, он в английском народе видел высший цвет человечества. Лорд Чатам и Питт* были его идеалами, Шекспир, Байрон, Вальтер Скотт, Диккенс – любимыми авторами. Поэтому его первым делом по прибытии к нам было выписать для нас все их сочинения, и как скоро мы достаточно выучились английскому языку, они сделались нашею насущною пищею. Немцев же он терпеть не мог и всегда издевался над их туманною отвлеченностью. Его ясный и живой ум не мог мириться ни с длинными, неуклюжими немецкими фразами, ни с глубокою, но не всегда удобопонятною германскою мыслью.

При таких весьма высоких для гувернера качествах у него были и удивительные странности. Я такого чудака не встречал. Старый холостяк и эгоист, он непомерно дорожил всякими материальными наслаждениями и удобствами и, не стесняясь ничем, в самых причудливых формах выражал свое неудовольствие, когда что-нибудь было не по нем. Первая его страсть была хорошо покушать. Он с неизъяснимым наслаждением и намеренною расстановкою смаковал каждое вкусное блюдо, хвастаясь тем, что он, как следует образованному человеку, ест медленно и с вниманием, а не глотает просто куски, как делают варвары. «Вот видите, – говорил он иногда, – я еще наслаждаюсь, а они уже все кончили». Отец мой однажды с некоторым удивлением услышал, как Тенкат, разговаривая с нами, воскликнул: «Croyez-Vous qu'il soit de la dignite de l'homme d'avoir moins de 24 plats a sa table?»** И так как он кушать любил со всеми удобства-

* Чатам, граф, лидер вигов. Питт Уильям Младший, лидер тори.

** Считаете ли Вы ниже человеческого достоинства иметь менее 24 блюд на столе?(фр.)

ми, то он не довольствовался обыкновенными столовыми стульями, которые к тому были несколько высоки для его коротеньких ножек, а всегда к своему месту ставил низенький, мягкий стул, на который клал еще надувную подушку. За обедом он зорко следил за обносимым блюдом, заранее отмечая самые лакомые кусочки, и бесился, когда кто-нибудь брал то, что он мысленно для себя готовил. В этом отношении он особенно ненавидел Якова Ивановича Сабурова, который, не стесняясь, клал себе на тарелку огромные порции и всегда выбирал самые лучшие куски. Был один трюфель, которого Тенкат не мог забыть в течение нескольких лет. «Представьте, – говорил он, – подают великолепные трюфели... Он, разумеется, берет самый большой, и что же? Даже не доел его, а сдал половину». Однажды Яков Иванович, спросив себе вторично какого-то блюда, иронически предложил остатки Тенкату: «Не хотите ли Вы доесте это блюдо? Еще осталось немного?» «Как? После Вас?» – воскликнул Тенкат.

Едою он любил наслаждаться и в воображении. Иногда перед обедом он приносил разные собранные во время путешествия меню, выбирал в своей фантазии тончайшие кушанья и с умильной улыбкою говорил: «Вот что у меня сегодня будет за столом». Зато всякое блюдо, которое было не по нем, всякий соус, который, по его мнению, был сделан вопреки правилам гастрономии, вызывал в нем выражение нетерпения. Сам он во флигеле, где помещался, постоянно производил всякую стряпню, приготавливая всевозможные маленькие блюда, *en cas**, как он выражался, на случаи, если он, например, проснется ночью и вдруг почувствует пустоту в желудке (*un creux d'estomac*). С этой целью, когда за обедом подавали что-нибудь, что ему было по вкусу, он накладывал себе полную тарелку и тут же отправлялся к себе в комнату. Заботливость о будущей еде простиралась и на хозяйскую провизию. На зиму нам обыкновенно присылали из деревни множество живой птицы, кур, индеек, которые бродили по двору. Тенкат внимательно их осматривал и приходил в ужас, когда ему казалось, что они недостаточно накормлены. «Как! Мы должны есть этих тощих животных! – восклицал он с негодованием. – Да это же будет битва прожорливых и жестоких!» И всякий день после обеда он собирал крохи хлеба, накладывал глубокую тарелку верхом и отправлялся кормить индеек.

Такую же важную роль, как еда, играла у него летом прохлада, ибо он, по толщине, не выносил жара. Он разделял весь человеческий род на два разряда: на прохлаждающихся и на задыхающихся (*les ventilateurs et les suffocateurs*), и уверял, что в России все дома нарочно так устроены, что нельзя нигде найти сквозного ветра. В жаркие дни он с утра до вечера только и делал, что искал ветра; но

* в случае надобности (фр.).

чью же он ставил свою кровать посреди комнаты, между открытыми дверями и окном, или же перетаскивал по двору свой надувной матрас, стараясь где-нибудь уловить дуновение ночного воздуха. Зато когда шел дождь, он предавался полному удовольствию: надевал нарочно купленную для этого женскую рубашку, которая нисходила до его пят, и, не скрываясь от посторонних взоров, выходил на крыльцо и наслаждался ниспадающею на него прохладительною влагою.

Будучи отличным пловцом, он всякий день по целым часам купался, но, как истинный сибарит, любил при этом соединять различные удовольствия. Одним из любимых его кушаний были раки, особенно пандинские, которые славились своим вкусом; он говорил даже, что в Россию стоит приехать единственно для того, чтобы поесть пандинских раков. Летом, всякий раз как за обедом подавали раков, он откладывал себе большую порцию, тщательно их приготавливал, и, когда он после того отправлялся купаться, камердинер сопровождал его с зонтиком и с тарелкою раков. Выехав на лодке посередине реки, он бросался в воду, плавал досыта, затем выкарабкивался на лодку и, сидя в натуральном костюме под зонтиком, который держал над ним камердинер, наслаждался своим любимым кушанием. После этого опять он кидался в воду, поплававши, опять ел раков, и это повторялось по несколько приемов сряду. Блюдо раков сделалось даже причиною непримиримой вражды между ним и Федором Ивановичем. Сначала они были друзья, и Тенкат отдавал ему даже деньги на хранение. Но случилось однажды, что нам к детскому завтраку подали раков. Мы хотели послать несколько штук Тенкату, но Федор Иванович заметил, что раков мало и что не стоит посылать. За уроком брат Владимир возьми да об этом проговорись. Тенкат ничего не сказал, бросил только свирепый взгляд; но после уроков он тотчас отправился к Федору Ивановичу и спросил у него свои деньги. Сосчитавши их и увидев, что все целы, он обратился к нему с грозным вопросом: «А зачем Вы сегодня утром не хотели прислать мне раков?» Тут произошла какая-то ссора, после которой они в течение нескольких лет не говорили друг с другом ни слова. Федор Иванович при всяком случае подсмеивался над чудачествами Тенката, а последний называл Федора Ивановича не иначе как l'Ostrogoth*.

Деньги с тех пор перешли на хранение к брату Владимиру, на аккуратность которого Тенкат вполне полагался.

Сибаритизм проявлялся у него, впрочем, не в одном стремлении к материальным наслаждениям. Он также ценил и наслаждения умственные. После обеда он любил *pour faire la digestion*** читать что-нибудь приятное. Иногда он садился в гостиной у камина и предла-

* Острогот.

** для пищеварения (фр.).

гал для содействия пищеварению прочесть вслух какую-нибудь хорошо написанную статью из «Journal des Debats» или нечто подобное. Утром же, когда он пил у себя в комнате чай, который у него всегда был свой, составленный из разных сортов, ибо на этот счет он был очень прихотлив, он уставлял весь стол разными маленькими блюдцами и закусками и затем, попивая чай и покушывая, в то же время читал для себя громко какую-нибудь сцену из романов Дикенса или из комедии Шеридана*.

В деревне мы из соседней классной комнаты слушали стук чашек и тарелок, сопровождаемый чтением и хохотом; и вдруг все это прерывалось сердитыми возгласами; он бегал, топал, кричал. Мы бросались, чтобы узнать причину его гнева: оказывалось, что его укусила муха и тем нарушила эти минуты блаженства. Он отмахивался от нее платком, кидался за нею в досаде. «Эти проклятые мухи, – кричал он, – я им оставляю для еды всякой всячины, чтобы они оставили меня в покое, так нет же, они садятся мне на нос!»** Мухи и комары были его смертельными врагами, и он никогда не стеснялся в выражениях своей досады. Случалось, что мы летом обедали в саду в большом обществе; вдруг он взвизгивал, вскакивал и покрывал платком свой плетеный стул, чтоб оградить себя от покушений этих докучливых насекомых. Все, разумеется, глядели на него с удивлением. Но и по всякому малейшему поводу поднимался шум из ничего. Слуга, не спросив, унес у него стакан, и в доме раздавался крик, так что отец принужден был иногда вступаться и ему выговаривать. Мои родители, естественно, тяготились этими сумасбродными выходками и не считали полезною для детей такую чрезмерную привязанность к материальным наслаждениям. Поэтому одно время они хотели с ним расстаться, но когда мать спросила у меня, не буду ли я этим огорчен, я отвечал, что никого из учителей так не люблю, как Тенката. Вследствие этого он остался у нас почти до самого отъезда нашего в Москву перед вступлением в университет.

Своими сердечными свойствами он, конечно, едва ли мог меня привлечь, но меня пленяла в нем необыкновенная живость ума, разнообразие сведений и интересов, наконец, его обходительность, ибо он обращался с нами не как с учениками, а как с себе равными, разговаривая с нами обо всем, шевеля в нас мысль, открывая перед нами новые горизонты. Его уроки не были рутинным преподаванием избитых материй. Не будучи педагогом по ремеслу, он с большим тактом умел выбрать то, что могло заинтересовать и возбудить молодой ум в самых разнообразных направлениях. У меня сохранились некоторые тетради переводов на английский язык: нахожу в них ха-

* Шеридан Ричард (1751 – 1816), английский драматург.

** В подлиннике по-французски.

рактеристики из Лабрюйера*, изображение свойств и характеров различных народностей, письмо Вольтера к Фридриху II** при посылке трагедии «Магомет» и рядом с этим изложение элементарных физических законов и явлений. В особенности он старался развить в нас литературный вкус. Он не только давал нам читать книги, но и сам читал нам вслух избранные места из различных авторов. С каким услаждением слушали мы его, когда он в виде отдыха и забавы всякий день по окончании урока с большим юмором и выражением читал нам недавно вышедшие «Записки Пиквикского клуба». Для нас это было настоящим праздником; мы хохотали до упаду. «Пиквик» сделался нашею любимою книгою, и мы по собственной охоте постоянно делали из него переводы, которые подносили отцу. С таким же юмором Тенкат читал нам сцены из «Генриха IV» Шекспира, где является лицо Фальстафа. А рядом с комедиею он знакомил нас и с трагедиею, читал сцены из «Ричарда III» или из «Макбета», заставляя нас понять трагичность положения, возвышенность чувств, благородство языка. Чтение английских писателей сделалось постоянным нашим занятием в свободные часы. Мы начали с легких романов Марриета***, которые служили и темою для переводов, затем перешли к Вальтеру Скотту. Я с увлечением прочел все до единого романы великого шотландского писателя, а также вышедшие в то время романы Диккенса, Гука****, Купера. Шекспир почти не выходил у меня из рук; я читал и перечитывал его от доски до доски. Но более всего в то время я восторгался Байроном. Многие места я учил наизусть, особенно описания природы и великолепные стансы, обращенные к Древней Греции, которою я тогда бредил.

Тенкат учил нас и латинскому языку. Не будучи большим латинистом, он и тут умел чрезвычайно умно заинтересовать учеников изучаемым предметом, не налегая слишком на грамматические формы, а обращая внимание главным образом на силу и красоту языка и на внутренние достоинства писателей. Под его руководством я понял благородную простоту Цезаря, изящный слог Саллюстрия и Тита Ливия, блестящее красноречие Цицерона, сжатую силу Тацита. По вступлении в университет я мог при изучении Нибура***** свободно прочесть всего Тита Ливия, не прибегая почти к лексикону. В особенности он держал нас на поэтах. Я с наслаждением переводил всю вторую и четвертую книгу «Энеиды», но, как любитель сельской

* Лабрюйер Жан (1645 – 1696), французский писатель.

** Фридрих II (1712 – 1786), король Пруссии (с 1740).

*** Марриет Фредерик (1792 – 1848), английский писатель.

**** Гук Роберт (1635 – 1703), английский естествоиспытатель, усовершенствовал микроскоп, ввел термин «клетка».

***** Нибур Бартольд (1776 – 1831), немецкий историк античности, автор «Римской истории» (Т. 1 – 3).

жизни, еще более восхищался «Георгиками»* и твердил наизусть: «O fortunatos nimium, sua illi bona norint, agricolas!»** Я живо представлял себе описанные Вергилием светлые озера, прохладные пещеры, мычание стад. По своей охоте учил я на память и прелестные оды Горация. Помню, как Тенкат, хотя был приверженцем Оранского дома, с некоторым чувством национальной гордости рассказывал нам о непоколебимом мужестве республиканца Корнелия де Витта***, который, подвергнутый пытке по обвинению в заговоре против принца Оранского и поднятый на дыбы с привешанными к пальцам ног гириями, среди мучений повторял знаменитую строфу:

Justum ac tenacem propositi virum
Non civium ardor prava jubentium,
Non vultus instantis tyranny
Mente quatit solida...****

Такие уроки не забываются. Когда по вступлении в университет Шевырев на экзамене задал темой для сочинения описать событие или впечатление, которое имело наиболее влияния в жизни, я тотчас выбрал знакомство с английской литературой; но так как брат мой, вступивший вместе со мною, хотел писать на ту же тему, то я взял знакомство с латинскими классиками.

Таким образом, в этом преподавании поэтические восторги смешивались с тонким пониманием юмора, возбуждение пылкости ума с развитием вкуса. И так как при этом не было ни малейшего педантизма, а при необыкновенной живости и такте преподавателя все усваивалось легко и свободно, то учение имело для нас большую прелесть. Даже когда случалось, что нужно было сделать какое-нибудь замечание или внушение, Тенкат всегда придумывал для этого такую форму, которая нас самих занимала и забавляла. Помню, что однажды он с большим юмором описал по-английски, как младший брат мой Владимир, тогда еще ребенок, отлынивая от урока, рыскает по коридорам и по кладовым, и заставил его перевести это описание на французский язык.

* «Георгики», «Энеида» поэмы Марона Публия Вергилия (70 – 19 до н. э.).

** «О слишком счастливые, если бы они знали свое благо, земледельцы!»

– Прим. Б.Н. Чичерина

*** Витт Корнелис де. В 1672 г. подвергнут пыткам по обвинению в республиканском заговоре. 20 августа 1672 г. при подстрекательстве Оранской партии убит толпой в тюрьме.

**** Праведного и твердого в своих намерениях мужа

Ни ярость граждан, повелевающих зло,

Ни лицо угрожающего тирана

Не потрясут в его крепком уме...

– Прим. Б.Н. Чичерина

Самые чудачества Тенката, всегда сопровождаемые оригинальными выходками, служили для нас неистощимым источником забавы. Я даже специально упражнялся в том, чтобы вызывать их поддразниванием. Сделать это было очень легко: стоило только затронуть чувствительный вопрос и высказать мнение, противоположное его собственному. Иногда я заводил речь о каком-нибудь блюде: зная, например, что он любит куропаток, я начинал утверждать, что рябчики несравненно выше и что только недостаток тонкости вкуса может заставить предпочитать им более жирных куропаток. Или же я говорил, что голландскому языку не стоит учиться, ибо это, всем известно, не что иное как *plattdeutsch**, что выводило его из себя. Но главным предметом его дразнения были англичане: я начинал язвительно критиковать какой-нибудь любимый его английский роман или же подтрунивал над нравами англичан, изученных в их литературе, над их необщительностью и формализмом. Когда же все это не действовало, тогда пускалась в ход последняя батарея: бомбардирование Копенгагена Нельсоном**. Я доказывал, что такой варварский поступок мог быть только делом народа, у которого нет ни малейших понятий о нравственных требованиях и о международных отношениях. Тут уж он никак не мог выдержать. Он вскакивал, бегал, кричал, топал ногами, а мне того и было нужно. Гнев его скоро улетучивался, и удовольствие было полное.

Понятно, что я расстался с ним с большою грустью. Весною 1844 года он уехал обратно за границу, направляясь в Баден, где он намеревался попробовать счастья в *rouge et noir****, ибо к прочим своим оригинальностям он присоединял уверенность, что он нашел безошибочное средство всегда выигрывать в эту азартную игру. Нужно было только, по его мнению, не гоняться за большими кушами, а всякий день довольствоваться выигрышем маленькой суммы, достаточной для того, чтобы заплатить за квартиру и иметь хороший обед. Он сочинил какой-то мартингал**** и все проверял его, раскладывая карты и тщательно записывая результаты. Иногда он с торжеством показывал нам плоды своих измышлений и давал нам карты в руки, чтобы доказать неопровержимую верность сделанных им расчетов, причем он с умильной улыбкою рассказывал, какие он на выигранные деньги будет заказывать вкусные обеды.

Насколько ему удалось исполнить свое намерение, что с ним стало после того, как он нас оставил, об этом я ничего не знаю. С отъез-

* нижненемецкий.

** 2 – 3 апреля 1801 г. эскадра английского вице-адмирала Г. Нельсона (1785 – 1805), действовавшая против союза северных держав, бомбардировала Копенгаген и превратила город в развалины.

*** красное и черное (фр.).

**** элемент карточной игры.

дом из России он точно канул в воду, и о нем с тех пор не было ни слуху ни духу. Когда мне двадцать лет спустя случилось путешествовать по Голландии, мне все мерещился образ моего старого гувернера. Я вспоминал дни своего детства и невольно всматривался в толпу в ожидании, не встречу ли столь знакомую мне фигуру, хотя был совершенно уверен, что он давно покоится в могиле. Мир да почиет над его прахом! Он раскрыл мне целую бесконечность новых мыслей и чувств и оставил по себе в моем сердце неизгладимую благодарность.

До какой степени Тенкат, при своих странностях, был нам полезен, в этом я убедился, сравнивая его с теми гувернерами, которых довелось иметь моим младшим братьям. Первый, поступивший в наш дом тотчас по отъезде Тенката, был француз Верне, человек смиренный, без всяких причуд, но зато совершеннейшая тупица, от которого можно было получить рутинное преподавание, но отнюдь не какое-нибудь умственное развитие. Мне он, впрочем, оказался полезен своим невежеством. В молодости он проходил курс богословского факультета Страсбургского университета и при мне однажды сказал, что знает по-гречески и по-еврейски. Я тотчас воспылил желанием учиться по-гречески, хотя в то время знание этого языка вовсе не требовалось для вступления в университет. Немедленно были выписаны грамматика Цумпфта* и упражнения. Но что же оказалось? Верне, кроме азбуки, ровно ничего не знал, так что я принужден был сам, без малейшей помощи проходить грамматику и делать переводы. Весь наш урок состоял в том, что я переводил, а он слушал молча, ничего не понимая, и только когда встречался какой-нибудь глагол на «р», он начинал склонять единственный известный ему глагол «падать», да и то неправильно. Другого я ничего не мог от него добиться. При всем том я собственной работою достаточно подучился по-гречески, так что в Москве, с новым учителем, я мог прямо приступить к «Илиаде».

Кроме живущих в доме гувернеров, нам давали уроки и гимназические учителя. Из всех всего более мы любили учителя истории Измаила Ивановича Сумарокова. Он был кандидат Харьковского университета, человек еще молодой, высокий, сухощавый, с живыми и несколько угловатыми движениями. Это была необыкновенно чистая и благородная душа. По природе пылкий и восторженный, он умел и ученикам сообщить свои возвышенные стремления. Не могу лучше изобразить его характер и направление, как сделав выдержку из письма, полученного мною от него уже в позднейшее время, когда я, вступив на литературное поприще, послал ему одно из своих

* Речь идет об учебнике латинской грамматики (1818) немецкого филолога К. Цумпа (1792 – 1849).

сочинений. «Поверьте, – писал он, – что я более всего ценю добрую память обо мне бывших моих учеников: ибо я убежден, что если ученики добром помнят своего учителя, значит, он не бесплодно трудился на лучшем поприще в жизни, на поприще развития мысли и добра. Немного мог я Вам сообщить, бывши Вашим учителем, потому что сведения мои были очень и очень ограничены. По крайней мере, я старался, сколько мог и умел, развить в Вас любовь к мысли, истине и труду. Я знал, что многое из того, что я передал Вам, Вы отбросите как негодное, что при дальнейшем развитии многое из моих сведений покажется Вам детски незрелым, но я был убежден, что если я буду способствовать по мере моих сил развитию в Вас мысли и любви к труду, я исполню добросовестно свою обязанность. Развитая в человеке способность искать истину никогда не даст ему уснуть и рано или поздно принесет свои плоды». И это в его устах не было пустою фразою. Он искренно радовался, находя в ученике именно то, что он старался в него вселить. Говоря тут же о моей статье «О сельской общине в России»*, он писал: «Не буду говорить о выгодах Вашей статьи; меня обрадовало в особенности то, что в ней я на каждой странице видел добросовестное изучение источников, любовь к истине и добросовестное разъяснение оной, без всякой наперед заданной мысли и коверкания фактов на любимую тему». Из этого можно видеть, что, несмотря на всю свою скромность, он ясно понимал задачу учителя истории.

Измаил Иванович приезжал к нам и на лето в деревню, и мы всегда сердечно ему радовались. Мы жили с ним как товарищи. Вскоре потом он оставил педагогическое поприще. Тамбовский губернатор Булгаков, ценя его непоколебимую честность и его способности, уговорил его поступить на гражданскую службу и дал ему выгодное место. Однако он в чиновника не превратился, а внутренне остался тем же пылким студентом, каким был прежде. Когда возгорелась Крымская война, он с юношеским энтузиазмом вступил в ряды ополчения и пошел на защиту отечества. Заключение мира вернуло его к гражданским занятиям. Он с жаром приветствовал преобразование нового царствования, как начало новой эры более свободного развития русского народа. И это было не увлечение модными идеями, а исполнение самых заветных его мечтаний. Он сочувствовал новому направлению не как большинство расплывшихся тогда либералов, огулом отвергавших все старое, а как историк, который понимает необходимую связь настоящего с прошлым. «Не можем же мы вдруг оторваться от него, – писал он мне, – да и не к чему: надо только изменить и переформировать его сообразно общечеловеческим ин-

* Чичерин Б. Н. Обзор исторического развития сельской общины в России. // Русский Вестник. 1856. № 1. С. 373 – 396, 579 – 602.

тересам. Россия в настоящем ждет коренных преобразований. Ей душна та атмосфера, в которой она до сих пор жила и теперь живет. Но чтобы угадать, в чем должно состоять коренное преобразование России, надобно, во-первых, добросовестно, без утайки и задней мысли изучить и разъяснить ее прошедшее и, во-вторых, угадать, в чем состоят современные общественные интересы. По моему крайнему разумению, преобразование, вместе с тем и дальнейшая задача русской истории, должно состоять в постепенном освобождении русского народа от слишком большой, правда в прошедшем часто необходимой, опеки правительства над народом». Эти мысли разделяли тогда все лучшие русские люди. Измаил Иванович остался верен убеждениям до самого конца своей жизни. Он умер председателем одной из палат во Владимире. С сердечным удовольствием слышал я от знавших его там, что в нем неизменно сохранились прежние черты: та же светлая и чистая личность, тот же юношеский пыл и то же благородство побуждений.

С Измаилом Ивановичем мы успели пройти только древнюю историю и русскую историю до Петра. Остальное дополнялось пока чтением. Кроме упомянутых выше исторических сочинений Шиллера и «Истории крестовых походов» Мишо, я брал разные книги из библиотеки отца, как-то «Историю бургундских герцогов» Баранта, «Историю завоевания Англии норманнами» Тьерри, и «Сокращение новой истории» Мишле, сочинение Ансильона о европейских переворотах, «Историю французской революции» Лакретелля. Тенкат давал нам читать и делать переводы из английской истории Садлера. Надобно, однако, сказать, что с этой стороны был недостаток. Чтение было более или менее случайно, и выбор можно было сделать лучше.

Несравненно ниже Сумарокова стоял учитель русского языка и словесности Степан Иванович Фенелонов. Он был из семинаристов, человек добрый и обходительный, но больше любил поиграть в картишки; преподавание же было самое рутинное по программе Востокова и риторике Кошанского. Отец думал даже одно время заменить его другим, но, приехавши осенью из деревни и видя, что учителя долго не ходят, мы соскучились по урокам и, никому ничего не сказавши, послали уведомить их о нашем приезде. Делать было нечего, и Степан Иванович остался. Преподавание его было, впрочем, небесполезно, ибо на всякую риторическую тему задавались сочинения, и мы привыкали писать без орфографических ошибок и правильным слогом.

Недостаток преподавания и тут восполнялся чтением. К Крылову, Жуковскому и Карамзину присоединились теперь и другие русские писатели. Я живо помню, как однажды отец, призвав меня к себе в кабинет, вынул из своего шкафа том сочинений Пушкина, сам

прочел мне стихотворение «Поэт» и «К морю» и отдал мне книгу в руки. С тех пор Пушкин сделался моим любимым поэтом. Я с жадностью прочел все его сочинения и многое заучивал на память. Точно так же в другой раз отец призвал меня, вынул том стихотворений Батюшкова, прочел мне отрывок из оды «На развалинах замка в Швеции» и опять вручил мне книгу для чтения. У Степана Ивановича я выпросил Державина, учил и выписывал стихи, которые мне всего более нравились. Эта тетрадь доселе у меня сохранилась. Он дал мне прочесть «Горе от ума». Из второстепенных писателей были у нас в руках стихотворения Бенедиктова и повести Марлинского, которые тогда были в большом ходу, а в позднейшее время истинное наслаждение доставляли мне «Миргород» и «Мертвые души». Последние я нашел в комнате матери вскоре после их появления и с упоением прочел от доски до доски. С Лермонтовым прежде, нежели нам дали его сочинения, я познакомился из «Отечественных записок», которые получались у нас в доме и которые я читал весьма внимательно. Там же я познакомился с критикою Белинского. Раз при мне Поливанов обратил внимание Якова Ивановича Сабурова на статьи Белинского о Пушкине, говоря, что они принадлежат перу человека весьма известного в литературном мире. Я немедленно перечел их от первой до последней и с тех пор стал постоянно читать критические статьи в «Отечественных записках».

Не могу не упомянуть и о весьма хорошем учителе Закона Божьего Якове Петровиче Бондарском. Он был преподавателем в гимназии, человек умный, несколько хитрый и строгого вида. Нравственного авторитета он не имел, но учил ясно и толково, без излишних подробностей и разглагольствований. Воспитанные в благочестии, мы внимательно следили за его уроками и прошли весь гимназический курс так, что по приезде в Москву мы могли ограничиться повторением. И эти уроки не остались только достоянием головы, они становились правилами жизни. Мы с глубокою верою исполняли обряды церкви. Неделя говения в особенности посвящалась благоговейному чтению Евангелия и Библии, значительную часть которой я прочел в эти годы.

Отличный также у нас был учитель физики Феокист Яковлевич Смирнов, назначенный в тамбовскую гимназию из воспитанников Петербургского педагогического института. Преподавание его было живо и ясно, по учебнику Ленца. Я хорошо знал физику, вступая в университет. Что касается до математики, то эту науку преподавал нам приезжавший к нам на лето студент Московского университета Василий Григорьевич Вязовой, человек, близко стоявший к нашей семье от самых ранних лет и до своей смерти.

Он был сын тамбовского извозчика, отлично учился в уездном училище и вышел первым учеником. Николай Федорович Стринев-

ский, который ездил с его отцом, заинтересовался мальчиком, брал его к себе на лето в деревню и рекомендовал его моему отцу, на иждивение которого он вступил в гимназию. С тех пор он стал ходить к нам почти ежедневно по вечерам, по окончании гимназических уроков. Он был несколькими годами старше меня, но мы скоро сделались товарищами. Его живой и восприимчивый ум, его чистая и благородная натура, его веселый нрав и мягкий характер так нас к нему привязали, что, когда Вася Вязовой не приходил вечером, мы все были в огорчении. Особенно я, как старший и более подходящий к нему по летам и по вкусам, жил с ним душа в душу. Можно сказать, что он был первым и главным другом моего детства. Пока мы были малы, он тешил нас всякими играми, сам с нами забавлялся и очаровывал нас, рассказывая сказки, которых он знал множество. Особенно ласкало мою детскую гордость, когда он рассказывал сказку мне одному и никому другому. Мы с ним забивались в какой-нибудь темный угол, и тут мое воображение услаждалось рядом фантастических образов, которые уносили меня в волшебный мир. Когда же он был недоволен какою-нибудь детской шалостью, он из сказкорассказца превращался в несказкорассказца, и это было самое чувствительное для нас наказание. Позднее, когда я стал уже подрастать, любимейшими минутами были для меня те, когда нас отправляли спать, а он, бывало, сядет на мою кровать и начнет мне рассказывать о гимназии, об учителях, о товарищах, о науках, которые они проходили. Это называлось у нас новыми свиданиями. Мы вместе с ним читали русских поэтов: Жуковского, Пушкина, Батюшкова; у него было живое чувство и поэзии и природы. Когда же я познакомился с латинскими классиками, которыми он восторгался так же, как и я, мы сообщали друг другу свои впечатления. Особенно он любил Горация. Когда он по окончании гимназического курса поехал в Москву для вступления в университет, он оставил мне на память свой экземпляр стихотворений этого поэта.

Отец мой дал ему средства и для продолжения учения. Сперва он вступил в Медицинскую академию, имея в виду зарабатывать себе впоследствии кусок хлеба, но по своей нервной натуре он не мог выносить разрезывания трупов, да и в медицине, как она тогда преподавалась, он видел больше шарлатанства, нежели научных оснований. Вследствие этого он перешел в университет на математический факультет. В эту пору он стал приезжать к нам на лето в деревню для преподавания математики. Прерванная наша детская дружба возобновилась. Он был нам и учителем и товарищем. Преподавал он превосходно: живо, ясно, последовательно. Математика сама собою укладывалась нам в голову. А между тем он возбуждал наш интерес рассказами про университет и был постоянным участником всех наших прогулок и забав. Ему самому было привольно в деревенской

жизни, среди ласкающей его семьи. Когда же к этому присоединялся приезжавший к нам на лето Измаил Иванович Сумароков, которого Василий Григорьевич также любил и ценил как своего бывшего гимназического учителя и который сам по своему настроению был еще полустудент, то тут составлялась уже такая веселая товарищеская компания, что лучшего нельзя было желать. Мы все гурьбой после завтрака отправлялись в вишни, наедались досыта, вместе купались, вместе ездили верхом. Одним словом, удовольствие было полное.

Как и многим другим, жизнь не дала Василию Григорьевичу того, что обещала молодость. Первым препятствием было плохое здоровье. Оно мешало ему держать экзамены как следует, и он окончил курс действительным студентом. Однако он этим не довольствовался, держал затем на кандидата и выдержал блистательно. Пристрастившись к химии, он в пятидесятых годах добился наконец места помощника лаборанта в химической лаборатории Московского университета, но прямая, благородная его натура никак не могла примириться с теми порядками, которые господствовали в то время в университете. Гибкости у него вовсе не было; подлаживаться он никогда не умел, а приходил в негодование от равнодушия и невежества состарившегося Геймана, от мелких проделок лаборанта Шмидта, от пошлости Гивартовского, от претенциозной слащавости Лясковского. Анекдотам не было конца, и он рассказывал их даже с некоторым остервенением. Наконец он оставил свое место и кинулся в педагогию, к которой всегда чувствовал большую склонность. В нашей семье учить было уже некого, ибо все мы тогда были взрослые. Он поступал домашним учителем в разные дома, но и для этого требовалось более гибкости характера, нежели сколько у него было. Он бросил и это поприще и уже после смерти моего отца приехал к нам в деревню с целью заняться сельским хозяйством, надеясь тут найти приложение своим знаниям по естественным наукам. Он снял у нас клочок земли на аренду и предался этому делу со всем увлечением своей пылкой и вместе усидчивой и трудолюбивой натуры. Заведенное им табачное производство, доселе приносящее отличный доход и помещику, и работающим на нем крестьянским подросткам и бабам, осталось памятником тогдашней его деятельности. Но ему она не пошла впрок. В сельском хозяйстве мало иметь общие теоретические знания, мало даже хлопотливого труда; нужен еще расчет, а именно в этом у него был полный недостаток. Вся деятельность уходила на разные выдумки и затеи, не приносившие никакой пользы. Наконец он отказался и от сельского хозяйства и снова обратился к педагогике, сделался учителем в тамбовской женской гимназии и в институте, пока плохое здоровье не принудило его выйти в отставку.

В это время он приютился в семье моего второго брата Василия и с нею переехал на жительство в Петербург, когда старший сын поступил в университет. По своей впечатлительности он сначала пришел в восторг от петербургской жизни, от господствующих всюду чистоты и аккуратности, неведомых в провинции и даже в Москве. Он пользовался тут и научными пособиями, несколько лет сряду постоянно ездил в Публичную библиотеку и рылся в книгах. Но и эта фаза его жизни не была продолжительна. Петербургская сфера, в которой вращалась семья брата, слишком мало приходилась ко всем его понятиям и привычкам; на молодых людей его естественноисторическая проповедь не оказывала никакого влияния, да и делать, в сущности, было нечего, а ему деятельность была необходима. Он вернулся в Тамбов, где на свои трудом нажитые сбережения купил маленький домик в захолустье. Там он окончательно поселился, намереваясь заняться выделкой пшеничного крахмала и продажей молока от приобретенных им коров. До конца, однако, его продолжали преследовать всякие неудачи. Администрация запретила крахмальный завод под предлогом, что это нездоровое производство, которое не может быть допущено в черте города, хотя он доказывал, что все отбросы пойдут у него на корм коровам. Тогда он вместо крахмала вздумал делать медовые пряники и усердно занялся изучением этого ремесла, но оказалось, что для приобретения права на производство нужен экзамен в Ремесленной управе, а экзаменовать в Тамбове было некому, кроме какого-то пьянюшки из золотой роты. Василий Григорьевич принужден был ходить с ним в самые грязные трактиры и поить его водкой, и все-таки это ни к чему не повело. Хотя тот предлагал ему прямо подписать экзаменационный лист, но добросовестный ученик не хотел слышать о таком беззаконии. Тогда странный экзаменатор начал выкидывать такие штуки, что Василий Григорьевич наконец махнул рукой и отказался от производства медовых пряников, довольствуясь обработкой своего огорода и продажей молока.

Все эти неудачи в жизни значительно изменили его характер. Чистая и благородная душа осталась, но он несколько озлобился. Прежняя веселость исчезла и заменилась вынесенною из педагогической деятельности страстью читать наставления. К этому присоединилось ложное направление ума. Я на нем воочию увидел весь вред, который может принести человеку одностороннее занятие естественными науками. Страстный к своему предмету, он вообразил себе, что естественные науки представляют начало и конец всей человеческой мудрости, а естествоиспытатель – верховный судья всех человеческих отношений. От этого, разумеется, мог произойти только совершенно превратный взгляд на весь духовный мир. Все, что не подходило под точку зрения чистого и голого внешнего опыта,

отвергалось как невежество и предрассудок. Самую математику, наперекор очевидности, он старался подвести под опытную методу – нелепость, в которую впадают, впрочем, и великие современные ученые. Вследствие этого ум, прежде открытый самым разнообразным впечатлениям и мыслям, сузился и покорился исключительной точке зрения, совершенно верной в известных пределах, но бросающей ложный свет на все то, что выходит из этой области. Самые педагогические его способности исказились: вместо даровитого преподавания, основанного на живом отношении к предмету, явилась искусственная теория, построенная на выводах современной опытной психологии, представляющей невообразимый хаос самых смутных и даже диких понятий. Отсюда произошло то, что ученики иногда перестали даже его понимать. А так как все эти странные и крикливые измышления представлялись ему высшим плодом новейшей науки, то к односторонности присоединилась необыкновенная самоуверенность. Он стал громить весь мир с точки зрения современного естествоиспытателя, что, разумеется, вызвало постоянные возражения, а это еще более его озлобляло, ибо он в несогласии с его взглядами видел упорное сопротивление высшим требованиям разума. Он ушел в себя, сделался угрюмым, нелюдимым, чудаком, сохраняя неизменное сердоболие только к животным, которых он любил воспитывать и с которыми всегда обращался с самою ласковою нежностью.

Уверившись в пустоте и суетности света, он к внешности стал питать полное презрение. Увлекаясь иногда видом опрятности и порядка в окружающей среде, он в собственной особе и в своей комнате доводил пренебрежение к этим качествам до крайних пределов. При этом, будучи химиком, он всегда возился с какою-нибудь стряпней, от которой порой воняло ужасно, и сердился на тех, кто не находил его противных фабрикаций превосходными. Маленького роста, исхудалый, с глубоко впалыми светло-серыми глазами, временами бросающими острый взор, с длинными включенными волосами и огромной бородой, доходившей почти до пояса, он своею наружностью и приемами напоминал образ сказочного колдуна, проникающего в самые сокровенные таинства природы и вечно занятого приготовлением чародействий.

При таких переменах в человеке наша юношеская дружба не могла сохраниться в прежнем виде. Между нами происходили постоянные, а нередко и раздражительные споры. Под старость, однако, и это сгладилось. Наученный опытом, я убедился, что споры совершенно бесполезны там, где люди не сходятся в основаниях, и перестал возражать. Приехавши случайно в Петербург летом, когда он оставался там один, я нашел его кротким, ясным, любящим, внимательным, каким он бывал в свои светлые минуты, когда отпадала на-

житая кора и являлся вновь прежний Василий Григорьевич. Когда же он окончательно переехал в Тамбов и мне случалось останавливаться там проездом или по случаю земского собрания, я ежедневно навещал его в захолустье, из которого он почти не выходил. Мы мирно беседовали о естественных науках, которыми я занялся в последние годы, вспоминали иногда о старине. Он продолжал нести всякий вздор о психологии, которою он усердно занимался до конца, воображая, что, исследуя ее по естественноисторическому методу, он откроет в ней новые истины. Вместе с тем он рассказывал бесчисленные домашние хлопоты, наполнявшие весь его день, и с улаждением показывал свои маленькие изобретения. Мои посещения, видимо, были ему приятны. В своем добровольном затворничестве, при первобытной простоте обстановки, он похож был на какого-то древнего мудреца, который удалился от мира, постигши всю глубину премудрости и всю бездну человеческой глупости. Это имело бы даже некоторый вид величия, если бы в основании не лежали крайне односторонние научные взгляды, искавшие его от природы живой и открытый ум и обрекшие его на бесплодие.

Осенью 1891 года проездом через Тамбов я по обыкновению пошел его посетить и нашел его лежащим ничком на лежанке в полном расслаблении. Я убедил его лечь в постель, тотчас послал за доктором и навещал его каждый день. Доктор не находил ничего опасного, приписывая слабость господствующей инфлуенции. Он прописывал лекарства, которые Василий Григорьевич, полагаясь на свои медицинские сведения, выливал вон. Уговаривать его было напрасно, это значило только его сердить. Но так как опасности, по-видимому, не было, то я ехал спокойно, не воображая, что несколько дней спустя получу весть о его кончине. Служивший при нем дворник, вошедши в комнату вскоре после посещения врача, нашел его уже мертвым. Невыразимо больно было мне это известие о смерти первого друга моего детства. С ним как бы порывалась живая связь со всем прошлым, с самыми заветными преданьями семьи. Не могу без сердечной скорби вспомнить и о его одинокой кончине, в добровольном отдалении от любившей его семьи, с которою он прожил весь век, без утешений дружбы и религии, в мелочных хлопотах о хозяйстве и в пустых занятиях фантастической психологией. Он жил и умер жертвою одностороннего естествознания.

Из бесед и споров с Василием Григорьевичем я вынес некоторое знакомство с взглядами и приемами естественных наук, к которым и сам в молодости чувствовал большое влечение. Любя природу всем своим существом, я любовался бесконечно разнообразными ее произведениями и жаждал их изучить. Одно время у меня развилась страсть к птицам, и я несколько лет только ими и бредил. Затем появилась страсть к жукам, и я в свободные часы только и делал, что

ловил их, накалывал на булавки, расправлял, определял и составлял коллекцию, которая поныне у меня существует. Одной из блаженнейших минут моей молодости была та, когда я, будучи уже студентом в Москве, на свои небольшие деньги купил ящик с бразильскими жуками. Я не мог наглядеться на этих никогда еще не виданных мною животных, сияющих удивительным блеском, с самыми разнообразными и причудливыми формами. Эта страсть сохранялась у меня довольно долгое время, до самого отъезда за границу, когда другие занятия окончательно увлекли меня в иную сторону. Но и в зрелые лета я с наслаждением занимался изучением животного мира.

Любовь к птицам соединялась у меня с страстью к рисованию, которую я одержим был с самых малых лет. Я постоянно что-нибудь чертил или копировал карандашом. Видя мою охоту, родители во время поездки в Петербург в 1838 году пригласили рисовального учителя, и эти уроки были для меня источником бесконечных наслаждений. Меня возили также в Эрмитаж и Академию художеств, где в то время стоял «Последний день Помпеи». Один из приятелей Брюллова, Дмитрий Васильевич Путята повез нас в мастерскую знаменитого художника, который работал тогда над своим «Распятием». Всем этим я наслаждался от души. Картины Брюллова произвели на меня такое глубокое впечатление, что оно не изгладилось и поныне. Я весь погрузился в этот совершенно новый для меня мир и почти ни о чем другом не думал, как о рисовании. Однажды у меня навернулись слезы, когда при мне Д. В. Путята сказал, что со временем мне надобно приехать учиться в Академию.

С выездом из Петербурга эти впечатления несколько ослабли. Я перестал думать об Академии и потерял из виду своего учителя. Но сорок лет спустя однажды Григорович, показывая свой музей, предложил мне съездить посмотреть их школу, сказав, что ее покажет мне заведующий ею Михаил Васильевич Дьяконов. «Как, Михаил Васильевич Дьяконов! – воскликнул я. – Да это был мой учитель рисования около сорока лет тому назад». Я, разумеется, немедленно туда полетел и нашел старика, уже совершенно белого, но с весьма памятными мне чертами. Он обрадовался бывшему ученику, которого имя было ему хорошо известно из литературы. Мы вспомнили с ним старые годы и юношескую мою страсть к рисованию.

Эта страсть не прекратилась, впрочем, и по возвращении в Тамбов. Здесь приглашен был учитель рисования Семен Львович Шубин, и я всегда с радостным трепетом ожидал этих уроков. Я все боялся, как бы Семен Львович по нездоровью не манкировал, и когда приближался час, высматривал в окно, не показываются ли издали знакомые дрожки на столбиках, без рессор. Мое нетерпение увеличилось еще оттого, что именно в это время с страстью к рисованию соединилась зародившаяся во мне охота к птицам. Мне непременно

захотелось нарисовать всевозможных птиц с натуры акварелью. Сначала я составил себе альбом в маленьком виде, но потом это показалось мне слишком ничтожным, и я завел себе большой альбом, в который срисовывал маленьких птиц в натуральную величину, а больших в уменьшенном виде. В течение нескольких лет я нарисовал их около сотни; они поныне у меня еще целы, как памятник моих юношеских увлечений. Отец выписал мне книгу о птицах в издании «Jardin des Plantes»*; я жадно изучал ее и старался всячески добывать птиц не только живых, но хотя бы и мертвых. У меня всегда было их множество, и в клетках, и на свободе. В базарные дни, особенно весною, с каким волнением выглядывал я в окно в ожидании, не принесет ли мне посланный на рынок человек какую-нибудь новую птичку в клетке! Каким я исполнился восторгом, когда мне однажды принесли подстреленную сизоворонку! Я не мог наглядеться на ее красивые зеленовато-голубые перья и тотчас же принялся рисовать ее во всех подробностях. По целым часам любовался я и ласпочками, которые вили гнезда в окнах кабинета моего отца. Но никогда я не испытывал такого душевного трепета, как однажды, когда, сидя весною за городом на берегу реки, я вдруг увидел две летящие совершенно неизвестные мне птицы: большие, красные, с полосатыми белыми с черным крыльями. Федор Иванович сказал мне, что это удода, и я с тех пор все мечтал о том, как достать и нарисовать удода. Я увидел их опять в Карауле, гонялся за ними, стараясь поймать их в сети, но, увы, все мои старания остались напрасны: так-таки я удода не получил и мог только издали любоваться его красивыми перьями и великолепным хохлом.

Семен Львович поддерживал во мне эту страсть, ибо сам был большой охотник до птиц. Но у него была страсть специальная: он был отчаянный любитель петушьих и особенно гусиных боев. С этой целью он держал у себя и воспитывал отборных петухов и гусей. Во время битвы, на которую всегда собиралось множество охотников, он впивался взором в своих любимцев и тогда уже забывал и себя и все на свете. Нам он с увлечением рассказывал об их подвигах. Гусь в особенности был для него первою птицею в мире; он с негодованием говорил о людях, которые, ничего не понимая, предпочитают ему лебедя, тогда как лебедь по красоте стана в подметки гусю не годится. Он привозил мне своего любимого петуха, а также знаменитого гусака – победителя во многих битвах, и я обоих срисовал в свой альбом.

С удовольствием вспоминаю я эти невинные восторги, которые наполняли мою душу в блаженные годы детства. От страсти к птицам осталось у меня то, что я издали, по полету и по голосу, узнаю

* Ботанический сад.

почти каждую птицу, обитающую в наших краях, а когда слышу пение или крик, мне неизвестные, мне непременно хочется узнать, от какого существа они происходят. Я люблю, чтобы всякий звук в природе был мне знаком.

Страсть к живописи также оставила по себе следы. По вступлении в университет я бросил рисование, потому что время поглощалось другими занятиями. Впоследствии я не раз опять за него принимался, но всякий раз видел, что для того, чтобы достигнуть хотя несколько удовлетворительного результата, нужно употребить гораздо более времени, нежели скольким я мог или хотел располагать. Не сделавшись сам художником, я стал любителем и собирателем гравюр и картин, а это доставило мне много приятных минут в жизни. Жемчужников говаривал отцу, что у него в доме недостает двух хороших картин на стенах гостиной. Ныне в этой гостиной висит их двадцать, да и в других комнатах более сорока, большею частью старинных мастеров, некоторые первоклассных: Веласкес, Веронезе, Рибера, Ливенс, Ван-Гойен. Живя в деревенском уединении, я брожу по дому, любуясь этими произведениями и услаждаясь мыслью, что они служат новым украшением отцовского жилища. Сколько отрады доставило мне и собирание гравюр первоклассных художников: Марк-Антония, Дюрера, Рембрандта, Бергема и других! Составленное в течение многих лет драгоценное собрание не мне одному служило и будет служить источником самых чистых и возвышенных наслаждений.

Одержимый с младенчества страстью к рисованию, я не имел ни малейшей склонности к музыке. Однако меня учили и этому искусству. Лишенный от природы тонкого слуха, я тем не менее старательно стучал по фортепьянам и приобрел даже в этом отношении некоторую легкость. Учился я тем охотнее, что любил своего музыкального учителя. Это был маленький старичок, плешивый, с ввалившимися вследствие потери зубов губами и выдающимися по той же причине носом и подбородком. Звали его Карлом Федоровичем, или, правильнее, Карлом Венцеславичем Пеликаном. Он был поляк и католик, родной брат того известного доктора Пеликана*, который во время виленской истории был ректором Виленского университета и потом занимал видное место в Петербурге. Карл Федорович одно время ездил даже в Петербург и жил у брата; но там ему не полюбилось, и он вернулся в свой милый Тамбов, где поигрывал на

* Пеликан Венцеслав Венцеславович (1790 – 1873), будучи ректором Виленского университета (1826 – 1830), усилил надзор за подозреваемыми в либерализме студентами и профессорами через открыто поощряемое доносительство и полицейскую слежку. Это было одной из причин широкого участия польского студенчества в восстании 1830 – 1831 гг.

скрипочке и учил музыке одно поколение за другим. Он был учителем моей матери, а затем учил и всех нас, не только в городе, но и приезжая на лето в деревню. Добродушия он был непомерного, боялся всего и всех, но с этим соединялась детски наивная веселость: он всегда отпускал самые невинные шуточки и рассказывал все те же повторяющиеся анекдоты. Тенкат своими яростными выходками в особенности нагонял на него страх. В Карауле его комната приходилась как раз против классной, а так как Тенкат выходил из себя, когда не было сквозного ветра, то во время его урока Карл Федорович, хотя это был час его собственного отдохновения, заранее отворял настежь двери и окна, а сам убежал в лес.

Мы с ним жили друзьями, постоянно подшучивая и с ним и над ним. Особенно в позднейшее время, когда я уже был студентом и перестал брать у него уроки, а он продолжал приезжать к нам на лето для младших братьев, я часто над ним потешался, и он всегда принимал это с величайшим благодушием. Поводом к обличениям обыкновенно служило его чтение, во время которого он нередко спал, но ни за что не хотел в том признаться. Главною же темою острот была страсть, которую будто бы питали к нему, с одной стороны, его толстая и старая хозяйка госпожа Малина, у которой он жил и которой он смертельно боялся, а с другой стороны, столь же толстая и старая прачка по имени Варвара Савельевна, которая мыла ему белье и тоже держала его в руках. Я рисовал с него карикатуры, составлял его жизнеописание в лицах, а иногда устраивал даже целые комедии в нескольких действиях.

Однажды, по прибытии почты из Тамбова, я на клочке грязной серой бумаги первобытным почерком написал ему любовное письмо от означенной прачки. Свернув кое-как и запечатав пальцем, я послал ему то письмо с братом Андреем, как будто оно было привезено почтарем. Я думал, что старик тотчас догадается, но вижу: мой Карл Федорович ничего не говорит, а только ходит ухмыляясь. Я к нему с вопросом: «Чему Вы так радуетесь, Карл Федорович?» – «Так я получил письмо из Тамбова». – «Верно, от Варвары Савельевны?» – «Нет, нет, это письмо от Брандта, который зовет меня играть квартет. Я смеюсь разным его штучкам». Видя, что он не догадался, я научил Андрея, чтобы он после обеда, когда все были собраны, вдруг выступил и сказал: «А Карл Федорович получил сегодня письмо от Варвары Савельевны». Тот был совсем ошеломлен этим неожиданным открытием. Сначала думал было отнекиваться, но Андрей, назначенный мною, объяснил, что письмо было плохо свернуто, и, взглянувши в щелку, он увидел подпись. Я тогда на него накинулся: «Как же Вы мне сказали, что получили письмо от Брандта? Вот какие у Вас квартеты! Это Вы переписываетесь с своею прачкою! Верно, какое-нибудь сердечное послание, если Вы не хотели признать»

ся?» – «Нет, я не хотел Вам говорить, потому что она просит у меня денег, а я не желаю, чтобы об этом знали». – «Как же она Вам пишет? Наверное: «Мой милый Карлуша!» (так действительно было написано в письме)? – «Как это можно, она пишет ко мне, как к какому-нибудь сеньору». – «Не может быть, покажите письмо!» – «Я письмо изорвал, потому что не хочу, чтобы после моей смерти знали о моих благодеяниях». Постой же, подумал я, я тебя обличу. Подразнивши его немного, я замолчал, и Карл Федорович начал уже шутливо журить Андрея за то, что он подсматривает чужие письма. Но ему готовился новый сюрприз. На следующий день я написал совершенно такое же письмо, на такой же бумаге и тем же почерком и, гуляя с ним, вдруг вынул из кармана этот дубликат и показал ему, говоря, что я у него письмо утащил. Он в ужасе хотел вырвать бумагу из моих рук, но я не дал и начал громко кричать: «Мой милый Карлуша!» Тут мой старик совсем растерялся и отчаянным голосом возопил: «Я не понимаю, что с нею сделалось!» Я и сам смутился при виде такого совершенно неожиданного действия моей шалости и стал его успокаивать, объясняя, что письмо писано вовсе не его прачкою, а мною, но он уже ничего не слушал и продолжал только восклицать: «Я не понимаю, что с нею сделалось!» Насилу я мог ему втолковать, что все это было моею собственной выдумкой. А на следующий день он сам добродушно подшучивал над моею проказою. «Ведь что он придумал, – говорил он ухмыляясь. – Эта старая чертовка Малина! Точно в самом деле от Варвары Савельевны!» И он был прав, что на меня не сердился, ибо, давая волю своему ребячеству, я все-таки его искренно любил за его доброту и писал ему иногда в шутливом тоне дружеские письма, на которые он отвечал выражением сердечной благодарности.

Таким образом, если уроки музыки не послужили мне в пользу, то они были поводом к проявлению юношеской веселости, от которой спустя много лет не осталось и следа.

Наконец, в нашем воспитании не была забыта и физическая сторона. Отец настаивал на том, чтобы мы приобрели ловкость во всех телесных упражнениях. Нас рано посадили на лошадь, и мы в деревне ежедневно делали по десяти, по пятнадцати верст верхом. Тенкат выучил меня порядочно плавать, что для меня всегда было большим удовольствием. Фехтованию мы стали учиться уже в Москве, ибо в Тамбове не было фехтовального учителя. Но танцклассы начались с двенадцатилетнего возраста, и это был единственный урок, который, особенно на первых порах, был для меня истинным мучением. Я танцы считал ниже своего достоинства и ни за что не хотел учиться: на это я положил всю свою душу. Потому, когда я узнал, что приглашен был танцмейстер француз Коломб, я несколько дней ходил в мрачном унынии, так что мать, заметив это, старалась меня

урезонить. Но я не внимал никаким увещаниям; покоряясь внешним образом воле родителей, я внутренне возмущался против учиненного надо мною насилия. Я никак не мог понять, зачем меня хотят так тиранить, ибо я тут же решил, что никогда в своей жизни не буду танцевать.

Наконец настал роковой день, когда назначен был первый урок. С утра уже я был сам не свой, и чем ближе придвигался урочный час, тем более росло во мне тоскливое ожидание. С затаенным волнением смотрел я на все приготовления, которые имели для меня вид торжественности: на уборку и освежение комнаты, на зажигание стальных ламп, которых яркий свет возвещал что-то праздничное, в особенности же на приготовленные для нас легкие танцевальные костюмы, нарядную курточку, канифасные летние панталоны с розовыми и белыми полосками и с застегивающимся сзади лифчиком, длинные белые чулки, и, к довершению всего, низенькие, на тонких подошвах без каблучков башмачки с бантиком, непрменная принадлежность танцклассов. Последние более всего приводили меня в смущение. Я глядел на них как на какое-то орудие пытки. Однажды в Петербурге меня хотели в них нарядить, но я так против них взбунтовался, что меня пощадили. Теперь же для трех братьев стояли тут рядом три пары, приготовленные для ненавистных танцев, и я с трепетом думал, что вот уже приближается минута, когда в этой, так мне казалось, приличной только для девочки обуви будут щеголять мои собственные злополучные ноги и я, как балетный плясун, должен буду выкидывать в них разные антраша. Множество разных образов роилось в моей голове. Мне живо припоминалось, как я недавно еще на летнем спектакле видел знакомого мальчика, сына тамбовского вице-губернатора, танцующего балетный *pas de deux* в каком-то пастушеском вестончике без рукавов, в желтых штанах по колена и в таких же точно белых чулках и маленьких башмачках, какие были тут приготовлены для меня и в которые через несколько минут мне предстояло облекаться. Меня ужасала мысль, что, как скоро я выучусь танцевать, пожалуй, и меня могут нарядить пастушкой и заставить перед всеми плясать балет. Я тем более был уверен, что это непременно так будет, что я крепко помнил историю детского маскарада, на который, по наущению мадам Манзони, меня хотели взять одетого баском, в коротких штанах телесного цвета и башмачках с помпончиками. В то время беда миновала, но во мне засело неодолимое отвращение ко всем подобного рода костюмам, и теперь, когда приглашен был танцмейстер и мне предстояло наряжаться к уроку, все мои прежние страхи воскресли с новою силой. Я уже видел перед собою повторение детского спектакля: танцующую с шалью девицу и за нею себя в костюме балетного пастушка, с выставляющимися напоказ белоснежными икрами, с бантиками на плечах и

в башмачках с помпончиками, порхающего на сцене и вместе со своею дамою становящегося в разные плясовые позы перед полным театром. Все это представлялось мне неизбежным последствием танцкласса, и я содрогался при мысли, что меня готовят к такому позору.

Но пока мое разыгравшееся воображение рисовало мне только картины будущего, я все еще сохранял некоторое наружное спокойствие. Жестокая минута настала, когда все было готово, огни зажжены и нам объявили, что пора одеваться. Тут я с замирающим сердцем увидел, что не избежать мне своей участи. Но делать было нечего: повесив голову, я пошел исполнять приказание. И вот меня, как жертву, обреченную на заклание, стали убирать к предстоящему жертвоприношению. На меня надели эти смущавшие мне душу танцевальные башмачки. Я крепился и молчал, но вся внутренность у меня перевернулась, когда я увидел себя обутого танцором, в гладко натянутых белых чулках, с пригожими бантиками, которые мучительно красовались теперь на оконечностях моих собственных ног, как бы обречая их на обучение балетному искусству. Чувствовать себя наряженным в эту плясовую обувь, быть осужденным носить, как девочка, украшенные ленточками маленькие башмачки было для меня нестерпимо. Пока меня одевали, я краснел и бледнел, с трудом удерживаясь от слез.

Наконец мы были готовы и пошли показываться матери в своих новых костюмах. Мне хотелось бежать и забиться куда-нибудь в самый темный угол, где бы никто не мог меня видеть, но нам велено было идти дожидаться учителя. В неопisanном волнении стоял я, разряженный для танцев, в ожидании ненавистного урока, сгорая от стыда и не зная, куда деваться в своих маленьких башмачках. Это была уже не мечта, а горькая действительность. Я едва смел взглянуть на свои несчастные ноги, но невольно опускал на них взоры и все видел тут на себе выглядывающие из-под розовых полосок моих панталон белые чулочки и эти мучительные бантики, от которых не было возможности уйти. Я двигался, и они шли со мною; я садился, и они пуще кидались в глаза, заставляя меня вскакивать как угорелый. Я вышел в коридор, чтобы скрыть свое волнение, а тут попадались навстречу проходящие горничные и лакеи, которые осматривали меня с любопытством и с улыбкой, замечали, что я надел башмачки, собираюсь танцевать, что казалось мне ужасно обидным. Горничная с восторгом воскликнула, что я так мило обут, точно барышня, и просила показать ей свою ножку. Это меня окончательно сразило. Теперь вся дворня будет говорить, что я танцую, обутый, как барышня! Мое мучение все росло.

И вдруг прибыл урочный час. В передней послышался шум, возвещающий прибытие танцмейстера. Не помня себя, я убежал и спря-

тался в темную комнату. Там я, глотая слезы, ходил взад и вперед в полном отчаянии, как будто настала моя последняя минута. Однако я чувствовал, что тут нельзя оставаться, и вовсе не желал, чтобы меня разыскивали по всему дому и повели на урок в моем танцевальном костюме, с заплаканными глазами, как преступника, влекомого на казнь. Я решил, что надобно самому идти. Сделав невероятное усилие над собой, первое и, может быть, величайшее в моей жизни, я вышел на свет божий и предстал перед новым учителем, стараясь не выказывать своего душевного волнения. Я увидел высокого, сухоощавого, косоного француза, который, поговорив с матерью, тотчас поставил нас в ряд и принялся за выправление наших ног. Пришлось в течение двух часов подвергнуться методической попытке танцкласса. Меня ставили в неестественные позиции с вывернутыми в противоположные стороны ногами, учили в такт болтать одной ногой, что называлось *faire des battements**, и заставляли под звуки скрипки выделывать разные па. По мановению танцмейстера, который громко возглашал каданс, я послушно вытягивал наискось мой увенчанный бантиком носок и вместе с братьями производил указанные прыжки, но внутренне готов был провалиться сквозь землю, до такой степени все это казалось мне унижительным. Когда кончился урок, я вздохнул свободно, но как человек, подвергшийся позорному наказанию, чувствовал себя стоящим многими ступенями ниже в собственных глазах.

Уроки продолжались, и мало-помалу я начал с ними свыкаться. Но учился я все-таки нехотя и продолжал считать танцы занятием, пригодным для одних вертопрахов и совершенно неприличным для серьезного юноши, каким я себя воображал. Я даже с некоторым пренебрежением смотрел на брата Василия за то, что он любил танцевать. Всего менее я мирился с своим неизменным костюмом: как ни удобен он был для упражнения, с нас градом катил пот. Я уже не мучился, как первое время, но всякий раз впадал в уныние, одеваясь к танцам, как к какому-то парадному и торжественному действию, для совершения которого непременно требовалось надеть чулки и башмаки. В особенности я старался не показываться посторонним в этом наряде и внутренне волновался, когда случайно приходилось являться в нем к обеду или вечером при гостях. Казалось, что все взоры тотчас устремятся на мои ноги, обутые для легкомысленных танцев. Иногда я с стесненным сердцем сторожил у дверей, стараясь уловить минуту, где бы я мог прошмыгнуть незамеченным. И чем старше я становился, тем более эти невинные маленькие башмачки, с умильно торчавшими на них бантиками, старательное изделие нашего крепостного башмачника, косоного Астафия, казались мне унижающи-

* делать батманы (фр.).

ми мое детское достоинство. Я хотел быть серьезным молодым человеком, по целым дням углублялся в книги, а меня наряжали в курточку и башмачки и заставляли плясать. Этого я никак не мог переварить. Одно, что меня несколько успокаивало, это то, что уроки проходили в просторной, лежащей в стороне классной комнате, где никакой посторонний глаз не мог видеть нашего прыгания. Щади нашу застенчивость, нас оставляли одних. Даже мать редко туда приходила, а отец никогда.

Однако и этого утешения я был наконец лишен. В одну из зим поселилась в Тамбове тетка Софья Борисовна с семейством. При возобновлении уроков нам объявили, что на танцклассы будут приезжать двоюродные сестры. Это был для меня громовой удар. Я кое-как мирился со своею судьбою, пока все происходило келейным образом; но учиться танцевать в дамском обществе, особенно в присутствии сопровождавшей двоюродных сестер молоденькой и хорошенькой гувернантки из Дерпта мамзель Дорис, перед которою я хотел казаться настоящим мужчиною, и при этом мне, взрослому четырнадцатилетнему юноше, наряжаться в белые чулки с противными подвязками и вместо мужских сапог надевать маленькие козловые башмачки, украшенные ленточками – это было и горе и обида! Я любил сходить с кузинами, но ни за что бы не хотел, чтобы они увидели меня одетого танцором, в куцей куртке, с голой шеей без галстука, в виде порхающего мотылька; и вдруг на меня обрушилась такая невзгода! Пока я не обдержался, пришлось опять проходить через трудные минуты. Как утопающий за соломинку, я все еще хватался за тщетную надежду, что авось мне, как большому мальчику, позволят брать урок в сапогах. Я не решался об этом просить, а только с грустной физиономией вертелся около матери, с трепетом наострая уши в ожидании, что мне что-нибудь скажут. Но в самый день урока предстала безобразная фигура косоного Астафия, держа в руках сшитые для танцкласса новые башмачки и требуя, чтобы я их примерил. Я был совсем убит. С таким сокрушением глядел я на эту учиняемую мне смертельную обиду! Как нестерпимы казались мне эти бантики, которые он тщательно расправлял, держа мою ногу на своем колене. Злодей как будто нарочно постарался сделать мне танцевальную обувь самую открытую и пригожую, точно дамские туфельки, чтобы меня зарезать. Мне ужасно хотелось сказать, что они мне тесны, но это будет сочтено за глупый каприз и мне все-таки прикажут их надеть и в них танцевать. Я только втайне проливал слезы над своею горькою участью.

Все это, однако, было только прелюдией. Настоящее мучение началось, когда пришла пора наряжаться, и я в освещенной к уроку классной комнате увидел эти смазливенькие башмачки со всем остальным убранством. Мороз продирал по коже. Как я предстану пе-

ред дамами в этом наряде? Одевание к танцам становилось трагическим событием, каждый шаг которого требовал насилия над собою. Я был уже не ребенок, с которым делали что хотели; я сам должен был учинить над собою выворачивающую всю душу метаморфозу. Долго я медлил, стараясь отдалить роковую минуту. Братья ходили уже обутые и мыли руки, а мне, глядя на их белые икры и пригожие бантики, становилось все более жутко. Наконец раздался голос камердинера: «Извольте одеваться, скоро барышни приедут!» Вся душа во мне застонала, однако я беспрекословно разделся и с грустной покорностью принялся напяливать свои танцевальные доспехи. После долгого перерыва я, точно в каком-то неотразимо тягостном сне, снова увидел себя самого, обутого барышней: в тонкой сети чулок с обхватывающими подколенки подвязками, в маленьких туфельках, умильно окаймляющих открытый подъем, с красиво завязанными ленточками на заостряющихся оконечностях.

Жгучая тоска овладела мною. Мне казалось, что теперь для меня все кончено. Когда камердинер пригласил меня вымыть руки мылом, как было приказано по случаю приезда дам, и я в этой обуви прошелся по комнате, мягко ступая на тончайших подошвах, я думал, что со мною происходит что-то ужасное. Слезы меня душили. Машинально я двинулся и делал все что нужно, но я ничего уже не слышал и не понимал. Я видел только свои бедные ноги, запяленные в безупречно белую вязь, и на них эти низенькие, черным лоском блистающие башмачки, от которых я не мог оторвать своих глаз; все остальное для меня исчезло. И к этому, увы, надо было надевать все те же жиденькие детские панталончики с розовыми и белыми полосками и пришитым у пояса лифчиком, который, как у девочек, застегивали мне сзади. С чувством полной безысходности своего положения просунул я свои руки в уготованные для них отверстия. Пока надо мною производилась эта операция, я стоял, как приговоренный к казни; каждая застегнутая на спине пуговица как будто закрепляла мой позор. Метаморфоза совершилась. Я послушно дал расправить на курточке раскрытый ворот рубашки и <в> этом смиряющем мою юношескую гордость costume пошел дожидаться приезда кузин и учителя. Это ожидание было долгою пыткой. При других я сдерживался и сначала даже храбрился, стараясь уверить себя, что это все ничего: пускай на меня смотрят Агнюша и Наташа! Но по мере приближения урочного часа моя с трудом добытая твердость улетучивалась как дым. Я оглядывался на себя и содрогался. Все мучительно и неотвязно твердило мне о роли презренного плясуна, на которую я был обречен: и едва слышная на ноге обувь, в которой я двигался бесшумными шагами, и тоненький вырезной лифчик, облегающий мое туловище. Никогда еще этот присвоенный танцклассом костюм не казался мне до такой степени обидным.

К вящему горю, я за лето из него вырос. Мои танцевальные панталончики с розовыми полосками были коротки, и как только я сел, они вздергивались непомерно и точно напоказ из них вылезали гладко обтянутые белые ноги, обутые в миловидные лоснящиеся башмачки с насаженными на них в виде бабочек бантиками, как бы для того, чтобы в них порхать. Отчаяние охватывало меня при этом зрелище, напоминавшем мне образ балетного пастушка. Я с трепетом прислушивался к каждому шороху в передней в ожидании, что вот сейчас откроются двери, войдут дамы и увидят меня в этом позорном наряде, и я должен буду перед ними плясать, как танцор на театре, с разными изысканными позами и телодвижениями. От невыносимого стыда я бежал в отдаленную комнату, но и там я, уже не стесненный ничем, вытянув ноги и вздернув свои панталоны, с бессмысленным отчаянием глядел на свои открытые щиколотки и эти маленькие башмачки, которые, казалось, так и вопили мне: пастушок! Их черный глянец так резко выделялся на ровной белизне чулок и завершающие их бантики так назойливо красовались над узкими носочками, что в сердце у меня раздиралось на клочки. Я то ставил их рядом, то, терзаясь, вертел их во все стороны и чувствовал, что нельзя от них избавиться. Что подумает обо мне мамзель Дорис? И как будут смеяться кузины! Мне представлялось, что и я на сцене, в полном наряде, танцую с Агньюшей балет. И я вскакивал в каком-то исступлении и с безумной решимостью, как человек, у которого отрезаны все пути, шел навстречу опасности.

Приезд дам был критическим моментом. Я слышал, как к крыльцу подъехал возок, как дамы долго раздевались в передней. Душа во мне замерла. Я взглядывал на свои ноги и готов был бежать стремглав. Нужно было крепко держать себя в руках, чтобы устоять на месте. Наконец дамы появились, тоже разряженные к танцам, в коротеньких платьицах и прюнелевых башмачках, в сопровождении хорошенькой гувернантки, все с веселыми лицами как бы в ожидании праздничного удовольствия. Я встретил их, силясь казаться равнодушным и стараясь как-нибудь скрыть свою низенькую обувь. Напрасные уловки! Проницательный женский взор тотчас нашел мое слабое место. Как только оглянула меня старшая кузина, она воскликнула с усмешкой: «Борис в башмачках!» Я весь вспыхнул, как будто кто-нибудь поймал меня на месте преступления. Все взоры тотчас устремились на проклятые мои бантики, и я стоял пристыженный, краснея до ушей, не зная, что делать со своими бедными ногами, накрепко заполненными в танцевальную обувь. Боже мой, что бы я дал в эту минуту, чтобы быть в тяжелых, неуклюжих сапогах с стучащими каблучками! Но я к этому несносному уроку был обут, как дамы; я чувствовал на себе тонкие чулочки, туго схваченные подвязками под коленом, и легкие, как пух, туфельки с миловидными бантиками. И

в этом унижительном виде я был выставлен на позор. Девицы подсмеивались над моим смущением, и это еще более заставляло меня краснеть. А мне предстояло не только целый вечер ходить в этой женской обуви, но и отличаться в танцах. Явился танцмейстер со своею скрипкой, и я должен был на виду у всех, на первом месте, становиться в плясовые позиции, выставляя напоказ свои белые щиколотки и обращенные в противоположные стороны низенькие башмачки, и затем, с грациозно опущенными руками, манерно изгибая носки, выделявать глупейшие па. Музыка пищала, и целая шеренга мужских и дамских ног в танцевальной обуви, мальчики с бантиками, а девицы с наискось завязанными ленточками, вытягивались, извивались, прыгали в каданс. Чем более я конфузился, тем более я был неловок. Поминутно раздавался идущий мне прямо в сердце голос танцмейстера: «*Tournez vos pieds! Comment tenez-vous vos bras?*».* И к довершению всей этой унижительной процедуры меня заставляли плясать ненавистный мне гавот, которым непременно оканчивался танцкласс. А тут сидела хорошенькая гувернантка и смотрела, как я в своем вырезном лифчике, в белых чулочках и открытых башмачках смиренно стою с вывернутыми ногами и под звуки скрипки выкидываю разные прыжки! Где же тут было казаться взрослым и серьезным молодым человеком? Если требовалось радикально вылечить меня от излишнего юношеского самомнения, то нельзя было придумать лучшего лекарства.

И через два дня повторилась та же история. Снова я с сокрушенным сердцем напяливал приготовленные для танцев белые чулки, стыдливо надевал миловидные башмачки с бантиками и в смущающем душу наряде должен был целый вечер упражняться с девицами в ненавистном мне прыганье. И этому не предвиделось конца; тоска меня разбирала. Даже вне урока я встречался с кузинами сконфуженный и унылый, тщательно избегая разговоров о танцклассе, что, разумеется, подавало повод к некоторому дразнению. Пошли шутки насчет розовых полосок и вырезного лифчика, которые действовали на меня, как булавочные уколы. Особенно неприятно мне было, когда старшая кузина с притворным интересом рассказывала посторонним, как меня наряжают к танцам. С услаждением повторяемая насмешливая фраза: «*Boris en petits souliers a pompons, dansant la gavotte...*»** уязвляла меня в самое сердце и заставляла краснеть до корня волос. Мне казалось, что выводятся наружу самые сокровенные мои тайны, которые должны покрыть меня вечным позором. Я ужасно боялся, чтобы не завелись танцклассы при гостях, и еще более, чтобы на Святках нас не заставили танцевать наряженными.

* «Поворачивайте ноги! Как вы держите руки?» (фр.)

** «Борис в туфельках с помпонами, танцующий гавот...» (фр.).

Кузины находили, что это было бы необыкновенно весело, а меня всякий намек приводил в несказанное волнение. Это было давно ожидаемое завершение танцклассов. Теперь мы уже достаточно обучены, есть и дамы; стоит сшить костюмы и учинить представление, и тогда что со мною будет?

Все старые образы восстали предо мною: и детский маскарад, и мальчик, танцующий балет. Вид портного Власа повергал меня в трепет. Я ожидал, что он, как некогда при мадам Манзони, пришел снимать с меня мерку и шить мне короткие штаны в обтяжку, телесного цвета, в которых я должен буду плясать перед публикой. При этой мысли у меня кровь цепенела, но тем упорнее она меня преследовала. Я воображал, что для усмирения вечно торчащих на голове вихров меня, чего доброго, завьют в папильотки и я должен буду целый день ходить с бумажками на голове, прячась от всех и краснея при всякой встрече, а вечером зажгут люстры, соберутся гости и на меня будут напяливать эти плотно облегающие короткие штаны телесного цвета, наденут к ним вестончик с бантиками без рукавов, и я в завитых буклях, красуюсь в белых как снег шелковых чулках и миниатюрных глянцевого башмачках, украшенных помпончиками или пряжечками, должен буду шествовать с Агнюшей в полный публичный зал и при всех танцевать этот гнусный гавот, которому я, на беду свою, научился изрядно, за что даже получал похвалы. Сколько после этого будет смеха и рассказов! Весь город будет знать, что я плясал в коротких штанах и шелковых чулках!

Однако и на этот раз опасения были напрасны. О костюмированных танцах не думали, и у меня отлегло сердце. Танцклассы хранили свой простой, семейный характер и скоро, под влиянием молодости и общего веселого настроения, все эти первые впечатления сгладились. Через несколько уроков я уже спокойно подтягивал свои белые чулки, стараясь, чтобы не было на них ни морщинки, согласно наставлениям мадам Манзони, что хорошо подтянутые чулки служат признаком благовоспитанности. А к концу зимы я уже с некоторым увлечением отплясывал вошедший тогда в моду галоп с хорошенькою гувернанткой и не без тайного удовольствия, смешанного со стыдом, надевал башмачки, готовясь к этому упражнению. Одушевлявшее нас беззаботное, дружеское веселье охватило и танцы, и костюм придавал им что-то необычайное, что меня волновало и мне нравилось. Никто уж не подшучивал над вырезным лифчиком с розовыми полосками, и я облакался в него с мыслью об оживленном вечере с милыми дамами. Я даже втайне мечтал о том, чтобы меня нарядили пастушком или баском, но только чтобы танцевать с кузинами и ни за что при чужих.

Всякое постороннее лицо все еще приводило меня в смущение, а когда изредка приходилось выезжать, опять поднималась

тревога. Первый выезд был на детский бал по подписке, который танцмейстер давал в большой зале Дворянского собрания для всех своих учеников и учениц. Это было чуть ли не на вторую зиму после начала уроков. Он сам возвестил нам эту ошеломляющую новость и со свойственным ему шутивным тоном прибавил: «*Préparez vos mollets*»*. Меня это возмутило. Чтобы я свои независимые икры стал готовить для презренных танцев! Да из чего он это взял? И все-таки настала печальная минута, когда пришлось свои бедные икры затягивать к балу в тонкие чулочки, надевать со вздохом неизбежные башмачки и ехать танцевать при многочисленной публике. Приезд произвел на меня одуряющее действие, но я скоро успокоился, увидев себя затерянным в массе детей. Я протанцевал одну кадрили и затем счел свои обязанности исполненными, и весь остальной вечер бродил задумчивый и одинокий среди кружащейся вокруг меня детской толпы. Меня оставили в покое, только на следующий день дядя Петр Андреевич Хвощинский заметил мне, что я дурно себя вел, не хотел танцевать. Но я очень гордился своей независимостью.

Со временем, вращаясь в московском большом свете, я увидел, что мои родители были совершенно правы, настаивая на том, чтобы мы учились этому весьма естественному в собраниях молодежи упражнению, и даже сожалел о том, что под влиянием ребяческих предубеждений никогда не хотел выучиться ему порядком. Отец знал, что всякие пригодные в общежитии ловкость и умение, приобретенные человеком, составляют для него преимущество. Особенно когда в упражнении участвуют все сверстники, неприятно отставать от других. И не только это причиненное мне воображаемое горе не оставило по себе тяжелого следа, а напротив, оно еще глубже и сильнее запечатлело во мне память об этой блаженной поре моей жизни. И теперь, на старости лет, я с каким-то неизъяснимо сладостным чувством вспоминаю все эти невинные детские волнения, которые представляются моему воображению и живее и ярче, нежели многое другое. Они переносят меня в мои ранние годы, а я как бы переживаю вновь все эти странные ребяческие ощущения. Они принесли мне ту существенную пользу, что значительно послабили неуместного детского самолюбия, приучили меня управлять собою и отучили от ложного стыда. Застенчивость осталась, но в гораздо меньшей степени и не по таким бессмысленным поводам.

Мне памятен финал этой танцевальной эпопеи, которая играла в моем детстве не последнюю роль. Мне было уже около шестнадцати лет, а я все еще с грустью наряжался к танцклассу в свой постылый костюм, стараясь укрываться от посторонних взоров. В эту зиму уро-

* «Подготовьте ваши икры» (фр.).

ки не оживлялись присутствием двоюродных сестер, которые остались в деревне, и я вернулся в свою обычную колею, погруженный в книги и лишь нехотя подчиняясь танцмейстеру, как вдруг случилось необычайное событие: нас с братом Василием пригласили на бал в Институт благородных девиц, с начальницей которого мать была дружна. Я был уже довольно благоразумен, чтобы приходить от этого в отчаяние; однако я порядочно смутился известием, что меня повежут танцевать в женское заведение, и еще более меня покорило, когда я узнал, что приказано ехать в башмаках. Здесь соединилось все, что мне наиболее претило: я гнушался танцами, терпеть не мог наряжаться и очень не любил привлекать к себе внимание. К тому же к большому обществу я был совсем непривычен: в первый раз после детского бала, где я был еще ребенком, приходилось выезжать, и в таком необычайном наряде, который внушал самые тревожные ожидания. Сердце у меня сжалось, когда опять явился несносный башмачник и принес заказанные для вечернего наряда сияющие как зеркало бальные башмачки с кокетливо сложенными бантиками, насаженными в виде помпончиков почти у самого носка. К ним велено было надеть черные шелковые чулки, добытые для этого важного случая из старого отцовского гардероба. Мать сама их нам вручила, радуясь, что дети будут так мило одеты, и брату это, по-видимому, доставляло большое удовольствие, а мне это был нож острый. Мне живо представилась вся нарядность предстоящего торжества и роль светского кавалера, которую я должен был на нем разыгрывать. Надо было для этой роли убираться щеголем с головы до ног. Как я ни готовился к этому событию, невольный страх овладел мною, когда пришлось на парадный бал облекаться в тонкую рубашку с гофрированными манжетами и напяливать полупрозрачную сеть шелковых чулок, с маленькими бантиками на маленьких туфельках. Вся душа во мне трепетала. При этом надобно было намазать себе волосы душистой помадой и тщательно пригладить свои непокорные вихры, завязать красивым бантом светлый галстук под широким, окаймленным сборками отложным воротничком, нарядиться в черную курточку с открытым белым жилетом, с трудом напялить купленные для вечера палевые перчатки и в полном бальном одеянии явиться в качестве записного танцора среди великого множества незнакомых девиц. Такой напасти со мной еще не было. Я совершил свой туалет с чувством предстоящего мне какого-то сверхъестественного подвига. Отец, случайно проходя мимо, нашел меня погруженным в меланхолическое созерцание своих ног, изящно обутых для бала. Он спросил, что я так пристально смотрю, и нашел, что все хорошо. Мне совестно было признаться, что я бог знает что бы дал, чтобы меня не везли танцевать в институт в этих унижительных туфельках. Я понимал уже, что это пустое ребячество, что стыдиться тут нечего, но не мог отделаться от щемящего

чувства при виде кокетливых помпончиков, вздымающихся на моих оконечностях. Напрасно я твердил себе, что взрослому мальчику глупо этим огорчаться; сердце у меня ныло при мысли, что я в этих шелковых чулочках и маленьких башмачках должен выставляться напоказ перед всеми институтками.

Так меня и повезли. Когда я, разряженный, сел на возок, мне хотелось все ехать и ехать и никогда не доехать. Но лошади повернули наконец на институтский двор и остановились у парадного крыльца. Я обомлел, увидев ярко освещенные окна и съезд экипажей. Решительная минута настала; двери распахнулись, надобно было туда идти и там танцевать. Сердце у меня сильно билось, когда я вслед за матерью поднимался по широкой институтской лестнице и затем вошел в облитый светом зал, где ярко горели люстры и стояли целые ряды готовых к балу девиц. Разумеется, все взоры тотчас устремились на молодых танцоров, которые явились в женский монастырь во всех своих доспехах и расфранченные, тщательно причесанные и напомаженные, в гладко натянутых палевых перчатках, в шелковых чулках и башмаках шествовали за своею маменькою, чтобы поклониться начальнице. И как только мы отвесили свои почтительные поклоны и начальница ласково приветствовала привезенных ей нарядных юношей, как заиграла музыка. Надобно было тотчас приступить к исполнению своих обязанностей, пустить в ход свои изящно обутые ноги и разыгрывать ненавистную мне роль изящного кавалера. Тут я уже не видел себя затерянным в толпе. Кавалеров было очень немного, и каждый из них выдавался, как петух, среди многочисленной женской фаланги. Я чувствовал, что на меня, как на взрослого юношу, устремлены десятки любопытных глаз, которые следят за каждым моим движением и рассматривают меня во всех подробностях от напомаженного вихра до тщательно расправленных ленточек на оконечностях моих ног. И я должен был выплясывать под этим градом испытующих взоров, перед сонмом окружающих девиц. Я должен был выплясывать в своих шелковых чулочках и новеньких башмачках с красующимися на них бантиками, которые привлекали особое внимание институток, а во мне возбуждали тем большее чувство неловкости, что мы одни щеголяли в этой обуви. Так продолжалась большая часть вечера. На этот раз я не мог отлынивать от танцев, как я делал в других случаях. Не за тем нас нарядили в шелковые чулки и привезли в институт, чтобы сидеть в углу и смотреть на других. Я был тут присяжным танцором, привезенным для увеселения институток, и волею-неволею должен был служить этому весьма противному мне назначению.

Испытание было полное, однако я храбро его выдержал. Я решил, что надобно вести себя благовоспитанным молодым человеком, и скоро вошел в свою роль. Самый мой бальный наряд меня в

ней поддерживал. После первых минут я даже не чувствовал особенного волнения и, не конфузясь, протанцевал, сколько от меня требовалось, так что мною остались довольны. Я и сам вернулся домой удовлетворенный и с легким сердцем снял башмачки с бантиками, которые сослужили мне свою службу. За то я их поминаю с благодарностью. Мои родители в этом отношении поступали весьма благо разумно: никогда явно не оскорбляя ложного стыда, они не дали ему потачки, а старались искоренить его единственным верным против него средством – привычкою.

Результатом этой школы было то, что, когда в ту же зиму нас пригласили на юношеский бал к Араповым, куда нас отправили одних с гувернером, я ехал уже без всякого волнения. И когда сама хозяйка дома, красивая и нарядная Мария Ивановна Арапова, спросила меня, хочу ли я с ней танцевать кадрили, я почтительно отвечал, что это будет для меня большая честь, и безукоризненно исполнил свое дело. Она после говорила об этом отцу, и я был очень польщен ее отзывом. Многим детям приходилось проходить через подобные мытарства. Между прочим, покойный наследник рассказывал мне, каким мучением были для него танцклассы. Я вспоминал свое собственное детство. Их так же наряжали к уроку в чулки и башмаки с пряжками, и в этом придворном костюме водили иногда на маленькие балы в Эрмитаже, чтобы приучить к светскому обращению. Он говорил, что это было для него хуже всякого наказания. Но в воспитании недурно иногда заставлять детей проделывать то, что им неприятно. Если это делается благо разумно и с умением, от этого, кроме пользы, ничего не может произойти. Через это выделяется характер и приобретает привычка терпеливо сносить маленькие жизненные неприятности, которыми усеян путь человека.

Танцы служили нам вместе с тем отличною гимнастикою в зимнее время, когда велась преимущественно комнатная жизнь. Мы, впрочем, всякий день делали прогулку перед обедом или копались в снегу в палисаднике, накидывая гору, с которой потом катались на салазках. Иногда учинялись семейные катания в огромных санях, с сидением спереди и сзади и с лавкою посередине. В них пичкались дети всех возрастов, и эта неуклюжая колымага, запряженная четверней вороных с форейтором, разъезжала по улицам Тамбова. Но особенно я любил, когда отец брал меня с собой кататься в маленьких санках на рысаке. Обыкновенно мы ездили за город по реке и затем в лежащий за рекою большой сосновый бор, окружающий Трегуляев монастырь*. Эти прогулки оставили во мне самое поэтическое воспоминание. После городских впечатлений суровый зимний пейзаж носил на себе печать какого-то грустного и торжественного

* Трегуляев Предтечев монастырь в 8 верстах от Тамбова.

величия. Особенно когда мы въезжали в лес, нас охватывало что-то волшебное и таинственное. По сторонам из глубоких сугробов вздымались громадные стволы вековых сосен, которых темно-зеленые ветви причудливо переплетались над головами, сгибаясь под тяжестью навалившего на них снега. В лесу не слышно было ни шороха, и былые стены монастыря, как заколдованный замок, пустынно возвышались среди зимней зелени. А в морозный солнечный день как весело было лететь по реке и видеть сверкающие в воздухе бесчисленными искрами пылинки инея!

Любил я эти прогулки и в начале марта, когда грачи уже прилетели, и первый пригрев весеннего солнца, особенно по деревьям, сообщал воздуху какую-то мягкость, соединявшуюся с запахом начинавшего отходить навоза. С соломенных крыш падала капель оттаявшего снега, и чириканье птиц раздавалось звонче прежнего. Все это предвещало наступление весны, когда начиналось для нас уже полное блаженство. В эту пору мы обыкновенно отправлялись гулять с Федором Ивановичем на высокий берег реки, откуда вид простирался на лежащие по ту сторону обширные луга, за которыми возвышались холмы, покрытые лесом. В этой местности город был почти что деревней. Все весенние впечатления чувствовались живо и составляли источник всевозрастающих наслаждений. Каждый шаг в обновлении природы возбуждал в нас радостные ощущения: сначала шум потоков, мутными волнами стремящихся под гору, затем, при дальнейшем таянии снега, первые проталины с пробивающеюся на них зеленою травкою, упоение воздуха, согретого живительными лучами весеннего солнца, наконец, широкое половодье с крутящимися струями и несущимися по ним глыбами льда. С каким восторгом встречали мы первую желтую или белую бабочку – признак возвращающейся к нам весны! Каждая вновь прилетевшая птичка казалась старым другом, вернувшимся из дальнего странствования. Особенно мы наслаждались, когда Святая неделя была поздняя и теплая. Тогда мы с самого утра, запасшись крутыми яйцами и хлебом для завтрака, отправлялись за город вдоль реки, на любимое наше место за дачею Андреевских, где была уже совершенная деревня, где не было видно ни людей, ни жилищ. Там мы садились на свежую траву и проводили целые часы, упиваясь благоуханием весеннего воздуха, любуясь широким раздольем реки, еще не вошедшей в свои берега, слушая жужжание воскресших от зимнего сна насекомых и радостное пенье жаворонков, витающих в небесах. А между тем издали к нам приносился звон городских колоколов, возвещающих торжественный, непрерывно продолжающийся весенний праздник.

Нередко, особенно когда дни становились длиннее, мы по тому же берегу совершали вечерние прогулки. С одной стороны тянулись длинные заборы с кой-где возвышающимися из-за них деревьями,

уже покрытыми свежеею зеленью, и между ними низкие, невзрачные домики тамбовских мещан, которые, сидя у своих ворот на прилавках, особенно в праздничные дни, мирно наслаждались теплым весенним вечером, поигрывая на гармониях или смотря на ребятишек, играющих в бабки. С другой стороны открывался прелестный вид: внизу гладкая как зеркало река, вдоль которой вдали красивым изгибом возвышались городские белые здания и церкви; за рекою бархатные, блестящие весеннею зеленью луга, а за лугами – темный сосновый бор, среди которого белела архиерейская дача. Навстречу нам через реку переплывали возвращающиеся домой пестрые стада с радостным мычанием, и все это было, как золотом, облитое теплыми лучами заходящего солнца. Мы опять шли на свое любимое место за дачу Андреевских и долго там сидели, окруженные носящимся в воздухе благоуханием трав и цветов, наслаждаясь вечернею прохладой и царящею кругом тишиною, которая прерывалась только щебетанием птиц в густом тростнике, да приносящимся к нам из дальнего леса звонким голосом кукушки или щелканьем соловья. Когда мы поехали в Москву для приготовления к университету и нам пришлось проводить весну в большом, душном, пыльном и шумном городе, меня охватывала невыразимая тоска. Душа моя жаждала весенних впечатлений и рвалась в мирный край, где я привык жить заодно с природою. Как нарочно, в это время учитель немецкого языка задал мне сочинение о преимуществах больших городов перед малыми. Я, изложивши все выгоды более просвещенной среды и господствующих в ней живых умственных интересов, прибавил, однако, что маленькие города имеют такие стороны, которых ничто не может заменить, и тут я начертил картину появляющейся весны и все те поэтические наслаждения, которые она с собою приносит. Думаю и теперь, что мирная патриархальная жизнь маленького городка, вдали от столичного шума и суеты, в полудеревенской обстановке, благотворно действует на молодые души. Они привыкают не увлекаться шумным разнообразием внешних впечатлений, а более сосредоточиваются в себе и наслаждаются тихими радостями домашней жизни и красотами обновляющейся по вечно однообразным законам природы.

Но все эти весенние городские впечатления были ничто в сравнении с теми бесконечными наслаждениями, которые мы испытывали, когда переезжали из города в деревню. Хотя расстояние было всего девяносто верст, но это считалось целым путешествием; к нему готовились заранее, как к какому-то важному и трудному делу. Из Караула приходил большой обоз, подвод в пятнадцать или двадцать. Весь дом должен был подняться и переселиться на новое место. В течение нескольких дней происходила большая укладка; суета была невообразимая. Все это нас, конечно, чрезвычайно занимало, и мы

горели нетерпением увидеть свой милый Караул. Наконец после долгих сборов мы пускались в путь; тянулась длинная вереница экипажей, нагруженных и детьми, и няньками, и пожитками, с бесчисленным количеством ящичков, кулечков, узелков. Редко мы совершали путь в один день, а большею частью ночевали дорогою, в первые годы обыкновенно в Княжой у Ковальских, а позднее в купленной отцом деревне Периксе, лежащей на полпути. В Караул мы обыкновенно приезжали к вечеру. И с какими чувствами мы к нему приближались! Уже вид находящейся в двадцати верстах безобразной Золотовской церкви заставлял нас трепетать от радостного ожидания. Мы издали высовывались из экипажа и присматривались, не видать ли шпиля караульской церкви или крыльев ветряной мельницы; когда же мы наконец, переехав Панду, выезжали на собственные наши дуга, то сердце так и прыгало от восторга. Да и было чему радоваться. Есть минуты неизъяснимого наслаждения, которые так глубоко врезаются в память, что они не забываются до конца жизни. Такие минуты довелось мне испытать в молодые годы при возвращении в Караул. Помню, как однажды, приехав один с матерью прежде остального семейства, я, проснувшись довольно рано утром, увидел лезущие в окно ветви цветущей сирени, и свежий весенний запах хлынул в поднятую раму. Наскоро одевшись, я побежал в сад, и меня охватило все обаяние прелестного, тихого, теплого майского утра. На небе не было ни облачка, солнце сияло в полном блеске, кругом пышно цвела сирень, в душистом воздухе слышалось жужжание мух и веселое пение птичек. Я побежал в рощу, где среди густой тени мелькали прозрачные, освещенные пробивающимися лучами солнца листья стоящих в свежей зелени деревьев. Я в невыразимом упоении прислушивался к звонкому голосу иволги, раздававшемуся под тенистыми сводами. Все так полно было прелести и поэзии, что, казалось, я был перенесен в какой-то очарованный мир.

Живо помню и другое впечатление, когда мы приехали уже в сумерки и я, напившись чаю, вышел один, чтобы насладиться тишиною ночи. Над головою простирался бесконечный свод небесный, сверкающий мириадами звезд. Воздух был недвижим. Издали приносился с лугов свежий запах трав. В природе стоял тот однообразный гул, который в весеннюю пору служит признаком возрожденной и неумолкающей жизни. Изредка вдали покрякивал дергач, да раздавалось из лесной чащи ночное пение соловья. И тут меня как будто охватывал какой-то волшебный мир, раскрывающийся перед мною в торжественном величии и проникающий во все глубочайшие нити моего существа.

С переездом в деревню начинались удовольствия всякого рода. Обыкновенным ежедневным занятием были походы на фрукты и ягоды, которых в саду было вдоволь и которых нам позволяли есть

сколько угодно. Случалось, что мы всей компанией садились около плодового куста, иногда под дождем, распуская зонтики, и когда мы удалялись, на кусте не оставалось ни одной ягоды. Или мы после завтрака гурьбой влезали на вишневые деревья и объедали их дочиста. Всякий день были разнообразные прогулки, и верхом, и пешком, и на лодке. Но главным нашим удовольствием была рыбная ловля, к которой все мы в то время питали необыкновенную страсть. Для нас не было большего праздника, как когда нам позволяли встать в три часа утра и отправиться с Федором Ивановичем ловить рыбу на Панде, где, по господствующему убеждению, ловля была лучше нежели в широкой Вороне. Уже впечатление раннего утра имело в себе что-то обаятельное: свежесть воздуха, туманные дали, освещение пейзажа первыми лучами восходящего солнца, под которыми как искры горели капли росы, висящие на листьях и траве, веселое пение птиц на заре, громкий крик петухов, отдаленное мычание или блеяние стада, выгоняемых на пастбище, – все это действовало живительно и готовило ко всякого рода поэтическим наслаждениям. Приехав на Панду, каждый из нас в одиночку забивался в уединенные кусты и выбрасывал свою удочку возле густого камыша или плавающих на поверхности воды лопухов. С жадностью вперяли мы взоры на неподвижно стоящий на воде поплавок, досадуя, когда начнет клевать по мелочам какая-нибудь глупая плотвичка или вертялая селявка, но исполняясь трепетным ожиданием и радостью, когда подойдет крупный окунь и разом потянет поплавок в воду. Удовольствие было полное, даже когда рыба плохо ловилась; если же лов был изрядный, то восторг превосходил всякую меру. Впечатление было так сильно, что вечером, когда я ложился спать, у меня все еще мелькал перед глазами поплавок, погружающийся в воду.

Случалось, что мы с Федором Ивановичем отправлялись на заре вдвоем. Он тоже любил рыбную ловлю, но ему надоедало смотреть в это время за мальчиками, которые бегали, шумели и могли упасть в воду. Я был старше и степеннее других, а потому он брал меня с собою. Эти походы хранились в глубочайшей тайне, что также немало содействовало прелести впечатления. Опасаясь проспать, я привязывал себе за ногу веревочку, которую продевал в полуткрытое окно, чтобы Федор Иванович, когда встанет, мог меня дернуть и разбудить. Но до этого дело не доходило. Когда он, аккуратно в три часа, выходил из своей комнаты, я встречал его уже готовый, и мы среди утренней свежести шли втихомолку на назначенные места. Ловля происходила безмолвно, как некое таинство, и когда мы, набравши порядочно рыбы, возвращались к чаю домой, я исполнен был гордого сознания оказанного мне доверия, так же как и испытанного удовольствия, а братья, которые не могли понять, куда мы девались, с завистью смотрели на нашу добычу.

Немало наслаждения доставляла мне и охота за птицами. Я прислушивался к их пению и старался их выследить, прокрадывался сквозь зеленую чащу, расставляя для мелких птиц западни, а для хищных завел кутню, приобрел себе также закрывающиеся веревочкой сети, или так называемые понции, и если попадалось что-нибудь новое, восторг был неописанный. У меня разом жили орел, молодой ворон и сыч, которых я кормил собственноручно. Последний постоянно забавлял меня своими комическими ужимками; я не мог смотреть на них без хохота. Ворон же иногда причинял мне хлопот: бывало, заберется в дом и непременно что-нибудь украдет. Однажды отец услышал ужасный звон; вышедши из комнаты, он увидел, что ворон утащил со стола колокольчик и с ним выпрыгивает на двор. В другой раз, забравшись на крытый балкон, он разорвал на мелкие кусочки оставленный там номер «Journal des Débats» с докладом Тьера о среднем образовании во Франции, а так как этот доклад не был еще дочитан, то я для защиты своего любимца взялся все эти кусочки собрать и склеить вместе.

Позднее такие же наслаждения доставляла мне и ловля жуков, к которым я пристрастился по вступлении в университет. Особенно мне памятна одна весна, в течение которой мы с Василием Григорьевичем совершали ежедневные экскурсии по лесам и по лугам, иногда верст за десять, он – собирая растения, а я – в погоне за жуками. Это были прелестные прогулки. Мы вместе наслаждались природою и весенними впечатлениями, которые оба чувствовали живо. На душе было легко, ее не тяготили никакие заботы. Новый цветок или жук приводили нас в восторг. Даже случайные приключения или налетевшая гроза придавали только еще более разнообразия этим похождениям.

Не могу, однако, сказать, что все эти развивающиеся в юности страсти к тем или другим естественным произведениям несколько отвлекают от общего впечатления природы и заслоняют собою ту чарующую прелесть, которую имеет для молодой, только что раскрывшейся души окружающий ее бесконечно разнообразный мир. С этими младенческими ощущениями ничто не может сравниться. Ребенок в каком-то волшебном упоении внимает и шепоту ветра в тенистой дубраве, и неумолкающему журчанию ручья, и звонкой трели насекомых в густой траве. Чудесное сияние раскинувшегося над ним звездного неба внушает ему смутные чаяния чего-то таинственного и бесконечного. Все для него так ново и так полно неизъяснимой прелести. Он весь погружен в это исполненное поэзии созерцание. Он учится любить природу не как внешнюю только картину, а как бьющую повсюду жизнь, как могучую силу, охватывающую все существо человека. И эти младенческие впечатления остаются навеки. Истинно любит природу только тот, кто их испытал: он умеет

наслаждаться ею не только в ее блеске и великолепии, но и в самых скромных проявлениях вечной ее красоты, в луче солнца, позлащающем степь, в шорохе камыша на берегу пустынной речки; любит ее тот, кто умеет жить с нею одною жизнью и в себе самом чувствовать непреложно повторяющийся ряд ее обновлений.

Счастливо детство, протекшее среди подобных впечатлений! Оно и на старости лет представляется земным раем. Становится понятным, почему человечество поставило золотой век в начале своего существования. Вскормленный и согретый любовным попечением семьи, окруженный поэтическим обаянием природы, глубоко запавшим мне в душу, исполненный жаждою знания, я вступил в жизнь, дыша полною грудью, чувствуя в себе неиссякаемый прилив свежих, молодых сил. Весь Божий мир открылся предо мною в каком-то праздничном наряде: с одной стороны, бесконечность природы с ее невозмутимою красотою, с ее бесчисленными и разнообразными произведениями, которые я мечтал изучить; с другой стороны, живой, волнующий мир человечества, с его поэзией, с его героями, с представляющеюся вдали перспективною служения отечеству, которое было предметом самых пламенных моих чувств. Мне казалось, что куда бы меня ни закинула судьба, в каком бы я ни очутился отдаленном и бедном уголке земли, везде для меня откроются источники неизъяснимых наслаждений.

Как далека действительность от этих поэтических ожиданий! Как скоро жизнь научает человека, что не все в ней счастье и радость! Может быть, самое блаженство юных дней делает еще более чувствительною горечь разочарований. Но хорошо и то, когда человек испытал в себе это блаженство и смолоду возрастил в душе своей такие требования и чувства, которые не позволяют ему мириться с окружающею пошлостью и постоянно побуждают его искать высших идеалов.

Приготовление к университету

Мы поехали в Москву для приготовления к Университету в декабре 1844 г. перед самыми праздниками. Мне было тогда шестнадцать лет, а второму брату, Василию, который должен был вступить вместе со мною, минуло только пятнадцать. Отправились мы двое с матерью, которая взяла с собою и маленькую сестру; отец же с остальным семейством остался пока в Тамбове. Они приехали уже в феврале следующего года. Цель поездки была подготовить нас к экзамену в течение остающихся до него семи месяцев, пользуясь уроками лучших московских учителей.

Мы приехали в Москву не как совершенно чужие в ней люди. Нас встретил старый приятель отца Николай Филиппович Павлов. Он явился к матери тотчас, как получил известие о нашем прибытии, и с тех пор не проходило дня, чтобы он не навещал нас один или даже два раза. Он взялся устроить для нас все, что нужно, хлопотал о квартире, заключал контракт о найме дома, сам возил нас всюду, знакомил со всеми, приглашал учителей, одним словом, он нянчился с нами, как с самыми близкими родными. «Хотя я не сомневался в дружбе Павлова, – писал мой отец к матери, – но описанное тобою живое участие, которое он принял в вас, меня глубоко тронуло. Есть еще люди соединяющие с возвышенным умом теплое сердце, верные своим привязанностям, несмотря на действие времени».

Павлов в это время был женат во второй раз и имел семилетнего сына. Этот брак, окончившийся весьма печально, как я расскажу ниже, был заключен не по любви, а по расчету. Сам Павлов говорил мне впоследствии, что он в жизни сделал одну гадость: женился на деньгах, – проступок в свете весьма обыкновенный, и на который смотрят очень снисходительно. Вследствие страсти к игре, он запутался в долгах, а у жены, рожденной Яниш, было порядочное состояние. Он решился предложить ей руку, несмотря на то, что сам часто подсмеивался над ее претензиями, и она охотно за него пошла, ибо у него был и блестящий ум и литературное имя, а она была уже не первой молодости.

Каролина Карловна была, впрочем, женщина не совсем обыкновенная. При значительной сухости сердца, она имела некоторые бле-

стящие стороны. Она была умна, замечательно образованна, владела многими языками и сама обладала недюжинным литературным талантом. Собственно поэтической струны у нее не было: для этого недоставало внутреннего огня; но она отлично владела стихом, переводила превосходно, а иногда ей удавалось метко и изящно выразить мысль в поэтической форме. Но тщеславия она была непомерного, а такта у нее не было вовсе. Она любила кстати и некстати щеголять своим литературным талантом и рассказывать о впечатлении, которое она производила. Она постоянно читала вслух стихи, и свои и чужие, всегда нараспев и с каким-то диким завыванием, прославленным впоследствии Соболевским в забавной эпиграмме. Бестактные ее выходки сдерживались, впрочем, мужем, превосходство ума которого внушало ей уважение. В то время отношения были еще самые миролюбивые, и весь семейный быт носил даже несколько патриархальный характер благодаря присутствию двух стариков Янишей, отца и матери Каролины Карловны. Старик, почтенной наружности, с длинными белыми волосами, одержим был одною страстью: он с утра до вечера рисовал картины масляными красками. Таланта у него не было никакого, и произведения его были далеко ниже посредственности; но зато правила перспективы соблюдались с величайшею точностью. Он писал даже об этом сочинения, с математическими формулами и таблицами. Старушка же была доброты необыкновенной; оба они производили впечатление Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны в образованной среде. Дочь свою они любили без памяти, и она распоряжалась ими, как хотела. Но главным предметом их неусыпных забот был единственный внук маленький Ипполит, которого держали в величайшей холе, беспрестанно дрожа над ним и радуясь рано выказывающимся у него способностям. Сама Каролина Карловна, хотя несколько муштровала стариков, но позировала примерною женою и нежною матерью.

При таком настроении, она старых друзей своего мужа приняла с распростертыми объятиями, часто ходила к моей матери, звала нас к себе, готова была все для нас сделать. Дом Павловых на Сретенском бульваре* был в это время одним из главных литературных центров в Москве. Николай Филиппович находился в коротких сношениях с обеими партиями, на которые разделялся тогдашний московский литературный мир, с славянофилами и западниками. Из славянофилов, Хомяков и Шевырев были его близкими друзьями; с Аксаковым велась старинная дружба. С другой стороны, в таких же приятельских отношениях он состоял с Грановским и Чаадаевым; ближайшим ему человеком был Мельгунов. Над Каролиной Карловной хотя несколько подсмеивались, однако поэтический ее

*Впоследствии он был куплен Маттерном. – Прим. Б. Н. Чичерина.

талант и ее живой и образованный разговор могли делать салон ее приятным и даже привлекательным для литераторов. По четвергам у них собиралось все многочисленное литературное общество столицы. Здесь до глубокой ночи происходили оживленные споры: Редкий с Шевыревым, Кавелин с Аксаковым, Герцен и Крюков с Хомяковым. Здесь появлялись Киреевские и молодой еще тогда Юрий Самарин. Постоянным гостем был Чаадаев, с его голою, как рука, головою, с его неукоризненно светскими манерами, с его образованным и оригинальным умом и вечною позою. Это было самое блестящее литературное время Москвы. Все вопросы, и философские, и исторические и политические, все, что занимало высшие современные умы, обсуждалось на этих собраниях, где соперники являлись во всеоружии, с противоположными взглядами, но с запасом знания и обаянием красноречия. Хомяков вел тогда ожесточенную войну против логики Гегеля, о которой он по прочтении отзывался, что она сделала ему такое впечатление, как будто он перегрыз четверик свищей. В защиту ее выступал Крюков, умный, живой, даровитый, глубокий знаток философии и древности. Как скоро он появлялся в гостиной, всегда изящно одетый, *elegantissimus*, как называли его студенты, так возгорался спор о бытии и небытии. Такие же горячие прения велись и о краеугольном вопросе русской истории, о преобразованиях Петра Великого. Вокруг спорящих составлялся кружок слушателей; это был постоянный турнир, на котором выказывались и знание, и ум, и находчивость, и который имел тем более привлекательности, что по условиям времени заменял собою литературную полемику, ибо при тогдашней цензуре только малая часть обсуждавшихся в этих беседах идей, и то обыкновенно лишь обиняками, с недомолвками, могла проникнуть в печать.

Однажды я сказал Ивану Сергеевичу Тургеневу, что напрасно он в «Гамлете Щигровского уезда» так вооружился против московских кружков. Спертая атмосфера замкнутого кружка без сомнения имеет свои невыгодные стороны; но что делать, когда людей не пускают на чистый воздух? Это были легкие, которыми в то время могла дышать сдавленная со всех сторон русская мысль. И сколько в этих кружках было свежих сил, какая живость умственных интересов, как они сблизжали людей, сколько в них было поддерживающего, ободряющего, возбуждающего! Самая замкнутость исчезала, когда на общее ристалище сходились люди противоположных направлений, но ценящие и уважающие друг друга. Тургенев согласился с моим замечанием.

Мы разом окунулись в этот совершенно новый для нас мир, который мог заманить всякого, а тем более приехавших из провинции юношей, жаждающих знания. Передо мною внезапно открылись бесконечные горизонты; впервые меня охватило неведомое дотоле ув-

лечение, увлечение мыслью, одно из самых высоких и благородных побуждений души человеческой. Я узнал здесь и людей, которые стояли на высоте современного просвещения, и вместе с тем своим нравственным обликом придавали еще более обаяния возмещаемым ими идеям. Здесь сложился у меня тот идеал умственного и нравственного достоинства, который остался драгоценнейшим сокровищем моей души. Я захотел сам быть участником и деятелем в этом умственном движении, и этому посвятил всю свою жизнь.

Первый наш выезд был на публичную лекцию Шевырева, куда повез нас Николай Филиппович. В предшествующую зиму Грановский читал публичные лекции об истории Средних Веков. Это была первая попытка вывести научные вопросы из тесного литературного круга и сделать их достоянием целого общества. Попытка удалась, как нельзя более. Блестящий талант профессора, его художественное изложение, его обаятельная личность производили глубокое впечатление на слушателей. Светские дамы толпами стекались в университетскую аудиторию. По окончании курса Грановскому дан был большой обед, на котором и славянофилы и западники соединились в дружном почитании таланта. Заказан был портрет Грановского, который был поднесен его жене. Это было событие в московской жизни; о нем продолжали еще толковать, когда мы приехали в Москву. В эту зиму публичные лекции читал Шевырев, которому успехи соперника не давали спать. В противоположность курсу, проникнутому западными началами, Шевырев хотел прочесть курс в славянофильском духе. Предметом избрана была древняя русская литература. Стечение публики опять было огромное; но успех был далеко не тот. Ни по форме, ни по содержанию этот курс не мог сравняться с предыдущим. Талант был несравненно ниже, да и скудные памятники древней русской словесности не могли представлять того интереса, как мировая борьба императоров с папами. На нас, однако, первая лекция, которую мы слышали, произвела большое впечатление. Новых мыслей и взглядов мы из нее не почерпнули: известное уже нам поучение Мономаха, проповеди Кирилла Туровского, слово Даниила Заточника не заключали в себе ничего, чтобы могло возбудить ум или подействовать на воображение. Но мы в первый раз слышали живую устную речь, обращенную к многочисленной публике. Толпа народа, наполнявшая аудиторию, студенты с синими воротничками, нарядные дамы, теснившиеся около кафедры, глубокое общее внимание слову профессора, громкие рукоплескания, сопровождавшие его появление и выход, наконец, самая его речь, несколько певучая, но складная, изящная, свободно текущая, все это было для нас совершенно ново и поразительно. Мы остались вполне довольны.

После лекции Павлов представил нас Шевыреву как будущих студентов. Шевырев сказал, что он давно знает отца, и звал нас к себе. Для ближайшего знакомства Павлов пригласил мою мать и нас обоих к себе обедать вместе с ним. Кроме Шевырева, тут были Хомяков, Константин Аксаков и Брусилов, приятель Павлова и моего отца, человек милейший, живой, с тонким и образованным умом, с изящными светскими формами. Разговор был оживленный и литературный, касавшийся текущих вопросов дня. Хомяков, маленький, черненький, сгорбленный, с длинными всклокоченными волосами, придававшими ему несколько цыганский вид, с каким-то сухим и не совсем приятным смехом, по обыкновению говорил без умолку, шутил, острил, приводил стихи только что начинающих тогда поэтов, Ивана Аксакова, Полонского, цитировал, между прочим, и хорошо известную мне строфу Байрона:

For freedom's battle once begun,
Bequeathed by bleeding sire to son,
Though baffled oft, is ever won*.

Мы были совершенно очарованы этою блестящею игрою мысли и воображения, которую поддерживали и которой вторили остальные собеседники.

На следующий день Павлов повез нас к Шевыреву на дом. Отец мой, который дорожил изяществом речи, очень желал, чтобы Павлов склонил его давать нам частные уроки. Шевырев проэкзаменовал нас, остался нами очень доволен и сказал даже Павлову, что он не ожидал, чтобы можно было так хорошо подготовиться в провинции, но уроки нам давать отказался, говоря, что он, вообще, частных уроков не дает, а в нынешнем году, по случаю публичных лекций, имеет менее времени, нежели когда-либо. Вместо себя он рекомендовал Авилова, как лучшего в Москве учителя русского языка, а нам советовал только записывать его публичные лекции, что мы и стали усердно исполнять, готовясь тем к записыванию университетских курсов.

Вслед за тем Павлов устроил для нас у себя другой обед, который произвел на нас еще большее впечатление, нежели первый, – обед с Грановским. Павлову очень хотелось сблизить нас с ним и склонить его давать нам частные уроки. Здесь в первый раз я увидел этого замечательного человека, который имел на меня большее влияние, нежели кто бы то ни было, которого я полюбил всей душою, и память которого доселе осталась одним из лучших воспоминаний моей жизни. Самая его наружность имела в себе что – то необыкновенно при-

* Ибо раз начатая битва свободы,
завещанная сыну истекающим кровью отцом,
хотя часто встречает отпор, под конец всегда выиграна.
– Перевод Б. Н. Чичерина

влекательное. В то время ему было всего 32 года. Высокий, стройный, с приятными и выразительными чертами, осененными великолепным лбом, с выглядывающими из-под густых бровей большими, темными глазами, полными ума, мягкости и огня, с черными кудрями, падающими до плеч, он на всей своей особе носил печать изящества и благородства. Также изящна и благородна была его речь, тихая и мягкая, порою сдержанная, порою оживляющаяся, иногда приправленная тонкою шуткою, всегда полная мысли и интереса. И в мужском, и дамском обществе разговор его был равно увлекателен. Он одинаково хорошо выражался на русском и на французском языках. В дружеском кругу, когда он чувствовал себя на свободе, с ним никто не мог сравниться; тут разом проявлялись все разнообразные стороны его даровитой натуры: и глубокий ум, и блестящий талант, и мягкость характера, и сердечная теплота, и, наконец, живость воображения, которое во всякой мелочной подробности умело схватить или поучительную, или трогательную, или забавную картину. У Павловых он был близкий человек. Хозяева, муж и жена, с своей стороны, были вполне способны поддерживать умный и живой разговор. Павлов, когда хотел, сверкал остроумием, но умел сказать и веское или меткое слово. Мы, только что прибывшие из провинции юноши, с жадностью слушали увлекательные речи. Очарование опять было полное.

На следующий день, после обеда, Николай Филиппович повез нас к Грановскому, который жил тогда в доме своего тестя*, на углу Садовой и Драчевского переулков. Доселе я не могу без некоторого сердечного волнения проезжать мимо этого выходящего на улицу подъезда, к которому в первый раз меня подвезли еще совершенно неопытным юношей, едва начинающим жить, у которого я и впоследствии столько раз звонил, спрашивая, дома ли хозяин, всегда ласковый и приветливый, умевший с молодежью говорить, как с зрелыми людьми, возбуждая в них мысль, интересуя их всеми разнообразными проявлениями человеческого духа, в прошедшем и настоящем. Сколько раз входил я в этот скромный домик, как в некое святилище, с глубоким благоговением; сколько выносил я отсюда новых и светлых мыслей, теплых чувств, благородных стремлений! Здесь я с пламенной любовью к отечеству научился соединять столь же пламенную любовь к свободе, одушевлявшую мою молодость и сохранившуюся до старости с теми видоизменениями, которые приносят годы; здесь в мою душу запали те семена, развитие которых составило содержание всей моей последующей жизни.

Павлов ввел нас по узкой и крутой лестнице в кабинет Грановского, который находился в исчезнувшем ныне низеньком мезонине.

* Тесть Грановского – доктор медицины Богдан Карлович Мильгаузен.

Грановский принял нас самым ласковым образом, расспросил, что мы прошли из истории и что мы читали. Услышав, что мы хорошо знаем по-английски, он раскрыл книгу и заставил нас сделать устный перевод, что мы исполнили совершенно удовлетворительно. Затем зашла речь о том, на какой нам вступать факультет. Грановский советовал непременно на юридический, признавая его единственным, заслуживающим название факультета. Там были Редкин, Кавелин, Крылов; сам Грановский читал на юридическом факультете тот же курс, что и на словесном. Он прибавил, что на кафедре государственного права готовится вступить Александр Николаевич Попов, который, хотя славянофил, но человек умный, а потому, верно, будет читать хороший курс. В то время словесный факультет был главным поприщем деятельности Шевырева и развития славянофильских идей; юридический же факультет был оплотом западников. Из отзыва Грановского о Попове видно, однако, что западники отнюдь не были исключительны, а рады были принять славянофила в свою среду, когда считали его полезным, и если Попов не получил кафедры, то виною была собственная его несостоятельность. В ту же зиму он прочел перед факультетом пробную лекцию, и профессора, насколько не причастные западному направлению, как Морошкин, нашли ее столь неудовлетворительною, что ему отказали. Таким образом, юридический факультет миновала и эта доля припущения славянофильского духа. Решившись сделаться юристами, мы тем самым попадали под полное влияние западников. Но это совершилось уже позднее. В настоящее время для нас важно было то, что после свидания с нами, Грановский согласился давать нам частные уроки и приготовить нас к университетскому экзамену.

У Павловых мы познакомились и с молодым человеком, который приглашен был давать нам уроки латинского языка и немецкой литературы. Он был еврей, родом из Одессы, но воспитывавшийся в Германии, доктор Лейпцигского университета, именем Вольфзон. В Москву он приехал с целью читать публичные лекции о немецкой литературе, надеясь тем заработать некоторые деньги, и затем, вернувшись в Германию, жениться. Павлов воспользовался этим случаем, чтобы свести его с нами. Человек он был недалекого ума, но очень живой и образованный, страстный поклонник немецкой науки и немецкой литературы. Гервинус* был его идеалом. Он отлично знал и по-латыни, и сам прекрасно говорил на этом языке. Нам он с восторгом рассказывал о германских университетах, о тамошних профессорах, что внушало нам благоговение к этим святилищам просвещения. При первом же свидании, за обедом у Павловых, он

* Георг-Готфрид Гервинус (1805 – 1871), немецкий историк, преподавал в Геттингене и в Гейдельберге.

заставил нас сделать изустный перевод с латинского языка. Я без труда перевел ему несколько фраз, не только из Тита Ливия, но и из Тацита. Он остался вполне доволен и сказал, что мы в короткое время сделаем удивительные успехи. Больших успехов однако не оказалось, ибо в сущности он был вовсе неопытный педагог. Он засадил нас за перевод посланий Овидия; многоречиво толковал нам тонкости языка, хотел даже заставить нас говорить по-латыни, но последнее, по краткости времени, не удалось, да и вовсе было не нужно. Я по-латыни знал совершенно достаточно не только для университета, но и для дальнейших занятий, и уроки Вольфзона весьма немного прибавили к моему знанию.

Также поверхностно было и знакомство с немецкою литературою. Серьезное изучение литературы требует чтения писателей, а на это не было времени. Для меня было бы весьма полезно, если бы он познакомил нас с Гете, которого я стал изучать уже гораздо позднее, но именно этого не делалось. Мы учили наизусть «Die Ideale» Шиллера, писали иногда небольшие сочинения; Вольфзон читал нам вслух первую часть Валленштейна, которого я уже знал. Мы постоянно ходили и на его публичные лекции, которые, надобно сказать, были довольно скучны, ибо таланта, в сущности, не было. Туда стекались московские немцы и немки, которые подавали повод брату к забавным замечаниям, а я нарисовал карикатуру, изображающую лекцию о Фаусте, на которой немки пролили столько слез, что затопили всю аудиторию и даже самого лектора.

Вернувшись в Германию, Вольфзон написал книгу, в которой излагал впечатления, вынесенные им из своего пребывания в Москве. Он описывал, как они в беседах с Мельгуновым* шествовали по общечеловеческому пути, где нет других верст, кроме общечеловеческих, и как Павлов, с своим скептическим и саркастическим умом, возмущал эту дивную гармонию. И это подало мне повод нарисовать карикатуру, где Вольфзон изображался карабкающимся вслед за Мельгуновым по общечеловеческому пути, вдоль которого, в виде общечеловеческих верст, стоят имена Фейербаха, Руге, Штирнера. Обтирая пот с лица, Вольфзон восклицает: «Однако, труден общечеловеческий путь!» А Мельгунов, обнимая своими длинными и костлявыми руками толпу безобразных кафров и готтентотов, отвечает: «Зато отрадно сближение с человечеством». Несколько лет спустя, общечеловеческие друзья перессорились не на живот, а на смерть. Я получил от Вольфзона яростное письмо, в котором он обвинял Мельгунова в злоумышленной клевете. В чем состояла эта клевета, осталось мне неизвестным.

* О Николае Александровиче Мельгунове, писателе, выступавшем в «Московском Наблюдателе», «Москвитяине», «СПБ. Ведомостях» и «Отечественных Записках» под псевдонимами Н. Ливевский и Н. Л-ский см. ниже.

Гораздо полезнее Вольфсона был для нас рекомендованный Шевыревым учитель русского языка Авилов. Это был хороший педагог, умный, знающий и живой. Правда, желание отца не исполнилось: для основательного упражнения в письме не доставало времени, и мы не много могли усовершенствоваться в слого. Зато изучение языка открылось нам с совершенно новой стороны. Авилов начал с элементарного курса логики, которой мы еще не проходили, но который требовался для экзамена; затем перешел к русскому языку. Вместо рутинного долбления грамматики, он занялся филологическим разбором, объясняя происхождение языка, связь его с другими, элементарное строение слов, переходы букв, основные правила языковедения. В то время только что начиналось то филологическое преподавание, которое в известной мере несомненно имеет весьма существенное значение, но которое, будучи впоследствии доведено до крайности, совершенно вытеснило литературное образование, нисколько не содействуя совершенствованию речи. Не менее важен был и шаг от риторики Кошанскаго к новому пониманию литературы, как художественного изображения живой и типической действительности.

Но, без сомнения, важнейшее, что мы приобрели в это приготовительное к университету время, дано было уроками Грановского. Здесь мы возносились в самую широкую сферу мысли, знакомились с высшими взглядами современной науки. Грановский обыкновенно приезжал к нам после университетской лекции; мать просила у него позволения слушать его преподавание, сидя в соседней комнате. С первого же приступа он спросил меня: знаю ли я, какой смысл и содержание истории. Помня уроки Измаила Ивановича*, я отвечал: «Стремление к совершенству». «Так определяли историю в XVIII веке, – сказал Грановский, – но это определение недостаточно. Совершенство есть недостижимый идеал. Не осуждено же человечество на то, чтобы вечно гоняться за какою-то фантазмагорией, которую оно никогда не в состоянии поймать. Истинный смысл истории иной: углубление в себя, постепенное развитие различных сторон человеческого духа». И с обычным своим мастерством он в кратких словах развил эту тему. Так мы прошли с ним полный курс всеобщей истории, до самой Французской революции. Мы готовились к уроку по учебнику Лоренца, затем, выслушав приготовленное, он сам читал краткую лекцию, дополняя выученное, очерчивая лица, выясняя смысл событий, их взаимную связь, развитие идей, указывая на высшие цели человечества. Когда мы дошли до разделения церквей, он сказал: «Вы сами впоследствии увидите, в чем состоит существенное различие в характере и призвании обеих церквей:

*Сумарокова.

Восточная церковь гораздо глубже разработала догму, но Западная показала гораздо более практического смысла». Преподавание завершилось выяснением идей Французской революции: «Свобода, равенство и братство, – сказал Грановский, – таков лозунг, который французская революция написала на своем знамени. Достигнуть этого не легко. После долгой борьбы, французы получили наконец свободу; теперь они стремятся к равенству, а когда упрочатся свобода и равенство, явится и братство. Таков высший идеал человечества».

Я жадно усваивал себе эти уроки. Чем более я слушал Грановского, тем более я привязывался к нему всем сердцем. К сожалению, нам не удалось попасть на знаменитый его магистерский диспут, который случился именно в это время. Как нарочно, он был назначен в то самое утро, когда должен был приехать из Тамбова отец с остальным семейством. Они тащились шесть дней по невероятным сугробам; передовые экипажи уже приехали, и их ожидали с часу на час. Действительно, они прибыли; после почти двухмесячного расставания, радость была неописанная. Большой дом Певцовой, на повороте Кривого переулка, близ Мясницкой, в котором мы стояли, наполнился шумом и беготней. Вырвавшиеся на свободу, после шестидневного томительного путешествия на возках, ребяташки резвились и кричали. Рассказам с обеих сторон не было конца. И вдруг, в эту самую минуту, является из университета Василий Григорьевич*, в каком-то неистовом восторге. Он пришел прямо с диспута и рассказал о неслыханном торжестве Грановского, который был идиолом не только своих слушателей, но и всего университета. Студенты, собравшиеся в массу, прерывали шиканьем его оппонентов; всякое же слово Грановского встречалось неумолкающими рукоплесканиями. Наконец, его вынесли на руках.

На следующий день Грановский счел, однако, нужным сказать своим слушателям несколько слов, чтобы предостеречь их от слишком восторженных оваций, на которые в Петербурге смотрели не совсем благоприятно. Он сделал это со свойственным ему тактом и благородством. Он умел тронуть слушателей, указав им на высшую цель их университетского поприща, на служение России, «России, преобразованной Петром, России, идущей вперед и с равным презрением внимающей и клеветам иноземцев, которые видят в нас только легкомысленных подражателей западным формам, без всякого собственного содержания, и старческим жалобам людей, которые любят не живую Русь, а ветхий призрак, вызванный ими из могилы и нечестиво преклоняются перед кумиром, созданным их праздным воображением». Это было по адресу славянофилов, Шевырева с компанией, которые злобно на него ополчились и старались делать ему

* Вязовой.

всякие неприятности. Нам принесли эту речь, записанную с его слов, и не только мы, но и отец был от нее в восхищении.

С таким же восторгом рассказывал нам о диспуте юрист 4-го курса Мальшев, который, по рекомендации Грановского давал нам уроки географии. «Вы знаете, – говорил он, – ведь для нас Тимофей Николаевич – это почти что божество». Мальшев был умный и дельный студент, хотя любил покутить, что было не редкостью между университетскою молодежью. Он преподавал нам географию, составляя извлечения из лекций Чивилева, который в статистику включал очерк географического положения европейских стран. Изложение Чивилева было превосходное и усваивалось необыкновенно легко. На экзамене мне как раз попался один из почерпнутых из его курса вопросов, и он же был экзаменатором. Он удивился моему ответу и спросил: кто меня учил? Я объяснил, в чем дело.

Из математики и физики нас приготавливал Василий Григорьевич, который в это время совершенно переселился к нам в дом. Наконец, закону божьему учил нас, по рекомендации университетского священника Тернового, почтеннейший Иван Николаевич Рождественский, тогда еще преподаватель в Дворянском институте, впоследствии доживший до 80 лет и пользовавшийся всеобщим уважением в Москве.

Но мне всего этого было недостаточно. Я непременно хотел учиться по-гречески, хотя для экзамена этого вовсе не требовалось. Наконец, родители уступили моим настояниям, и Павлов пригласил лектора санскритского языка в Московском университете Каэтана Андреевича Коссовича. Это был человек замечательный в своем роде, пламенная душа, обращавшая все свои восторги на изучаемый предмет. Выше Илиады и санскритских поэм для него ничего не было в мире. Урок назначен был в воскресные дни, ибо все остальное время было занято, и мы сидели с ним по целым утрам, предаваясь поэтическому упоению. В первый раз он начал было с евангелия Иоанна, но как скоро я перевел несколько фраз, и он увидел, что я перевожу свободно, он воскликнул: «Э, да Вас можно прямо посадить за Илиаду». Тут я впервые познакомился с этою дивною поэмою и понял изумительную прелесть и красоту греческого языка. Я весь погрузился в этот очарованный мир богов и героев, над которым, как главный предмет моего пламенного сочувствия и увлечения, возвышался величавый, глубоко человеческий и вместе глубоко трагический образ Гектора, этого грозного и стойкого защитника отечества, несущего на своих плечах судьбы родного города, с тайным предчувствием неизбежного его падения, – самый поэтический тип, который когда либо создавало искусство. Я не мог без волнения читать знаменитую сцену прощания его с Андромахой, где с неподражаемою простотою и изяществом выражаются самые высокие чело-

веческие чувства. И я с грустью повторял стихи, которые Сципион Африканский читал при разрушении Карфагена:

Будет некогда день, как погибнет священная Троя,
Древний погибнет Приам и народ копыеносца Приама.*

Эти уроки были для меня истинным наслаждением. Перед экзаменом я должен был от них отказаться. В университете мне уже некогда было заниматься греческим языком; но впоследствии, когда я стал серьезно изучать философию, я смог достигнуть того, что свободно читал Платона и Аристотеля.

Отец очень заботился о том, чтобы эти новые, усидчивые занятия нас не утомили и не действовали вредно на наше здоровье. Поэтому он требовал, чтобы мы делали как можно более движения. С этой целью, и чтобы время не пропадало даром, свободные часы посвящались разным физическим упражнениям. Нас посылали в манеж ездить верхом. Приглашен был учитель фехтования, статный и ловкий Трёлъ. Выучились мы немногому, но гимнастика была хорошая, и мы между собою дрались с увлечением. Приглашен был также танцмейстер, первый артист императорских театров, француз Ришар. Он должен был обучать нас всем новейшим приемам светских танцев. Но как же вознегодовал он, когда, явившись в первый раз в сопровождении скрипача, он вдруг увидел, что мы, как взрослые юноши, без всякого внимания к важности и изяществу предстоящего учения, готовимся брать уроки в сапогах! Он тотчас протестовал против этого нарушения священных обычаев танцкласса и заявил, что его ученики должны быть, по принятой у всех уважающих себя танцмейстеров форме, непременно в башмаках. Немедленно были приняты меры для исправления этой грубой погрешности, показывающей неуважение к искусству, и когда, после вторичного, настойчивого напоминания обязанностей учащихся танцевать, мы, наконец, предстали перед ним обутые по самой настоящей бальной форме, в черных шелковых чулках и в башмачках с бантиками, наших старых знакомых, он остался вполне удовлетворен этим признанием утонченных требований танцкласса. Я, разумеется, в это время был уже ко всему этому совершенно равнодушен и даже с удовольствием надел башмачки с бантиками, которые напоминали мне нашу милую тамбовскую жизнь и мои прежние волнения. Успеха от изящной обуви, впрочем, не последовало, да и уроков было мало; но требование некоторой выправки и нарядности было, вообще, не лишнее. Главное же, среди умственных занятий была отличная гимнастика.

*В подлиннике цитата приведена на греческом языке.

При множестве уроков, о рисовании нечего было и думать, но я не отказался от своей страсти к птицам, тем более что в Москве было чем ее удовлетворить. Тут был Охотный ряд! Я долго стремился к этой сокровищнице, о которой слышал всякие рассказы; наконец в одно воскресное утро, меня туда отпустили. У меня разбежались глаза, когда я увидел сотни клеток, с самыми разнообразными, многими, никогда еще не виданными мною птицами. Тут были красивые свиристели, малиновые шуры, клесты с перекрещивающимся клювом. Я немедленно закупил их несколько и с тех пор стал ходить в Охотный ряд, как только было у меня свободное время. Дома же я в нашей общей спальне затаил одно окно сеткою, за которою всегда сидело несколько десятков моих крылатых любимцев. А когда мы весною переехали на дачу, мне в саду устроили вольерку. Я не мог вытерпеть, чтобы некоторых из них не нарисовать.

Между тем, мы продолжали посещать и старательно записывали лекции Шевырева. Но чем долее я их слушал, тем более я относился к ним критически. Этому способствовало не только постепенно укореняющееся влияние Грановского, но и все то, что мне доводилось слышать и читать о мнениях славянофилов и о предметах их споров с западниками. В это время самым крупным явлением в этой литературной борьбе был переход «Москвитянина» под редакцию Ивана Васильевича Киреевского. Некогда Киреевский был ярким шеллингистом; в этом направлении он издавал журнал «Европеец», который был запрещен уже с первого номера, и от которого за редактором долгое время оставалось прозвание Европейца. Но затем, вслед за Шеллингом, он совершил эволюцию от философского пантеизма к нравственно религиозной, и притом догматической точке зрения. Разница состояла в том, что Шеллинг примкнул к католицизму, а Киреевский остановился на православии, вследствие чего он и сделался одним из основателей славянофильской школы. Пишущие историю славянофилов обыкновенно не обращают внимания на то громадное влияние, которое имело на их учение тогдашнее реакционное направление европейской мысли, философским центром которого в Германии был Мюнхен. Из него вышли не только московские славянофилы, но и люди, как Тютчев, которого выдают у нас за самостоятельного мыслителя, между тем как он повторял только на щегольском французском языке ту критику всего европейского движения нового времени, которая раздавалась около него в столице Баварии. Даже высшее значение Восточной церкви с точки зрения философской, начало, на котором славянофилы строили все свое умственное здание, проповедовалось в то время одним из корифеев шеллинговой школы Баадером. Взявши в свои руки «Москвитянина», Киреевский хотел проводить свое направление, но и на этот раз его журнальное поприще было непродолжительным. Через два

три месяца он опять сдал «Москвитянин» Погодину, который набирал всякого рода сотрудников, стараясь извлечь из них как можно более денег, и скоро превратил свой журнал в совершеннейшую пошлость.

Кратковременная редакция Киреевского ознаменовалась, однако, оживлением литературных споров. Со свойственным ему умом и талантом, но вместе и со свойственной ему поверхностною софистикою, он громил всю западную философию, как исчадие превозносящегося в своей гордыне рассудка, и указывал спасение единственно в лоне православной церкви. Возгорелась полемика, насколько возможно было печатно касаться этих вопросов. Между прочим, Герцен написал в «Отечественных записках» живую, умную, проникнутую обычным его юмором статью, которую отец прочел нам вслух*. Мы много смеялись. Разумеется, я не мог еще тогда понять сущность философских вопросов, о которых шла речь. Но вся проповедь славянофилов представлялась мне чем-то странным и несообразным; она шла наперекор всем понятиям, которые могли развиться в моей юношеской душе. Я пламенно любил отечество и был искренним сыном православной церкви; с этой стороны, казалось бы, это учение могло бы меня подкупить. Но меня хотели уверить, что весь верхний слой русского общества, подчинившийся влиянию петровских преобразований, презирает все русское и слепо поклоняется всему иностранному, что, может быть, и встречалось в некоторых петербургских гостиных, но чего я, живя внутри России, от роду не видал. Меня уверяли, что высший идеал человечества – те крестьяне, среди которых я жил, и которых знал с детства, а это казалось мне совершенно нелепым. Мне внушали ненависть ко всему тому, чем я гордился в русской истории, к гению Петра, к славному царствованию Екатерины, к великим подвигам Александра. Просветитель России, победитель шведов, заандамский работник, выдавался за искажителя народных начал, а идеалом царя в «Библиотеке для воспитания» Хомяков выставлял слабоумного Федора Ивановича за то, что он не пропускал ни одной церковной службы и сам звонил в колокола.

Утверждали, что нам нечего учиться свободе у Западной Европы, и в доказательство ссылались на допетровскую Русь которая сверху до низу установила всеобщее рабство. Вместо Пушкина, Жуковского, Лермонтова, меня обращали к Кириллу Туровскому и Даниилу Заточнику, которые ничем не могли меня одушевить. А с другой стороны, то образование, которое я привык уважать с детства,

* Очевидно, статья «Москвитянин и вселенная», появившаяся в «Отечественных записках», 1845 г., № 3, подписанная псевдонимом «Ярополк Водянский».

та наука, которую я жаждал изучить, ожидая найти в ней неисчерпаемые сокровища знания, выставлялись, как опасная ложь, которой надобно остерегаться, как яда. Взамен их обещалась какая-то никому неведомая русская наука, ныне еще не существующая, но должная существовать когда-нибудь развиться из начал, сохранившихся неприкосновенными в крестьянской среде.

Все это так мало соответствовало истинным потребностям и положению русского общества, до такой степени противоречило указаниям самого простого здравого смысла, что для людей посторонних, приезжих, как мы, из провинции, не отуманенных словопрениями московских салонов, славянофильская партия представлялась какою-то странною сектою, сборищем лиц, которые в часы досуга, от нечего делать, занимались измышлением разных софизмов, поддерживая их перед публикой для упражнения в умственной гимнастике, и для доказательства своего фехтовального искусства. Так это представлялось не только нам, еще незрелым юношам, но и моим родителям. Отец мой, со своим здравым и образованным умом, не причастный ни к каким партиям, но интересующийся всеми умственными вопросами, смотрел на славянофильские затеи более или менее, как на забаву праздных людей, не имеющую никакого серьезного значения. И этот взгляд мог только укрепиться при виде тех внешних отличий, которыми славянофилы старались выказать свою самобытность. Когда они одели на себя мурmolки, как символ принадлежности к их партии, когда Константин Аксаков разъезжал по московским гостиным в терлике и высоких сапогах, когда Хомяков и некоторые его последователи облеклись в какую-то изобретенную им славянку, и во всем этом усматривали признаки начинающегося, возрождения русского духа, то нельзя было над этим не смеяться и не считать всю их деятельность некоторого рода самодурством потешающих себя русских бар, чем она в самом деле и была в значительной степени. Вне московских салонов русская жизнь и европейское образование преспокойно уживались рядом, и между ними не оказывалось никакого противоречия; напротив, успехи одного были чистым выигрышем для другой. Все стремление моих родителей состояло в том, чтобы дать нам европейское образование, которое они считали лучшим украшением всякого русского человека и самым надежным орудием для служения России.

Ко всем этим поводам к теоретическому отчуждению от славянофилов присоединилось и то, что трудно было не возмутиться их образом действий. В это время отношения обеих партий значительно обострились, так что Павловы принуждены были закрыть свои четверги. Причиною размолвки была учиненная славянофилами гадость. За год перед тем выбыл из Москвы губернатор Сенявин. Жена его, красивая светская женщина, во время его губернаторства

держала у себя салон и охотно принимала литераторов. В благодарность за любезное обхождение, московское литературное общество пожелало подарить ей на память великолепный альбом с видами Москвы. Многие московские писатели наполнили его своими стихами и своею прозою. Между прочим, поэт Языков, тогда уже больной и не выходявший из комнаты, вписал в него стихотворение, которое нельзя иначе назвать, как пасквилем на главнейших представителей западного направления. Люди обозначались здесь прямо, без обиняков: Чаадаев назывался «плешивым идиолом строптивых баб и модных жен». К Грановскому обращены были следующие стихи:

И ты, красноречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Всех западных гнилых надежд.

Подобная проделка была совершенно непозволительна. Если бы это стихотворение было просто пущено в ход в рукописи, то и в таком случае оно не могло бы не оскорбить людей, пользовавшихся общим и заслуженным почетом. До того времени, несмотря на горячие споры, происходившие между обеими партиями, противники встречались с соблюдением всех приличий, с полным взаимным уважением; борьба велась в чисто умственной сфере, никогда не затрагивая личностей. А тут вдруг из среды одной партии поэт-гуляка, ничего не смысливший ни в научных, ни в общественных вопросах, вздумал клеймить людей, стоящих бесконечно выше его и по уму и по образованию. Когда же этот пасквиль рукою автора был внесен в альбом великосветской дамы, занимавшей видное общественное положение, в альбом поднесенный ей на память от всей литературной Москвы, то неприличие достигало уже высшего своего предела. Между тем, славянофилы, которые по духу секты всегда горой стояли за каждого из своих, не только не отреклись от Языкова, а напротив, старались оправдать его всеми силами. Понятно, что это не могло не возмутить не только их противников, но и посторонних людей. Каролина Карловна Павлова написала по этому поводу одно из лучших своих стихотворений. Она некогда была в дружеских отношениях с Языковым. Поэт, уже больной, обращался к ней со стихотворными посланиями, и она отвечала ему тем же. И после совершенного им поступка, он послал ей какие-то стихи, но на этот раз она не отвечала. Он поручил одному из своих друзей спросить у нее, отчего он не получает ответа. Тогда она послала ему следующее стихотворение:

Нет, не могла я дать ответа
На вызов лирный, как всегда;
Мне стала ныне лира эта
И непонятна и чужда.

Не признаю ее напева,
Не он в те дни пленял мой слух;
В ней крик языческого гнева,
В ней злобный пробудился дух.
Не нахожу в душе я дани
Для дел гордыни и греха;
Нет на проклятия и брани
Во мне отзывного стиха.
Во мне нет чувства, кроме горя,
Когда знакомый глас певца,
Слепым страстям безбожно вторя,
Вливает ненависть в сердца;
И я глубоко негожую,
Что тот, чья песнь была чиста,
На площадь музу шлет святую,
Вложив руганья ей в уста.
Мне тяжело знать и безотрадно,
Что дышет темной он враждой,
Чужую мысль карая жадно
И роясь в совести чужой.
Мне стыдно за него и больно,
И вместо песен, как сперва,
Лишь вырываются невольно
Из сердца горькие слова.

Таким образом, в это подготовительное к университету время все клонилось к тому, чтобы отчудить меня от славянофилов и приблизить меня к западникам. И то, что я вынес из провинции, и то, что приобрел в Москве, приводило к одному результату. Вся моя последующая жизнь, все изведенное опытом и добытое знанием, могло только его закрепить.

В мае мы переехали на дачу. Отдаляться от Москвы при продолжении уроков не было возможности, а потому нанята была дача на Башиловке, близ Петровского парка. В то время она принадлежала князю Щербатову. Дом был красивой архитектуры, довольно помещительный; при нем был хорошенький садик, с выходом, через улицу, в парк. Большая часть учителей приезжала к нам туда: Грановский, Авилов, Вольфзон, Коссович; Василий Григорьевич жил с нами. Только для уроков закона божьего мы ездили в город.

Я несказанно рад был вырваться из душной и пыльной столицы. Хотя местность около парка далеко не походила на деревню, но тут была зелень, тишина, свежий воздух. Для прогулок я сначала выбирал самые ранние утренние часы, когда в парке никого не было, и я мог спокойно наслаждаться его свежою и густою зеленью, светлыми прудами, красивою группировкою деревьев. Скоро, однако, я к большому своему неудовольствию заметил, что московск-

кий климат далеко не то, что тамбовский: при восходе солнца нельзя было гулять в холстяном платье; вместо живительной и благоуханной утренней прохлады, к которой я привык в деревне, чувствовался холод, и я слишком ранние прогулки должен был прекратить. К лету нам привели из деревни наших верховых лошадей, и мы делали большие прогулки верхом, нередко вместе с Каролиной Карловной, которая жила недалеко от нас, на даче в Бутырках, и для которой было отменным удовольствием разъезжать амазонкой с эскортом молодых людей.

Но чем далее подвигалось лето, тем менее мог я наслаждаться и природой и прогулками. Приближалось время экзаменов, которые происходили в августе. Голова была наполнена уроками и повторениями. Во время прогулок, я уже не смотрел по сторонам, а только мысленно обновлял в своей памяти все пройденное и все, что требовалось знать.

Наконец, настал великий день. На первый раз отец сам повез нас в университет; потом мы уже ездили одни. В то время экзаменовали профессора в стенах университета. Мы вдруг очутились в огромной толпе молодых людей, наших сверстников, стекшихся отовсюду искать знания в святилище науки. Первый экзамен состоял в письменном сочинении. Выше я уже сказал, что Шевырев задал темою описание события или впечатления, которое имело наиболее влияния в жизни, и что, уступив брату английскую литературу, я взял латинских классиков. Шевырев остался очень доволен, поставил нам по 5 и тотчас, через Павлова, сообщил родителям о результате испытания. Мы вернулись домой в восторге.

Следующий экзамен был также успешен. Экзаменовал Кавелин из русской истории, и я опять получил пятерку. Так продолжалось и далее; с каждым новым испытанием прибавлялась бодрость и уверенность. На экзамене из закона божьего присутствовал сам митрополит Филарет. Я вступил первым, получив одну только четверку из физики, и ту несправедливо, ибо я предмет знал отлично, с такими вычислениями, которые вовсе даже не требовались от студентов юридического факультета. Вопрос попался пустой; Спасский, который не обращал на юристов большого внимания, спросил два, три слова и поставил 4, а я не имел духу просить, чтобы он проэкзаменовал меня основательно. Я был очень огорчен, и Василий Григорьевич тоже; но делать было нечего, и беда была невелика. Это была единственная четверка, которую я получил во всю свою жизнь. Брат мой также отлично выдержал экзамен, хотя ему не было еще вполне 16 лет.

Когда наконец все кончилось, наша радость была неописанная. Все усилия и труды увенчались блистательным успехом. У нас как гора свалилась с плеч. Можно было на время бросить книги и тетра-

ди, и вздохнуть свободно, услаждаясь сознанием великого совершенного шага. Это был первый значительный успех в жизни, успех тем более важный, что им обозначалось вступление в новый возраст и на новое поприще.

Миновало детство с его волшебными впечатлениями, с его невозмутимым счастьем; мы выходили уже из-под крыла родителей и становились взрослыми людьми, которым предлежало уже самим располагать своими действиями.

Но еще больше, может быть, была радость моих родителей. Все многолетние попечения, заботы, хлопоты и издержки, все опасения, надежды и ожидания привели, наконец, к тому желанному результату, который был постоянной целью всей их деятельности и дум. Дети выдержали испытание и выдержали блистательно, отличившись в глазах всех, обратив на себя общее внимание. Они встали уже на собственные ноги, и бодро и весело вступали на новый путь, где их ожидали новые успехи. Родительская гордость и родительское сердце могли быть вполне удовлетворены.

Мы тотчас заказали себе мундиры. С какою гордостью надели мы синий воротник и шпагу, принадлежность взрослого человека! В ожидании начала лекций, мы с остальным семейством продолжали жить на даче; отец же со спокойным сердцем уехал в свой Караул, куда должен был прибыть Магзиг* для насаждения нового парка.

* Садовник, служивший у отца автора в его имени Караул.

Студенческие годы

В то время, когда я вступил в Московский университет, он находился в самой цветущей поре своего существования. Все окружающие его условия, и наверху и внизу, сложились в таком счастливом сочетании, как никогда в России не бывало прежде и как, может быть, никогда уже не будет впоследствии.

Министерством народного просвещения управлял тогда граф Уваров, единственный, можно сказать, из всего длинного ряда следовавших друг за другом министров, с самого начала нынешнего века, который заслуживал это название и достоин был занимать это место. Уваров был человек истинно просвещенный, с широким умом, с разносторонним образованием, какими бывали только вельможи времен Александра I. Он любил и вполне понимал вверенное ему дело. Управляя народным просвещением в течение 15 лет, он старался возвести его на ту высоту, на какую возможно было поставить его при тогдашнем направлении правительства. Сам он глубоко интересовался преподаванием. Когда он осенью 1848 года незадолго до отставки приехал в свое великолепное имение Поречье*, где у него была и редкая библиотека, и драгоценный музей, он пригласил туда несколько профессоров Московского университета, между прочим, Грановского, и самое приятное для него препровождение времени состояло в том, что он просил их читать лекции в его маленьком обществе. Перед тем он был в Московском университете и заставлял даже студентов читать пробные лекции в его присутствии. К сожалению, я этого не видел и не мог участвовать в этих чтениях, ибо в ту пору мы не возвратились еще из деревни. Высокому и просвещенному уму графа Уварова не соответствовал характер, который был далеко не стойкий, часто мелочной, податливый на личные отношения. Государя он боялся как огня; один из его приближенных рассказывал мне, что его трясла лихорадка всякий раз, как приходилось являться к царю с докладом. Но тем более делает ему чести, что он всячески старался отстоять русское просвещение от суровых тре-

* Известное имение гр. С. С. Уварова Можайского уезда Московской губернии.

бований монарха. Он сам говорил Грановскому, что, управляя министерством, он находился в положении человека, который, убегая от дикого зверя, бросает ему одну за другой все части своей одежды, чтобы чем-нибудь его занять, и рад, что сам, по крайней мере, остался цел. При реакции, наступившей в 1849 году, бросать уже было нечего, и Уваров вышел в отставку.

Ниже по уму, но гораздо выше по характеру был тогдашний попечитель Московского университета, граф Сергей Григорьевич Строганов, незабвенное имя которого связано с лучшими воспоминаниями московской университетской жизни. Время его попечительства было как бы лучом света среди долгой ночи. С Уваровым он был не в ладах, потому что не уважал его характера; но сам он занимал такое высокое положение, и в обществе и при дворе, что мог считаться почти самостоятельным правителем вверенного ему округа. Впоследствии я близко знал этого человека и мог вполне оценить его редкие качества. При невысоком природном уме, при далеко недостаточном образовании, в нем ярко выступала отличительная черта людей Александровского времени, – горячая любовь к просвещению. Самые разнообразные умственные интересы составляли его насущную пищу. Страстно преданный своему отечеству, свято сохраняя уважение к верховной власти, он никогда не стремился к почестям и презирал все жизненные мелочи. Любя тихую семейную жизнь, он высшее наслаждение находил в постоянном чтении серьезных книг и в разговорах с просвещенными людьми. Уже восьмидесятилетним стариком, он вдруг с любовью занялся собранием мексиканских древностей. Показывая мне свое собрание, он спросил меня, не знаю ли я какого-нибудь сочинения о Мексике. Я назвал *Brasseur de Bourbourg*, замечая, однако, что это книга* весьма неудобоваримая. И что же? Через несколько месяцев, приехавши опять в Петербург, я застаю его за чтением Брассера и весьма довольного моей рекомендацией. Но главная его страсть, к чему у него была прирожденная струнка, была педагогика. Я видел тому удивительные примеры. Однажды в Гааге, во время путешествия с наследником мы шли с ним по улице вдвоем. Вдруг он видит надпись: Народная школа. Старик весь воспламенился: «Народная школа! – воскликнул он, – войдемте и посмотримте, как там преподают». Мы вошли и сели на скамейку рядом с учениками. Долго мы тут сидели и слушали, и хотя преподавание происходило на неизвестном ему языке, ему понравились приемы, и он остался совершенно доволен своим посещением. Управляя Московским учебным округом, он постоянно посещал гимназии и университет, внимательно слушал самые разнообразные

* «Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale», Paris, 1857 – 1858 (в 4 томах).

уроки и лекции, и при том всегда без малейшего церемониала. Никто его не встречал и не провожал, и мы часто видели, как он среди толпы студентов, никем не сопровождаемый, направлялся в аудиторию, опираясь на свою палку и слегка прихрамывая на свою сломанную ногу. В аудитории он садился рядом со студентами на боковую скамейку и после лекции разговаривал о прочтенном с профессором. Вообще, он церемоний терпеть не мог и в частной жизни был чрезвычайно обходителен с людьми, которых жаловал. Зато, если кто ему не нравился или если что-нибудь было не по нем, он обрывал с резкостью старого вельможи, иногда даже совершенно незаслуженно и некстати, ибо он в чужие обстоятельства никогда не входил и, вообще, мало что делал для людей, имея всегда в виду только пользу дела. Вследствие этого многие, имевшие с ним сношения, его не любили. В особенности не жаловали его славянофилы, которых он с своей стороны весьма недолюбливал, видя в них только праздных болтунов. Погодин и Шевырев жаловались иногда на притеснения. Но, вообще, среди всех людей, причастных к университету, и профессоров и студентов, он пользовался благоговейным уважением. Когда он вышел в отставку, ему поднесен был альбом по общей подписке между студентами; мы все вписали в него свои имена. И во все последующие годы, когда при новом царствовании началось ежегодное празднование 12 января, дня основания Московского университета, все собранные на обед старые студенты всегда считали своей первой обязанностью послать телеграмму графу Сергею Григорьевичу Строганову в знак сохранившейся в их сердцах признательности за вечно памятное его управление Московским университетом.

При нем университет весь обновился свежими силами. Все старое, запоздалое, рутинное устранялось. Главное внимание просвещенного попечителя было устремлено на то, чтобы кафедры были замещены людьми с знанием и талантом. Он отыскивал их всюду, и в Москве, и в Петербурге, куда он сам ездил с целью приобрести для университета подававших надежды молодых людей. Он послал Грановского за границу, а Евгения Корша перевел библиотекарем в Москву. При нем вернулись из Германии посланные уже прежде Редкин, Крылов, Крюков, Чивилев, Иноземцев, а затем постепенно вступили на кафедры Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Буслаев, Катков. Из-за границы молодые люди возвращались в Россию, воодушевленные любовью к науке, полные сил и надежд. В то время и европейская наука находилась в самой цветущей поре своего развития. В период политического затишья между Венским Конгрессом и переворотами 1848 года, умы в Европе были, главным образом, устремлены на решение теоретических вопросов, особенно в Германии, куда ездили учиться молодые русские. Германская наука царила тог-

да над умами и давала им пищу, которая могла удовлетворять все потребности. В то время не было еще одностороннего господства реализма, который принижает мысль, закрывая перед ней всякие отдаленные горизонты и заставляя ее превратно смотреть на высшие и лучшие стороны человеческого духа. Философское одушевление было еще в полном разгаре. В этой области господствовал гегелизм, увлекавший и старых и молодых. С другой стороны в борьбу с ним вступала историческая школа, в лице знаменитейших юристов: Эйхгорна, Пухта, Савиньи. На поприще филологии и древностей подвизались такие люди, как Вильгельм Гумбольдт, Бек, братья Grimm, основатели новой науки. Историческую кафедру в Берлине занимал уже тогда знаменитый, на днях только умерший Ранке*.

В то же время и во Франции историческая школа выступила с небывалым блеском в лице Гизо, Тьерри, Тьера, Минье, Мишле. Все соединялось к тому, чтобы предвещать человечеству новую и великолепную будущность. В каком-то поэтическом упоении знанием и мыслью возвращались молодые люди в отечество и сообщали слушателям одушевлявшие их идеалы, указывая им высшие цели для деятельности, зароняя в сердца их неутомимую жажду истины и пламенную любовь к свободе. Один Грановский мог быть славой и красой любого университета. Его поэтическая личность, его яркий талант, его высокий нравственный строй делали его самым видным представителем этой блестящей эпохи университетской жизни.

Отношения между профессорами и студентами были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое внимание и готовность придти на помощь. У Грановского, у Кавелина, у Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество студентов; происходили оживленные разговоры не только о научных предметах, но и о текущих вопросах дня, об явлениях литературы. Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов, которых профессора сами побуждали к чтению, давая им книги и расспрашивая о прочитанном. Всякий молодой человек, подававший надежды, делался предметом особенного внимания и попечения. Без сомнения, масса студентов в то время, как и теперь, приходила в университет с целью достичь служебных выгод и ограничивалась рутинным посещением лекций и зубрением тетрадок для экзамена. Но всегда были студенты, которые под руководством профессоров занимались серьезно и основательно. В это время Московский университет выпустил из своей среды целый ряд людей, приобретших громкое имя и на литературном, и на других поприщах. Один за другим, в течение

* Немецкий историк Леопольд фон Ранке (род. в 1795 г.), умер 25 мая н. ст. 1886 г.

немногих лет, вышли из него Кавелин, Соловьев, Кудрявцев, Леонтьев, Катков, Буслаев, Константин Аксаков, Юрий Самарин, Черкасский. Стремление к знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это действительно была *alma mater*, о которой нельзя вспомнить без теплой сердечной признательности. Студенты носили тогда общую форму: сюртук с синим воротником, в обыкновенные дни с фуражкой, в праздники с треугольной шляпой и шпагой, для выездов фрачный мундир с галунами на воротнике. Но мы этой формой не только не тяготились, а, напротив, гордились ею, как знаком принадлежности к университету. Мелочных придирок относительно формы не было. В стенах университета мы ходили расстегнутыми; на мелкие отступления смотрели сквозь пальцы и только в случае большого неряшества делались замечания, да и то снисходительно и ласково. Инспектором в то время был человек, о котором у всех старых студентов сохранилась благоговейная память, Платон Степанович Нахимов, старый моряк, брат знаменитого адмирала. Это была чистейшая, добрейшая и благороднейшая душа, исполненная любви к вверенной его попечению молодежи. Тихий и ласковый, он был истинным другом студентов, всегда готовым придти к ним на помощь, позаботиться об их нуждах, защитить их в случае столкновений.хлопот ему в этом отношении было не мало, ибо в то время студенты вовсе не подлежали полиции, а ведались исключительно университетским начальством; казенные же студенты жили в самых стенах университета, под непосредственным надзором инспекции. Поминутно студентов ловили в каких-нибудь шалостях, и все это надобно было разбирать; приходилось и журить и наказывать; но все это совершалось с таким добродушием, что никогда виновные не думали на это сетовать. Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как его студенты обманывали и как он поддавался обману. Но поддавался он нарочно, по своему добросердечию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки. Иногда он отворачивался, когда встречал студента в слишком неряшливом виде. Когда же случалась в университете история он призывал к себе лучших и разумнейших студентов и ласково уговаривал их, чтобы они старались собственным влиянием на товарищей положить ей конец. Когда Платон Степанович несколько лет спустя вышел в отставку и сделался смотрителем Шереметевской больницы, весь университет его оплакивал, и во все последующие годы бывшие при нем студенты считали долгом в праздничные дни поехать к нему расписаться и тем показать ему, что у них сохранилась о нем благодарная память. Да и можно ли было о нем забыть? Я доселе не могу без уни-

ления вспоминать стихи, написанные старым студентом после Синопского сражения, выигранного знаменитым его братом, в самый день именин Платона Степановича.

В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец!
Дядя, брат твой незабвенный
Был студенческий отец.
Мы, по нем тебе родные.
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
Всяк из нас и днем и на ночь
Вас в молитве помянет,
И тобой Платон Степаныч
В новой славе оживет.

Уваров, Строганов, Грановский, Нахимов! Какое сочетание имен! Какова была жизнь в университете, когда все эти люди действовали вместе, на общем поприще, приготавливая молодые поколения к служению России!

Ко всем этим счастливым условиям присоединялось, наконец, совершенно исключительное, никогда не бывшее ни прежде ни после и не могущее даже возобновиться отношение университета к окружающему обществу. В то время в России не было никакой общественной жизни, никаких практических интересов, способных привлечь внимание мыслящих людей. Всякая внешняя деятельность была подавлена. Государственная служба представляла только рутинное восхождение по чиновной лестнице, где протекция оказывала всемогущее действие. Молодые люди, которые сначала с жаром за нее принимались, скоро остывали, потому что видели бесплодность своих усилий, и лишь нужда могла заставить их оставаться на этой дороге. Точно так же и общественная служба, лишенная всякого серьезного содержания, была поприщем личного честолюбия и мелких интриг. В нее стремились люди, которых тщеславие удовлетворяло тем, что они на маленьком поприще играли маленькую роль. При таких условиях, все, что в России имело более возвышенные стремления, все, что мыслило и чувствовало не заодно с толпой, все это обращалось к теоретическим интересам, которые за отсутствием всякой практической деятельности, открывали широкое поле для любознательности и труда. Однако и в этой области препятствия были громадные. При тогдашней цензуре немилосердно отсекалось

все, что могло бы показаться хотя отдаленным намеком на либеральный образ мыслей. Не допускалось ни малейшее, даже призрачное отступление от видов правительства или требований православной церкви. Конечно, мысль заковать нельзя, и публика привыкла читать между строками, но всякое серьезное обсуждение вопросов становилось невозможным. На кафедре было гораздо более простора; тут не было пошлого и трусливого цензора, опасавшегося навлечь на себя правительственную кару и беспрестанно дрожащего за свою судьбу. Хотя, разумеется, и в университете не допускалась проповедь либеральных начал, однако, под защитой просвещенного попечителя, слово раздавалось свободнее можно было не касаясь животрепещущих вопросов, в широких чертах излагать историческое развитие человечества. И когда из стен аудитории это слово раздалось в поучение публики, то оно привлекло к себе все, что было мыслящего и образованного в столице. Московский университет сделался центром всего умственного движения в России. Это был яркий свет распространявший лучи свои повсюду, на который обращены были все взоры. В особенности кружок так называемых западников, людей веровавших в науку и свободу, в который слились все прежние московские кружки, и философские и политические, исключая славянофилов, собирався вокруг профессоров Московского университета. К нему принадлежали Герцен, блестящий, полный огня, всегда увлекающийся в крайности, но одаренный большим художественным талантом и неистощимым остроумием; Боткин, который сидя в амбаре у отца, страстно изучал философию, человек с разносторонне образованным умом, тонкий знаток литературы и искусств, хотя подчас капризный и раздражительный, склонный к сибаритизму, над чем друзья его нередко потешались; Кетчер, который под резкими формами и суровой наружностью скрывал золотое сердце, неуклонное прямодушие и беспредельную преданность своим друзьям; Корш сам принадлежал к университету, в это время он издавал «Московские Ведомости». Вскоре из-за границы вернулись Огарев и Сатин. Из того же кружка вышел и Белинский, который, переехав в Петербург, в «Отечественных Записках» громил славянофилов и своим ярким талантом распространял по всей России европейские идеи, вынесенные им из Москвы, нередко впадая в крайность, по страстности своей натуры, но всегда смягчаемый прирожденным ему эстетическим чувством. В то время петербургские и московские литераторы составляли одно целое, и всякий приезжий из Петербурга: Белинский, Краевский, Тургенев, Анненков, Панаев – считал долгом явиться к московским профессорам, которые принимали его, как своего собрата. Это была дружная фаланга, которая задала себе целью приготовить России лучшую будущность распространением в ней мысли и просвещения. Работа была серьезная: ли-

тературная, ученая, педагогическая. И дело, казалось, шло с вожделенным успехом. Умственный интерес в обществе был возбужден; студенты слушали жадно и боготворили своих профессоров; из университета выходили даровитые молодые люди, которые обещали прибавление новых сил к тесному кругу русского образованного общества. Друзья собирались постоянно, обсуждали все вопросы дня, все явления науки и литературы, проводили иногда долгие ночи в оживленных беседах. Самые их противники, славянофилы, существовали кажется, только для того, чтобы придать более яркости мысли, более живости прениям. Временно обострившиеся отношения смягчились; споры возобновились по-прежнему; собирались в литературных салонах у Свербеевых, у Елагиной. Это была, можно сказать, пора поэтического упоения мыслью в университете и в окружающем его обществе. Немудрено, что однажды Грановский, возвращаясь домой с Павловым после ужина в нашем доме, и идя с ним пешком по бульвару, вдруг остановился и воскликнул: «Николай Филиппович! А ведь хороша жизнь!» Счастливо время, когда подобные слова могут вырваться у людей с такими высокими умственными и нравственными потребностями! Увы! прошло несколько лет, и все это было беспощадно подавлено, и тот же Грановский, чтобы заглушить гнетущую его тоску, искал убежища в опьянении азартной игры.

В эту-то пору умственного подъема, надежд и увлечений, когда счастливое созвездие, казалось, обещало светлое будущее, довелось мне вступить в Московский университет. Разумеется, он представлялся мне какою-то святынею, и я вступал в нее с благоговением, ожидая найти в ней те сокровища знания, которых жаждала моя душа.

Первый курс был составлен отлично. Редкин читал юридическую энциклопедию, Кавелин – историю русского права, Грановский – всеобщую историю, Шевырев – словесность. Университетский священник Терновский читал богословие, которое в то время требовалось строго. Наконец, ко всему этому прибавлялся латинский язык, который преподавал лектор Фабрициус, хороший латинист, но не умевший заинтересовать студентов. Поэтому никто почти его не слушал: студенты позволяли себе даже разные ребяческие выходки, и курс был совершенно бесполезен. От немецкого языка, который читался на том же курсе, мы были избавлены, потому что на экзамене получили по 5.

На первых шагах, однако, меня постигло некоторое разочарование. Одним из важнейших предметов на курсе была юридическая энциклопедия. Редкин пользовался большой репутацией; в ожидании первой лекции аудитория была битком набита студентами. Наконец, явился профессор, уселся на кафедре и громовым голосом

воскликнул: «Зачем вы собрались здесь в таком множестве?» Это был приступ к лекции в которой в напыщенной форме говорилось, что студенты пришли в университет искать правды, которая есть начало права. Масса была увлечена и неистово рукоплескала. Но я остался холоден; мне эта напыщенная форма не понравилась. Столь же мало я был удовлетворен и следующими лекциями. Я искал живого содержания, а мне давали формальное и пространное изложение общих требований науки. Но когда я, составив лекции, показал их отцу, он остался ими очень доволен и сказал, что для молодых умов подобная умственная дисциплина весьма полезна. Думаю, что он был прав. Я сам, чем более слушал профессора, тем более ценил достоинство его курса, несмотря на довольно существенные недостатки его преподавания.

Редкин был человек невысокого ума и небольшого таланта. Всецело преданный гегельянской философии, он не всегда умел ясно выразить отвлеченную мысль и нередко впадал в крайний формализм. Построение всякого начала по трем ступеням развития составляло для него непременную догму, и так как каждая из этих ступеней, в свою очередь развивалась в трех ступенях, то отсюда выходил сложный схематизм, который совершенно озадачивал молодые умы и нередко лишен был всякого существенного содержания. Так, коренной источник права, воля, развивалась у него в двадцати семи ступенях, и каждая из этих ступеней должна была иметь свое собственное значение и служить началом особой отрасли правоведения. Большинство студентов первого курса совершенно запутывались в этих определениях, а так как профессор на экзамене был строг, то юридическая энциклопедия была чистилищем, через которое проходила университетская молодежь, прежде нежели перейти на высшие курсы. Нельзя не сказать, однако, что это чистилище было весьма полезно. Мы приучались к логической последовательности мысли, к внутренней связи философских понятий. Перед нами возникал целый очерк юридической науки, не как мертвый перечень, а как живой организм, проникнутый высшими началами. Мы затверживали определение римских юристов, что право происходит от правды; нам говорили, что начало гражданского права есть свобода, начало уголовного права – основанное на правде воздаяние; мы учились видеть в государстве не внешнюю только форму, не охранителя безопасности, а высшую цель юридического развития, осуществление начал свободы и правды в верховном союзе, который, не поглощая собою личности и давая ей надлежащий простор, направляет ее к общему благу. И так как профессор весь был проникнут излагаемым предметом, который составлял для него призвание жизни, то он умел свое одушевление передать и слушателям. Он давал толчок философскому движению мысли; мы стремились познать

верховные начала бытия и воспламенялись любовью к вечным идеям правды и добра, которым мы готовились служить всем своим существом. Как неизмеримо высоко стоит это преподавание, проникнутое философскими и нравственными началами, над современными изложениями юридической науки, которые если не ограничиваются рутинным перечнем, то отражают на себя взгляд новейшего реализма, отвергающего всякие высшие начала и низводящего право к охранению интересов, а самые интересы низводящего к уровню физиологии! Какое одушевление может вселить в молодые сердца такое грубое непонимание самых первых основ человеческого общежития!

Когда впоследствии почтеннейший Петр Григорьевич, оставив кафедру по причинам, которые расскажу ниже, переехал на службу в Петербург, я всегда с сердечным удовольствием ездил беседовать с своим старым профессором и скорбел, когда слышал, что многие над ним издеваются, пользуясь его простодушием и не понимая внутренних его достоинств. Он до старости сохранил весь свой юношеский жар и до такой степени был предан преподаванию, что, занимая видное место в администрации, он принял вместе с тем кафедру юридической энциклопедии в Петербургском университете, которого он одно время был ректором. Когда я входил в его комнату, мне казалось, что я дышу иной атмосферой, проникнутой духом давно прошедшего времени; я видел перед собой человека, жившего среди великого движения умов, заставшего в Берлине еще свежи предания Гегеля, слушавшего Ганса и Савиньи и сохранившего от того времени живой интерес к философским вопросам, а вместе и серьезное их понимание, понимание совершенно заглохшее и затерявшееся у современников. С ним можно было говорить, как встарь, и отдохнуть умом от пошлости новейших ученых. Я навек остался ему благодарным учеником. Ему я обязан первым своим философским развитием.

Если преподавание Редкина, при весьма существенных достоинствах, имело и свои слабые стороны, то курс Кавелина не оставлял ничего желать. Он был превосходен во всех отношениях, и по форме и по содержанию. Кавелин имел весьма скудное теоретическое образование, и по свойствам своего ума он всего менее был способен к пониманию вопросов с философской стороны. Когда он впоследствии стал заниматься философией, то Редкин удивлялся, как он берется за предмет, столь противный его натуре, и если он в этом отношении достиг, по крайней мере, умения связать в одно целое чисто отвлеченные понятия, то это доказывает только необыкновенную даровитость этого замечательного человека. Но в изложении истории русского права никаких теоретических понятий не требовалось. В университетском курсе стущевывалось даже то начало,

которое составляет слабую сторону его знаменитой статьи, появившейся в первой книжке «Современника» 1847 года, начало развития личности в древней русской истории*.

В основание своего курса Кавелин полагал изучение источников, не внося в них никакой предвзятой мысли. Он брал факты, как они представлялись его живому и впечатлительному уму, излагал их в непрерывной последовательности, с свойственной ему ясностью и мастерством, не ограничиваясь общими очерками, а постоянно следя за памятниками, указывая на них и уча студентов ими пользоваться. Перед нами развертывалась стройная картина всего развития русской общественной жизни: вначале родовой быт, на который прямо указывает летописец, и который проявлялся и в обычаях, и в родовой мести, и в отношениях князей; затем разложение этого начала дружинным, выступление личности, постепенное развитие государства и, наконец, завершение всего этого исторического процесса деятельностью Петра Великого, который, воспользовавшись государственным материалом, подготовленным московскими царями, вдвинул Россию в среду европейских держав, тем самым исполнив великое ее историческое назначение. Как далек был этот здравый, трезвый и последовательный взгляд на русскую историю от всех бредней славянофилов, которые, страстно изучая русскую старину, ничего ни видели в ней, кроме собственных своих фантазий! Константин Аксаков объявлял родовой быт поклепом на русскую историю и вопреки очевидности утверждал, что у летописца род означает семью, и что все встречающиеся в истории черты родового быта вовсе не славянские, а пришлые, варяжские. Петр Васильевич Киреевский и даже более трезвый, ибо более знакомый с источниками, Погодин видели в языческих славянах какой-то образец невозмутимой добродетели и умилялись над тем смиренномудрием, с которым они безропотно покорялись варяжским завоевателям. Как неизмеримо высоко стояло умное, живое, ярко-даровитое преподавание Кавелина и от следовавшего за ним после короткого промежутка курса Беляева, который при полном невежестве и при полной бездарности не умел даже понимать изучаемые им грамоты, а постоянно восполнял и извращал их собственными дикими измышлениями! Замечательно, что в одно и то же время два человека, не столкнувшиеся между собою, без всяких взаимных сношений, Кавелин и Соловьев, пришли к одному и тому же правильному взгляду на русскую историю и сделали основателями новой русской историографии.

* Известная статья К. Д. Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России», появившаяся в «Современнике», т. I, кн. 1, отд. II, стр. 1-52 и перепечатанная в Собрании сочинений К. Д. Кавелина, издание Н. Глаголева, СПб, т. I, стр. 5 – 66.

Можно сказать, что все, что впоследствии явилось как противодействие положенным ими началам, было только уклонением от истинно научного пути. Костомаров, который с таким блеском выступил во имя начал народных в противоположность государственным, был лишен всякого исторического смысла. Он мог, с прирожденным ему художественным талантом, рисовать некоторые картины, но когда он, в своей вступительной лекции утверждал, что кометы метеоры, пугавшие народное воображение, имеют для историка больше значения, нежели политические дела то это обличало такое грубое непонимание самых основных задач истории, что вся его многообильная деятельность могла вести лишь к полному извращению понятий, как слушателей, так и публики. К сожалению, Кавелин не долго остался на этом поприще, где юридическое его значение служило драгоценным восполнением ученой деятельности Соловьева, который именно с этой стороны был всего слабее. Обстоятельства, о которых я расскажу далее, заставили его покинуть Московский университет и переселиться в Петербург, где он заглох в несвойственной ему среде. Десять лет спустя, он получил снова кафедру гражданского права в Петербургском университете, но время было упущено, да и предмет был для него слишком теоретичный: он не мог с ним совладать. Истинное его призвание было историческое исследование русского права, и самая блестящая пора его жизни было кратковременное преподавание в Московском университете, которое в памяти его слушателей оставило неизгладимые следы. Говорю здесь о Кавелине, как профессоре: о Кавелине, как человеке, мне придется еще много говорить впоследствии.

Если Редкин мог дать толчок философскому мышлению, если у Кавелина можно было научиться основательному изучению истории русского права по памятникам старины, то широкое историческое понимание можно было получить только от Грановского. Сами Кавелин и Соловьев от него научились правильно смотреть на историю, ибо они были его слушателями. Можно без преувеличения сказать, что Грановский был идеалом профессора истории. Он не был архивным тружеником, кропотливым исследователем фактов, да это вовсе и не требовалось в России в тогданнее время. В русской истории необходимо было прежде всего тщательное изучение памятников, ибо тут было совершенно невозделанное поле, и все приходилось перерабатывать вновь. Но для всеобщей истории нужно было совершенно иное: надобно было познакомить слушателей со смыслом исторических событий, с общим ходом человечества в его поступательном движении, с теми идеями, которые развиваются в истории. Конечно, для этого необходимо было вполне овладеть материалом; иначе строилось здание на воздухе. Но исторический материал Грановский усвоил себе с самою тщательною добросовест-

ностью. Когда представляют его человеком, хватающим верхушки и своим талантом восполняющим недостаток знания, и еще более когда изображают его каким-то лентяем, читающим лекции, спустя рукава, то можно только удивляться пошлости людей, высказывающих подобные суждения. Грановский был чтец первоклассный и неутомимый. Не только литература громадного предмета была коротко ему знакома, но всякий памятник, имеющий существенное значение для изучаемого периода, был им внимательно просмотрен, всякая даже мелкая брошюра была им основательно прочитана, и он тотчас мог указать, что в ней есть дельного. Он изучал даже памятники эпох, о которых ему никогда не приходилось читать лекции. Помню, как он однажды с грустью говорил моей матери: «Вот каково наше положение: я прочел 50 томов речей и документов, касающихся французской революции, а между тем знаю, что не только не придется написать об этом ни единой строки, но нельзя заикнуться об этом и на кафедре».

К обширности знаний присоединялись серьезное философское образование и большой политический смысл, качества для историка необходимые. Грановский слушал лекции в Берлине во время самого сильного философского движения и проникся господствовавшим в нем духом. «В Логику Гегеля я до сих пор верю», – говорил он мне несколько лет спустя. Но из гегельянской философии он заимствовал не теоретическое сцепление понятий, не отвлеченный схематизм, которого он, как историк, был совершенно чужд, а глубокое понимание существа и целей человеческого развития, при чем он весьма далек был от ошибки тех философствующих историков, которые частное жертвуют общему и в лице видят только слепое орудие господствующего над ним исторического рока. Грановский глубоко верил в свободу человека, сочувствовал всем человеческим радостям и скорбям и вполне понимал, что если в общем движении отдельное лицо служит орудием высших целей, то в осуществление этих целей оно вносит личный свой элемент, через что и дает историческому процессу своеобразное направление. Философское содержание истории было для него общею стихией, проникающею вечно волнуемое море событий, проявляющейся в живой борьбе страстей и интересов. «Истинная философия истории есть сама история», – говорил он. Но он умел это содержание представить во всей его возвышенной чистоте. Он с удивительною ясностью и шириною излагал движение идей. Очерк историографии, который составлял введение в его исторический курс, был превосходный. Он указывал в нем, как две школы, отправлявшиеся от совершенно противоположных точек зрения, немецкая философская и французская историческая, пришли к одному и тому же результату, к пониманию истории, как поступательного движения человечества, раскрывающего все

внутренние силы духа и направляющего все человеческие общества к высшей нравственной цели – к осуществлению свободы и правды на земле.

В политике он, разумеется, был либерал, но опять же как историк, а не как сектатор. Это не был рьяный либерализм Герцена, всегда кидавшегося в крайность, неистово преследовавшего всякое проявление деспотизма. Для Грановского свобода была целью человеческого развития, а не непреложною меркою, с которой все должно сообразоваться. Он радостно приветствовал всякий успех ее в истории и в современной жизни; он всею душою желал расширения ее в отечестве, но он вполне понимал и различие народностей и разнообразие исторических потребностей. Развитие абсолютизма, устанавливающего государственный порядок, было в его глазах таким же великим и плодотворным историческим явлением, как и водворение свободных учреждений. Не даром он предметом своей докторской диссертации избрал аббата Сутерея. Но сердечное его сочувствие было все-таки на стороне свободы и всего того, что способно было поднять и облагородить человеческую личность. С этой точки зрения он сочувствовал и первым проявлениям социализма, который в то время не представлялся еще тою злобною софистикой, какою он сделался впоследствии в руках немецких евреев. Вполне признавая несостоятельность тех планов, которые социалисты предлагали для обновления человечества, Грановский не мог не относиться сочувственно к основной их цели, к уменьшению страданий человечества, к установлению братских отношений между людьми. Раскрывшаяся тогда ужасающая картина бедствий рабочего населения увлекала в эту сторону самые умеренные и образованные умы, как, например, Сисмонди. Но когда в 48-м году социализм выступил на сцену, как фанатическая пропаганда, или как дышащая злобою и ненавистью масса, Грановский не последовал за радикальными увлечениями Герцена, а, напротив, приходил в негодование от взглядов, выраженных в «Письмах с того берега» или в «Полярной звезде». «У меня чешутся руки, чтобы отвечать ему в его собственном издании», – писал он. В это смутное время он с любовью останавливался на одной Англии, которая осталась непоколебима среди волнений, постигших европейский материк, и крушения всех либеральных надежд.

При таком философском понимании истории, при таком глубоком историческом и политическом смысле, преподавание Грановского представляло широкую и возвышающую душу картину исторического развития человечества. Но это была только одна сторона его таланта. Была и другая, которой часто недостает у историков, умеющих широкими мастерскими штрихами изображать общее движение идей и событий, которой не было, например, у Гизо. Грановс-

кий одарен был высоким художественным чувством; он умел с удивительным мастерством изображать лица, со всеми разнообразными сторонами их природы, со всеми их страстями и увлечениями. Особенно в любимом его отделе преподаваемой науки, в истории средних веков, художественный его талант раскрывался вполне. Перед слушателями, как бы живыми проходили образы могучих Гогенштауфенов и великих пап, возбуждалось сердечное участие к трагической судьбе Конрадина и к томящемуся в темнице королю Энцо; возникала чистая и кроткая фигура Людовика IX, скорбно озирающегося назад, и гордая, смело и беззастенчиво идущая вперед фигура Филиппа Красивого. И все эти художественные изображения проникнуты были теплым сердечным участием к человеческим сторонам очерченных лиц. Все преподавание Грановского насквозь было пропитано гуманностью, оценкою в человеке всего человеческого, к какой бы партии он ни принадлежал, в какую бы сторону ни смотрел. Те высокие нравственные начала, которые в чистоте своей выражались в изложении общего хода человеческого развития, вносились и в изображение отдельных лиц и частных явлений. И все это получало, наконец, особенную поэтическую прелесть от удивительного изящества и благородства речи преподавателя. Никто не умел говорить таким благородным языком, как Грановский. Эта способность, ныне совершенно утратившаяся, являлась в нем, как естественный дар, как принадлежность возвышенной и поэтической его натуры. Это не было красноречие, бьющее ключом и своим пылом увлекающее слушателей. Речь была тихая и сдержанная, но свободная, а с тем вместе удивительно изящная, всегда проникнутая чувством, способная пленять своею формою и своим содержанием затрагивать самые глубокие струны человеческой души. Когда Грановский обращался к слушателям с сердечным словом, не было возможности оставаться равнодушным; вся аудитория увлекалась неудержимым восторгом. Этому значительно содействовала и самая поэтическая личность преподавателя, тот высокий нравственный строй, которым он был насквозь проникнут, то глубокое сочувствие и уважение, которое он к себе внушал. В нем было такое гармоническое сочетание всех высших сторон человеческой природы, и глубины мысли, и силы таланта, и сердечной теплоты, и внешней ласковой обходительности, что всякий, кто к нему приближался, не мог не привязаться к нему всей душой.

Когда преждевременная смерть похитила его в ту самую минуту, как он готовился, при изменившихся условиях, выступить с обновленными силами на литературное поприще, Николай Филиппович Павлов с грустью говорил мне: «И вот он ушел от нас, и все, что от него осталось, не дает об нем ни малейшего понятия. Чем он был, знаем только мы, близко его видевшие и слышавшие, а умрем и мы,

о нем останется только смутное предание, как чего-то необыкновенного, как о Рубини, о Малибран*.

Да, кто не знал его близко, тот не может иметь о нем понятия. В предыдущих строках я старался передать незабвенные черты этого человека, который на всей моей жизни оставил неизгладимую печать, представляясь мне даже на старости лет идеалом высшей нравственной красоты. Но может ли слово выразить могучее обаятельное действие живого лица?

Жалким соперником Грановского был Шевырев. И этот человек когда-то был блестящим молодым профессором, новым явлением в Московском университете. Вернувшись из Италии, полный художественных впечатлений, страстным поклонником Данте, образованный, обладающий живым и щеголеватым словом, он произвел большой эффект при вступлении на кафедру после устаревшего и спившегося Мерзлякова. Его погубило напыщенное самолюбие, желание играть всегда первенствующую роль и, в особенности, зависть к успехам Грановского, которая заслужила ему следующую злую эпиграмму, ходившую в то время в университете:

Преподаватель христианский
Он в вере тверд, он духом чист;
Не злой философ он германский,
Не беззаконный коммунист,
И скромно он, по убеждению,
Себя считает выше всех,
И тягостен его смиренность
Один лишь ближнего успех.

Искренно православный и патриот, он, в противоположность представляемому соперником западному направлению, все более и более вдавался в славянофильство. Поэзию Запада он прямо называл поэзией народов отживающих. Курс его был переполнен нападками на немецкую философию, а так как он никогда ее серьезно не изучал, то возражения выходили самые поверхностные. Так, например, он говорил, что немецкие философы признают грехопадение началом развития разума, воззрение действительно вытекавшее из системы Гегеля, по которой развитие разума от первоначального единства идет к раздвоению, с тем чтобы снова подняться к высшему единству. В опровержение этого взгляда Шевырев приводил, что в библии Адам прежде грехопадения дает имена животным, из чего видно, что разум был уже у него развит. Меня поразила такого рода научная аргументация; когда я сообщил это Грановскому, он рассмеялся и сказал: «В Германии об этом уж давно перестали толковать».

* Джиованни-Батиста Рубини (1795 – 1854), известный итальянский тенор. Мария Малибран (1808 – 1836), не менее знаменитая итальянская певица.

Иногда Шевырев на кафедре потешался над современным слогом Герцена и других, и это было для нас не бесполезно, ибо обращало наше внимание на правильность речи. Второе полугодие было все посвящено преподаванию церковнославянского языка, что также было не бесполезно, хотя вовсе не соответствовало университетскому курсу. Но главную пользу он приносил тем, что задавал студентам сочинения. По этому поводу у меня произошло с ним маленькое столкновение. Темой было задано изложение какого-нибудь события русской истории по летописям, при чем профессор сам продиктовал список тем. Я выбрал борьбу Новгорода с Иваном III. В пылу юношеского либерализма, я выставил новгородцев рыцарями, отстаивающими свою вольность, и, помнится, выразил даже сожаление о падении их республиканских учреждений. Шевыреву это не понравилось, и он сделал довольно резкое замечание. Я, по примеру некоторых других, подал ему объяснение, которое еще больше его рассердило, и он отвечал замечанием еще более резким. Это был первый повод к охлаждению прежних хороших отношений. В объяснение надобно сказать, что Шевырев, в отличие от собственно славянофильской партии, не искал свободы не только на Западе, но и в древней России, а строго держался тогдашней казенной программы: православие, самодержавие и народность. Иногда он для эффекта позволял себе маленькие либеральные выходки. Так, например, на одной из публичных лекций, читанных им в зиму 1846 – 47 года, он вдруг закончил чтение переложением псалма Ф. Н. Глинки:

Немей, орган наш голосистый,
Как онемел наш в рабстве дух,
Не опозорим песни чистой,
Чтобы ласкать тиранов слух;
Увы! Невольи дни суровы
Органам жизни не дают;
Рабы, влачащие оковы,
Высоких песен не поют.

В аудитории произошел взрыв неумолкающих рукоплесканий. Но подобные выходки были редкостью, и чем старее делался профессор, тем он становился раболепнее. В Крымскую кампанию он стал по всякому случаю писать патриотические стихи, и притом в такой пошлой и неуклюжей форме, которая обличала полный упадок не только таланта, но и вкуса. Образцом может служить следующее сохранившееся у меня в памяти четверостишие из стихотворения, написанного по случаю бомбардирования Одессы:

И адмирала два, Дундас и Гамелен,
Громили пушками ряды домов и стен,
И перешеголял их прапорщик отважный,
Наш чудо Щеголев, артиллерист присяжный.

Шевырев писал подобные же стихи и в честь невежественного и тупоумного генерала Назимова, который назначен был попечителем Московского учебного округа, с целью введения в нем военной дисциплины. Он читал эти стихи на обеде, данном профессорами этому удивительному представителю русского просвещения. Но вскоре после этого карьера его кончилась весьма печальным образом. На каком-то смешанном заседании, происходившем в стенах университета, граф Василий Алексеевич Бобринский разглагольствовал о тогдашнем положении дел, бранил Россию и все русское. Шевырев, тут присутствовавший, возражал очень резко и упрекнул Бобринского в недостатке патриотизма. Тот отвечал дерзостью. Тогда Шевырев, как рассказывали, воспламенившись, подскочил к Бобринскому и дал ему пощечину. Бобринский был человек атлетического сложения, он бросился на Шевырева, повалил его на пол и так его отколотил, что тот слез в постель. И что же? Не только не произошло дуэли, но публично исколоченный профессор писал и пускал по городу самые пошлые письма, в которых, рассказывая происшедшее с ним несчастье, объяснял, что чувствует себя вполне удовлетворенным тем вниманием, которое ему оказывали: граф Закревский присылал узнать о его здоровье, а попечитель сам приезжал его навестить. При этом, восторгаясь сочувствием общества, он восклицал: «О, какая музыка!» После этого, однако, он подал в отставку и уехал за границу, где через немного лет и умер.

Наконец, я должен сказать о том весьма важном для моей внутренней жизни значении, которое имел для меня не в положительном, а в отрицательном смысле, слушанный в университете курс богословия. Очевидно, что если требуется читать в университете богословие, то надобно устремить главное внимание на ученую критику и стараться доказать, что она не в состоянии поколебать существенных основ христианства. Сделать это может только человек вполне просвещенный, знакомый с европейскою наукою и с философиею. Между тем, читавшийся тогда в университете курс был самый сухой и рутинный, какой только можно представить. Всякое догматическое положение подкреплялось множеством текстов, после чего преподаватель замечал, что то же самое подтверждается и разумом, в доказательство чего приводилось несколько совершенно младенческих соображений, которые только вызывали опровержения. Самая личность профессора, университетского священника Петра Матвеевича Терновского, не внушала никакого сочувствия. Он имел строгий вид, говорил в нос, своими маленькими, хитрыми глазами беспрестанно осматривал аудиторию, замечая, кто ходит на лекции, а иногда делал резкие выговоры студентам. Я очень усердно следил за курсом и знал его отлично. Когда на экзамен опять приехал митрополит, и меня в числе некоторых других вызвали вне

очереди, я так хорошо отвечал на попавшийся мне весьма трудный билет, что Филарет сделал мне комплимент, а Терновский поставил мне пять с крестом, дело в университете неслыханное. Но результатом этого изучения было то, что я внутри себя к каждому вопросу относился критически, и скоро все мое религиозное здание разлетелось в прах; от моей младенческой веры не осталось ничего.

Знакомство с европейской литературой и, в особенности, с ученой критикой могло только подкрепить зародившийся во мне скептический взгляд. Одно уже чтение «Всемирной истории» Шлоссера показывало мне предмет совершенно в ином свете, нежели в каком я привык смотреть на него с детства. Еще более я утвердился в своих новых убеждениях, когда прочел разбор библейских памятников Эвальда в его «Истории еврейского народа», и на все это наложило окончательную печать чтение Штрауса. К тому же вело, с другой стороны, и изучение философии, которому я вскоре предался. Передо мною открылось совершенно новое мировоззрение, в котором верховное начало бытия представилось не в виде личного божества, извне управляющего созданным им миром, а в виде внутреннего бесконечного духа, присущего вселенной. И хотя в своей философии истории Гегель признавал христианство высшую ступенью в развитии человечества, однако это меня не убеждало, и я отвергал подобное построение как непоследовательность.

Молодой человек, вступающий в университет, обыкновенно находится в этом положении. Здесь он в первый раз знакомится с наукой, которая имеет свои самостоятельные начала, которая ничего не принимает на веру и все подвергает строгой критике разума. Вместо господствующей в младенческие годы первобытной гармонии разума и веры, перед ним открываются две противоположные области, между собою не примиренные. Он вполне понимает, что религия не может иметь притязания на то, чтобы наука слепо ей подчинялась. Пример славянофилов показывал мне, к какому извращению научной истины ведет насильственное подчинение ее религии. Но наука, с своей стороны, следуя собственным началам, развиваясь самостоятельно, не указывала мне путей примирения. Она раскрывала историческое, а не догматическое значение христианства. И это происходило не от какой-либо односторонности или недостатка преподавания. При данных условиях такая постановка вопроса совершенно неизбежна. Примирение всех высших областей человеческого духа составляет верховную цель развития, а не принадлежность каждой преходящей ступени. Пока не выработались в ясной для всех форме непреложные начала истины, к выяснению которых стремятся все развитие человеческого разума, каждому лицу приходится примирять противоположности по своему, испытывая умом весь доступный ему материал и следуя указаниям своей совести. Весьма

немногим, вкусившим плодов науки, удается сохранить неприкосновенными свои религиозные убеждения, и надобно сказать, что это сопровождается всегда некоторою узкостью взгляда. Надобно пройти через период безверия, чтобы вполне понять, что может дать одна наука, и чем нужно ее восполнить для удовлетворения высших потребностей человеческой природы. Только собственным внутренним опытом можно понять смысл отступления от установленных догматов и правил; только этим путем можно выработать в себе истинную терпимость и приучиться не смешивать безверия с безнравственностью; наконец только прошедши через отрицание, можно вполне сознательно возвратиться к религиозным началам и усвоить их с тою шириною понимания, которая способна совместить в себе требования разума и стремления веры. Впоследствии я к этому и пришел, убедившись по собственному внутреннему опыту в глубоком смысле изречения великого мыслителя: «Немного философии отвращает от религии, более глубокая философия возвращает к религии». Каким путем это совершилось, расскажу ниже; но на первых порах я, конечно, был от этого весьма далек. Мне предстоял выбор между двумя видами убеждений, религиозными и научными, и я со свойственною юношам решимостью и уверенностью в собственных силах, сбросил с себя все свои вынесенные из младенческих лет верования, как устарелый балласт, и смело вступил на путь чисто научного познания, доводя отрицание до крайности, со всем пылом неопита. Я даже с Грановским вел спор о будущей жизни. Он говорил, что никогда так не чувствовал потребности загробного существования, как на могиле друга, когда невольно думаешь: «Неужели эти останки для тебя все равно, что эта бутылка?» Но я все это отвергал как фантазии и утверждал, что совершенно достаточно одних воспоминаний. До чего доходила моя юношеская самонадеянность, можно видеть из памятного мне разговора с Магзигом. Однажды мы вместе с ним гуляли по караульскому парку, который он разбивал. Вдруг, среди разговора, он остановился и сказал мне: «А знаете ли, Борис Николаевич, какая это высокая мысль: у меня есть покровитель!» Я немедленно отвечал ему: «Такая же высокая мысль: у меня нет покровителя; я стою на своих ногах и опираюсь только на себя». Боже мой! как скоро жизнь научает человека, что он сам по себе не более как прах, который может быть снесен всяким случайным дуновением ветра, и убеждает его, что одна только надежда на высшую помощь дает ему силы для совершения своего земного пути! Нельзя, однако, не сказать, что это сознание юной мощи имеет в себе что-то увлекательное. Борг говорил, что он невысокого мнения о человеке, который не был республиканцем в двадцать лет и который остался республиканцем в сорок. Почти то же можно приложить и к религиозным убеждениям. Человеку, по крайней мере, на

шего времени естественно быть неверующим в молодости и снова сделаться верующим в зрелых годах.

Научный интерес поддерживался и возбуждался в нас постоянными сношениями с любимыми профессорами. С Грановским мы виделись часто; он бывал у нас в доме на дружеской ноге, и мы нередко у него обедали. Он любил собирать у себя за обедом студентов, которые его интересовали. Он беседовал с ними, как с себе равными; разговор всегда был умный и оживленный, касающийся и науки, и университета, и всех вопросов дня. У него, между прочим, мы познакомились с Бабстом, который был тогда словесником 4-го курса, а также с весьма умным и образованным юристом 4-го курса Татариновым, впоследствии профессором Ярославского лицея, к сожалению, рано погибшим от излишнего кутежа. Грановский сам повез нас к Редкину и Кавелину. С Редкиным я особенно сблизился к концу курса, когда он пригласил меня приехать к нему для составления программы по юридической энциклопедии. В личных беседах он еще более, нежели своими лекциями, сообщал мне свое философское одушевление, и я тогда же решил, что непременно, при первой возможности, займусь философией. У Кавелина по воскресеньям всегда собиралось много студентов, которым он задавал разные работы по истории русского права. В этих разговорах с собиравшеюся около него молодежью всего более проявлялся собственный его юношеский пыл, нередко увлекавший его в крайности. Друзья называли его «вечным юношей», а противники «разъяренным барашком», вследствие курчавой его головы. Хотя он и подчинялся влиянию Грановского, но по своей натуре он скорее готов был следовать за более радикальными увлечениями Герцена и Белинского. «Какое дело французскому народу, будет ли Гизо или Тьер первым министром? – говорил он нам однажды, – французская демократия имеет совсем другие требования и цели». От Грановского мы никогда не слышали ничего подобного; сочувствуя демократическим стремлениям, в которых он видел будущее, он понимал однако серьезное значение политических вопросов дня. Но именно эти увлечения Кавелина возбуждительно действовали на молодежь, тем более, что они подкреплялись большим сердечным жаром и безукоризненно нравственною чистотою.

Профессора руководили и нашим чтением, ибо слушание лекций считалось только пособием к настоящим серьезным занятиям. Времени для чтения было достаточно, ибо я скоро приучился записывать лекции, так что не нужно было даже их перечитывать дома, а писец свободно мог списывать их для товарищей. Таким образом, все вечера были свободны. По части истории я прочел «Всемирную историю» Шлоссера. На вакацию Грановский дал мне Нибура, которого я изучал, читая в то же время по-латыни Тита Ливия. Прочел я

также «Юридическую энциклопедию» Неволлина, а по истории русского права почти все, что тогда было написано: Эверса, Рейца, «Речь об Уложении» Морошкина, диссертацию Кавелина*, появившуюся именно в этот год первую диссертацию Соловьева**. Вместе с тем я знакомился с самими памятниками, начиная от Русской Правды и до Уложения. Последнее было в сущности не по силам студенту первого курса, но я приучился рыться в источниках и видеть в них первое основание серьезного изучения науки.

С первого курса завязались и те товарищеские отношения, которые составляют одну из главных прелестей университетской жизни и которые сохраняются навсегда, как одна из самых крепких связей между людьми. Из наших однокурсников самым близким мне приятелем остался сын тогдашнего московского генерал-губернатора, князь Александр Алексеевич Щербатов, человек, которого высокое благородство и практический смысл впоследствии оценила Москва, выбрав его первым своим городским головою при введении всесословного городского управления. Недаром она на нем остановилась; она нашла в нем именно такого человека, который способен был соединять вокруг себя все сословия, русского барина в самом лучшем смысле, без аристократических предрассудков, с либеральным взглядом, с высокими понятиями о чести, неуклонного прямодушия, способного понять и направить практическое дело, обходительного и ласкового со всеми, но тонко понимающего людей и умеющего с ними обращаться. Знающие его близко могут оценить и удивительную горячность его сердца, в особенности редкую участливость ко всему, что касается его близких и друзей. Его дружба – твердыня, на которую можно опереться. Когда мне в жизни приходилось решать какой-нибудь практический вопрос, особенно требующий нравственной оценки, я ни к кому не обращался за советом с таким доверием, как к Щербатову. Неизменно дружеские отношения сохранились и с добрейшим, невозмутимо спокойным Петром Талызиным, неразлучным моим товарищем в следовавший за университетом период светской жизни, а также и с умершим уже, тихим и кротким Михаилом Полуденским, сделавшимся впоследствии известным некоторыми библиографическими трудами. Но всего более я сошелся в то время с Алябьевым, братом известной красавицы Киреевой. У него умственные интересы были живее, нежели у других; он меня очень полюбил, и мы скоро с ним сблизились. Он умер в первый же год по выходе из университета. На одном курсе с нами был и Капустин, с которым я впоследствии был товарищем по

* «Основные начала русского судопроизводства в период времени от Уложения до Учреждения о губерниях». М., 1844.

** «Об отношениях Новгорода к великим князьям». М., 1845.

кафедре. Сблизился с нами и матушкин сынок Благово, над которым, несмотря на дружеские отношения, мы нередко потешались. Товарищеские отношения завязывались и с студентами других курсов и даже факультетов. В особенности брат мой сошелся с вступившим одновременно с нами на математический факультет Корсаковым. Он был малый пустой, но не глупый, очень живой, веселый, отличный товарищ, любивший покутить, потанцевать, петь цыганские песни.

На нашем курсе по совершенно ничтожному случаю образовался как бы отдельный кружок. Лекции длились иногда часов пять сряду, и мы голодали. Для утоления аппетита мы бегали есть пирожки в находившуюся против университета кондитерскую Маттерна; но, наконец, это нам надоело, и мы согласились человек шесть или семь, в промежуточное между лекциями время, по очереди приносить для всей братии пирожки от Маттерна в самое здание университета, в так называемый гербарий. Тотчас пошла молва, что у нас образовался аристократический кружок, держащий себя особняком. Грановский счел даже нужным нас об этом предупредить, говоря, впрочем, что это больше относится к моему брату, нежели ко мне, хотя правду сказать, я никогда не замечал, чтобы мой брат держал себя иначе, нежели другие. Люди с одинаковым воспитанием естественно сходились друг с другом скорее, нежели с другими, но мы скоро перезнакомились со всем курсом и до конца были со всеми в добрых, товарищеских отношениях.

Через товарищей мы несколько познакомились и с московским большим светом. Корсаков ввел нас в дом своих родителей, которые в то время часто давали балы и вечера. Это была семья совершенно на старый московский лад, никогда не прикасавшаяся к умственной сфере, но радушная, гостеприимная, безалаберная, любившая прежде всего веселье. Дом их у Тверских ворот, ныне принадлежащий Строгановскому училищу, был всегда полон родными, гостями, приживалками. Постоянно были танцы, а на святки хозяева задали огромный маскарад, на котором ими устроена была большая кадрили: человек с тридцать, мужчины и дамы, одетые в старое русское боярское платье, с песнями вели хоровод. Мы с братом участвовали в этой кадрили. На следующую зиму опять был такой же маскарад, в котором мы также участвовали. На этот раз устроена была ярмарка, где всевозможные лица продавали всевозможные вещи. Все эти непрестанные веселья, эти происходившие в доме затейливые празднества привели, наконец, к тому, что, при полной беспечности стариков, довольно значительное их состояние ушло сквозь пальцы, и они кончили жизнь в совершенной бедности.

Нас в это время приласкала и другая московская семья, гораздо высшего разбора. На Малой Дмитровке, в прелестном доме, с большим садом, жили Соймоновы, которые со старым московским раду-

шим соединяли утонченное изящество форм. Балов они не давали, но каждый вечер в их гостиную съезжались и светские люди, а иногда ученые и литераторы. Ласковость и приветливость хозяев делали то, что все у них чувствовали себя свободными; разговор всегда был оживленный; все в этой гостиной дышало какою-то сердечною теплотою. Старик Александр Николаевич, отец известного С. А. Соболевского, был совершенный маркиз XVIII века, с утонченными манерами, всегда веселый и живой. Он до 70 лет каждый день ездил верхом по московским улицам. Жена его Марья Александровна, рожденная Левашева, высокая, стройная, до старости носившая печать прежней красоты, была олицетворением сердечной чистоты и невинности. Умною и приятною собеседницею была замужняя дочь Сусанна Александровна Мертваго. Но красой семьи была другая, незамужняя дочь, уже довольно пожилых лет, Екатерина Александровна, женщина умная и образованная, с отличным сердцем, с приятным светским разговором, прекрасная певица. Зато в семье был и урод, именно сын, который в одно время с нами вступил в университет, на словесный факультет. Он был от природы слабоумный, что выражалось в его заостренной голове и только неуспешным попечением родителей мог кое-как проташиться через университет. Родителям хотелось сблизить его с нами, почему они нас особенно ласкали; но нам он ужаснейшим образом надоедал. Дело доходило до того, что иногда, когда он приезжал к нам вечером, мы тушили свечи и от него прятались; но он не унимался и шел в гостиную разговаривать с матерью. Волею или неволею приходилось идти на помощь и по целым вечерам выслушивать его глупую болтовню.

Алябьев ввел меня и в дом своей сестры, известной своею красотой и ухаживанием за нею государя. В это время она уже была не первой молодости и довольно полная; ее красотою я никогда не пленялся. Но она любила в своей гостиной соединять ученых и литераторов и сама желала блистать своим образованием. Однако, это ей мало удавалось, ибо ум далеко не соответствовал претензиям. Были, конечно, литераторы и светские люди, которые охотно падали к ногам великосветской красавицы, пользовавшейся милостями царя. При мне на одном из ее вечеров Загоскин читал какое-то свое произведение. Но, вообще, она больше была предметом забавных анекдотов. Про нее говорили, что сотворивши ее, бог сказал: «*Tu seras belle, mais tu parleras geologie*».* Рассказывали, как она описывала свое путешествие в Германию «*avec Shelling a ma droite, Schlegel a ma gauche et Humboldt devant moi*»**.

* «Ты будешь красавицей, но ты будешь толковать о геологии».

** «С Шеллингом с правой стороны, с Шлегелем с левой, и Гумбольдтом впереди меня».

Появление «Космоса»* привело ее в неописанный восторг, и она тотчас полетела рассказывать о своей радости невинным своим деревенским соседкам, которые были совершенно ошеломлены этой неведомой им новостью и захотели узнать, что такое «Космос», но разумеется ничего в нем не поняли. Деревенского уединения она, впрочем, не выносила, и в доказательство невозможности жить в деревне для образованной женщины она приводила то, что однажды, проснувшись утром, она вдруг, к ужасу заметила, что накануне в течение всего дня, у нее было только три мысли; тогда она тотчас велела запрягать лошадей и поскакала в столицу запастись новым материалом. Дочь ее, известная писательница О. К.** наследовала все ученые и литературные стремления своей матери, но, по крайней мере, относительно иностранцев, с большею удачею. Многим она внушила высокое понятие о своем уме и образовании и находилась или находится в постоянной переписке с первоклассными европейскими знаменитостями: с Гладстоном, Тиндалем и другими. Только русские люди почему то никогда не могли ее переварить.

Наше знакомство с московским светом было, впрочем, весьма поверхностно. Хотя в то время уже студенты охотно принимались в московских гостиных и некоторые из них проводили свою жизнь на балах и вечерах, но мы этой сферы касались только слегка. Время, проведенное в университете, посвящалось, главным образом, учению, которое при благоприятных условиях шло весьма успешно. Экзамен первого курса сдан был отлично. Я получил везде по пяти, а брат имел кандидатские баллы. Счастливые и довольные мы поехали отдыхать в Караул.

Второй курс был составлен не хуже первого. Редкин читал государственное право, Чивилев – политическую экономию и статистику, Грановский – историю Средних Веков, Соловьев – русскую историю, Катков – логику, наконец, Крылов – историю римского права.

Нельзя, однако, не сказать, что курс Редкина был гораздо ниже его курса энциклопедии. Государственное право было не его предмет; он читал его только временно, за отсутствием другого профессора. Притом же ему так надоело читать каждый год одно и то же, что он для разнообразия значительную часть первого полугодия посвятил подробному изложению древнегерманского права, думая тем приохотить студентов к изучению истории иностранных законодательств. От этого курса общего государственного права вышел скромный. Второе же полугодие посвящено было русскому государственному праву, которое Редкин излагал по Своду законов также весьма поверхностно, в чем сам признался. Он говорил, что он мо-

* Первый том сочинения Гумбольдта «Космос» вышел в 1845 г.

** Ольга Алексеевна Киреева, по мужу Новикова.

жет возбудить философскую мысль, но юридический такт способен дать только Крылов. Вследствие этого, хорошего курса государственного права я не слышал, и это было весьма существенным пробелом в моем университетском образовании, тем более, что впоследствии я именно эту науку избрал своею специальностью.

Зато весьма полезен был курс политической экономии Чивилева. Он читал по раз навсегда составленным запискам, которые переходили от одного курса к другому, так что нам не было даже нужды записывать: мы просто следили за чтением по старым тетрадям. На новейшие явления в области политической экономии, именно, на социалистические теории, вовсе не было обращено внимания. Чивилев строго держался классической системы, установленной Адамом Смитом и его преемниками; но в этих пределах изложение было ясно, умно и последовательно. Оно давало полное понятие о предмете и возбуждало к нему интерес. Я на этом курсе специально занимался чтением политико-экономических писателей, прочел Адама Смита, Сея, Росси. С другой стороны, чтобы познакомиться с критикою, я прочел недавно вышедшие «Экономические Противоречия» Прудона, которые однако оттолкнули меня своим ни с чем не сообразным, мнимо философским построением. В нем, по-видимому, запутался и сам автор, увлеченный в совершенно незнакомую ему философскую область.

О Грановском я уже говорил выше. Но совершенною новостью для всех был курс Соловьева. Он только что вступил на кафедру после блестящей защиты своей магистерской диссертации и читал первый свой университетский курс. Здесь он впервые вполне изложил свой взгляд на русскую историю. В этот курс вошло существенное содержание явившейся вскоре после того диссертации о родовых отношениях русских князей*. Все, что мы в предшествующий год слышали от Кавелина, получало здесь новое развитие и подтверждение. Изложение было ясное, умное и живое. Нас беспрестанно поражали новые взгляды, мастерские очерки. Царствование Грозного было в особенности изложено удивительно выпукло. Хуже был конец, изложение эпохи междоусобия; читая лекции, преподаватель очевидно сам изучал летописи, а потому не успел сжать свое изложение, и вдавался в совершенно лишние для университетского курса подробности. Мне памятен и экзамен Соловьева. Я предмет знал отлично, и приготовился блеснуть своим ответом. Вопрос мне попался из эпохи междоусобия: битва, в которой был ранен князь Пожарский. Подошедши к столу, я начал так: «В пятницу на страстной неделе»... Тут Соловьев меня прервал, сказав: «Довольно!» и поставил пять. Я тогда еще вовсе не был с ним знаком, но впоследствии

* «История отношений между русскими князьями Рюрикова дома», М., 1847.

рассказал ему, как он меня удивил своим экзаменом. «Я знал вас за хорошего студента, – отвечал он, – вижу, что вы знаете такую подробность, чего же более?»

Совершенно иного свойства был курс Каткова. Я ничего подобного в университете не слышал. Мне доводилось слушать курсы пошлые, глупые, пустые; но курса, в котором никто ничего не понимал, я другого не слышал. И это было не случайное, а обычное явление. Катков читал уже второй год. Предшествовавший нам курс слушал его в течение двух полугодий, и никто из слушателей не понял ни единого слова из всего того, что читал профессор, так что, когда наступил экзамен, он всем должен был поставить по 5, ибо студенты вовсе не были виноваты в том, что отвечали совершеннейшую чепуху. То же самое повторилось и с нами. Я усердно ходил на каждую лекцию, записывал самым старательным образом, но решительно ничего не понимал, и все мои товарищи находились совершенно в том же положении. К нашему счастью, Катков в половине года занемог, и экзамена вовсе не было. Говорят, что на словесном факультете он историю философии читал понятнее. Не знаю, но очевидно, что кафедра вовсе не была настоящим его поприщем. Вскоре потом он вышел и сделался редактором издававшихся от университета «Московских Ведомостей». Кто бы мог подумать, что этот непонятный профессор, этот туманный философ со временем делается живым и талантливым журналистом?

Все профессора давно уже начали читать, а Крылова все еще не было. Прошел месяц, другой, а он не являлся. Носились даже слухи, что он вовсе на кафедру не вернется. В это самое время случилась известная его история, наделавшая столько зла Московскому университету. Крылов был человек необыкновенно умный и даровитый, но полнейший невежда и лишенный всякого нравственного смысла. Много прегрешений прощалось ему за его ум и талант. Помню, как однажды, еще перед нашим вступлением в университет, мои родители с любопытством спрашивали Грановского о Крылове, который на юридическом факультете имел огромное значение. «Он ровно ничего не читал и не знает, – говорил Грановский, – но когда что-нибудь ему сообщишь, он так сумеет этим воспользоваться, как никто. Раз он мне говорит: «Дай-ка мне, братец, что-нибудь прочесть о французской революции; все об ней слышу; хочется, наконец, знать, что там было». Я дал ему Тьера. Вы не можете себе представить, – говорил Грановский, – сколько блестящих мыслей родилось у него вследствие этого чтения. Я был удивлен». В Москве рассказывали, как после одной из публичных лекций Грановского о падении Римской империи, при разъезде у Павловых, Крылов вмешался в разговор и тут же, в передней, начертил такую блестящую картину разрушающейся Римской империи, что все гости в шубах столпились

около него и слушали с восторгом. Но, несмотря на все эти блистательные дарования, уважением он не пользовался и имел даже репутацию взяточника. Об этом мои родители также расспрашивали Грановского. «Постоянно этого не делается, – отвечал Грановский, – но что он не хватил раза два-три, за это никак нельзя ручаться». К другим его некрасивым свойствам присоединялось еще то, что он пил запоем. Как раз в то время, когда мы вступали на второй курс, с ним случилась скандальная история, огласившаяся на всю Москву. Он в пьяном виде подрался с женою и таскал ее по улице за косу. Жена его была сестра Корша; она искала убежища у братьев, которые за нее вступились. Кто был прав и кто виноват в этой семейной распре, об этом посторонним всегда трудно судить. Через несколько лет супруги опять съехались. Но Крылов вел себя в этой истории так, что внушил к себе всеобщее омерзение. Помню, как за обедом у Грановского студент Малышев, который восторгался Крыловым, изъявлял сожаление по поводу слухов о предстоящем его выходе из университета. На это Грановский отвечал: «Как вам не стыдно, Малышев, вступаться за такого грязного подлеца?» К этому присоединилась еще другая, гораздо худшая история. Разъяренная супруга обнаружила взятки своего мужа, которые были ей хорошо известны. Между прочим, на 2-м курсе юридического факультета был студент Устинов, хороший наш приятель. Он учился плохо, но был человек богатый. На экзамене Крылов поставил ему единицу и соглашался перевести его за деньги. Когда это дошло до профессоров, Устинова призвали в факультет и спрашивали, правда ли это. Он подтвердил обвинение. Его переэкзаменовали в факультете, поставили двойку и перевели на высший курс. При таких обстоятельствах между профессорами, дорожившими честью своей корпорации, естественно, возник вопрос: возможно ли служить с человеком, до такой степени себя замаравшим? Мнения раздвоились; одни утверждали, и не без основания, что ссора Крылова с женою дело совершенно частное, до университета вовсе не касающееся, и что поднимать тревогу из-за семейной распри не следует. Что же касается до взяточничества, то доказательств, в сущности, не представлено. Другие, напротив, думали, что университетская корпорация, только оставаясь нравственно чистою и не терпя внутри себя прокаженных членов, может сохранить вполне свое значение и свое влияние на молодежь. Последнее мнение победило; всех более кипятился Кавелин. Решено было заявить начальству, что если Крылов не выйдет из университета, то Грановский, Редкин, Кавелин и Корш принуждены будут подать в отставку. Мне достоверно не известно, каков был последующий ход дела. Кажется, попечитель склонялся на сторону протестующих профессоров; по крайней мере, он сам вслед за ними оставил университет. Но министр поддержал Крылова, и те

подали в отставку. Грановского не выпустили, потому что он не выслужил еще обязательного срока после посылки за границу на казенный счет; отставка же остальных была принята. Они все трое переехали на службу в Петербург; юридический факультет лишился достойнейших своих членов. Когда через несколько лет Грановскому вышел срок, он сам увидел, что безумно было бы, когда дело было уже совершенно проиграно, задним числом довершать торжество пошлости и грязи оставлением университета, по поводу давно похороненного вопроса о нравственной чистоте университетской корпорации. Он понял, что он и его приятели слишком высоко хотели держать университетское знамя, и что в России предъявление таких высоких требований всегда кончается поражением. Он остался в университете.

Разумеется, все это до крайности волновало студентов. Окончание истории последовало уже гораздо позднее; но на первых порах все были заняты одним вопросом: будет ли Крылов читать или нет? Наконец, возвещено было, что в такой-то день назначается первая лекция. Мы собрались в великом множестве и, когда наступил час, мы увидели маленькую, худенькую, сгорбленную фигуру с пошлыми чертами лица, но с умными и пронизательными глазами, тихо поднимающуюся по лестнице, с шляпою в руках. Первая лекция была рассчитана на эффект, и, точно, она многих поразила; но, в сущности, это была странная шумиха. В виде вступления в курс истории римского права, Крылов излагал общие свои исторические воззрения. Приверженец германской исторической школы времен Савиньи, он хотел разгромить философское направление; но так как он философии вовсе не знал и ничего в ней не смыслил, то выходило одно лишь пустословие с разными шутовскими выходками, в роде того, что он сам некогда по целым дням лежал на диване и судил народы. Весь курс истории римского права был крайне поверхностен, чтобы не сказать более. Когда впоследствии Крылова подбили выступить в печати, как я расскажу ниже, то обнаружилось такое изумительное невежество, такое грубое извращение самых элементарных фактов в преподаваемом им предмете, что произошел скандал, и он никогда уже более не дерзал соваться в печать, довольствуясь тем, что своим талантом очаровывал невинных студентов. Нет сомнения, что он когда-то предмет свой слушал за границей и слегка изучал; но со временем многое забылось и перепуталось в его голове. По неряшеству и лени он не думал наводить справок и обновлять свои сведения. Знание заменялось виртуозностью; не заботясь о том, что действительно было, он рисовал эффектные картины, которыми и удовлетворялись неподготовленные слушатели. Сила Крылова заключалась, впрочем, не в историческом изложении, а в развитии догмы. Здесь, несмотря на все его недостатки, проявлялись ум, талант

и юридическое чутье. Если в сравнении с основательными и даровитыми профессорами второго курса преподавание его представлялось серьезно занимающимся студентам не более, как блестящею мишурою, то на высших курсах он являлся во всем своем блеске, как гигант среди пигмеев.

Со вторым курсом кончилось собственно университетское преподавание, которое вполне заслуживало это название и способно было руководить студентов в научных занятиях, развивая их ум, доставляя им богатый запас сведений, научая их основательному изучению предмета. Высшие курсы посвящены были специально юридическим наукам, но именно последние большею частью были представлены крайне слабо. Здесь господствовали Баршев, Лешков, Морошкин, к которым примыкал и совершенно ничтожный курс церковного права, читанный тем же священником Терновским. Из всех их своею яркою даровитостью отличался Крылов, а своею основательностью только что вернувшийся из-за границы молодой адъюнкт Мильгаузен, шурин Грановского, который на 4-м курсе читал финансовое право.

Деканом юридического факультета после случившегося с Крыловым скандала был Баршев, который на 3-м курсе читал уголовное право, а на 4-м – уголовное судопроизводство. Это была олицетворенная пошлость, пошлость, выражавшаяся во всей его фигуре, в его речи, пошлость мысли и чувств. Уголовное право он читал по дрянному, им самим сочиненному учебнику, который студенты обязаны были покупать и который он приправлял разными анекдотами. В курсе уголовного судопроизводства он являлся рьяным противником всяких либеральных начал. Когда впоследствии, с новым царствованием, либерализм вошел в моду, он внезапно переменял фронт и стал усердно защищать то, что он прежде опровергал, объясняя самым откровенным и наивным образом, что в предыдущее царствование можно было выставлять только одну сторону вопроса, а теперь можно и другую. Разумеется, его преподавание неспособно было не только возбудить любовь и интерес к предмету, но и дать о нем надлежащее понятие. От Редкина можно было более узнать о различных воззрениях криминалистов, нежели из всего курса Баршева.

Если Баршев был пошлейшим из профессоров, то Лешков считался в университете глупейшим из всех. Позднее, узнавши его ближе, я увидел, что он был человек добрый и обходительный; но в голове у него была такая же каша, как и в его речи, в которой слова как-то не договаривались и перепутывались вследствие недостатка произношения. Самая фигура его имела в себе что-то комическое. Худенький, черненький, с каким-то утиным, но заостряющимся носом, он выступал с неловкими, угловатыми телодвижениями, при чем

узкие фалды его вицмундира разлетались в обе стороны; в особенности же он раскланивался с какою-то пошлою развязностью, которая чрезвычайно забавляла студентов. Иногда нарочно собирались с посторонних факультетов, даже медики приходили из другого здания, чтобы посмотреть, как Лешков кланяется. Студенты двумя рядами становились по всей лестнице, сверху донизу и отвешивали ему почтительные поклоны, а он, польщенный таким вниманием, с улыбкой расшаркивался на обе стороны, не подозревая, что над ним потешаются. Лешков был воспитанником Педагогического института; он вместе с другими был отправлен за границу, слушал лекции в Берлине, пытался даже изучать философию, но, боже мой, что из этого выходило! Грановский говорил, что он, как сокровище, сохраняет случайно оставшийся у него в руках экземпляр философии права Гегеля, испещренный замечаниями Василия Николаевича Лешкова. Непривыкшие к нему посторонние люди приходили иногда в совершенное изумление от того сумбура, который господствовал у него в голове. Между прочим московский прокурор Ровинский рассказывал мне, что однажды, при генерал-губернаторе Тучкове, у них был какой-то комитет по полицейским делам, на котором предстояло обсудить некоторые теоретические вопросы. Ровинский советовал пригласить профессора из университета, а так как Лешков был именно профессором полицейского права, то он и был приглашен в заседание. Но, когда он начал излагать свои взгляды, все разинули рты; никто ничего не понимал. Разумеется, ему не возражали; только после заседания Тучков сказал Ровинскому: «Ну, уж ваш профессор!» Больше его уже никогда не приглашали.

И при всем том, в то время, когда я его слушал, преподавание его имело громадное преимущество перед тем, чем оно сделалось впоследствии: он не изобретал еще новой науки! Полицейское право он читал на третьем курсе, придерживаясь главным образом учебников Берга и Моля, и хотя подчас галиматья была полнейшая, однако все-таки сообщались кое-какие сведения, и можно было себе составить понятие о предмете. На 4-м курсе он читал международное право, так как он до своего превращения в либерала, так же, как Баршев, был строгим консерватором, то венцом всего политического строя Европы представлялся Венский Конгресс, который своими мудрыми началами навсегда положил конец всяким революционным движениям. На беду в это самое время вспыхнула французская революция 48-го года, которая совершенно расстроила все расчеты Василия Николаевича. Он совсем смешался, объявил слушателям, что случилось неожиданное происшествие: Людовик-Филипп бежал, Гизо также, вся Европа возмутилась; но, впрочем, он твердо надеется, что мудрые начала Венского Конгресса окончательно восторжествуют над всеми кознями революционеров. У нас был студент Че-

чурин, который рисовал иногда довольно забавные карикатуры. На одной из лекций международного права он изобразил Людовика-Филиппа, сидящего за ширмами на троне, только не на французском; читая газеты, развенчанный король восклицает: «Ах, г. Лешков, благодаря Вашим пагубным теориям мне приходится сидеть на этом троне вместо трона Франции!» А королева отвечает из-за ширм: «Замолчите, Филипп! Василий Николаевич тут ни при чем!»

С наступлением нового царствования Лешков не только совершил такой же поворот фронта, как и Баршев, но выдумал еще собственную свою никому неведомую науку, общественное право, которое он построил на славянофильских и либеральных началах и которую он в своем преподавании заменил полицейское право. И что же? Этот человек, который в университете известен был, как источник всякой галиматьи, над которым все студенты смеялись, вдруг сделался одним из корифеев славянофильского либерализма. Его возвеличивали, прославляли; он на всю Европу прослыл ученым, и поныне еще у него есть жаркие приверженцы даже между людьми, занимающими кафедры. Но на свежих и образованных людей он продолжал производить то же впечатление, что и прежде. Николай Иванович Тургенев, который из Парижа внимательно и с любовью следил за всеми явлениями русской литературы, говорил мне, каким удивлением он был поражен, когда прочел статьи Лешкова в журнале Аксакова «День». Он не верил своим глазам и не мог понять, каким образом в серьезном органе может быть допущена такая бессмыслица. А Аксаков видел в этом что-то новое и замечательное.

Гораздо выше Лешкова и Баршева стоял по таланту Морошкин. Его «Речь об Уложении» свидетельствует о несомненном даровании и живом взгляде на предмет. Но у него воображение преобладало над умом, а образование было самое скудное. Поэтому, рядом со светлыми мыслями являлись у него самые дикие фантазии. Он во всем любил картинность, часто вовсе не соображаясь с действительностью. Про него рассказывали смешные анекдоты, обличающие его незнание жизненных условий и невнимание к окружающему. Так, например, познакомившись с А. Н. Поповым и узнавши, что он из Рязани, он тотчас воскликнул: «А, рязанцы! Это люди рослые, мачтовые!» Но вдруг заметив, что его собеседник необыкновенно маленького роста, он поспешил прибавить: «Впрочем, вы еще не развились!». Грановский, который любил анекдоты, рассказывал с большим юмором, как однажды Морошкин, купаясь в Москве-реке, вдруг услышал крик и увидел утопающую воспитанницу Меровы Александровны Новосильцевой, жены тогдашнего московского вице-губернатора. Будучи отличным пловцом, он вытащил девицу, но ужасно сконфузился, увидев на берегу вице-губернаторшу, окутанную в простыню. Одержимый чинопочитанием, он стал рассыпать

ся в извинениях, что он перед столь высокопоставленной особой против воли принужден предстать в такой первобытной форме. Курс его был пересыпан всякими картинными выходками; но основательности и последовательности было очень мало, а так как он в это время значительно обленился, то недоставало и той живости, которая способна иногда заменить другие качества, и возбудить интерес в слушателях. Курс был скучный и бесполезный. Читая гражданское судопроизводство, он приносил нам разные дела, распределял между студентами всякие канцелярские должности, заставлял нас делать выписки и доклады; но и это все служило больше для забавы. Дельного знакомства с судопроизводством мы не могли из этого вынести.

Над всем этим рутинным преподаванием весьма выгодно выделялся Крылов. Тут был вечно живой ум, блестящее дарование, увлекательный дар слова. В развитии догмы проявлялись все лучшие стороны его таланта: тонкость юридических понятий, резкое их разграничение, выпуклая характеристика институтов. Все это врезывалось в умы слушателей. И тут, однако, были существенные недостатки. Все это было здание, воздвигнутое самим профессором; с источниками он нас вовсе не знакомил. О духе пандектов мы не имели ни малейшего понятия. Когда же, не довольствуясь виртуозною передачею слышанного и читанного им в прежнее время, он хотел сочинить собственное свое воззрение, то результат оказывался крайне сбивчивый. В курсе был один вопрос под заглавием: «Наше воззрение на владение», который составлял камень преткновения для слушателей. Никто не мог понять, чем это воззрение отличалось от других. Хотя я к римскому праву не чувствовал никакого влечения и всего менее питал сочувствия к профессору, которого нравственная несостоятельность была мне известна, однако, слушая его курс, я счел нужным прочесть какое-нибудь капитальное сочинение по римскому праву. Я взял Савиньи и тут увидел, что многое, что у Крылова представлялось необыкновенно выпуклым и наглядным, в действительности вовсе не было таковым. Профессор точною жертвовал картинности, и вместо того, чтобы передавать мнения и приемы римских юристов, нередко увлекался собственным своим воображением. Я сообщил свои замечания Мильгаузену, которого встречал иногда у Грановского; он отвечал: «Я очень рад, что студенты, наконец, его раскусили».

Мильгаузен был человек не очень даровитый, но чрезвычайно образованный и добросовестный. Впоследствии ему приходилось временно читать различные предметы, и он всегда исполнял это совершенно удовлетворительно. Курс финансового права, который я слышал, был первый, читанный им в университете, и хотя по первому курсу трудно еще судить о профессоре, однако и тут уже проявля-

лись все его хорошие качества. Курс был полный, ясный, последовательный; изучение предмета было самое добросовестное. Можно сказать, что это был самый полезный курс, который мне довелось слышать в два последние года моего пребывания в университете.

Он не мог, однако, вознаградить за все остальное. В итоге, несмотря на талант Крылова и на добросовестность Мильгаузена, общий уровень преподавания был весьма невысокий. Умственная атмосфера была совсем другая, нежели на первых двух курсах. В преподавании не было уже ничего возбуждающего ум и возвышающего душу. Образованный элемент в нем исчез, а с тем вместе исчез в нем и нравственный дух. Наука превратилась в какую-то пошлую рутину, которая могла пригодиться для практической жизни, но которая не открывала слушателям новых умственных горизонтов. Немудрено, что студенты стали, наконец, тяготиться подобным преподаванием. Кафедра потеряла свой прежний авторитет; слушание лекций не имело уже для нас своей прежней поэтической прелести. Все стремления свелись к тому, чтобы успешно сдать экзамен.

Зато в других отношениях это было самое веселое время, которое мы провели в университете. Я поныне вспоминаю о нем с особенным удовольствием. Мои родители эти два года не жили в Москве, а зиму и лето проводили в деревне. Мы остались одни: двое старших и третий брат Владимир, который в 47-м году вступил на математический факультет. Первую зиму с нами провел и Василий Григорьевич, который в это время держал экзамен на кандидата. Квартира у нас была на Тверском бульваре в нижнем этаже дома Майковой, возле бывшего тогда дома Базилевского, ныне Малютиной, недалеко от обер-полицеймейстера. Место было центральное, и скоро наша квартира сделалась сборным пунктом для студенческого кружка. Сюда почти ежедневно являлись не только наши упомянутые товарищи: Щербатов, Талызин, Алябьев, Корсаков, но и студенты других курсов и факультетов, даже вышедшие уже из университета: Самарин, Устинов, Ухтомский, Петр Васильчиков, одно время Лев Голицын, а также товарищи младшего брата, Петр Базилевский и Капнист. Мы называли это Майковым клубом.

В особенности я в это время сошелся с Самаринными, братьями Юрия Федоровича, из которых, однако, ни один не был на него похож. Большим моим приятелем был Владимир, который был одним курсом старше меня. Это был самый добрый и веселый мальчик. Маленький, толстенький, весь в прыщах, с довольно забавною фигурой, он беспрестанно выкидывал какие-нибудь фарсы, пел, плясал, иногда влезал на стул и, закрывши глаза, фальшивым голосом и с выразительными жестами распевал итальянские арии, постоянно за кем-нибудь волочился, а потом вдруг, следуя семейным преданиям, садился за изучение русских летописей или читал какую-нибудь глу-

бокомысленную книгу, например, Бентама. Но книга скоро бросалась; кипучая молодость просилась наружу и веселье брало верх над занятиями. Однако, и оно его не удовлетворяло. За порывами разгульного веселья следовали минуты грусти; он скучал и почти каждый день приезжал ко мне и спрашивал со вздохом: какая цель жизни? Бедный Самарин так этой цели и не нашел. Он кидался во все стороны, привязывался к женщинам, но ненадолго, увлекался карточного игрою и проигрывался, наконец, в Крымскую кампанию вступил в военную службу, был во время Севастопольской осады адъютантом Хрулева и разделял с ним все опасности. После войны он опять шатался всюду, не зная, что с собою делать. Наши дружеские отношения сохранились постоянно, он был у меня шафером на свадьбе, но вскоре потом скончался, оставив по себе добрую память во всех, кто знал его близко.

Я подружился и с следующим за ним братом Николаем, который был курсом моложе меня. Он был какой-то чудак, несколько нелюдим и никогда почти не присоединялся к нашей веселой кампании, а больше сидел дома и занимался, в особенности русскою историею. Из этих занятий ничего не вышло, но мы часто проводили с ним вечера в разговорах и прениях. Что касается младших братьев, Петра и Дмитрия, то они были еще на первом курсе, когда мы были на четвертом, а потому и они не принимали участия в увеселениях Майкова клуба. Я сошелся с ними ближе уже по выходе из университета. Собирались у нас почти ежедневно после лекции и по вечерам. После лекций бывало угощение пирожками, которые отлично делал наш повар Мокей. Появлялось большое блюдо, которое немедленно пожиралось с свойственным молодости аппетитом. Вечером мы в компании распивали чай, пели, хохотали, слагали разные университетские песенки, иногда сочиняли домашний ужин. Выезжавшие в свет привозили оттуда всякие рассказы. В праздничные дни мы нередко всей гурьбой отправлялись ужинать в Троицкий трактир, где все половые нас коротко знали. Однажды на масленице мы у себя задали блины и пировали до ночи. В весеннее время мы точно так же гурьбою совершали большие прогулки и загородные поездки, а зимою иногда устраивали охоты, в подмосковные к товарищам. Добычи было не много, но езда вереницею в большой компании, движение на воздухе, веселые обеды и ужины после проведенного на охоте утра, все это было полно прелести.

Памятна мне в особенности охота в имении Благово, в Дмитровском уезде. Он сам предложил нам принять нас у себя, и мы сделали все нужные приготовления, как вдруг его мать, которая сначала дала свое согласие, испугалась, как бы не развратили ее сына и наложила запрет на нашу поездку. Мы пришли в отчаяние; Устинов и мой брат отправились к ней и стали перед нею на колени, объявив, что

не встанут, пока она не даст разрешения. Их упорство, наконец, увенчалось успехом; разрешение было дано, и мы с торжеством отправились в путь. Благово встретил нас в своей деревне и после охоты приготовил нам даже большой обед. Но что же оказалось? Не было ни одной бутылки вина; это было строго запрещено маменькою. Однако, мы уже об этом догадались и привезли с собою целую провизию. Бутылки явились на стол, и Благово, сконфуженный, немедленно после обеда удалился в свои покои, чтобы, согласно данному маменьке обещанию, не принимать участия в таком бесчинии. Но мы и там не оставили его в покое; когда заварена была жженка, мы решили идти его отыскивать. Вся ватага двинулась с бокалами и стаканами в руках; внезапно с шумом отворилась дверь его спальни, и что же мы увидели? Наш благонравный товарищ совершал свою вечернюю молитву на коленях перед киотом в каком-то ночном чепце с розовыми лентами. Контраст был поразительный! На этот раз, однако, мы его пощадили, но затем всячески старались его развратить. Я рисовал его жизнеописание в карикатурах; мы подучали его, как ему действовать с родительницею, и он сам, поддаваясь нашим внушениям, прибегал к разным каверзным злоухищрениям, чтобы вырваться из когтей, но все это было безуспешно; кроме строгой матери, была еще добродетельная бабушка, и против этих двух соединенных сил Благово чувствовал себя совершенно немощным. Даже несколько лет после выхода из университета, когда брат мой, отправляясь секретарем посольства в Бразилию, приехал в Москву и пожелал на прощание поужинать со своими старыми товарищами, Благово объявил, что он никак не может ручаться, что его отпустят, и только уложивши свою маменьку, он выпрыгнул в окно и с торжествующим видом явился среди нас. Вскоре потом несчастный женился на красавице, которая, пожив с ним года два или три, от него убежала. Он совершенно потерял голову и пошел в монахи. Теперь он состоит архимандритом в Риме.

Отец мой был, однако, не совсем доволен сложившимся у нас товарищеским кружком. В своих письмах он предостерегал в особенности брата, который был моложе, и имел менее склонности к научным занятиям, от заразы светскою пошлостью, прикрывающею внешним лоском внутреннюю пустоту. Его мечта была сделать из нас людей, основательно образованных, возвышающихся над обыкновенным уровнем, а потому он желал, чтобы мы себе составили кружок из молодых людей с живыми умственными интересами и с серьезным направлением. Он опасался также, чтобы постоянные развлечения, которые он считал полезными для меня, не отвлекали моих братьев от занятий. Впоследствии, опасения его рассеялись, ибо он увидел, что из нашей товарищеской жизни не произошло и не могло произойти для нас никакого зла. Товарищество не сочиня-

ется, а слагается само собою. В то время в университете не было кружка студентов, соединенных общими умственными интересами; по крайней мере, я такого не знал. Seriously занимавшиеся студенты работали каждый сами по себе. Замечательно, что я в университете вовсе даже не был знаком с человеком, сделавшимся потом одним из самых близких моих друзей, с Дмитриевым, который был всего одним курсом моложе меня, и с которым у меня вдобавок был общий приятель, Николай Самарин, его однокурсник. Едва ли также был в университете хоть один студент, который занимался бы тем, что меня поглощало в то время, именно философией. Потребность умственного общения удовлетворялась посещениями Грановского, у которого мы продолжали довольно часто обедать, а также постоянными сношениями с Павловыми и их литературным кругом. Но кроме этой потребности были и другие, свойственные молодости, потребности доброго товарищества и беззаботного веселья, а этому вполне удовлетворяла собиравшаяся у нас компания. Все они были люди благовоспитанные, не только относительно внешних форм, но и относительно нравственных приличий. Они принадлежали к хорошим семьям, и от них нельзя было ожидать никакого низкого чувства или грубого поступка. При юношеском разгуле, благовоспитанность составляет весьма существенную сдержку, а при этом требовалось еще, чтобы сердечные свойства и правила жизни подходили к общей среде. У нас не допускались не только низость или грубость, но и малейшая неделикатность. Когда Голицын, повертевшись в университете, вышел с первого курса, связался с французскою актрисою и, замотавшись, стал вытягивать у товарищей их скудные деньги, без всякой мысли об уплате, мы сочли такой способ действия несогласным с товарищескими отношениями и исключили его из своего кружка. Конечно, умственные требования в нашей компании были невысоки, но высокие требования от людей предъявляются уже в позднейшие лета. В молодости полезны и такие отношения, в которых устраняется всякий педантизм, всякая гордость ума, всякое сознание умственного превосходства. Мы приучались обходиться дружелюбно с людьми самых разнообразных свойств и ценить в них не столько качества ума, сколько качества сердца. И только в молодости возможны подобные отношения, совершенно непринужденные, в которых нет ничего скрытого и эгоистического, никаких задних мыслей или мелких чувств. Беззаботное юношеское веселье проникнуто было юношеским чистосердечием и душевною теплотою, вследствие чего эта пора моей жизни оставила во мне самые лучшие воспоминания. Здесь я научился высоко ценить дружбу, составляющую одно из лучших украшений человеческой жизни. Доселе я с некоторым сердечным услаждением вспоминаю, что и меня товарищи любили так же, как я любил своих товарищей.

Наша веселая компания не мешала мне заниматься. При полной господствовавшей у нас бесцеремонности я всегда мог засесть за книгу. В это время я весь погрузился в изучение гегельянской философии, вследствие чего я между товарищами носил прозвище Гегеля. Сначала я принялся за философию истории, потом за историю философии, но скоро увидел, что без прилежного изучения логики настоящим образом ничего не поймешь. Я и просидел над нею несколько месяцев, не только тщательно ее изучая, но составляя из нее подробный конспект с целью выяснить себе весь последовательный ход мысли и внутреннюю связь отдельных понятий. Потом я точно так же засел за феноменологию и энциклопедию. С философией Гегеля я познакомился основательно, после чего уже приступил к последовательному изучению других философов. Может быть, правильнее было бы поступить наоборот, начавши с древних мыслителей, с Платона и Аристотеля, которые гораздо доступнее неприготовленному уму. Но прямо начавши с последнего и труднейшего, я сразу понял, к чему клонится все историческое развитие человеческого мышления, и мог усвоить себе вопросы во всей их современной ширине. Я убежден, что этот труд был мне в высшей степени полезен; убежден также, что кто не прошел через этот искуc, кто не усвоил себе вполне логики Гегеля, тот никогда не будет философом и даже не в состоянии вполне обнять и постигнуть философские вопросы. Разумеется, я совершенно увлекся новым мирозерцанием, раскрывавшим мне в удивительной гармонии верховные начала бытия. Только в более зрелые лета, при самостоятельной работе мысли, я увидел, в чем состоит его односторонность, и каких оно требует поправок и дополнений. В это же время развилась у меня и другая умственная страсть – увлечение политикой. Однажды ночью, когда мы спали глубоким сном, вдруг раздался у нашей двери сильный звонок; затем началась стукотня в низких окнах нашей квартиры, выходявшей прямо на улицу. Мы к этой стукотне уже привыкли, нередко Голицын совершал такие ночные нападения, которые были нам вовсе не по вкусу. Поэтому мы сначала и не обратили на нее внимания. Но стук упорно продолжался, и мы, наконец, отворили дверь. Голицын вошел и объявил, что во Франции произошла революция; король бежал и провозглашена республика. Я пришел в неистовый восторг, влез на стол, драпировался в простыню и начал кричать: «Vive la Republique!»

На следующий день весь университет знал уже об этой новости, студенты с волнением и любопытством сообщали ее друг другу. После обеда я полетел к Грановскому, который с своей стороны приветствовал это событие, как новый шаг на пути свободы и равенства. Политика пронырливого Людовика-Филиппа, лишенная всякого нравственного смысла и всякого величия, до такой степени встречала мало сочувствия, что даже живший в Москве старый англича-

нин Эванс, тори по убеждениям, говорил мне: «Je ne suis pas pour les principes republicans, mais je suis tres content que ce fourbe de Louis-Philippe soit parti et de même Monsieur Guizot, qui s'est laisse completement demoraliser par Louis-Philippe»*.

Увлечение было общее; все тогдашние либералы исполнены были веры в человечество и ожидали чего-то нового от внезапно призванных к политической жизни масс. Последовавшие затем события послужили для всех назидательным уроком; они воспитали политическую мысль, низведя ее из области идеалов к уровню действительности. И тут обнаружилось глубокое различие между теми, которые, внимательно следя за ходом истории, умели извлечь из него для себя новые поучения, и теми, которые были неспособны научиться чему бы то ни было. Между тем как Герцен, разочарованный во всех своих ожиданиях, увидев несостоятельность той демократии, которой он отдал всю свою душу, кидался в еще большую крайность, громил умеренно республиканское правление, водворившееся после июньских дней, и проповедовал самые анархические начала, Грановский, как истинный историк, воспользовался развертывающейся перед его глазами картиною, чтобы окончательно выработать в себе трезвый и правильный взгляд на политическое развитие народов, взгляд равно далекий и от радикальной нетерпимости и от реакционных стремлений, проникнутый глубоким сочувствием к свободе, но понимающий необходимые условия для осуществления ее в человеческих обществах.

Я с жадностью предался чтению журналов. В «Débats», который мы получали и затем отсылали в деревню, печатались целиком все речи французских собраний. Я не пропускал из них ни единой строки, знал каждого депутата, следил за всеми подробностями событий и обо всяком новом явлении тотчас ездил толковать с Грановским. От него я брал и немецкие газеты, в которых печатались прения Франкфуртского сейма и Берлинского депутатского собрания**.

Даже во время экзаменов я разрывался между повторением курса и чтением газет. В самый день экзамена, отправляясь в университет, я иногда не мог оторваться от какой-нибудь приковывающей мое внимание речи. Как двадцатилетний юноша, я разумеется сочувствовал крайнему направлению, а потому для меня громовым ударом

* «Я не сторонник республиканских принципов, но я очень доволен, что этот коварный Луи-Филипп прогнан, точно так же, как и г. Гизо, который допустил себя совершенно деморализовать Луи-Филиппом».

** В революционные 1848 – 1849 гг. в Франкфурте заседало обще-германское национальное собрание (так наз. Франкфуртский парламент), имевшее целью выработать конституцию для Германии, но окончившееся полным неуспехом. Точно так же никакого реального результата не достигло и национальное собрание Пруссии, созданное 22 мая 1848 г. в Берлине.

были июньские дни, когда демократическая масса, в которую я верил, вдруг выступила без всякого повода и без всякого смысла, как разнузданная толпа, готовая ниспровергнуть те самые учреждения, которые были для нее созданы. Когда мятеж был укрощен, и водворился Кавеньяк, я сделался умеренным республиканцем и думал, что республика может утвердиться при этих условиях. Но выбор президента окончательно подорвал мою непосредственную веру в демократию. Я по-прежнему остался пылким приверженцем идей свободы и равенства; я продолжал видеть в демократии цель, к которой стремятся европейские общества: на эту цель указывало и все предыдущее развитие истории и самые беспристрастные европейские публицисты. Но достижение этой цели представлялось мне уже в более или менее отдаленном будущем. Я перестал думать, что исторические начала могут осуществляться внезапными скачками, и пришел к убеждению, что европейская демократия должна пройти через многие испытания прежде, нежели достигнуть прочных учреждений. Впоследствии более зрелое размышление убедило меня, что будущее, представляемое демократией, может быть только переходною ступенью в развитии человечества.

Разочаровавшись в жизненной силе демократии, я разочаровался и в теоретическом значении социализма. Несмотря на то, что Прудон, как сказано выше, весьма мало меня удовлетворял, я все еще верил в великое значение социалистических идей для поднятия благосостояния низших классов и для осуществления братства на земле. Явление социализма в 1848 году значительно поколебало эту веру. В особенности сильное впечатление произвело на меня чтение полемики между Прудоном и Бастиа*. Я не мог не признать, что знаменитый социалист был совершенно разбит в этом споре. Несмотря на всю свою изворотливость, он не мог отвертеться от ясных и твердых вопросов, которые ставил ему его противник. Он кидался во все стороны, отвечал вовсе не на то, о чем его спрашивали, но прямого ответа дать не мог. Я получил большое уважение к Бастиа, и это уважение еще возросло при чтении его «Экономических гармоний», которые возвратили меня к началу свободы, как истинному основанию экономических отношений в образованных обществах. Социализм в моем уме оставался еще каким то смутным идеалом в отдаленном будущем, но и эти мечты рассеялись, наконец, в более зрелую пору, при внимательном изучении социалистических писателей. Я

*Известный французский политикоэконом Фр. Бастиа (1801 – 1850), яркий выразитель буржуазных взглядов, во время февральской революции издал ряд памфлетов, направленных против социализма и коммунизма: «Protection et communisme», «Capital et rente», «Maudit argent», «Propriété et spéculation» и др.; в особенно страстную полемику он вступил с знаменитым П.-Ж. Прудоном (1809 – 1865).

понял, что социализм ни что иное, как доведенный до нелепой крайности идеализм. В этом смысле он имеет историческое значение; практически же он всегда остается бредом горячих умов, не способных совладать с действительностью, а еще чаще шарлатанством демагогов, которым не трудно увлечь за собою невежественную массу, лаская ее инстинкты, представляя ей всякие небывлицы и возбуждая в ней ненависть к высшим классам.

Политические увлечения, даже в чисто теоретической области, были однако в то время небезопасны. События 1848 года вызвали сильнейшую реакцию в ничем неповинной России, которая должна была расплачиваться за европейские смуты. Если и прежде образованному меньшинству трудно было дышать под правительственным гнетом, то теперь дышать стало уже совершенно невозможно. Строгости усилились; цензура сделалась неприступной; частные лица, подзреваемые в либерализме, подвергались бдительному надзору. И в Москве и в университете произошли знаменательные перемены. Честный и добрый генерал-губернатор, князь Щербатов, вышел в отставку; вместо него был прислан граф Закревский, который должен был укротить вовсе не думавшую бунтовать столицу.

Граф Закревский вошел в чины еще в царствование Александра I и в то время пользовался репутацией разумного, дельного и обходительного человека. Читая его переписку с графом Киселевым*, напечатанную в жизнеописании последнего, невольно спрашиваешь себя: неужели это тот самый граф Закревский, который впоследствии был генерал-губернатором Москвы? С новым царствованием он преобразился согласно с новыми требованиями и в 1848 году явился в Москву настоящим типом николаевского генерала, олицетворением всей наглости грубой, невежественной, и ничем не сдержанной власти. Он хотел, чтобы все перед ним трепетало, и если дворянству он оказывал некоторое уважение, то с купцами он обращался совершенно как с лакеями. Когда нужны были пожертвования, он призывал, приказывал, и все должно было беспрекословно исполняться. После Крымской кампании купцы вздумали ознаменовать первый приезд в Москву нового государя огромным угощением войск и экзерциргаузе. Закревский приехал и, увидев стоявших тут жертвователей и распорядителей празднества, закричал на них: «А вы что тут делаете? Вон!» Хозяева должны были немедленно удалиться. Одним из первых его действий по прибытии в Москву было то, что он какого-то ростовщика без всякого суда сослал в Колу. Он немедленно сменил полицеймейстера Беринга, который, однако, скоро сумел подладиться к весьма доступному лести начальнику, сделал

* А. И. Заблоцкий-Десятовский. Граф Павел Дмитриевич Киселев и его время. СПб. 1882.

ся у него домашним человеком, исполняя почти что должность дворецкого и, наконец, из смененного полицеймейстера превратился в пользовавшегося полным фавором обер-полицеймейстера и, наконец, губернатора. Закревский всюду видел злоумышленников; в особенности либералы были предметом зоркого наблюдения; шпионство было организовано в обширных размерах. Из недавно опубликованных официальных его донесений видно, что он против самых невинных лиц ставил отметку: «Готовый на все»*.

Мирная Москва, привыкшая к патриархальным порядкам видевшая долгое время во главе своей просвещенного вельможу александровских времен, князя Дмитрия Владимировича Голицина и затем добродушного и благороднейшего князя Щербатова, была смущена этим неожиданным проявлением дикого произвола. Н. Ф. Павлов написал к Закревскому остроумные стихи, которые ходили по рукам.

Ты не молод, не глуп и ты не без души;
К чему же возбуждать и толки и волнения?
Зачем же роль играть турецкого паши
И объявлять Москву в осадном положении?
Ты нами править мог легко на старый лад,
Не тратя времени в бессмысленной работе;
Мы люди мирные, не строим баррикад
И верноподданно гнием в своем болоте.
Что ж в нас нехорошо? к чему весь этот шум,
Все это страшное употребление силы?
Без гвалта мог бы здесь твой деятельный ум
Бумагу истреблять и проливать чернила.

Павлов с тонкой иронией спрашивал его:

Какой же учредить ты думаешь закон?
Какие новые установить порядки?
Уж не мечтаешь ли, гордыней ослеплен,
Воров перевести и посягнуть на взятки?
За это не берись; остынет грозный пыл,
И сокрушится власть, подобно хрупкой стали;
Ведь это мозг костей, кровь наших русских жил.
Ведь это на груди мы матери сосали.
Но лишь за то скажу спасибо я теперь,
Что кучер Беринга не мчится своевольный
И не ревет уже, как разъяренный зверь
По тихим улицам Москвы первопрестольной;
Что Беринг сам познал величия предел;
Закутанный в шинель, уж он с отвагой дикой
На дрожках не сидит, как некогда сидел,
Несомый бурей, на лодке Петр Великий.

* «Показания гр. А. А. Закревского о некоторых представителях образованного общества». («Рус. Архив», 1885, II).

Всего менее Закревский думал истреблять взятки. Как истинно русский практичный человек и чиновник, он сам был от этого не прочь. Тут все брали: и он, и жена, и дочь, и подчиненные. Нравственные примеры, явно подаваемые его домашними, были и того хуже; цинизм доходил до высочайшей степени. В Москве водворились необузданный произвол, взяточничество и грязь. Что могли породить подобные порядки, как не возбуждение во всех мыслящих и образованных людях вящей ненависти к правительству?

Этот крутой поворот не мог не отразиться и на университете, который, как центр просвещения, сделался главным предметом подозрений. И здесь произошли коренные перемены. Граф Строганов вышел; недолго после него оставался и Уваров. Вышел и любимый наш инспектор Платон Степанович. На место Строганова поступил бывший при нем помощник попечителя, Дмитрий Павлович Голохвастов, а на место Нахимова толстый, пошлый и ограниченный Шпер. Голохвастов был человек неглупый и честный, с основательным, хотя односторонним образованием, но формалист и педант. При других условиях он мог быть не дурным попечителем и со временем, при ближайшем знакомстве, приобрести любовь и уважение подчиненных. На его беду он явился в университет представителем новых заведенных в нем порядков. Самая наружность его не внушала сочувствия. Он был чопорный, важный и нарядный, и любил, чтобы все вокруг него было чинно, важно и нарядно. Мы с насмешливым любопытством глядели на торжественный его приезд в университет в карете цугом, с лакеем в ливрее на запятках по старому обычаю. Вся инспекция почтительно выбегала встречать начальника на крыльце; затем учинялось такое же торжественное шествие из профессорской в аудиторию: впереди шел солдат с предназначенным для попечителя креслом, сзади толпилась опять вся инспекция, студенты чинно становились по сторонам, и между ними шествовал сам Дмитрий Павлович во всем своем накрахмаленном величии, с лентою и орденами, важно раскланиваясь во все стороны. Мы невольно сравнивали эту внушительную обстановку с скромным появлением графа Строганова, который, однако, пользовался неменьшим уважением. Иногда Голохвастов и на лекции, важно восседая в креслах, начинал заводить разные речи, желая блеснуть своими знаниями, но и это выходило у него невпопад, и мы только над ним смеялись.

В университете установился совершенно новый строй. Прежняя свобода исчезла. Студентам запрещено было ходить в кондитерские читать газеты. В стенах университета не позволено уже было ходить расстегнутым; на улице нельзя было показаться в фуражке: требовалось, чтобы студенты непременно были в треугольной шляпе и при шпаге. И все это соблюдалось с величайшей точностью; на всякую

пуговицу обращалось внимание; придирам не было конца. Однажды в весеннее время, уставши от приготовления к экзамену, я в сумерках взял фуражку и вышел пройтись по Тверскому бульвару, где в ту пору народу почти совсем не было. Завидев субинспектора издали, я повернул в боковую дорожку и вернулся домой; но субинспектор, заметив меня, тотчас последовал за мною на квартиру и сделал мне внушение, зачем я хожу по бульвару одетый не по форме. Так как наша квартира служила сборищем студентов, то за ней устроен был специальный надзор. Однажды в мае месяце Ухтомский, вышедший уже из университета, приехал к нам с бала в 5 часов утра; погода была чудесная, и он убедил меня поехать прогуляться с ним в Петровский парк. В тот же день университетскому начальству было известно, что я рано утром был в парке. Один из наших людей был даже подкуплен полицией и должен был доносить обо всем, что мы говорили, и что у нас происходило. Об этом по секрету сообщил брату часто бывавший у Корсаковых полицеймейстер Сечинский. Особенно весной 1849 года во время довольно продолжительного пребывания в Москве царской фамилии по случаю открытия нового дворца, строгости и формальности усилились до чрезмерности. Без сомнения без некоторой дисциплины нельзя было обойтись, ибо сверху на это обращалось особенное внимание, но люди трусливые, боящиеся за свое положение, обыкновенно в этих случаях пересаливают. Наш толстяк-инспектор с уморительными ужимками показывал нам в лицах, какой мы должны принимать почтительный вид при встрече с государем, как мы должны кланяться и становиться во фронт, что нам было вовсе необычно. От студентов выезжавших в свет, требовалось, чтобы они на балах в высочайшем присутствии были в чулках и башмаках, хотя в то время эта форма сохранялась только при дворе и не было ни малейшей нужды облекать в нее университетскую молодежь; но Голохвастов строго держался старых правил. Мне не пришлось так наряжаться; но я видел Корсакова, отправляющегося на бал к князю Сергею Михайловичу Голицину в студенческом фрачном мундире и полном придворном облачении, затянутого в короткие белые штаны, в шелковых чулках и башмаках с пряжками. Отец его ехал вместе с ним, одетый во фрак, как обыкновенные смертные. Старик любовался нарядным одеянием сына. «Посмотрите, – говорил он, вспоминая свою молодость, – все мы прежде иначе на бал не ездили; а теперь что?» Но студенты, которые решались облечься в этот костюм, ставились в очень неловкое положение, ибо, кроме придворных чинов, они одни щеголяли в этой форме. Их даже спрашивали с усмешкой, зачем их так наряжают?

Какое впечатление производил на нас Голохвастов, можно видеть из сложившейся у нас тогда песенки, которая может служить образ-

чиком тогдашних студенческих воззрений. Однажды после одного из торжественных явлений Голохвастова, Алябьев сказал мне: «Недурно бы про него сложить песню в русском духе с следующим началом:

Ой ты гой, еси Дмитрий Павлович,
И ума у тебя нет синь-пороха
И душенька в тебе распреподлая!»

Я немедленно за это принялся и описал его приезд в университет; Алябьев сделал некоторые поправки. Помню следующие стихи:

А как едешь ты, Дмитрий Павлович,
Во карете своей с четверней лихой,
На запятках с слугой в галуне златом,
Уж навстречу к тебе на крыльцо бежит
Сам инспектор-толстяк, весь запыхавшись,
Весь запыхавшись, в поту взмокнувши,
И за ним во вслед стая подлая
Всех помощников и наушников,
Словно серая утка с утятами;
Принимают тебя все почтительно,
Нагибаются все пред начальником,
Пред начальником чина важного,
Пред действительным статским советником.
А идешь ли ты в аудиторию,
Пред тобой выступает солдат лихой,
Кресла тащит он деревянные,
Деревянные все дубовые,
И идешь ты за ним словно птица-жар
Разнаряженный, накрахмаленный,
В парике своем, с бакенбардами,
С бакенбардами, золотистыми
И со вздутым хохлом и примазанным;
Шея стянута в пышном галстуке;
И звезда на груди светит ясная
И кресты блестят, как жемчуг драгой,
И красуется лента алая,
Лента алая, что царь-батюшка,
Что царь светлый дал, очи ясные,
За поклон тебе, за солдатчину.
Нагибаешься ты на все стороны,
На все стороны свысока глядишь.
А как вступишь ты в аудиторию,
Сам профессор скорей лезет с кафедры,
И студенты все пред тобой встают;
И рассядешься ты в кресла мягкие,
Величаво глядишь из брыжжей своих,

Сосчитаешь сам ты студентов всех,
И осмотришь их, все по форме ли,
И застегнуты ли на все пуговицы,
На все пуговицы с золотым орлом.
И ведешь ты речь с ними важную,
И высказываешь думы крепкие
На смех им говоришь пошлы глупости
И срамишь себя ты торжественно.
Ой ты гой еси, Дмитрий Павлович,
Убирайся-ка ты поскорей от нас,
Поскорей бы тебя во сенат сослать
И советника дать тебе тайного;
Помолились бы мы все у Иверской
И поставили бы ей свечу толстую,
Свечу толстую раззолочену;
Что избавила нас от тебя, скота,
От тебя скота, от безмозглого.

В таких-то, довольно неприличных, выражениях изливалось недовольствие студентов на происшедшие в университете перемены, которых козлом отпущения был в наших глазах менее всего повинный в них попечитель. Наше желание исполнилось: Дмитрий Павлович недолго побыл в университете: он вышел, кажется, уже в 1849 году. Но от этого не только не сделалось лучше, а, напротив, сделалось гораздо хуже. Вместо него был назначен Назимов, которого единственная задача состояла в том, чтобы ввести в университете военную дисциплину. Комплект студентов, кроме медицинского факультета, был ограничен тремястами человек; философия, как опасная наука, была совершенно изгнана из преподавания, и попу Терковскому поручено было читать логику и психологию. Наконец, в Крымскую войну введено было военное обучение: студентов ставили во фронт на университетском дворе и заставляли маршировать. Московскому университету, да и всему просвещению в России нанесен был удар, от которого они никогда не оправились. Высокое значение Московского университета в жизни русского общества утрачено навсегда.

К счастью, я всего этого не видал. Все это совершилось уже после моего выхода из университета. Но и заведенные при нас порядки были нам в тягость. Мы сравнивали их с прежнею вольною жизнью и не могли не возмущаться. Мы тяготились и рутинным преподаванием последних лет. Нам надоело слушать Лешкова, Баршева и компанию. Ни одного живого слова не раздавалось с кафедры. Не мудрено, что при таких условиях большинство студентов 4-го курса с нетерпением ожидало выхода. Брат мой как-то писал об этом в деревню; отец отвечал: «В какое грустное раздумье привели меня эти

слова! Молодые эти люди, так нетерпеливо желающие оставить место, где должны сделать запас на всю жизнь, спросили ли они у себя, что вынесут из университета? Приобрели ли они хоть одно основательное знание, получилось ли какое-нибудь стремление достойное образованного человека, развились ли в себе любовь к мысли, к просвещению? Очень немногие могут отвечать утвердительно на эти вопросы».

Эти слова, конечно, не могли относиться ко мне. Университет дал мне все, что он мог дать: он расширил мои умственные горизонты, ввел меня в новые, дотоле неведомые области знания, внушил мне пламенную любовь к науке, научил меня серьезному к ней отношению, раскрыл мне даже нравственное ее значение для души человека. Я в университете впервые услышал живое слово, возбуждающее ум и глубоко западающее в сердце; я видел в нем людей, которые остались для меня образцами возвышенности ума и нравственной чистоты. Отныне я мог уже работать самостоятельно, занимаясь на свободе тем, к чему влекло меня внутреннее призвание. Я не воображал себе, что мое образование конечно, а, напротив, только и думал о том, чтобы его пополнить. Но весь запас сил, с которым я готовился вступить на этот новый путь я вынес из университета, а потому никогда не обращался и не обращаюсь к нему иначе, как с самым теплым и благодарным воспоминанием.

Наконец, наступили последние экзамены. Они сошли так же благополучно, как и все прежние. Я и тут везде получил по 5. Но так как нас было трое, которые из всех кандидатских предметов получили полные баллы: Гладков, Лакнер, и я, то нас в выпускном списке поставили в алфавитном порядке, так что я стоял третьим. К этому я был совершенно равнодушен, ибо всякие отличия всегда ставил ни во что. Брат мой также получил кандидатские баллы. Статское платье было уже давно заказано, и мы сняли мундиры с синим воротником с такою же почти радостью, с какою надели их четыре года назад. Мы не воображали, что с тем вместе мы прощаемся с лучшими годами своей жизни, с годами юношеской беззаботности и юношеских увлечений, упоения мыслью, отважных мечтаний, веселого товарищества, с теми годами, когда в человеке уже развернулись все вложенные в него силы, когда перед ним раскрылась вся полнота бытия, а житейский опыт еще не коснулся его своим холодным дыханием, и все мелкое, пошлое и черствое, с чем ему впоследствии приходится встречаться, не рассеяло еще тех радужных надежд, с которыми он вступает на жизненный путь.

Мы отпраздновали свой выход общим пиром; с Алябьевым мы вдвоем совершили большую прогулку и расстались навеки. Он высказывал предчувствие, что недолго проживет. Наконец, покончив все дела, мы с легким сердцем сели в тарантас и покатали в свой

милый Караул. Выехали за заставу, и скоро обаяние теплого летнего утра, мирный вид простирающихся вдаль полей, зеленых дубрав, колыхающихся по ветру нив, все эти знакомые и близкие сердцу впечатления заставили нас забыть и суету университетской жизни, и волнения экзаменов и сердечное прощание с товарищами. Сельская тишина охватила нас своим благоуханием.

Я не могу без некоторого поэтического чувства вспомнить об этих прежних, долгих путешествиях по России, которые производили такое впечатление, как будто переносишься в совершенно новый мир. С железными дорогами все изменилось. Едешь несравненно скорей, с гораздо большими удобствами, но вся поэзия путешествия исчезла. А поэзия была, несмотря на грязь, на толчки, на ухабы, на заборы, несмотря на пошлые станционные дома, на недостаток лошадей, несмотря на то, что приходилось иногда по шести дней тащиться чуть не шагом из деревни в Москву и по целым ночам ежеминутно пробуждаться от неудержимой дремоты, вследствие невыносимого толкания то в один бок, то в другой. И природа, и воздух, все теряет свою прелесть, когда сидишь в запертом вагоне и видишь перед глазами ряд быстро сменяющихся картин. Живое, захватывающее действие окружающей природы ощущается, только когда едешь на лошадях в открытом экипаже. Тут только можно полною грудью вдохнуть в себя и благоухание свежего утра и неизъяснимое обаяние теплого летнего вечера, когда длинные тени ложатся кругом, и мало, по, малу земля погружается во мрак. Какое, бывало, испытываешь живительное и радостное чувство, когда, проснувшись на заре, после проведенной в езде ночи, вдруг услышишь пеньё жаворонка высоко под небом и видишь облик солнца, выходящего из-за горизонта и озаряющего своими бледными еще лучами зеленеющую даль полей, густые рощи, покрытые соломой хижины! Освеженный недолгим сном, выпрыгнешь из экипажа, с неизъяснимым удовольствием напьешься на станции чаю и с новой бодростью едешь дальше. Какое удивительное впечатление производил серебристый звук колокольчика на вечерней заре, в безбрежной степи, позлащенной последними лучами заходящего солнца, когда синеющие дали начинают сливаться с небом, представляя вид бесконечности, и в природе водворяется какая-то торжественная тишина. Что-то ласкающее призывное слышится в этом звуке, и целый рой самых разнообразных чувств возникает в душе. Даже осеннее путешествие имело свою прелесть: едешь, бывало в сумерки; ночь тихо спускается на землю; мрак становится все гуще, и душа погружается в какую-то смутную дремоту, перебирая в себе всякие неясные образы; а вдали мелькают огоньки, заманивая к себе, вызывая в воображении картины мирного сельского домашнего быта. Или зимою, когда случалось, останешься переночевать на станции, чтобы переж-

дать разгулявшуюся погоду: сидишь один в комнате, едва освещенной тусклым светом сальной свечи с нагоревшим на ней фитилем; на столе шумит самовар; среди ночного безмолвия слышны только мурлыканье кота и мерный стук стенных часов, да за перегородкой зычное храпенье станционного зрителя. А на дворе вьюга так и злится; кажется, она хочет ворваться в окна. И в ожидании утра ляжешь спать на жесткий диван и заснешь таким крепким сном, каким никогда не сыпал на мягкой постели.

Все эти давно прошедшие впечатления невольно возникают во мне и сливаются в один поэтический образ с воспоминанием молодости, университетской жизни, о тех изменяющихся, но всегда живых и радостных чувствах, с которыми я переезжал из Москвы в деревню и из деревни в Москву. Всего этого давно уже нет; Россия вся преобразилась: явились иные условия, иная жизнь, иные люди. Сохранят ли нынешние юноши такую сердечную память о прошлом, какую сохранили в душе своей люди того времени?

Москва и Петербург в последние годы царствования Николая Павловича

Вернувшись домой после выпускных экзаменов, я весь остальной 1849 год провел в деревне. Семья была вся в сборе; только брат Владимир, который вступил на 3-ий курс, в начале сентября уехал в Москву. С нами был Василий Григорьевич, постоянный товарищ во всех наших удовольствиях. Лето было шумное и веселое. Мы часто ездили в Мару, и Баратынские приезжали к нам. Меня очень занимала также постройка дома, который подвигался с удивительной быстротою. В октябре, как уже сказано выше, мы в него перешли и отпраздновали новоселье. Осенью мы зажили уже на широких квартирах. Я в первый раз получил свою отдельную комнату и весь погрузился в занятия, которым, впрочем, не мешали и летние удовольствия.

Следуя внутреннему влечению, я продолжал изучать философию. С этою целью я принялся опять за греческий язык и стал в подлиннике читать Платона и Аристотеля, сначала с помощью перевода, а потом прямо уже по греческому тексту. Рядом с этим я изучал историю права; по немецкому праву читал Эйхгорна, по французскому Варнкенига и Штейна, и из всего прочитанного делал конспекты. В это время начало уже слагаться у меня то философско-историческое здание, которое образовало, можно сказать, остов всех моих последующих трудов, и которого построение составляло главную задачу моей жизни. Оно возникло из сравнения философского и политического развития человечества. Чтение Гегеля убедило меня в истине основного исторического закона, состоящего в движении духа от единства к раздвоению и от раздвоения обратно к единству. Но я не мог примириться с построением Гегеля, который эпохою раздвоения считал Римскую империю и в христианстве видел начало высшего единства. Чтение Эйхгорна окончательно убедило меня в неправильности этого взгляда. Я увидел, что эпохою раздвоения следует признать не Римскую империю, а Средние Века, где действительно являются два противоположных друг другу мира: с одной стороны церковь, хранительница нравственного закона, с другой стороны светская область, в которой господствовало частное право.

Сравнивая средневековый быт, как он изображен немецкими историками-юристами, с началами, установленными в гегелевой философии права, я пришел к заключению, что основанный на частном праве порядок следует именовать не государством, а гражданским обществом; государственные же начала, развивающиеся в новое время и подчиняющие себе обе противоположные области, церковную и гражданскую, являются восстановлением утраченного единства. Вынесенное из университета знакомство с историей русского права подтверждало эти взгляды и служило вместе с тем основанием к сближению западноевропейского развития с нашим. Я увидел, что при некоторых второстепенных различиях основной закон развития и здесь и там один и тот же.

Таким образом, все историческое развитие человечества получило для меня смысл. История представилась мне действительным изображением духа, излагающего свои определения по присущим ему вечным законам разума. Это была уже не общая мысль, которую я принимал на веру, а раскрывающийся в явлениях факт. Все разнообразие событий и народностей слагалось в общую живую картину, в которой каждая особенность становилась органическим членом совокупного целого. Все мои последующие труды служили только к подтверждению этого взгляда. Разумеется, с большим и большим изучением источников, частности представлялись в ином свете; но всякая основательно изученная подробность не только не опровергала основных начал моего воззрения, а являлась как бы новым их подкреплением. Скучный очерк наполнялся все большим и большим содержанием.

Существенное изменение произошло в одном: пока я держался чисто идеалистического воззрения Гегеля, я все прошедшее считал преходящими моментами в истории человечества. Вследствие этого, я и христианство признавал религиею средневековою, покончившею свой век, отслужившей, так сказать, свою службу; а так как будущая религия, религия духа, еще не явилась, то я думал, что современное человечество, по самому своему положению, лишено религиозных верований. Впоследствии я убедился, что идеализм, составляя последний момент развития, не есть однако единственный, и что он сам становится односторонним, когда он утверждает только себя, отвергая самобытность остальных начал. Я понял, что те ступени, которые Гегель называет моментами развития, составляют вечные элементы человеческого духа, имеющие право на самостоятельное существование и сохраняющиеся при дальнейшем движении, а потому я перестал видеть в христианстве только религию прошлого и пришел к убеждению, что религия духа может не заменить его, а только восполнить. Точно так же и гражданский порядок, основанный на частном праве, никогда не может поглотить

ся государством. Средневековый быт представлял одностороннее поглощение государственных начал частными; движение нового времени состоит в выделении государственных начал и в самостоятельном развитии последних. Но обратное поглощение частных начал государственными было бы еще большею и худшею односторонностью, нежели первое. Отсюда коренная несостоятельность всех стремлений социализма. В юношескую пору, когда я еще состоял под исключительным влиянием идеализма, я видел в нем будущее; в зрелые лета, когда я понял всю односторонность исключительного идеализма, я признал в нем величайшего врага свободы, а потому главную язву современного человечества.

Книжные занятия не мешали развивавшейся у меня в последние годы страсти к энтомологии. Живя в деревенской свободе, я предавался ей с увлечением. Летние мои прогулки посвящались, главным образом, собиранию жуков. Детская страсть моя к рыбной ловле в это время уже совершенно исчезла.

Я пробовал ходить с ружьем; осенью устраивались большие охоты у нас и у соседей. Мне удалось даже убить лисицу; но не имея никакой склонности к ружейной охоте, я после этого подвига положил ружье и успокоился на лаврах. С наступлением холодов пришлось вести преимущественно комнатную жизнь и углубляться в книги. Но, наконец, это мне надоело, я почувствовал умственное утомление и потребность отдыха. В 1821 год, когда молодые силы кипят и просятся наружу, такая жизнь зимою в деревне представляет мало привлекательного. С завистью читал я письма брата и товарищей из Москвы. Они там веселились, ездили в свет и звали меня к себе. Меня так и потянуло в Москву. Родители также собирались туда в эту зиму, но я, не дождавшись их, в начале января уехал с соседом вперед, чтобы приискать и приготовить им квартиру.

В Майковом доме меня ожидала вся наша товарищеская компания, которая предавалась веселью со всем увлечением юности, окончательно порвавшей с учебными годами и наслаждающейся полной свободой. Я, разумеется, тотчас к ним примкнул и сделался непременным участником всех увеселений. Но в Майковом доме мы не остались; пришлось навсегда покинуть этот уголок, где мы провели столько веселых и приятных дней. Я отыскал для родителей большой дом на Поварской, ныне принадлежащий Дмитрию Федоровичу Самарину, нанял мебель, драпировки, приготовил все нужное к приезду и переселился туда с братом, в ожидании остального семейства, которое не замедлило прибыть.

Эта зима была исключительно посвящена удовольствиям. Кроме товарищеского круга, я разом окунулся и в московский большой свет. Вступить в него было не трудно. Он всегда страдал недостатком мужчин, которые отвлекались обыкновенно службою в Петербурге; а по-

тому всякий благовоспитанный молодой человек принимался с распростертыми объятиями. Я скоро сделался в нем, как свой человек, и эта светская жизнь поглотила меня в течение нескольких лет.

Московское общество было в то время многочисленное и разнообразное. Тогдашняя Москва была преимущественно дворянским городом. Тут жили зажиточные, независимые семьи, которые не искали служебной карьеры и не примыкали ко двору. Это налагало своеобразную печать на всю московскую жизнь. В ней не было того, что составляло и поныне составляет язву петербургского большого света, стремления всех и каждого ко двору, близость к которому определяет положение человека в свете. Слова и действия царственных особ и чиновные производства не занимали все умы и не были предметом постоянных толков. Даже правительственный центр в Москве в то время вовсе не был общественным центром. К графу Закревскому ездили на большие балы, но от семейства его устранилась. Толстая, известная своими похождениями графиня Закревская, со своим наперсником Маркевичем*, впоследствии сделавшимся литератором, и графиня Нессельроде** с толпой поклонников, на которых она была весьма неразборчива, представляли мало привлекательного для людей с несколько тонким вкусом. Москвичи все жили семейными кружками, радушно и беспечно, наслаждаясь жизнью и мало заботясь о будущем. Богатые дома давали большие празднества, балы, вечера, маскарады. Большинство предавалось светским удовольствиям; у иных были и литературные интересы. Вообще, светская жизнь была блестящею, ибо принимающих домов было много, и дворянство не успело еще поразориться. Какова была разница между тогдашним обществом и настоящим, можно судить по тому, что в то время в английский клуб записывали детей с самого дня рождения и были счастливы, когда до них в зрелые лета доходила очередь; а кто раз не переменял билета, тот не имел уже ни малейшего шанса вновь попасть в члены, хотя бы уплативши те значительные деньги, которые полагались за вторичное вступление. Ныне же не могут набрать достаточного количества членов, даже уничтожив все препятствия к обратному вступлению. Только молодых людей, как сказано, и в то время было мало, ибо они большею частью уезжали на службу в Петербург. Зато дамское общество было чрезвычайно приятное. Тут были и светские львицы, которые в то время царили в гостиных, и дамы с литературными интересами, усердные посетительницы публичных лекций. Множество красавиц

* Болеслав Мих. Маркевич (1822 – 1884), автор в свое время известной трилогии романов «Четверть века назад» (1878), «Перелом» (1880) и «Бездна» (1883 – 1884).

** Дочь Закревского Лидия Арсеньевна. – Прим. Б. Н. Чичерина.

служили украшением блестящих собраний. Для молодого человека приманка была громадная; можно было навеселиться вдоволь. Опишу те дома, где я чаще всего бывал.

Один из самых чопорных салонов Москвы был салон Долгоруких. Они жили у Варгина на Тверской, больших праздников не давали, но почти каждый вечер можно было к ним явиться запросто и найти приятное общество. Сам князь Александр Сергеевич, сохранивший до старости тип светского щеголя, был человек недалекий. Он не пускался в разговоры, держал себя чинно и всего более любил играть в карты. Каждый вечер, приезжая к ним, можно было в проходной столовой видеть несколько ломберных столов, за которыми молча и важно сидели игроки. В гостиной восседала жена его, рожденная Булгакова, женщина очень умная, не совсем приятного характера, суетная и тщеславная, но с великосветскими формами, с блестящим разговором, с некоторым поверхностным образованием. Московского добродушия и непринужденности в ней вовсе не было; это скорее была представительница в Москве петербургского великосветского тона. Ее занимали все петербургские интересы, она преклонялась перед двором, и петербургские светские люди, когда приезжали в Москву, обыкновенно являлись в ее салоне. Для нас, еще молодых людей, конечно, не княгиня Ольга Александровна служила главной приманкой, а общество девиц, ее дочери и неразлучной с нею приятельницы Ребиндер, которая жила в том же доме Варгина. С княжной я вскоре вступил в самую тесную дружбу, которая сохранилась и доселе. Она была некрасива собой, похожа на отца; но в ней было именно то, чего недоставало у матери, – полная непринужденность, отсутствие всяких претензий, постоянно льющийся живой и веселый разговор, приправленный самым откровенным и незатейливым кокетством относительно тех, кто ей нравился. Я в этих случаях бывал ее поверенным. Ее приятельница Марья Алексеевна Ребиндер была умная, образованная, серьезная и также очень приятная. Я и с нею вступил в тесную дружбу, которая продолжалась и тогда, когда, несколько лет спустя, она вышла замуж за Олсуфьева. Она умерла, оставив многочисленную семью. Муж ее после этого два раза женился и окончательно разорился.

Что касается до княжны, то она перешла через многие мытарства, прежде нежели нашла себе оседлость. Мать непременно хотела выдать ее замуж, и это не удавалось. Они переселились в Петербург, потом уехали за границу. Особенно тяжелы были последние годы жизни княгини, которая немного помешалась и сделалась совершенно невыносимой для близких. После ее смерти княжна странствовала по Европе с отцом, который тоже совершенно разорился. Похоронив его, она вернулась в Москву, едва имея чем жить. Но здесь, наконец, она обрела теплый приют. Она вышла замуж за Льво-

ва, заику, но отличного человека, с которым зажила душа в душу. На меня всегда производило отрадное впечатление, когда я вечером являлся в их скромное жилище, всегда отделанное с большим вкусом, несмотря на ничтожные средства, и заставлял эти два существа, искренно любившие друг друга и преданные делам благотворительности. Впоследствии он получил место смотрителя Вдовьего дома; они зажили пошире. Недавно он скончался.

В семье Долгоруких был и сын, известный под названием Коко*. Он в 1850 году вступил в университет на медицинский факультет, так как число студентов на других факультетах было ограничено, и вакансий не было. Это был малый пустой и хлыщеватый, но неглупый и с разными общественными талантиками: он недурно играл на сцене, приятно пел романсы, хорошо читал вслух. В Крымскую кампанию он был военным медиком, затем вышел в отставку, женился на Базилевской и умер от разрыва сердца полтавским губернским предводителем дворянства.

Такая же судьба, как и Долгоруких, постигла другое близкое к ним семейство, в котором я также был на приятельской ноге. Сестра князя Александра Сергеевича, Надежда Сергеевна, была замужем за Сергеем Ивановичем Пашковым. Она была уже женщина немолодая. Вскоре подрастающие дочери начали выезжать в свет, и Пашковы стали давать балы и вечера; но в начале пятидесятых годов все ограничивалось, как у Долгоруких, почти ежедневными вечерними приемами, на которые можно было приезжать, когда угодно. Тон здесь был совсем другой, нежели в салоне Долгоруких, тон чисто московский, радушный и бесцеремонный, тут не только мужчины, но и дамы обыкновенно составляли партию. Надежда Сергеевна любила поиграть в карты, поболтать, немного посплетничать, но всегда без злости. Ласковая и обходительная, она старалась сделать свою гостиную сборным местом для старых и для молодых. С этой целью она постоянно приглашала к себе молодых и красивых дам, которых брала под свое покровительство. Всегдашним гостем на ее вечеринках была блиставшая красотой, но никак не умом и приятностью характера Софья Петровна Нарышкина, рожденная Ушакова; она только что вышла замуж за бывшего близкого приятеля ее матери и старалась приобрести положение в свете, задавая блестящие балы, на которые Надежда Сергеевна сзывала всех и каждого. Постоянно ездила и другая, уже несколько увядающая красавица, княгиня В. А. Черкасская, а также графиня Растопчина, которая была роднею Пашковых и воспитывалась в их семье. После многих странствований и приключений, эта бывшая красавица и поэт возвратилась в свой родной город и поселилась в нем. Свежесть молодости исчезла; небольшой поэтический талант испарился; а так как ума никогда

* Николай Александрович Долгоруков.

не было, то осталась непрерывающаяся болтовня с довольно разнообразным содержанием, но не одушевленная блеском, остроумием или грацией, а потому скучная. Осталась и склонность окружать себя молодыми людьми. В это время она оставляла уже в покое светскую молодежь, а составила себе кружок второстепенных литераторов, среди которых царил. К Пашковым она ездила часто запросто, и раз я был свидетелем забавной сцены: она стала рассказывать о своей молодости и при мне хотела позировать невинною жертвою, а Надежда Сергеевна, к великому ее конфузу, обличала ее прежние проделки. Скоро она растолстела, а так как претензии на молодость не исчезли, то она представляла из себя нечто довольно комическое. Грановский однажды с хохотом показывал мне ее фотографию, которую он где-то достал, как курьез: графиня Растопчина изображена была с поднятыми к небу глазами в виде какой-то расплывшейся туши с сентиментальною физиономиею. Без смеха нельзя было на нее смотреть. До старости у нее осталась и страсть к танцам. Когда она стала вывозить дочерей в свет, она наивно признавалась, что для нее всего больше было то, что она уже не может более танцевать.

Непременным гостем на вечерних собраниях у Пашковых был Петр Павлович Свинын, оригинальная московская личность. Он был старый холостяк, весьма невзрачный, циник, гастроном, сластолюбец, но весьма неглупый, довольно острый и забавный, притом всегда готовый придти на помощь к друзьям. Он был богат и имел на Покровке свой дом, отделанный с большим вкусом, в котором он некогда давал обеды и даже балы. Но это ему надоело, и он предпочитал разъезжать по друзьям и знакомым. В карты он не играл, но сидел всегда до поздней ночи, уверяя, что он на этом основал всю свою репутацию, ибо заметил, что кто уезжает раньше других, тот непременно становится предметом злословия, а он этого избегает, уезжая последним. Когда построена была железная дорога в Петербург, москвичи радовались, но Свинын говорил: «Чему вы радуетесь? Теперь все сидят здесь, а будет железная дорога, все уедут». Его пророчество в значительной степени сбылось. Свинын дружески поддерживал Пашковых, когда они в конце пятидесятых годов совершенно разорились. Вернувшись из-за границы, я нашел Надежду Сергеевну одинокою, на тесной квартире, а Сергея Ивановича ослепшим. От прежней барской жизни не осталось ничего. Оба они умерли в весьма стесненном положении.

В дружеских отношениях с Пашковыми и Долгорукими была Надежда Петровна Базилевская, в доме которой мы были приняты, как свои, уже со студенческих лет. Она была вдова, уже немолодая, весьма неглупая и приятная светская женщина. Старший сын ее был товарищем брата Владимира, и он всех нас ввел в дом своей матери, которая обладала нас и приголубила. По выходе из университета

вся наша компания к ней приютилась. Будучи плохого здоровья, она перестала ездить в свет и у себя больших приемов не делала, а жила в тесном семейном кругу, только изредка давая небольшие обеды. Кружок состоял, главным образом, из трех дам: самой Надежды Петровны, ее двоюродной сестры, молодой вдовы Софьи Ивановны Рахмановой, рожденной Миллер, и приятельницы последней, княжны Екатерины Андреевны Гагариной. Они собирались почти ежедневно и нам говорили: «наша тройка любит вашу шайку». Главною приманкою для молодежи была Софья Ивановна. Еще девицею она была предметом страсти тогдашнего наследника Александра Николаевича. Вышедши замуж за богатого Рахманова, она была с ним несчастлива, сходила с ума, потом выздоровела, овдовела и поселилась в Москве, с малолетнею дочерью. Будучи ума весьма недалекого, она имела какую-то грациозную и привлекательную наружность, которая невольно к ней притягивала. Владимир Самарин был в нее страстно влюблен, а также и примкнувший к нашему кружку молодой Преображенский офицер Николай Трубецкой, сын князя Петра Ивановича. Остальные, в том числе и я, ухаживали за Софьей Ивановной за компанию, как за хорошенькой женщиной. Самарин вздумал после всякого вечера, проведенного с предметом его страсти, провожать ее всей гурьбой до ее подъезда, и это исполнялось в течение нескольких лет и подавало повод к забавным приключениям. Она тешилась этим ухаживанием молодых людей, на которое она серьезно не смотрела, ибо все мы только что вышли из университета, а она искала подходящего брака. Через несколько лет она вышла замуж за князя Владимира Андреевича Оболенского и жила с ним счастливо до своей смерти.

Третий член дамского кружка, княжна Гагарина, сестра упомянутой выше Натальи Андреевны Соловой, была в своем роде весьма оригинальною московскою личностью. Рано потерявши родителей, оставшись без всякого состояния, она воспитывалась сначала у дяди, князя Меншикова, потом в институте. Сестры вышли замуж и жили в Петербурге, а она поселилась в Москве, где жила одна на маленькой квартирке принимая друзей и знакомых. Некрасивая собою, с толстым носом, но необыкновенно живая, весьма неглупая от природы, с добрым сердцем, участливая ко всем, искренно привязанная к друзьям, она в то же время была безалаберною до невероятности. Голова ее представляла какой-то невообразимый ералаш самых разнородных и изменчивых впечатлений, а язык летал во все стороны, на всех парах, без всякого удержу. Она была болтунья и хохотунья, ссорилась, мирилась, воспалялась, остывала, кокетничала, обрывала, и все это без всякой последовательности и мысли. Такою она осталась и до старости; с летами она приобрела даже громадную популярность. До сих пор в ее маленькой квартире толпятся с утра

и до вечера и богатые, и нищие, купцы, доктора, железнодорожные деятели, статские и военные, светские люди и первые сановники столицы. Со всеми она в дружбе, и все обращаются к ней за помощью. При своих обширных связях она всегда готова хлопотать за всякого с толком или без толку, это все равно. Прежней веселости, разумеется, уже нет; она утратилась в жизненной горе. Но язык не перестает по прежнему молотить все, что дает ему сохранившая всю свою впечатлительность голова.

Кроме нашей компании, постоянным мужским элементом в доме Н. П. Базилевской был брат ее Константин Озеров и двоюродный брат Сергей Иванович Миллер, брат Софьи Ивановны Рахмановой. Это были два несколько пожилых молодых человека московского большого света. Озеров жил холостяком на своей квартире, куда непременно зазывал всякого, и приезжих гостеприимно помещал у себя. Он братался со всею светскою молодежью и сам, вполне безупречно и совершенно рутинным образом, исполнял все обязанности светского молодого человека: скакал по московским улицам на паре с пристяжкой, держал бульдога, ездил по аристократическим гостиным, где был принят на дружеской ноге, танцевал, сколько следует кавалеру уже не первых лет, разговором не отличался, но обо всем имел мнение и считал себя знатоком светских приличий; за светскими дамами, впрочем, не ухаживал, а довольствовался полусветом, с которым был знаком коротко, но без увлечения, именно настолько, сколько подобает светскому человеку; участвовал во всех увеселениях, кутежах, катаньях на тройках, хриплым голосом пел романсы и все это исполнял не только без всякой веселости, но с какою-то печатью уныния, которая лежала на его некрасивом лице. Это не было, впрочем, выражением сердечной грусти, а отражением той светской рутинности, которая охватила всю его жизнь и составляла все ее содержание. В этой рутине он и умер.

Совсем другой был Сергей Иванович Миллер. Он не разыгрывал роли молодого человека, никогда не танцевал и не хотел говорить ни на каком другом языке, кроме русского. Но он был ходок по женщинам; не довольствуясь полусветом, он ухаживал за светскими дамами, в которых встречал податливость. Холодный, сдержанный, самолюбивый, любивший в разговоре постоянно отпускать шуточки, лишённые веселости и остроты, он в обхождении не был приятен; но у него были серьезные артистические наклонности: он был первый основатель Московского общества любителей художеств, где доселе висит его портрет.

В близких сношениях с описанными домами находилась и Луиза Трофимовна Голицына, которая до самой своей смерти сохраняла в Москве выдающееся положение. Муж ее, князь Михаил Федорович, был человек добрый и недалекий, она же, рожденная гр. Баранова,

была большая барыня в лучшем значении этого слова, без всякого блеска, но и без всяких претензий, всегда ровная, спокойная, ласковая и обходительная со всеми, дружески расположенная ко многим. Никто никогда не слышал от нее резкого или едкого слова. В понедельник утром, ее приемный день, вся светская Москва двигалась на дальний конец Покровки, где был их старинный барский дом; а в великий пост она ежегодно по четвергам вечером открывала свой салон для всех знакомых. Она умерла недавно окруженная всеобщим уважением.

К этому же кругу примыкали состоявшие в родственных отношениях с Долгорукими и Пашковыми Орловы-Денисовы. У них был большой дом на Лубянке, бывший графа РаSTOPчина, и они давали большие балы. Граф Николай Васильевич был человек пустой, любивший покутить; жена же его, рожденная Шидловская, считалась первою красавицею в Москве. Действительно, когда она появлялась на вечерних собраниях, она имела совершенно вид царицы. Высокая, несколько полная, с правильными и красивыми чертами, с невозмутимым выражением лица, с плавными манерами, всегда роскошно одетая, она на всей своей особе носила печать чего-то спокойного и величавого. Умом она не отличалась, говорила тихо и мало, но всегда приветливо; доброты была необыкновенной и благочестия глубокого и скромного. Нередко случалось, что эта блистательная дама, возвращаясь домой с бала, когда колокола звонили уже к ранней обедне, переодевалась и шла к службе или даже прямо входила в церковь в бальном платье под шубою и платком прикрывавшим украшенную цветами голову. После смерти мужа она вышла замуж за бывшего в Москве обер-полицеймейстера Лужина, который давно был в нее влюблен. Овдовев вторично, она кончила жизнь в бедности и уединении. Московский дом перешел в руки откупщика Шилова, который в свою очередь его перепродал, а великолепное имение «Мерчик» досталось железнодорожному строителю фон-Мекку.

Из домов, дававших большие балы для выезжающих в свет дочерей, выдавались Столыпина и Львовы. Афанасий Алексеевич Столыпин, человек очень умный, хотя с несколько грубоватыми формами, составил себе большое состояние в откупках. Он был когда-то губернским предводителем в Саратове, но за независимость характера не был утвержден и поселился в Москве, где у него был совершенно барский дом, с огромным двором и с обширным садом. Тут были частые балы, обеды и вечера. Жена его, рожденная Устинова, была известна своей наивностью и в обществе служила предметом шуток и анекдотов. Главная ее забота состояла в том, чтобы выдать своих дочерей за знатных лиц, и она не могла скрывать своей досады, когда устраивалась знатная свадьба в чужой семье. Впрочем, цель

вполне была достигнута, что и было не мудрено. Старшая дочь была прелестна и скоро вышла замуж за князя Владимира Алексеевича Щербатова, бывшего потом губернатором в Саратове. Младшая же, некрасивая собой, но умная и отличных сердечных свойств, впоследствии вышла за Шереметева и поныне живет в Москве, занимаясь благотворительными делами и пользуясь общим уважением. С обеими я был и остался в дружеских отношениях. Был и сын, тогда еще малолетний, который кончил весьма печально: он сошел с ума и зарезал жида.

Львовы отличались тем, что у них было множество дочерей, одна красивее другой; некоторые, особенно старшая и младшая, даже выдающейся красоты. В мое время выезжали в свет две старшие, с которыми я скоро сблизился. Вторая вышла замуж за графа Бобринского и скончалась вскоре после свадьбы. Старшая из них, Марья Александровна, еще прежде сестры вышла замуж за одного из бесчисленных князей Оболенских, которыми кишела Москва. Они все были на один тип, добродушные, обходительные, рохлеватые, недалекие и с некоторыми литературными интересами. О них Константин Аксаков в стихотворном послании к Каролине Карловне Павловой, возвещая ей, что весь клан Оболенских жаждет слышать ее тогда еще ненапечатанную поэму «Двойную жизнь», отозвался:

О, сколь от злого времени
Их изменился нрав:
Кто скажет, что их племени
Олег и Святослав?

Княгиня Марья Александровна сперва блистала красотой в Москве, но потом они поехали за границу и долго там жили. Я нашел их в Париже в 1860 году и к удивлению своему увидел, что эта женщина, которая в Москве отличалась красотой, но не умом и не образованием, не только занимала видное положение в парижском большом свете, на что имела право по своей красоте и изяществу, но умела составить себе кружок из умных и образованных людей, преимущественно орлеанистов. Старик Дюшатель, бывший министр внутренних дел при Людовике-Филиппе, был усердным ее поклонником, и когда она впоследствии переселилась в Петербург, он постоянно посылал ей телеграммы обо всех политических новостях, которые она иногда знала даже прежде министерства иностранных дел. Это положение она приобрела тем необыкновенным тактом, с которым она умела привлечь к себе всех и каждого, сияя ровною и спокойною красотой, окруженная поклонниками, но всегда на некотором отдалении, никогда не позволяя себе злословия, умея слушать умных людей и поддерживать разговор, не выступая резко с своими собственными суждениями. Со старыми же друзьями она всегда сохра-

няла дружеские отношения. Когда я приехал в Париж, не видев ее несколько лет, я был обласкан как старый московский приятель, и таким остался доселе. В Петербурге всегда являюсь к ней и вижу ее с большим удовольствием. Большое положение в Москве имели и Трубецкие. Их было три брата. Старший, князь Николай Иванович, вдовец, управлявший дворцовой конторою и впоследствии председатель Опекунского совета, считался и еще более считал себя первым вельможею в Москве, после князя Сергея Михайловича Голицына. Маленького роста, с резким тоном, с важными манерами, ненавидевший либералов, он носил прозвище желтого карла. Я то время был с ним мало знаком и являлся к нему в дом только на большие балы, которые он давал для жившей с ним незамужней дочери, вышедшей потом замуж за Всевожского. С нею я очень подружился. Похожая лицом на отца, некрасивая собою, она была чрезвычайно приятна, ровного характера, всегда обходительная, разговорчивая, искренний друг своих друзей, которых у нее было много. Впоследствии, когда я в начале шестидесятих годов выступил в литературе с консервативными идеями, князь Николай Иванович тоже возлюбил меня и стал приглашать меня к себе на отличные обеды, которые он давал по воскресеньям для родных и друзей. Непременным гостем тут был Свинын. Под важностью форм я в князе Николае Ивановиче узнал хотя недалекого, но доброго человека, с чувством своего достоинства, а потому независимого. Он был придворный, но без раболепства и резко осуждал в высокопоставленных лицах все, что по его мнению, было не так, как следовало. Познакомившись с графом Толстым, он отозвался об нем: «Ce n'est pas un ministre, c'est un goquet».*

Он принял живое и даже сердечное участие в нашей университетской истории и в последующем моем выходе из университета. После смерти он оставил дела свои в полном порядке, чего никто не ожидал.

Не так кончил зять его, Алексей Сергеевич Мусин-Пушкин, который женат был на старшей дочери Наталье Николаевне, умершей от чахотки в начале шестидесятих годов. С ними я тоже был очень близок. Она была милая и хорошая женщина; он же был человек живой, любивший наслаждаться жизнью в разнообразных формах. С одной стороны, он был тончайший гастроном и давал отличные обеды для небольшого кружка приятелей, к которым я принадлежал, а иногда большие балы и ужины, приводившие всех в восторг; с другой стороны, у него была страстная, можно сказать, даже наивная любовь к политической свободе. Она проявлялась в особенности в шестидесятих годах, когда московское дворянство, после освобождения

* Это не министр, а шавка! (фр.).

дения крестьян, выказало конституционные стремления. Пушкин с Голохвастовым и Уваровым составляли либеральное трио. У него в доме собирались и сочиняли конституционные адреса. Он сам оратором никогда не выступал, но за кулисами кипятился больше всех. Это было время и самых оживленных гастрономических обедов. Но кончилось это весьма печально. Вследствие беспечности и неудачных хозяйственных предприятий, за которыми не было никакого надзора, все его довольно большое состояние рухнуло. Когда он умер, семейство его осталось почти ни с чем.

Другой князь Трубецкой, Петр Иванович, важный и толстый сенатор, бывший прежде орловским губернатором, под типом генерала Николаевского времени скрывал большое добродушие. Он был женат на дочери фельдмаршала князя Витгенштейна, славившейся своим сильным характером. Она всю семью держала в руках; но в свет не ездила и у себя не принимала. Третий брат Алексей Иванович, женатый на Четвертинской, имел свой дом в Леонтьевском переулке, и жена его держала салон. Это была женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности, стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением. Оставшись вдовою, она после смерти князя Николая Ивановича купила его большой дом в Знаменском переулке, желая, чтобы это старинное барское жилище сохранилось в роде Трубецких. Но цель, увы, не была достигнута. Сын, женатый на двоюродной своей племяннице, дочери Екатерины Николаевны Всевожской, так умел расстроить состояние, что пришлось продать и имение и дом. Кости князя Николая Ивановича должны были содрогнуться в могиле, когда его старые барские хоромы перешли в купеческие руки. Княгиня Надежда Борисовна, лишенная всяких средств, получая пенсию от Человеколюбивого общества за оказанные последнему услуги, ныне занимает в этом доме скромную квартиру.

Из многочисленных сестер ее красотой отличалась княгиня Наталья Борисовна Шаховская, как все Четвертинские, бойкая, резкая, лихая наездница, хваставшаяся тем, что ей все ни по чем, но при этом весьма неглупая и талантливая; она отлично играла на театре. Замужем она была за известным силачом и лгуном, предводителем Серпуховского уезда. На старости лет, овдовев, она основала общину сестер милосердия, в которой продолжает проявлять свою предприимчивость и свое умение обделывать дела без большой разборчивости в средствах.

Одною из первых красавиц в Москве была невестка этих дам, жена их брата, рожденная графиня Гурьева. Он был адъютантом генерал-губернатора, очень красивый собой, но совершенно пустой и

ходок по женщинам. Она была прелестное существо. Высокая, стройная брюнетка, с тонкими чертами, с живым выражением лица, она полна была грации и изящества. Еще очень молодая, незатронутая жизнью, подвергаясь пренебрежению мужа, она хотела жить, веселиться, предавалась поэтическим мечтам, которые менялись по воле ее игривого воображения, у нее было какое-то непринужденное и пленительное кокетство, которое тем более к себе приковывало, что в нем не было никакой задней мысли или расчета. Это было естественное изливание бьющей ключей жизни, женского стремления нравиться и пленять. Она любила окружать себя поклонниками, которые становились ее друзьями и никогда не смели перейти границ самого строгого приличия. Иногда это делалось без разбора, ибо она людей не знала и украшала их созданиями собственной своей фантазии. Но сердце было золотое, мягкое, доброе, участливое. Обычно она принимала между обедом и вечером; я любил ходить к ней в эти часы и встречать всегда ласковый взор, всегда дружеский прием; любил слушать живые речи, не блестящие умом, но исполненные грации и какой-то капризной игривости, поэтического чувства, а нередко и сердечности. И ум, и сердце, и воображение, – все непринужденно и пленительно выливалось наружу. Иногда собиралось два-три человека; но часто мы сидели вдвоем, и часы летели в оживленных беседах. Можно сказать, что это были самые идеально-поэтические минуты моей молодости. Не долго ей суждено было жить. В 1855 году она умерла в злейшей чахотке.

Другая моя большая приятельница из молодых дам была баронесса Шоппинг, рожденная Языкова. Это была женщина совершенно другого рода, нежели княгиня Четвертинская. Одно время она была светской львицею, но постоянное болезненное состояние заставило ее прекратить свои выезды. Она большею частью сидела дома и принимала небольшой кружок друзей. Наружность ее была прелестная: темные волосы, синие глаза, удивительно тонкие и правильные черты лица. Ум был бойкий, живой, несколько насмешливый; разговор блестящий, полный игривости и бойкой иронии. У нее было какое-то задирающее кокетство, которое то притягивало, то отталкивало, но никогда не оставляло равнодушным. Это была заманчивая игра ума, через которую только в редкие минуты прорывались сердечные звуки. Я скоро с нею сошелся и сделался приятелем дома. Меня пленяло это соединение очаровательной красоты, изящества форм, игривости ума и затаенных порывов сердца. Муж ее был человек добрый, обходительный, весьма некрасивый собой, кривой, небольшого ума, но образованный, с несколько славянофильским оттенком. Он был автор исследований по славянской мифологии. Слетами болезненное состояние жены усилилось; она умерла, проведши последние годы жизни в постели.

Роль великосветской львицы в Москве в то время играла Надежда Львовна* Нарышкина, рожденная Кнорринг. Лицо у нее было некрасивое, и даже формы не отличались изяществом; она была вертлява и несколько претенциозна; но умна и жива, с блестящим светским разговором. По обычаю львиц, она принимала у себя дома, лежа на кушетке и выставляя изящно обутую ножку; на вечера всегда являлась последнею, в 12 часов ночи. Скоро, однако, ее поприще кончилось трагедиею. За нею ухаживал Сухово-Кобылин, у которого в то же время на содержании была француженка, m-me Симон. Однажды труп этой женщины был найден за Петровскою заставою. В Москве рассказывали, что убийство было следствием сцены ревности. Кобылин, подозреваемый в преступлении, был посажен в острог, где пробыл довольно долго. Он успел даже написать там «Свадьбу Кречинского». Но кончилось дело тем, что его выпустили, а повинившихся людей сослали в Сибирь. Многие не верили в виновность осужденных, говорили, что они были подкуплены и что все дело было замято вследствие сильных ходатайств. При тогдашних судах добраться до истины было невозможно. Нарышкина же тотчас покинула Москву и уехала за границу. Овдовев, она вышла замуж за Александра Дюма-сына.

Все описанное доселе общество было чисто светское. Оно думало больше о весельях. Но были в Москве гостинные, в которых преобладали умственные интересы. Таков был дом Самариных. Я говорил уже, что я был дружен с четырьмя младшими братьями. Старший Юрий Федорович, в это время не жил в Москве, и я видел его только мельком. Но, готовясь к экзамену на магистра, я почти каждый день по утрам ходил к Владимиру, который жил в его апартаментах, и делал выписки из стоящего там Полного Собрания Законов. Иногда заходил туда старик Федор Васильевич. Видя молодого человека, постоянно роющегося в фолиантах, он мною заинтересовался и ввел меня в семью. С тех пор я сделался в ней близким человеком.

Федор Васильевич был человек умный и образованный, с сильным и даже несколько крутым характером. Он был богат и держал свои дела всегда в полном порядке, чего нельзя было сказать о многих барах того времени. Дом его на Тверской, на углу Газетного переулка, впоследствии перешедший, к сожалению, в другие руки, был отделан отлично. Пока дочь выезжала в свет, тут бывали большие приемы, на которые собирались и светские люди и литераторы. После замужества дочери большие приемы прекратились, и старики жили тихо. Главное внимание Федора Васильевича было устремлено на воспитание детей, которым он руководил даже с излишнею заботливостью, ибо вмешивался во все мелочи и все хотел направить сам, не давая ни малейшего простора молодым силам и стремлениям. Это отразилось

*Видимо, Надежда Ивановна.

в особенности на старших; младшие пользовались уже большею свободой. Строгость отца смягчалась, впрочем, мягкостью матери. Софья Юрьевна была женщина отличная во всех отношениях, умная, добродетельная, благочестивая, хотя с несколько скептическим взглядом на жизнь и людей. Она держала себя всегда спокойно и сдержанно, говорила мало, иногда отпускала иронические замечания. После смерти мужа она осталась центром семьи и умерла в глубокой старости, окруженная любовью детей и уважением всей столицы.

Сблизившись с семьей Самариных, я скоро подружился и с дочерью Марьей Федоровной, которая была замужем за графом Львом Александровичем Соллогубом и жила вместе с родителями. Это была одна из самых достойных женщин, каких я встречал в жизни. И ум, и сердце, и характер, все в ней было превосходно. Она имела самаринский тип, волосы рыжеватые, лицо умное и приятное. Образование она получила отличное и, когда хотела, умела вести блестящий светский разговор, приправленный свойственным семье юмором и иронией, однако без всякой едкости и язвительности. Но обыкновенный ее разговор был серьезный; ум был твердый, ясный и основательный. Она не возносилась в высшие сферы, но с большим здравым смыслом судила о людях и о вещах. К этому присоединялся самый высокий нравственный строй. Одаренная мягким и любящим сердцем, всецело преданная своим обязанностям, она никогда не думала о себе и всю жизнь свою жила для других. Никакое мелочное женское чувство не западало в эту чистую и благородную душу. Твердость и постоянство характера смягчались прирожденною ей ласковостью и обходительностью. В ней не было ничего жесткого, резкого или повелительного. Казалось, у ней было все, что нужно человеку для полного счастья: и ум, и сердце, и образование, и богатство. А, между тем, немного счастливых минут довелось ей испытать в жизни. В молодости первые порывы сердца были резко остановлены; она ушла в себя и решила подчиниться воле родителей. Устроена была, по-видимому, хорошая партия: она вышла замуж за графа Соллогуба, брата известного писателя. Но, еще будучи невестою, она заметила в нем что то странное; однако, давши слово, ничего о том не сказала. Вскоре после брака обнаружилось признаки таившейся в нем болезни; он мало-помалу впал в идиотизм. Несколько лет она прожила таким образом, нянчась с мужем; а после его смерти все ее заботы обратились на единственного сына, над которым она ежеминутно дрожала, боясь проявления в нем отцовской болезни. Благодаря неусыпным ее попечениям, он вырос, добрый, мягкий, как воск, с артистическими наклонностями. Скоро он женился по страсти. Помня свою молодость, Марья Федоровна не хотела препятствовать браку; но для нее он сделался источником нового горя. Умная и красивая, но сухая и своенравная невестка делала все, что от нее зависело, чтобы огорчать свекровь. Марья

Федоровна недолго с ними осталась жить. Она поселилась в Серпухове, недалеко от которого лежало ее имение. Там она основала приют и школу и всецело предалась этому взлелеянному ею учреждению, которое шло отлично под непосредственным ее управлением. Нередко она приезжала к братьям в Москву и там скончалась, окруженная всеобщей любовью и уважением. Я до конца остался с нею в самых дружеских отношениях.

В тесной дружбе с Самариными состояла семья Васильчиковых. Старик Александр Васильевич* держал себя смиренно; всем заправляла его жена, Александра Ивановна, рожденная Архарова, женщина бойкая и дородная, настоящая старая московская барыня хорошего тона. Ее звали Tante Vertu** и рассказывали анекдоты о чрезмерной заботливости, с которою она старалась отдалить от детей все, что носило на себе хотя отдаленную тень неблагонамеренности или благопристойности. Это был пуризм, доведенный до крайности. Не обладая умом, она имела свойственное людям того времени уважение к образованию и старалась внушить его детям. Она путешествовала с дочерьми за границу, знакомилась с замечательными людьми, в Москве постоянно ездила на все публичные лекции и старалась заманить литераторов в свой салон. Старшая дочь ее, славившаяся красотой, в то время была уже замужем за графом Барановым и не жила в Москве. Младшая же вскоре вышла замуж за князя Владимира Александровича Черкасского, игравшего впоследствии такую видную роль. Ниже, когда я буду говорить о литературном движении пятидесятых годов, я постараюсь охарактеризовать этого замечательного человека, который вписал свое имя в русской истории. Здесь, при описании московского большого света это было бы неуместно; замечу только, что общество, которое выставило из среды себя таких людей, как Юрий Самарин и Черкасский, заслуживает уважения. Когда он женился, Черкасский имел репутацию человека очень умного, но холодного, и даже друзья его жены, которая страстно его любила, в первые годы думали, что она, не находя в нем отзыва, лишена семейного счастья. Но случилось ей заболеть, и он обнаружил такую сердечную о ней заботливость, такую горячую привязанность, что все сомнения исчезли. Не имея детей, они до самой его смерти жили душа в душу. В Москве их небольшая квартира была одна из самых приятных центров в столице.

Больших приемов никогда не было; собирались в самом тесном кругу, за обедом или вечером; но разговор всегда был умный и оживленный. Мне памятен один обед с Грановским. Кроме него, из мужчин были Лев Иванович Арнольди, брат А. О. Смирновой***, и я, а

* Скорее всего, Алексей Васильевич.

** Тетушка Добродетель.

*** Аркадий Осипович Россети.

из дам – Екатерина Петровна Ермолова, тогда еще в полном блеске своей несколько восточной, но тонкой красоты, и приятельница этих дам Александра Николаевна Бахметева, которая поныне еще старается в своем салоне поддерживать давно угасший в Москве светоч умственных интересов. При таких блестящих собеседниках, как Грановский и сам хозяин дома, с дамами, которые умели и слушать, и понимать, и поддерживать разговор, обед был один из самых приятных, каких я запомню. В то время я, впрочем, с княгиней Екатериною Алексеевною мало сходилась; меня отталкивало ее довольно резкое славянофильское направление, и мне казалось даже, что за этим скрывается некоторая сухость. В последнем я совершенно разубедился, когда узнал ее ближе: с необыкновенною чистотою и скромностью у нее соединялась удивительная сердечность. Овдовев, она сохранила самую благоговейную память о муже и самое горячее расположение ко всем его друзьям. До конца она сохранила и живое участие ко всем умственным интересам. Больная, едва двигаясь, она жила в Ялте с сестрою и племянницею, и всякая новость, политическая или литературная, пробуждала в ней умственную жизнь, потребность обмена мыслей. В особенности же она любила уноситься в прошлое. Мы проводили у нее целые вечера в чтении переписки князя и других писем, относящихся к периоду великих преобразований, в которых он играл такую выдающуюся роль. Там она и скончалась, окруженная любовью семьи и участием всех близких.

В описываемое время продолжал существовать и прежде столь блестящий литературный салон Свербеевых. Но с упадком умственных интересов он несколько преобразился. Литературные собрания сделались менее часты и менее оживленны. Взамен того, они открыли свой дом большому свету, стали давать балы и вечера для взрослых дочерей. Дмитрий Николаевич Свербеев, при несколько тяжелых формах, которые приобрели ему название Голландца, был человек весьма недюжинного, тонкого ума, образованный, с живыми интересами, с положительным и несколько скептическим взглядом на вещи. Он не разделял славянофильских убеждений жены, которая в молодости, блистая красотой, соединяла вокруг себя славянофильский кружок. Но светским центром они не могли быть, и преобразование салона не послужило ему в пользу. В нем не было ни светского веселья, ни литературного одушевления. Я, впрочем, редко туда ездил.

Своеобразным литературным оттенком отличался салон Сушковых. Они много лет жили на наемной квартире у старого Пимена, и весь их быт представлял что-то старомодное и патриархальное. Сам Сушков был литератор, но совершенно особенного рода, возбуждавший всеобщий смех. Одно из первых моих впечатлений в Москве было то, что вечером у Шевырева, к которому первый раз повез нас

Павлов, кто-то читал помещенную в «Москвитянине» статью Сушкова, и все неистово хохотали. Впоследствии он стал ставить пьесы на театре, но и они до такой степени были нелепы и неуклюжи, что их ездили смотреть единственно для забавы. Сам он старался всех залучить к себе и с какою-то простосердечною и болтливою развязанностью прижимал к стене новичков своими разговорами о серьезных предметах. Жена его, сестра поэта Тютчева, добрая и спокойная женщина, краснела иногда за мужа и старалась освободить его жертвы; однако, сама она умела заменять его болтовню только крайне бесцветным разговором о самых обыкновенных предметах, высказывая с весьма приветливым тоном ничего не значащие замечания. Но салон оживился, когда они приняли к себе племянницу, младшую дочь Тютчева, Катерину Федоровну, девушку замечательного ума и образования, представлявшую резкий контраст с добродушной патриархальностью стариков. У нее была приятная наружность, живые черные глаза; при твердом уме она была сдержанного характера, но не обладала тою женскою грацией, которая служит притягательною силою для мужчин. А так как требования ее естественно были высоки, то ей трудно было найти себе пару. Она пережила стариков и умерла, не вышедши замуж.

Было много и других домов, в которые я ездил более или менее часто: Талызины, Дубовицкие, Оболенские, Голицыны, Мещерские и прочие. Но описание всего тогдашнего московского общества было бы утомительно и бесполезно. Сказанного достаточно для того, чтобы составить себе о нем довольно полное понятие. Все это кружилось, вертелось, ездило друг к дружке. Каждое утро и почти каждый вечер были приемные дни то у тех, то у других. Зимой, кроме балов и вечеров, бывали катания на тройках и пикники за заставою; 1 мая – непременно пикник в Сокольниках, куда ездили все самые нарядные московские дамы. На масленице веселье было в самом разгаре; были утренние балы в Дворянском Собрании, где также собиралось все московское общество, а в последний день то здесь, то там танцевали с утра до 12 часов ночи. Великим же постом наступала пора карточных вечеров. Собирались иногда более пятидесяти человек; хозяйка хлопотливо устраивала для всех подходящие партии и, усадив гостей за зеленый стол, сама, наконец, с легким сердцем садилась за свою заранее подобранную партию. При этом я должен сказать, что за все шесть лет моего пребывания в московском большом свете я не видел никаких дурных сплетен и ссор. Москва думала только о том, чтобы вести независимую и приятную жизнь, с сохранением самого строгого приличия и при хороших отношениях друг к другу. Тем свободнее можно было предаваться потоку. Я был непременно участником всех собраний, постоянным гостем и литературных салонов и светских. В первый год я вертелся более в кружке девиц, потом

поступил в кавалеры молодых дам. Я разъезжал, танцевал, играл с дамами в карты, точил язык с утра до ночи и с ночи до утра. Одно время я жил с братом Андреем, который был студентом медицинского факультета, и случалось, что мы несколько дней сряду не виделись. Когда я вставал, он был уже давно в университете, а когда он приходил домой, меня уже и след простыл. Я возвращался только для того, чтобы переодеться или поспать перед вечером; когда же я приезжал с вечера, он давно уже был в постели. Мои родители были даже несколько смущены моими внезапно развернувшимися светскими наклонностями. Мать однажды при мне жаловалась Грановскому на мои увлечения. Он с улыбкой отвечал: «Не беспокойтесь; это скоро пройдет!» А отец писал мне из деревни: «А ты, любезный Борис, слишком поддаешься рассеянной жизни. Берегись, чтобы эта жизнь не сделалась непреодолимою потребностью. В ней дурно то, что молодой человек растрчивает напрасно две драгоценные вещи – время и энергию. Первого у тебя, конечно, довольно впереди, но энергию не только надо сохранять, но стараться приобрести, если ее недостаточно. Общество людей мыслящих не только занимательно, но и полезно для молодого человека, как бы он ни был умен; общество хорошо образованных и умных женщин не только увлекательно, но и полезно также для молодого человека; оно освежает его способность и, вообще, дает ему некоторое изящество, которого ни в какой другой сфере приобрести нельзя. Поэтому я несколько не нахожу вредным, чтобы ты умеренно и с разборчивостью выезжал в свет; но я не могу не предостеречь тебя, видя из твоего письма, что ты каждый вечер бываешь в обществе для того, чтобы эти вечера проводить за картами или в танцах. В этом особенно дурно то, что ты ложишься поздно и, следовательно, не бываешь по утрам довольно свеж для того, чтобы работать с таким успехом, к какому ты способен. В тебе это решительно непонятно».

Дело, однако, было довольно понятно. На первых порах это было не что иное, как увлечение молодости, разгул молодых сил, почувствовавших себя на просторе, потребность веселья, соединенная с тою страстностью, с которою я в юные лета отдавался всякой новой, открывающейся передо мною области впечатлений; затем неведомое мне дотоле обаяние женщин; а под конец, когда это все несколько износилось и застыло, осталась рутинная привычка, помогавшая мне наполнять пустоту времени и отвлекавшая от унылого заглядывания в себя. Время, которое мы тогда переживали, было очень трудное для мыслящих людей в России. Задавленные тяжелым гнетом сверху, умственные интересы заглохли. О литературной деятельности нечего было и думать. Ниже я расскажу печальный мытарства моей магистерской диссертации. Если добросовестный исторический труд, в котором не было и тени политического

направления, встречал неодолимые препятствия, то мог ли я даже мечтать о том, чтобы как-нибудь высказать в печати те философские и политические мысли, которые меня занимали? Вступать на службу, не получив степени магистра, на приобретение которой я посвятил несколько лет, представлялось мне совершенно неуместным. Да и могла ли меня заманивать служба при господствовавших тогда политических условиях? Сделаться непосредственным орудием правительства, которое беспощадно угнетало всякую мысль и всякое просвещение и которое я вследствие этого ненавидел от всей души, раболепно ползти по служебной лестнице, угождая начальникам, никогда не высказывая своих убеждений, часто исполняя то, что казалось мне величайшим злом, такова была открывающаяся передо мною служебная перспектива. Я отвернулся от нее с негодованием, но исхода другого не видел. Если при выходе из университета весь мир представлялся мне заманчивым поприщем для деятельности и труда, то теперь мне казалось, напротив, что все для меня закрыто. Я впал в глубокую хандру и продолжал ездить в свет, который доставлял мне, по крайней мере, внешние развлечения и не давал мне так сильно чувствовать гнетущую меня сердечную и умственную пустоту. Конечно, он не мог уже меня удовлетворять. Первый пыл молодости прошел, постоянное праздное кружение мне надоело. Вечно точить язык без всякого живого интереса, просто для препровождения времени, было ремесло, которое было мне вовсе не по вкусу. Иногда, отправляясь на вечер, я с отчаянием думал: Господи! да о чем же я буду говорить? – и удивлялся людям, которые находят удовольствие в бессодержательной болтовне. Но все-таки я ездил, ибо погружение в себя было еще хуже. Это продолжалось до тех пор, пока с новым царствованием открылось новое поприще. Тогда я отказался навсегда от светской жизни и весь предался литературной деятельности.

Я вышел из этой жизни уже не таким, каким я в нее вступил. Свежесть молодости исчезла; радужные надежды рассеялись. Я увидел жизнь, как она есть, в том волнующемся смешении самых разнообразных, то хороших, то дурных, редко возвышающих, чаще принижающих и большею частью житейски-пошлых впечатлений, которые дает не слишком высокообразованная и сдавленная неблагоприятными условиями среда. Я вступал в нее, как Икар, готовый лететь к солнцу, а выходил, к счастью, не потонувши в житейском море, но несколько помятый и с поломанными крыльями. Однако, я не даром прошел через это поприще. Кроме привычки обращаться с людьми, я вынес из него драгоценное душевное сокровище: идеал женской грации, чистоты и изящества внешнего и внутреннего, идеал, который не дает молодому человеку погрязнуть в материальных наслаждениях или довольствоваться пошлостью по-

лусвета. Счастлив, кому удалось обрести этот идеал в молодости и отдать ему всю свежесть еще не початых и не тронутых жизнью сил. Но счастлив и тот, кому довелось и в зрелых летах, прошедши через жизненные невзгоды, оставив на пути свои юные доспехи, свои блестящие надежды и свои пламенные стремления, обрести, наконец, то, что он так долго и напрасно искал, и в счастливой семейной среде найти то глубокое сердечное удовлетворение, которого не дают ни светские успехи, ни мимолетные привязанности, ни даже умственные занятия или общественная деятельность. Последнее выпало мне на долю и за это я благодарю провидение.

Не я один искал внешнего отвлечения от внутренней тоски. Грановский в это время предался картам. Я продолжал видаться с ним часто, обыкновенно раз или два в неделю ездил к нему обедать и всегда чувствовал себя освеженным после беседы с этим замечательным человеком. Но и на нем нельзя было не заметить удручения от водворившейся в России спертости и душливой атмосферы. Прежний дружеский кружок большей частью рассеялся: Герцен уехал за границу, Белинский умер, Корш, Кавелин и Редкин переселились в Петербург; Боткин все более и более погружался в сластолюбивое наслаждение жизнью. Литература совершенно заглохла; споры с славянофилами прекратились. Оставалась университетская кафедра, и Грановский по-прежнему с любовью обращался к молодым людям, в которых замечал искру священного огня. Однако и тут он не мог не видеть с глубокою горестью упадок учреждения, которому он посвятил все свои силы, странных профессоров, которыми старались заменить прежних, заведенные в нем порядки, приниженный дух, военное управление. Он пробовал собирать у себя молодых профессоров, но сам говорил, что делает это только по обязанности, ибо чувствует, что в этих собраниях царит непроходимая скука. Я был на одном из таких обедов и могу засвидетельствовать, что Грановский был совершенно прав в своем отзыве. Собралось человек двадцать, но я не слыхал ни умной речи, ни даже живого слова. Главную нить разговора держал библиотечарь Полуденский, старший брат моего университетского товарища, человек добрый, веселый, образованный, подчас остроумный, но весьма легкий и совершенно неспособный внести в разговор серьезную мысль или умственное оживление. Да и о чем было говорить, когда все было сдавлено? Между тем, Грановский не был человек, способный в спокойной работе терпеливо выжидать лучших дней. Он и в зрелых летах сохранил душевную молодость, потребность увлечений. Помню, что у нас однажды был спор с его женою: я, как молодой человек, утверждал, что счастье заключается в увлечении, а Лизавета Богдановна, как зрелая женщина, говорила, что оно состоит в спокойствии. Грановский согласился со мною. Мудрено ли, что при таких условиях он

сделался постоянным посетителем клубов и проводил свои вечера в том, что давал себя обыгрывать наверное?

Еще худшая участь постигла Павлову. Каролину Карловну на склоне лет точно укусила какая-то муха. Она неистово стала жаждать светских увеселений и откровенно говорила, что ей осталось немного лет женской жизни, которыми надобно пользоваться. Но так как в большой свет она не ездила, а в литературном кружке никаких увеселений не было, да и литераторы вовсе не расположены были за нею ухаживать, то она пустилась на юношеские вечеринки и там плясала до упаду, развертывая перед неопытными юношами свои стареющие прелести. Встретив на одном из таких танцевальных вечеров старшего сына поэта Баратынского, она потребовала, чтобы его ей представили, и тут же объявила ему: «Вы так похожи на вашего отца; что я вам даю мазурку». Она и у себя устраивала вечера с разными представлениями, в которых она, разумеется, играла главную роль. Так, в одной шараде, она явилась Клеопатрою и, сидя в какой-то ванне, своим завывающим голосом декламировала стихи. Для публики это было чистое посмешище, и бедный Николай Филиппович, краснея за жену, извинялся перед гостями, что их сзывают на такое зрелище. Но тут уже всякое влияние его исчезло; Каролина Карловна развернулась так, что не было никакого удержу. Чтобы несколько прикрыть свои светские выезды и проделки, она прикомандировала к себе племянницу, особу недурную собой, весьма неглупую и чрезвычайно бойкую, даже чересчур бойкую и предприимчивую, как я мог впоследствии убедиться. Под этим предлогом в дом являлись разные молодые люди. Одного из них, высокого, довольно красивого мужчину, который где-то служил в мелком чине, я не раз встречал у них за обедом, и Каролина Карловна нашептывала мне, что она приглашает его для племянницы, которую желает выдать за него замуж. Оказалось, однако, совсем другое. Когда впоследствии у Николая Филипповича сделали обыск, у него в столе нашли письма Каролины Карловны к этому молодому человеку, в которых она звала его с собою в Андалузию. Письма попались в руки мужа, и с тех пор молодой человек исчез.

Племянница, с своей стороны, причинила Каролине Карловне немало хлопот. Нельзя было сделать последней большую неприятность, как оказавши этой молодой девице больше внимания, нежели самой тетке. Этим и занимались друзья дома. Однажды, приехав к Павловым на именинный завтрак, я увидел Грановского в самом одушевленном разговоре с племянницею. Через несколько минут он ко мне подошел и шепнул на ухо: «Если вы хотите разбесить Каролину Карловну, ступайте полюбезничать с Евгенией Александровной. Я только что в этом упражнялся; теперь ваша очередь». Однако племянница не довольствовалась любезностями друзей; она принялась

за мужа, и Николай Филиппович, всегда слабый, поддался соблазну. Это вышло наружу, и тогда произошла буря. Каролина Карловна пришла в неописанную ярость от неверности мужа. Забыв о собственных письмах, она рассказывала всем и каждому, что этот изверг Николай Филиппович со времени рождения сына ее покинул, а теперь развозит своих любовниц в ее каретах. Чаадаев заметил, что карета налицо была всего одна, но Каролина Карловна для большей важности употребляла множественное число. Этим она не ограничилась. Она послала старика отца, который делал все, что она хотела, с жалобой графу Закревскому, что муж своею игрою разоряет имение. Всякий порядочный правитель, без сомнения, отвечал бы, что если они опасаются разорения, то пусть уничтожат доверенность на управление имением. Но Закревскому вовсе не то было нужно. Он ухватился за случай dokonать человека, который имел репутацию либерала. По поводу совершенно частной жалобы, не имевшей притом никакого смысла, он велел схватить Павлова и посадить его под арест в Управу Благодичина, где была так называемая яма, куда сажали несостоятельных должников. В течение месяца он содержался в одиночном заключении; даже ближайших друзей к нему не пускали. В доме у него сделали обыск, но ничего не нашли, кроме андалузских писем Каролины Карловны, слух о которых пошел ходить по городу вместе с жалобами на пренебрежение, которому она подвергалась. Тогда Соболевский, намекая на это обстоятельство, написал известную эпиграмму:

Ах, куда ни взглянешь,
Все любви могила,
Мужа мамзель Яниш
В яму посадила.
Плачет эта дама,
Молится о муже:
«Будь ему, о яма,
Хуже, уже, туже!
Лет, когда б возможно,
Только б до десятку,
Там же с подорожной
Пусть его хоть в Вятку,
Коль нельзя в Камчатку!»

Правительство не хотело однако признаться, что оно без малейшего повода подвергло одиночному заключению совершенно невинного человека. Придрались к тому, что у него в библиотеке нашли запрещенные к ввозу иностранные книги. У кого их тогда не было, и можно ли было без таких книг иметь сколько-нибудь сносную библиотеку? За это Павлова с жандармом отвезли в Пермь, где он пробыл десять месяцев. После этого ему оказана была милость: позво-

лено было вернуться в Москву. Он возвратился надломленный и одинокий, сошелся опять с племянницей и прижил с нею новое семейство. Жена же уехала сначала в Петербург, бросив тело умершего тут же отца, который был похоронен на счет прихода. Вскоре потом скончалась и мать, убитая горем; сын вернулся к отцу, которого страстно любил, а Каролина Карловна выселилась за границу и поселилась в Дрездене, где она до сих пор проживает, тщательно скрывая сбереженные ею деньги. Только раз она, гораздо уже позднее, на короткое время приезжала в Москву и тем же завывающим голосом читала в Обществе любителей российской словесности свой перевод Валленштейна.

Так рушилась эта семья, которая приголубила нас во время первого нашего приезда в Москву. Впрочем, дружеские отношения с Павловым не прекратились; мне не раз придется еще говорить о нем в своих воспоминаниях. Конечно, оправдывать его не было возможности; его слабость и его податливость страстям были слишком хорошо известны. Все это извинялось ему во имя других, лучших сторон его недюжинной природы. Но способ, как с ним было поступлено, не мог не возмущать всякого порядочного человека. Наглый произвол тогдашней администрации выступал здесь во всей своей отвратительной наготе и сеял в молодых сердцах семена ненависти и злобы, которые в здравомыслящих людях едва могли изгладиться всеми преобразованиями нового царствования, а в массе породили ужасающие явления, памятные всем.

Несмотря на столь неблагоприятные окружающие условия и на светскую жизнь, которой я предавался, я в это время держал экзамен на магистра и написал свою диссертацию. По моим философским и политическим занятиям, мне всего сроднее было государственное право, и я выбрал его своим главным предметом. В то время для магистерского экзамена, кроме государственного права, требовались еще полицейское и финансовое и затем, как второстепенные предметы, политическая экономия и статистика. Прежде всего, разумеется, надобно было повидаться с профессорами и узнать от них, что именно требуется и в каком размере, ибо программы не было, и все зависело от произвола экзаменующих.

Профессором государственного права был в то время Орнатский, который заместил Редкина. Я много слышал про его странность и дикость; для студентов он был посмешищем: но то, что я увидел и услышал, превзошло мои ожидания. Это был какой-то дикий зверь, плешивый, с выпученными глазами, с глупым выражением лица, с странным произношением. Семинарист по воспитанию, грубый и неотесанный, он был к тому же полнейший невежда и отличался только неистовою ненавистью ко всему либеральному, за что и был призван в Московский университет для искоренения зловредных

семян, посеянных его предшественником. При нашем свидании он объявил мне, что вся западная литература ничто иное, как пагубный плод революционных идей, что заниматься ею молодому человеку не только излишне, но и опасно, и что он, со своей стороны, решительно ничего не может рекомендовать. Для магистерского же экзамена требуется только изучение его лекций и Свода Законов. Конечно, этим задача значительно облегчалась. Я достал лекции, но эта была такая непроходимая и раболепная ерунда, что мне от нее претило, и я был поставлен в большое затруднение. Я спрашивал себя, как можно, не унижая себя, отвечать подобные нелепости? Я был уже не студент, повторяющий слова профессоров; мне казалось, что магистрант должен высказывать собственные суждения, а выдавать мысли Орнатского за свои собственные я считал совершенно неприличным и непозволительным. Поэтому я решил налечь на Свод Законов и дополнить этот материал исследованием исторического развития каждого учреждения. О старинных памятниках пока нечего было и думать; я отложил это до диссертации, а для экзамена довольствовался подробными выписками из Полного Собрания Законов.

Профессор полицейского права Лешков, был человек обходительный и принял меня очень любезно. Он также рекомендовал мне свои лекции, которые были мне уже известны, как студенту, и кроме того – учебник Моля. Что же касается до заменившего Чивилева профессора политической экономии Вернадского, то, поговорив со мною и услышав, что я высоко ставлю «Экономические гармонии» Бастиа, он сказал: «Это прекрасно; я совершенно вашего мнения, и так как это для Вас предмет второстепенный, то я в своих вопросах ограничусь этою книгою». С Мюльгуазеном я был хорошо знаком, и он указал мне на учебник Якобса. Как видно, требования от магистра были весьма невысоки, и приготовиться было нетрудно. Я на это время прекратил всякие выезды в свет, заперся дома, и осенью 1851 года подал прошение; в конце ноября начались экзамены. Первый вопрос, который мне задал Орнатский, был: «о преимуществах монархического неограниченного правления перед ограниченным». Я был поставлен в тупик, ибо у меня язык не повертывался отвечать нечто совершенно противоречащее моим убеждениям. Я сказал, что преимущества того или другого образа правления зависят от тех целей, которые преследует общество: народы, которые ставят себе главною задачею установление государственного порядка, предпочитают неограниченное правление; а те, которые имеют в виду преимущественно развитие свободы, придерживаются ограниченной монархии. Орнатский был недоволен таким ответом; но другие профессора не нашли в нем ничего возмутительного. Морошкин сказал: «Отчего же? Государственный порядок! Это первое дело». Два дру-

гие вопроса касались положительных учреждений, а так как я историческую и догматическую часть подготовил отлично, то экзамен сошел удовлетворительно. Решено было продолжать.

Остальные экзамены не представляли уже затруднений. Лешков остался доволен, а Мюльгаузен и Вернадский заранее сказали мне, какие они зададут вопросы. В январе все было кончено, и я мог приняться за диссертацию. Тема, которую я сперва представил в факультет, заключала в себе развитие областных учреждений в России от Петра до Екатерины. Я думал перед этим сделать общий очерк областного управления в XVII веке. Но когда я стал изучать грамоты, я увидел, что одна последняя тема может служить предметом обширной диссертации, а потому ограничился ею с разрешения факультета. В марте 1852 года я отправился в деревню, взяв с собою Собрание Государственных Грамот и Договоров, Акты Археографической Экспедиции, Акты Исторические и Юридические. Полтора года я добросовестно их изучал, делал выписки, писал, и к концу 1853 года представил в факультет готовую диссертацию: «Областные учреждения России в XVII веке».

Казалось бы, что для магистерской диссертации нельзя было требовать ничего больше: тут было добросовестное изучение источников, без всякой политической мысли, чисто с исторической точки зрения. А между тем, факультет ее не пропустил. Баршев, который был деканом, сказал мне, что древняя администрация России представлена в слишком непривлекательном виде, а теперь такое время, что цензура не пропускает даже ссылки на слова великого князя Владимира: «Руси есть веселее пити». Когда же я поехал объясняться с Орнатским, он с яростью объявил мне, что моя диссертация ничто иное, как пасквиль и ругательство на древнюю Русь, и что он ее ни за что не пропустит.

Что было делать? Не мог же я извращать источники и видеть в древнерусской администрации вовсе не то, что в ней было, а что хотелось в ней видеть профессорам юридического факультета. Я обратился к Баршеву с вопросом: не пропустит ли факультет, по крайней мере, часть диссертации, чисто фактическую? Он меня обнадежил, и я представил в факультет несколько обработанную отдельную главу о губных старостах и целовальниках. Но через несколько времени Баршев опять объявил мне, что и в этом отрывке высказываются те же мысли, и что факультет пропустить его не может. Таким образом, всякий исход для меня был заперт, и все мои труды, мой экзамен, моя ученая работа пропадали даром. Передо мною без малейшего повода запиралась дверь к ученому и литературному поприщу, и это делалось с таким пошлым равнодушием, с таким возмутительным пренебрежением к мысли, труду, знаниям и стремлениям молодого человека, что это одно уже может служить признаком того

низкого уровня, на который пал некогда столь славный Московский университет. Всякий нравственный элемент исчез на юридическом факультете. Кроме пошлости, невежества и мелочных личных целей и отношений ничего в нем не осталось.

По совету Грановского я решил попробовать счастья в Петербургском университете: не пропустят ли там моей диссертации? Он дал мне письмо к Никитенко, и я отправился в Петербург.*

Я ехал туда уже не в первый раз. Кончивши экзамен на магистра, я ездил навестить брата Василия, который начинал тогда свою службу в министерстве иностранных дел. С тех пор я ежегодно повторял свои посещения, которые всегда были для меня очень приятны. Там были мои старые профессора, Редкин и Кавелин, и я познакомился с тамошним литературным кругом. Редкин, который был в то время директором канцелярии министра внутренних дел, вел весьма уединенную жизнь в своей довольно многочисленной семье. Но он любил видеть москвичей, потолковать о философии, поговорить о старых университетских временах.

Кавелин же, с своею горячею и общительною душою сделался маленьким центром, около которого собирались всякого рода и молодые и даже старые люди. Я бывал у него почти каждый день, то обедал, то проводил вечер. Мы очень с ним сблизились, и разговорам не было конца. Это огненная, впечатлительная и вечно волнующаяся натура не поддавалась никакому внешнему гнету; он продолжал принимать к сердцу всякие, и крупные и мелкие вопросы, как практические, так и теоретические. Ему хорошо было известно все, что творилось в Петербурге. Коротко знакомый с либеральными чиновничьими сферами, он был близок и ко двору великой княгини Елены Павловны, которая очень его приласкала и ценила его талант и его благородство. Когда приезжал из Москвы свежий человек, как я, рассказам не было конца. Меня привлекали эти порывы благородного негодования, часто совершенно неверного, нередко и преувеличенного, ибо Кавелин, при страстности и односторонности своей природы и при недостаточной ширине ума, часто придавал неподобающее значение мелочам и судил о людях с точки зрения личных отношений и минутного впечатления. Он и в зрелых годах с юношеским жаром сохранял какую-то даже наивную односторонность суждений. В это время я по какому-то случаю получил в Петер-

* В издании «Т. Н. Грановский и его переписка», т. II, напечатано письмо Грановского к Чичерину с приложением письма к Никитенко. В письме под № 347 Грановский дает следующий отзыв о диссертации Чичерина: «Диссертацию Вашу я прочел; без всякого комплимента Вам я нашел ее прекрасным и истинно ценным трудом... Кто писал замечания на краях? Баршев или Орнатский? Должно быть умный человек. Я на Вашем месте покрыл бы лаком эти строки и сохранил бы их для потомства как материал для истории русской цивилизации».

бурге записку от Грановского, в которой он, говоря о некоторых суждениях Кавелина, восклицал: «О юноша! о вечный адьюнкт Морошкина! Хуже ничего не могу придумать!» Но именно этот юношеский пыл не давал ему погрязнуть в петербургской чиновничьей рутине и сохранял в нем живой интерес даже к чисто отвлеченным вопросам. Я в это время много занимался философией. Толкуя с ним по целым вечерам о русской истории и об отношении ее к западной, я делал философские сближения, излагал выработывавшиеся у меня взгляды на общее развитие человечества. Кавелина это очень заинтересовало. Я советовал ему заняться философией, которая дотоле была ему совершенно чуждою областью. Кроме опытных исследований, он ничего не знал и не признавал. Я предложил ему прочесть «Критику чистого разума» Канта. Он принялся за это с свойственным ему жаром; но при совершенном отсутствии способности к пониманию чистых отвлечений, остался неудовлетворен и написал критику, в которой излагал свой собственный взгляд на человеческое познание. Он прислал мне эту рукопись для прочтения. «Помилуйте, Константин Дмитриевич, – отвечал я, – вы критикуете Канта с точки зрения Локка, которая была ему совершенно хорошо известна, а вы выдаете это за что-то новое, принадлежащее нашему времени». Он тотчас принялся за изучение Локка и еще более утвердился в своих взглядах. Нравственный его смысл не позволял ему, однако, вдаваться в те чисто утилитарные воззрения, которые составляют необходимое следствие голого опыта. Вместе с шотландскими философами, которых он, впрочем, совсем почти не знал, он старался в раскрываемых опытом внутренних стремлениях человека найти точку опоры для нравственных требований. Результатом этих трудов и размышлений было известное его сочинение об основаниях этики*. Цельного умственного здания он, конечно, не мог воздвигнуть. Способности к философскому мышлению, как сказано, у Кавелина вовсе не было; философское его образование было крайне скудное. Да и самая точка зрения не давала возможности утвердить на ней прочную нравственную систему. Опыт действительно раскрывает нам нравственные стремления и требования человека; но он раскрывает вместе с тем и присутствие в человеческой душе тех метафизических начал, религиозных и философских, которые служат источником и опорой нравственных требований. Если же мы, отвергнув первые, как предрассудок, будем держаться последних, то получится здание, висящее на воздухе. Это и вышло с теориею Кавелина, как и со всеми другими подобными попыткам. Но если собственный его взгляд

* «Задачи этики» напечатаны в «Вестн. Европы», 1884, кн. X, XI и XII, а также в издании Н. Глаголева: «Собр. сочинений К. Д. Кавелина», т. III, стр. 897 – 1018.

должен был остаться бесплодным, то он помог ему с успехом бороться против материалистических воззрений Сеченова, которые в свою очередь лишены были всякого научного основания. Не трудно было доказать Сеченову, что из его физиологических посылок вовсе не следуют выводимые им заключения, и что, вообще, нравственности из физиологии никогда не получишь.*

Через Кавелина я познакомился с двумя его приятелями, людьми, игравшими выдающуюся роль в следующее царствование и оставившими свое имя в истории, с братьями Милютиными. Они были родом москвичи и воспитывались в Московском университетском пансионе. У отца их было хорошее состояние, но после его смерти оказалось столько долгов, что все имущество было продано с молотка, и они остались ни с чем. Родной их дядя по матери, граф Киселев, перевел их на службу в Петербург, где, благодаря его протекции, они успешно проходили служебную карьеру, один военную, другой гражданскую. Я скоро сошелся с обоими и всегда оставался с ними в приятельских отношениях.

Старший, Дмитрий Алексеевич, был в это время профессором Военной академии и только что издал известный свой труд «Историю войны 1799 года», книгу замечательную и по основательности исследований, и по таланту изложения, и по господствующему в ней патриотическому духу, чуждому всякой заносчивости и мелкого хвастовства. Он очаровал меня с первого раза. Необыкновенная сдержанность и скромность, соединенные с мягкостью форм, тихая и спокойная речь, всегдашняя дружелюбная обходительность, при отсутствии малейших претензий, все в нем возбуждало сочувствие. Когда же я узнал его поближе, я не мог не почувствовать глубокого уважения к благородству его души и к высокому нравственному строю его характера, который среди величайших почестей и соблазнов власти сохранился всегда чист и независим. Ум у него был твер-

* Свои воззрения И. М. Сеченов изложил в вышедшей в 1866 г. книге «Рефлексы головного мозга». «Из-за этой книги, – пишет он, – меня произвели в ненамеренного проповедника распущенных нравов и в философа нигилизма». В 1872 г. Кавелин выступил с трактатом: «Задачи психологии» («Вестн. Европы», 1872, кн. I, II, III, IV, и отд., Спб., 1872) в изд. Н. Глаголева, т. III, стр. 375 – 648), в котором Сеченов нашел «существенные нападки на... (свою) психологическую веру». Возгорелась полемика. Сеченов выступил в том же году с «Замечаниями» на «Задачи психологии» («Вестн. Европы», кн. XI) и с статьей «Кому и как разрабатывать психологию». (Там же, 1873, кн. IV). Кавелин отвечал в 1874 г. рядом писем в «Вестн. Европы» под заглавием «Психологическая критика» (кн. III, IV, V, VI), вызвавших новую статью Сеченова: «Несколько слов в ответ на письма г. Кавелина» («Вестн. Европы», 1874, кн. VII), на которую Кавелин отвечал статьей: «Несколько слов в ответ на «Несколько слов» проф. Сеченова» (там же, 1874, кн. IX).

дый и ясный, хотя и не блестящий. По природе он был человек кабинетный. Выработанные добросовестным трудом теоретические убеждения не всегда смягчались живым практическим взглядом на вещи или широким образованием. Знаток своей специальности, работник неутомимый, он не имел ни времени, ни возможности освоиться с другими сторонами государственной жизни или глубоко изучить ее исторические основы. Поэтому либерализм его носил на себе несколько отвлеченный характер, а практические взгляды нередко втеснялись в кабинетные рамки. Но, не обладая, как значительное большинство русских людей, широкою теоретическою подготовкой, он питал глубокое уважение к образованию. Всякое проявление мысли возбуждало в нем сочувствие и уважение, и, наоборот, он презирал людей, которых высокое положение прикрывало внутреннюю пустоту и невежество. Эти черты перетолковывались нередко в неблагоприятном для него смысле. Его старались выставить либералом и демократом. Даже фельдмаршал, князь Барятинский, у которого он был на Кавказе начальником штаба, рекомендуя его государю на должность военного министра, считал нужным предупредить, что у него есть два существенных недостатка: одностороннее пристрастие ко всему великороссийскому и ненависть ко всему аристократическому, особенно титулованному, вследствие чего фельдмаршал полагал, что ему со временем надо дать титул. Брат фельдмаршала, князь Виктор Иванович, читал мне это письмо. Я сказал, что, зная тридцать лет Дмитрия Алексеевича и состоя с ним всегда в приятельских отношениях, я никогда не замечал в нем ни малейшего пристрастия к великороссийскому племени, а скорее видел в нем некоторую теоретическую склонность к космополитизму.* Что касается до его мнимой ненависти к аристократии, то причина этого обвинения заключается в том, что у нас слишком часто с знатным именем соединяется совершеннейшая пустота, а Милютин на таких людей смотрит с презрением. Когда же он встречается аристократическое имя, соединенное с истинными достоинствами, то он таких людей умеет ценить, доказательством чего могут служить его отношения к самому фельдмаршалу, прежде нежели произошла между ними размолвка.

Указывая на недостатки, которые он замечал в Милютине, князь Барятинский рядом с этим в сильных выражениях выставлял его ред-

* К несчастью, впоследствии я в этом разубедился. Я говорю о финляндских делах (вставка 1903 г.). – *Примеч. Б. Н. Чичерина.*

Из этих слов можно заключить, что Д. А. Милютин в разговорах высказывал сочувствие мероприятиям конца 90-х годов и начала 900-х годов, имевшим целью ограничение автономии Финляндии, и расходился в этом вопросе с Чичериным. Непосредственного участия в реорганизации управления Финляндией Милютин не принимал.

кие качества: его беспримерное трудолюбие, его знание дела, его высокое бескорыстие, необыкновенную скромность, его постоянство и энергию. Все эти свойства сделали его незаменимым военным министром. И точно, он один в России мог совершить то великое дело, которое тогда предстояло: преобразовать русскую армию из крепостной в свободную, приноровить ее к отношениям и потребностям обновленного общества при радикально изменившихся условиях жизни, не лишая ее однако тех высоких качеств, которые отличали ее при прежнем устройстве. И Милютин это сделал, работая неутомимо в течение многих лет, вникая во все подробности, постоянно преследуя одну высокую цель, которой он отдал всю свою душу. Старые служаки роптали и жаловались, что всякая дисциплина исчезла; предсказывали, что при первом столкновении русская армия окажется никуда не годной. Русские люди, не специалисты в военном деле, заботливо ожидали проверки. Первая проба была сделана в Азии. Когда разные отряды, совершив тысячи верст через бесплодные пустыни, сошлись вместе по заранее обдуманному плану и совершили указанные им подвиги, все спрашивали: что же предсказания? На это военные отвечали, качая головой, что азиатская армия еще старая, что туда не успели проникнуть преобразования, и сохраняется еще прежняя дисциплина. Но турецкая кампания окончательно рассеяла все сомнения. Переход через Балканы и последующие блистательные результаты показали, что русская армия осталась та же, чем была прежде, и ни мало не утратила своих крепких качеств. Бесспорно в управлении оказались недостатки, часть которых проистекала от природных свойств военного министра. Как кабинетный человек, он легко мог делать практические ошибки; он не всегда умел выбирать и людей. Но в итоге успех был полный. Обновленная Россия получила преобразованную армию, и имя Милютина останется в истории, как истинного творца этого великого дела.

Немудрено, что государь, который близко видел его работу, который знал его высокое бескорыстие и его преданность отечеству, постоянно его поддерживал, несмотря на ожесточенные нападки и интриги многочисленных врагов, которые не могли простить ему его способностей и его независимости. И среди всех этих павших на него почестей, он остался тем же тихим, скромным и обходительным Дмитрием Алексеевичем, каким я знал его в молодости. Почестями он всегда пренебрегал, даже когда они ему были нужны для карьеры, доставлявшей ему средства к жизни. Мне памятно, как в 1855 году, во время моего пребывания в Петербурге, в самый день Пасхи ко мне зашел Кавелин и выразил свою радость по поводу того, что Дмитрия Алексеевича взяли в свиту. Несколько часов спустя, я зашел к Николаю Алексеевичу и в разговоре упомянул об этом обстоятельстве. «Не может быть, – отвечал он, – я только что получил за-

писку от брата, и он ничего об этом не говорит. Впрочем, от него это станется». Оказалось, что известие было совершенно верно. Много лет спустя Милютин сделался графом. Он возвращался с государем из Крыма через Москву. Я встретил его на вечере у генерал-губернатора. «Что же, поздравить Вас?» – спросил я. «Как вам не стыдно! – отвечал он. – Пускай другие поздравляют, а вы, старый приятель, знаете меня столько лет и считаете нужным поздравлять».

Таким же как прежде, он остался и в своей частной жизни. Когда я бывал в Петербурге, я обыкновенно ходил к нему обедать по воскресеньям. В этот день он отдыхал от трудов и любил за обедом собирать немногочисленный круг друзей. Стол был всегда самый простой, вина кавказские. После обеда Дмитрий Алексеевич раскалывал сахар на мелкие кусочки, и вся его многочисленная семья, начиная с взрослой уже старшей дочери, подходила к нему по очереди, и каждому он клал в рот обмоченный в кофе «канарчик». Это был патриархальный обычай, установившийся с младенческого возраста детей и свято сохранявшийся в течение многих лет.

С новым царствованием кончилось его государственное поприще. Он понял, что время его прошло и просил увольнения. Однако даже и при новых порядках он мог бы играть видную роль. Знающие люди утверждали, что его наверное сделали бы председателем Комитета министров. Но он предпочел удалиться совершенно. Петербург со всеми перекрещивающимися в нем интересами, всею низостью, завистью и злобою, которые господствуют в высших сферах, особенно же при совершенно несочувственном ему направлении, был ему противен. Он уехал в Крым и там поселился на собственной даче в Симеизе. Там он и живет вдали от всяких дрязг, ни одной минуты не жалея о прежней деятельности или почестях, наслаждаясь свободой, делая съёмки, как в молодости бодрый и спокойный, как мудрец, постигший всю жизненную суету и находящий высшую прелесть в том, чтобы жить от нее в отдалении. Когда же ему случается по делам приехать в Петербург, он бежит оттуда, как можно скорее, не желая оставаться даже лишнего дня в этом средоточии всего, что волнует и возмущает душу истинного патриота. Живя в Крыму, я по-прежнему выдаюсь с ним, как старый приятель. Иногда мы вместе совершаем прогулки по крымским горам и долинам, любуясь морем, скалами, великолепными видами. Он водит меня по своему небольшому поместью, где жена его с успехом занимается виноделием. Однажды, когда после прогулки в очаровательный майский вечер мы сидели вдвоем на скамейке и глядели на прелестную, расстилающуюся у наших ног долину Лимены, он воскликнул: «И подумать, что есть люди, которые всему этому предпочитают Петербург!». Закат достойной жизни, всецело посвященной исполнению обязанностей и пользе отечества! Россия этого имени не забудет.

Второй брат, Николай Алексеевич, был в то время, как я с ним познакомился, директором Хозяйственного департамента в Министерстве внутренних дел. Это был человек, совершенно из ряда вон выходящий. Ум его был более сильный и живой, нежели у его брата. У него был практический взгляд на вещи, способность быстро схватывать всякое дело, даже мало ему знакомое, и с тем вместе знание людей, умение с ними обходиться, ладить с высшими, а низших поставить каждого на надлежащем месте. Либерал по убеждениям, он по натуре не был сдержан, как Дмитрий Алексеевич. В дружеском кругу пылкая его натура изливалась непринужденно в живом и блестящем разговоре, приправленном юмором, а иногда и едким сарказмом. Но в обществе он никогда не проронял лишнего слова. При тогдашних условиях это было тем необходимее, что он был чрезвычайно общительного характера. Он не уединялся, как брат, а, напротив, ездил всюду, вращался во всех сферах и везде ловко умел себя поставить. Многим его блестящая личность колола глаза; его обзывали либералом, демократом и чиновником; но, несмотря на свою видимую пылкость, он не давал против себя оружия и умел завоевать себе положение, тонко понимая людей, соединяя откровенность с осторожностью и зная, что кому следует сказать, чтобы направить его к желанной цели. И это он делал, никогда не кривя душой. Характер у него был прямой, возвышенный и благородный. Страстно отдаваясь всякому полезному делу, он презирал все мелочное. Поэтому, несмотря на то, что вся его жизнь протекла в петербургской чиновничьей среде, несмотря на то, что его бранили бюрократом, он никогда не мог сделаться таковым. Широкая его душа не терпела ни рутины, ни формализма. Когда я впервые с ним сошелся, он вращался преимущественно в избранном литературном кругу, а когда пришла пора действовать, он прежде всего почувствовал необходимость не ограничиваться чиновничьими сферами, а призвать к делу свежие общественные силы. Ни в чем, может быть, возвышенность и благородство его природы не выражалось так сильно, как в том горячем сочувствии, с которым он встречал всякое проявление таланта и способностей, какого бы то ни было направления. Он постоянно старался отыскивать и привязать к себе все лучшее, что он встречал в обществе, никогда не опасаясь соперничества, а стремясь привлечь всякую крупную силу к совместной работе. Он не довольствовался орудиями, а хотел сотрудников. Таких он нашел в Самарине и Черкасском, которых он призвал к общественному делу и которые стали ближайшими его друзьями, несмотря на то, что теоретически во многом с ним расходились. Но он был выше обоих, хотя и уступал им по образованию. У него не было умственной односторонности Самарина, а было то, чего недоставало последнему: практический смысл и знание людей. У него не было и

одностороннего увлечения практическим делом, как у Черкасского. Со своим ясным, твердым и трезвым умом он охватывал всякий вопрос со всех сторон; неуклонно стремясь к предположенной цели, он никогда ею не увлекался, а знал ее границы и ее слабые стороны. Одним словом, это был государственный человек в истинном смысле слова, такой, какой был нужен России на том новом пути, который ей предстояло совершить.

Когда я узнал Николая Алексеевича, он был известен как автор проекта преобразования петербургской думы, который введен был в действие в 1846 году. Это было начало всех последующих реформ городского управления. Прежние обветшавшие, потерявшие всякое значение учреждения, которые подчиняли город неограниченному произволу местных властей, заменялись новыми, правильно организованными и основанными на истинных началах самоуправления, практически приноровленных к тогдашним условиям и потребностям. Но правительство, решившись на такой опыт, само его испугалось. Первым кандидатом на должность петербургского городского головы выбран был Лев Кириллович Нарышкин, которого государь не любил и считал либералом. Утвержден был второй кандидат, безопасный купец Жуков. Дума продолжала существовать, втихомолку водворяя у себя парламентские формы, но стараясь держать себя как можно осторожнее, чтобы не навлечь на себя грозы. После 48-го года о новых преобразованиях нечего было и думать. Надобно было дожидаться более благоприятной поры.

Она настала с новым царствованием, и тогда для Милютина открылось поприще, на котором он мог проявить все свои силы. Освобождение крестьян было решено в принципе; но как и на каких основаниях провести эту меру, никто не знал. В высших петербургских сферах не было ни одного человека, который имел бы об этом малейшее понятие, а те, которые пользовались наибольшим влиянием, внутренне были злейшими врагами этого преобразования и готовы были затормозить его всеми средствами или свести его на ничто. В эту минуту второстепенный чиновник министерства внутренних дел явился представителем истинно-государственных начал и дал вопросу то благотворное направление, которое он окончательно получил. Он был вдохновителем и Ростовцева, и Ланского, и графа Киселева, которые в свою очередь действовали на государя. Когда фельдмаршал, князь Барятинский, приехал в Петербург, начиненный всеми преувеличенными дворянскими жалобами, раздававшимися в то время со всех сторон, государь отослал его к Милютину, который убедил его в необходимости преобразования. Милютин настоял на том, чтобы для выработки «Крестьянского положения» созваны были люди из общества, практически знакомые с делом. Если в Редакционной комиссии Черкасский был глав-

ным работником, то Милютин остался главным руководителем работ. Зато накипевшие против него ненависть и злоба разразились, как неуправляемый поток. И дворянские депутаты, и высшая аристократия, и петербургские сановники, – все на него обрушилось. Его выставляли демагогом, достойным виселицы. Всего менее могли ему простить его способности, его прямоту, его бескорыстие и его независимость. Эти качества не могли быть терпимы в среде, насквозь проникнутой низкопоклонством и раболепством, в среде, где «красным» считался всякий, кто в душе не был холопом. Это был опасный соперник для всех чиновных ничтожеств, алчущих власти, и для устранения его были пущены в ход все средства и интриги, и клеветы. Против этого ополчения Милютин выступил во всеоружии, проявляя все свои боевые таланты, которые были крупные, отклоняя всякий удар, противодействуя интригам, сам предпринимая наступательные действия. И за ним была дружная фаланга, на стороне которой были и ум, и образование, и талант, и знание дела, и, наконец, очевидная польза отечества. Сражение было выиграно, но полководец был отдан на жертву врагам. Его вместе с сотрудниками спустили. Он сделан был сенатором и получил заграничный отпуск, а приведение в исполнение выработанного ими Положения вверено было пустейшему фразеру*, который своим управлением успел только доказать, что даже руководимое ничтожеством дело способно было держаться: так прочно оно было поставлено. Милютин столь мало огорчен был этим оборотом, что вслед за тем я видел его в Париже веселым, бодрым и совершенно довольным тем отдыхом, который был ему предоставлен. Так мало сохранилось у него и злобы от этой борьбы, что спустя несколько лет, он отзывался об одном из деятелей того времени: «Он до сих пор смотрит на дворянство, как будто мы все еще ведем с ним борьбу в редакционных комиссиях, и не понимает, что все это давно прошедшее и обстоятельства совершенно изменились».

Недолго, однако, он оставался в отпуску. Над Россией разразился новый удар, и опять потребовались люди. Вспыхнуло польское восстание. Шайки были кое-как подавлены; но надобно было умиротворить страну. Для этого призван был Милютин, который тотчас увидел, что низшие классы составляют единственную опору, которую Россия может иметь в Польше. Он предложил широкую меру наделения крестьян землею, меру, которую иначе нельзя назвать, как революционной, но которую он сам оправдывал только революционным положением страны. Он, впрочем, нисколько не обманывал

* Б. Н. Чичерин имеет в виду, по-видимому, гр. Петра Александровича Валуева, назначенного министром внутренних дел 23 апреля 1861 г. и занимавшего этот пост до 9 марта 1868 г.

себя насчет успеха своего предприятия. «Я нимало не воображаю, – говорил он, – что этим Польша привяжется к России. Таких мечтаний я не питаю. Но на двадцать пять лет хватит, а это все, что может предположить себе государственный человек». Снова он с прежними сотрудниками принялся за дело с тою ясностью мысли и с тою неутомимую энергиею, которые его характеризовали, и опять пришлось выдерживать упорную и ожесточенную борьбу не с поляками, которые не в силах были противодействовать неотразимому факту, а с русскими сановниками, которые всячески старались итти ему наперекор: в Варшаве с наместником, графом Бергом, в Петербурге с Шуваловым и его партией. Государь, поддерживая Милютина и одобряя все его планы, в то же время поддерживал и его врагов, давая лучшим силам России истощаться в бесплодной мелкой борьбе в интригах. В этой борьбе Милютин физически изнемог. В 1866 году его поразил апоплексический удар, к величайшей скорби не только близких ему людей, но и всех истинных друзей отечества. Дело его не пропало, но перешло в посторонние руки. Главный его сотрудник в Польше, князь Черкасский, вышел в отставку. Сначала государь хотел передать управление Польшею графу Шувалову; Дмитрий Алексеевич, в то время военный министр, уговорил его этого не делать, и на место Милютина назначен был совершенно ничтожный Набоков, не имевший ни мысли, ни воли. Самодержавное правительство как будто хотело доказать, что ему нужны не люди, а орудия, а что людей оно призывает в трудные минуты и затем, выжав из них сок, выбрасывает за окно. Милютин не оправился от удара. Побыв два года за границею, он переселился в Москву, где и умер, окруженный любовью и заботами семьи и друзей. Тяжело было видеть этот некогда столь могучий ум, эту живую энергическую натуру, подкошенную неисцелимым недугом. Он ходил с трудом, говорил с запинкою и не всегда внятно; все понимал, но мысли двигались медленно, и выражались не ясно. Таким он был в 71-м году на моей свадьбе, а в начале 72-го скончался, оставив по себе память одного из замечательнейших людей, каких произвело это могучее поколение.

С Милютиными неразлучен был приятель их Иван Павлович Арапетов. Он был товарищем обоих братьев в Московском университетском пансионе, затем поступил в университет, где вместе с Герценом сидел в карцере за известную маловскую историю. Это был армянин, высокого роста, толстый, черный, в очках, с совершенно восточною физиономиею, с довольно резкими манерами, хотя с претензиями на петербургское джентльменство, человек весьма неглупый, образованный и живой, но в сущности без всякого внутреннего содержания, старый холостяк, сластолюбивый и эгоист. Он подвигался в Петербурге по служебной лестнице и достиг высокого

чина; но когда его назначили членом Редакционной Комиссии, он оказался совершенно неспособным к делу. Сам Николай Алексеевич Милютин говорил, что он не ожидал от Ивана Павловича такой несостоятельности. Единственная привлекательная черта в нем была сердечная привязанность к братьям Милютиным. У Дмитрия Алексеевича он был неперменным гостем и на воскресных обедах, и на вечерних собраниях. С Николаем Алексеевичем он состоял в самых коротких отношениях и нередко судил государственные дела с точки зрения служебного положения его приятеля. После смерти у него осталось довольно крупное состояние, которое он завещал дочерям обоим своим друзьям, каждой по 40 тысяч, прося их в трогательных выражениях принять это наследство в память того, что дружба их отцов была для него лучшим благом жизни.

Я познакомился в Петербурге с тамошними литераторами. Грановский дал мне письмо к Тургеневу. Он жил тогда на хорошенькой квартире у Аничкова моста, обыкновенно обедал дома и любил собирать у себя маленький кружок приятелей. Я часто у него бывал, когда наезжал в Петербург, и находил всегда большое удовольствие в этих беседах. Тургенев был тогда на вершине своей славы. Живя на родине, окруженный друзьями и почитателями его таланта, он играл первенствующую роль между литераторами и был предметом всеобщего внимания. Все, что в нем было суетного и тщеславного, могло быть вполне удовлетворено; он успокоился и благодушно наслаждался приобретенною репутациею. Разговор его был чрезвычайно привлекателен. Он был умен, образован, одарен большою наблюдательностью, тонким пониманием художества, поэтическим чувством природы. Всегда оживленная, мягкая речь его была и разнообразна и занимательна. В женском обществе к этому присоединялись не совсем приятные черты: он позировал, хотел играть роль, чересчур увлекался фантазией, выкидывал разные штуки. Но в мужской приятельской кампании, где ему нечего было заискивать, все это слагивалось, и у него проявлялась добродушная обходительность, которая к нему привлекала.

Конечно, на это добродушие нельзя было полагаться. Додэ пришлось испытать это весьма неприятным для себя образом, когда после смерти Тургенева, из напечатанных его писем оказалось, что этот по-видимому столь добрый человек, ласково принятый в семье, игравший в ней роль приятеля, отзывался о нем, как о каком-то негодяе. Додэ не мог постигнуть глубины этого лицемерия. Но в сущности это было совсем другое. В мягкой и дряблой душе Тургенева не было места ни для лицемерия, ни для злобы, ни для коварства. Это было поверхностное и даже легкомысленное отношение к людям, податливость всякому минутному впечатлению, а иногда просто игра воображения. Художник по природе и по ремеслу, он, главным обра-

зом, занят был тем, чтобы наблюдать и изображать, и делал это иногда с нарушением всяких нравственных приличий, ибо нравственной сдержки не было никакой. Он в «Муму» описал свою собственную мать в самом отвратительном виде, хотя, говорят, весьма верно. Точно так же и в «Первой любви» он изобразил своего отца с нравственно весьма непривлекательной стороны. Если уже ближайšie к нему люди не ускользали от ударов его кисти, то тем более это могло случаться с его приятелями и знакомыми. Каждая дама, за которой он ухаживал, могла быть уверена, что она появится героиней какой-нибудь его повести. Многим, конечно, это должно было нравиться. Нередко та же участь постигала и мужчин. Однажды я приезжаю к Грановскому и застаю его смеющимся над книгой. «Ах, этот Тургенев! – воскликнул он, – никак не может удержаться, чтобы не изобразить какого-нибудь приятеля. Он написал очень милую повесть «Затишье», а в конце, в виде какого-то господина Помпонского, так очертил Арапетова, что нельзя не узнать». Случалось даже, что он про ближайших друзей придумывал самые невероятные анекдоты. В Париже, где мы довольно часто виделись, он как-то рассказывал нам с Ханьковым*, что Боткин едет из Италии, расстроив свое здоровье совершенно беспутною жизнью, и при этом рассказал нам черту самого утонченного разврата. Вскоре Боткин приехал и, когда он стал жаловаться на нездоровье, я заметил ему, что он сам виноват, зачем ведет такую жизнь. «Какую жизнь? – отвечал он, – самую скромную, какую можно придумать». Я сделал намек на черту, рассказанную Тургеневым. «Что вы, что вы! – воскликнул Боткин – откуда вы это взяли?» Мы переглянулись с Ханьковым и поняли, что это был плод игривого воображения Ивана Сергеевича, который, не имея возможности поместить в повести изобретенный им сальный анекдотец, взвалил его на приятеля. В виду таланта, ему охотно прощали эти маленькие грешки, тем более что злого умысла тут никогда не было

При таких легкомысленных отношениях к людям, он, конечно, не мог быть глубоким знатоком человеческой души. Поэтому он большей частью ограничивался эскизами, которые ему всего более удавались. Еще в женскую душу он заглядывал глубже. Постоянно приволакиваясь за женщинами, стараясь их обворожить, он внимательно следил за изменяющеюся игрою их внутренних чувств и создавал иногда поэтические образы. Но мужские типы редко ему удавались. Исключение составляет разве только Базаров, которого

* Николай Владимирович Ханьков (1822 – 1878), известный ориенталист, в 1860 г. был командирован для научных работ в Париж и назначен агентом М-ва народного просвещения по руководству занятиями молодых людей, командированных во Францию для усовершенствования в науках.

крупные черты резко бросались в глаза, да и он схвачен более с внешней стороны. Обыкновенные же его герои распадаются на два разряда, которые он сам характеризовал в одной статье, разделяя весь человеческий род на Дон-Кихотов и Гамлетов. Попросту – его герои или хлыщи, или тряпки, и в них он изображал самого себя. Знавшие его в молодости рассказывают, что он в ту пору был настоящим хлыщем; но я таковым его уже не застал. Удовлетворенное тщеславие и приобретенная большая репутация сгладили эту некрасивую черту, которая сохранялась только в отношениях к женщинам. «*Ne piaffe ras*»*, – говорила ему Виардо, когда он развешивался в дамском обществе. Но тряпкою он был и остался всю жизнь. В нем не было ни одной мужественной черты, ничего сильного, смелого и решительного. В самой его внешности было что-то дряблое, составлявшее резкий контраст с его высоким ростом и довольно красивыми чертами. Сам он постоянно готов был унижаться и выставять себя трусом, лгуном и подлецом. И это он делал даже с некоторым удовольствием, ибо через это слагалась всякая нравственная ответственность за свои поступки.

Конечно, с таким характером не могло быть речи о каком-либо серьезном внутреннем содержании, которое всегда требует известной душевной силы. Подпавав под влияние могучей и страстной натуры Белинского, Тургенев в значительной степени усвоил себе убеждения, сложившиеся у этого замечательного критика в последний период его деятельности. Но те крайности, которые у Белинского были плодом страстного увлечения, вовсе не приходились к дряблой натуре Тургенева. Глубокие убеждения заменялись у него каким-то привычным и рутинным образом мыслей, лишенным всякой внутренней состоятельности и неспособным служить человеку руководством на жизненном пути. У Белинского эти крайности смягчались глубоким художественным чувством, и это отчасти перешло и на Тургенева, хотя тоже в ослабленном виде. Он чувствовал поэтические красоты первоклассных и даже второстепенных поэтов; он иногда тонко понимал недостатки произведений, но нередко, под влиянием случайного впечатления, вдруг приходил в восторг от таких вещей, которые не заслуживали ни малейшего внимания. Ниже я приведу тому любопытные примеры.

Самая его наблюдательность нередко носила чисто внешний характер. Иногда у него, даже в карикатурной форме, проявлялась черта, свойственная многим писателям, которые старательно подбирают всякие внешние мелочи и совершенно случайным признакам придают преувеличенное значение. Однажды я в разговоре с ним ходил по комнате и остановился, опираясь на обе ноги. Он посмот-

* «Не танцуйте!» (говорится про лошадей).

рел на меня пристально и спросил: «Скажите, пожалуйста, вы не иностранного происхождения?» Я отвечал отрицательно. «По крайней мере, нет ли у вас иностранных предков?» «В генеалогии нашего рода значится, что родоначальник нашей фамилии прибыл из Италии в свите Софьи Фоминичны Палеолог, но это было при Иване III». «Вот, вот! я так и знал, – воскликнул он. – Русский человек никогда не становится на обе ноги, а всегда на одну.» И он вскочил с дивана, чтобы показать, как становится русский человек. Меня это рассмешило. В тот же вечер мы с ним встретились у Евгения Федоровича Корша, который в то время жил в Петербурге и у которого часто собирались Тургенев, Анненков и Милютины. Тургенев стал перед камином, расставив врозь свои длинные ноги. «Иван Сергеевич, вы тоже иностранного происхождения?» – спросил я. «Нет, перед камином ничего», – отвечал он. Эта черта, кажется, однако, не попала ни в одну из его повестей. Но случалось иногда, что он придумает какую-нибудь пошленькую шуточку и непременно клеит ее в повесть. В Париже он однажды объявил нам с Ханьковым, что нашего общего приятеля, князя Николая Ивановича Трубецкого, человека недалекого, но доброго и обходительного, у которого мы иногда собирались за обедом или на музыкальных утрax, следует именовать Бурдалу, потому что он рьяный католик и в голове у него бурда. Нам эта шутка не показалась смешною, и мы пропустили ее без внимания. Но в одной из следующих повестей Ивана Сергеевича явился господин с прозвищем Бурдалу, которым ровно ничего не изображалось.

Несмотря, однако, на все эти существенные недостатки, Тургенев был и остается если не первоклассным, то одним из самых видных русских писателей. После смерти Гоголя он занимал едва ли не первое место в русской литературе. У него не было той яркости и силы, как у Толстого и Достоевского, но зато у него было несравненно более тонкости, вкуса и изящества. Это единственный из новейших русских писателей, который был вполне образованным человеком. У него одного в произведениях есть художественная цельность, и рядом с живыми картинами не изображаются возмущающие душу сцены и не прорывается совершеннейшая галиматья. Но для того чтобы все его высокие художественные качества могли поддерживаться и проявляться, ему необходимо было постоянное взаимодействие с жизнью. Воображения у него в сущности было мало. Всякий свой рассказ он черпал из действительно случившегося факта. Это было дерево, которое требовало постоянного питания и не могло жить вне свойственной ему среды. Поэтому как скоро он переселился за границу, так талант его начал падать. Оторванный от почвы, он носился по воле ветра и волн, будучи не в состоянии отличать истины от лжи, серьезных явлений жизни от витающей по поверху

ности ее пены. Самое его выселение было следствием той же дряблости характера, которая его отличала. Конечно, человеку, не имеющему своей собственной семьи, естественно на старости лет приютиться к дружескому семейству, которое его холит и голубит. Но, по-видимому, Тургенев играл в этой дружеской семье весьма подчиненную и покорную роль. Его просто забрали в руки. Ханьков, который близко видел их отношение в Бадене, рассказывал мне, как Тургенев среди дружеского разговора с приехавшим навестить его приятелем, вдруг, по первому мановению, стремглав бежал на отдаленную почту, чтобы отнести чужое письмо; как он в своей карете возил семью в театр и ночью, в проливной дождь взлезал на козлы и отвозил ее домой; как он на частном спектакле должен был разыгрывать совершенно несвойственные ему комические роли, кувыркался, выкидывал фарсы и потешал публику. Друзья говорили, что жалко было его видеть. Он сам понимал свое положение, но не в силах был от него отделаться. В один из последних приездов его в Москву, я в разговоре с ним сказал по какому-то случаю: «Это – фальшивое положение! – воскликнул с живостью Тургенев. – Да в жизни ничего нет прочнее фальшивого положения. Раз вы в него попали, вы ни за что на свете из него не выберетесь». Я рассмеялся.

К отчуждению от отечества присоединилась внезапно постигшая его потеря популярности среди тогдашней волнующейся молодежи. Тип Базарова показался недостаточно привлекательным руководителям политического движения в русской литературе. На автора «Отцов и детей» учинен был поход; его смешивали с грязью. Бедный Тургенев совсем растерялся; он любил популярность, особенно между передовыми людьми, и привык к ней, а тут совершенно неожиданно на него обрушилась такая беда. Он стал извиняться, печатал статьи, в которых заявлял, что он сам разделяет почти все мнения Базарова, сошелся в Париже с нигилистическою шайкою, устраивал в пользу их концерты и чтения, хлопотал за них, когда они попадались в какие-нибудь политические проделки, в новых повестях старался выставить их героями, наконец, в напечатанном «Стихотворении в прозе» именовал святою девушку, отбросившую всякий стыд и готовую на все преступления. До такого позорного раболепства перед отребьем русского общества унизился по слабодушию этот человек, занимавший первое место в русской литературе! Столь мастерски им самим очерченные Елизаветы Кукшины и Матрены Суханчиковы превращались в святые и становились провозвестницами будущего! Как неизмеримо высоко стоял перед ним в этом отношении Герцен, который сам был революционером и во многом разделял убеждения нигилистов, но у которого живо было нравственное чувство. Видая их близко, он возмущался ими до глубины души и

в частных письмах хлестал их так, как умел хлестать. В его глазах это была гниль на корню, непристойная болезнь революционного дома терпимости, нечистоплотные животные, расплодившиеся в грязной среде «Современника». А Тургенев этих нечистоплотных животных окружал ореолом героизма и святости!

Зато после большого искуса, он был, наконец, прощен. Последний приезд его в Москву, в конце семидесятых годов, был настоящим триумфом. Когда он появился в Обществе любителей словесности, прием был восторженный; рукоплескания не умолкали; студент Викторов, вожак социалистов между студентами, с хором говорил ему речь; молодые профессора давали ему обеды; в честь его дан был и публичный обед по подписке; актеры устраивали ему праздники; красивые дамы врывались к нему, больному, в комнату; от посетителей не было отбою. Он сам с большим юмором рассказывал, как он усталый вернулся из заседания Общества, а тут уже давно ожидала его дама, актриса московского театра, которая с отчаянием ходила взад и вперед, восклицая: «Когда же он, наконец, приедет?» И как скоро он появился, жаждающий отдыха, его вдруг схватили, окутали в шубу, посадили в сани, повезли с Пречистенского бульвара на Мещанскую, и на всем протяжении этого длинного пути учинившая над ним насилие дама окутывала его и обмахивала его платком. Когда же он приехал, то все гости встретили его у порога, ввели в зал, где красовался огромный пирог, украшенный лентами, на которых были написаны заглавия всех его повестей. Ему говорили речи, пили за его здоровье и насилию, наконец, отпустили его домой, совершенно изнеможенного.

Юмор приберегался, впрочем, для одних актеров. Другие никак не менее комические заявления он принимал за нечто серьезное. Без сомнения, высоким комизмом отличалось предприятие красивой купчихи Пустоваловой и юркого беллетриста Боборыкина, которые затевали политический журнал с целью приготовить Россию к конституционным учреждениям, и всего удивительнее было то, что под крылышко этой странной пары приютились молодые профессора Московского университета: Ковалевский, Муромцев, Бугаев, у которых было столько же политического смысла, сколько у их патроннов. Тургенева повезли на подготовительное заседание этого никогда не родившегося в свет журнала, и он вернулся оттуда в полном восторге. «Как они говорят! – восклицал он. – Я им сказал: ну, господа, вы далеко ушли вперед; в наше время так не говорили». В особенности его пленил Бугаев, которого он возвел даже в предводители левого центра в будущем русском парламенте. Меня это удивило, ибо я знал, что Бугаев хороший математик, а в остальном совершенный кривотолк. Скоро дело выяснилось. Через несколько дней после этого знаменитого заседания Тургеневу дан был публичный обед.

Главным оратором выступил Юрьев, который произведен был в люди сороковых годов, и мирозерцание которого после его смерти разбиралось в Психологическом обществе, хотя в сороковых годах никто о нем ничего не ведал, а мирозерцание его состояло в чистейшем сумбуре; затем импровизировал несколько громких и пустых фраз адвокат Плевако; наконец, выдвинулся Бугаев. И что же я увидел. Этот восхваленный оратор вытащил из кармана маленькую бумажку и запинаящимся голосом прочел настроченную им галиматью о том, что Тургенев подмечал молекулярные движения общества. После обеда я подошел к Ивану Сергеевичу и шепнул ему на ухо: «А ваш Мирабо совсем осрамился». «Да, сегодня вышло неудачно», – грустно отвечал он. Тургенев поехал и на свидание с Викторовым и оттуда вернулся также в полном восторге. «Умен, как день!» – говорил он. Но и тут скоро последовало разочарование. Несколько дней спустя Викторов принес ему свои стихотворения, и они оказались так пошлы, глупы и даже безграмотны, что с тех пор уже Тургенев о нем совершенно замолк. Должно быть, было уже из рук вон плохо, если даже Тургенев, несмотря на все желание, не решился похвалить; ибо в это самое время он восторгался такими произведениями, которые способны были возбудить только смех. Однажды я прихожу к нему и вижу перед ним толстую рукопись. «Что это такое?» – спросил я. «Как вам сказать? – отвечал он. – Вы, пожалуй, не поверите, если я скажу вам, что это русская Жорж-Занд, но во всяком случае, это близко к тому подходит. Я еще, как известно, иногда увлекаюсь; но и Анненков тоже находит». Я с нетерпением ожидал появления в печати этого необыкновенного произведения, хотя знал, что похвалы Ивана Сергеевича раздаются самым странным образом. Незадолго перед тем в «Петербургских Ведомостях» появилась сальная пошлость некоей госпожи Г. с предисловием Тургенева, в котором он восхваляет прелесть и грацию этого рассказа. Я думал, однако, что в этом случае он, может быть, не устоял против просьбы дамы, но тут он высказывался наедине, стало быть, не было повода говорить не то, что было на уме. Наконец, явилась знаменитая повесть; это была «Варенька Ульмина»! Я тотчас прочел отрывки из нее Станкевичу и Кетчеру, и мы не мало смеялись и над автором, и над покровителем возникающих талантов. Но возможно ли было сохранить вкус и чувство изящного, постоянно якшаяся с нигилистами?*

Несмотря, однако, на эти триумфы, Тургеневу не посчастливилось с другой стороны. Нигилисты его помиловали; зато Катков обрушился на него с самой площадной бранью, не только забыв всякие

* Автором романа «Варенька Ульмина», напечатанного в «Вестн. Европы», 1879, №№ 11 и 12, была Любовь Яковлевна Стечкина.

приличия, которых он никогда не знал, но и не обращая ни малейшего внимания на то, что писатель, которого произведения составляли красу русской литературы, даже в своих слабостях заслуживал снисхождения. При таких условиях оставалось только возвратиться в Париж. Там он, по крайней мере, жил в образованной среде, где ценили и тонкий его ум, и высокий талант, и образование, и блестящий разговор, и врожденное чувство изящного, которое, несмотря на увлечения, никогда в нем не иссякало. В России же в это время литературная жизнь не представляла ничего, кроме пустых ярлычков, из-за которых происходили кабацкие схватки. В Париже он и умер, окруженный почетом. Французы возвели его даже в мыслителя, открывающего новые горизонты и раскрывающего всю глубину славянского духа, чего в России никогда в нем не подозревали и чего, разумеется, в нем никогда не было. Он был и остался одним из самых привлекательных русских писателей, который не заглядывал глубоко в человеческую душу и в общественные явления, но умел в прелестных, изящных очерках изображать современную ему русскую частную жизнь.

Из петербургских приятелей Тургенева ближе всего к нему был Павел Васильевич Анненков, с которым я тоже скоро сошелся. Это был человек необширного ума, сдержанный и осторожный, но обходительный и образованный, много путешествовавший, много видевший, одаренный тонким чувством изящного, хотя нередко он высказывал свои суждения в слишком замысловатой и затейливой форме. Тургенев говорил про него, что он ко всякой мысли хочет подойти сзади. Самыми приятными обедами у Тургенева были те, когда я их заставлял вдвоем с Анненковым. Тут были живые, преимущественно литературные беседы, каких в это время не было даже в Москве. Всякое литературное явление разбиралось и оценивалось тонко и отчетливо. Оба приятеля восторгались недавно вышедшими стихотворениями Фета. Стихи читались вслух; отмечались их поэтические красоты, а иногда смеялись над прорывавшимися в них бессмыслицами. Тургенев знал наизусть два стихотворения, одно под заглавием «Мщение трубадура», а другое с повторяющимся в конце каждой строфы стихом «Рододендрон, рододендрон!» В обоих с первой строки до последней не было ни малейшего смысла, и ничего нельзя было понять*.

Приятность бесед нарушалась, когда приходили другие петербургские литераторы: Дружинин, с глазами в виде щелей, с тонкими усиками и с гнусливым голосом; Григорович, который в то время был

* Шуточное стихотворение Фета «Рододендрон» впервые напечатано в альманахе «Северные цветы» на 1901 г., изд. «Скорпион», М., 1901; «Мщение трубадура», по-видимому, опубликовано не было.

совершеннейшим хлыщем, кричал, жестикулировал, говорил пошлости, рассказывал сплетни; толстый и грубоватый Писемский; полусонный Гончаров; Иван Иванович Панаев со своим пошлым дендизмом, в парике, с висящим от него на лбу клоком волос. Все они производили на меня неприятное впечатление. Однажды в бытность мою в Петербурге приехал туда Василий Петрович Боткин и задал у Тургенева обед для всех петербургских литераторов. Мне никогда в жизни не случилось быть в обществе, которое произвело бы на меня такое отталкивающее действие. Весь разговор от начала до конца был невообразимо грязный. Григорович с пафосом излагал свои сластолюбивые фантазии; Панаев чуть ли не с самим Боткиным вел беседу о самых утонченных подробностях чувственных наслаждений. Я уехал с омерзением. Из петербургских литераторов один только Некрасов в это время не бывал у Тургенева. Он был болен и не выходил из дому. Несколько уже позднее Тургенев предложил мне повезти меня к Некрасову, говоря, что он очень умен и что с ним надобно познакомиться. Я согласился, хотя не совсем охотно, ибо мне известна была нравственная несостоятельность этого человека. Я достоверно знал всю историю пересылки денег Огаревым его жене, с которой он разъехался и которая жила в Париже. Деньги пересылались через Панаеву, которая открыто жила с Некрасовым и находилась под совершенным его влиянием. Жена Огарева умерла в Париже в полной нищете. После ее смерти все ее бумаги были присланы мужу; оказалось, что она денег никогда не получала. Огарев потребовал возвращения выданных сумм, и когда в этом было отказано, подал жалобу в суд. Сатину было поручено вести это дело. Однако до судебного решения не дошло; деньги были возвращены сполна. Никто в этом не обвинял Панаеву, которая была игрушкой в руках Некрасова. В то же время этот демократ вел большую игру и составил себе порядочное состояние в карты. Единственный визит мой Некрасову памятен тем, что я тут в первый и последний раз видел Чернышевского, который тогда только что выступал на литературное поприще. Небольшого роста, худой, белокурый, с тихим голосом, он мало говорил, но поразил меня решительностью своих суждений. Я не подозревал, что в этом мизерном семинаристе я вижу перед собою того человека, которому суждено было помутить умы значительной части русской молодежи, сбить Россию с пути правильного, законного развития и снова вызвать в ней господство самого широкого произвола. Много лет пройдут, прежде нежели залечатся нанесенные им отечеству раны. Однажды за обедом у Кавелина я видел и Добролюбова, который давал уроки его сыну. Разговор, как и всегда у Кавелина, был оживленный, но Добролюбов во все время обеда сидел неподвижно и упорно молчал. Я не слышал даже звука его голоса.

Кроме петербургского литературного круга, мне довелось узнать в Петербурге и все прелести бюрократических порядков. Я испытал их по поводу своей диссертации. Никитенко, к которому адресовал меня Грановский, принял меня весьма любезно и дал записку к Неволину, тогдашнему декану юридического факультета. Я отправился к Неволину. Он вышел ко мне в столовую и принял меня стоя. Меня это поразило; я такого приема не встречал даже у самых пошлых профессоров Московского университета. Петербургская чиновничья среда налагала особенную печать на все отношения. Неволин сказал мне, что факультет моей просьбы разрешить не может, а что надобно обратиться к попечителю. Я навел справки о попечителе Мусине-Пушкине. Мне сказали, что он болен и никого не принимает, но что, даже когда он здоров, от него просителям иногда приходится очень жутко. Делать было нечего; ждать я не хотел и должен был с пустыми руками отправиться назад. Однако, я не отчаялся. На следующий год произошла перемена; министром народного просвещения назначен был Норов, о котором ходила молва, что он добрый и обходительный человек. Я решился снова попросить счастья в Петербурге. На этот раз Никитенко отправил меня прямо к министру. Я взял в карман свое прошение и ждал более часу; наконец мне объявили, что началась обедня и министр пошел в церковь. Чиновник прибавил, что если мне что-нибудь нужно, то я могу адресоваться к правителю канцелярии, который сидит в соседней комнате. Как новичок, я согласился и объявил правителю канцелярии, что мне нужно; он взял мою просьбу и сказал, что доложит министру. Когда я рассказал об этом Никитенко, он воскликнул: «Что вы наделали! Теперь это пойдет канцелярским путем, и вы никогда ничего не добьетесь. Вам необходимо лично представиться министру и объяснить ему свое дело». Нечего делать, надо было вторично являться к министру. На этот раз я его дождался; он наконец вышел, приветливо выслушал мою просьбу, пожал мне руку и сказал, что это очень легко сделать. Я остался совершенно доволен. Ответ я должен был получить через правителя дел; но тот сказал мне, что решение я узнаю от директора департамента. Я отправился к директору; последний с сомнительным выражением заметил, что это дело не так легко сделать, как думает министр. Я спросил, когда же, наконец, я могу узнать свою судьбу; он отвечал, что мне сообщится решение начальником отделения. Я явился к начальнику отделения, который объявил мне, что исполнить мою просьбу решительно невозможно и что надобно от этого отказаться.

Таким образом, мои хлопоты привели ни к чему. Все двери были мне заперты. Диссертация, над которой я так усердно работал, не могла увидеть свет, и весь мой магистерский экзамен оказывался напрасным. При таких условиях мудрено ли было впасть в хандру? Си-

деть у моря и ждать погоды вовсе не свойственно двадцатисемилетнему молодому человеку, который чувствует в себе силы и жаждет деятельности. Меня томила тоска; чтобы заглушить ее, я зимою еще с большим рвением ездил в свет; а летом в грустном раздумьи бродил по полям и лесам, для себя складывал стихи и продолжал углубляться в философию, в ожидании лучших дней.

Но уже приближалась гроза, которая должна была освежить тот спертый и душливый воздух, которым мы дышали. Издали уже слышались раскаты грома; они раздавались все ближе и ближе. Наконец, гроза разразилась в самых недрах отечества. С напряженным вниманием следило русское общество за всеми переходами этой войны. Сначала Синопский бой исполнил его патриотическим одушевлением: но затем одно за другим приходили роковые известия: высадка неприятеля в Крыму, Альма, Инкерман, Балаклава, Черная. Все это показывало, что войска образованных народов не так легко закидать шапками, как воображали закоснелые патриоты. Оборона Севастополя возбуждала и страхи, и восторг. Со всей России собирались ополчения, в которые шли даже люди из общества, никогда не знавшие военной службы, как Юрий Самарин и Иван Аксаков. Для славянофилов в особенности это была священная война, борьба за православие и славянство, окончательное столкновение между Востоком и Западом, которое должно было вести к победе нового молодого народа над старым одряхлевшим миром. Тютчев писал восторженные стихотворения, в которых взывал к русскому императору, убеждая его короноваться в святой Софии и встать, «как всеславянский царь»*. Однако более трезвые славянофилы понимали, что Россия в настоящем своем положении мало способна к исполнению великого исторического призвания. Хомяков написал по этому поводу стихотворение, которое мигом облетело Москву. Как теперь помню, я шел по Страстному бульвару, вдруг вижу, что навстречу мне едет Н. Ф. Павлов. Он выскочил из саней и уже издали воскликнул: «Ты читал стихи Хомякова?» Он вытащил их из кармана и прочел мне их на улице. Я был в восторге. Никто еще с такою силою ни изображал современного нашего положения:

В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймена,
Безбожной лести, лжи тлетворной
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна.
Хомяков призывал Россию к покаянию:
О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой

* Известное стихотворение Ф. И. Тютчева «Не гул молвы прошел в народ», напечатанное впервые в «Современнике» в 1854 г.

Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказанья
Не грянет над твоей главой.
С душой коленопреклоненной,
С главой лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной
И раны совести растленной
Елеем плача исцели.

Но нужна была совершенно детская вера в спасительную силу молитвы и исповеди, для того, чтобы вообразить себе, что народ может в одно прекрасное утро покаяться, сбросить с себя все грехи и затем встать обновленным и разить врагов врученным ему божьим мечем. Те, которые глубже понимали исторические задачи, знали очень хорошо, что для истинного обновления нужны многие годы и много бескорыстного и самоотверженного труда. Положение русских людей, которые ясно видели внутреннее состояние отечества, было в то время трагическое. Тут дело шло уже не о внешних победах, а о защите родного края. Русское сердце не могло не биться при рассказах о подвигах севастопольских героев. А между тем, нельзя было не видеть, что победа могла только вести к упрочению того порядка вещей, который с такой горечью и с такою силою бичевал Хомяков, к торжеству того бездушного деспотизма, который беспощадно давил всякую мысль и всякое просвещение, уничтожал всякие благородные стремления и всякую независимость. Мудрено ли, что Грановский писал в одном письме, что он хотел бы пойти в ополчение, не затем, чтобы желать победы России, а затем, чтобы за нее умереть.

Изучая историю, я все более убеждаюсь, что война бывает полезна, главным образом, побежденным, если только в них есть довольно силы, чтобы воспользоваться своим поражением для внутреннего обновления. Редки те минуты в историческом развитии народов, когда победа является результатом долгих трудов и усилий и возвещает зарю новой жизни. Такова была Полтавская битва. Как часто, напротив, упоение успехом становится источником нового зла. Победы Наполеона были благом для побежденных, но Францию они привели к деспотизму и к разорению. У нас за великими войнами 12-го 13-го и 14-го годов следовал период аракчеевщины. И на наших глазах, что породили победы Германии, как не тяготеющий над Европою невыносимый милитаризм, господство грубой силы, презрение ко всему человеческому? Сколько неизмеримо выше стояла раздавленная Пруссия 1807 года, воспрянувшая с такою изумительною энергиею! Точно так же и Крымская война была, в сущности, полезна только для нас. Поражение открыло перед нами новую эру.

Среди этого военного грома, 12 января 1855 года Московский университет праздновал свой столетний юбилей. Депутации и гости стеклись со всех концов России. Торжество было громадное, но печальное для истинных друзей просвещения. Нельзя было не скорбеть душою, видя, как низко пало учреждение, еще недавно стоявшее так высоко. Им управлял военный генерал; в нем властвовало все пошлое и раболопное. В самое это время в нем вводилось военное обучение. Студентов ставили во фронт и заставляли маршировать на университетском дворе. На самом празднестве пошлость выдвигалась вперед на каждом шагу, в каком-то умиленном упоении. Шевырев написал раболопную кантату, которая декламировалась на акте с аккомпанементом оркестра. И все завершилось обедом, который профессора дали попечителю. Грановский поехал, чтобы не подавать повода к новым нареканиям. Но трое из молодых профессоров: Леонтьев, Кудрявцев и Соловьев отсутствовали, притом не предупредив Грановского. Поступок был нехороший. Никогда я не видел Грановского так возмущенным. От сторонних, конечно, всего можно было ожидать; но тут ближайшие его товарищи, с которыми он был в самых дружеских отношениях, оказали ему такое неуважение. «Нет, это подло!» – воскликнул он, наконец. Виновником, разумеется, был Леонтьев. На обеде Шевырев прочел торжественную оду в честь Назимова, которого он возвеличивал в напыщенных строфах. Она начиналась так:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что нашими сердцами
Умеешь мирно обладать,
За то, что чтить отцов преданье,
Науки любишь красоту,
И ценишь высоту познания,
Но больше сердца чистоту.

Когда эти стихи появились в печати, я тотчас написал пародию, стараясь сохранить все обороты и даже рифмы. Привожу ее как выражение тогдашнего настроения:

Тебе судил всевышний с нами
Столетний праздник пировать,
За то, что мерными шагами
Умеешь ты маршировать,
Что чтить на службе ты дубину,
Мундиров любишь красоту,
За то, что ценишь дисциплину
А также комнат чистоту.
Тупей последнего солдата,
Честолюбив, как дворянин,

Пристроил тестя ты и брата,
Ты в службе верный семьянин.
Служа с безграмотностью барской,
Ты фрунту предан целиком,
Ты генерал по воле царской,
А все ж остался дураком.
Себя комедией взаимно
Мы потешали всей семьей;
Когда читали строфы гимна,
Как все смеялись, боже мой!
*Наш праздник глупость острамила
Но подлость скрасила его;
В одной лишь подлости есть сила
В ней радость, слава, торжество*.*
Наш храм под высшим попеченьем
Давно покорствуется судьбе,
Но днесь военным обученьем
Он опозорен при тебе.
Да, много гадостей в нем было,
Властям тупым благодаря,
Но все те мерзости затмило
Даянье новое царя.
*И этот праздник омраченья
Вершим мы пиром в честь твою
Поддай нам, господи, терпенье,
Чтоб выносить тебя, свинью!****
Но тщетный ропот не поможет,
Мы шлем начальнику привет:
Блажен, кто удалиться может,
Кто не приехал на обед.
Крепка военной власти сила,
Твоих безмерна глупость дел;
Но мудрость божья положила
Величью нашему предел,
И будь ты во сто раз сильнее
А все ж не сделаешь никак
Чтоб был Альфонский поумнее,
Чтоб Шевырев был не дурак.

* В пародиируемом тексте было:

Любовь наш праздник озарила,
Любовь украсила его
В одной любви живая сила,
В ней радость, слава, торжество

*** В пародиируемом тексте было:

И этот праздник просвещенья
Вершим мы пиром в честь твою

Я прочел эту пародию Павлову, который пришел от нее в восторг, и все носился со стихами, увы, даже поныне не потерявшими своего значения:

В одной лишь подлости есть сила,
В ней радость, слава, торжество.

Но отец пришел в ужас от моей неосторожности и разрешил мне сказать эти стихи одному только Грановскому, а затем не давать их решительно никому. Я так и сделал, но тут же пустился в более опасные предприятия. На юбилей прибыл из Петербурга Кавелин. Однажды он приехал ко мне и стал говорить, что положение с каждым днем становится невыносимее и что так нельзя оставаться. О каком-либо практическом деле думать нечего, печатать ничего нельзя; поэтому он задумал завести рукописную литературу, которая сама собою будет ходить по рукам. С этим предложением он к первому обратился ко мне, надеясь найти во мне соотрудника. Я с жадностью ухватился за эту мысль, которая давала исход моим либеральным убеждениям и моему стремлению к деятельности. Решено было, что я для пробы напишу статью и в феврале привезу ее показать ему в Петербург. Кавелин крепко заказал мне хранить все это в глубочайшей тайне и не говорить об этом даже Грановскому, опасаясь, чтобы он как-нибудь не проговорился. Я обещал, ибо сам видел, что за это можно сильно поплатиться, и если для себя ничего не боялся, то отнюдь не хотел огорчать родителей.

Я с жаром принялся за работу и скоро написал статью о животрепещущем вопросе дня под заглавием «Восточный вопрос с русской точки зрения»*. В половине февраля я собрался отвезти ее в Петербург. Все уже было у меня готово, и я должен был ехать на следующий день, как вдруг пришла из Петербурга громовая весть: император Николай скончался! Все были ошеломлены, ибо никто не подозревал даже его болезни. Я немедленно поскакал к Грановскому, который уже знал об этом событии. Впечатление было потрясающее. Казалось, что рухнул колосс, который все давил и никому не давал вздохнуть. С ним вместе разрушался и созданный им ненавистный порядок вещей. Что сулило будущее, этого еще никто не мог сказать; оно скрывалось под туманною завесою. Но в настоящем почувствовалось внезапное облегчение, как будто гора свалилась с плеч, и дышать стало свободнее. Разом пробудились и бодрость духа, и светлые надежды на лучшие времена.

Маленькая простуда удержала меня дня два в Москве. Наконец я поехал. Я должен был остановиться у брата Владимира, который слу-

Пошли, господь, благословенье
На милую твою семью!

* Напечатано в приложении к книге: «Записки князя С. П. Трубецкого», СПб., 1906.

жил тогда в гатчинских кирасирах и жил на Галерной. Но проехать к нему с железной дороги не было возможности. Я попал в самую минуту похорон. Улицы были запружены народом. Оставив тут извозчика с чемоданом, я нанял скамейку и влез на нее, чтобы посмотреть на процессию. Передо мною тянулись длинные ряды полков с траурными знаменами, шли пешком представители всех учреждений, государственные сановники, придворные чины; церемониймейстеры ехали верхом в раззолоченных мундирах. Наконец, явилась пышная погребальная колесница, на которой покоились останки умершего монарха, и за нею спокойно и с грустным видом шел высокий и тогда еще стройный новый государь. Все это тихо двигалось через Николаевский мост к Петропавловской крепости. Погребался не только русский царь, тридцать лет безгранично властвовавший над Россиею, но вместе с ним и целый порядок вещей, которого он был последним представителем. В Николае I воплотилось старое русское самодержавие во всей своей чистоте и во всей своей неприглядной крайности. Внешнее впечатление он производил громадное. Внем было что-то величавое и даже обаятельное. Он чувствовал себя безграничным владыкою многих миллионов людей, избранным богом главою великого народа, имеющего высокое призвание на земле. Он знал, что единое его слово, единое мановение может двигать массы; он знал, что по прихоти своей воли он может каждого из этих многих миллионов возвеличить перед всеми или повергнуть в ничто. Это гордое чувство силы и власти отражалось на всем его существе. Самая его высокая и красивая фигура носила на себе печать величия. Он и говорить умел, как монарх. Действие на приближающихся к нему часто бывало неотразимое. Всякий чувствовал, что он видит перед собою царя, предводителя народов.

Но под этим внешним величием и блеском скрывалась мелкая душа. Он был деспот и по натуре, и по привычке, деспот в полном смысле слова. Он не терпел никакой независимости и ненавидел всякое превосходство. Даже внешняя красота оскорбляла его в других. Он терпеть не мог совершенно безобидного Монго-Столыпина за то, что он слыл первым красавцем в Петербурге. Он один должен был быть все во всем. В каждой отрасли и сфере он считал себя знатоком и призванным руководителем. Никто ни в чем не должен был с ним соперничать, и все должны были перед ним преклоняться и трепетать. И эта непомерная гордыня, это самопревознесение не знающей границ власти не смягчались, как у Людовика XIV, приобретенными в образованной среде привычками утонченной вежливости. Они соединялись с чисто солдатскими ухватками и проявлялись над беззащитными людьми во всей своей грубости и наглости. Он как зверь обрушивался иногда на несчастного юношу, который стоял или смотрел не так, как требовалось его идеалом солдатской выправки.

Я слышал об этом самые удивительные рассказы очевидцев. В нем не было и смягчающего необузданные порывы власти милосердия или жалости. Ни в чем не повинные или виновные лишь в юношеском легкомыслии молодые люди в течение многих лет подвергались самым суровым наказаниям. Вся жизнь их беспощадно комкалась и ломалась. Декабристов он гнал до конца, не выпуская их из ссылки и не позволяя им даже воспитывать своих детей в России. Батенкова он тридцать лет без всякого повода держал в одиночном заключении*.

Однако, когда он хотел, он умел быть приятным и даже обворожительным. Чувство власти не исключало в нем лицемерия, когда оно требовалось для его целей. С иностранцами он кокетничал, стараясь выказываться перед ними вовсе не таким, каким он был на деле. Он кокетничал перед Гумбольдтом**; он кокетничал перед Мурчисоном***, который называл его «мой коронованный друг». В действительности же ему не было ни малейшего дела ни до науки, ни до образования, которые он в России старался подавать, нисколько позволяло приличье. Он пытался обворожить и Гамильтона Самура****, но на этот раз это ему не удалось.

Иногда кокетство обращалось и на подданных, которых он почему-либо хотел к себе приманить. Он очаровал вышедшего в отставку Ермолова, которого уговорил вступить на службу с тем, чтобы уронить его популярность и затем оставить на всю жизнь заштатным генералом. Он кокетничал с Пушкиным, вернув его из ссылки и взявшись быть цензором его стихотворений; он кокетничал даже с Юрием Самаринным, который был посажен под арест за «Рижские письма» и затем прямо из заключения был привезен в кабинет государя. Пушкин поддался искушению и отплатил за это стихами, в которых возвеличивал нового царя; но после неожиданной смерти великого поэта всякие печатные восхваления его памяти были строжайшим образом запрещены, ибо монарх не терпел похвал, расточаемых дру-

*Декабрист Гавриил Степанович Батеньков (1793 – 1863), двадцатилетний срок отбывал в форте Сзартгольме на Аландских островах и в Петропавловской крепости в очень тяжелых условиях, затем был сослан в Томск на поселение; дожил до амнистии.

** Гумбольдт (1769 – 1859), знаменитый немецкий географ, посетил Россию в 1829 г.

*** Мурчисон (1792 – 1871), выдающийся английский геолог, совершил научно-исследовательское путешествие по России в 1840 и 1841 гг., результатом которого явилось капитальное исследование по геологии Европейской России, напечатанное в 1845 г.

**** Сэр Гамильтон Сеймур (1796 – 1880), английский посланник в Петербурге в 1851 – 1854 гг.

гому. Точно так же Тургенев был посажен на гауптвахту за сочувственную статью по поводу смерти Гоголя.

Ему нужно было не только привлечь к себе людей, которых он не считал возможным преследовать; ему надобно было их нравственно унижить. Пушкин должен был состоять на службе: его против воли произвели в камер-юнкеры. Николай терпел вокруг себя только людей, искушенных в придворной лести или совершенные ничтожества. В начале своего царствования он был еще несколько разборчивее. Он вступил на престол при смутных обстоятельствах, а между тем, хотел прославиться и перед Европою играть роль просвещенного монарха. От своего предшественника он получил целую фалангу людей, если не с высокими характерами, то умных и образованных. Он ценил их, старался сделать их покорными орудиями своей воли, в чем нетрудно было успеть; они составили славу его царствования. Но чем более он привыкал к власти и исполнялся чувством своего величия, тем более он окружал себя раболопным ничтожеством. Когда Вронченко заявил ему, что не чувствует себя способным быть министром финансов, Николай отвечал: «Я буду министр финансов». Причина милости, которой удостоился Вронченко, выясняется анекдотом, ходившем в то время в обществе. В ожидании выхода государя несколько министров разговаривали между собою, и Вронченко нюхал табак. В эту минуту, как государь вошел, у него между пальцами была щепоть, и он, опустив руку, стал понемногу выпускать табак на пол. Меньшиков, заметив это, улыбнулся; но государь резко сказал, что подданному делает честь, если он боится своего государя. Немудрено, что в верховных правительственных сферах, а также в окружающем двор высшем аристократическом обществе произошло громадное умственное и нравственное понижение. Чтобы убедиться в этом, стоит сравнить людей, которых Николай получил от своего предшественника, и тех, которых он передал своему преемнику. Когда пришлось приступить к реформам, среди сановников не оказалось ни одного, который был бы в состоянии руководить делом. На сцену выступили второстепенные деятели, проникнутые либеральным духом и скрывавшиеся прежде в тени.

Такое же понижение произошло и во всех сферах администрации. При всей безграничности своей власти Николай не умел провести даже той реформы, которая ближе всего лежала у него к сердцу, – освобождение крестьян. Он чувствовал, что Россия не может оставаться при том необузданном помещичьем праве, которое в то время господствовало у нас. Он любил безграничную власть, но в своих, а не в чужих руках; а тут было соперничество; все, что отдавалось помещику, отнималось у правительства. Но русского дворянства он опасался, а потому не решался принять сколько-нибудь действительные меры. Под конец вопрос совершенно замолк.

В последние годы царствования деспотизм достиг самых крайних размеров и гнет сделался совершенно невыносим. Всякий независимый голос умолк; университеты были скручены; печать была подавлена; о просвещении никто уже не думал.

В официальных кружках водворилось безграничное раболепство, а внизу накопала затаенная злоба. Все, по-видимому, повиновалось беспрекословно; все ходило по струнке. Цель монарха была достигнута; идеал восточного деспотизма водворился в русской земле.

И вдруг все это столь сурово оберегаемое здание оказалось гнилым в самом основании. При первом внешнем толчке обнаружилась та внутренняя порча, которая подтачивала его со всех концов. Администрация оказалась никуда не годною, казнокрадство было повсеместное. Положиться было не на кого; везде царствовала неспособность. Даже армия, любимое детище царя, лишена была самых необходимых для действий орудий, и все доблести русского солдата тратились напрасно в неравной борьбе. В то время как для забавы императора вводились ружья, которые на маневрах в одно мгновение производили известный звук, ружья, служащие для настоящей стрельбы, были совершенно негодны. Все было устремлено на одну внешность, а о существе дела никто не заботился. И вот одна за другою стали приходить страшные вести. Презираемый враг вступил на русскую землю, осаждал первоклассную крепость; знаменитый черноморский флот погиб; все попытки отразить неприятеля кончались поражением.

Николай этого не вынес. Он разом свалился, и с ним вместе рухнул и весь державшийся им строй. Для России наступала новая пора, которая вслед за радужными надеждами должна был принести свои скорби и свои разочарования, но уже иные, нежели прежде. Прошлое было похоронено навеки. Вместе с царскою колесницею оно двигалось в Петропавловский собор.

Литературное движение в начале нового царствования

Приехав в Петербург в день похорон Николая I, я на этот раз пробыл там довольно долго. Брат Владимир, у которого я остановился, занемог тифом. Мать, по этому случаю, приезжала на несколько дней из Москвы, и я остался при нем до конца апреля, пока он не оправился. Вскоре он, по совету докторов, вышел в отставку и переехал в деревню. Отец, который сам недомогал, передал ему управление имениями.

По обыкновению, я во все время пребывания в Петербурге, почти каждый день виделся с Кавелиным. Моею статьею о восточном вопросе он остался очень доволен и решил пустить ее в ход, но заметил, что с новым царствованием надобно писать другим тоном, более мягким и уважительным в отношении к правительству. Я сам был того мнения, и в виде пробы написал маленькую статью под заглавием «Священный союз и австрийская политика». Кавелин ее одобрил и тоже пустил в ход. Впоследствии она была напечатана в «Голосах из России». В это время к нашему заговору присоединилось еще третье лицо, которого имени Кавелин мне, однако, не открыл. «Представьте, – сказал он мне однажды, – ко мне пришел один господин и сам взялся написать статью о прошлом царствовании, с целью пустить ее в ход в виде рукописи. Я, разумеется, ухватился за это обеими руками». Через несколько времени он принес мне обещанную статью, которая также была напечатана в «Голосах из России», под заглавием: «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии». Впоследствии я узнал, что автор ее был общий наш приятель, Николай Александрович Мельгунов, в то время проживавший в Петербурге.

Несмотря на продолжавшуюся войну, общее настроение в эти первые дни нового царствования было радостное и полное надежд. Все чувствовали, что дышать стало свободнее; все сознавали необходимость поворота во внутренней политике и с каким-то трепетным ожиданием устремляли взор к престолу. На первых порах пришлось, однако, запастись терпением. Кроме некоторой перемены лиц, которая произвела общее удовольствие, все оставалось пока по старому. Единственные преобразования, за которые тотчас принял ся новый государь, состояли в перемене мундиров. На это с горес-

тью смотрели все, кто дорожил судьбами отечества. С изумлением спрашивали себя: неужели в тех тяжелых обстоятельствах, в которых мы находимся, нет ничего важнее мундиров? неужели это все, что созрело в мыслях нового царя во время долгого его пребывания наследником? Вспоминали стихи, писанные, кажется, в начале царствования Александра I, и прилагая их к настоящему, повторяли:

И обновленная Россия
Надела красные штаны.

Непосвященные не подозревали, что образцы новых мундиров были готовы уже в последние дни царствования Николая Павловича, и молодой государь, издавая приказы о перемене формы, исполнял только то, что он считал последнею волею отца. К этому присоединялись ходившие по городу слухи об аристократических наклонностях нового царя. Петербургская чиновная и придворная знать возмечтала о том, что она будет играть первенствующую роль в государстве. По этому поводу остался у меня в памяти один разговор. Известный впоследствии писатель Владимир Павлович Безобразов, в то время еще молодой человек, только что выступавший на литературное поприще, однажды пригласил к себе вечером несколько гостей. Были Д. А. Милютин, Кавелин, Е. И. Ламанский* и я. Ламанский все время молчал, Кавелин предавался пламенным надеждам, а Милютин старался его отрезвить, указывая на то, что оснований для слишком пылких надежд пока еще нет, а есть, напротив, повод предполагать, что водворится господство придворной знати. Со своею тихою и скромною манерою он рассказывал разные анекдоты, характеризовал лица; Кавелин становился все мрачнее и мрачнее. Мы вышли вместе. Мне с Милютиным приходилось идти по одной дороге; мы взяли первого попавшегося извозчика и сели. «Я нарочно несколько сгущал краски, – сказал мне Дмитрий Алексеевич, – зная впечатлительность Константина Дмитриевича и видя, каким он предается юношеским мечтам, я хотел посмотреть, как это на него подействует». На следующее утро, едва я встал с постели, влетает ко мне, как бомба, Кавелин. «Нет, Борис Николаевич, – воскликнул он, – неужели это возможно? Неужели после того страшного деспотизма, который тяготел над нами столько лет, придется еще выносить господство всей этой дряни?» Я рассмеялся и успокоил его, сказавши, что Милютин вовсе не считает этого дела очень серьезным. Однако мы решили, что надобно пустить в ход статью об аристократии, которую я взялся написать.

С такими-то впечатлениями и с запасом рукописных статей, ходивших будто бы по рукам в Петербурге, я вернулся в Москву. Грановский остался очень доволен статьею о восточном вопросе. Он

* Евгений Иванович Ламанский (1825 – 1902), известный финансист.

при мне сказал, что немного так хорошо написанных статей выходит и за границу, и согласился на это в доказательство, что если бы у нас была свобода печати, то явились бы таланты ныне неизвестные. Я умолчал об авторе, но внутренне почувствовал некоторое услаждение. Статья была сообщена и славянофильскому кружку; но Хомяков объявил, что она, очевидно, написана в противоположном лагере, а потому распространять ее не следует. Как истинный глава секты, Хомяков на все смотрел с точки зрения своей партии, между тем как западники усердно распространяли его патриотические стихи, не заботясь о том, в каком лагере они писаны. Впоследствии не малое удовольствие доставило мне слышать отзыв того же Хомякова по поводу моей «статьи об аристократии»*, которой происхождения он не подозревал. Он при мне уверял своих соумышленников, что она написана Юрием Федоровичем Самариным, и хотя последний упорно от этого отказывается, однако, по тону, слогу и мыслям не может быть ни малейшего сомнения, что она вышла из под его пера. Так хорошо он знал характеристические особенности своего ближайшего сподвижника! Я и тут промолчал, но внутренне смеялся довольно.

В Москве я остался недолго. Я стремился в деревню, чтобы приняться за работу. Передо мною открывалось новое поприще. Успех первого опыта в области публицистики меня ободрял, и я страстно предался новому делу. Надобно было высказать все, что мучило и волновало мыслящих людей в России, выразить как их негодование на прошлое, так и их планы для будущего. О перемене образа правления никто в это время не думал. Все понимали, что при крепостном праве и при вековом принижении общества это – дело несбыточное. Одно, чего мы жаждали, к чему мы стремились и чего ожидали от нового правительства, это – свободы умственной и гражданской. Эти стремления были красноречиво высказаны в «Мыслях вслух об истекшем тридцатилетии»: «Простору нам, простору! – восклицает автор. – Того только и жаждем мы, все мы, от крестьянина до вельможи, как иссохшая земля жаждет живительного дождя. Мы все протираем руки к престолу и молим: Простору нам, державный царь! Наши члены онемели; мы отвыкли дышать свободно. Простор нам нужен, как воздух, как хлеб, как свет божий! Он нужен для каждого из нас, нужен для России, для ее процветания внутри, для ее ограждения и крепости извне!»

Автор взывал и к обществу, предостерегая его от радикальных требований: «Одно последнее слово. Обращаюсь к вам, мои братья по родине, все равно, русские ли вы из Великой, Малой и Белой Рос-

*«Об аристократии, в особенности русской», напеч. в «Голосах из России», кн. III, Лондон, 1857, стр. 1 – 113.

сии, поляки ли, немцы или финляндцы, обращаюсь особенно к тебе, молодое поколение, цвет и надежда отечества. Пуще всего будем избегать опрометчивости, несбыточных желаний и целей, всего, что при неверной пользе могло бы нанести нам несомненный вред. Время радикализма, кажется, прошло и для Западной Европы. У нас же ему и не следует возникать; ибо у нас всякое начинание истекает сверху. Да и показал горький опыт, что попытки снизу к насильственному изменению существующего вызывали одно лишь усиление строгости. Покажем полное доверие к молодому царю, к его благородному, прямому характеру, растворенному благодушием».

Те же мысли я старался развить в статье «Современные задачи русской жизни», которая впоследствии была напечатана в «Голосах из России», однако, не в том виде, в каком она первоначально была мной написана. Вполне понимая невозможность перемены образа правления в настоящем, я признавал его целью в будущем. В моих глазах оно должно было явиться окончательным результатом требуемых преобразований. Излагая свои взгляды в рукописной статье, не стесненный никакими цензурными соображениями, я высказал их с полною откровенностью. Но когда я дал прочесть свою статью Кавелину, он заметил, что об этой отдаленной цели лучше пока умалчивать. В настоящем это не принесет никакой пользы, а может только напугать правительство, которое увидит, куда его ведут. Я с этим согласился и переделал статью в этом смысле. Но так как эту работу пришлось совершать среди петербургской суеты, которая не давала мне возможности заняться формою, то статья вышла несколько растянутая и неуклюжая. Заключение же остались прежние: требовались свобода совести, уничтожение крепостного права, свобода общественного мнения, свобода печати, свобода преподавания, публичность правительственных действий, наконец публичность и гласность судопроизводства. Это была как бы программа нового царствования, которая и осуществилась на деле. В другой статье «О крепостном состоянии» указывались и те меры, которые следовало принять для освобождения крестьян: прежде всего ограничение произвольной помещицкой власти, затем, в виде переходного состояния, введение инвентарей, наконец, полное освобождение крестьян посредством выкупа тех земель, на которых они сидели. Была написана статья и об аристократии. Брату Владимиру, который в это время вышел уже в отставку и поселился в деревне, я заказал статью о полковых командирах и их хозяйственных распоряжениях, которая впоследствии также была напечатана в «Голосах из России».

Среди этих усиленных занятий, о которых я, разумеется, не говорил родителям ни слова из опасения возбудить в них беспокойство, протекло лето. С напряженным вниманием следили мы и за ходом военных событий; которые предвещали близкую развязку.

Наконец, пришло известие о падении Севастополя. Как ни больно отозвалось оно в русском сердце, оно не только не принизило, а, напротив, подняло общий дух. Мы гордились подвигами наших героев и чувствовали, что Россия, обновившись, может воспрянуть с новыми силами. К этому обновлению устремились все помыслы. Люди, не увлекавшиеся слепым патриотизмом, хорошо понимали, что война кончена, что теперь предстоят подвиги мира. К этому они готовились, устремляя свои взоры на будущее. И вдруг, среди всех этих волнений и ожиданий, в нашей провинциальной глуши разразилась маленькая политическая гроза, которая произвела не малый переполох в патриархальной помещичьей среде. Это было первое явление такого рода в новом царствовании.

Однажды вечером, в начале осени, когда мы спокойно сидели в гостиной, мать вызывают таинственным образом. Посланный от соседки Софьи Николаевны Ивановой из рук в руки передает письмо, в котором последняя извещала, что жандармы делают обыски по всем помещичьим именьям, были у них и, вероятно, будут и у нас, а потому предупреждала, чтобы мы истребили все, что могло бы нас компрометировать. Бедная Софья Николаевна из страха сожгла всю свою историческую и политическую библиотеку, которую тщательно собирала в течение многих лет, и о которой впоследствии не могла вспомнить без слез. Мы, разумеется, не сделали ничего подобного, хотя и у нас было немало запрещенных книг. О своих рукописных статьях я не промолвил ни слова и не думал их истреблять, а только запрятал их подальше. Мы ожидали прибытия жандармов; но, к счастью, до нас дело не дошло.

Весь этот переполох произошел от довольно курьезного случая. По большой дороге между Рассказовым и Тамбовом шел дьякон. Он заметил висящий на ветке лист бумаги, снял его и увидел, что это какая-то прокламация. В чем состояла эта прокламация, осталось мне неизвестным. Никто из моих знакомых ее не видал, и в публике не ходило об этом никаких слухов. Но дьякон счел ее возмутительною. Дошедши до ближайшего села, он отправился к старосте, но не заставши его дома, передал бумагу его жене; сам же прибывши в город, счел долгом довести об этом до сведения жандармского начальства. Послан был жандарм произвести следствие. Он нашел прокламацию валяющуюся под лавкою, но ничего другого открыть не мог. Местные власти, не придавая этому делу особенного значения, на том его и прекратили и донесли о результате в Петербург. Но там взглянули на это иначе. Присланы были специальные следователи, которые, однако, в свою очередь, не могли открыть ничего.

Но тем бы дело и кончилось, если бы к этому не примешалась ходившая по рукам моя статья о восточном вопросе. Проездом через Тамбов я передал ее Николаю Александровичу Мордвинову, ко-

торый в то время жил в Тамбове, производя ревизию. Лично я с ним не был знаком, но имел к нему письмо от Кавелина. Остановившись в Тамбове довольно рано утром для перемены лошадей, я отправился к нему, велел его разбудить и вручил ему письмо вместе со статьею, которую он тотчас пустил в ход. В то время как приезжие из Петербурга чиновники производили следствие о прокламации, к местному жандармскому полковнику приходит однажды один из офицеров и доносит, что, кроме прокламации, по городу ходят и другие возмутительные писания. Одно из них читалось даже вслух у директора кадетского корпуса, Пташникова. Доноситель прибавил, что он считает своим долгом сообщить об этом и приезжим из Петербурга следователям. Полковник испугался, и во избежание нареканий решил сделать обыск у начальника корпуса. Тот немедленно выдал брошюру и сказал, от кого он ее получил. Таким образом, расследование пошло от одного к другому; жандармы разъезжали по деревням, и невинные помещики, никогда не видавшие такой напасти, самым откровенным образом выдавали друг друга. Петр Степанович Иванов сказал даже, что он получил статью от жены, и уж жандармский офицер просил не путать ее в это дело. Понятно, какой страх распространился в мирной деревенской глуши; это было нечто невиданное и неслыханное. Скоро, однако, розыски остановились именно на тех двух лицах, которым статья была передана мною, именно на Мордвинове и Якове Ивановиче Сабурове. Последний заявил, что он статью получил от своего приятеля, Льва Кирилловича Нарышкина, незадолго перед тем умершего. На этом след прекратился. Мордвинов же отперся во всем и просидел три месяца в крепости, после чего его выпустили и дали ему место по удельному ведомству. Тем и кончилась эта трагикомедия, жертвою которой сделалась только библиотека бедной Софьи Николаевны Ивановой. Это было уже не то время, когда людей за пустое слово или даже просто по подозрению ссылали в отдаленные губернии. В нашей семье с самого начала на этот счет не было никакого беспокойства. Мы только смеялись доходившим до нас рассказам.

Совершенно иное впечатление произвело на нас известие, неожиданно пришедшее из Москвы. Грановский внезапно скончался. Это был как громовой удар среди ясного неба. Со времени нашего переезда в Москву, Грановский сделался одним из самых близких нам людей. Для меня лично это был высший идеал человека; я был предан ему всею душою. И так недавно еще я видел его бодрым, здоровым, исполненным веры в будущее. После невыносимого гнета, под которым должно было умолкнуть всякое живое слово, он готовился с обновленными силами выступить на литературное поприще. Ему разрешено было издание исторического журнала, и он возвратился из деревни с тем, чтобы приняться за работу. И вдруг, неожиданно не-

гаданно, на заре новой эры, его сразила смерть. С невыносимой сердечною болью читали мы описание торжественных похорон и глубоко прочувствованные статьи, в которых воздавалась должная дань умершему. Трудно сказать, какую роль он мог бы играть при новом повороте русской жизни. Он один имел довольно таланта и авторитета, чтобы соединить вокруг себя все научные силы, чтобы направлять и умерять общее движение. Он один способен был высоко держать знамя мысли и науки и не дать ему погрязнуть в мелких распрях, в односторонних практических увлечениях, в пустозвонной журнальной болтовне. Можно думать, что если бы он остался жив, русская литература получила бы более благородное и плодотворное направление. Но этому не суждено было сбыться. Он остался в памяти всех, как лучший представитель людей сороковых годов, как благороднейший носитель одушевлявших их идеалов, идеалов истинно человеческих, дорогих сердцу каждого, в ком не иссякло стремление к свободе и просвещению. Чистый и изящный его образ был как бы живым воплощением этих идеалов. Как часто мы обращались к нему в последнее время, при постепенном упадке русской литературы, когда среди разыгравшихся страстей, узких взглядов и низменных интересов более и более иссякала в ней нравственная струя! Как часто мы говорили: что бы сказал об этом Грановский? То ли было бы, если бы жив был Грановский? Но он ушел, оставив после себя пустоту, которую ничто не могло наполнить. Заменить его никто не был в состоянии; председательское место осталось незанятым. Надобно было совокупными силами стараться как-нибудь возместить невоснаградимую потерю.

Над свежее еще могилою произошло это соединение. Еще будучи в деревне, я прочитал в газетах объявление об издании «Русского Вестника». Все друзья и товарищи Грановского были тут. Во главе стояли Катков, Леонтьев, Кудрявцев и переехавший из Петербурга Корш. В числе сотрудников я увидел и свое имя, еще не появлявшееся в печати, но уж известное в литературном мире. Все, что примыкало к либеральному кружку московских профессоров, все так называемые западники, почитатели науки и свободы, соединились для общего дела. Столько лет подавленное слово могло, наконец, высказаться на просторе.

Под этими впечатлениями я перед Рождеством приехал в Москву. Разумеется первая поездка была в столь знакомый мне флигель дома Фроловой в Харитоньевском переулке. Вдова Грановского после смерти мужа слегла в постель, и я мог видеть ее только несколько дней спустя. Но я вошел в опустевший кабинет; заливаясь слезами, увидел я хорошо знакомую мне обстановку, большое кресло, на котором он обыкновенно сидел, пюпитр на котором он писал. Образ умершего, с его умным взглядом, с его приветливою улыбкою, вос-

крес в моей душе, и я еще живее почувствовал всю горечь утраты. Вернувшись домой, я, можно сказать, с обливающимся кровью сердцем написал посвящение памяти умершего наставника своей магистерской диссертации, которую я собирался издавать и которая была им прочитана и одобрена.

Я остановился у младших братьев, которые были тогда студентами. Они квартировали в нижнем этаже так же хорошо знакомого мне дома Янишей, на Сретенском бульваре. Наверху жили Павлов и Мельгунов. Этот дом, принадлежащий ныне Маттерну, после смерти старика Яниша, достался Каролине Карловне. Сама она после катастрофы постоянно жила за границею, а так как Мельгунов был одним из главных кредиторов, то он заставил ее дать доверенность мужу для окончательной ликвидации дел. Но о частных делах в то время всего менее думали. Какой-то электрический ток носился в воздухе. Все были полны надежд и ожиданий; все порывались к общественной работе. В редакции «Русского Вестника» меня приняли самым дружелюбным образом, и я обещал написать давно назревшую у меня статью о сельской общине в России, за которую тотчас и принялся. Затем я собирался в Петербург, чтобы отвезти Кавелину свои рукописи. На пути из деревни, а также и в Москве я тщательно их прятал, ибо история со статьею о восточном вопросе не была еще кончена, и я ежеминутно мог опасаться, что меня арестуют, так же как Мордвинова. Однако, еще в Москве пришлось вывести на свет свои тайные писания.

Однажды Мельгунов по секрету сообщил мне, что у него есть рукописная статья, которая ходит по рукам. Я тотчас же изъявил желание прослушать ее и снять с нее копию. Он прочел мне, сколько помнится, «Приятельский разговор», напечатанный впоследствии в «Голосах из России». Чтобы не остаться у него в долгу, я с своей стороны сказал ему, что и у меня есть подобная же рукопись, ходящая в публике, и прочел ему одну из своих статей. Во время чтения он взглянул на меня через свои очки и, усмехнувшись, сказал: «Мы с вами, кажется, как авгуры, понимаем друг друга». Дело тотчас выяснилось. Он открыл мне, что он автор «Мыслей вслух», а я сознался в своем сотрудничестве в рукописной литературе. Союз был заключен.

Признаюсь, я получил тут более высокое понятие о Мельгунове, нежели я имел до тех пор. Я знал его давно; он был одним из самых близких приятелей Павлова, и я со студенческих лет встречал его постоянно, бывал у него, и он бывал в нашем доме. Он был человек очень образованный, много читал, много путешествовал и полон был умственных интересов. Никто не сомневался в его безукоризненной честности и доброте. А между тем даже лучшие его приятели говорили о нем всегда с некоторою иронией. Во всем его существе была

какая-то медленность, неуклюжесть и тяжеловатость, которые для посторонних заслоняли его прекрасные качества и делали его мало-привлекательным в обществе. Он и сам это сознавал. Грановский рассказывал мне, что однажды Мельгунов его тронул, признавшись, что он сам чувствует себя непомерно скучным. Он объяснял это тем, что в детстве он как-то ушиб себе голову, и с тех пор в его мозгу все совершается необыкновенно медленно. Шутки он понимал и начинал смеяться, когда уже все давно стали говорить о другом. Когда же он сам принимался шутить, то выходило нечто весьма курьезное. Однажды в ту пору, как Павлов издавал «Наше Время», Мельгунов пришел к обеду с важным видом и объявил, что он принес статью для журнала. После обеда мы уселись слушать, но пришли в полное недоумение: статья начиналась с того, что теперь в Москве очень холодно; чтобы помочь этому горю, предлагалось провести подземные трубы из Сахары. Этот проект излагался необыкновенно пространно и подробно. Наконец, Павлов не вытерпел: «Да, ради бога, – воскликнул он – что же это, наконец, такое?» «Ну как же ты не понимаешь? – отвечал Мельгунов, – это шутка. Ведь нельзя же в газете печатать одни серьезные статьи, надобно иногда позабавить публику. Вот я для тебя и придумал». Ему с трудом могли объяснить, что шутка должна быть прежде всего смешна. Павлов, который в иронии был великий мастер, нередко потешался над своим приятелем и писал на него забавные стихи. Помню следующую пародию на песню Земфиры:

Старый друг, верный друг,
Режь меня, жги меня,
Фейербаха люблю,
Умираю любя.
Он зимы холодней,
Суше летнего дня,
Как он мыслью своей
Развивает меня!
Как читаю его
Я в ночной тишине,
Как смеюся тогда
Я родной стороне!

Но Мельгунов влюблялся не в одного Фейербаха. Под эту серьезную и холодную наружность, под эту медленность в манерах и речах скрывались пылкие страсти – к женщинам и к игре. Всякая женщина могла поймать его на удочку и вертеть им, как хотела. В тот год, когда мы вступали в университет и жили на даче около Петровского парка, вдруг из Германии пришло известие, что Мельгунов женился и едет в Москву. Павлов и Шевырев, которые оба были ближайшими его друзьями, отправились с букетами на первую станцию,

чтобы встретить молодую чету. На обратном пути они заехали к нам, как опущенные в воду. Оказалось, что Мельгунова подцепила какая-то в черных локонах еврейка, с которою он связался и которая женила его на себе. Можно себе представить, как она пришлось к московскому литературному кружку. Чтобы веселить свою супругу, Мельгунов давал маленькие балы, на которые приглашал всякого рода молодых людей. Но супруга все-таки скучала неистово и несколько лет спустя уехала обратно в Германию, бросив мужа, который дал ей порядочную сумму денег. На этом он не остановился; похождения продолжались до преклонных лет. От большого состояния не осталось почти ничего. Когда я поехал за границу, я навестил его в Гомбурге, где нашел его без гроша, но с француженкой и при рулетке.

Для поправления обстоятельств он принялся писать романы, ожидая от них большой прибыли. На этом поприще он подвизался еще в молодых летах. Мне однажды попала в руки небольшая книжка его юношеских рассказов. Редко мне случалось читать что-нибудь более забавное по своей нелепости. Это были какие-то бесконечно запутанные сети самых невозможных интриг. Романы, писанные им в старости, кажется, никогда не появлялись в печати, по крайней мере, имя его оставалось неизвестным. Но об них ходили разные анекдоты. Однажды П. В. Анненков встречает его на улице, против обыкновения быстро шагающего с озабоченным видом. «Куда это вы так спешите, Николай Александрович?» – спросил он. «Бегу к Краевскому. Я пишу для него роман и хочу попросить его съездить к цензору и спросить, как лучше в цензурном отношении: чтобы мой герой утопился или чтобы он сделался счастлив? Для меня это безразлично».

К романам у него, очевидно, не было ни малейшего таланта. Но политические статьи, напечатанные в «Голосах из России», как то: «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии», «Россия в войне и мире», «Приятельский разговор», показывают, что он вовсе не был лишен дарования. Они написаны умно, последовательно, живо, в умеренном тоне, местами даже с некоторым красноречием. Ясно, что это было настоящее его призвание. Если бы он ему последовал, то с его образованием и его основательностью, он мог бы занять довольно видное место в нашей литературе. Но он принялся за это уж на старости лет, и его хватило лишь на несколько статей.

С нетерпением ожидали мы выхода первой книжки «Русского Вестника». Я с жадностью на нее накинулся, как только получил ее в руки. Но увы, какое было горькое разочарование! Более чем посредственная повесть Евгении Тур, скучнейшая статья Кудрявцева о Карле V и, наконец, статья Каткова о Пушкине, вот все существенное, что в ней заключалось. Я думал в последней, по крайней мере, встретить живое слово; читаю, читаю и нахожу только один бесконечный

туман. В отчаянии я побежал наверх к своим сожителям и прочел им несколько страниц, в которых невозможно было отыскать какой-либо смысл. Мы повесили головы. Стоило ли собирать все наличные литературные силы, чтобы после долгого молчания явиться перед публикой с таким результатом? Мы вспоминали первую книжку «Современника» 1847 года и сравнивали ее с первенцем нынешней московской редакции. Одна была надежда, что с появлением славянофильского органа, который тоже был разрешен, оживится полемика, и выдвинутся на первый план серьезные современные вопросы. Эта надежда нас не обманула.

Сдавши в редакцию статью о сельской общине, я поехал в Петербург и представил Кавелину свои рукописные произведения. Он выразил мне полное удовольствие и заметил только, как уже сказано выше, что о возможности перемены образа правления в будущем лучше пока умалчивать, а, напротив, следует напирать на то, что теперь этого никто не желает. Решено было послать всю нашу рукописную литературу для напечатания к Герцену, который в это время начал издавать «Колокол» и призывал всех русских к содействию. Однако направление Герцена, выразившееся в «Полярной Звезде» и в разных речах и брошюрах, было до такой степени противно нашим целям и убеждениям, что мы нашли вместе с тем нужным послать ему письмо с заявлением несогласия с его взглядами. Уже Грановский возмущался «Полярною Звездой» и перед смертью писал Кавелину, что у него чешутся руки отвечать Герцену в собственном его издании. Теперь, когда перед нами открывалось новое политическое поприще, по которому надобно было идти с крайнею обдуманностью и осторожностью, протест был вдвойне необходим. Я взялся его написать. Это было «Письмо к издателю», напечатанное в виде предисловия к «Голосам из России». Одобрив его вполне по существу, Кавелин счел однако нужным прибавить нечто от себя в более мягком тоне. Он приделал начало, так что письмо вышло писанное двумя руками. Первая половина, до 20-й страницы, принадлежит Кавелину, вторая половина мне. В таком виде оно и появилось в «Голосах из России»*.

Вернувшись в Москву, я нашел первую половину своей статьи «О сельской общине»** уже напечатанною в «Русском Вестнике». Вопрос был животрепещущий, и статья произвела эффект; все о ней говорили. Я с некоторым удовольствием увидел впервые свое имя в печати; однако, не полюбопытствовал даже просмотреть статью,

* «Голоса из России», в. I, Лондон, 1856 (подпись: «русский либерал»).

** «Обзор исторического развития сельской общины в России» («Русск. Вестник», 1856, т. I, стр. 373 – 386, 579 – 602, перепеч. в «Опытах по истории русского права», М., 1858).

чтобы удостовериться, нет ли в ней опечаток. И что же оказалось? Несколько дней спустя, приходит ко мне корректор «Русского Вестника» с листками второй половины, которая должна была явиться в следующей книжке. Он показывает мне два листка, которые не знает, куда приклеить. Я начинаю разбирать и к ужасу своему вижу, что эти листки принадлежат к первой половине. Они по ошибке были пропущены, а между тем заключали в себе самое существенное. Я немедленно полетел к Каткову. Не могу и теперь без смеха вспомнить его сконфуженную и растерянную физиономию при этом известии. Пришлось всю статью перепечатать вновь в следующем номере. Любопытнее всего то, что никто из читавших не заметил этого пробела. Это показывает, как у нас тогда печатали и как читали.

Наконец, вышел и первый номер «Русской Беседы». Вслед за тем возгорелась полемика. Оба лагеря стояли теперь друг против друга, во всеоружии, каждый со своим органом. Опишу главных деятелей, как я их знал и понимал. Постараюсь по возможности отрешиться от чисто личных отношений, давно похороненных на кладбище прошлого, хотя, разумеется, могу передать только свои личные впечатления. В этом, в сущности, заключается вся цель и все значение воспоминаний. Пускай другие изобразят тех же людей с той стороны, с какой они их знали.

Во главе «Русского Вестника» стояли Катков, Леонтьев и Корш. Из них первенствующую роль играл Катков. Как сказано выше, я был его слушателем, но лично почти не был с ним знаком и тут в первый раз узнал его поближе. Он с самого начала произвел на меня неблагоприятное впечатление. Его маленькие, тусклые и блуждающие глаза, обличавшие что-то затаенное и недоброе, глухой его голос, его то смутная, то порывистая речь, то растерянные, то слишком решительные приемы, отсутствие той искренности и общительности, которые привлекают и связывают людей, все это несколько меня отталкивало. Я чуял в нем недостаток истинно человеческих чувств и спорил о нем даже с близкими людьми, которые подкупались его умом и талантом. Последствия показали, что мое чутье было верно.

Катков бесспорно был человек чрезвычайно умный и даровитый. Он обладал широким литературным образованием и умел выражаться ловко, изящно, иногда даже красноречиво. К сожалению, он в молодости подготовлялся специально к тому, что вовсе не было его призванием. Кончив курс на словесном факультете, он еще очень молодым человеком примкнул к кружку Станкевича и Белинского, в котором господствовали отвлеченные философско-литературные интересы. И он вступил в него именно в ту пору, когда главное лицо этого кружка, Станкевич, которого глубокая и изящная натура давала возвышенное направление всем окружающим, уехал за границу. Его влияние заменилось сухой диалектикою Бакунина, который ос-

тался главным толкователем немецкой философии в Москве. Он сбивал с толку Белинского; под его влиянием и Катков начал свои философские занятия. Затем он отправился в Берлин, где слушал лекции Шеллинга. Он сделался приверженцем его мистической мнимо-положительной философии, с которою соединял и поклонение реалистической психологии Бенеке. Уже это одно сочетание показывает, что философского смысла было мало. Непонятные лекции, читанные им в Московском университете, еще более обнаружили царствующий в голове туман, который переходил и на литературные взгляды. Об этом свидетельствует смутившая меня статья о Пушкине. Очевидно, Катков не в состоянии был давать философское и литературное направление журналу. Впоследствии выяснилось, что истинное его призвание была публицистика; но именно к этому он вовсе не был подготовлен. Историческое его образование было весьма скудное, юридическое отсутствовало совершенно, а политическое ограничивалось верхушками, хватаемыми из газет. Погрузившись в журнальную деятельность, он, конечно, не мог восполнить этого недостатка. При всем его уме, таланте и живом чутье общественных течений, всегда ощущалось отсутствие прочного основания. У него не было ни зрело обдуманых взглядов, ни выработанных жизнью убеждений. В течение всей своей публицистической деятельности он не высказал ни одной серьезной политической мысли. Постоянно ратуя во имя тех или других принципов, он никогда не касался применения, а если что предлагал, то всегда невпопад. Самые принципы менялись у него по воле ветра. Он отдавался одностороннему потоку с тем холодным увлечением, которое было свойственно ему, так же как и учителю его Бакунину; но лишенный твердой основы, он легко переходил от одной крайности в другую, сегодня покрывая позором то, что он возвеличивал вчера.

Такие повороты ничего ему не стоили. Это не было страстное искание истины, как у Белинского, который, будучи также лишен основательной подготовки, путем внутренней борьбы и мучений переходил от одного взгляда к другому, по мере того, как перед ними открывались новые горизонты. У Каткова повороты вызывались чисто практическими потребностями, к которым примешивались и личные расчеты. Они всегда клонились к его выгоде. И раз он эту выгоду узрел, он шел к ней неуклонно, не взирая ни на что и не допуская никаких возражений. А так как при этом самолюбие было громадное, а уважения к чужому мнению не было ни малейшего, то все должно было подчиняться временно составившемуся у него убеждению. Мысль редакции должна была служить законом для сотрудников. Естественно, что при таком направлении, журнал не мог сделаться центром и органом для людей, обладающих самостоятельной мыслью. Тут требовались клеветы, а не сотрудники. Сначала, все

что было мыслящего в Москве и что не принадлежало к славянофильскому направлению, собралось около редакции «Русского Вестника». Пока издание не упрочилось, в виду собственных выгод редакция воздерживалось. Но не прошло двух лет, как один за другим все сколько-нибудь самостоятельные люди были вытеснены, и «Русский Вестник» остался личным органом Каткова. Ниже я расскажу эту печальную повесть.

Однако у редактора было слишком мало собственного серьезно содержания, чтобы дать жизнь и направление периодическому изданию, которое должно было служить проводником всех разнообразных человеческих интересов, составлявших потребность современности. Истинное его поприще была ежедневная газета. Как скоро он получил «Московские Ведомости», «Русский Вестник» перешел в руки второстепенных агентов и потерял всякое общественное значение. Сам же Катков всецело отдался газете, в которой вполне проявились как его блестящие, так и его непривлекательные стороны. Тут он мог с чутьем истинного журналиста следить за каждым дуновением ветра, как снизу, так и сверху, играть страстями, возбуждать всякие темные инстинкты, прикрывая их возвышенными целями, вести самую задорную ежедневную полемику, в которой он был первый мастер. Чтобы выказался его талант, ему нужна была борьба, и он отдавался ей весь, забывая все остальное, кидаясь сам в противоположную крайность, и стараясь всячески забросать грязью противника. Никто не умел так ругаться, как он. Он делал это с тем большим успехом, что не стеснялся ничем. В нем было полное отсутствие всякой добросовестности, всякого нравственного чувства, даже всяких приличий. Уважающие себя люди перед этим отступали. Не было возможности вести полемику с Катковым, не замаравшись. Но на массу русской публики, не привыкшей к приличию и не вникающей в смысл печатного слова, это действовало тем более неотразимо, что самая площадная брань выступала во имя высоких чувств и потакала общественным страстям. Это проявилось особенно резко во второй период его журнальной деятельности, когда он от крайней англomanии, которою он одержим был в первые годы издания «Русского Вестника», внезапно повернул к исключительно патриотизму. С верным практическим чутьем, Катков в критическую минуту ухватился за патриотическое знамя и с свойственным ему талантом поднял его так высоко, что даже порядочные люди могли ему сочувствовать. Но это было одно мгновение. Лишенный всякой нравственной основы, скоро он это знамя окунул в пошлость и грязь. Святое чувство любви к отечеству было низведено им на степень чисто животного инстинкта, в котором исчезало всякое понятие о правде и добре, и оставался один народный эгоизм, презирающий все, кроме себя. Это было явление новое в тогдашней

литературе. Исключительный патриотизм славянофилов основывался на том, что они в русском народе видели носителя высших христианских начал, провозвестника новых, неведомых миру истин. Патриотизм настоящих западников состоял в усвоении для отечества высших плодов европейского просвещения. Катков разом откинул всякие человеческие начала и выступил защитником народности в самой низменной ее форме, с точки зрения чисто реальных интересов, понятых в совершенно материальном смысле. Все должно было безусловно преклоняться перед грубою силою русского государства, налагающего однообразную печать на все подчиненные ему жизненные сферы. Всякое самостоятельное проявление жизни считалось изменою, всякий возражатель объявлялся врагом отечества. Это была именно та форма патриотизма, которая ближе всего подходила к самым пошлым воззрениям масс. И толпа благоговейно внимала этому новому журнальному богатырю, ополчившемуся пером на защиту Русской земли. Вяземский метко характеризовал это настроение значительной части тогдашнего русского общества:

Все это вздор, но вот, в чем горе:
Бобчинских и Добчинских род,
С тупою верою во взоре,
Пред ним стоит, разинув рот;
Развесят уши и внимают
Его хвастливой болтовне
И в нем России величают
Спасителя внутри и вне.
О, Гоголь, Гоголь, где ты? Снова
Возьмись за мастерскую кисть
И, обновляя Хлестакова,
Скажи: да будет смех! и бысть.
Смотри, как он балясы точит,
Как разыгрался в нем задор,
Теперь он не уезд морочит,
Он всероссийский ревизор!

Катков был, однако, слишком умен, чтобы довольствоваться поклонением толпы; оно было ему нужно только как орудие. В сущности, он презирал русское общество и сам говорил, что для него не стоило бы даже писать. На общественные собрания он никогда влияния не имел. Он пробовал действовать в Московской городской думе, но весьма неудачно. Я присутствовал в числе публики на заседании, в котором он делал разные предложения и при голосовании вставал за них один одинехонек. Вследствие этого он тотчас вышел из гласных и с тех пор возненавидел выборные собрания, обзывая их пустыми говорильнями. В одной газетной болтовне он видел спасение, ибо это было его ремесло. Журналист, возбуждающий общественные стра-

ти и с помощью их действующий на правительство, таков был его идеал. Скоро, однако, он убедился, что этого недостаточно. Он слишком возмечтал о своей силе и пересолил. Дерзость его дошла до того, что даже колеблющийся Валуев принужден был принять решительные меры: журнал был приостановлен. Тогда он обратился к другим средствам. Он написал государю письмо, вследствие которого выход «Московских Ведомостей» был снова разрешен до истечения срока. Е. Ф. Тютчева, которой императрица давала прочесть это письмо, говорила, что она никогда в жизни не читала ничего более подлого. Катков начинал с того, что он родился в один год с государем и считал себя призванным прославлять его царствование. Со своею проницательностью и полною неразборчивостью в средствах, он понял, что в самодержавном правлении грубая лесть составляет самое надежное орудие действия и с тех пор выступил рыным защитником власти. Последовавшие затем покушения нигилистов могли только усилить его значение. Правительство видело в нем опору.

И эта лесть продолжалась до той минуты, когда государь, которого он рожден был прославлять, пал жертвою убийц. Тогда он принялся кидать в него грязью, позорить все славные дела его царствования. Началась лесть другого рода; проповедовалось возрождение павшего правительства: «Господа вставайте! Правительство идет, правительство возвращается!» И это бесстыдное кажделение, в свою очередь, возымело свое действие. Катков из-за журнального стола сделался чуть ли не властителем России. Министры перед ним трепетали; второстепенных чиновников он трактовал, как лакеев. Несчастный Делянов, всегда трусливый и раболепный, делал все, что требовал его журнальный патрон. Граф Толстой, который терпеть не мог Каткова за то, что тот опрокинулся на своего прежнего союзника после его падения во времена Лорис-Меликова, считал все-таки нужным его поддерживать и с ним считаться.

В угоду Каткову, без малейшего повода и без малейшего смысла, все русские университеты были поставлены вверх дном. И на этот раз, однако, он зазнался и пересолил. Он вздумал быть такою же силою в иностранных делах, какою был в делах внутренних. С переменною царствования он и тут произвел внезапный поворот фронта, стараясь подладиться к новому направлению: из защитника союза с Германией он вдруг сделался поборником союза с Францией. Но не довольствуясь журнальной пропагандой, он захотел влиять на самый ход дел и дошел до того, что от себя посылал в Париж известного негодяя, генерала Е. В. Богдановича, чтобы вести переговоры с французским правительством. Рядом с этим он пытался обделать и свои денежные делишки: выхлопотать новые, значительные субсидии для основанного им и Леонтьевым на казенные деньги лица, состоявшего в полном его распоряжении. Все это всплыло наружу и повре-

дило ему при дворе. Перед смертью ему оказана была немилость, которая, говорят, ускорила его конец.

Немного людей в России, которые сделали столько зла отечеству. Он низвел русскую литературу с той идеальной высоты, на которой она стояла в начале царствования Александра II и потопил ее в болотную грязь. Выступив на журнальное поприще в то время, когда спали узы, стеснявшие русскую мысль, и когда именно журналистика получила преобладающее значение, он со своим умом и талантом занял в ней первое место. Но вместо того чтобы высоко держать благородное знамя, завещанное предшественниками, он отбросил всякие нравственные требования и даже всякие литературные приличия. Он русских писателей и русскую публику приучил к бесстыдной лжи, к площадной брани, к презрению всего человечества. Он явил развращающий пример журналиста, который, злоупотребляя своим образованием и талантом, посредством наглости и лести достигает невиданного успеха. И этот успех он обратил в орудие личных своих целей. Он поддерживал то, что доставляло ему выгоду, даже то, что ему хорошо оплачивалось. Железнодорожные деятели приносили ему крупные суммы. Мне подлинно известно, что учредители Моршанско-Сызранской линии дали ему из рук в руки 5000 рублей. По достоверным сведениям, он пользовался и приношениями евреев. После его смерти его наивная жена потребовала из Московской Поземельного банка на десять тысяч купонов с лежавших там бумаг ее мужа и не хотела верить, когда ей объявили, что никаких бумаг там не обретается: эти десять тысяч были ежегодным приношением Лазаря Соломоновича Полякова. Все расчеты университета по аренде «Московских Ведомостей», благодаря жалкому министерству, обращались к обогащению редакции. Но Катков не довольствовался приобретением крупного состояния; ему нужны были власть и влияние. Пока он думал, что можно получить их опираясь на общественное мнение, он был рьяным либералом; но как скоро он понял, что гораздо выгоднее опираться на правительство, он сделался главным проводником и глашатаем той тупой реакции, которая тяжелым бременем легла на Россию.

Прежде всего его деятельность проявилась в близкой ему сфере народного образования. Бывший профессор и защитник университетов, он, потерявши в них почву, предпринял против них поход, которого бесстыдство тем более поразительно, что ему хорошо были известны истинные отношения. Он сознательно и намеренно представлял все в совершенно превратном виде. Благодаря Каткову, в университетах водворился хаос, погубивший многие поколения. Об этом я ниже расскажу подробно. Такими же личными целями направлялся и его поход в пользу классического образования. Сам он был классический филолог, а друг его Леонтьев был профессор древних

языков. Оба они задумали на заимствованные у казны средства основать классический лицей, который должен был служить центром, образцом всего среднего и даже высшего образования в России. В этих видах и печатно, и за кулисами они стали проводить крайнюю классическую программу, для которой и общество не было приготовлено, и правительство не имело надлежащих орудий. Но об этом никто не заботился. Начертать программу в кабинете, конечно, гораздо легче, нежели приготовить хороших учителей. Вместо того, чтобы соображаясь с практикою улучшить умеренно классический устав 1863 г., хотели произвести огромный эффект и разом перевернуть всю систему. Для достижения этой цели пускались в ход всякие средства. Невинных членов Государственного совета, не имевших понятия о классических языках, Катков успел убедить, что ничто так не способствует развитию консервативных идей, как зубрение латинской и греческой грамматики. На русские школы разом была наложена формальная схема, которая не могла иметь иных последствий, как возбуждение в русском обществе ненависти к классическим языкам. Истинные друзья классицизма не могли об этом не скорбеть. И когда в настоящее время, под напором вопиющей действительности, приходится, наконец, разделять ту сеть бездушного классического формализма, которою Катков опутал и учреждения и умы, эта задача возлагается на тех же ничтожных клеветников, которыми он наполнил министерство. При таких условиях, о серьезном улучшении не может быть речи. Долго еще русское просвещение не в состоянии будет залечить те раны, которые нанес ему этот человек.

С таким же бесстыдством выступил он в поход против выборного начала и против независимого суда, изыскивая и раздувая все, что могло набросить тень на юные, неокрепшие еще учреждения, столь недавно горячо им приветствованные, стараясь всячески подорвать к ним доверие как правительства, так и общества. Всякая независимость сделалась ему ненавистна. Забыв все, что мы пережили в царствование Николая, он спасение видел только в необузданном самовластии сверху и в раболепном подчинении снизу. И русские Бобчинские и Добчинские, которые преклонялись перед его патриотизмом, последовали за ним и в его реакционных стремлениях. Катков воспитал целое поколение молодых подлецов. Самое московское дворянство, которое после освобождения крестьян вдруг возымело конституционные поползновения, позднее к вечному стыду своему, призывало этого наглого хулителя всего, что составляет достоинство человека, и поручало ему составлять от его имени раболепные адреса. Трудно сказать, в какой сфере развращающая его деятельность оказалась сильнее, в правительственной или в общественной. И когда, наконец, главный проповедник начал, составляв

ших давнишнюю язву русского общества, сошел в могилу, дух его остался и продолжает свою тлетворную работу. Нам, современникам, испытавшим на себе все зло, принесенное этою бессмысленною и неразборчивою на средства реакциею, приветствовавшим зарю нового порядка вещей, основанного на законе и свободе, и видящим возрождение старого, трудно говорить об этом беспристрастно. Конечно, главные виновники зла бездушные нигилисты, которые сбили Россию с правильного и законного пути; но анархическому безумию люди, дорожащие свободою и просвещением, могут противопоставить только власть, опирающуюся на гражданские элементы, а не чистый и голый произвол. Думаю, что история произнесет над Катковым строгий приговор. Ему дан был от бога талант, и на что он его употребил?

Разве на то, чтобы доказать русскому обществу, что такое свобода печати в мало образованной среде и при отсутствии представительных учреждений. Россия в этом отношении представила единственный в мире опыт значительного развития журналистики при самодержавном правлении. Если в начале царствования Александра II могли существовать некоторые иллюзии насчет благотельных последствий подобного порядка вещей, если после долгого умственного гнета свобода общественного мнения представлялась даже лучшим умам вождеденною целью всех помышлений, то деятельность Каткова могла убедить их, что при отсутствии правильных органов общественной мысли и народных потребностей, журналистика обращается в орудие извращения общественного сознания. Под именем общественного мнения выдвигаются личные измышления бойкого писателя, откинувшего всякий стыд и совесть, опирающегося на свое общественное влияние, чтобы сделаться нужным правительству, и опирающегося на правительство, чтобы подавить всякую самостоятельность общества. Если таков был результат многолетней и настойчивой деятельности умного, образованного и даровитого человека, то что же сказать об остальных?

Достойным сподвижником Каткова был Леонтьев. Маленький, горбатый, с умною и хитрою физиономиею, он на всем своем нравственном существе носил отпечаток своего физического уродства. Это был основательный ученый, умный и образованный, без большого таланта, но трудолюбия непомерного, и вместе человек весьма практический, вникающий в подробности всякого дела, упорно преследующий свою цель и изыскивающий к ней всевозможные средства, но без всяких нравственных правил, злой, ехидный, лживый, интриган первой руки. Катков, который также вовсе не чуждался интриги и знал, к кому забежать, обыкновенно заручившись поддержкой, шел к своей цели напролом; Леонтьев же всегда действовал окольными путями. Один восполнял другого, обеспечивая достиже-

ние успеха. При всем том я всегда предпочитал Леонтьева Каткову и часто спорил о том, который из них хуже. В характере Леонтьева были искупающие стороны. С самого начала меня тронула глубоко прочувствованная статья о Грановском, напечатанная в «ПроPILEях». Она являлась как бы выражением искреннего раскаяния. В последний год перед смертью Грановский был выбран деканом историко-филологического факультета, и в это время ему тяжело приходилось от каверз и происков Леонтьева, несмотря на то, что последний был его союзником. Грановский всякий раз возвращался взволнованный и рассерженный из заседаний факультета или совета; он называл Леонтьева не иначе как «злой паук». Казалось, память о всех причиненных умершему товарищу неприятностях глубоко запала в эту темную душу и вылилась в упомянутой статье. У этого ехидного горбуна были и нежные чувства. Он любил детей, и я иногда любовался, как он играл с детьми Корша. У него была также сильная педагогическая струнка. Он всю свою душу положил на основанный им лицей, внимательно и отечески следил за каждым учеником. Нередко, когда кто из них занемогал, он по ночам приходил спать возле больного. Такие же нежные чувства он питал к Каткову, перед которым он преклонялся, как перед высшим гением еще гораздо прежде издания «Русского Вестника» и «Московских Ведомостей». Когда в «ПроPILEях» появилась статья Каткова о древнейшем периоде греческой философии, Грановский с удивлением спрашивал меня: «нахожу ли я в ней нечто необыкновенное?» «Леонтьев уверяет, – говорил он, – что это гениальное произведение, открывающее новую эпоху в истории философии, а я решительно ничего не вижу, может быть, потому что мало знаю этот предмет». Конечно, и я, признавая некоторые достоинства статьи, не видел в ней ничего гениального. Это поклонение продолжалось до конца жизни. Леонтьев весь отдавался Каткову; он даже выходил за него на дуэль с С. Н. Гончаровым. Главный редактор «Московских Ведомостей» мог справедливо сказать, что неизвестно, где кончается один и где начинается другой. Только такого рода преданность Катков мог терпеть около себя. Она бросает особенный свет на сложный характер Леонтьева, в котором добро и зло перемешивались в какой-то причудливой форме.

Вовсе не подходил к этим двум братьям-близнецам третий редактор «Русского Вестника», Евгений Федорович Корш. И это была очень сложная личность; но он полюбился мне с первого раза. Кроме того, что он был одним из ближайших друзей Грановского, в нем самом было много привлекательного. Приветливый, обходительный, с тонким умом, с необыкновенно разносторонним образованием, с разнообразным, занимательным и остроумным разговором, которому не мешало некоторое заикание, он был в то время чрезвы-

чайно приятен в личных отношениях. Скромный дом его был центром, где и в Петербурге и в Москве любили собираться друзья. С ним можно было говорить обо всем: о философии, об истории, о литературе, о политике, и по всем отраслям можно было найти у него самостоятельную мысль и дельные указания. Начитанность его была изумительная; он все знал и все помнил. Ниже я расскажу, как он, не зная восточных языков, на собственном их поприще отщелкал присяжных ориенталистов. Он и писал хорошо. Его политические обозрения в «Русском Вестнике» были образцовые. Мы в то время сходились с ним во всех политических убеждениях и особенно во взгляде на государство, которого не разделяли другие редакторы «Русского Вестника». Я находил в нем и поддержку и совет, когда было нужно. Все это повело к тому, что мы очень сблизились. Мне казалось, что он и есть настоящий редактор журнала, призванного служить общественным органом. Поэтому я был несколько возмущен, когда Н. А. Милютин, который хорошо знал его в Петербурге, сказал мне при основании «Атеней»: «Вы напрасно полагаетесь на Корша: он никогда ничего не сделает; он эгоист и лентяй». К сожалению, этот приговор слишком скоро нашел себе оправдание. Как только Корш стал во главе журнала, оказалось, что у него инициативы нет никакой. Он мог быть отличным редактором «Московских Ведомостей», когда все дело ограничивалось умною выборкою из иностранных газет; но вдохнуть жизнь в журнал, обсуждать животрепещущие вопросы, чутьем понимать потребности дня, к этому он был решительно неспособен. Он даже с какою-то брезгливостью устранился от всего, что составляло интерес для публики, и чем более от него требовалось работы, тем менее он ее давал.

Журнал рухнул, и редактор озлобился. Он видел в своей неудаче несправедливость судьбы и людей. Он сделался капризен и раздражителен, и это отозвалось на самом его образе мыслей. В то время как Катков совершал поворот направо, он из ненависти к Каткову повернул налево. У него развился какой-то мелочный либерализм, лишенный всякой последовательности и всякой почвы. Таким же капризом отзывались все его суждения об умственных вопросах. Эта перемена отразилась даже на его слоге. Он стал изобретать невозможные слова и упорно пересыпал ими свои переводы, которые через это сделались совершенно неудобочитаемы. Понятно, что беседа с ним потеряла всю прежнюю прелесть. Живое общение мыслей и интересов постепенно исчезало, и он, со своей стороны, все более отдалялся от друзей, которых считал к себе несправедливыми, хотя никто его ни в чем не упрекал и все оказывали ему величайшее внимание. Он ушел в себя, сделался угрюм и одинок. Между тем обстоятельства были тесные, а семья большая; приходилось усиленно работать для ее поддержания. Место библиотекаря в Румянцевс-

ком музее давало ему слишком недостаточные средства; он принялся за переводы. Нельзя было без грусти и уважения смотреть на этого старика, который, поборов свою лень, денно и ночью сидел над скучной и одинокой работой для добывания насущного хлеба. Порой пробуждался и прежний Евгений Федорович. Случалось, приходишь к нему и встретишь, по старому, сердечный привет, и поговоришь с ним час-другой с истинным наслаждением. Но это были только вспышки, капризные минуты, как и все остальное; с годами они делались все реже. Он более и более уединялся и перестал даже приходить на приглашения к дружеским собраниям. Со старейшими друзьями он порвал совершенно. Когда умер Кетчер, он не был ни на панихидах, ни на похоронах. Наконец, он разорвал и с самою своею семьею. Семидесяти пяти лет от роду он бросил жену, которая была добрая женщина, вся преданная мужу и детям, и с которою он жил дружно более сорока лет. Она не вынесла этого удара; через год она умерла. Дочери остались жить в нумерах, не выйдаясь с отцом, но получая от него маленькое содержание. С друзьями прекратились уже всякие сношения. Так кончил этот человек, который по своему уму и образованию стоял в первых рядах между людьми сороковых годов. Судьба многим его одарила, но не дала нравственной устойчивости, чтобы выносить жизненные невзгоды.

К редакции «Русского Вестника» примкнуло все, что Московский университет заключал в себе ученых сил. После смерти Грановского самыми видными его представителями были Кудрявцев и Соловьев. Кудрявцева я знал очень мало. Он был человек болезненный, и в это время, после страшно поразившей его смерти жены, он жил уединенно, не участвовал на общих собраниях и скоро скончался. Студенты перенесли на него ту любовь и то уважение, которое они питали к Грановскому. Во многих отношениях он это заслуживал. Его обширные познания, его основательная ученость и усидчивое трудолюбие делали его авторитетом в деле науки; а с другой стороны, его чистая и возвышенная душа, его тихая, кроткая и любящая натура привлекали к нему общее сочувствие. Но он далеко не имел ни таланта Грановского, ни силы и ширины его мысли, ни его обаятельного действия на окружающих. В журнале он был постоянным сотрудником; но многочисленные его статьи были довольно бесцветны и растянуты. В них не было ни живой мысли, ни меткого слова. Действия на публику они не могли производить.

Соловьева я до того времени также почти не знал, хотя слушал его лекции; но тут я скоро с ним сошелся и сделался одним из близких его друзей. По уму и таланту, он, конечно, далеко уступал Грановскому и никогда не мог его заменить. Как историк он имел то, чего не было у Грановского и что именно требовалось его специальностью: он был неутомимый архивный труженик, и притом труженик,

руководимый мыслью и образованием. После Шлецера и Карамзина, никто не сделал более его для русской истории. У него был и верный исторический взгляд. Он к изучаемым фактам относился не с предвзятою мыслью, не с патриотическими фантазиями, а как истинный ученый, основательно и добросовестно, стараясь уловить настоящий их смысл. Он в этом отношении заходил даже слишком далеко: воздерживаясь от собственного суждения, он хотел, чтобы факты говорили сами за себя, предоставляя читателю выводить заключения. От этого его изложение выходило иногда слишком сухо. Слабая его сторона в исследовании русской истории состояла в отсутствии основательной юридической подготовки, вследствие чего такая важная часть, как развитие учреждений, обработана несколько поверхностно, а иногда получает даже неправильное освещение. Он сам иногда жаловался на то, что особенно в новейшем периоде юристы недостаточно подготовили почву для историков. Другая его слабая сторона состояла в недостатке философского образования. Философии он не изучал, а по убеждениям всегда оставался искренним православным, никогда не выходя из тесного круга вероисповедного учения. В приложении к русской истории это не имело вредных последствий, но они сказывались всякий раз, как он выступал на более широкое поле всеобщей истории. Как образованный человек, он не ограничивался своею специальностью, но внимательно изучал всемирную историю, в которой находил освежение от архивной работы и проверку своих общих взглядов. Он писал по этому предмету статьи и пробовал даже, по примеру Грановского, читать публичные лекции об истории Англии и Франции. Однако, попытка вышла неудачная. У него не было ни дара слова, ни таланта художественного изображения лиц и событий; а так как и содержание не представляло ничего нового, то исчезал всякий живой интерес. Лекции были вялые и скучные; он их не возобновлял. И в статьях его выражается тот же недостаток широкого философского взгляда, который требуется от историка, особенно при изложении общего хода событий и развития идей. Самый патриотизм Соловьева носил несколько узкий характер, который делал его иногда несправедливым к другим народностям. Об этом свидетельствует его «История падения Польши»*.

И при всем том, он был убежденным противником славянофилов. Православный и патриот, он был вместе с тем настоящий ученый, а потому возмущался тем легкомысленным извращением фактов в угоду ходульной любви к России, которым отличались воззрения славянофилов. Против их антиисторического направления он выступал решительно, умно и с талантом. Погодин, который

* «История падения Польши», М., 1863.

в качестве соперника терпеть не мог Соловьев и отрицал в нем даже всякое дарование, должен был уступить очевидности, когда мы с Дмитриевым однажды, вследствие спора, доставили ему статью «Шлецер и антиисторическое направление»*, он признался, что она написана хорошо.

Редко, впрочем, Соловьев выступал с полемическими статьями, и когда он на это решался, он всегда делал это с величайшею умеренностью. Вообще, умеренность была его отличительная черта. Тихая, ровная, всегда спокойная его натура чуждалась всего, что имело характер заносчивости или нетерпимости. Всякое резкое выражение его оскорбляло; он уверял, что оно ослабляет силу мысли. Точно так же и в своих поступках он всегда старался держаться в пределах самой строгой законности и осторожности, довольствуясь наименьшим, чего можно было требовать. В этом отношении он бывал даже слишком непритязателен. Но когда самые скромные требования оставались тщетны, он проявлял неуклонную решимость. Как скоро говорило то, что он признавал долгом или честью, он не колебался ни на минуту. Я видел тому поразительные примеры. Когда во время нашей университетской истории, которую я расскажу ниже, пришла бумага министра, решавшая дело на основании бесстыдной лжи, он первый, по прочтении, тотчас заявил, что надобно выходить в отставку. И это делал человек, лишенный средств, обремененный семьею, всю жизнь свою посвятивший кафедре, и притом замешанный в историю только самым косвенным образом. Я расскажу, почему наша общая отставка была взята назад, и каким образом Соловьев мог временно остаться. Но окончательно Катков и граф Толстой** все-таки его выжили. Он покинул университет, к которому был привязан всей душою, как скоро увидел, что не может оставаться в нем с честью. Для этой чистой и возвышенной души чувство долга было единственным руководящим началом его действий. Никакие личные побуждения к этому не примешивались. Ему чуждо было все мелочное. Когда он признавал что-либо нужным или полезным, он умел насиловать даже свои наклонности и привычки. По природе он был человек кабинетный и многолюдного общества не любил; но он постоянно ездил на собрания молодых профессоров, считая это общение необходимым для пользы университета. Популярности он через это не приобрел; это было вовсе не в его натуре. Но он снискал всеобщее уважение; никто не мог сказать против него ни единого слова. В тесном же кругу друзей раскрывалась его прозрачная и благородная душа, проявлялась и прирожденная веселость, сохранившаяся до конца, несмотря на постигшие его в последние годы не-

* Напечатана в «Русск. Вестнике», 1856, № 8.

** Дмитрий Андреевич Толстой, министр народного просвещения с 1866 г.

приятности. Мне памятно, как незадолго перед его смертью, случайно, проезжая летом через Москву, я поехал навестить его в Нескучном, где он тогда жил. Я застал его уже совершенно больным. Побеседовав с ним, я стал прощаться. «Куда вы спешите», – спросил он. – «Еду обедать в Эрмитаж с Кетчером и Станкевичами». Они в это время случайно проезжали через Москву, возвращаясь из-за границы. «Ах, счастливицы!» – воскликнул он с завистью. Я с ним простился и более его не видал, но сохранил о нем память, как об одной из самых светлых и почтенных личностей, каких мне доводилось встретить. Он совершил то, к чему был призван, извлек из себя на пользу России все, что мог ей дать. Это была жизнь, посвященная мысли, труду, любимому им университету, в котором многие поколения получили от него благие семена; жизнь чистая, полная и ясная, окруженная семейным счастьем, преданностью друзей и общим уважением. Россия может им гордиться.

Я сошелся в то время и с другим исследователем русской старины, который принадлежал к кружку Грановского, а потом и к нашему, хотя и после основания «Русского Вестника» он продолжал сотрудничество в «Отечественных Записках», – с Иваном Егоровичем Забелиным. Это был настоящий московский самородок, цельная, крепкая и здоровая русская натура, не отделанная внешним лоском, не обработанная европейским просвещением, но честная, прямая и симпатическая. Школа его ограничивалась уездным училищем; иностранных языков он не знал и все свое книжное образование мог почерпнуть только из русских книг, представлявших в то время скудный и жалкий запас сведений. Грановский, который им заинтересовался, читал ему частные лекции; вращаясь в кругу умных и образованных людей, он мог от них заимствовать ходячие мысли и воззрения. Но все это, конечно, не в состоянии было заменить недостаток школьного и книжного образования. И, тем не менее, голова у него не спугалась. Он не увлекся непонятными ему фразами, не вдавался в умозрения, а выработал в себе свой собственный простой и трезвый взгляд на вещи. Все завещанное веками содержание русской жизни, так крепко сохраняющееся в низших слоях народа, было кинута за борт. О религиозной обрядности не было и помину. Едва ли удержались какие-либо следы религиозных убеждений. Место их заступило какое-то пантеистическое воззрение на природу, к которой Забелин, как истинно русский человек, питал живое поэтическое чувство. Кинуты были за борт и всякие основанные на предании политические убеждения, преданность и покорность власти, уважение к чинам. И все-таки с исчезновением исторического содержания, осталась цельная и здоровая русская натура, не отделившаяся от почвы, а, напротив, постоянно получающая от нее свое питание. Забелин остался пламенным патриотом и всю жизнь свою

посвятил изучению отечественной старины. Рыться в архивах, разыскивать археологические мелочи не трудно даже при недостатке образования. Трудно из мелочей воздвигнуть стройное здание, правильно освещенное, проникнутое мыслью, а это делал Забелин. Я в то время удивлялся в особенности его критическим статьям, писанным живо, умно и последовательно. Помню, что однажды я прочел одну из этих критик, напечатанную в «Отечественных Записках», Н. Ф. Павлову, который был знаток в произведениях пера. Он пришел в восторг. «Сочная статья!» – воскликнул он.

Впоследствии Забелин несколько свихнулся. Когда московский учено-литературный кружок окончательно рассеялся, когда в русском обществе заглохли умственные интересы и в литературе на первый план выдвинулась ежедневная газетная полемика, Забелин уединился и потерял прежнее умственное равновесие. Идеальный элемент ослабел и предмет постоянных занятий получил неподобающий перевес. В нем разыгрался узкий патриотизм, не сдержанный просвещением, и он заразился взглядами, приближающимися к славянофильству. Он стал изгонять ненавистных немцев из древней русской истории, увлекся поверхностною ученостью Гедеонова* и в доказательство славянского происхождения тех или других названий, стал приводить такие словопроизводства, которые приводили в ужас истинных филологов. Я постоянно замечал, что кто склоняется к славянофильству, тот непременно начинает коверкать науку, и обратно. В письме из деревни я с полной откровенностью высказал Забелину свое мнение о его новых исследованиях, и он принял мои замечания с тем простодушным правдолюбием, которое всегда его отличало. По-видимому, возражения друзей его несколько отрезвили. «История русской жизни»**, в которой он высказывал свои новые взгляды, была приостановлена, и он снова весь отдался архивной работе. Отношения к старым друзьям остались прежние, те, которые вызывает его глубоко честная и истинно добрая Душа.

Еще гораздо более я сблизился со старыми друзьями Грановского, Кетчером и Станкевичем. Кетчер был более чем на двадцать лет старше меня, но он легко и охотно сходилась не только со своими сверстниками, но и с молодыми людьми. И он так же, как Забелин, был чистый московский самородок, цельная, крепкая и прямая натура, но с большим пылом и с гораздо большим образованием. Он кончил курс в Медицинской академии, знал языки, постоянно занимался литературными переводами. Между прочим, он перевел для

* Имеется в виду исследование С. А. Гедеонова: «Варяги и Русь», вышедшее в 1876 г.; «Отрывки из исследований о варяжском вопросе» были им напечатаны еще в 1862 г. (в Зап. Академии Наук, т. I и II).

** «История русской жизни с древнейших времен», ч. I, М., 1876; ч. II, М., 1879.

«Телескопа» известные письма Чаадаева. Но наружно он остался сыном природы. Его косматая голова, резкий тон, громкий голос, угловатые манеры, всегда небрежное одеяние обличали полное презрение к внешним формам. Многих это отталкивало, иных даже оскорбляло; но те, которые подходили к нему ближе, знали, что под этою несколько дикою наружностью скрывалась горячая и любящая душа. Взгляд его резкий и суровый, как скоро что-нибудь оскорбляло его неизменную прямоту, теплился самыми нежными чувствами, когда он приходил в соприкосновение с чистым и любящим существом. Некрасивое лицо его озарялось такою ласковою и приветливою улыбкою, которая делала его привлекательным и невольно притягивала к нему сердца. Другьям он был предан всею душою и всегда был готов для них на всякое самопожертвование, хотя подчас неумолимо преследовал их слабости. Последняя черта особенно резко проявлялась у него в молодости, и это было причиною, почему Герцен в своем изображении Кетчера бросил неверную тень на его характер. Когда в 1858 году я посетил Герцена в Лондоне, он прочел мне этот очерк, и я тут же сказал, что многое совершенно верно, но что он резким выходкам Кетчера придает преувеличенное значение: они происходят из прямой души, любящего сердца, и сердиться на них нет ни малейшего повода. Раздражительное самолюбие Герцена оскорблялось этими выходками, особенно когда они касались действительно слабых сторон и задевали за живое. Вследствие этого он разошелся с Кетчером, так же как и с Грановским, несмотря на то, что по убеждениям он стоял гораздо ближе к первому, нежели к последнему. С Грановским же Кетчер, при всей разности мнений, никогда не расходился. Эти две благородные натуры друг друга понимали и любили. Грановский подшучивал над крайностями своего приятеля, говорил, что он остановился на 93 годе* и дальше не двинулся ни на шаг. Но самые эти крайности были частью следствием свойственной молодости резкости и нетерпимости, частью произведением того невыносимого порядка вещей, с которым никакое примирение не было возможно. Как же скоро появилась заря новой жизни, как скоро солнышко начало пригревать ооченевшую русскую мысль, так Кетчер растаял. С освобождением крестьян окончательно исчезло в нем прежнее чисто отрицательное отношение к действительности. При всей резкости мнений, у него был глубокий здравый смысл, который заставлял его трезво смотреть на вещи и ценить громадные сделанные Россиею шаги в развитии учреждений. Новой общественной жизни он отдался всею душою. Когда устроилась Московская городская дума, он вступил в нее гласным, усердно

* Возможно, намек на приверженность Кетчера идеалам Французской революции 1793 года.

посещал все заседания, принимал живое участие во всех вопросах, хотя всегда оставался более зрителем, нежели деятелем. Общительный по натуре, он являлся и на всех публичных собраниях, которые в то время бывали весьма часто, по всякому поводу. Он и прежде любил попить в дружеском кругу, проводя иногда целые ночи за бокалом шампанского, единственное вино, которое он признавал и которое мог пить без конца, причем, по железной своей натуре, никогда не доходил до опьянения. Теперь же громкий его хохот, хорошо знакомый москвичам, стал раздаваться на всех публичных обедах. Он пировал со всеми и обыкновенно уезжал последним. Это было для него время беззаветного разгула и полного душевного удовлетворения. Для России настала новая пора, и все, кто давно жаждал этой поры, предавались ликованию.

Таким же зрителем Кетчер остался и в новом литературном движении. Постоянно погруженный в свой перевод Шекспира, который был делом его жизни, неумоимо занимаясь также поправкой переводов и корректурой для своих друзей и, в особенности, для разных изданий, которые предпринимал приятель его Солдатенков, он не участвовал в собственно журнальной работе. Но он живо интересовался всеми вопросами и был непременным членом всех литературных собраний. Чисто отвлеченные предметы мало его занимали. К философии он никогда не прикасался, а к религии он до конца своей долгой жизни относился чисто отрицательно. Эта чистая благородная душа была совершенно спокойна за свою участь и довольствовалась тем, что ей было дано, не заботясь о решении вопросов, превышавших ее понимание – замечательный пример сочетания удивительной нравственной чистоты и возвышенности с полным отсутствием религиозных потребностей. Но всякое жизненное дело возбуждало в нем живой интерес. У него был и тонкий эстетический вкус. Он был верный ценитель художественных произведений. В особенности у него была страсть к театру, страсть которую разделяли многие люди из его поколения. Актеры, которых общество он любил, всегда могли найти у него полезный совет и верную оценку. У этого записного москвича, который кроме Москвы ничего не признавал, который Петербурга не выносил и скучал в деревне, было и живое чувство природы. Высшим его наслаждением было бродить по целым дням по лесу и собирать грибы. Это чувство было взлелеяно в нем раннюю молодостью. Он любил вспоминать про старую Москву, еще не застроенную и не загаженную фабриками, с ее громадными садами, с многочисленными прудами, наполненными прозрачною, текущею водою, с прелестными прогулками по берегам светлой еще в то время Яузы. Он с грустью рассказывал, как все это на его глазах мало-помалу исчезало. Но он любовался и всеми остатками прежней очаровательной обстановки. Всякое красивое

дерево приводило его в восторг. У себя дома он целое лето копался в саду, с любовью сажал и лелеял цветы. Друзья его сделали складчину и купили ему почти на конце 3-й Мещанской небольшой дом с довольно обширным садом. Здесь, с ранней весны можно было найти его по утрам, в рубашке и нижнем платье, с грязными руками, копающегося в земле, или вечером, когда он после дневной работы, спокойно курил на своем балконе, наслаждаясь вечернею прохладой и любуясь тенью высоких деревьев, с играющими в прозрачной листве лучами заходящего солнца. Хозяйство вела его жена, женщина самая простая, без всякого ума и образования, но которая любила его без памяти. Он в молодости сошелся с ней случайно и вскоре потом переехал в Петербург, оставив ее в Москве. Но она не выдержала разлуки, пешком добрела до Петербурга и явилась к нему на квартиру. «Ну, видно, надо купить другую ложку», – сказал он. С тех пор он с нею не расставался. Детей у них не было, и он женился на ней, думая оставить ей свое маленькое состояние. Однако он долго ее пережил и остался один в своем доме, окруженный многочисленной стаей кошек и собак. Зная его сердоболие, ему нарочно подкидывали разных животных, и он считал для себя обязательным всякого подкидыша приютить, выходить и кормить до конца. У него была старая, большая собака, которая вся вылезла и пачкала у него всю мебель, так что приезжим иногда некуда было сесть; но он ласкал и холил ее, пока она не умерла естественною смертью. Пока он сам был здоров, он из этого отдаленного приюта выезжал почти ежедневно, чтобы навещать друзей. В общественной жизни он под старость уже мало принимал участия. И литература, и общество приняли направление, которое было не по нем. Всегда чутко отзываясь на всякие благородные порывы молодости, он не выносил господства низменных чувств и мелких интересов. Но друзьям своим он остался верен по гроб; они составляли единственное утешение его старости. Дружеская беседа была для него сердечным удовлетворением. Он любил по-прежнему выпить бокал шампанского, хотя уже не с прежним увлечением. И для друзей проезд его всегда был праздником. Даже когда он сидел молча, как нередко делал в последние годы, от него веяло чем-то мягким и согревающим сердце, как последние лучи заходящего солнца. Наконец ему трудно стало выезжать, одышка одолевала. В эту пору я часто навещал его, когда бывал в Москве: обыкновенно заставал его спокойно сидящим подле письменного стола, на большом вольтеровском кресле, которое принадлежало Грановскому и перешло к нему после смерти друга. Иногда мы проводили вдвоем целые вечера, беседовали о прошлом и настоящем. Он любил вспоминать старую Москву, свои ранние впечатления, которые восходили до 12-го года, свои прогулки по Яузе, и по окрестностям, любил перебирать людей, с которыми был

близок, рассказывал, как он с Белинским несколько часов сторожил на Страстном бульваре, поджидая девицу Кобылину (впоследствии графиня Салиас), которая должна была бежать с Надеждиным, и как Надеждин в последнюю минуту струсил и отступил, как он позднее увозил жену Герцена и содействовал их венчанию. Все это давнопрошедшее воскресало в его памяти, и он с удовольствием озирался на жизнь, которая поставила его в близкие отношения со всем, что было лучшего в русском обществе, которая дала ему верных друзей и была наполнена возвышенными интересами. За несколько дней до его смерти я случайно приехал из деревни в Москву и застал его на том же кресле, но он уже с трудом мог передвигаться. «Плохо», – сказал он. На следующий день мы со Станкевичем провели у него несколько часов. Большой оживился, беседа с нами. Затем мы собрались к нему опять вечером, но когда приехали, то нашли еще теплое, но уже бездыханное тело. Он перешел с своего кресла на постель и тут же тихо скончался. Его похоронили возле Грановского, на Пятницком кладбище. Я сказал на его могиле несколько слов, которые были приняты общим сочувствием. В моей памяти сохранился его чистый образ, как одно из светлых воспоминаний моей жизни. Бесконечная доброта, соединенная с сердечной чистотою и с неуклонным прямодушием, горячая преданность друзьям, высокий нравственный строй и отсутствие всякого мелочного чувства делали его одним из привлекательных представителей старой Москвы и достойным членом того умственного кружка, который являлся лучшим цветом тогдашней московской жизни.

В дополнение приведу сказанное мною надгробное слово. Оно было и остается прощальным приветом умершему другу.

«Мы хороним одного из последних представителей старой Москвы, который в ней родился и жил почти неотлучно с самого начала нынешнего столетия. Его воспоминания восходили к 1812 году. В зрелом возрасте он пережил лучшую эпоху московской жизни, эпоху умственного движения сороковых годов, когда всюду, и в литературе, и на университетской кафедре, и в гостиных, кипели умственные интересы и происходили блистательные ристалища славянофилов и западников. Кетчер был другом Грановского, Белинского, Боткина, Герцена, Кавелина, Соловьева. В этой блестящей среде он не выдавался ярким талантом, но он был близок всем. Его живая, чуткая, высоко нравственная натура, его неуклонное прямодушие, его беспредельная доброта и всегдашняя готовность служить друзьям всеми зависящими от него средствами делали его дорогим для всякого, кто сквозь несколько шероховатую оболочку умел ценить и любить внутреннего человека.

Кетчер пережил и другую хорошую для Москвы эпоху, время возрождения русского общества в начале прошедшего царствования,

время пылких надежд и зарождающейся свободы. Он принимал горячее участие во всех вопросах дня, и в литературных спорах и в делах нового городского самоуправления. Но здесь он явился уже не тем Кетчером, какого знали прежде. В оппозиционное время сороковых годов он был в числе самых крайних; он менее всего мог мириться с господствовавшими тогда порядками. Когда же настала пора преобразований, он со своим глубоким здравым смыслом понял, что тут крайние мнения неуместны, что для упрочения преобразований нужны прежде всего умеренность и воздержание. И Кетчер встал в ряды умеренных, благословляя царя, который вывел из крепостного состояния десятки миллионов русских людей и по всей русской земле насадил учреждения, проникнутые духом свободы. Однако лета брали свое, а с другой стороны литература и жизнь приняли течение, которое не могло его удовлетворить. Кетчер на это не роптал, он говорил, что нечего роптать на жизнь, когда на своем веку знал лучших людей и видел хорошие времена. Новые течения понудили его только удалиться из общественной жизни и замкнуться в тесном приятельском кругу. Порой еще в общественных собраниях, за бокалом вина, раздавался громкий знакомый москвичам хохот. Но, наконец, и хохот умолк, и к бокалу он стал равнодушен. Чистая лампада мало-помалу угасла.

Одно, что в нем никогда не угасло и к чему он никогда не сделался равнодушен, – это дружба. Своих друзей, и старых и новых, он любил всем сердцем, и они платили ему тем же. Когда, бывало, этот представитель отжившего поколения приедет в дружеский дом и сядет на обычное свое место, уже одно его молчаливое присутствие разливало вокруг него какое-то теплое и отрадное чувство. Зато друзья его не забудут и покинутое им место останется пусто. Прощай, верный друг, добрый товарищ и старых, и молодых. Да почиешь ты с миром, так же как и жил. Нам, старым твоим друзьям, не долго уже придется тебя поминать! До свиданья, до недалекого уже свидания, там, в лоне вечной благодати, где чистая твоя душа найдет подобающее ей жилище».

С образом Кетчера неразрывно связано в моем сердце имя лучших его и моих друзей, Станкевичей, мужа и жены. Александр Владимирович Станкевич, младший брат того слишком рано умершего молодого человека, который был один из зачинателей философского движения в русском обществе, и который имел такое значительное влияние на Белинского и Грановского, принадлежал к самым близким друзьям последнего. Он женат на двоюродной сестре Грановского, Бодиско. Можно сказать, что я им достался по наследству. С годами наша дружба все крепла и крепла. Она составляет одно из немногих утешений моей старости.

Собственно в литературной деятельности Александр Владимирович мало принимал участия. В молодости он выступил на литературное поприще с повестью «Идеалисты», – которая имела успех. Но потом он отказался от беллетристики и только изредка появлялся в печати с небольшими критическими статьями, написанными тонко, умно и изящно. Главным его литературным произведением была биография Грановского, на которую он положил всю свою душу. Она может считаться образцовой по тонкости понимания, по верности изображения, по изяществу мыслей, чувств и формы. Но, вообще, по натуре Станкевич не был производителем; труд ему не легко давался. Взамен того, у него было все, что нужно, для того чтобы сделаться центром образованного литературного кружка, какой в то время составилась в Москве. Он был одарен глубоким и верным пониманием как литературных, так и жизненных явлений. Все вопросы философские, политические, исторические, литературные, художественные, были ему равно доступны. Начитанность была разнообразная и основательная; из всякой книги он умел извлекать то, что в ней было существенного и ценить ее по достоинству. Можно сказать, что это был и есть насквозь образованный человек, тип, который в наши дни становится более и более редким. Вместе с тем, он знал людей и умел тонко определить их достоинство и характер. Поэтому всякое его суждение имело вес и значение, конечно, для избранного круга тех, кто сохранил всегда незаурядную, а ныне все более исчезающую способность ценить и уважать чужую мысль. И эти суждения он обыкновенно высказывал с тою мягкостью и деликатностью, которые составляли отличительные свойства его удивительно изящной и благородной натуры. Нередко меткая, тонкая или глубокая мысль приправлялась легкою ирониею или острою шуткою; в веселые минуты он умел быть остроумным и забавным. Иногда же обычная спокойная и мягкая сдержанность прерывалась порывами негодования, неразлучного с силою нравственных убеждений. Вообще, снисходительный к людям, ценя в них преимущественно нравственные качества, он в умственной сфере не терпел самодвольной ограниченности и пошлости, а в нравственной – возмущался всяким нарушением требований правды и чести. Нравственные начала были в нем непоколебимы, и это сообщало особенно возвышенный строй всем его взглядам и чувствам. Ко всему этому присоединялось, наконец, горячее и любящее сердце, которое разливало теплоту и гармонию на весь его внутренний мир и делало его дорожим всякому, кому доводилось близко к нему подойти.

При таких редких качествах, немудрено, что в доме Станкевича собиралось все, что было мыслящего и порядочного в тогдашнем литературном обществе, за исключением славянофилов, которые держались особняком. Обладая довольно крупным состоянием, он

давал обеды и литературные вечера, которые были истинным умственным наслаждением. Тут не было толпы всякого народа, как в редакции «Русского Вестника»; это не были ристалища, подобные тем, которые происходили в сороковых годах между славянофилами и западниками. Собирался избранный кружок людей, более или менее одинакового направления; обменивались мыслями, толковали обо всех вопросах дня. Здесь читались только что вышедшие статьи. Это было время всеобщего одушевления и надежд, последняя вспышка литературной жизни в Москве. И когда все это исчезло, как дым, когда в русской литературе серьезное обсуждение вопросов заменилось газетного перебранкой, в доме Станкевича все еще продолжали собираться прежние друзья; но ряды их более и более редели. Старания привлечь новые силы, молодых профессоров Московского университета оказывались напрасными. Погасшее пламя умственной жизни не зажигалось вновь. Надобно было наконец отказаться от литературных собраний.

Тем не менее, дом Станкевича остался теплым приютом для более тесного кружка друзей. Конечно, этому значительно способствовало влияние женского элемента. Жена Станкевича, Елена Константиновна, совершенно к нему приходилась. Она вся жила в нем, разделяя, как умная и вполне образованная женщина, все его возвышенные интересы, а вместе избавляя его от всяких домашних хлопот, окружая его самую нежную заботливостью, стараясь устроить его жизнь возможно удобно, спокойно и приятно. Пылкая, страстная, энергическая, часто нетерпимая относительно тех, кто приходился ей не по душе, она расточала на близких ей людей все сокровища любвеобильного сердца. Детей у них никогда не было; взамен того они воспитывали племянников и племянниц, которые становились для них источником и радостей, и горя. Настоящими членами семьи делались и друзья. Они находили здесь самое теплое участие, самое чуткое внимание, самую заботливую предупредительность. Нигде, ни в какой другой среде, моя душа не раскрывалась как тут. Ни с кем я в течение всей своей жизни не был в таком полном общении мыслей и чувств. И сердечные радости, и горе, и все умственные интересы, и эстетические наслаждения, все я делил со Станкевичами. Мы редко расходились с ним в оценке людей и событий. Могу сказать, что он был для меня как бы проверкою моих собственных взглядов. Мы с одинаковыми чувствами приветствовали новую эру и вместе сокрушались о последующем упадке литературы и общества. Одинаково нас возмущали и холопствующая наглость Каткова, и легкомысленный задор социал-демократов. Самые наши вкусы были одинаковы. Мы вместе со страстью предавались собиранию картин и ездили в подмосковные разыскивать уцелевшие сокровища. И это общение продолжалось, без

всякой тени отчуждения многие и многие годы. Когда я женился, дружеская связь осталась такая же тесная и теплая, как прежде. Для меня небольшой, но щегольски отделанный дом Станкевича в Чернышевском переулке, с прелестным садиком, с картинной галереей, в которой находятся истинные перлы искусства, как Мадонна Беллини, и «Христос под крестом» Луини, сделался как бы святилищем, в которое я вхожу всегда с легким и отрадным ощущением. Меня охватывает ласкающая атмосфера. Все, что томило и стесняло душу, отпадает; чувствуется умственное и нравственное приволье. И сколько с этим домом связывается воспоминаний! Сколько дружеских обедов, сколько душевных бесед! Многих собиравшихся здесь членов прежнего кружка, давно уже нет. Верным другом семьи, постоянным посетителем дома был милый Кетчер, у которого за обедом было свое, принадлежавшее ему место, так же как у меня было свое, возле него, место, на которое я и теперь постоянно сажусь, когда бываю в Москве. Через силу являлся и общий наш приятель, добрый Пикулин, некогда отличный доктор, профессор Московского университета, живой, остроумный, страстный садовод, собиравший у себя также литераторов на шумные ужины, впоследствии постигнутый ударом, но продолжавший отпускать свои добродушные шутки. Другие разбрелись по разным дорогам. Но чем меньше осталось от прежнего дружеского кружка, тем теснее связь тех, которые свято и неизменно сохранили старые отношения. Я благодарю providение, пославшее мне в жизни такую дружбу.

С глубоким сердечным услаждением вспоминаю я и свои посещения Станкевичей в деревне. В Бобровском уезде, Воронежской губернии лежит большое их поместье Курлак, с барским домом, возле которого простирается роща вековых дубов, с обширными оранжереями, наполненными великолепными растениями, с цветниками, взлелеянными заботою страстной к ним хозяйки, с фонтанами, ею устроенными. Здесь, в деревенской тиши, проводил я многие счастливые дни. Здесь мы с Александром Владимировичем не раз сидели вдвоем, любуясь прелестным видом при заходе солнца, глядя на темнеющую даль и на зажигающие огоньки по берегу выходящей изгибами речки. Ничто так живо не напоминает мне старый русский помещичий быт в лучших его проявлениях, в особенности нашу собственную прежнюю семейную жизнь в деревне, жизнь обеспеченную и привольную, на широкую барскую ногу, но без всяких стеснений, полную живых умственных интересов, и, вместе, радушного гостеприимства, с теплым приветом для родных и друзей. Ныне, при изменившихся условиях, все это становится более и более редким.

В то время, о котором теперь идет речь, дом в Чернышевском переулке еще не был приобретен. Станкевичи жили на наемной квар-

тире, где еженедельно были мужские вечера. Оживленные беседы обыкновенно простирались далеко за полночь. Из старых моих друзей, оживляющим элементом на этих собраниях, был Николай Филиппович Павлов. Семейные несчастья и полное расстройство дел не сломали этой удивительно эластической натуры. Страсти и на старости лет разыгрывались по-прежнему, хлопот было по уши, но при всеобщем пробуждении и он принялся за давно забытое перо. После повестей вышедших еще в тридцатых годах, он написал только письма к Гоголю, которыми так восхищался Белинский. Действительно, даже теперь, перечитывая их, нельзя не удивляться мастерству изложения. Сколько в них ума, тонкости, глубины; какой сильный и красивый слог, какая едкая и вместе изящная ирония! Некоторая вычурность, которая в прежнее время, под влиянием господствующего вкуса, несколько портила его произведения, совершенно исчезла; остался писатель вполне созревший, с блестящим, могучим словом, с глубоким и разносторонним пониманием литературы и жизни, вполне владевший языком. Но весь этот необыкновенный талант появлялся только вспышками. Письма к Гоголю, произведшие такое впечатление, не только никогда не были кончены, но даже третье письмо, вполне уже обдуманное, не было написано, и вместо него появилось четвертое. После этого Павлов опять умолк. Теперь он снова вступил на литературное поприще, с критикою на комедию графа Соллогуба: «Чиновник». Здесь опять во всем блеске проявился его талант, живость, наблюдательность, тонкий и язвительный юмор, глубокое знание людей и отношений. Но, боже мой, сколько труда стоило вытянуть у него эту статью! Не то, чтобы ему трудно давалась работа. Когда он за нее принимался, он писал тем легче, что все у него было заранее обдуманно. Но среди забот и рассеяния, взяться за перо было у него подвигом. Друзья ждали, приставали; он рассказывал им все, что он напишет; но выходила книжка за книжкою, и статья все не появлялась. То же было и с другою статьею: «Биограф-ориенталист», о которой я подробнее скажу ниже.

Ленивый на писание, Павлов в беседе был очарователен. Тут уж он высказывался весь. У него не было ничего обдуманного и искусственного; речь лилась свободно и непринужденно, но всегда изящно. Он умел и говорить, и слушать, и убеждать, и возражать. Ум был удивительно живой, тонкий и разнообразный. Он глубоко схватывал всякий вопрос. В теоретической области он был несколько скептик; но всякие общественные отношения, человеческие характеры, явления литературы и жизни он судил тонко и метко. У него был и верный эстетический вкус. Все оттенки мысли и выражения он ценил по достоинству. И все свои разнообразные средства, блеск ума, глубину чувства, игру воображения он умел пускать в ход по своей воле. Когда он хотел быть обворожительным, ему трудно было про-

тивостоять. Про него рассказывали, что никто не в состоянии был отказать ему в деньгах. Даже те, которые, зная, что в этом отношении на него нельзя положиться, заранее ополчались против его чар и давали себе слово туго держать свой кошель, кончали тем, что выкладывали просимую сумму. Разумеется, это могло быть только потому, что ему все-таки верили. Знали, что при всех его слабостях и увлечениях, при тех трудных обстоятельствах, в которые нередко вовлекали его собственные его страсти, он в душе всегда оставался истинно порядочным человеком. Это одно давало ему возможность тесного сближения с высоконравственными людьми, которые не только подкупались его умом, но ценили его сердце, чуткое ко всему хорошему.

Одушевляющим элементом наших литературных собраний был и новый, молодой мой приятель, Федор Михайлович Дмитриев. Мы с ним скоро сошлись и много лет жили душа в душу, как неразлучные друзья, пока жизнь не развела нас в разные стороны. Дмитриев в это время выдержал экзамен на магистра гражданского права и готовил диссертацию, которая и вышла впоследствии под заглавием: «История судебных инстанций и гражданского апелляционного судопроизводства, от Судебника до Учреждения о губерниях», – труд капитальный по истории русского права. Он обличал серьезный и научный взгляд, основательное знакомство с источниками, умение ими пользоваться, мастерство писать. В мелких статьях точность и изящество его слога проявлялись в еще большей степени. Дмитриев был человек большого ума и значительного образования, которое он с летами все расширял и дополнял. На русской литературе он был воспитан; это лежало в преданиях семьи, которая дала три поколения писателей.* Он знал множество стихов наизусть и сам с большим успехом упражнялся в юмористическом роде. Одно время он пристрастился к латинским классикам, которых он всех перечел. На университетской скамье, а затем и собственной работой он приобрел редкое юридическое образование как по гражданскому, так и по государственному праву. Получивши в Московском университете кафедру истории иностранных законодательств, к которой он вовсе не готовился, он неутомимым трудом восполнил недостаток предварительных сведений, и в своих лекциях так же, как и в литературе, всегда являлся основательным ученым, вполне владеющим своим предметом, не упускающим даже малейших подробностей без обстоятельного изучения. Впоследствии он прилежно занялся филосо-

* Дмитриев Иван Иванович (1760 – 1837), известный баснописец; его брат, Александр Иванович (1759 – 1798), переводчик Лузиады и др.; сын последнего Михаил Александрович (1796 – 1866), поэт и литературный критик, автор «Мелочей из запаса моей памяти», отец историка русского права Федора Михайловича (1829 – 1894).

фиею, хотя к этому он всего менее имел природной склонности. Ум его не столько обращался к отвлечениям, сколько к жизненным вопросам. Вообще, в нем было более меткости и тонкости, нежели силы и глубины. Он схватывал более подробности, нежели общие начала, и часто упрекал меня в том, что у меня, наоборот, за общую характеристикой подробности исчезают. Разговор его был блестящий и увлекательный. Это был непрерывный поток остроумия, то тонкого и шутового, то колкого и язвительного. Он был мастер передразнивать и давал иногда целые представления для потехи публики. Было, между прочим, заседание юридического факультета, которое заставляло всех хохотать до упаду. Каждый из старых профессоров выступал со своею своеобразною физиономиею, которую Дмитриев умел передавать с неподражаемым комизмом. Самая фигура Дмитриева, особенно в молодых годах, имела в себе что-то комическое: необыкновенно маленького роста, с необыкновенно длинным носом, осененным очками, живой, вертлявый, с умным и проницательным взглядом, с иронической улыбкою на устах, он вносил веселье во всякое общество. Но точно так же он умел вести серьезный разговор, тонко и умно затрагивая разнообразные стороны мысли и чувства. С ним можно было видаться каждый день и беседовать по целым часам, и всегда с одинаковым оживлением. Не на всех, однако, он производил благоприятное впечатление. Ядовитые его выходки отталкивали от него многих и возбуждали к нему вражду. Вообще, хотя он был очень общителен и легко сходился с людьми, но к человеческим слабостям он вовсе не был снисходителен, а к пошлости часто бывал нетерпим. У него была какая-то брезгливость, которая выражалась в колких и едких суждениях, что с первого раза заставляло его остерегаться. Но кто узнавал его ближе, тот скоро откидывал всякую осторожность. С друзьями он был в высшей степени добродушен, хотя и они становились постоянным предметом его шуток. Ему дозволялись всякие невинные остроуты, ибо знали, что под язвительными формами скрывалось нежное и любящее сердце, открытое всякому добру. Его искренняя привязанность к друзьям, его страсть к детям, его горячее и симпатическое отношение к юношеству, которое льнуло к нему в то время как он был профессором Московского университета, обличали его в сущности мягкую и добрую натуру и делали его дорогим всякому, кто подходил к нему близко и заглядывал в его душу.

У него были некоторые мелочные черты. Он имел страсть ко всяким безделушкам, которыми любил украшать свою маленькую фигурку, что особенно проявилось, когда он получил возможность располагать довольно порядочными деньгами. Нередко он приписывал себе острое словцо, которого никогда не говорил. Он дорожил светскими отношениями и любил разыгрывать маленькую роль в малень-

ком кружке. Но все это было весьма невинно. Друзья подтрунивали над его слабостями, и он принимал это очень добродушно. Под старость эта сторона его характера развилась в мелкое честолюбие, которое, наконец, охватило его всего и затемнило прекрасные качества его ума и сердца. Сама судьба его на это натолкнула, а современное русское общество довершило остальное. Пока он занимался наукою и преподаванием, у него был живой умственный интерес, который возвышал его над жизненными мелочами. Но он принужден был оставить университет. Болезнь глаз положила предел и его научным занятиям. Да и сам по себе, чисто кабинетный труд мало приходился к его живой, общительной и деятельной натуре. Я на себе испытал, что писать ученые книги в настоящее время в России – работа в высшей степени неблагоприятная. Можно сказать, что это подвиг самоотвержения, на который может решиться лишь тот, у кого выработались своеобразные взгляды, которые он чувствует потребность высказать, хотя бы только для собственного удовлетворения. Дмитриеву нужен был иной исход. Поселившись в провинции, где ему по наследству от тетки досталось довольно значительное состояние, он весь погрузился в земскую деятельность и скоро стал центром и душою своего уезда, который совершенно преобразился под его влиянием. Те, которые видели его на этом поприще, не могли им налюбоваться. Ю. Ф. Самарин, который тоже был сызранским помещиком, с тех пор вошел с ним в дружеские отношения. Деятельность Дмитриева была неутомима. Он был и уездным предводителем, и председателем мирового съезда, и председателем училищного совета. При постоянно плохом здоровье, он ездил по самым невозможным дорогам, чтобы обзирать школы и производить экзамены. Несмотря, однако, на существенную приносимую им пользу, несмотря на первенствующую роль, которую он играл в этой среде, ему было в ней тесно. Человеку с широким умом и образованием, трудно закабалить себя в узкой провинциальной сфере, которая волею или неволею наполняет его своими мелкими интересами, а удовлетворения все-таки не дает. К тому же, и здоровье не позволяло ему продолжать эту жизнь. Поэтому он жадно ухватился за предложение барона Николаи, который, будучи назначен министром народного просвещения в начале нынешнего царствования, призвал его к управлению Петербургским учебным округом.

Это был роковой шаг в его жизни. При бароне Николаи, какой он ни был чиновник, можно было служить с честью; но он скоро слетел вследствие происков Каткова и Победоносцева. Тогдашним законам нужно было более удобное орудие, и вскоре после катастрофы 1 марта*, управление взволнованным русским юношеством,

* 1 марта 1881 года произошло убийство Александра II.

которое требовало прежде всего разумного руководства, было вверено старой, истасканной и засаленной армянской тряпке. Делянов давно был известен в Министерстве народного просвещения и заслужил всеобщее презрение. Он был лакеем графа Толстого, лакеем Каткова, лакеем всякого, кто имел силу. Возведение его в должность министра означало торжество направления «Московских Ведомостей», которые стремились уничтожить всякую самостоятельную жизнь университетов и подчинить все народное образование в России бюрократическому произволу, направляемому из-за журнального стола. Вскоре в этом духе внесен был в Государственный совет новый университетский устав, который все университеты ставил вверх дном без всякой мысли и всякого повода. Но мой взгляд служить в Министерстве народного просвещения при таких условиях для независимого и порядочного человека было невозможно, и я настойчиво уговаривал Дмитриева выйти в отставку. Я должен сказать, что ни один из наших общих друзей меня в этом случае не поддержал. Несчастливая, распространенная в России, хотя постоянно обличаемая практикою мысль, что можно принести пользу, делаясь органом вредного направления, побуждала наших друзей одобрить решение Дмитриева остаться на своем месте, пока не будет прямого повода к выходу. Единственная польза, которую он принес, состояла в том, что он своею энергиею и авторитетом расчистил поле для Делянова и Каткова. С самого начала возникли студенческие беспорядки, вызванные подлым адресом Полякова, устроенным от имени студентов агентами министерства помимо попечителя. На обеде, которым ознаменовалось открытие учрежденного Поляковым студенческого общежития, министр, в своей речи, ставил этого железнодорожного пройдоху на ряду с славнейшими именами русской земли. Я говорил Дмитриеву, что поведение Делянова в этом совершенно невозможное и представляет более, нежели достаточный повод для выхода в отставку. На это общая наша приятельница, баронесса Раден, воскликнула: «Уходить теперь в отставку – значит бежать с поля битвы; после – другое дело». Дмитриев ухватился за этот предлог. Он употребил всю свою решимость и все свое умение, чтобы подавить волнения. Университет был очищен; но выходить в отставку он не думал. Он объявил, что выйдет, если пройдет новый университетский устав. Я опять убеждал его, что тогда будет поздно: теперь его отставка явиться протестом против министерства, заявлением несогласия с новым уставом людей, близко знающих дело; тогда же выход его будет бесполезным протестом против вошедшего в силу закона, то есть, против воли государя. Но Дмитриев все надеялся, что устав не пройдет, по крайней мере, в том виде, в каком он был представлен, ибо противником его выступал сам Победоносцев. Однако, и эта лазейка была у него отнята. Несмотря на значитель-

ное большинство Государственного совета, высказавшееся против нового устава, по внушению того же Победоносцева образован был маленький комитет, подобранный из приверженцев преобразования: графа Толстого, Делянова и Островского; защитником же старого устава явилось только одно лицо, сам предатель, прокурор св. Синода. Дмитриев защищал последнего, уверяя, что его обманули; но из всего хода дела и из переданных мне собственных слов Победоносцева видно, что он просто сдался, уступая личным отношениям, и подстроил все это дело так, что Государственному совету оказано было явное презрение. Дело, обсужденное в верховном государственном учреждении, которого все значение заключается в том, чтобы изъять самодержавную волю из сферы частных и потаенных влияний, переносилось для нового обсуждения в маленький комитет доверенных лиц. Результатом было то, что представленный министерством устав был утвержден во всем своем безумии. Русское юношество принесено было в жертву личным целям Каткова.

Дмитриеву ничего более не оставалось, как выйти в отставку. Он это и сделал, однако и тут показал свою слабость. Делянов просил его остаться еще несколько месяцев, и он на это согласился. Пришлось самому вводить новый устав, собственными руками разорять университет, наносить смертельный удар высшему образованию в России. Я его спросил, как он мог на это идти. «Я так решительно действовать не могу, – отвечал он, – я вышел, чего же более?» Тут же он высказал, что он через Победоносцева хлопочет о назначении его сенатором, в надежде, что Делянов долго не продержится, и тогда он будет министром. В Сенат его действительно посадили, но министром он не сделался. Делянов все сидел да сидел. Взамен того, несколько лет спустя Победоносцев обещал представить его в члены Государственного совета. В это время мы с ним случайно съехались в Москве, и он очень важно возвестил мне эту новость. «Охота же тебе лезть в эту плевательницу, – воскликнул я невольно. – Ты хочешь сидеть рядом с выжившими из ума стариками, с которыми не считают даже нужным сколько-нибудь церемониться». На это все тем же важным тоном возразил, что его посадят не в общее собрание, а в Департамент. Я увидел, что он неисцелим. Проказа петербургского чиновничества проникла до мозга костей.

Человеку, погрузившемуся в этот омут, трудно избежать заразы. Я сам, когда в последнее время жил в Петербурге, чувствовал на себе развращающее действие этой атмосферы. На расспросы о моих впечатлениях, я отвечал, что, вращаясь некоторое время в высших сферах, я замечал в себе странное изменение: то, что прежде я считал важным, начинало казаться мне неважным, и, наоборот, то, что я считал вовсе неважным, начинало мне представляться важным; затем, когда выберешься оттуда, восстанавливается нормальное чело-

веческое воззрение. В Петербурге приходится или негодовать вечно и волноваться, или делаться равнодушным и примиряться с существующим. Вследствие этого я петербургских жителей разделяю на две большие категории: на беснующихся и пресмыкающихся. Однажды я сообщил Дмитриеву эту классификацию. «Я беснующийся!» – воскликнул он живо. «Ну, куда тебе! – возразил я, смеясь, – разве сенаторы бывают беснующиеся?»

Но мне было вовсе не до смеха. Я не мог без сердечной боли видеть упадок этого человека, с которым я столько лет был близок, который меня любил так же, как и я его. Мы жили как бы в разных мирах и перестали понимать друг друга. То, что возмущало одного, что перевертывало в нем душу, то другому казалось естественным и простительным. Это было уж не различие мнений, а противоположность нравственных взглядов. Примириться с этим я не мог. Я понимаю, что человек, посвятивший службе всю свою жизнь, которому она дает насущный хлеб, принужден бывает делаться орудием даже такого направления, которое он считает вредным. Чиновник по ремеслу волею или неволею должен остаться таковым. Но нельзя глубоко не скорбеть, когда видишь, что человек вполне независимый, с обеспеченным состоянием, с обширным умом, с благородными убеждениями, от которых он никогда не отрекался, человек, составивший себе крупное имя в литературе и обществе, на старости лет лезет в чиновники, радуется внешним почестям, становится слугою правительства, которого направление он считает пагубным для отечества, и все это делает с значительными личными пожертвованиями, расставаясь с семьей, которую любит, обрекая себя на одинокую и печальную жизнь в рабской и удушливой среде, внушающей отвращение всякому возвышенному уму и благородному сердцу. Есть нравственные обязанности перед отечеством, которые люди, выходящие из ряду вон, не в праве забывать, обязанность показывать пример стойкости убеждений и независимости характера в обществе, слишком склонном пренебрегать и тем и другим. И все это учиняется ради пошленького сенаторского местечка.

Сам Дмитриев со свойственною ему удивительною меткостью однажды так характеризовал отношение петербургской бюрократии к земским людям: «Она поступает с ними, как Гераклес с Титаном: поднимет их высоко на воздух, оторвет от почвы, из которой они почерпывают всю свою силу, и так их и задушит». От него ускользало, что он сам подвергался той же участи.

Членом Государственного совета Дмитриева все-таки не сделали. Его сочли все еще слишком независимым для того, чтобы причислить к высшему разряду государственных людей. Выход из попечителей после нового университетского устава был сочтен актом своеволия, который требовал наказания. К тому же, своим острым

языком, который не унимался и в петербургской среде, он постоянно наживал себе врагов. Наконец, к этому присоединялась идущая еще от университетской истории непримиримая неприязнь графа Толстого, который имел наибольшее влияние на ум государя. Вследствие всего этого, Победоносцеву было отказано в сделанном им представлении, между тем как в то же самое время, по ходатайству того же самого Победоносцева, в Государственный совет посадили жиденского барона Менгдена, который даже и не мечтал о такой почести, а хлопотал только о том, чтобы попасть в сенаторы. Дмитриев не потерял, впрочем, надежды. Года два спустя, сестра моя, Нарышкина, которая осталась с ним в самых приятельских отношениях, писала из Петербурга: «Не понимаю нашего общего друга; и спит и видит быть членом Государственного совета. А все из пустого тщеславия!»

Так бедный Дмитриев и не дождался желанного повышения. Он умер сенатором. В последние годы его жизни мы почти не видались. В Москву он наезжал, когда меня там не было, а я не ездил в Петербург. Но в январе 1894 года мы случайно съехались в Москве и провели несколько дней вместе. Он произвел на меня впечатление совершенной развалины. Прежний огонь потух; от отличавших его живости и остроумия не осталось и следа. Он говорил медленно, с трудом, кашляя и задыхаясь, через меру длинно, но без оживления рассказывал о сенаторских делах и всяких петербургских сплетнях. Видно было, что его в самом корне подточило недовольство и собою, и своим положением. Мне его стало невыразимо жалко. Я вспомнил, чем он был прежде, все живое, сердечное и благородное, что некогда таилось в этой душе. Старое дружеское чувство воспрянуло с новою силою. Я нянчился с этим чувством, как бы предвидя, что ему в последний раз дано проявиться. Всякий день мы видались и утром, и вечером; я старался быть как можно ласковее и дружелюбнее, избегая всего, что могло его сколько-нибудь задеть. По-видимому, это его тронуло; вернувшись в Петербург, он с чувством говорил обо мне моей жене. При прощании я обнял его от полноты сердца и сказал, что бог знает, увидимся ли еще. И точно, через две недели его не стало. Господствовавшая инфлюэнца неожиданно унесла его в несколько дней. Он умер одинокий, вдали от семьи и друзей, как растение, пересаженное на чужую почву, и там заглох и предался забвению. Хоронили его в Москве; отпевание происходило в университетской церкви, в том учреждении, которому он посвятил лучшие свои силы. Народу было немного; кроме семьи и нескольких оставшихся в живых старых друзей, с горестью вспоминали о нем молодые люди, которым он всегда оказывал и сердечное участие, и материальную помощь. На следующий день после похорон я напечатал в «Русских Ведомостях» посвященную его памяти статью, которая

вылилась из сердца и произвела некоторое впечатление. Прилагаю ее в конце*, а здесь выписываю последние прощальные слова:

«Мир душе твоей, старый друг. Перед твоею могилою исчезают грустные воспоминания последних лет и еще живее воскресает светлый образ давно прошедшего, прожитые с тобою дни молодости, память о той жизни, которую ты вокруг себя разливал, о твоём тонком и образованном уме, неистощимой веселости, блестящем остроумии, о тех нравственных свойствах, которые делали тебя дорогим всякому, кому доводилось подойти к тебе близко и заглянуть в твоё сердце. Один за другим уходят прежние ратники на поле мысли и труда, унося с собою живую часть прошлого. Старикам остается с грустью озираться на пройденный путь, вспоминая о тех временах, когда и сошедшие ныне в могилу и немногие оставшиеся в живых шли дружной фалангой, одушевленные верою в будущность России, в науку, в свободу, в развитие человечества, одним словом, в те идеалы, которые одни делают человеческую жизнь достойною этого названия и для которых стоит жить на земле».

Я ввел в кружок Станкевича другого моего сверстника, с которым я в это время очень подружился, – Льва Толстого. Но он скоро отстал; серьезные умственные интересы были вовсе не его сферою. Он тогда успел уже приобрести себе громкое имя своими очерками «Детство и юность» и своими «Севастопольскими рассказами». По окончании войны, прожив некоторое время в Петербурге, он вышел в отставку и поселился в Москве, где жили его братья и сестра. Мы скоро с ним сблизились. Меня привлекала эта чуткая, восприимчивая, даровитая, нежная, а вместе с тем крепкая натура, это своеобразное сочетание мягкости и силы, которое придавало ему какую-то особенную прелесть и оригинальность. Мы виделись почти каждый день, иногда ездили ужинать вдвоем и вели долгие беседы. Образования он не имел почти никакого, ничего не читал; но душа его была в то время всему открыта, и собственные его, более или менее фантастические мысли облекались в своеобразную и заманчивую форму. Наклонность его преследовать всякую позу в себе и других, которая привела к столкновению его с Тургеневым, никогда не вносила ни малейшей тени в наши взаимные отношения. Мы жили душа в душу. Я и теперь не могу без умиления перечитывать его старые письма. От них веет такою свежестью, искренностью и молодостью, они так хорошо рисуют его в эту первую пору развития его таланта и так живо переносят меня в это далекое время, что не могу отказать себе в удовольствии сделать из них некоторые выписки.

Весною 1858 года он уехал в деревню, занялся хозяйством и писал мне: «Здравствуй, милый друг. Ты, я думаю, злился и уже пере-

* Текст статьи («Русск. Ведомости» 4 января 1894 г.) в рукописи, переданной в издательство, отсутствовал.

зился на меня, так что письмо это застанет тебя равнодушным; это было бы мне очень, очень больно. Впрочем, тебя не угадаешь; ты субъект странный. Не писал я тебе оттого, что с приезда моего в деревню и до сей минуты буквально не брал пера в руки – сеял, косил, жал и т. д. – тоже буквально. Я не могу заниматься чем-нибудь немножко. От этого я и тобой не занимался; теперь же, в эту минуту, я весь в тебе и отдал бы все скирды, сложенные моими трудами, за вечер с тобою. Хочется опять умственных волнений и восторгов, которые, однако, мне так надоели, что я четыре месяца отдыхал от них в физическом труде; хочется слушать тебя, разгадывать, даром, мгновенно ловить трудом выработанную мысль, усваивать их, цеплять одну за другую и строить миры, новые, громадные, с одной целью: любоваться на их величавость. Ты, верно, понимаешь, что я хочу сказать. Как я провел нынешнее лето? трудно сказать и на словах, не только в письме.

Два дня лежало это письмо; я остановился на том месте, где хотел начать хвастаться, – совестно стало, а есть чему похвастаться. Построить свой честный мирок среди всей окружающей застарелой мерзости и лжи, стоит чего-нибудь, и, главное, успеть – дает гордую радость. Быть искушаемым на каждом шагу употребить власть против обмана, лжи, варварства и, не употребляя ее, обойти обман – штука! И я сделал ее. Зато и труда было много; зато и труд вознагражден, во-первых, самим трудом и огромным новым содержанием, почерпнутым мною в это лето. В чем оно, не расскажешь, но следы его всякий человек, любящий меня, увидит легко на мне; почему я и сам их на себе вижу и чувствую. Но не о том хочется говорить. Читал ли ты переписку Станкевича? Боже мой! что за прелесть. Вот человек, которого я любил бы, как себя. Веришь ли, у меня теперь слезы в глазах. Я нынче только кончил его и ни о чем другом не могу думать. Больно читать его – слишком правда, убийственно-грустная правда. Вот где ешь его кровь и тело. И зачем? за что? мучилось, радовалось и тщетно желало такое милое, чудное существо. Зачем? ты скажешь: «затем, что бы ты плакал, его читая». Да это я знаю и согласен, но этот ответ не мешает мне все-таки совсем из другого, более цельного, более человеческого источника спросить: зачем? и с каким-то болезненным удовольствием знать, что ничем, кроме грустью и ужасом, нельзя ответить на этот зачем? Тот же зачем звучит и в моей душе на все лучшее, что в ней есть; и это лучшее мне тем, не скажу, дороже, а больнее. Понимаешь ли ты меня, мой друг? Я бы желал, чтобы ты меня понял, а то на одного много этого – тяжело. Черт знает, нервы что ли у меня расстроены, но мне хочется плакать и сейчас затворю дверь и буду плакать. Пора умирать нашему брату, когда не только не новы впечатленья бытия, но нет мысли, нет чувства, которое невольно не привело бы быть на краю бездны. Счастливый ты человек, и дай бог тебе счастья. Тебе тесно, а мне

широко, все широко, все не по силам, не по воображаемым силам. Истаскал я себя, растянул все, а вложить нечего. Прощай, как бы дорого я дал, чтобы поговорить с тобою и смущенно замолчать. Пускай бы мальчишки забегали в глазах, это ничего».*

В следующем году он писал:

«Благодарствуй за твое письмо, любезный друг Чичерин. Я уже боялся, что ты бросил писать ко мне за мою неаккуратность, причиною которой ничего и все – моя натура. Ну да что, это точно к родителям объяснение. Давно мы не видались, мой друг, и хотелось бы попримериться друг на друга: на много ли разъехались – кто куда? Я думаю иногда, что многое, многое во мне изменилось с тех пор, как мы, глядя друг на друга ели quatre mendiants у Шевалье, и думаю тоже, что это тупоумие эгоизма, который только над собой видит следы времени, а не чует их в других. Но у тебя в душе, я чай, многое повзросло, многое повзросло за эти полтора года, и опять нам будет хорошо вместе. Хотел было пофилософствовать с тобой о бессмертии души и о прочем, но на этом месте третьего дня помешали мне, и теперь не знаю, как допишется. Дам отчет тебе о своем прошедшем и о планах будущего. Жил я зиму в Москве, лето в деревне. В деревне занимаюсь хозяйством и хотя скучно и трудно, но с нынешнего года уже заметны кой-какие следы моих трудов и на земле, и на людях. А ты знаешь, что ничто так не привязывает к делу, как следы своего участия в нем. Я уже положительно могу сказать, что я не случайно и временно занимаюсь этим делом, а что я на всю жизнь избрал эту деятельность. Литературные занятия, я, кажется, окончательно бросил. Отчего? трудно сказать. Главное то, что все, что я делал, и что чувствую себя в силах сделать, так далеко от того, что бы хотел и должен бы был сделать. В доказательство того, что это я говорю искренно, не ломаясь перед тобою (редкий человек, когда говорит про себя, устоит от искушения поломаться, хоть с самым близким человеком), я признаюсь, что мое отречение от литературной (лучшей в мире) деятельности было и теперь очень иногда тяжело мне. Все это время я то пытался опять писать, то старался заткнуть чем-нибудь пустоту, которую оставило во мне это отречение: то охотой, то светом, то даже наукой. Я начал заниматься естественными науками. Но теперь уж жизнь пошла ровно и полно без нее. – Решительно не могу дописать, два раза перервали, а теперь надо отправлять. Пришли пунктуальный адрес, а мне хочется писать тебе. Прощай, душа моя, я тебя очень, очень люблю. Я зиму нынешнюю живу и в деревне; да и будущую тоже, я думаю. Уж ты в Ясную приедешь поговорить. Вот где хорошо поговорить, пощупаться. Никакое ломание невозможно».

* Письмо напечатано в сборнике «Письма Толстого и к Толстому», М. и Л., 1928, стр. 16 – 18.

Я старался убедить его, что, когда человеку дан от природы решительный талант, от литературной деятельности отказываться не следует. Но это его только рассердило.* На него, бывало, найдет какой-нибудь стих, и он вдруг начинал самые простые и естественные вещи находить гадкими и мерзкими. Но скоро эти случайные вспышки приходили и опять водворялось обычное благодушие.

Однако, и в то время уже проявлялась у него погубившая его впоследствии склонность к резонерству. Уединенная жизнь в деревне еще более развила в нем эту болезнь. Его занимали высшие вопросы бытия, а подготовки для решения их не было никакой. Он и предавался своеобразному течению мысли, перемешанной с фантазией. В лице Левина он изобразил себя, валяющегося на стоге сена и размышляющего обо всем на свете без малейшей руководящей нити. Такое резонирующее направление уже само по себе вредит художественному смыслу; но у него к этому присоединилось еще удивительное упорство в отстаивании случайно взбредшего ему на ум всякого вздора. Он сам и его близкие рассказывали мне со смехом, что с самой ранней молодости на него по временам находила разная дурь. Вдруг он вообразил себе, что человеку ничего не нужно, устроил себе халат, который служил ему единственной одеждою и жилищем, и жил, как Диоген. Затем эта дурь проходила и являлась какая-нибудь другая, которой он держался так же упорно, как и первый. С летами это упорство в исключительно овладевшей им мысли, это радикальное отрицание всего, что к ней не подходило, получало все большее развитие. Я видел тому удивительные примеры. В 1860 году он поехал за границу, был в Италии и приехал в Париж, где я находился в это время. Я начинал тогда составлять собрание гравюр старинных мастеров и показывал ему свои приобретения. Рембрандтами и Дюрерами он восхищался; но Марк-Антониев он презрительно отбрасывал в сторону, уверяя, что вся итальянская школа совершеннейшая дрянь. В это время он вздумал заниматься педагогикой и покупал в Париже разные раскрашенные литографии для своей будущей школы. Эти литографии изделия какого-то Гренье очень ему нравились. Накупивши картинок и осмотревши несколько школ, он поехал на несколько дней в Брюссель**, повидаться со знакомою дамою, занимавшею также педагогикой. Оттуда он писал мне всякий день, и я отвечал ему из Парижа. В одном из его писем было буквально следующее: «Когда Рафаэль с картофельно-шишковатыми формами мне противен, а картинки Гренье приводят меня в умиление, я не еди-

* Письмо, рассердившее Толстого (из Берлина от 5/17 декабря 1859 г.), напечатано там же стр. 279 – 281; ответ Толстого, стр. 19 – 21.

** Во время поездки за границу в 1860 – 1861 гг. в Брюсселе Толстой общался с Марией Михайловной Дондуковаой-Корсаковаой, известной своей благотворительной деятельностью.

ной минуты не сомневаюсь, что Гренье выше Рафаэля». Ему не приходило в голову, что вкус его может быть неверен, что он может ошибаться, и что для произнесения приговоров нужно кой-чему поучиться.

Страсть к педагогике продолжалась несколько лет. Он заводил школы, сам учил мальчиков, издавал «Ясную Поляну». Но потом жар охладел и все это было брошено. Взамен того он вообразил себя мыслителем, призванным поучать мир. К этому он менее всего был способен. О философии он не имел понятия. Он сам признавался мне, что пробовал читать Гегеля, но что для него это была китайская грамота. Шопенгауэр, рекомендованный ему Фетом, был его единственной пищею. Но несмотря на это, можно сказать, полное отсутствие философских знаний, он храбро уверял в своих писаниях, что он проглотил всю человеческую мудрость и нашел, что она суета сует. «Соломон, Шопенгауэр, и я», такова была троица, которую он цитировал на листах своих поучений. Наконец, он пришел к тому, что всякая головная работа, то есть, то, что было ему недоступно, объявлялась дьявольским наваждением. Он прямо высказал эту мысль в Сказке об Иване Царевиче. Взамен того он жадно стал хвататься за всякую нелепость, порожденную невежеством. Как он прежде мудрецом считал Фета, так он величайшим мыслителем признал князя Урусова*.

Этот князь Урусов был севастопольский герой и известный шахматный игрок, но отличался крайним скудоумием. Князь Виктор Илларионович Васильчиков рассказывал мне, в какой он был повергнут конфуз, когда однажды Хрулев предложил ему назначить Урусова начальником редута, и он, не заметив присутствия последнего, слишком резко отозвался об его умственных способностях. После войны князь Урусов вышел в отставку и принялся писать философские статьи. Как-то раз Сергей Рачинский, в виде курьеза, принес нам изданную им брошюрку. Это была такая невероятная галиматья, что все присутствовавшие хохотали до упаду. Оказалось, что именно из этой брошюрки Толстой почерпнул все те исторические теории, которые он внес в свой роман «Война и мир»: эти теории как раз отвечали той задаче, которую поставил себе Толстой, и которая состояла в том, чтобы развенчать всех великих людей и все приписывать действию маленьких невидимых единиц, руководимых темными инстинктами. И мысль, и воля человека – все осуждалось бесповоротно. Толстой Шекспира объявлял дрянью за то, что он изображал небывалых цезарей. Точно так же он не хотел признавать Пушкина, утверждая, что русскому народу нет дела до воспеваемых им ножек. Все свелось, наконец, к поклонению уму и деятельности мужика.

* Урусов Сергей Семенович, князь (1827 – 1897).

Мужицкое изречение выдавалось за верх человеческой мудрости; физический труд признавался единственным полезным и нормальным. Толстой, который уже и прежде косил и пахал вместе с крестьянами, начал собственноручно класть печи и точать сапоги. Из крестьянской среды он стал почерпать и религиозные свои убеждения. Одно время под влиянием пробудившихся религиозных потребностей, он примкнул к православию; но скоро он отверг всякую официальную систему.

Вместо того, узнавши о существовании в Тверской губернии своеобразного раскольника, Сютяева*, он поехал туда, привез его к себе в Москву и стал у него поучаться. От него он заимствовал взгляды, которые потом распространял в рукописных брошюрах. Сам он сделался главою религиозной секты. Он переделал Евангелие, приспособляя его к своему учению, откинув все сверхъестественное и переиначивая тексты по своей фантазии. В этом удивительном произведении Христос превращается в графа Льва Николаевича Толстого. Более противонаучного и противохудожественного изуродования святых невозможно представить. И все это делалось с той же самоуверенностью, с какою он Гренье ставил выше Рафаэля. В предисловии к своему Евангелию, сравнив официальную церковь с мешком воючей грязи, в котором находится перл, он говорит: «Может показаться странным, что в течение 1800 лет никто не докопался до этого перла, и я первый его открыл. Да, это действительно странно, но, тем не менее, это так». Для тех, кто близко знали Толстого, все эти печальные блуждания крупного таланта легко объясняются отрицательными свойствами его ума и характера. Эта была новая дурь, сменившая прежние, но уже более закоснелая и упорная. Невинные фантазии молодости перешли в умственное самодурство старости, поддержанное всею приобретенною славою писателя и постоянным каждением многочисленных поклонников. В русском обществе путная мысль редко находит отголосок, но всякое пустословие встречает отзыв и сочувствие. Как перед Катковым стояли, развесив уши, патриотические Бобчинские и Добчинские, так Бобчинские и Добчинские другого рода окружали Толстого. Ему поклонялись, как мудрецу, возвещающему человечеству новые истины; его возводили в гении. Между прочим его жена рассказывала мне, что в Петербурге, куда она ездила хлопотать о пропуске какой-то статьи, Победоносцев, к которому она обратилась, сказал ей, что ее мужу недостает умственного равновесия, побуждающего человека удаляться от крайностей и стать посередине истины. Когда она сообщила это Страхову, последний воскликнул: «Вы бы ему отвечали, что

* Сютяев Василий Кириллович (1819 (?) – 1892), крестьянин дер. Шевелино, Новоторжского уезда, Тверской губернии.

гений стоит выше всего этого». Под влиянием Толстого на разных концах России стали устраиваться маленькие общины, занятые земледельческим трудом, с общением имуществ. Благовоспитанные юноши братались с конюхами, переходили в крестьянское житье, соединялись браком без всяких обрядов. Жены разлучались с мужьями, дети с родителями. Сам же Толстой, проповедуя отречение от всех жизненных благ, преспокойно продолжает ими пользоваться, предоставив все материальные заботы своей жене, которая взяла в свои руки и издание сочинений, и все хозяйственные хлопоты. Благодаря ей благосостояние многочисленной семьи обеспечено. А муж на все это смотрит благодушно как будто это до него не касается. Он занимается рубкою дров и тачанием сапог, причем его поклонники таинственно сообщают, что он переносит эту противоречащую его убеждениям жизнь как возложенный на него крест. Иногда он пишет и поучения о том, как следует жить, или о вреде крепких напитков, или вдруг выступает перед публикою с нравоучительной повестью в роде «Крейцеровой сонаты», которая на читателя, сохранившего каплю эстетического вкуса, производит впечатление рвотного, но в современной публике находит громадное количество почитателей. В описании грязи видят предохраняющее средство против чувственных увлечений.

При таком господстве одуряющей атмосферы наши отношения, разумеется, не могли остаться прежними. Мы много лет почти не видались. Он жил безвыездно в Ясной Поляне, а я в Москве или у себе в деревне. Встречи были весьма редкие, всегда дружелюбные; но всякий раз чувствовалось, что мы расходимся все более и более. Сначала я спорил, но потом увидал, что это совершенно бесполезно, и он, со своей стороны, постоянно твердит, что надобно говорить о том, в чем люди сходятся и избегать предметов разногласия. Узнавши из газет, что он болен, я к нему заехал по пути из Крыма (1890). Нашел его выздоравливающим, в обычном его спокойном благодушии. Несмотря на то, что он в своих статьях ругает докторов, как первых врагов человечества, он советовался с Захарьиним и по его предписанию пил воды. Я увидел Диогена, живущего в просторном доме и пользующегося всеми удобствами жизни, но продолжающего уверять, что надобно жить в бочке и исполнять самые низкие работы, ибо только относительно их можно быть уверенным, что они несомненно полезны. По-прежнему свидание было самое дружелюбное, я слушал, не возражая, но чувствовал, что общего уже ничего нет. Осталось только сердечное воспоминание прежней связи. Было время, когда мы оба были молоды и плыли рядом по одной жизненной волне. Но скоро поток унес нас в разные стороны и выбросил на противоположные берега. И теперь, глядя на некогда близкого человека, измеряешь грустным взором разделяющее нас рас-

стояние. Воспоминания молодости нередко служат огорчением старости.

В московских кружках, примыкавших к «Русскому Вестнику», появлялись иногда и два петербургских литератора, с которыми я тогда познакомился, Безобразов и Салтыков. Оба в то время только что выступали на литературное поприще и писали в московском журнале. Они были товарищами по лицу и в Петербурге жили в одном доме, Безобразов наверху, а Салтыков внизу. Однако, они мало сходились или, может быть, в это время разошлись. Однажды Безобразов приезжает в Москву. Я спрашиваю его о Салтыкове. «Помилуйте, – отвечает он – у него такое самолюбие, что просто мочи нет. И представьте, он и днем и ночью читает свои произведения своей бедной жене. Она не знает куда от него деваться». Несколько времени спустя, приезжает Салтыков. Я его спрашиваю о Безобразове. «Безобразов, – воскликнул он, – да это та кое раздутое самолюбие, что ни на что не похоже. Он воображает себя великим писателем. И, представьте, совсем зачитал свою жену. Он ее в гроб сведет». Действительно, самолюбие было выдающеюся чертою у обоих; но оно проявлялось в разной форме. Безобразов был образованнее Салтыкова. Получивши в лицее обычное, весьма поверхностное образование, он дополнял его чтением. Он добросовестно занимался экономическими и финансовыми вопросами. Но при недостатке природных способностей, все выходило у него чрезвычайно жидко, а, между тем, он хотел разыгрывать роль, постоянно носился с собою, был в вечной ажитации, говорил, что надобно сходитьсь, столкновываться, хотя столкнуться было решительно незачем. Вообще, жижица, наполненная собою, вечно волнующаяся и старающаяся раздуться, представляла не очень привлекательное явление. Салтыков был гораздо умнее и даровитее; но это была грубая и пошлая натура, что выражалось и в его голове, и в его манерах. В то время он печатал в «Русском Вестнике» свои «Губернские очерки», которые производили эффект, как разоблачение внутренних наших язв, но которые в сущности были только карикатуры Гоголя. Изображая пошлость с неподражаемым мастерством, Гоголь стоял вне ее и описывал ее, как художник. Щедрин же сам властью валялся в пошлости и грязи, так что чтение его становилось, наконец, противным. Впоследствии талант его развился, хотя не сделался более высоким. У него был бьющий ключей юмор, иногда меткий, часто забавный, редко художественный, которым несколько искупались крайне поверхностное понимание жизни, одностороннее и тенденциозное отношение к явлениям, полный недостаток изящества и вкуса, наконец, отсутствие истинно художественного таланта. Гоголь с глубоким сочувствием относился к человеческим чертам даже в пошлых лицах. Он не стал бы глумиться над несчастным помещиком,

воспитанным в мягкой патриархальной среде, который не умеет справиться с новыми отношениями и погибает под бременем внезапно обрушившихся на него суровых требований жизни. У Щедрина грубое и пошлое глумление составляет отличительную черту его сатиры. В сальностях он купался, как в родной ему сфере, даже когда это вовсе не было нужно. И все это он размазывал без удержу, вопреки самым элементарным требованиям художественной отделки. Под конец у него пропал даже юмор; он впал в уныние, и тогда сделался уже совершенно невыносим. Причислять его к разряду крупных талантов, которыми может гордиться Россия, нет никакой возможности. Он может считаться одним из типических представителей современной жизни, но не как писатель, глубоко ее понимающий, а как порождение современного брожения. Сатирик не понимал, что собственное его направление составляет одну из язв русского общества.

Кроме своих друзей и кружка «Русского Вестника», я в это время часто видался и с славянофилами. Кошелев, который с Павловым был давнишний приятель, очень меня обласкал и назвал к себе. У него еженедельно собирались по вечерам, и тут, в течение двух зим происходили бесконечные споры.

Отношение славянофилов к западникам состояло вовсе не в противоположности учений. Из предыдущего можно видеть, что у так называемых западников никакого общего учения не было. В этом направлении сходились люди с весьма разнообразными убеждениями: искренно православные и отвергавшие всякую религию, приверженцы метафизики и последователи опыта, социал-демократы и умеренные либералы, поклонники государства и защитники чистого индивидуализма. Всех их соединяло одно: уважение к науке и просвещению. И то и другое, очевидно, можно было получить только от Запада, а потому они сближение с Западом считали великим и счастливым событием в русской истории. При этом они вполне признавали, что когда младенческий народ приходит в соприкосновение с высшею цивилизацией, он сначала усваивает себе преимущественно внешние формы, иногда с большим легкомыслием; но лекарство от этого зла они видели в глубоком понимании и усвоении плодов просвещения, а никак не в возвращении к отжившей старине. Славянофилы, напротив, выработали весьма определенное учение, которое разделялось ими всеми. Эта была настоящая секта. В основании лежали возвышенные и верные начала; глубокое нравственно-религиозное чувство и пламенный патриотизм; но то и другое искажалось преувеличением, узостью и исключительностью.

По их теории источник всякого просвещения заключается в религии; и наука, и искусство от нее получают свои верховные начала.

Западный мир развивался под влиянием двух оторвавшихся от истинного корня отраслей христианства: католицизма, свойственного романским племенам, и протестантизма, составляющего принадлежность племен германских. Эти две противоположные крайности одинаково удаляются от цельной христианской истины, хранимой православною церковью. Последняя представляет высшее единство противоположностей, вследствие чего она призвана создать из себя новую, высшую цивилизацию. Развитие Запада закончило свой круговорот и дало из себя все, что могло дать; ныне это не более, как разлагающееся тело, которое должно уступить место новым, живым силам, лежащим в православном русском народе. Подобно тому, как греко-римский мир исчез в историческом процессе и передал знамя человеческого просвещения германцам, созданный последними западный мир должен, в свою очередь, уступить это знамя новому историческому деятелю, имеющему высшее призвание – России. Но, чтобы исполнить свое назначение, русский народ должен крепко держаться своих собственных начал. В новейшее время народное самосознание в нем помрачилось. Вследствие пагубного переворота, совершенного Петром Великим, высшие классы оторвались от родной почвы и примкнули к низшей, западной цивилизации. Истинные русские начала сохранились только в простом народе. Возвести эти начала в высшую, сознательную форму, пробудить в русском обществе затмившееся народное самосознание, такова должна быть цель русской мысли и литературы, и в этом состоит задача славянофильства.

Таким образом, в этом учении русский народ представлялся солью земли, высшим цветом человечества. Без упорной умственной работы, без исторической борьбы, просто вследствие того, что он от одряхлевшей Византии получил православие, он становился избранником божьим, призванным возвестить миру новые, неведомые дотоле начала. И среди этого народа, носителем его самосознания являлся маленький кружок славянофилов, которые выступали, как пророки будущего и обличители современного человечества. Они возносились на недостижимую высоту, с которой они в безграничном самоуслаждении презрительно смотрели на гниющий западный мир и на жалких поклонников этой отживающей свой век цивилизации. И патриотизм, и религиозное чувство, и народное самолюбие, и личное тщеславие, все тут удовлетворялось. Но, конечно, все это было не более, как чистое фантазерство, лишенное всякого научного, как исторического, так и философского основания. Ни один серьезный ученый не мог примкнуть к этому направлению, которое, по самому существу своему, в научном отношении осталось бесплодным. Даже по древней русской истории, на которой сосредоточилась вся их любовь, славянофилы не произвели ничего дельного. С трудом можно указать на серьезное исследование, вышедшее из их школы. Все ос-

новательные работы, имеющие действительно научное значение, принадлежат их противникам. Славянофильское учение было произведением досужих московских бар, дилетантов в науке, которые думали упорный труд и зрелую мысль заменить виртуозностью и умственной гимнастикой, создавая себе привилегированное умственное положение с помощью салонных разговоров и журнальных статей. Значение их в истории русской мысли состояло единственно в том, что они возбуждали прения; но это более чем искупалось вредною стороною их деятельности, тем, что они сбивали с толку неприготовленные умы, которые ослеплялись блеском софистики и увлекались обаянием ходульного патриотизма. Никакого самосознания в русском обществе они не пробудили, а, напротив, охладили патриотические чувства тех, которые возмущались нелепым превознесением русского невежества над европейским образованием. Нет ничего, что бы так вредило всякому делу, как безрассудное преувеличение. Я сам на себе испытал, до какой степени прирожденная мне любовь к отечеству, составлявшая одно из самых заветных чувств моей жизни, страдала от необходимости вести войну со славянофилами. Приходилось напирать на темные стороны нашего быта, чтобы побороть то высокомерное презрение, с которым они относились к тому, что нам было всего полезнее и что одно способно было вывести нас из окружающего нас мрака. Ни одной путной мысли о так называемых русских началах они не высказали, а рассеяли только множество кривых воззрений, которые не мало содействовали господствующему ныне умственному хаосу. В практическом же отношении, лучшие из них легко сходились с западниками, ибо цель у тех и других была одна: расширение свободы. Поэтому, когда наступила пора практической деятельности, теоретические различия сгладились и споры умолкли.

Основателями славянофильского учения были Иван Васильевич Киреевский и Хомяков. К сожалению, я Киреевского не знал. Он умер в 1856 году, именно в то время, когда я ближе познакомился с славянофилами. Но я от многих о нем слышал, как о самом симпатическом члене славянофильского кружка. С кротким и мягким характером он соединял большую задушевность, значительный ум и широкое образование, которое как-то плохо клеилось с странностью его воззрений. Я уже говорил, как он, будучи в молодости ярым последователем Шеллинга, вслед за своим учителем перешел к религиозному мирозерцанию. Однако, он не примкнул к католицизму. Усвоив себе критические воззрения мюнхенской реакционной школы и отзываясь с сочувствием о новой философии Шеллинга, от которой он ожидал поворота в западной философии, сам он углубился в православную мистику. Ополчаясь против рационализма так же, как западные мыслители богословской школы, он искал его корней

не в протесте Лютера, а дальше, в учении самой католической церкви, которую он обвинял в том, что она поставила силлогизм на место живого единения любви: обвинение ложное, ибо, в противоположность православной церкви, преобладающим элементом в католицизме является начало власти, а вовсе не силлогизм. Исходя от этих начал, Киреевский хотел и в философии заменить логический анализ цельным воззрением, вытекающим из совокупности человеческих способностей. Вследствие этого он оклеветанных, по его мнению, мистиков, признавал глубочайшими мыслителями, единственными постигавшими истину в ее полноте. С этой точки зрения он излагал всю историю философии, древней и новой, уверяя, что все западное мышление развивалось под исключительным влиянием Аристотеля, того из греческих философов, который, по его определению, представлял не более, как посредственную обыкновенность. Во всем этом, конечно, не было ни тени научной истины. На лету схваченные явления освещались ложным светом и извращались в угоду фантастической теории, которой все достоинство заключалось в изящном изложении. Едва ли бы эти кабинетные измышления тихого и скромного Киреевского нашли себе приверженцев, если бы те же самые мысли с большим блеском и с большею настойчивостью не стал проповедовать Хомяков.

Хомяков был истинным главою партии. У него были все нужные для того свойства: определенность мысли, удивительная находчивость и изворотливость, дар слова, способность убеждать и притягивать к себе людей, а вместе и те отрицательные качества, которые нередко обеспечивают успех. Он представлял необыкновенное сочетание силы, ума и самой беззастенчивой софистики, глубины чувства и легкомысленного шарлатанства. Друзья его видели только первую сторону, хотя иногда с улыбкою признавали его слабости; враги же обращали внимание преимущественно на вторую. Потому о нем выражались самые противоположные суждения со стороны людей, близко его знавших. Настоящее лицо составлялось из обоих. В молодости он славился, как поэт. Но стих его, всегда тщательно и изящно отделанный, был, вообще, холоден и безжизнен. Тургенев рассказывал, что однажды в споре с Аксаковым, он утверждал, что у Хомякова нет даже искры поэтического дарования, и взявши в руки книгу его стихотворений, доказал им, что все у него сочиненное, а не выливающееся из души, как у истинного поэта. Однако, под старость у него в стихах выражалось иногда глубокое религиозное чувство, а также патриотическое одушевление, которое в соединении с блеском образов подымало его до поэзии. Его скорбно-патриотические стихи по поводу Крымской кампании облетели всю Россию.

Но на старости лет Хомяков не пленялся уже славою поэта. Ему не только хотелось быть мыслителем и ученым, но он положитель-

но считал себя всеведущим. Не было пустого и мелкого вопроса, о котором бы он ни толковал с видом знатока: «Я специалист во всем», – говорил бывший тамбовский губернский предводитель Никифоров; это изречение можно было вполне применить к Хомякову. Книжки он глотал, как пилюли. Его друзья говорили, что ему достаточно одной ночи, чтобы усвоить себе самое глубокомысленное сочинение. Разумеется, таково было и чтение. Когда пошли толки о гегелизме, Хомяков заперся на несколько дней с «Логикой» Гегеля и затем, вышедши из своего уединения, объявил, что он перегрыз четверик свищей. Однако, он с этими свищами обращался очень ловко и осторожно. Он утверждал, что в «Логике» все так связано и выведено с такою последовательностью, что, признавши первое положение, тождество чистого бытия и небытия, все остальное вытекает из него необходимым образом. Коренная ошибка заключается именно в этом первом положении, далее которого Хомяков и не шел в своих бесконечных спорах о гегелизме. Также обходился он и со всем остальным. Он знал множество названий книг, из каждой схватывал что-нибудь на лету и из всего этого делал удивительный винегрет. В статье о русской художественной школе говорилось и о всеобщей истории, и о винокурении, и об укатывании зимних дорог. У него был рецепт на все, и все эти рецепты он соединял в общую микстуру, которая должна была служить к вящему возвеличению славянофильства. Однажды в каком-то журнале он напечатал подобный попури, и в той же книжке поместил статейку о борзых собаках. Встретив Михаила Александровича Дмитриева, он спросил его: «Что вы мне скажете о моей статье?» «Да вот что, – отвечал остроязычный Дмитриев, – я все хотел у вас спросить: зачем это вы статью о борзых собаках поставили особо». Хомяков добродушно рассмеялся.

Такое же разнообразие всякой всячины представлял и его разговор, необыкновенно блестящий и остроумный, то серьезный, то шуточный. Говорил он без умолку, спорить любил до страсти, начинал в гостиной и продолжал на улице. Про него рассказывали по этому поводу забавные анекдоты. Однажды после какого-то литературного вечера Герцен, который отличался теми же свойствами, сел в свой экипаж и продолжал свой шумный разговор с ехавшим с ним вместе приятелем. После него выходит Хомяков, зовет кучера: нет экипажа. Оказалось, что его кучер уехал порожняком за Герценом и после оправдывался так: «Слышу, кричат, спорят; ну, думаю, верно барин. Я и поехал за ними».

Соперничая с Герценом в блеске и находчивости, Хомяков уступал ему в добросовестности, и это делало разговор его менее привлекательным. Без сомнения, в основных своих чувствах и мыслях он был вполне искренний человек, глубоко верующий, непоколеби-

мый в своих убеждениях; это и давало ему возможность действовать на других, даже выходящих из ряда вон людей. Но в прениях вся его цель заключалась в том, чтобы какими бы то ни было средствами побить противника.

Он прибегал ко всяким уловкам, извивался как змея, иногда сам подшучивал «над предметом своего поклонения, чтобы устранить удар и показать свое беспристрастное отношение к вопросу. Пламенный патриот, видевший в русском народе властителя будущего, провозвестника новых идей, он с усмешкой говорил, что русский человек не выдумал даже мышеловки. Иногда же, припертый к стене, он не брезгал ссылкой на ложные факты и фантастические цитаты. Про него рассказывали, что однажды, встретившись с Цуриковым, который тоже занимался богословскими вопросами, он хотел поразить его цитатою какого-то несуществующего соборного постановления. Но Цуриков, который на этот счет сам был мастер, отвечал ему тем же, и они начали бомбардировать друг друга мнимыми постановлениями соборов, над чем сами после смеялись вместе с публикою. Мне так же случалось наткнуться на такого рода ссылки в спорах с Хомяковым, и это было даже одно из первых моих впечатлений при ближайшем знакомстве с ним. В 1855 году он приехал на несколько дней в Петербург, где я в то время находился. Тургенев дал для него большой литературный вечер. Зашла речь об освобождении крестьян, и Хомяков стал разглагольствовать об общинном владении, как об исконном, специально русском учреждении, разрешающем все мировые задачи. Я в то время занимался этим вопросом; древние грамоты мне хорошо были известны, и я начал доказывать, что в древней России не было ничего подобного. Встретив такой неожиданный отпор и видя, что на почве напечатанных актов он со мною не справится, Хомяков сослался на то, что у Киреевского есть какие-то неизданные документы, которые неопровержимо доказывают существование у нас общинного владения в древнейшие времена. Разумеется, никто этому не поверил, и Тургенев на следующий день пошел трубить об этом по городу. Сам Хомяков поспешил переменить разговор и стал доказывать, что наши инженеры не умеют защищать Севастополь. Он говорил, что писал даже об этом Сакену* и послал ему описание изобретенных им снарядов для спуска пушек и для ночного освещения неприятельских траншей. Он воображал себя таким же специалистом в военном деле и в инженерном искусстве, как в философии, в употреблении барды и в борзых собаках.

* Граф Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен (1790 – 1851) был начальником Севастопольского гарнизона во время Крымской войны.

Это энциклопедическое всеведение и эта неразборчивость в средствах происходили оттого, что Хомяков не был только убежденным человеком; он видел в себе предводителя партии, призванной изменить лицо мира. Его учение возносило его на высоту, с которой обозревалось настоящее, прошедшее и будущее. Никакая мелочь не должна была ускользать от его всевидящего ока, и все должно было служить торжеству славянофильской идеи. Нельзя было ни о чем с ним говорить, чтобы он тотчас же не свернул на отношение славянофилов к западникам. Эта была совершенная мания. Во всяком пустом вопросе, во всяком суждении о людях ему мерещилась коренная противоположность взглядов. Везде он видел темные интриги и каверзы, направленные против славянофилов. Он воображал, что общество их ненавидит, что бюрократия их преследует, а литература не имеет иной цели и иных стремлений, как их уничтожить. Мне случалось выражать удивление, что, вращаясь постоянно в противоположном лагере, я ничего не ведаю об этих кознях. «Это оттого, что вы стоите за редутом», – отвечал Хомяков. Между тем, мне было хорошо известно, что никакого редута тут не обреталось. Когда же появлялось что-нибудь выходящее из рядов славянофильской партии, хотя бы даже вовсе не замечательное, он предавался таким восторгам, что сами его друзья приходили в недоумение. Однажды при мне Ю. Ф. Самарин, со свойственной ему иронией, рассказывал, как Хомяков хотел обратить его к поклонению Мадонне, написанной славянофилом Мамоновым, который, будучи студентом, славился своими карикатурами, и как Юрий Федорович решительно не в состоянии был постигнуть ее красоты. Павлов, который был приятель с Хомяковым, услышав об его восторгах, полетел его допрашивать: «Правда ли, что ты Мадонну Мамонова ставишь выше Сикстинской?» «По идее выше», – спокойно отвечал Хомяков.

Но главною его специальностью были богословские вопросы. Изданные им на французском языке богословские полемические брошюры составляют, конечно, самое значительное из всего, что он писал.* За них его друзья возвели его даже в отцы церкви. В этих брошюрах выражается вся изворотливость его ума; но, вникая в них глубже, трудно усмотреть в них что-либо кроме чисто логической гимнастики. Об исторических исследованиях, которые в деле церковного предания имеют первенствующее значение, нет и помину. Все ограничивается построением церковной истории по правилам гегельянской философии, которою Хомяков, отвергая ее, пользовался, когда было нужно, только невпопад: из начального единства

* В русском переводе статьи эти напечатаны в III томе Полного собрания сочинений А. С. Хомякова под заглавием: «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях».

сперва выделяется одна противоположность – начало власти, затем другая – начало свободы, и над обеими возвышается, наконец, вытекающее из первоначальной основы – единомыслие любви, которое должно соединять все и всех. В то время эти брошюрки только что появились в печати, и Кошелев мне их навязал, как нечто весьма замечательное. Я внимательно их прочел и, возвращая их на вечеру у Кошелева, сказал свое мнение. Хомяков, услышав издали, что речь идет о его новых произведениях, тотчас подлетел и стал допрашивать, что я об них думаю. «Ваши брошюры повергли меня в недоумение, – отвечал я. – Вы отвергаете с одной стороны власть, как решающее начало в спорах, с другой стороны свободу, как ведущую к разногласию, и требуете единомыслия любви. Все это очень хорошо, когда оно есть; но что делать, когда его нет, как обыкновенно и случается между людьми? Ведь вы не признаете решения большинства» «Отнюдь нет, – отвечал Хомяков. – Тогда две церкви». «Как две? Обе святы и непогрешимы?» «Нет, – непогрешима только одна». «Которая же?» «На это нет внешних признаков; дух истины открывается только любящему сердцу. Поститесь и молитесь, и вы узнаете». «Но тогда зачем же вы пишете полемические брошюрки; вы бы просто написали, что вы постились и молились и дух святой открыл вам, что православная церковь единая и истинная. Католик будет воображать, что ему открыто совсем другое». Хомяков стал доказывать, что для единомыслия любви необходимо предварительное общее совещание. «В таком случае, на что же вы нападаете? – возразил я. – Ведь совещание было; вопрос обсуждался на Флорентийском соборе. Католики остались при одном мнении, а мы при другом. Оказалось две церкви, которые никакими внешними признаками не различаются и могут иметь равное притязание на непогрешимость». Но Хомяков утверждал, что совещание было вовсе не такое, какое требуется. Надобно было сначала прочесть старый символ веры, и потом уже обсуждать вопрос об исхождении св. духа, как требовал Марк Эфесский. Но его не послушали и прямо приступили к прениям. Я заметил, что тут уже вопрос сводится не к различию догмы, а просто к крючкотворству: надобно или сначала читать, а потом препираться, или прямо препираться. К этому окончательно и сводилось все это мишурное построение, которое под внешним блеском скрывало совершенную пустоту содержания. Обвиняя западную церковь в том, что она поставила силлогизм на место любви, славянофилы сами строили все свое богословское здание на чистых силлогизмах, и притом ложных, то есть на софистике.

Ревностным приверженцем этого учения был сам хозяин дома, где собирались, Александр Иванович Кошелев; но умственная поддержка, которую он мог дать своей партии, была весьма неважная. Я мало встречал образованных людей с меньшею способностью к тео-

ретическим вопросам. Иногда я даже удивлялся, как человек, несомненно, очень умный в сфере практических интересов, оказывается до такой степени слабым, когда речь заходит о теоретическом предмете. Он не умел поддерживать ни одной мысли, а целиком глотал то, что кляли ему в рот его друзья, повторяя одно и то же положение без малейшего доказательства. Пустота изданных после его смерти записок обличает скудость умственного содержания. В практических делах, напротив, он был смышлен и толковит, когда не увлекался своими теоретическими убеждениями. Он составил себе большое состояние в откупках, и, как говорили близко знающие его люди, не совсем прямыми путями. Дела шли плохо, и Кошелев решился поставить все на карту: он на торгах снял несколько уездов смежных с его большим винокуренным заводом и стал производить корчемство в самых широких размерах. В результате получилось миллионное состояние, с которым он оставил откупное дело и поселился в Москве, желая разыгрывать здесь роль литературного мецената. На его средства издавались все славянофильские журналы и сборники. Он хотел также дом свой сделать литературным центром, где бы сходились славянофилы и западники. В особенности же он ревностно хлопотал о вербовке новых членов в малочисленную славянофильскую секту. Однажды он с обычною своею громкою усмешкою, походившею на рычание зверя, объявил, что он настоящего генерала уговорил надеть русское платье. И на следующий вторник я увидел в гостиной Кошелева толстого светского генерала, важно восседающего в мужицком одеянии. Это был Н. А. Жеребцов, автор пустейшей и нелепейшей книги «Histoire de la civilisation en Russie». Когда в описываемое время на сцену явился Кокорев*, славянофилы хотели и этого невежественного шарлатана завербовать в свой кружок. Они всячески с ним нянчились, что и вызвало ходившее тогда по рукам стихотворение, написанное Н. Н. Боборькиным, с заключительным четверостишием, принадлежавшим С. А. Соболевскому:

Во имя странного святого
Устроен ваш славянский скит.
На бочке там вина простого
Великий Кокорев сидит.
Пред ним коленопреклоненный,
Не враг, конечно, откупов,
Кадит усердно муж почтенный,
Отец «Беседы»**, Кошелев.

* Откупщик Василий Александрович Кокорев (1817 – 1889) в 50-х годах одновременно разыгрывал роль либерала и выступал защитником винной монополии.

** «Русская Беседа», орган славянофилов.

И воскадит ему он паки,
Пока его не сломит рог
Кабакомудрый Бенардаки*,
Двукрат продавший Таганрог.

Ревностный либерал Кошелев писал проекты освобождения крестьян и, как член рязанского комитета, ратовал против представителей дворянских интересов, князя Волконского и Офросимова. Он надеялся быть членом Редакционных Комиссий и играть там выдающуюся роль. Я в это время встретил его за границею. Он купался в море и говорил мне, что постоянно получает журналы заседаний Редакционных Комиссий, которыми он отменно доволен. Но по возвращению в Россию его постигла неожиданная неприятность. Государь, который почему-то был невысокого мнения о его нравственных свойствах, отказал в назначении. Тогда Кошелев немедленно повернул фронт и протянул руку своим бывшим противникам, Волконскому и Офросимову, чтобы вместе вести атаку против Редакционных Комиссий. Он сам с удивительною наивностью рассказывал об этом в своих записках**. Казалось бы, что после этого его друзья должны были сделаться с ним крайне осторожны. Однако же, когда они вместе с Милутиным призваны были к реорганизации Польши, они настояли на приглашении его в министры финансов, и на этот раз последовало согласие свыше. Однако Кошелев некоторое время колебался, боясь потерять свою репутацию либерала. Ю. Ф. Самарин, который оставался в Москве, с большим юмором описывал в письме к Черкасскому, каким образом Кошелев, наконец, дал свое согласие. Получивши сперва его отказ, Черкасский из Варшавы писал Самарину, чтобы тот сделал предложение Бабсту. Самарин при Кошелеве прочел это письмо. Тогда Кошелев вдруг по своему обыкновению крикнул на всю улицу и громовым голосом воскликнул: «Я поеду». Но и тут в самом скором времени последовал такой же поворот фронта, как и во время Редакционных Комиссий. Будучи призван, как союзник, он тотчас же присоединился к врагам. В своих записках он с такою же невозмутимою наивностью рассказывает, что приехавши в Варшаву, он встретился с Арцымовичем и тут же объявил ему, что он вовсе не клеветет Милютина, а готов действовать заодно с своим собеседником. Они подали друг другу руку, и, поддержанные наместником, пошли в поход против вызвавших его друзей. И на этот раз, однако, поход вышел неудачен. Не прошло и несколько месяцев, и Кошелев в отставке вернулся в Москву, украшенный анненскою лентою, которою он очень гордился. Политическая ка-

* Дмитрий Егорович Бенардаки, грек-откупщик, описанный Гоголем под именем Костанжоло.

** Напечатаны в Берлине в 1884 году.

рьера его была кончена. Напрасно он за границую печатал брошюры, доказывавшие необходимость созвать земский собор; никто им не внимал. Оставалось опять разыгрывать в Москве роль литературного мецената. Он снова стал давать деньги на издание журналов, но на этот раз сошелся уже с социал-демократами, ибо старые славянофилы окончательно от него отшатнулись. По-прежнему он старался по вторникам устраивать у себя литературные вечера, и в этих заботах был даже умилителен. В Москве давным-давно не было уже никакого литературного кружка, всякие умственные интересы заглохли, а старик все хлопотал, суетился, зазывал к себе всех и каждого, неутомимо делал визиты даже совершенно неизвестным молодым людям, открывал новые знаменитости. Скука на этих вечерах была страшная, разговор не клеился, а Кошелев все продолжал говорить о своих вторниках как о каком-то старинном и важном московском учреждении. До конца он не отставал и от общественной жизни, был гласным городской думы, и хотя по глухоте редко участвовал в прениях, но заседал в финансово-вой комиссии, где высказывал дельные мнения. Я был в то время городским головою и находил в нем поддержку в осторожном отношении к финансовым вопросам. Кошелев выражал даже удивление, что мы всегда спорим, когда встречаемся в гостиной и, напротив, постоянно сходимся в Думе на практической почве.

Редко на вечерах Кошелева появлялась семья Аксаковых, которая занимала видное место в славянофильском кружке, однако с особенным оттенком. В ней преобладающим началом был доведенный до крайности патриотизм. Это была старая, отличная, чисто русская семья, в высшей степени почтенная, с живыми умственными интересами, с глубоким благочестием и горячей любовью к отечеству. Но все эти высокие качества были извращены рьяным славянофильством.

Я вовсе не знал старика Сергея Тимофеевича. По общему отзыву это был самый умный и самый симпатический член семьи, одаренный большим здравым смыслом, с горячим сердцем, с знанием жизни и людей, хотя и он на старости лет поддался увлечениям сыновей. Из напечатанных отрывков его писем видно, как трезво и глубоко он судил о таких явлениях, как «Переписка с друзьями» Гоголя, которая своим религиозным направлением могла подкупать славянофилов и которою увлекался сын его Иван. Под конец жизни у него проявился и довольно значительный литературный талант. Все прежние его опыты были неудачны. «Только на старости лет он дошел до искренности», – говорил про него Н. Ф. Павлов. «Семейная хроника» бесспорно ставит его в ряды лучших русских писателей.

Далеко не таким умом и не таким дарованием обладал Константин Сергеевич; но по силе и страстности своих убеждений он сде-

лался направляющим членом семьи. Даже отец, который в нем души не чаял, подчинился его влиянию. Эта была самая чистая, возвышенная и пылкая душа. Всецело погруженный в умственные интересы, одержимый самою пламенною любовью к отечеству, он боготворил Россию и все русское. В молодости, под влиянием кружка Станкевича, с которым он был близок, он занялся философиею и заразился господствовавшим тогда гегелизмом. Но и в ту пору, как он мне сам говорил, он был убежден, что русский народ преимущественно перед всеми другими призван понять Гегеля, – дикая мысль, вполне характеризующая его взгляды. Впоследствии он совершенно примкнул к учению Хомякова, хотя оттенок гегелизма у него всегда оставался. Он русскую историю строил по всем правилам гегелевой логики: древняя Россия представляла положение, новая – отрицание, а будущая, возвещенная славянофилами, должна была явиться восстановлением в высшей форме первоначального положения. Эта формула могла успешно прилагаться разве только к бороде: в древней России была борода, в новой ее сбрили, в будущем она должна восстановиться. Все же остальное и самое существенное, литература, учреждения, никак не могло втиснуться в эту тему.

Сам Ломоносов, которого Аксаков избрал предметом своей магистерской диссертации*, отнюдь не мог считаться чистым отрицанием. Но для Аксакова фактическая сторона была последним делом. Он уносился в облака и строил свои воздушные замки, не обращая ни малейшего внимания на действительность. Постоянно роясь в древних грамотах, он видел в них только то, что хотел видеть, закрывая глаза на все остальное. Древняя Россия была для него идеалом человеческого общежития. Самые противоположные явления одинаково приводили его в восторг – и городское вече, и московские цари. В вече, прототипе русского мира, он видел совершеннейшую форму совещания, в которой господствует не юридическое начало большинства, свойственное презренному Западу, а славянское начало любви, выражающееся в требовании единомыслия. Аксаков не подозревал, что исследователи древнегерманского права тоже начало единомыслия считали принадлежностью чисто германских народов. В сущности, оно свойственно всякому неустроенному общежитию, где не выработались правильные формы совещаний. В Новгороде оно вело к тому, что разъяренные партии бросали противников в Волхов. Но Аксаков ни мало этим не смущался; он везде видел только согласие и любовь. Точно так же и Московское государство представляло для него совершеннейший из всех образов правления – самодержавие, совещающееся с народом. Тут не было взаимного недоверия и взаимных ограничений, порождаемых внут-

* «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», М., 1846.

реннею враждой. Между царем и народом установился полный союз любви: народ оставил за собою свободу мысли, а царю предоставил полноту воли, и царь, с своей стороны, одушевленный любовью, совещался с народом и действовал по его мысли. Что в Московском государстве под этими совещательными формами господствовало чисто татарское холопство сверху донизу, от первого боярина до последнего крестьянина, этого Аксаков также не хотел видеть. Он строил фантастическую идиллию, не думая даже о том, что ею нарушалась та духовная цельность, которую славянофилы считали первою принадлежностью славянского племени: мысль и воля распределялись по разным органам, отношение невозможное ни при каком общественном устройстве и неизбежно ведущее к подавлению свободы мысли. Между тем, эта уродливая фантазия ставилась в образец всем народам.

«Нам нечего учиться у Запада, – говорил мне Аксаков, – в древней Руси все было». Но вдруг при Петре Великом повеяло отрицанием, и вся эта идиллия рушилась. Увлеченные бессмысленным и преступным подражанием Западу, верхние слои русского народа оторвались от своего корня, и теперь чисто русские начала можно найти только в одном крестьянстве. На нем сосредоточились все патристические надежды и вся пламенная любовь Аксакова. Как древняя Россия представлялась ему идеалом человеческого общежития, так русский мужик был для него высшим идеалом человека. Он украшал его всеми добродетелями; мирская сходка была для него живым воплощением любви и согласия; общинное землевладение признавалось чистейшим продуктом любви, призванным примирить все противоречия, которыми терзаются западные народы. Аксаков не допускал ни малейшей тени в этой светлой картине. Однажды я рассказал ему происшествие, случившееся у нас в деревне. Ночью зимним путем приехали грабители в повозке, запряженной тройкой и нагруженной всякими инструментами. Их увидали, лошадей остановили, и грабители были схвачены. Отец отправил их к становому с конвоем из крестьян, во главе был поставлен один из самых умных и надежных мужиков. И что же? Разбойники по дороге убедили их захватить кабак, напоили их, и были отпущены. Аксаков принялся с жаром защищать крестьян, утверждая, что это произошло единственно от того, что становой – лицо правительственное; русский народ верит только выборным. Этим способом можно было, конечно, оправдать все что угодно.

При таком нескончаемом фантазерстве, разумеется, о научной деятельности не могло быть и речи. Постоянно занимаясь русской историей, Аксаков не представил по этой части ни одного серьезного исследования. Тяжеловесная его диссертация о Ломоносове лишена всякого значения, а мелкие статьи не содержат ничего, кроме

журнального разглагольствования. Он пробовал себя и на филологическом поприще, издал русскую грамматику. Но филология – наука западная, которую не заменишь доморощенными измышлениями. Буслаев обличил полную несостоятельность этой попытки. Столь же мало успеха имели и его беллетристические произведения. Он написал комедию «Князь Луповицкий» с обличительным направлением, но без малейшего комизма и лишённую всякого художественного элемента. Затем он написал драму «Освобождение Москвы в 1612 году», которая намеренно должна была отличаться отсутствием выдающихся лиц и всякого драматизма. Главным действующим лицом являлся в ней русский народ. Эту пьесу поставили на сцену. Я был на первом представлении, которое было вместе и единственным. Скука была непроходимая, так что едва можно было высидеть до конца.

В сущности, Аксаков вовсе не имел таланта писателя. Но он говорил хорошо, с увлечением, и этим даром, в соединении с пылкостью убеждений и с чистотою характера, действовал на мало подготовленных слушателей. В устной проповеди славянофильских начал заключалась главное дело его жизни. Он первый в 40-х годах надел терлик и мурملку и в высоких мужицких сапогах разъезжал по московским гостиным, очаровывая дам своим патриотическим красноречием. Над ним подсмеивались даже его друзья, про него рассказывали разные анекдоты, например, как он в доказательство, что русский климат лучший на свете, зимой подбежал к растворенной форточке, полною грудью стал вдыхать в себя морозный воздух и тут же схватил жабу, от которой слег в постель. Но оживления в общество он вносил не мало. Как фанатик, преданный одной идее, он представлял оригинальное явление. Он очень огорчился, когда в 1849 году его вместе с другими заставили снять русское платье. Перед этим император Николай имел милостивый разговор с Юрием Самариним, который был посажен под арест за «Рижские письма». Государь остался также очень доволен ответами арестованного в то же время Ивана Аксакова. Славянофилы возмечтали, что правительство склоняется на их сторону и принялись усердно возвеличивать монарха, как вдруг их постиг такой неожиданный удар. Русское направление поражалось в самое сердце, в образе шапки мурмолки и высоких сапогов. Сам старик Сергей Тимофеевич опечалился не в меру и придал этому делу неподобающее историческое значение. Хомяков тотчас объяснил это по-своему тем, что их жалует царь, истинный представитель русского народа, а гонит русское общество, зараженное тлетворным влиянием Запада. В графе Закревском славянофилы видели представителя этого развращенного общества. Все это был чистейший вздор, который напрасно повторял Д. Ф. Самарин в предисловии к 7-му тому издаваемых им сочинений брата.

Постоянно вращаясь во всех сферах московского общества, я могу достоверно сказать, что никакой ненависти к ним не питали. Вне литературного круга на них смотрели, как на чудаков, которые хотя и играют маленькую роль и отличаться от других оригинальными костюмами. Менее всего можно было графа Закревского считать представителем русского общества. Он был чистым представителем превосходного славянофилами русского самодержавия, которое не терпело независимости мнений ни в славянофилах, ни в западниках и воспрещало всякое уклонение от принятой формы. Николай Павлович особенно на этом настаивал. Он выражал сочувствие мнениям славянофилов, когда они ополчались против западных либеральных идей, которые были ему столь же противны, как и им, но он не допускал, чтобы они при этом смели иметь свои особенные мысли и стремления. Бороды он брил всем дворянам, и я, приезжая из деревни в Москву, всякий раз должен был с нею расставаться, чему, однако, не думал придавать какое-либо историческое значение.

Гораздо умнее и даровитее Константина Сергеевича был младший его брат Иван. Изданные после его смерти «Письма из Астрахани», куда он поехал с ревизирующим сенатором тотчас после выхода из училища Правоведения, показывают раннюю его зрелость. Он был дельный и работающий чиновник, который самые сложные поручения исполнял добросовестно и толково. К этому присоединялись нравственные качества, свойственные всему семейству, возвышенность чувств и неуклонная прямота характера. У него был и поэтический талант, о котором свидетельствует недоконченная его поэма «Бродяга». Но не имея никакой серьезной подготовки и не успевши выработать собственных убеждений, он легко подпал под влияние старшего брата. Фанатизм более, нежели ум и талант, увлекает колеблющихся. Как человек, с открытыми глазами смотрящий на практическую жизнь, он иногда подтрунивал над идеальными представлениями брата о русском мужике, но в теоретической области он ничего не мог противопоставить проповеди, которая затрагивала самые глубокие струны его сердца. Он целиком проглотил славянофильское учение и сделался ревностным его последователем. Нельзя без некоторой грусти читать те ответы, которые он написал на заданные ему в III Отделении вопросы, когда он в 1849 году был арестован, как неблагонадежный человек. Недоученный правовед громит свободные учреждения и всю цивилизацию Запада, о которых не имел не малейшего понятия. Разумеется, такое направление как нельзя более приходилось по сердцу Николаю Павловичу. Аксаков был тотчас выпущен, и ему было дано важное поручение по службе.

Скоро, однако, служебные обязанности пришли в столкновение с склонностью к поэзии. Министр, следуя бюрократическим воз-

зрениям того времени, не считал приличным, чтобы его чиновники писали стихи. Он предложил Аксакову выбор между службою и стихотворством. Аксаков с благородным чувством достоинства не хотел терпеть такого посягательства на свою независимость. Он вышел в отставку, несмотря на то, что его друзья, между прочим, Ю. Ф. Самарин, сильно убеждали его снести неприятность и продолжать службу. Однако и поэтом он не остался. В сущности, он не имел к этому настоящего призвания. Он сам мне говорил, что для него писать стихи – все равно что плясать в кандалах. Ему эта форма казалась совершенно неестественною, между тем как настоящий поэт именно находит в ней истинное выражение своих мыслей и чувств. Кольцов с гораздо большим трудом писал прозу, которая невольно принимала у него стихотворный оборот.

Отказавшись от поэзии, Аксаков всецело предался журналистике. Он хотел быть распространителем славянофильских идей, особенно после того, как главные корифеи этой партии, в том числе его брат, сошли в могилу, а другие занялись практическими вопросами. Несколько журналов один за другим погибали под его смелую редакцию, подвергаясь правительственной каре; но он не унывал, возобновлял предприятие сызнова, благодаря связям получал новые разрешения и продолжал работу до самого своего конца. Нельзя не сказать, что он и к этому делу вовсе не был подготовлен, так что путевого выходило весьма мало. Талант у него, бесспорно, был и довольно значительный; было одушевление, инициатива, умение владеть языком, говорить благородною речью; когда он громил порядки прошедшего времени, он был красноречив. Успеху его много содействовало и неуклонное благородство убеждений, отсутствие всяких мелких чувств и всяких недостойных уловок. Но нравственное достоинство и литературный талант не могли восполнить коренной недостаток основательного образования и трезвого отношения к жизненным вопросам. Серьезное содержание заменялось пустозвонною славянофильскою фразою, которая повторялась и повторялась на все лады. Сначала она возбуждала внимание; легковверные даже ею увлекались, но потом она начинала нагонять скуку, а, наконец, от нее делалось тошно. Это нескончаемое разглагольствование о каких-то русских началах, об оторванности высших классов, о слепом поклонении Западу, было тем невыносимее, что оно изливалось с самою резкою самоуверенностью, кстати и некстати. При тогдашнем положении русской журналистики надо было серьезные и практически приложимые мысли высказывать в возможно умеренных выражениях, а тут в самой резкой форме обнаруживалась все одна и та же пустота. Черкасский, несмотря на свою близость к славянофилам и на приязнь к Аксакову, приходил в негодование от этого способа обсуждения общественных вопросов. В письме к Самарину, ко-

торое мне довелось читать, он в весьма сильных выражениях характеризует журнальную деятельность Ивана Сергеевича. Я часто говорил, что у нас есть один умный и образованный журналист (Катков), да и тот подлец, и один честный журналист, да и тот пустозвон.

В это позднейшее время я иногда сходился с Аксаковым, особенно после его женитьбы на Анне Федоровне Тютчевой, с которою я уже прежде был знаком и которая приглашала меня к себе*. Она была женщина очень умная и образованная, с благородным пылом, но раздражительного характера. Мужа она любила страстно, хотя во многом с ним не сходилась. В первую пору их супружества беседы с ними, когда они были вместе, бывали довольно затруднительны. Проживши весь век при дворе, она плохо говорила по-русски, и с нею надобно было вести беседу на французском языке, тогда как с ним, наоборот, неловко было говорить по-французски. Они расходились и в мнениях: «Что мне делать?» – говорила она иногда с отчаянием. – Я терпеть не могу славян и ненавижу самодержавие, а он восхваляет и то и другое». Одно, в чем они вполне сходились, – это глубокое благочестие, соединенное с искреннею привязанностью к православной церкви.

Такие отношения к жене, естественно, должны были развить в Иване Сергеевиче некоторую терпимость. Действительно, в частных сношениях он оказывал ее вполне. Я даже иногда ему удивлялся. Можно было беседовать с ним в течение нескольких часов самым приятным образом, как со всяким разумным человеком, и не догадаться, что у него в голове торчит неисправимое славянофильство. Он даже избегал споров. Но как только он брался за перо, он точно закусывал удила и, закрывши глаза, без всякого уже удержу пускался стремглав в свою славянофильскую болтовню. Перед самою его смертью у нас завязалась маленькая, но довольно характеристическая переписка. Он получил от министра внутренних дел предостережение за то, что один из всех русских журналистов осмелился высказать правду насчет наших отношений к Болгарии. В министерском решении его упрекали даже в недостатке патриотизма. На это он в своем журнале отвечал весьма благородно, и я написал ему из Крыма сочувственное письмо. «Не понимаю только, – писал я, – отчего вы в этой ни с чем несообразной политике обвиняете оторванную от национальной почвы бюрократию; обвиняйте восхваляемое вами самодержавие, которое одно несет за нее ответственность. Помните, что та национальная политика, за которую вы стоите, получила свое начало не в древней, а в новой России, и притом от немки,

* О начальном знакомстве И. С. Аксакова с А. Ф. Тютчевой в 1858 г. см. дневники А. Ф. Тютчевой в «Записях Прошлого» («При дворе двух императоров», ч. II, стр. 142).

от Екатерины II. Все дело в том, что она была умная женщина и знала, чего хотела.» На это он мне отвечал, что проведение национальной политики в восточном вопросе при Екатерине II объясняется тем, что при ней русские люди не успели еще совершенно офранцузиться или онемечиться: они переменили только кафтаны, а внутренне оставались русскими. Полное же превращение в иностранцев совершилось только в начале царствования Александра Павловича. «Помилуйте, Иван Сергеевич, – возразил я, – разве можно считать оторвавшимся от России то поколение, которое на своих плечах вынесло двенадцатый год и довело до высшей степени совершенства то духовное орудие, в котором выражается самая суть народного духа – русский язык. Ведь это поколение Пушкина». Ответа уже не последовало; через несколько дней пришло известие о его смерти. Это был последний представитель старого славянофильства. После него оно мелькает, как блуждающие огоньки на могилах, лишенное самостоятельной жизни.

В тесных дружеских отношениях с Константином Аксаковым состоял Юрий Федорович Самарин, хотя характерами они не были вовсе сходны. Аксаков писал ему:

Не увлечение,
Не сердца глас,
Лишь убеждение
Связало нас.

В это время Самарин, который в последние годы войны из статской службы вступил в ополчение, вышел в отставку и поселился в Москве. Тут я, как приятель дома, узнал его ближе. Это был бесспорно человек совершенно из ряда вон выходящий. Необыкновенная сила ума, железная воля, неутомимая способность к работе, соединенная с даром слова, и с блестящим талантом писателя, наконец, самый чистый и возвышенный характер, – все в нем соединялось, чтобы сделать из него одного из самых крупных деятелей как на литературном, так и на общественном поприще. Разговор у него был живой и блестящий, всегда в утонченной светской форме, нередко приправленный холодной и едкой иронией или острою шуткою. У него был удивительный талант подражания; он мог и забавлять и увлекать, мог равно блеснуть в салоне, развивать самую отвлеченную философскую мысль и разрабатывать фолианты практического дела.

К сожалению, все эти блестящие дарования с самого начала получили ложное направление. В напечатанном письме к Гоголю, перед которым, как перед исповедником, Самарин изливал всю свою душу, он объясняет, как железная воля отца, при всей пламенной любви к многообещающему сыну, сдавливала все его юношеские по-

рывы. Он ушел в себя и весь предался беспокойной мозговой деятельности. Но и тут он не чувствовал себя на свободе. Отец хотел направить его на практическую карьеру; он уже видел в сыне будущего министра, а Юрий Федорович чувствовал особенное влечение к теоретическим вопросам, которых решения он жадно доискивался. Вращаясь в московских литературных кружках, он некоторое время колебался между Хомяковым и Герценом, однако недолго. Вся его натура, все его глубочайшие убеждения влекли его к Хомякову. Он находил в нем именно то, чего искал: готовое, цельное, логически связанное учение, которое отвечало самым сокровенным потребностям его души, его нравственному строю, его горячему патриотизму, и которое, вместе с тем, возносило его на недостижимую высоту, с которой он мог обозревать весь лежащий у его подножия мир. Он и воспринял это учение целиком и со свойственной ему силою логики стал развивать и прилагать его во всех последствиях. Но так как точка отправления была радикально ложная, то и все развитие и весь склад ума получили фальшивое направление.

Однажды великая княгиня Елена Павловна спросила меня, что я думаю о том, чтобы Самарина назначить попечителем Московского учебного округа. Я отвечал, что не считаю его к этому пригодным: он бесспорно чрезвычайно умен, но у него ум фальшивый.

Этот приистекавший из основной точки зрения неверный склад мышления проявлялся тем ярче, что у Самарина, при всей силе его логики, не было умственного качества, свойственного самым обыкновенным людям, именно простого здравого смысла, который побуждает человека прямо и трезво смотреть на вещи, видеть различные их стороны и избегать односторонних увлечений. Вследствие этого он лишен был и всякого практического смысла. Он способен был в своем кабинете разрабатывать кипы бумаг, но живой взгляд на дело был ему совершенно чужд. Когда ему вверено было управление именьями, он тотчас принялся делать бесчисленные выписки из старых хозяйственных документов, чтобы восстановить вовсе ненужную историю хозяйства, но к настоящему хозяйственному управлению он оказался неспособен. Ум его был отвлеченно-логический, и это свойство он вносил и в обсуждения теоретических вопросов. Вся задача состояла в том, чтобы, принявши на веру известную посылку, развить из нее непрерывную цепь умозаключений. Это было повторение хомяковской софистики, с большею искренностью и с большею меткостью в полемических приемах, но с меньшею гибкостью и с меньшею инициативою. Хомяков сочинял теории; Самарин же не высказал ни одной оригинальной мысли: он только развивал и доказывал чужие, проявляя свою силу особенно в изыскании слабых сторон противников.

У Самарина был и другой существенный недостаток, который позволял раз принятому ложному направлению развиваться на просторе: у него не было основательного научного образования. Он литературно был очень образован, обладал тонким эстетическим вкусом; он искусился и в философии, однако весьма немного. В серьезное изучение различных философских систем он никогда не углублялся, а юридического и исторического образования, можно сказать, почти вовсе не было. Основательному знакомству с наукою мешало уже то глубокое презрение к Западу, которое питала славянофильская школа; в их глазах западная наука была плодом гнилого просвещения; достаточно было опровергнуть ее в последних ее логических выводах, не углубляясь в ее сущность. А так как своя собственная, чисто русская наука еще не существовала, да не было и способности ее создать, то оставалось только на крыльях славянофильской идеи витать в облаках и оттуда метать свои громы на западное просвещение и его поклонников. Трудно поверить, до какой степени доходило это презрительное отношение ко всему европейскому. После похорон Гоголя Самарин возвращался домой пешком вместе с Грановским. Он стал расспрашивать о Герцене, с которым был близок в Москве и который в это время выселился за границу. «Скажите пожалуйста, – сказал Самарин, – что за охота Герцену смотреть на предсмертные судороги развратного старичишки». Так характеризовались европейские народы. И это говорилось не в пылу спора, когда человек, увлекаясь, может сказать лишнее, а в спокойной беседе об отсутствующем приятеле. Грановского это взорвало. «Отчего же нет! – отвечал он. – Этот старик все-таки жил, и у него можно кой-чему научиться. Это во всяком случае приятнее, нежели глядеть в глаза малолетнему идиоту». «Мыс Вами, кажется, никогда не сойдемся», – заметил Самарин. «Полагаю», – отвечал Грановский. На этом они разошлись. Едва ли нужно прибавить, что, выражаясь так резко, Грановский вовсе не высказывал своего убеждения, а хотел только кольнуть вызывающего его противника. Он любил Россию не менее Самарина, но служил ей иначе, не отрицанием, а усвоением выработанного человечеством просвещения. Крымская кампания открыла глаза тем из славянофилов, которые в состоянии были что-нибудь видеть. Оказалось, что умирающий старичишка способен был нанести жестокий удар юному богатырю, полному сил и надежд. Когда вслед затем выдвинулся вопрос об освобождении крестьян, Самарин, весь преданный этому делу, в котором он видел будущность России, стал изучать исторический ход его в других странах, и к удивлению своему, увидел, что и вопросы и решения те же самые, что у нас. Мы только отстали от других. Призванный к участию в великом преобразовании, видя приложение к русской жизни европейских идей в сочувственном ему направлении, он стал трез-

вее смотреть на вещи, и хотя славянофильское направление осталось, однако оно проявлялось в гораздо менее резкой и исключительной форме, нежели прежде. Это был второй период его жизни, в котором первоначальная узость и односторонность мысли постепенно уступали более широкому взгляду, и в котором ярко выступили лучшие стороны его характера, в высшей степени достойного любви и уважения. Сохраняя глубокое благочестие, свято исполняя все обряды православной церкви, ведя, можно сказать, почти аскетическую жизнь, он соединял с этим постоянное внутреннее самоиспытание и неуклонное чувство долга, которое было главным вдохновляющим началом всей его деятельности. Для себя он ничего не искал: всякий внешний почет, всякие мелкие побуждения были ему противны: он весь был предан идее общего блага. Вследствие этого он с тех пор устранился от всякого соприкосновения с официальными сферами и посвятил себя исключительно общественной деятельности.

Он значительно смягчился и в отношении к людям, на которых прежде склонен был смотреть с тем высокомерием, с каким обладатели исключительной истины обыкновенно взирают на простых смертных. Мне памятно, как в 1860 году я в конце мая ехал через Москву за границу. По обыкновению, я пошел обедать к Самариным на Ордынку. Там я нашел и Юрия Федоровича, который был членом Редакционной Комиссии и вследствие нездоровья приехал на несколько дней отдохнуть в Москву. Как теперь вижу его стоящим после обеда с чашкой кофе у камина. Я стал расспрашивать его о работах комиссии, о наших общих знакомых. «Что Милютин?» – спросил я. И он с обычною своею ироническою миною, с тем холодно-презрительным тоном, который иногда был в нем так неприятен, снисходительно ответил: «Навострился». И это говорилось в то время, когда Милютин стоял во главе величайшего дела, которое он среди бесчисленных препятствий вел с необыкновенною энергиею и умением. Прошло немного времени, и Самарин сделался самым близким приятелем того же Милютина, которого высокие качества он умел оценить; а когда Милютин, сраженный ударом, переселился в Москву, Самарин постоянно оказывал ему самое заботливое и нежное внимание. Под этою холодною и надменною оболочкою скрывалось горячее и любящее сердце. Он был самым нежным сыном и самым преданным другом.

На сторонних он действовал как силою своего ума и таланта, так и возвышенностью характера, внушавшего всеобщее доверие; но управлять людьми он все-таки не научился и настоящим практическим человеком не сделался. Иногда он пытался действовать практическими путями. Случалось даже, что в виду какой-нибудь общественной цели он прибегал к несвойственной ему хитрости; но это выхо-

дило всегда неудачно. Однажды он стал подъезжать к Щербатову, бывшему тогда московским городским головою, с какими-то предложениями, которые имели в виду привести его окольными путями к тому, что хотелось Самарину; но умная и проницательная княгиня Щербатова тотчас раскусила, в чем дело. «Vous êtes un genard, qui a sa queue autour de sa tête»*, – сказала она ему, намекая на его рыжие волосы и бороду. Самарин принялся упрашивать ее, чтобы она, если питает к нему малейшую дружбу, никогда не говорила бы ему таких вещей, которые колют его в самое сердце. О том, чтобы верить ему какое-нибудь административное дело, не могло быть и речи. «Странный человек Юрий Федорович, – говорил я однажды Черкасскому. – С его умом, с его характером, с его способностью к работе нельзя даже выбрать его в московские городские головы. Все этого желают, все признают, что это невозможно. Он слишком теоретик для практики и слишком практик для теории. Просто не знаешь, куда его девать и где его настоящее призвание». «Я вам скажу, – отвечал Черкасский, который для всякого человека всегда придумывал подходящее место. – Ему следовало бы быть членом Государственного совета. Он всякий законодательный проект разобрал бы по ниточке и принес бы неоценимую пользу». Это было совершенно верно, хотя, в сущности, Самарин был создан не для бюрократических, а для общественных собраний. По природе это был лучший парламентский боец, которому не было места в самодержавной России. При существующих у нас условиях Самарина, конечно, никогда бы не сделали членом Государственного совета. Это значило бы пустить козла в огород. Многочисленные наполняющие это собрание ничтожества, искушенные в закулисных интригах, пустили бы в ход все свои батареи, чтобы отделаться от человека, блистающего умом и красноречием и не поддающегося никаким искушениям. Да и правительству нужны были не люди, а орудия. Вместо того, чтобы привлекать к себе способных людей, оно заботливо их отстраняло, и Самарин, игравший такую видную роль в Редакционной Комиссии, при всех своих блестящих дарованиях в последние годы своей жизни занимался представлением в Московскую городскую думу докладов о пожарной команде и о налоге на собак. И это он исполнял с тою добросовестностью и с тем трудолюбием, которые отличали его во всем, ведя часто бесплодную борьбу с администрацией и подавая другим пример усердного отношения к общественному делу. Зато в Московском городском управлении о нем сохранилась благодарная память.

В России не было места и для его печатной деятельности. Он не мог довольствоваться пустыми разглагольствованиями Ивана Аксакова. В это время он уже с облаков спустился на землю; его привле-

* Вы – лиса, у которой хвост впереди головы(фр.).

кали серьезные жизненные вопросы, а обсуждать их откровенно в России не было возможности. Он перенес свой печатный станок за границу. В изданных им там брошюрах проявляются все крупные, а вместе и все темные стороны его таланта. Он силен был преимущественно в полемике. Найти слабую сторону противника, разнять его на части, показать внутреннюю несостоятельность его положений и их противоречие с коренными требованиями жизни, на это он был великий мастер. И все это, несмотря на едкую язвительную иронию, излагалось всегда с неизменным изяществом форм и удивительным умением владеть русским языком. Его полемики можно назвать образцовыми. Письмо его к генералу Фадееву в изданной в Берлине брошюре: «Революционный консерватизм», писанной в сотрудничестве с Дмитриевым, и, совершенно в другом роде, напечатанное впоследствии в «Руси» письмо к Герцену, составляют лучшее, что он писал.* Нельзя того же сказать о том произведении, которое приобрело ему наибольшую славу, об «Окраинах России»**. Здесь полемка уже обращена не против писателя, проповедующего ложные идеи, а против целого общественного строя, сложившегося веками, и имевшего свои как темные, так и светлые стороны. Это не беспристрастное обсуждение данного положения вещей, какое можно ожидать от государственного деятеля, а чистый памфлет, дышащий ненавистью и злобою. Собрано множество фактического материала, большею частью верного, иногда более чем сомнительного, но всегда подобранного с одностороннею целью, и все это кидается в глаза врагам с тою холодною и язвительною ирониею, которая служила у него выражением сдержанного пыла. Тут упускается из виду вся обратная сторона дела: особенность положения немцев в крае, естественная привязанность к унаследованным от предков правилам, составляющим для них единственную гарантию независимости, необходимость крепко держаться друг за друга и вытекающее отсюда нежелание впустить к себе произвол русского чиновничества и податливость русского люда, невозможность, наконец, действовать на самодержавное правление иначе, как окольными и часто темными путями. Им ставится в укор то, чему мог бы позавидовать всякий русский человек, который скорбит о раболепстве и бессилии окружающего его общества. Все это с неподражаемою силою и изяществом было высказано Самарину общезнаменитой приятельницею, баронессою Раден, о которой я буду говорить ниже, и с которою он по этому поводу вступил в переписку. Она обличала его даже в не совсем добросовестном употреблении оружия, и надобно сказать к его

* Ответ на книгу ген. Фадеева «Чем нам быть?» напечатан был за границей в 1875 г.

** «Окраины России» в 5 вып. вышли в 1868 – 1876 гг. в Берлине (по вопросу о Прибалтийском крае).

чести, он перед нею склонился и протянул ей руку. В его благородном сердце не было места для мелкого самолюбия. Если бы он дожил до настоящего времени, он мог бы быть удовлетворен. Все, к чему он стремился, и даже более, исполняется без всякого внимания к историческим правам и данным обещаниям. «Окраины России», которые должны были издаваться за границею, пока самодержавная власть считала нужным щадить неизменно верных подданных, проливавших кровь за Россию, ныне печатаются в Москве. Но почитателям его памяти, не увлекающимся ложно понятым патриотизмом, грустно видеть его имя, связанное с тем, что совершается ныне. Непоколебимым памятником его славы останется плодотворное его участие в величайшем деле русской истории, в освобождении крестьян.

С именем Юрия Самарина неразрывно связано имя князя Владимира Александровича Черкасского. В последующую практическую пору деятельности, они постоянно шли рука об руку, в Редакционных Комиссиях, в польском деле, в земстве, в городском самоуправлении. Но теоретические их мнения далеко не были сходны. Хотя Черкасский примыкал к славянофилам и писал в «Беседе», но, в сущности, у него славянофильского не было ровно ничего. Он не поклонялся древней России, весьма неблагоприятно смотрел на русскую общину, не возводил русского мужика в идеал, был поклонником свободных учреждений Запада, а в религиозных вопросах в эту пору был скептик. Однажды мы гуляли с ним вдвоем; среди разговора он с обычным своим шутивым тоном сказал мне: «Я просил Хомякова обратить меня в православие, но мы разошлись на первом вопросе. Я говорю, что может быть господь бог есть, а может быть и нет, а Хомяков говорит, что он наверное знает, что он есть».

Жена его, которая была очень благочестива, говорила, что она всегда с некоторым ужасом смотрит на маленький шкафчик, где у мужа хранятся разные непотребные книги, вроде истории церкви Гфррера*. Кажется, она в этом отношении имела на него значительное влияние. Он ее очень любил, и она в нем души не чаяла. Она же много содействовала и сближению его с славянофилами. Выдаваясь с ними постоянно, он соединился с ними, потому что лично был равнодушен к теоретическим вопросам, а в практическом отношении считал более удобным и полезным проводить либеральные идеи под патриотическим знаменем, в чем, может быть, и не ошибался. На одном из тогдашних литературных вечеров я стал трунить над ним, говоря, что у него убеждения географические, применяющиеся к тем домам, где он чаще бывает. Он немного рассердился, но ненадолго.

* Гфррер Август-Фридрих (1803-1861) – немецкий историк резко католического направления. Окончил курс евангелического богословия в Тюбингенском университете.

Вообще, из всего славянофильского кружка, я ближе всего сходиллся с ним. Когда я выступил на литературное поприще, он показал мне такое теплое участие, что я был даже тронут. Я этого не ожидал и с тех пор его искренно полюбил.

Зная его ближе, его нельзя было не полюбить. Это был тоже человек из ряда вон выходящий. Ум был замечательно сильный, гибкий и разносторонний, образование обширное, не только литературное, но и юридическое и политическое.

Блистательно кончив курс на юридическом факультете Московского университета, он, по примеру многих молодых людей того времени, держал экзамен на магистра. Но его диссертация о целовальниках никогда не была написана. Она была задумана в либеральном духе, а с 48-го года нельзя было писать уже решительно ничего, носящего на себе хотя тень либерализма. После статьи о Юрьеве дне, предназначавшейся для одного из «Московских Сборников», ему даже совершенно запрещено было писать, и только с новым царствованием открылось для него снова литературное поприще. Он и выступил на него, на этот раз уже не с историческими изысканиями, а в той области, которая была ему наиболее сродни, с обсуждением практических вопросов. Он писал в «Беседе» политические обозрения. Вообще, это был человек по преимуществу практический. Общественные вопросы всецело привлекали его внимание, и всякий вопрос он рассматривал, главным образом, со стороны приложения. Он тотчас соображал, что с данными средствами и при данных условиях можно сделать, и на это бил прямо, устраняя всякие посторонние соображения. Иногда практические рецепты сочинялись даже слишком легко; он охотно шел и на сделки, лишь бы только достигнуть цели. Оттого его обвиняли иногда в изменчивости убеждений, в отступлении от принятых начал. Но в сущности он убеждений своих никогда не менял, а только приравнивал их к тому, что он считал в данную минуту возможным. Отсюда, например, те разнообразные предложения, которые он высказывал относительно освобождения крестьян, применяясь к тому, что он надеялся провести при данном направлении правительства. Его обвиняли в честолюбии, даже в низкопоклонстве. Честолюбие у него действительно было, но не мелкое честолюбие чиновника, ищущего почестей, а благородное честолюбие человека, сознающего свои силы и жаждущего их употребить на какое-нибудь крупное дело, полезное отечеству. В виду достижения цели, он мог иногда склониться на неизбежное при самодержавной власти угождение; но никогда он честолюбию не жертвовал своим достоинством и своими убеждениями, а, напротив, не раз в жизни показывал свою независимость. Характер был возвышенный и благородный, неспособный ни на какие мелкие интриги. Необходимая в практике гибкость соединялась в нем с неук-

лонною энергиею в преследовании предположенной цели, энергиею не чуждой, впрочем, односторонних увлечений. Когда он брался за дело, он уже не смущался ничем и не допускал никаких возражений. Работник он был неутомимый: он сам вникал во все подробности и направлял всякое дело. И эту одушевляющую его энергию он умел вдохнуть и в других. Он всюду отыскивал людей, ценил их по достоинству, умел каждого поставить на подходящее место и направить к желанной цели.

Когда он был министром внутренних дел в Царстве Польском, я, будучи профессором в Москве, посылал ему молодых людей, кончивших курс в университете. Он принимал их самым ласковым образом и тотчас сажал за работу. Все они были от него в восторге. В последние годы его жизни, когда он действовал в Болгарии, служащие при нем жаловались на его раздражительность и говорили, что он стал очень тяжел. Но это происходило от того невыносимого положения, в которое он был поставлен. Вообще же, не было человека более приятного в личных отношениях. В семье его обожали. В нем не было ничего холодного, резкого и отталкивающего. Приветливый и обходительный со всеми, всегда ровного характера, он в разговоре был прелестен. Его речь, всегда полная мысли, текла легко, свободно, разнообразно и игриво. Это был один из самых привлекательных собеседников, каких можно было встретить.

Так же свободно говорил он и в общественных собраниях, без красноречия, но всегда умно, живо и убедительно. Как писатель, он стоял гораздо ниже. Без сомнения, и тут проявлялись высокие качества его ума; но литература не была его настоящим призванием. Поэтому он на литературном поприще никогда не играл видной роли. Истинная его деятельность началась с освобождения крестьян. Призванный в Редакционную Комиссию, он проявил здесь все свои замечательные способности. Он сделался главным работником Комиссии. Основной план Положения 19 февраля принадлежит собственно ему. Он же был и главным редактором. Первоначальный проект Положения, как мне говорили участвовавшие в нем лица, весь писан его рукою. Этого одного было бы достаточно, чтобы вписать его имя в историю.

Во всякой другой стране человек, выдвинувшийся таким образом, ставший, единственно в силу своих способностей, одним из главных деятелей в величайшем из всех преобразований, получил бы влиятельное значение в государственной жизни. Всякое разумное правительство старалось бы его к себе привязать. Но русское самодержавие привыкло смотреть на людей, как на орудия, которые можно брать и бросать. Выходящие из ряда вон способности внушали ему даже опасения, особенно, когда они соединялись с независимостью характера. Как только было обнаружено Положение 19 фев-

раля, главных деятелей тотчас спустили. В награду за труды им дали маленькие крестики; правительство сочло, что оно этим с ними расквиталось. Самарин отослал свой крестик назад графу Панину, который был в большом затруднении, не зная, что с ним делать, но Черкасский не считал возможным оказать такой знак презрения к монаршей милости, тем более что это ни к чему не вело. Он уехал в деревню и наравне с сотнями местных помещиков сделался мировым посредником в своем околотке. Начертав закон, которым коренным образом изменялась вся русская жизнь, он взял на себя приложение его в маленьком провинциальном округе. После двух-трех лет неутомимой, чисто практической работы, он поехал в Петербург посмотреть, что там делается. Вернувшись, он в добродушно шутовском тоне, без малейшей горечи писал Самарину, что если они могли воображать, что кто-нибудь в них нуждается, то эта поездка должна была рассеять всякие мечты: как это ни обидно для самолюбия, но надобно признаться, что решительно никто об них не думает, находят, что без них можно очень легко обойтись.

Однако, нужда скоро настала. Вспыхнуло Польское восстание, и опять потребовались люди. Государь обратился к Милютину, а тот в свою очередь вызвал Самарина и Черкасского. Первый не принял никакого официального положения, хотя работал для дела; Черкасский же поехал в Варшаву председателем Комиссии внутренних дел. Пустить этих, так называемых демагогов в революционную Польшу, где они могли производить свои эксперименты *in anima vili*, считалось безопасным. Однако, и тут их не оставили в покое и тайные интриги и явная злоба врагов. Милютин жил в Петербурге, имея непосредственные сношения с государем, и мог легче противодействовать козням; Черкасскому же пришлось выносить всю тяжесть положения на своих плечах. Он был непосредственно подчинен наместнику и должен был вести против него постоянную подземную войну, противодействовать всем его тайным и явным стараниям парализовать принимаемые правительством меры и подставлять ногу назначенным от государя исполнителям. Мне довелось читать переписку Черкасского с Милютиным в это тяжелое время. Как бы мы ни смотрели на отношения России к Польше, нельзя без боли и негодования вспоминать о том невыносимом положении, в которое русская самодержавная власть ставила доверенных своих людей, которых она посылала поддерживать русские интересы в усмиренном крае. Это был целый ряд ежедневных мелких неприятностей, которые сыпались со всех сторон и заставляли человека, заваленного работою, постоянно быть настороже, не против чужих, а против своих, действовавших у него за спиною с авторитетом и власти, и положения. Нужна была вся настойчивость, вся энергия и ловкость Черкасского, чтобы выдерживать подобные отношения. Он не раз

хотел подавать в отставку, но Милютин его все удерживал, указывая на то, что с его удалением он останется совершенно без рук. Наконец, Милютина постиг удар, и тогда уже Черкасский, лишенный еврей главной опоры, не хотел более оставаться. Как ни уговаривал его государь, он решительно отклонил всякие предложения и ушел, возбудив против себя неудовольствие монарха и преградив себе всякую дальнейшую карьеру.

Вскоре после того последовала совершенная отмена наместнического правления; Царство Польское было включено в состав русских губерний. Правительство как бы хотело доказать, что можно принимать радикальные меры даже при совершенно ничтожных орудиях. Поведение графа Берга в последних событиях значительно содействовало этому исходу, который в глазах многих являлся как бы завершением вековой борьбы, но который, в сущности, еще более запутывал вопрос, прикрывая его фальшивым решением. Нельзя исторический, живучий народ вычеркнуть из числа существующих, ему должна быть оказана справедливость. Когда Черкасский на известном славянском обеде в Москве утверждал, что история произнесла свой окончательный приговор, то это было не более, как мечтою увлеченного практическим делом человека, который за интересами отечества забывает все остальное. Существенное дело Милютина и его друзей в Царстве Польском состояло в наделении крестьян землею, мера, которая была вызвана необходимостью и оказалась благотворною. Обеспечивая надолго русские интересы, она составляла благо и для Польши. Нельзя не видеть в ней важной услуги, оказанной отечеству.

Черкасский вернулся в частную жизнь, из которой он выступил уже на общественное поприще. Москва избрала его своим городским головой. Конечно, после тех крупных дел, которыми он орудовал, поле для него было слишком тесное. Самые привычки диктатуры, приобретенные в усмирненной Польше, вовсе не подходили к требованиям выборного управления. Однако, и тут он успел показать свои административные способности, умение управлять людьми и полную независимость характера. Когда в 1870 году, во время франко-прусской войны, русское правительство объявило условия Парижского трактата насчет черноморского флота расторгнутыми, оно искало опоры в общественном мнении и вызывало подачу адресов в этом смысле. Московское городское общество, под влиянием патриотического увлечения, жадно ухватило за эту мысль; но Черкасский долго не соглашался. Наконец он уступил, но решил не ограничиться пошлыми патриотическими фразами, а воспользоваться этим случаем, чтобы высказаться насчет внутренних дел. Надобно сказать, что минута была выбрана не совсем удачно, и сам он хорошо понимал, что правительству это не будет приятно; но он хотел раз навсегда прекратить недоброжелательные толки о том, что он

будто бы принял должность городского головы, единственно как ступень для дальнейшего повышения. Предложенный им и посланный от имени Думы адрес не был принят государем, и тогда те, которые наиболее хлопотали о его подаче, первые отступились от автора. Вслед за тем произошли новые выборы, и Черкасский отказался от баллотировки. Снова он вернулся в частную жизнь, в которой он и оставался несколько лет, до Болгарской войны.

Как он ни любил отдых, однако бездействие стало его наконец тяготить. Он чувствовал себя полным сил, а приложить их было некуда. Государственное попросту было для него закрыто; мелкая общественная деятельность его не удовлетворяла; журнальная болтовня ему претила. Я все уговаривал его приняться за какой-нибудь серьезный труд по экономической или финансовой части. Он действительно в Берлине усердно занялся изучением прусских финансов. Но, в сущности, деятельность писателя была не по нем, хотя он любил литературное общество. Еще менее могла удовлетворять его практическая деятельность в Московском поземельном банке, председателем которого он был выбран. В это время он писал мне: «Что сказать вам о московской жизни? Она проходит тихо, бесцветно и весьма безжизненно. Старая Москва, интеллигентная, литературная, исчезла надолго. Ее заменили биржа, торговля, промышленность. С трудом мирюсь с этим, хотя среди всеобщего равнодушия к другим интересам я сам, один из последних, решил дать себя увлечь общему неудержимому потоку. Пустоту нашей русской жизни приходится поневоле наполнять чем-нибудь, хотя и не вполне сочувственным...»

При таком настроении понятно, что когда вспыхнула война, возбудившая в России дурно понятый патриотический энтузиазм, Черкасский ухватился за этот случай, чтобы вернуться к политической деятельности. Через Д. А. Милютина он предложил себе официально для управления Красным Крестом, а, в сущности, для организации гражданского управления в Болгарии. Предложение было принято, и ему было поручено составить для себя инструкции. Это было для него гибельное решение. Предшествующая деятельность в Польше могла убедить его, что надежды на постоянную поддержку сверху он не мог питать. Если в то время, когда он, действительно, был нужен и имел опору в лице, пользовавшемся значительным доверием государя, его тем не менее отдавали на жертву врагам, то чего же можно было ожидать при иных условиях, когда на первом плане стояло военное дело, а он в сущности был последнею спицей в колеснице. Еще раз, и в последний, ему пришлось испытать, как в России обходятся с людьми. Всякие неприятности и унижения сыпались на него со стороны военных властей, начиная с главнокомандующего*. Про него

* Великий князь Николай Николаевич.

пускали в ход всевозможные толки; на него писали злые сатиры. Все это он должен был молча выносить; он сделался крайне раздражителен, стал выказывать власть свою в мелочах. Он всеми силами души рвался вон из того невыносимого положения, в которое он поставил себя неосторожным шагом. Однако он не хотел этого сделать, не окончив предпринятого им труда выработки органического статута для внутреннего управления Болгарии. На эту работу он и налег с тою неутомимой энергией, которая его отличала, и со свойственным ему умением совладать даже с совершенно незнакомым ему материалом. Люди, знающие дело, говорят об этом труде с большим уважением; Болгария доселе им руководится. Наконец, проект был написан; Черкасский представил его великому князю и и вздохнул свободно. Но силы были уже надломлены. Его сразила смерть в самый день подписания Сан-Стефанского договора и в годовщину обнародования Положения 19 февраля. Неожиданная весть о его кончине поразила горестью всех его друзей, а вместе и всех истинных сынов отечества. С ним умер человек, одаренный высшими государственными способностями, который сам собою выдвинулся в критические минуты, показал все свои силы, оказал отечеству незабвенные услуги и затем был кинут в сторону, как негодная тряпка.

Но я забегаю далеко вперед. В то время, о котором идет речь, Черкасский только что выступал на литературное поприще. Практические вопросы, на которых впоследствии славянофилы сошлись с западниками, ратуя вместе против врагов либеральных преобразований, еще не поднимались. В ту пору кипела литературная полемика, которая завязалась с самого появления славянофильского органа, как только двери, дотоле запертые для мысли, немного растворились. Судя по литературным силам, которые были собраны около обоих журналов, можно было ожидать, что полемика будет интересная и плодотворная. На деле вышло не то, хотя ума и таланта было потрачено достаточно. Я убедился, что журнальная полемика редко к чему-нибудь ведет, и всего менее при тех условиях, при которых она тогда велась. Истинное значение журнала заключается в критике, критика в свою очередь питается капитальными произведениями. Когда русская литература выставяла ряд писателей, не только высоко даровитых, но и гениальных, как Пушкин и Гоголь, могла существовать литературная критика, и тогда журнал имел серьезное общественное значение. Но русская наука была, можно сказать, еще в младенчестве. Славянофилы проповедовали необходимость самобытной русской науки, но сами не представляли в нее ни малейшего вклада, а ограничивались общими идеями, в которых под внешним блеском и заманчивым покровом патриотизма скрывалась полная внутренняя пустота. На этой почве можно было спорить до бесконечности, без всякого путного результата. При некоторой ловкости и изворотливости про-

тивников, вопросы не только не выясняются, а затемняются для большинства неподготовленной публики. Немного есть людей, способных разобраться в массе софизмов. На это требуется научное образование, которое именно у нас отсутствовало. К тому же полемика со стороны славянофилов велась, надобно сказать, не вполне добросовестно. Главная их цель заключалась не в том, чтобы исследовать и выявить истину, а в том, чтобы поразить противников.

Первый спор возник о народности в науке, которую «Русская Беседа» внесла в свою программу. В «Московских Ведомостях» было сделано на этот счет маленькое примечание, в ответ на которое Ю. Ф. Самарин в первой же книжке «Русской Беседы» написал небольшую статью*, где доказывал, что наука, так же как искусство, должна быть национальной, а потому русский народ может из западной науки принять только то, что приходится к его собственным взглядам. По теории Самарина, ученый, приступающий к научному исследованию, должен предварительно окунуться в живую струю народной жизни. Точка зрения на предмет не вырабатывается сама собою из изучения, а дается заранее теми началами, которые лежат в народном духе. Подкладкою всей этой аргументации было славянофильское учение, признающее науку порождением известного религиозного мирозерцания. Западная наука, по мнению славянофилов, вся проистекала из односторонних начал католицизма и протестантизма. Не усваивать себе эти заблуждения призван русский народ, а взглянуть на мир с своей собственной точки зрения, почерпнутой из православия.

Разумеется, подобного воззрения не мог принять ни один человек, знакомый с истинно научными методами исследования. Такая проповедь казалось мне, да и теперь кажется, крайне вредною для интересов русского просвещения. Русский народ дотоле никакой творческой силы в науке не проявлял, и ссылаться на это творчество, как на какую-то национальную особенность, славянофилы не имели ни малейшего повода. Наше общество было, вообще, глубоко невежественно; ему следовало учиться, а не приступать к неведомой ему науке с заранее приготовленными мнениями, почерпнутыми из совершенно другой области. В этом смысле я написал маленькую заметку на статью Самарина в одной из ближайших книжек «Русского Вестника»**. Самарин на это прямо не отвечал. Ему, уже приобретшему громкую репутацию ума и таланта, вовсе не хотелось вступать в полемику с молодым человеком, только что выступающим на литературное поприще. Но дабы не оставить возражателя без должного наказания, он открыл какую-то нелепую статью одного пензенского помещика, отхлестал его с обычным своим умением и иронически

* «Два слова о народности в науке» («Рус. Беседа», 1856, № 1).

** «О народности в науке» («Рус. Вестник», 1856, № 5, стр. 62 – 71).

сопоставил его мысли с теми, которые были высказаны в моей заметке. Я с своей стороны не остался в долгу и написал другую статью, в которой, в весьма умеренных выражениях, старался обличить всю внутреннюю пустоту этого мнимофилософского воззрения.

Отец был очень доволен моею статьею; он находил ее даже слишком умеренною. «Карикатура, ирония и высокомерно научный тон, – писал он мне, – заслуживали иного возражения, нежели твое». Редакция «Русского Вестника», с своей стороны, вступилась в спор и напечатала от себя маленькую статейку в том же смысле, как и моя. На этом, после небольшой перепалки, полемика прекратилась.

Гораздо более шума произвел другой спор, на этот раз по историческому вопросу, поднятому мною. Я уже говорил, что первая статья, которую я дал в «Русский Вестник», было исследование о сельской общине в древней России*. Это был один из коньков славянофильской школы, которая в нашей сельской общине видела идеал общественного устройства и разрешение всех грозных экономических вопросов, волнующих Западную Европу. Известный путешественник, барон Гакстгаузен, именно с этой точки зрения написал свою книгу о России**. Новейшие научные изыскания показали, однако, что та же форма сельской общины существовала и у других народов. Исследователи пришли к заключению, что она составляет вообще принадлежность древнейшего родового быта и разлагается постепенно, с разрушения вызвавшего ее общественного строя. Об этом уже Грановский написал статью в «Архиве» Калачева***. Прочитавши Гакстгаузена и сравнивая современные наши порядки с новейшими исследованиями, я, как многие другие, был вполне убежден, что первобытная сельская община, исчезнувшая у западных народов вследствие развития цивилизации, сохранилась у нас как остаток незапамятной старины. Но когда я стал изучать древне-русские памятники, я увидел совсем другое. Из них оказывалось, что крестьяне в древней России лично владели своими участками, продавали их, передавали по наследству, завещали в монастыри. У северных черносошных крестьян, которые одни из всех ушли от крепостного права, этот порядок сохранялся до половины XVIII века, и только Межевые инструкции ввели современное нам общинное устройство, при чем ясно обнаруживалось, что последнее состояло в

* «Обзор истории развития сельской общины в России» («Рус. Вестник», 1856, т. I, стр. 373 – 386, 579 – 602).

** Известное сочинение барона фон Гакстгаузена «Studien uber die inneren Zustände, das Volkleben und insbesondere die landliche Einrichtungen Russlands», 1 – II, Han. u. Berlin, 1847, III, Berl. 1852. Извлечение из этого сочинения (об общине) напечатано было в «Современнике», 1857, № 7.

*** «О родовом быте германцев» (Архив историко-юридических сведений, относящихся до России), изд. Н. Калачевым, кн. II, пол. 2, М. 1855.

прямом отношении к податной системе. Без малейшей предвзятой мысли, я изложил результаты своих чисто фактических исследований, которые привели меня к заключению, что нынешняя наша сельская община вовсе не исконная принадлежность русского народа, а явилась произведением крепостного права и подушной подати.

Произошел гвалт. Славянофилы ополчились на меня как на человека оклеветавшего древною Русь. Главные вожди партии были, однако, слишком слабы по части фактических исследований и не решились выступить на эту почву. Они выдвинули Беляева, архивного труженика, который всю свою жизнь рылся в древних грамотах, но был совершенно лишен способности их понимать. У него не было ни смысла, ни образования, и он готов был фантазировать без конца, внося в старые тексты свои собственные дикие измышления. В этом впоследствии могли убедиться сами славянофилы. Несколько лет спустя великая княгиня Елена Павловна, которая об этом вопросе имела смутные понятия, но желала содействовать его разъяснению, спросила у Ю. Ф. Самарина, кому бы можно заказать статью о древней русской общине, с тем чтобы ее перевести и издать на иностранном языке. Самарин тотчас указал на Беляева и взялся устроить это дело. Статья была написана, но, просматривая ее для перевода, заказчик убедился, что необходимы справки. Он обратился за ними к автору, и тут-то оказалось, что фактическое основание совершенно отсутствовало, и что написанное было чистым плодом фантазии трудолюбивого ученого. Деньги были уплачены, но статья никогда не увидела света.

С русской публикой не было нужды так церемониться. Критика Беляева на мои изыскания могла обойтись без всякой проверки; она появилась целиком на страницах «Русской Беседы». Славянофилы торжествовали победу, а я, признаюсь, был возмущен. Вместо длинного разбора и основательного исследования вопроса, это был какой-то неуклюжий набор фактов, ничего не доказывающих, криво толкованных, частью даже извращенных, и все это было приправлено тоном грубого глумления, который знающему человеку был противен, но мог произвести действие на совершенно неприготовленную публику, неспособную найтись в этой массе цитат. Конечно, я все это разобрал по ниточке и в новой статье доказал, что приведенный против меня фактический материал не что иное, как фантазматическая, сочиненная без всякого знания и без всякого смысла. Беляев, в свою очередь, написал ответ, но уже вовсе не касаясь вопроса о сельской общине, а опровергая лишь предпосланные моему исследованию общие исторические взгляды.* Это значило признать себя

* Критика И. Д. Беляева появилась в «Рус. Беседе», 1856 г., №№ 1, 2 и 4; ответ Б. Н. Чичерина в «Рус. Вестнике», 1856 г., №№ 3 и 4.

побежденным; но славянофилы продолжали утверждать, что он совершенно меня разгромил, и многие верили им на слово.

К сожалению, Соловьев вмешался в этот спор*. Для него вопрос оставался открытым, но его уговорили написать статью в качестве авторитета по русской истории. Ему не трудно было опровергнуть общие исторические воззрения Беляева. Что же касается до самого предмета спора, то он привел из XVII века Шуйскую передельную грамоту на посадскую землю, а затем поставил вопрос: а что было прежде? Вопрос был неуместный, ибо в моем исследовании было приведено множество фактов, которые доказывали свободный переход земель, как между крестьянами, так и между посадскими. На этих фактах я и основывал свои выводы. Если Соловьев ими не убеждался, то надобно было сказать почему. Между прочим, он ограничился постановкой вопроса, что впоследствии подало повод утверждать, даже в иностранной литературе, будто он стоял на стороне противников моего воззрения. Все дело в том, что как добросовестный ученый, он не хотел решительно высказываться насчет вопроса, который был для него не вполне выяснен. Нельзя не сказать, однако, что тут выразился присущий ему недостаток юридического образования.

Я не считал нужным продолжать спор, который на этом пока и прекратился. Но несколько лет спустя Беляев написал книгу «Крестьяне на Руси», в которой все мои выводы нашли полное подтверждение. Он, конечно, не думал признаваться в своей прежней ошибке, но, излагая подробно на основании источников, поземельные права древнерусских крестьян, он представил их совершенно так же, как и я, ибо древние грамоты не показывают ничего другого. Об общинном владении во всей книге нет ни единого слова. Впоследствии, когда В. И. Герье уговорил меня написать вместе с ним критику на книгу князя Васильчикова, мне пришлось опять вернуться к этому вопросу, и я прямо сослался на исследования Беляева**. Новейшие изыскания поставили правильность моего взгляда вне всякого сомнения. Оказалось, что в Олонецкой губернии только во времена Екатерины, на основании Межевых инструкций, были отобраны все земли, находившиеся в течение веков в личном владении крестьян и произведено было правительством повальное наделение по душам. Это вызвало общий вопль; некоторые подавали даже жалобы в суд, так что правительство принуждено было приостановиться в исполнении своей меры и решило оставить участки во владении тех, которые жаловались, и отобрать их только у тех, которые молчали. В

* Статья С.М.Соловьева под заглавием «Спор о сельской общине» была напечатана в «Рус. Вестнике» за 1856 г., VI.

** «Русский дилетантизм и общинное землевладения». М. 1878. (Чичерину принадлежат главы II, IV и V).

Архангельской губернии тот же переворот произошел еще позднее, распоряжением Министерства государственных имуществ. Госпожа Ефименко*, которая занялась исследованием этого вопроса на месте, точно так же, как я, приступила к нему с полной уверенностью, что нынешнее общинное владение искони существовало между крестьянами; но убедившись из памятников, что ничего подобного в древности не было, прямо объявила, что это чистый миф. При этом, однако, она сочла нужным заявить, что она вовсе со мною не согласна, хотя собственные ее изыскания более чем подтверждали мой взгляд.

Дело в том, что против моих выводов ополчились не одни славянофилы, но также и социал-демократы, отвергающие личную собственность, и, вообще, все те, которые в общинном владении видят спасение против пролетариата. Отсюда произошло то странное явление, что чисто исторический вопрос сделался лозунгом партий, вследствие чего он и не подвинулся ни на шаг. Прошло тридцать пять лет с тех пор, как он был мною поднят, и, несмотря на то, что старый и новый материал убедительно доказывает несостоятельность ходячего мнения, у нас все еще продолжают говорить об общинном владении, как об исконно русском учреждении. Даже ученые выдающие себя за специалистов в этом деле, считают научною ересью теорию, которая производит общинное владение в России из крепостного права и подушной подати. Сколько мне известно, из исследователей русской старины один Сергеевич, правда, самый дельный из всех, высказался в пользу моего взгляда. В недавно вышедшей книге: «Русские юридические древности», он даже прямо заявил, что в его глазах, моими статьями исторический вопрос окончательно решен. Нельзя не сказать, что способ, каким этот вопрос обсуждался в нашей юридической литературе, показывает весьма невысокий уровень образования в нашем отечестве.

Вскоре после статьи о сельской общине Соловьев выступил против славянофилов с другою статьею «Шлетцер и антиисторическое направление»**. Он доказывал, что они сами прежде всего повинны в том, в чем обвиняют своих противников, именно, в отрицательном отношении к истории. Разница состоит лишь в том, что одни отрицают прошедшее во имя настоящего, то есть исследуют то отрицание, которое совершено самою историею, а другие отрицают настоящее во имя прошедшего, то есть отрицают самую историю и хотят дать ей обратный ход. Пустое разглагольствова-

* А. Ефименко. «Крестьянское землевладение на крайнем севере», 1884 г.

** Первое издание вышло в 1891 – 1896 гг. В приложении к III тому помещена критика точки зрения Б. Н. Чичерина, из которой видно, что автор разделял не все положения последнего.

ние Константина Аксакова, который отвечал на эту статью в «Беседе», не могло ослабить ее действия.

Рядом с этим шла и мелкая перестрелка. Однажды Дмитриев, к великой своей радости, открыл в «Беседе» оправдание Беляевым древнерусского правежа. Немедленно была им тиснута об этом статья, подписанная: Любитель старины. Она услаждала нас на одном из вечерних собраний. В то же время я прочел в «Беседе» статью К. Аксакова о древнерусских богатырях, в которой он с обычными своими восторгам описывал, как Добрыня Никитич, чтобы наказать свою жену, разрезал ее на кусочки. Мне это показалось до того забавным, что я со своей стороны написал об этом заметку, которую подписал: Любитель новизны. Это было, в сущности, не более как шуткою; но Аксаков обиделся. Я отвечал, что обижаться тут нечем, а драпироваться в мантию серьезного и добросовестного отношения к делу «Беседе» вовсе не пристало. На каждом шагу она давала на себя оружие. Однажды, вернувшись из деревни, я обедал у Павлова с Валентином Коршем, который сообщил мне, что он, вместе с Любимовым и Нилом Поповым, собираются напечатать в «Московских Ведомостях» коллективную статью о «Русской Беседе», которая завралась уже через всякую меру. В это время, между прочим, в славянофильском органе подвизался, в качестве литературного критика, нелепый и пьяный Аполлон Григорьев, которого так метко характеризовал Щербина:

Григорьев пусть людям в забаву
Серьезные пишет статьи.

Исходя из славянофильской теории, которая всякое признание и всякое воспроизведение основывала на субъективном родстве, он доказывал, что художник способен изображать только такие лица, какими он сам может быть. Так Шекспир мог бы быть и Гамлетом, и Лиром, и Ричардом III и т. д. «Да скажите ему, что Шекспир, по его теории, мог бы быть и Офелией и Дездемоной», – заметил я Коршу. Тот немедленно вклеил это замечание в статью, которая и появилась на следующий день за подписью Чельшевский, вследствие того, что Нил Попов жил тогда в номерах Чельшева, на Театральной площади.

Все это однако же было только прелюдиею к полемике, которая повела к окончательному разрыву. И тут кругом были виноваты славянофилы. Первый повод к обострению отношений подала, появившаяся в «Беседе» статья ориенталиста Григорьева о Грановском. В. В. Григорьев был товарищем Грановского по университету, но затем он потерял последнего из виду, сходил с ним только случайно, проездом, и не имел ни малейшей возможности судить о том, чем Грановский сделался, когда он стал профессором. И вдруг этот госпо-

дин вздумал, на основании личных впечатлений, описывать Грановского, как красноречивого, но легенького ученого, который только по недостатку серьезного научного образования увлекся западным направлением*. Славянофилы хотели поразить врагов в лице самого видного их представителя. Такая недостойная полемическая уловка над свежее еще могилою всех нас крайне возмутила. Кавелин прислал из Петербурга статью под заглавием «Лакей», в которой изображен был Григорьев**. В ней были такие резкие отзывы о самой «Беседе», что редакция «Русского Вестника» сочла даже нужным смягчить его выражения. В письме к нему я высказал сожаление по поводу этого смягчения, полагая, что оно произведено самим Катковым самовольно. Кавелин отвечал: «Катков писал мне и просил о смягчении, потому что он был убежден, и убежден на основании доказательств, что славянофилы добросовестно не оценили вполне всей гнусности статьи Григорьева, по крайней мере в то время, как ее печатали. Вышло на проверку, что это были лишь лицемерные увертки, очень может, быть в надежде, что выставляя на показ гнусность статьи г. Григорьева не станут, и, таким образом, Немезида будет убаюкана. Каюсь перед драгоценною и святою для меня памятью друга Грановского, что был неправ перед ним, близоруко и тупоумно защищая славянофилов. На них лежит печать смерти и гниения, оттого они и отворяют настежь двери Григорьевым и Крыловым. Даже честные люди наперечет в этом лагере, не говоря о талантах. Им бы взять еще в сотрудники Бланка и Лебедева***. Булгарин и Греч, люди все-таки более приличные, если не более честные, чем названные их настоящие и будущие сотрудники. Жестоко каюсь, что смягчил слова о «Беседе» в своей статье; думаю, что и Катков кается, потому что гнили и гадости «Беседы» и «Молвы» нет меры.

Мы сочли, однако, такого рода ответ недостаточным. Надобно было разобрать Григорьева по косточкам, и это взялся сделать Н. Ф. Павлов. Как всегда, насилию от него могли добиться обещанной статьи; но, наконец, она появилась. У Станкевичей был большой обед, где собрался весь кружок. Долго дожидались Каткова и Леонтьева. Наконец, они приехали с новинкою, и статья Павлова была прочи-

* Статья В. В. Григорьева: «Т. Н. Грановский, до его профессорства в Москве» напечатана в «Рус. Беседе», 1856 г., IV.

** Под заглавием «Слуга, современный физиологический очерк», статья напечатана в «Рус. Вестнике», 1857 г., т. VIII, кн. 6. (В изд. Глаголева т. II, стр. 1186 – 1192).

*** Григорий Борисович Бланк, сотрудник «Вестей», рьяный крепостник; что касается Лебедева, то, вероятно, имеется в виду священник Василий Иванович Лебедев, редактор «Душеполезного чтения», статья которого направленная против книги М.Н. Каткова «Очерки древнейшего периода греческой философии», вызвала большую полемику.

тана при общем восторге. Меня в это время не было в Москве; но когда я прочел статью, мне показалось, что Павлов увлекся желанием блеснуть несвойственной ему ученостью. Он не только восстановил образ Грановского, но хотел доказать, что сам Григорьев, как ученый, не имеет ни малейшего права строго относиться к другим. Я боялся, что этим могут воспользоваться противники. Мои опасения сбылись. Скоро последовал ответ со стороны другого ориенталиста, Савельева: защищая Григорьева, он доказывал, что автор статьи «Биограф-ориенталист» не имеет ни малейшего понятия о том предмете, в котором силится выставить себя знатоком. Все думали, что Павлов попался, и сам он был крайне сконфужен. В результате, однако, вышло совсем другое. Материалы для статьи по части восточной учености доставил ему Е. Ф. Корш, и когда Павлов обратился к последнему за справкою, то Корш, опять под псевдонимом Чельшевского, написал ответную статью, в которой так ловко, умно и с таким знанием дела обличил присяжных ориенталистов, что всякая дальнейшая полемика должна была прекратиться. Торжество было полное.

В то же время «Русская Беседа» приобрела другого совершенно неожиданного сотрудника – профессора римского права при Московском университете Никиту Ивановича Крылова.

Выше я уже описал эту мнуню, даровитую, но лишенную всяких нравственных основ и всякого серьезного образования личность. После сей истории Крылов жил себе в своем маленьком, пошленьком кругу старых профессоров юридического факультета, читал свои лекции, но никогда не дерзал показываться на литературном поприще. Поводом к выступлению его на сцену послужил мой диспут.

Я рассказал долгие мытарства своей диссертации. Потерпев неудачу в Москве и Петербурге, я решился представить ее в общую цензуру, которая с новым царствованием сделалась гораздо снисходительнее. Цензором в Москве был в то время человек, о котором русская литература не может не вспомнить с благодарностью – Николай Федорович фон Крузе. Он был умен, честен, образован, с либеральным направлением, хотя, как впоследствии оказалось, несколько легкомыслен. Правительство в то время было исполнено добрых намерений, но ни на какой положительный шаг оно не решалось. Цензурные законы оставались прежние; даже все безобразные циркуляры и инструкции, которыми в последние годы царствования Николая думали задуть несчастную русскую мысль, сохранялись во всей своей силе. В таком положении Крузе взял на себя инициативу и стал пропускать все статьи, которые он считал безвредными. Петербургская цензура, видя, что все это проходит ему даром, последовала его примеру. Правительство молчало, и русская печать вздохнула свободнее. В то время Крузе носили на руках;

ему присылали адреса, и у него несколько закружилась голова. Он стал бить на эффект, хотел показать свою храбрость и сломил себе шею. У него были, впрочем, и другие виды. Кокорев, который в эту пору являлся зачинателем всякого рода предприятий, отправил его своим агентом в Англию. Но ни хозяин, ни агент не были в состоянии основательно и расчетливо вести коммерческое дело. Предприятие лопнуло, и Крузе должен был вернуться в Россию. Он поселился в своей деревне в Петербургской губернии. По введении земских учреждений, его выбрали председателем губернской управы. И тут он стал пускаться на эффекты, выступил с резкой оппозицией правительству и опять сломил себе шею. Его либеральные друзья доставили ему место директора железнокольных дорог в Москве; однако, и это предприятие у него не пошло. Наконец, он, получил должность в Дворянском банке, чем и поддерживает свою многочисленную семью.

Крузе, разумеется, без малейшего затруднения пропустил мою диссертацию, которую я и представил в факультет уже напечатанною. Как ни бесились старые профессора на посвящение памяти Грановского, которое казалось укором им самим, но повода к отказу не было никакого. Нельзя уже было ссылаться на цензурные правила; а отвергнуть с ученой точки зрения обстоятельное фактическое исследование, о котором могла судить публика, было уже слишком неблагоприятно. Волею или неволею пришлось диссертацию одобрить. Диспут происходил в конце января или в феврале 1857 года. Оппонентами были Лешков и Беляев, которым возражать было не трудно. Тогда для поднятия чести факультета, выступил Крылов. С тем замечательным даром слова, которым он отличался, он произнес блестящую речь, в которой, воздавая мне хвалу, он хотел предостеречь бывшего слушателя от односторонних увлечений. По его мнению, я взглянул на древнюю Россию с чисто отрицательной точки зрения, изобразил ее в самых мрачных красках, представил такой порядок вещей, в котором человеку просто невозможно жить. Воодушевляясь, он, наконец, вскочил со стула и воскликнул: «Если бы все это было так, как вы описываете, я бы просто взял свой чемодан и уехал». Отвечая ему, я утверждал, что ничего такого мрачного в моей диссертации нет, и стал допрашивать его, на чем он основывает свою характеристику, и что он находит в моем изображении неверного. Но он весьма ловко отклонил дальнейшие прения, объявив, что он все это говорит не в виде возражения, а в виде замечания, для назидания молодого ученого, подающего такие надежды. Декан меня тут же объявил магистром, не обратившись даже с запросом к публике; все меня облобызали. Диспут был кончен, и эффект произведен.

Славянофилы были в восторге. Они тотчас обступили Крылова и стали уговаривать его написать свою речь и напечатать ее в «Беседе». В самом деле, это была для них чистая находка. Они очень хорошо видели, что с бездарным, нелепым, невежественным Беляевым далеко не уедешь. А тут вдруг подвертывается юрист, имевший громкую репутацию ума и таланта, ученый, заявивший себя перед публикою блестящею импровизациею, в которой славянофильские идеи находили красноречивое и увлекательное выражение. Обласканный, расхваленный, превознесенный, Крылов, наконец, уступил настояниям и, преодолев свою лень, решился написать статью. В это время я уехал в деревню. Мои родители весновали в Москве, но брат Владимир, вместе с дядею Петром Андреевичем Хвоцинским, возвращался на весну в Караул, и я решился ехать с ними. Встречать весну в деревне было для меня истинным наслаждением, а я при этом имел еще в виду бродившую у меня в голове статью о недавно вышедшей книге Токвиля «L'ancien regime et la revolution». Писать среди московской суеты не было возможности, и я хотел уединиться, наслаждаясь вместе с тем всеми прелестями обновляющейся природы. Мы кое-как добрались до места, частью на тележке, частью на санях, частью даже пешком, и я в тишине принялся за свою работу. Между тем, из Москвы приходили непрерывные известия о том, что там совершалось. Отец, который живо интересовался всем этим спором, писал мне длинные письма, описывая все подробности. Вскоре потом, вернувшись в Москву в половине мая, я узнал остальное.

Первая половина статьи Крылова, появившаяся в «Русской Беседе»*, произвела громадный эффект. Все были поражены необыкновенною его виртуозностью, гибкостью и блеском таланта, разнообразием как бы в скользь кидаемых мыслей. Сам Катков был ошеломлен и с отчаянием говорил: «Вот какие статьи надобно писать». Скоро, однако, стали догадываться, что под этою мишурою скрывается совершенная пустота содержания, что противоречия и неясность оказываются на каждом шагу, что фактическая сторона никуда не годится, что все это, наконец, не более, как громкая шумиха. Когда же появилась вторая половина статьи, то можно было раскусить автора вполне. Крылов совершенно тут расхотелся и явился во всей своей наготе. Гром расточаемых ему повсюду похвал и ласкательство славянофилов так помutilи ему голову, что он действительно вообразил себя великим человеком и не знал уже никакого удержу. Он на улице останавливал прохожих и спрашивал, читали ли они его статью. Каждое утро из университета он отправлялся в книжный

* «Критические замечания, высказанные проф. Крыловым на публичном диспуте в Московском университете 21 декабря 1856 г. на соч. г. Чичерина «Областные учреждения в России в XVII в.» («Рус. Беседа», №№ 1 и 2).

магазин Базунова и там, восседая в креслах, свысока поучал всех и каждого. Второстепенных славянофилов он трепал за бакенбарды и говорил им – ты. В «Молве», которую в это время основали славянофилы для ведения мелкой войны, он, по собственному его выражению, построил себе цитадель, откуда он обстреливал молодых наездников, которые осмеливались пускаться на юридическое поле, не спросив старших. Во второй части статьи, помещенной в «Русской Беседе», он не устыдился даже упрекнуть молодых ученых в том, что они, под влиянием западных учений, не находят в русской истории царя, и хотел им его показать, между тем как сам он перед тем выставлял себя, как либерала, и выступал защитником древней свободной Руси против тех же молодых ученых, которые будто бы стоят исключительно на точке зрения Московского государства. И все эти недостойные выходы, весь этот непозволительный набор слов «Русская Беседа» печатала с благоговением.

И вдруг это блистающее тысячами разнообразных огней фантастическое здание, построенное на шарлатанстве и самомнении, рухнуло разом. Явился Байборода. Однажды Крылов во всем упоении успеха пришел в университет и в профессорской комнате, в присутствии Леонтьева, стал с глубочайшим пренебрежением отзываться о «Русском Вестнике», говоря, что он даже запрещает студентам его читать. Леонтьева это взорвало и он решился отомстить. Редакция, которая в первые минуты была увлечена Крыловым, втайне приготовила статью, и среди всего этого шума, неожиданно для всех, выпустила ее под псевдонимом Байбороды*. Материал был собран Леонтьевым, а статья была писана Катковым. Она была убийственная. С тем мастерством ругаться, которое его отличало, Катков беспощадно изобличал все шарлатанство и все глубокое невежество нового критика. Оказалось, что профессор римского права не знал самых элементарных правил латинской грамматики, перевирал все римские учреждения, доходил даже до того, что в Риме насчитывал пять цензоров!!! Это было бичевание не на жизнь, а на смерть, и внезапное падение было так же глубоко, как минутное превознесение. Славянофилы тщетно старались ослабить силу удара. Они разъезжали по московским гостинным, объявляли, что готовится громовый ответ, уверяли даже, что по новейшим изысканиям, действительно, найдено, что в Риме было пять цензоров, а не два. Скоро Крылов сам себя обличил. В объяснении, напечатанном в «Молве», он признался, что ему просто взболтнулось, и жалобно возопил, что его не за что было так хлестать. Очевидно, что он совершенно потерял голову и начал молотить чистойшуу чепуху. Подозревали даже, что статья написана под пьяную руку. Действительно, ошеломленный неожиданным ударом он с горя запил. В этом

* «Изобличительные письма» («Рус. Вестник», 1857 г., VIII).

виде он приезжал к фон Крузе и в лицах представлял ему, как плебеи удаляются на священную гору и как патриции на коленях молят их о возвращении. Пьянство, гаерство и шутовство – вот чем кончился этот с таким блеском предпринятый поход. С тех пор Крылов умолк и никогда уже более не показывался, не только на литературном поприще, но и в литературных салонах.

Я не мог, однако, довольствоваться этим изобличением шарлатанства в области римского права. Печатаемая статья Крылова, «Русская Беседа» в том же номере напечатала и другую критику на мою диссертацию, писанную в том же духе и принадлежавшую перу Ю. Ф. Самарина*. Отец писал мне, что «Беседа» против меня одного направляет все свои лучшие силы, а редакция, печатающая обе статьи, нежно уговаривала меня отказаться от своего воззрения на русскую историю в виду того, что два критика, не сговорившиеся друг с другом» с разных концов России упрекают меня в одних и тех же ошибках. Я решился отвечать обоим вместе и объяснил редакции, что это изумительное единомыслие критиков происходит единственно оттого, что ни тот ни другой моей книги не читал, а оба повторяют только те обвинения, которыми «Русская Беседа» имеет обыкновенные награждать своих противников

Уличить Крылова в том, что он, просмотревши наскоро маленькую часть введения, об остальном не имеет понятия и навязывает мне то, чего я никогда не говорил, было весьма не трудно. Мне хотелось, главным образом, разобрать Самарина, который в этом случае поступил с не меньшим легкомыслием нежели Крылов. Он вовсе не думал подвергнуть строгой научной критике сочинение, основанное на фактических исследованиях; на это у него не доставало знания. Поэтому он просто сослался на критику «Русской Беседы», которая будто бы доказала полную несостоятельность моих выводов, и затем спрашивал: почему же при трудолюбии и даровитости автора, при богатстве собранного им фактического материала в результате вышло только то, что русская история обогатилась несколькими ошибками? Причина, по его объяснению, заключается в том, что у автора нет сочувственного настроения, к предмету, которое одно дает возможность правильно его понимать. Следуя славянофильскому учению, Самарин утверждал, что познавать вещи надобно не одним только умом, а всем своим существом нераздельно. Вследствие недостатка такого понимания у меня, по его уверению, господствует чисто отрицательный взгляд на древнюю русскую историю. В подтверждение он выдергивал из общего заключения несколько отрицательных признаков, которыми будто бы ограничиваются мои взгляды.

* «Несколько слов по поводу исторических трудов г. Чичерина» («Рус. Беседа», 1857 г.).

И тут мне не трудно было показать всю недобросовестность всех этих обвинений. Стоявшие на первом плане положительные признаки, заключающиеся в развитии государственных начал, намеренно оставались в стороне, а выдвигались одни отрицательные, сводившиеся к недостатку систематической организации в сравнении с последующим периодом, да и тут критик прибегал к явным натяжкам, вследствие чего общая моя мысль получала совершенно неверное освещение. Я не ограничился, однако, восстановлением фактической стороны вопроса в настоящем его виде; главная моя цель состояла в том, чтобы выяснить истинно-научную методу исследования и существенное ее отличие от ненаучной, которой держались славянофилы, и которая вела лишь к бесконечному фантазерству. Я доказывал, что в самопознании менее всего возможно познавать всем своим существом, ибо именно тут надобно прежде всего отделить себя, как субъект познающий, от себя, как объекта познаваемого. Основательно изучать факты и выводить из них точные заключения, такова была историческая метода, которую я противопоставлял славянофильскому мистическому познанию всем своим существом*.

Статьей о критике Крылова и о способе исследования «Русской Беседы» кончилась наша полемика. В «Молве» появилась о ней коротенькая заметка, не содержащая в себе ничего, кроме пошленького глумления**. Я даже не обратил на нее внимания, приписывая ее тогдашнему совершенно ничтожному редактору «Молвы» Шпилевскому, и уже много лет спустя, к великому своему удивлению, увидел ее перепечатанною в полном собрании сочинений Хомякова. Как видно, он не брезгал и подобными приемами. С прекращением полемики прекратились и личные опоры. Возмущенный способом действия славянофилов, я некоторое время прервал с ними сношения. В последнюю зиму, проведенную мною в Москве до отъезда за границу, я не поехал к Кошелеву, а в апреле 1858 года, я на несколько лет отправился в чужие края. Когда же я вернулся, обстоятельства совершенно изменились. Теоретические споры умолкли; настала пора практических преобразований. На этой почве мы могли сойтись с прежними противниками, тем более, что главные фанатики сошли со сцены. Не было Хомякова, не было Константина Аксакова. Самарин и Черкасский всецело были погружены в освобождение крестьян, на котором сходились обе партии. Один Иван Аксаков продолжал петь старые песни, потерявшие уже всякое серьезное значение. Статья о Крылове была вместе с тем последнею, которую

* «Критика г. Крылова и способ исследования «Рус. Беседы»» («Рус. Вестник», 1857 г., X, стр. 727 - 768, XI, стр. 174 - 206).

** Статья Хомякова появилась в «Молве», 1857 г., № 29, ва подписью «Т...к» (Туляк) и перепечатана в т. I Полного собрания его сочинений, вышедшем в 1878 г.

я дал в «Русский Вестник». И в лагере западников произошел раскол. С самого начала между ними обозначились два противоположные направления, которые можно назвать государственным и противогосударственным. Катков и Леонтьев в то время всецело принадлежали к той школе, которая старалась государственную деятельность низвести до пределов самой крайней необходимости. Они в этом отношении заходили так далеко, что в статьях, писанных от редакции, буквально проповедовалось, что государство имеет право сказать: не трогай, но не имеет право сказать: давай. Всякое положительное дело должно было исходить от частной инициативы и ею только поддерживаться. Вследствие этого, английский не только политический, но и общественный быт возводился ими в идеал. Они не хотели видеть вредных последствий невмешательства государства и вовсе не ведали новейшего движения английского законодательства, которое, именно вследствие этих указанных самую жизнь недостатков, чисто практическим путем шло к большему и большему усилению центральной власти. Другое направление, к которому принадлежал и я, отнюдь не отвергая общественной самодетельности, а, напротив, призывая ее всеми силами, уделяло, однако, должное место и государственной деятельности, не ограничивая ее чисто отрицательным охранением внешнего порядка, а присваивая ей исполнение положительных задач народной жизни. Для нас идеал гражданского строя представляла не Англия, сохранившая многочисленные остатки средневековых привилегий, а Франция, провозгласившая и утвердившая у себя начало гражданского равенства, причем мы вполне признавали, что, вследствие исторических условий, административная централизация достигла здесь преувеличенных размеров и требовала ослабления. В ряде статей я старался показать выгоды и недостатки того и другого порядка вещей*. В этом направлении главную поддержку я находил в Евгении Федоровиче Корше, который вполне разделял мои взгляды.

В настоящее время не может быть сомнения в том, на чьей стороне была истина. Современное движение мысли давно отвергло чисто отрицательные теории государства, которые проповедовались тогда на всех перекрестках. Начало государственного вмешательства, и в практике и еще более в теории, в свою очередь дошло до такой крайности, которая грозит опасностью человеческой свободе. Сами редакторы «Русского Вестника» скоро отреклись от своего направления и из одной односторонности перешли в другую. Сделав внезапный поворот фронта, они стали превозносить исключительно правительственную деятельность, а общественную свободу ставили ни во что и старались при всяком случае выказать полную ее несос-

* Статьи эти вышли в сборнике: «Очерки Англии и Франции», М., 1858 г.

тоятельность. Журнальная мысль обыкновенно, как флюгер, следует за всяким дуновением ветра; дело науки стать на твердую почву и установить надлежащую середину между противоположными крайностями. Но, конечно, держаться на ней не легко. При постоянных колебаниях общественной мысли в ту или иную сторону, одна и та же научная точка зрения, обхватывающая предмет с разных сторон, попеременно подвергается противоположным нареканиям. В пятидесятых годах я слыл крайним государственным, казенным публицистом, защитником ненавистной централизации; двадцать лет спустя, меня за те же самые воззрения стали упрекать в преувеличенном индивидуализме, а в правительственных сферах считают даже «красным». Кто следит за поворотами умственной моды, особенно в таких мало образованных странах, как наше отечество, тот знает цену подобных обвинений. В настоящее время, озираясь назад, нельзя без некоторой усмешки вспомнить, что самая умеренная защита какой бы то ни было правительственной деятельности считалась чем-то чудовищным, а название государственника означало нечто реакционное и тлетворное.

Разрыв с «Русским Вестником» произошел по поводу моей статьи о Токвиле. Книга знаменитого французского публициста: «L'ancien regime et la revolution»* имела в то время огромный успех; но на меня она произвела невыгодное впечатление. Я был большим поклонником сочинения Токвиля о демократии в Америке; я признавал его первым современным публицистом; но тем более я считал нужным восстать против нового его направления, которое казалось мне ложным. В отличие от прежней исторической школы, которая старалась каждое явление понять и оценить в историческом его значении, на том месте и при тех условиях, среди которых оно возникло, Токвиль стал вносить в историю современные взгляды, осуждая в прошедшем то, что кололо его в настоящем, и не понимая, что учреждение, в данное время благодетельное, может при изменившихся условиях сделаться пагубным. Современная Франция страдала от наполеоновского деспотизма и от избытка централизации; Токвиль стал разыскивать корни этих начал в прошедшем, сетуя на то, что история не приняла другого хода, и что Франция не развивалась так же, как Англия. Историческое призвание абсолютизма и централизации совершенно для него исчезало. Это было в другой форме и при несравненно большей основательности, нечто похожее на те взгляды, которые славянофилы вносили в русскую историю.

Я написал критику, в которой старался восстановить историческое значение централизующих начал в развитии Франции, призна-

* Первый том вышел в 1856 г.; труд остался незаконченным.

вая при этом, что в настоящее время централизация достигла в ней преувеличенных размеров и требует ограничения. Я вовсе не был поклонником наполеоновских порядков, считая их вызванными только временным неустойством неприготовленной к управлению демократии. И что же? Катков отказался поместить эту статью, как радикально противоречащую убеждениям редакции. Он писал мне:

«Статья Ваша о Токвиле причинила мне большое беспокойство, почтеннейший Б. Н. В литературном отношении немного у нас в этом роде может быть поставлено наряду с нею. Но недоразумения между нами так велики, что было бы, наконец, недобросовестно с моей стороны пользоваться для украшения журнала тем, что так существенно противоречит убеждениям редакции. В прежних статьях Ваших не было такой решительной постановки начал, а потому я, не соглашаясь с Вами во многом, печатал их из уважения к их ученым и литературным достоинствам, к чистому духу науки, которым искупалась казавшаяся мне в них односторонность. К тому же в них речь шла о русской истории и притом о специальных вопросах, где односторонность эта не так резко бросается в глаза, не так больно чувствуется. Что касается до статьи о Монталамбере то и она, своими достоинствами с одной стороны и своим направлением с другой, причинила мне также много колебаний; но в этой статье была спасительная неконсеквентность; мрачный образ вашей централизации выкупается прекрасным очерком свободы, которая возникла и живет при других условиях. В статье о Токвиле, напротив, первый образ совершенно господствует. Ваш талант умел даже сообщить ему какую-то красоту, опасную для слабых организмов. Мне случилось видеть на Брюссельской выставке изящных искусств статую сатаны, изваянную бельгийским художником, которого имени теперь не могу припомнить. Лицу злого духа придана такая чудная красота, что невольно становится страшно, смотря на это лицо, перед которым уничтожаются все чучеловидные изображения черта. Хотя и здесь проглядывает спасительная непоследовательность, но слабее: что благодаря ей вошло в Вашу статью, то производит менее действия и парализуется тем, что высказано Вами консеквентно. Тем не менее я нахожу, как в этой, так и в других Ваших статьях многое, подающее надежду, что Вы выйдете победителем из недоразумения, которое опутало Ваш талант. Правду говаривал покойник Грановский, что изучение русской истории портит самые лучшие умы. Действительно, привыкнув следить в Русской истории за единственным в ней жизненным интересом, – собиранием государства, невольно отвыкаешь брать в расчет все прочее, невольно пристращаешься к диктатуре и, при всем уважении к истории, теряешь в нее веру».

К этому письму Катков приложил на двенадцати страницах большого формата изложение своих собственных взглядов, которые дол-

жны были служить исповеданием его веры. Извлекаю из них все существенное, как памятник тех убеждений, которыми руководился в то время этот человек, игравший такую видную роль, в нашем общественном развитии.

Критикуя мою оценку исторических взглядов Токвиля, Катков говорит, что «начало, которому предан французский автор, более всего имеет право на сочувствие и ценится выше всего: это – свобода, которой принадлежит будущее и которой вся история служит лишь постепенным осуществлением». Я же, по его мнению, предмету сочувствия автора противопоставляю предмет собственного сочувствия; я выпадаю в односторонность «в пользу начала по натуре своей весьма несочувственного, весьма антипатического». «В прошедшем, – говорит он, – как подлежащем полному ведению науки, можно оправдывать или, лучше, объяснять то или другое явление абсолютизма, деспотизма или диктатуры; но останавливаться на нем с наслаждением и энтузиазмом невозможно без какого-нибудь радикального недоразумения». Централизация, по мнению Каткова, «имеет только одно законное значение – поскольку она служит ничем иным, как установлением в стране единого государства... Status in statu* терпим быть не может... Истинное назначение централизации собрать воедино, под замок и печать, всю фактическую, внешнюю, принудительную силу; подчинить кесарю все кесарево, но отнюдь не отдать кесарю то, что никак принадлежать ему не может, отнюдь не затем собрать эту силу, чтобы воспользоваться ею для порабощения всех прочих начал человеческого мира. Как скоро дело централизации приходит к концу, так требуется возможно полное освобождение человеческой жизни от государственной опеки. Но, к сожалению, не так бывает и с практическими совершителями централизации и иногда с людьми, теоретически следящими за ее развитием... Им кажется, что собранным силою можно и должно пользоваться по личному благоусмотрению диктатора для подвигания человечества по пути прогресса; им приходит в голову убийственная мысль, что можно и должно осуществлять идеи разума посредством монаршего скипетра или диктаторской булавы; им приходит странная мысль, что депозитарии этой силы становятся какими-то ангелами небесными, что стоит человеку окунуться в казну из него непременно выйдет существо по образу и подобию божию, чиновник во всей форме, какого благодушно желал для своих любезноверных поданных император Иосиф II и многие другие императоры». Не то ли самое проповедовал Катков несколько лет спустя?

«Французская революция, – продолжает Катков, – есть действительно верховный акт централизации, и в ней изобразилось все бла-

* Государство в государстве.

го и все возможное зло этого акта. Благо ее есть тот пункт, в котором государственная централизация, достигла последнего предела, *hebt sich selbst auf*^{*}, сознает этот предел и торжественно провозглашает всеобщее равенство. Гражданское равенство есть великое начало: в нем конец государственной централизации и начало внутренней децентрализации государства. Равенство всех, этот вдохновительный лозунг современных демократических стремлений, значит отречение государства вносить какие-нибудь различия между людьми; этим, конечно, не уничтожаются бесчисленные несходства между людьми, в различных отношениях, в естественном, нравственном, умственном и т. д., но объявляется свобода общества от государственных определений. Всякая привилегия, всякое сословное неравенство, всякая монополия есть дело государства, – и вот государство отказывается быть источником привилегий, неравенства, монополий, и объявляет недействительными все прежде из него проистекшие или им освященные подобные различия. Этим актом государство оставляет свободное поприще для раскрытия всех сторон человеческой природы, ограждая его от всякого насильства, от всякого употребления государственных, т. е. принудительных средств при этом раскрытии. К сожалению, депозитарии государственной власти во времена революции не могли устоять перед обаянием этой силы; у них закружилась голова... Вместо того, чтобы запретить или запечатать эту силу и поставить ее под строгий общественный надзор, ее выпустили *au nom du salut public*^{**} всю на свет и произвели те ужасы, каких мир не часто бывает свидетелем». В том же духе действовал и Наполеон. «Мы можем преклоняться перед исторической необходимостью, перед силою обстоятельств, можем даже простить увлечения людям, которые подвергались сильнейшим искушениям. Но нельзя оправдать теоретически стремления поставить государство во главе всего. Французская революция провозгласила вместе с равенством, свободу мысли, слова, совести, хотя не смогла воспользоваться этою свободой. Свобода мысли, слова, совести, – что же это, как не ограничение государства, не провозглашение других начал, кроме начала государственного, которое к ним должно относиться индифферентно?»

«Самое расчленение государственной организации на три отрасли, законодательную, исполнительную и судебную, – по мнению Каткова, – есть выражение внутренней децентрализации государства. Государственная сила, собственная сущность государства, – говорит он, – заключается бесспорно в исполнительной власти. Законодательная власть должна служить непосредственным органом обще-

* Сама себя аннулирует.

** Во имя общественного блага.

ственной инициативы, прямым удовлетворением наличных потребностей, прямым выражением опыта жизни, современного духа, а не теорий представителя народного единства, как бы он ни назывался, представителя, на которого вместе с этим значением никто не возлагает тягостей, а вместо сладостной обязанности мыслить, разуметь и хотеть за всех и с устранением всех. Законодательная власть приурочивается к исполнительной в той мере, в какой для нее необходимо непосредственное ограждение и застрахование. Судебная власть в благоустроенном государстве (ибо не государство вообще – этого добра всегда и везде бывает много, – а именно благоустроенное государство есть желаемое искомое), должна быть совершенно свободна от администрации, истекающей от исполнительной власти или непосредственно от государства. Английская и французская магистратура потому представляют такое благородное явление, что там судья *inamovable** и независим от правительства. В Англии, каждый простой смертный может притянуть к суду администратора не только по какому-нибудь частному делу, но и по злоупотреблению власти.

«Говорят, обращаясь к нашему возлюбленному отечеству, что диктатура у нас полезна и может вести к благотворным последствиям; не спорю, но где и в каких случаях? Например, говорят, как произвести освобождение крестьян без принуждения со стороны государства?». «Это мнение, – говорит Катков, – основано на непонятном недоразумении, ибо помещик держится только государством, от него получает всю свою власть и если бы оно отняло у него свою руку, то он исчез бы как призрак. Желательно, однако, чтобы при этом имелась в виду не просто смена династии, а радикальное освобождение, не смена помещика становым, которого и без того уже в иных местах величают не иначе, как барином. Говорят еще о церкви у нас, о том, следует ли давать ей свободу. Но церковь у нас есть чисто государственный, почти полицейский институт: без всякого сомнения, нельзя давать ей волю, как полицейскому институту. Совсем иное дело отпустить ее из государственной службы, отобрать у ней привилегии, как прежде были отобраны имущества и самосуд, предоставить религию не полицеймейстеру, а совести: в этом смысле требуется полнейшая свобода церкви, то есть совести и всего того, что из нее следует. Говорят также о наших коллегиях, совещательных и избирательных собраниях, – но можно ли говорить серьезно об этих жалких комедиях, об этих карикатурах общественных льгот в мире совершеннейшей централизации, где все чиновники и солдаты, начиная от будочника и ямщика и так далее вверх?»

В самой реформе Петра Великого Катков оправдывал насилие лишь исключительными обстоятельствами, сближением с системою

* Несменяемый.

европейских государств, которое требовало создания войска, флота, гаваней. «Но то, что, таким образом, вынуждало злоупотребление народных сил в пользу государства, должно со временем развенчать государство. Международному праву, началу системы государств предстоит великая будущность... Во множестве государств преидет величество государства, и оно, бог даст, превратится в доброго констебля, мирного друга свободы и порядка».

«Вот мои мнения, – восклицает в заключение Катков. – Представляю вам самим судить, в какой мере возможно в этом отношении сближение между нами».

К сожалению, у меня не сохранилось копии с моего ответа. Не помню даже, был ли письменный ответ или только личное объяснение. Все возражения Каткова очевидно проистекали из крайне односторонней точки зрения, которая побуждала его видеть во мне исключительного защитника государственных начал и считать с моей стороны непоследовательностью признание свободы со всеми ее последствиями. То, что он называл «спасительной неконсеквентностью», было только всестороннее воззрение на предмет, совершенно чуждое Каткову. Когда в известной области есть два начала, надобно понять их оба и стараться понять взаимное их отношение, а не держаться одного и сводить другое до полного ничтожества. Конечно, с воззрением на государство, как на мирного констебля, призванного только охранять внешний порядок, не мог согласиться ни один человек, имеющий малейшее политическое образование; но не было никакой надобности делать журнал исключительным органом таких крайних взглядов. Катков имел на это тем менее права, что в числе редакторов был Е. Ф. Корш, который держался совершенно иных мнений и так же, как я, видел в государстве не одно воплощение внешней силы, а устройство народного единства, призванное осуществлять совокупные интересы народной жизни. Когда Катков приглашал Корша оставить службу в Петербурге и сделаться его товарищем по редакции, он не думал предупреждать его, что журнал должен сделаться проводником противогосударственных начал и не будет терпеть ничего другого. На практике подобная проповедь могла иметь только один результат: сбить с толку русскую публику, давши умам совершенно одностороннее направление. Впоследствии сам Катков обрушился на это направление и стал яростно искоренять плоды, им посеянные. В личном разговоре, который я имел с ним перед окончательным разрывом, я старался убедить его, что с практической точки зрения, нам нет ни малейшей нужды расходиться. Он требовал полного уничтожения централизации, а я только его ослабления. Но в действительности он не мог надеяться, что русская государственная власть согласится превратиться в мирного констебля или что можно ее к этому принудить. Единственное,

к чему мы могли стремиться, это – ослабление правительственной опеки, в чем именно мы были согласны. Мне казалось, что при скудости наших умственных сил вовсе не желательно разобцаться из-за оттенков, лишенных всякого реального значения. Но Катков не хотел ничего слышать; он стоял на том, что для него это – дело убеждения. Таким образом, «Русский Вестник», около которого в первую минуту собралось все, что в Москве не принадлежало к славянофильскому кружку, перестал быть органом известного общего направления, а сделался чисто личным органом Каткова. Дальнейшее участие в нем стало для меня невозможным. Я послал свою статью в «Отечественные Записки», которые напечатали ее без всякого затруднения. Круже говорил мне, что прочитавши ее, он был очень удивлен: Катков наговорил ему бог знает чего, и он ожидал найти страстную защиту самого крайнего деспотизма, и вдруг увидел только историческое объяснение централизации, с чем всякий либерал мог согласиться.

После меня дошла очередь и до других сотрудников. Прежде всего, разумеется, надобно было отделаться от Корша, которого мнения расходились с установившимся направлением редакции. К сожалению, последовав приглашению Каткова и оставив службу в Петербурге, он не обеспечил себя никаким формальным актом, в чем друзья с самого начала его упрекали. Теперь, когда журнал упрочился, и Корш стал не нужен, его старались всячески теснить. Политическое обозрение, которым он заведовал, подвергалось цензуре и искажалось Катковым. Наконец, чтобы окончательно его выжить, с ним просто сделали гадость. Редакция желала иметь свою типографию, а средств у нее для этого не было. Но у Корша были друзья, у которых были деньги. Из дружбы к нему, они согласились внести свои капиталы. Дело было летом; все разъехались и дали Кетчеру доверенность для совершения окончательного акта. И вдруг оказалось, при подписи, что вместо редакции «Русского Вестника», участниками предприятия являются только Катков и Леонтьев; имя Корша было опущено. Не будучи сам участником в деле, Кетчер не решился отказать в подписи; но все были до крайности возмущены. Приятели Корша не дали бы ни гроша Каткову и его другу; они были вовлечены в предприятие чистым обманом. Типография с первого раза пошла отлично, и деньги были им впоследствии возвращены. Но в результате редакторы остались хозяевами предприятия, основанного на чужие капиталы: путем самой некрасивой проделки.

Разумеется, после этого Корш должен был прервать с ними всякие сношения. Он тотчас вышел из редакции и просил разрешения издавать свой собственный журнал. Я в это время жил в деревне, где провел всю вторую половину 1857 года; весной же 1858 я собирался ехать за границу. О всех, последних историях я ничего не знал, как

вдруг получаю от Корша письмо, в котором он извещает меня, что он оставил редакцию «Русского Вестника» и основывает свой собственный журнал «Атеней». Меня с первого раза удивила странность этой еженедельной формы, неспособной ни к газетной полемике, ни к основательному обсуждению вопросов. Английский еженедельный журнал того же имени имел целью давать небольшие критические статьи о текущей литературе; но в России требовалось совершенно иное. Неужели же Корш хотел этому подражать?

Когда я в начале следующего года приехал в Москву и посмотрел на всю процедуру издания, я пришел к убеждению, что «Атеней» едва ли пойдет. Тут не было ничего похожего на толпящуюся суету редакции «Русского Вестника», где собирались самые разнородные лица и происходило живое обсуждение текущих вопросов. Корш продолжал жить в своем скромном уединении, а, между тем, сам для журнала вовсе не работал. Едва можно было подвинуть его на какую-нибудь маленькую статейку. Основав новое предприятие, он, казалось, успокоился на лаврах и ожидал, что статьи будут падать ему прямо в рот. Он даже как будто намеренно, с какою-то брезгливостью, удалялся от животрепещущих вопросов дня и спокойно предавался обсуждению чисто теоретических тем, которые никого не интересовали. При таких условиях трудно было рассчитывать на успех, тем более, что приходилось вступать в конкуренцию с «Русским Вестником», который, несмотря на свои диктаторские приемы, вел дело с несравненно большим умением и имел за себя уже упроченную репутацию. В Москве не было достаточно литературных сил для двух журналов приблизительно одного направления. При всяких условиях, основание нового органа с оттенком, непонятным для большинства публики, было затруднительно. При редакторе, который вместо того, чтобы нести дело на своих плечах, уклонялся от всякой инициативы, это было предприятие, обреченное на скорую гибель.

Тем не менее, я старался на первых порах поддержать Корша, сколько мог, и работал для журнала тем усерднее, что с отъездом за границу моя литературная деятельность должна была надолго прекратиться. Я дал в «Атеней» статью об истории французских крестьян, а также о промышленности и государстве в Англии; наконец, я написал статью о том вопросе, который в то время волновал все умы – об освобождении крестьян в России. В конце 1857 года вышли знаменитые рескрипты виленскому генерал-губернатору, которыми это преобразование ставилось на очередь. Начинали организоваться губернские комитеты. В своей статье я изложил тот способ освобождения, который я считал наиболее рациональным и соответствующим сложившимся у нас жизненным условиям*.

* «О настоящем и будущей положении помещичьих крестьян» («Атеней», 1858 г., ч. I, № 8).

Об этом уже некоторое время шли горячие прения. Славянофилы, со своей стороны, написали несколько проектов, которые в рукописи ходили по рукам. Сходясь с ними в самом существе дела, в необходимости освобождения крестьян с землею посредством выкупа, мы расходились в способе осуществления этой реформы. Славянофилы держались системы свободных соглашений, а я требовал действия правительства. По этому поводу Черкасский говорил мне: «Ваш проект предполагает разумное, вполне сознающее свою цель и твердо к ней идущее правительство, чего мы ожидать не можем. Мой же проект предполагает только проблеск здравого смысла, на который можно рассчитывать». А Кошелев писал мне еще в 1856 году: «Совершенно согласен с Вами в том, что справедливо и необходимо уничтожить крепостное состояние, что теперь, именно теперь должно к этому приступить, что откладывать невозможно, и что все опасения насчет этого переворота суть или создание воображения или выдумки эгоизма. Во всем этом я с вами совершенно согласен; но Вы во все вмешиваете правительство – Вы хотите, чтобы оно издало подробные положения насчет освобождения, чтобы оно после было судьей и исполнителем по всем спорам и жалобам, чтобы оно было постоянным опекуном и защитником всех и каждого – на это я никак согласиться не могу. Мое несогласие основано не на том только, что наша полиция гнусна и что наше правительство ничего не знает о России, что, впрочем, было бы достаточно для опровержения предлагаемого вами способа, который должен быть приведен в исполнение не со временем, а сейчас, но я считаю вмешательство постоянное и мелочное самой лучшей администрации в общественные и частные дела всегда делом вредным и опасным. Мое убеждение: правительство должно дать толчок уничтожению крепостного состояния, объявив основные правила, на которых освобождение должно быть произведено; но все остальное предоставить взаимным соглашениям помещиков с крестьянами. Не только Россия, но каждая губерния, почти каждый уезд так разнообразны, что если правительство возьмется установить правила, то оно перепутает все, ничего не разрешит, как должно, и из добра выйдет величайшее зло. Для соглашений у нас есть такой элемент, какого лучше желать нельзя – именно мир. Мир не легко принудить к подписанию какого-либо договора, на который-он не согласен. К тому же правительство может удостовериться в согласии обществ через своих уполномоченных, при 24 или более понятых, собранных из околных сел. Вы имеете также в виду предоставление земли в личную собственность крестьян, а я убежден, что земля должна быть предоставлена в собственность крестьянских обществ; это – одно средство к избежанию пролетариата и общей бедности. Вы полагаете, что частная, дробная собственность гораздо благоприятнее для успехов сельского

хозяйства, а я думаю на основании личной опытности и по сведениям, доставленным Францией, что частная, дробная собственность вредна для успехов сельского хозяйства и убийственна для просвещения сельского сословия».

Последнее разногласие было, впрочем, чисто теоретическое. На практике я был убежден, и тогда же это высказал, что вопрос об общинном владении не должен быть решен вместе с вопросом об освобождении крестьян. Я полагал, что это дело дальнейшего будущего, что надобно предоставить его самой жизни, не запирая только двери, что и было сделано в Положении 19 февраля. Но частные соглашения я положительно считал недостаточными. Из письма Кошелева видно, до какой степени самые практические славянофилы предавались иллюзиям насчет крестьянского мира. Когда пришлось применять Положение, оказалось, что во многих местностях мир, вопреки убеждениям помещика, настоятельно требовал невыгодного для крестьян четвертного надела. Высказанный мною взгляд на способ освобождения нашел себе полное оправдание в последующем ходе дела. Он немедленно был усвоен людьми, призванными руководить работами. Милютин сказал мне, что мою статью в «Атенее» надобно положить в основание инструкций для губернских комитетов. М. Н. Муравьев, в то время министр государственных имуществ, пожелал со мною познакомиться и хотел, чтобы я у него работал. Но так как я объявил ему, что еду надолго за границу, то наш разговор кончился ничем. Действительно, в конце апреля я отправился в путь.

Цель моей поездки состояла в том, чтобы поближе узнать Европу и вместе приготовить к ученой деятельности. Я писал по книгам об Англии и Франции, но убедился, что судить вполне основательно можно только побывавши в этих странах и изучивши их лично. В особенности экономический их быт известен мне был слишком поверхностно. Тут не трудно было впасть в крупные ошибки. Я хотел также прослушать курс государственного права в Германии. Перед моим отъездом, попечитель Московского учебного округа Евграф Петрович Ковалевский предложил мне кафедру государственного права в Московском университете, на что я изъявил согласие, а так как вслед за тем он был назначен министром народного просвещения, то я считал кафедру за собою обеспеченною.

При таких условиях отвлекаться от своего дела и погрузиться в громадную работу по освобождению крестьян было для меня невозможно. Когда образованы были Редакционные Комиссии, Милютин изъявил мне свое сожаление, что я не состою их членом; но я отвечал, что эту работу исполняют другие, даже гораздо более меня знакомые с практическим делом люди, а у меня есть свое специальное призвание, от которого я не могу уклониться.

Я уехал за границу в самую знаменательную для России пору, в минуту величайшего исторического перелома, когда готовилось преобразование, навсегда покончившее со старым порядком вещей и положившее основание новому. С тем вместе кончался чисто литературный период нашего общественного развития; наступала пора практической деятельности. Перед этим еще раз около немногих центров, соединилось все, что Россия заключала в себе умственных сил, как бы для того, чтобы собрать воедино все духовное наследие предшествующего времени и предать его новой исторической эпохе. Таково было существенное значение литературного движения второй половины пятидесятых годов.

Если мы взглянем на то, что было высказано в то время в приложении к настоящим жизненным задачам, то мы должны признать, что русская мысль стояла на высоте своего призвания. Вопросы были поставлены верно, цели указаны правильно, самые способы действия были разработаны обдуманно и с знанием дела. Общественная мысль, по крайней мере в московских кружках, не забегала вперед, не задавалась фантастическими задачами, трезво смотрела на жизнь и держалась умеренного, хотя вполне независимого тона. В этом отношении и славянофилы и западники сходились в дружном действии. Вся программа нового царствования была заранее начертана в умах.

Но нельзя сказать того же о теоретической подкладке. Тут под внешним блеском скрывалась значительная бедность содержания. Основательного образования было мало, и славянофильство подрывало его в самом корне, отвергая истинные его источники и возвещая какое-то самобытное русское просвещение, которое должно было родиться из недр православного скудоумия. Споры они вели недобросовестно, не разъясняя, а затемняя вопросы и сбивая с толку неприспособленные русские умы. Я уезжал возмущенный тою, во многих отношениях бессмысленною борьбою, через которую я должен был пройти при первом вступлении на ученое и литературное поприще.

Глубоко огорчил меня и тот раскол, который обнаружился в направлении, мне сочувственном. В то время, как нужно было соединить все силы в интересах русского просвещения, все распалось вследствие нетерпимости одного лица, которое не хотело допускать иных взглядов, кроме своих собственных, притом крайне односторонних и шатких, способных не менее славянофильства напустить туман на мало образованное общество. И это лицо, силою своего таланта и умения, одно осталось торжествующим, беспрепятственно проповедуя сперва пустословный либерализм, а затем самую крайнюю реакцию и устраняя возможность всякой конкуренции на журнальном поприще.

Это явление убедило меня, что, вообще, журналистика имеет смысл и может принести пользу только там, где существует серьезная литература, которая служит ей основанием, пищею и сдержкою. У нас научная литература совершенно отсутствовала, а потому о политических, исторических и философских вопросах можно было болтать все, что угодно. Помочь этому горю могло только расширение основательного научного образования. В этом убеждении я решил не писать более в журналах, а вложить свою лепту в основной капитал будущего русского просвещения. Этому я и посвятил всю свою жизнь. Только раз, в 1861 году пришлось мне отступить от этого правила в силу обстоятельств, о которых я расскажу ниже. В других случаях я твердо стоял на своем. В 1860 году, когда после падения «Атеней» Соловьев, Бабст и другие мои приятели хотели издавать новый журнал и приглашали меня к деятельному сотрудничеству, я изложил им свой взгляд и прямо отказался. Предприятие, вследствие нашего разговора, не получило дальнейшего хода. Позднее Черкасский не раз уговаривал меня издавать еженедельную газету; я отвечал, что это значило бы разменять себя на мелкую монету, а я желаю сосредоточиться на более серьезных задачах. Он возражал, что теперь в России книг уже никто не читает, а я доказывал, что если бы у нас было всего пять человек, читающих книги, то единственно для них стоило бы писать, ибо от них зависела бы вся дальнейшая судьба русского просвещения.

Не могу, однако, не сказать по прошествии тридцати пяти лет почти непрерывной научной работы, что писать ученые книги в России в настоящее время – труд весьма неблагодарный, требующий значительной доли самоотвержения. Если даже в Западной Европе жаждутся на то, что чтение газет вытеснило чтение книг, то у нас и подавно привычка довольствоваться легкою журнальною болтовнёю делает несносным всякое напряжение мыслей, даже всякое умственное внимание. Число серьезных чтецов все более и более уменьшается. Я давно говорю, что образованный человек в России скоро сделается ископаемым животным. При таких условиях писать книги, которые, может быть, пригодятся воображаемой будущей публике, а пока только заполняют амбары никому не нужным хламом, составляет занятие очень непривлекательное. Я продолжал упорно тянуть свою лямку, но не раз приходило мне в голову сомнение: да полно, точно ли вся твоя долголетняя работа послужит кому-нибудь в пользу? Не обольщаешь ли ты себя пустыми призраками. Конечно, надобно надеяться, что и в твоём отечестве когда-нибудь водворится, наконец, основательное просвещение; но тогда найдутся и люди, которые исполняют требуемую задачу, а о тебе вспомнят разве, как о человеке, который не понял потребностей времени, и принялся бросать семена мысли на вовсе еще не приготовленную почву.

Чем старше я становлюсь, тем настойчивее возбуждаются эти сомнения. Озираясь назад на свою прошедшую жизнь, я в раздумье ставлю большой вопросительный знак. Только будущие поколения могут дать на него ответ.

Путешествие за границу

В настоящее время путешествие за границу дело самое обыкновенное. При легкости и удобстве сообщений, едва ли найдется сколько-нибудь образованный человек, который бы не объехал почти всю Европу. Многие делали это даже по нескольку раз. Не то было в прежние времена, когда железные дороги еще не существовали, а русское правительство, особенно с 1848 года, делало всякие затруднения подданному, дерзающему преступить священные пределы отечества. В ту пору путешествие в чужие края было событием в жизни. На путешественника смотрели, как на человека вкусившего высших плодов просвещения. Его с любопытством спрашивали обо всем виденном и слышанном. Рассказам не было конца.

Во время Восточной войны сношения с чужими краями сделались еще затруднительнее. Но с новым царствованием и с заключением мира, все препятствия разом исчезли. Двери открылись настежь, и вся Россия ринулась за границу. Я последовал общему течению. Это был целый новый мир, который открывался передо мною, мир, полный прелести и поэзии, представлявший осуществление всех моих идеалов. Чудеса природы и искусства, образованный быт стран, далеко опередивших нас на пути просвещения, наука и свобода, люди и вещи – все это я жаждал видеть своими глазами: я хотел насытиться новыми, свежими впечатлениями, представляющими человеческую жизнь в ее высшем цвете.

Ближайшею моею целью был Турин, где брат Василий состоял тогда первым секретарем посольства. Я не видал его два года, и это был, вместе с тем, случай взглянуть на верхнюю Италию и на политическое движение в Пиэмонте*, который сделался уже центром национальных стремлений итальянского народа. Туда я направился через Варшаву и Вену. До Варшавы не было еще железной дороги, и я тащился шесть сучок в дилижансе, в компании с старой и вовсе не интересной генеральшей, которой единственная приятная сторо-

* Пиэмонт (Пьемонт) – подножие горы, область сев.-зап. Италии, перед объединением ее входившая в состав Сардинского Королевства.

на состояла в том, что она кормила меня разными явствами*. Из Варшавы железная дорога перенесла меня в 24 часа в Вену.

Здесь я получил первое сильное впечатление от заграничной поездки. Это впечатление произвел не город, который, несмотря на свою красоту, ничем особенно не отличается от всяких больших городов в европейском вкусе и напоминал мне Петербург. Прекрасные здания, отличная мостовая, великолепный Пратер**, господствующие повсюду законченность и чистота, к которым мы в России не привыкли, все это мне нравилось, но ничего не говорило уму. Впечатление произвело на меня первое знакомство с основательным немецким ученым. Случайно, на железной дороге я разговорился с ехавшим со мною стариком, который сказал мне, что у него есть сын в Венском университете и дал мне к нему карточку. Я отправился к этому молодому человеку, а тот повел меня к Лоренцу Штейну. Около часу провел я у последнего в увлекательной беседе об общих научных вопросах, в особенности о недавно появившемся его учении об обществе. Я был совершенно очарован. После этого я отправился к нему на лекцию и по его приглашению повторил свои посещения. Мы с ним с первого раза сблизились, и впоследствии, всякий раз как я бывал в Вене, я обыкновенно вечера проводил у него в самых приятных и поучительных разговорах. Это не был тип чисто кабинетного немецкого ученого, тип, впрочем, весьма почтенный и интересный. Штейн, при большой живости ума, отличался замечательным разнообразием сведений и вкусов. Он был и философ. И юрист, и политикоэконом, он вел практические промышленные и финансовые предприятия, знал жизнь и людей. К этому присоединялись художественные наклонности: у него была весьма недурная картинная галерея. Тут я в первый раз почувствовал, что такое истинно научная атмосфера, в которой живут люди, и которая побуждает их смотреть на вопросы спокойно и просто, видеть в них не дело партии или повод к ожесточенным препирательствам, а предмет серьезного объективного исследования. Я узнал человека самостоятельно работающего для науки, владеющего всеми ее средствами, открывающего в ней новые горизонты, но чуждого всякой заносчивости, всякого шарлатанства и самохвальства. Самые ошибки являлись у него не плодом легкомыслия, хватающего верхушки, а результатом добросовестно обдуманной, хотя и недостаточно обследованной, мысли. Вместо рьяных споров, служивших только поприщем для бесплодной гимнастики ума, тут является возможность спокойного

* О своем путешествии от Москвы до Варшавы в обществе г-жи Лошкаревой, вдовы сенатора Григория Сергеевича Лошкарева, Б. Н. Чичерин рассказывает подробно и с большим юмором в письме к Л. Н. Толстому из Варшавы от 2 мая 1858 г. (Письма Толстого и к Толстому, стр. 267 – 270).

** Главная улица в Вене.

обмена мыслей, из которого выносишь полное умственное удовлетворение. После беседы с Штейном мне еще живее представилась вся пустота недавних наших прений с славянофилами, которые, едва прикоснувшись к западной науке, осуждали ее, как гниль, а себя считали глашатаями новых, неведомых миру истин.

Под конец жизни Штейн свихнулся. Практические его предприятия повели к тому, что он сначала приобрел порядочное состояние, а затем разорился. Имение его было продано с молотка. Вместо того, чтобы приписать это, как следовало, своей нерасчетливости или несчастному стечению обстоятельств, он, по немецкой привычке, возвел это в общий экономический закон и стал уверять, что поземельная собственность, вообще, непременно ведет к разорению. Несколько социалистические наклонности, которые были у него в молодости, но совершенно отпали в зрелых годах, снова выплыли под влиянием жизненных неудач, и он стал проповедовать идеи уже вовсе ненаучного свойства, которым он авторитетом своего имени давал вес и значение, тем самым поддерживая хаотическое брожение умов в современной Германии. В эту последнюю пору его жизни я его уже не видал, а потому сохранил о нем те воспоминания, которые я вынес из лучшей эпохи ученой его деятельности. Он скончался недавно*.

В Вене я пробыл несколько дней и затем двинулся далее, через Венецию в Милан. Тут я испытал полное очарование. Вся дорога представляла для меня ряд совершенно новых, поразительных впечатлений. Проведя всю свою жизнь в убогой русской степи, я никогда не видал ни моря, ни скал. Здесь то и другое явилось мне в неведомом дотоле величии. Даже сидя в вагоне железной дороги, который менее всего благоприятствует впечатлениям природы, я не мог насмотреться на величественный переезд через Земмеринг и на прелестную долину Савы. Ночью я слез в Триесте на пароход, но уже ранним утром я был на палубе и тут меня впервые поразило вид гладкого, как зеркало, моря при восхождении солнца. Я весь погрузился в созерцание этой сияющей бесконечности. Было тихое и теплое майское утро; на небе не виднелось ни единого облачка. Пароход шел быстро; вот уже издали показались очертания земли. Наконец, перед нами предстала, как бы выходящая из моря, облитая весенним солнцем Венеция, с ее мраморными дворцами, с ее изящною архитектурой, то с стрельчатыми окнами, подобно готическим храмам, то с легкими колоннами и арками времен Возрождения. Мы пристали к площади св. Марка, и я, взявши номер в гостинице, тотчас побежал осматривать церковь и дворец. Это были минуты полного упоения. Я чувствовал себя как бы вынесенным вон из совре-

* Л. фон Штейн умер в 1890 г.

менной жизни и перенесенным на крыльях в область поэзии и искусства. Впервые архитектура произвела на меня обаятельное действие. Я долго стоял очарованный на внутреннем дворе дворца дожей, и не мог налюбоваться на удивительно тонкие и изящные украшения стен и на прелестные линии Лестницы Гигантов. И как будто для оживления картины около цистерны собрались, с ведрами на плечах, молодые, красивые, грациозные венецианки в их национальном наряде. Я вошел во дворец, и тут передо мною в живых образах воскресла вся история Венеции: я видел пышно убранные комнаты с тяжело изваянными золочеными потолками, где заседали Большой совет и мрачный Совет десяти; на стенах изображались выигранные сражения, торжество победителей, старые дожди в их блестящих одеждах, венецианские сенаторы в их пурпурных мантиях, с их строгими и важными лицами. Такое же чарующее впечатление произвела на меня и венецианская живопись в Академии Художеств: «Вознесение Богородицы» Тициана, мадонны Беллини, Тинторетто, Веронезе, вся эта своеобразная пышность красок и образов. Венецианская школа в Венеции представляет не просто картинную галерею, более или менее полную и богатую. Она составляет необходимое дополнение к самой Венеции, художественное изображение всего ее прежнего блеска и величия. И собор св. Марка, и дворцы, и каналы, и рассеянные по церквям и собранные в Академии картины старых живописцев, все это сливалось для меня в одно цельное, художественное впечатление, которое охватывало душу с тем большею силою, что оно являлось как бы тенью прошедшего, в резком контрасте с навевающим грусть настоящим. При заходе солнца я плыл по каналам и видел по обоим берегам пустынные дворцы, многие с заколоченными окнами; повсюду следы небрежности и разрушения. В большом городе царило безмолвие. Бесшумно скользящие по водам гондолы представлялись как бы теньями, которые боялись нарушить эту торжественную тишину. Самая собиравшаяся по вечерам толпа на площади св. Марка двигалась безмолвно и уныло. И, как сторож этого кладбища, на внешней галерее дворца дожей стоял австрийский пикет. На всем лежала печать какой-то печальной и величавой поэзии. У меня от всех этих ощущений закружилась голова. Несмотря на природную склонность к живописи, я вовсе не был подготовлен к пониманию искусства. До тех пор я, в сущности, ничего не видал, а тут внезапно обрушился на меня целый мир изящных впечатлений в какой-то ослепительной роскоши, в таком изумительном разнообразии и богатстве, среди которых я совершенно терялся. Через три дня я уехал и остановился в Милане, чтобы посмотреть на собор. И тут я получил одно из тех впечатлений, которые никогда не забываются. Осмотревши внутренность храма с ее массивными белыми столбами и стрельчатými сводами,

освещенными таинственным полусветом, я взобрался на крышу и пошел бродить среди целого леса стройных, изящно изваянных мраморных стрелок, любясь кружевными узорами колокольни; и вдруг, на этой высоте, откуда взор беспрестанно простирался во все стороны, передо мной открылась вся цепь покрытых снегом альпийских гор, которых белые вершины ярко блестели на глубоко прозрачной лазури безоблачного южного неба. Это было зрелище поразительное и возвышающее душу. И природа, и искусство – все соединилось для того, чтобы унести ее в какой-то волшебный мир, полный чарующей красоты.

Наконец я добрался до Турина, где меня встретил брат. После долгой разлуки увидеться с ним было для меня сердечным удовольствием. Мы всегда жили с ним в тесной дружбе. Его ровный и спокойный характер, его общительный нрав, его мягкие и изящные светские формы, а с тем вместе высокий нравственный строй и отсутствие всяких претензий, делали его чрезвычайно приятным, как в домашней жизни, так и в общественных отношениях. Я на чужбине почуствовал себя вновь как бы в своей семье. Брат тотчас представил меня нашему посланнику при Сардинском дворе, графу Штакельбергу, с которым он находился в самых дружеских отношениях, и с которым скоро породнился, женившись на его племяннице. Это был человек не отменного ума, но рыцарски благородного характера, старый военный, чрезвычайно живой, приветливый, общительный, с поэтическими наклонностями. Он очень недурно писал французские стихи. От него осталась даже целая поэма, под заглавием: Сильвия, с поэтическим описанием итальянской природы и романтической любви. Несмотря на свое остзейское происхождение и иностранное воспитание, он был патриот, любил говорить по-русски и в особенности щеголял знанием разных народных пословиц и поговорок, которые он, однако, обыкновенно перевирал. Это была маленькая смешная сторона в его возвышенной и симпатичной натуре. В Турине он пользовался общим уважением. Жена его, француженка, очень неглупая, сдержанная, привлекательной красоты, царила в салоне, в котором часто собирались дипломаты.

Брат ввел меня и в дипломатический клуб, самое скучное собрание людей, какое я встречал в своей жизни. Говорю это не о туринском обществе, а вообще. После этого я во многих местах видел собрания дипломатов, и везде они производили на меня одно и то же впечатление. Я приписывал это самому их положению. Дипломат – человек, отрешившийся от живых интересов родного края и не примкнувший к другим, остающийся все-таки чуждым стране, в которой он случайно находится по своим служебным обязанностям. Всякая почвенная связь у него порвана; жизненное содержание исчезло, а взамен того приобретен светский лоск и умение говорить

прилично о всяких пустяках. Невольно дипломат заражается салонными взглядами, самыми поверхностными и неверными из всех. К этому присоединяется то, что по самому своему положению он принужден избегать серьезных разговоров. Он не может высказывать откровенно свою мысль, а должен постоянно держать себя настороже, чтобы не проронить лишнего слова. В особенности, когда собраны вместе представители разных держав, имеющих совершенно различные дипломатические интересы, всякий живой вопрос по необходимости устраняется, и все ограничивается обменом поверхностных замечаний о светских пустяках. И это не искупается даже тем согревающим элементом, который вносят простые, домашние, дружеские связи в светское общество, имеющее местные корни. Случайно сходящиеся люди, облеченные броней дипломатической чопорности и светского приличия, соприкасаются чисто внешними своими сторонами, не имея между собою ничего общего. На постороннего человека, особенно привыкшего к живому и искреннему обмену мыслей, подобные собрания нагоняют невыносимую скуку.

В Турине было, однако, в то время нечто гораздо более занимательное, нежели дипломатические собрания. Он был центром самой живой политической жизни. Это была та пора, когда в Италии пробудилось национальное чувство и все взоры обратились на Пиэмонт, который решительно стал во главе движения. Как электрическая искра, пробежала по итальянским сердцам знаменитая фраза, сказанная Виктором-Эммануилом при открытии палаты: «Мы однако не бесчувственны к крику боли, который из стольких частей Италии поднимается к нам». Все, что было мыслящего и благородного в Италии собралось в Пиэмонте, который один представлял убежище от невыносимого деспотизма, царившего всюду. Во главе сардинского правительства стоял государственный человек первой величины, который с необыкновенною ловкостью и прозорливостью умел двигаться между опасностями и давать своему маленькому государству выдающееся значение среди европейских держав. Здесь были я парламентские учреждения, какими в то время не обладал ни один другой народ на европейском материке. На почве самой широкой политической свободы Кавур воздвигал будущее величие своего отечества, и все, что было истинно либерального в Европе с глубоким сочувствием смотрело на его начинания.

На следующий же день после моего приезда в Турин брат повел меня в палату депутатов, в дипломатическую трибуну. Я итальянскому языку немного учился в детстве, но устной речи вовсе не понимал. Тем не менее, самый вид парламента и происходившие в нем политические прения произвели на меня глубокое и возвышающее душу впечатление. Я видел перед собою людей, от которых зависели не только судьбы отечества, но некоторым образом и самые судь-

бы мира: знаменитого Кавура, с невзрачною наружностью, маленького, толстенького, в очках, но с необыкновенно умным и пронизательным взглядом, тогдашнего его союзника Ратацци, благородную фигуру военного министра Ламармора, вождей правой и крайней левой, Ревеля, Депретиса, Брофферлио. Я слушал их то страстные, то сдержанные речи. Вся парламентская процедура, это свободное обсуждение высших интересов государства не в тайне бюрократических совещаний, а перед лицом всего народа, живо меня занимала, и я много раз возвращался в это святилище, думая: придется ли когда-нибудь видеть нечто подобное в моем собственном отечестве? Увы, мне уже и тогда это казалось несбыточной мечтой. То, что я оставил позади, слишком далеко отстояло от того, что представлялось моим взорам. Я с жадностью принялся и за чтение итальянских газет. В первый раз мне доводилось находиться в самом средоточии живой политической жизни. Это был уже не отголосок, приносящийся из каких-то отдаленных стран, а постоянный, ежедневный, волнующий интерес окружающей среды. И этот интерес осуществлял в себе высшие начала общественной жизни и открывал самые широкие и заманчивые горизонты в будущем. Вместо предсмертных судорог развратного старичишки, как выражались славянофилы, я видел возрождение юного, полного сил народа, которому предстояла великая будущность. Если Венеция представляла все величие прошлого, то Турин проявлял всю бодрость и силу настоящего. Здесь, как бы в маленьком фокусе, сосредоточивалась европейская жизнь во всем ее блеске, в идеальном благородстве ее стремлений. И надежд окунуться в эту атмосферу, насквозь проникнуться оживляющим ее могучим дыханием свободы – это было событием в жизни, оставляющим в душе неизгладимые следы. Не могу без удивления подумать о тех молодых людях, которые, как Добролюбов, приехавши в Турин и видя воочию это беспримерное движение, не только не испытывали на себе неудержимого к нему сочувствия, но с остревением ополчились на Кавура и на его деятельность. На это нужно было все невежество, тупоумие и пошлость русского радикала новейшего фасона. И этого господина возводят в великие люди, делают из него учителя русского общества!*

Турин, как город, построенный совершенно в новом вкусе, разбитый на квадраты, однообразный и пошлый, представлял немного любопытного; но прогулки по окрестностям были очаровательны. Мне памятна особенно одна. В компании разных молодых дипломатов мы отправились с вечера пешком на близлежащую гору, где стоит монастырь Суперга; мы хотели оттуда смотреть на восхождение

* Речь идет о корреспонденции Н. А. Добролюбова «Из Турина», появившейся в «Современнике», 1861, №3.

солнца. Самое уже ночное шествие представляло нечто волшебное. Вверху, на глубине прозрачно-темного южного неба, ярко сияли звезды, а внизу миллионы светящихся жучков, как живые бриллианты, летали во все стороны и садились на деревья, озаряя мрак своим фосфорическим блеском и придавая какое-то таинственное оживление упоительной неге итальянской ночи. Все это, однако, было ничто в сравнении с тем, что ожидало нас наверху. Когда мы после легкого отдыха взошли на крышу монастыря, нам представилось зрелище, какого я другого не видал. С одной стороны солнце вставало в полном блеске над расстилающейся вдаль цепью снежных Альп, а с другой стороны надвигалась гроза. На темной туче блестела яркая, совершенно круглая радуга, которая прерывалась внизу лишь тенью от колокольни монастыря. Молнии зигзагами поминутно сверкали на заключенной в радуге черной пелене, гром грохотал непрерывно и после всякого удара на железной кровле слышался свист, подобный шипению воды, брошенной на раскаленную плиту. И все это: и небо, и монастырь, и окрестность, как бенгальским огнем освещались красными лучами восходящего солнца. Мы стояли и любовались этою величественною и грозною картиною, пока дождь не заставил нас скрыться в монастырь. Когда же гроза миновалась и мы опять поднялись на крышу, мы увидели у ног своих всю равнину Пиэмонты, облитую светлыми лучами весеннего солнца; после живительного дождя в прозрачном воздухе носилось благоухание прелестного майского утра, а вдаль, на синем небе рисовались снежные вершины величественных Альп. Я вернулся в полном восторге. Впечатления были так сильны, что даже общество дипломатов не могло им помешать.

Из Турина я через Геную поехал в Ниццу. После скучной, построенной по линейке столицы Пиэмонты, Генуя снова представила мне старый оригинальный итальянский город, с великолепными дворцами, полными картинных галерей, где особенно выдавались писанные Ван Дейком фамильные портреты старинных генуэзских вельмож. Я взобрался на крышу Кариньянской церкви*, и оттуда опять открылся передо мною очаровательный вид: сзади весь амфитеатр покрытых зеленью гор, на котором расположена гордая Генуя, спереди заставленная сотнями кораблей гавань, а за нею расстилающееся вдаль ярко голубое Средиземное море, которое тут в первый раз представилось моим взорам. Долго я любовался этим видом, и в другой раз вернулся, чтобы насладиться им снова.

В Ниццу я ехал для свидания с Дмитриевым, который в это время путешествовал за границу с великою княгиней Еленою Павловою. Когда был поднят вопрос об освобождении крестьян, и прави-

* S. Maria di Carignano, построенная в 1552 – 1603 гг.

тельство еще колебалось насчет способа, как совершить это преобразование, великая княгиня захотела показать благой пример, освободивши крестьян в купленном ею малороссийском имении Карловке. Для этого ей нужен был секретарь, который бы понимал дело и мог вести переписку. Она обратилась к Кавелину, и он рекомендовал ей Дмитриева. Великая княгиня этот год зимовала в Риме; весною же она переехала в Ниццу, в то время принадлежавшую Пиэмонту*.

Приехав поутру на пароходе, я отправился на виллу Бермон, где стояла Елена Павловна со своею свитою. Мы с Дмитриевым очень друг другу обрадовались; но после кратких расспросов о московских друзьях он объявил мне, что я тотчас должен идти к великой княгине, которая приказала, чтобы меня представили ей немедленно по приезде. Я извинялся своим утренним костюмом, но Дмитриев сказал мне, что на это у них не обращается никакого внимания, и я в летнем жакете и цветном галстуке отправился на первую в своей жизни аудиенцию у августейшей особы. Я так далек был от придворных сфер и так мало знаком был с господствующими в них обычаями, что, побеседовав около часа с великой княгиней, я сам встал и раскланялся. Уже после заметив некоторую неловкость, я догадался спросить, и тогда только узнал, что я показал себя совершенным невеждой в придворном этикете. Но несмотря на это, меня тут же пришли звать к обеду, потом удержали весь вечер, а когда я собрался уехать, мне объявили, что великая княгиня приглашает меня переехать к ней в пустой флигель на вилле Бермон на все время моего пребывания в Ницце. На следующий день я перебрался и тут прожил недели две. С тех пор я сделался близким человеком при дворе великой княгини, которая до самой своей смерти сохранила ко мне неизменно доброе расположение. Это тоже одно из хороших воспоминаний моей жизни.

Впоследствии я видел много дворов, но ничего подобного тому, что я нашел здесь, я не встречал. Великая княгиня одна умела воспользоваться всеми принадлежащими ей по положению средствами, чтобы сделать из своего двора умственный центр, где всякая придворная атмосфера исчезала, и где с изяществом форм сочетался живой обмен мыслей при полной непринужденности отношений. Чтобы достигнуть этого, без сомнения, нужно было обладать весьма высокими качествами. Елена Павловна была женщина необыкновенно ясного и твердого ума, с которым соединялись широкое образование и самые возвышенные чувства. Воспитанная в доме Кювье,

* Впечатления от пребывания в Италии и в Ницце описаны Б. Н. Чичериным в письме к Л. Н. Толстому из Турина от 19 июня 1 июля 1858 г. (Письма Толстого и к Толстому, стр. 270 – 272).

где все было полно умственных интересов, она прибыла в Россию еще в царствование Александра I, когда образование высоко ценилось даже при дворе. К несчастью, ее просвещенные наклонности не сходились со вкусами ее мужа. Великий князь Михаил Павлович был человек весьма неглупый, добрый, любимый детьми; но его грубоватая натура не понимала и не ценила утонченных потребностей жены. Он предпочитал фронт и маршировку литературным занятиям и давал это чувствовать на каждом шагу. Случалось, что великая княгиня устроит у себя литературный вечер; великий князь придет, подсядет к какой-нибудь фрейлине, и вдруг так ее ущипнет, что та вскрикнет от боли; происходит всеобщее смятение, и чтение прерывается. Или он притворялся слушающим, и вдруг как будто засыпал от чтения и сваливался со своего стула. Разумеется, подобные выходки, повторяемые ежедневно и ежечасно, оскорбляли великую княгиню. Она раздражалась, и это отражалось на самом ее характере.

После смерти мужа она могла уже предаться своим наклонностям без всякого стеснения, устроить свою жизнь, как она хотела, и тут она явилась тем, чем была на самом деле, в спокойном величии возвышенной природы, чуждой всему мелочному, ищущей в жизни единственно то, что в ней есть высокого и привлекательного. Куда бы она ни приезжала, она тотчас приглашала к себе всех сколько-нибудь выдающихся людей. Государственные деятели, ученые, литераторы, артисты – всё собралось около нее, и все находили тут умственную пищу и удовольствие. Со всяким она умела говорить о том, что его интересовало, всякого умела поставить так, что ему было свободно и приятно. В маленьком кружке, в интимной беседе и в больших собраниях, она была одинаково приветлива, умна и занимательна. Я не раз любовался, с каким неподражаемым искусством она исполняла трудные обязанности высокопоставленных особ при больших приемах: с своею величавою осанкою она обходила всех и каждому говорила приветливое слово, никогда пошлое, а всегда умно и уместно. Никто также не умел, как она, устраивать большие вечера. В великолепных апартаментах Михайловского дворца происходили блестящие празднества и представления, о которых долго говорили. Тут соединялось самое разнообразное общество, являлись и царственные особы, и всякому она знала, чем угодить. И все это не было только поверхностным искусством светских людей, которые внешним блеском и умением ловко говорить обо всем часто прикрывают крайнюю бедность содержания.

Великая княгиня, действительно, живо и глубоко интересовалась всем: и наукой, и литературой, и искусством. Она любила и понимала музыку и часто устраивала у себя музыкальные вечера. Нередко она на досуге заставляла себе читать стихотворения Гете. Ученого

она расспрашивала о его специальности, с тем, чтобы извлечь из него какое-нибудь полезное знание. Но главное, что ее привлекало, и это составляло предмет ее внимания, были вопросы политические. Ум ее, открытый для всего, был, однако, по преимуществу практический. Беседы о важных вопросах текущей политики составляли для нее высшее наслаждение. Со всем пылом горячей благородной души следила она и за происходившими в России преобразованиями, особенно за освобождением крестьян, которому она отдавалась вся и которое она считала жизненным для нас вопросом. Ее упрекали в честолюбии, в желании вмешиваться в государственные дела. Но для этого она была слишком умна. Она весьма хорошо понимала, что в ее положении всякое неуместное вмешательство могло бы только испортить дело и подорвать ее кредит. Вся ее политическая деятельность ограничивалась тем, что она умных и даровитых людей старалась сблизить с властью имущими. Она говорила, что у нас весьма важно, чтобы царствующие особы привыкали видеть известную физиономию, и она на своих вечерах производила такого рода сближения. Либеральная по убеждениям, разумеется, в весьма умеренных размерах, она старалась этим способом выдвигать стоящих на втором плане деятелей, от которых она ожидала пользы для России. Таковы были Н. А. Милютин, Черкасский.

Она и меня хотела выдвигать, но это был напрасный труд. «Я хотела бы, чтобы Вы сделали государственным деятелем», – сказала она мне однажды. «Нет никакого риска, чтобы я им стал», – отвечал я. При моих научных наклонностях и привычке к независимой жизни, я вовсе не желал менять ученое поприще, которое при всяких условиях могло наполнять жизнь человека, на зависящую от чужой милости и обуреваемую всякого рода интригами служебную карьеру. Общественная деятельность в широкой сфере могла мне улыбаться, но никак не восхождение по чиновной лестнице. Невозможность сделать из меня влиятельное лицо в государстве не ослабило, однако, всегдашнего благосклонного внимания великой княгини. В человеке для нее важно было не положение, а внутреннее содержание. И, со своей стороны, те, которым доводилось подходить к ней близко и узнать высокие качества ее души, ее постоянную доброту, ее готовность на всякую помощь, ее горячее участие к судьбе других, не только пленялись ее умом, но привязывались к ней сердечно.

Зато, с другой стороны, ее глубоко ненавидели все знатные пошляки, для которых способные и либеральные люди были бельмом на глазу. Не было грязных клевет, которые бы не распускались на ее счет из петербургской аристократической среды. Эта ненависть питалась и поддерживалась тем, что великая княгиня, насквозь понимаемая этих господ, сама их не жаловала. Обладая глубоким практическим смыслом, она имела удивительное знание людей. Как сильные,

так и слабые их стороны не были от нее скрыты; она умела каждого оценить по достоинству и определить истинный его уровень. При этом она ценила не только ум и способность, но, главным образом, нравственную сторону, благородство убеждений, независимость характера. Живым примером ее взглядов на людей может служить сцена, которой я был свидетелем. Мне случилось быть в Петербурге в начале 1867 года, когда Замятин вышел из министерства юстиции, и граф Пален был намечен на эту должность. Палена сильно поддерживал Шувалов, который в то время был на вершине могущества и хотел окружить себя клеветами. Государь любил графа Палена и сам настойчиво уговаривал его принять должность министра; но последний отказывался, зная, что он вовсе к ней не подготовлен и считая себя неспособным ее занимать.

В это время великая княгиня, утомленная петербургскою светскою жизнью, вздумала поехать на несколько дней отдохнуть в Ораниенбаум и пригласила меня с собой. Однажды мы обедали втроем: великая княгиня, баронесса Раден и я. Баронесса Раден пришла к обеду с открытым письмом и с торжествующим видом. «Могу объявить вашему высочеству, – сказала она, – что граф Пален решительно отказался от должности министра юстиции». При этой вести великая княгиня вдруг залилась в три ручья. «Слава Богу! – воскликнула она, – еще один порядочный человек!» «Вы можете гордиться своими Балтийскими провинциями», – прибавила она, обращаясь к баронессе Раден. «Да, вчера я была унижена, а сегодня горжусь», – отвечала последняя. И когда на моем лице, по-видимому, выразилось некоторое удивление по поводу этой внезапной вспышки радости и этих слез, великая княгиня сказала мне: «Не удивляйтесь тому, что я это известие принимаю так к сердцу. Вы живете вдали от петербургских высших сфер и не имеете понятия о той степени низости, которая в них господствует. Когда случайно встретишь порядочные чувства, душа так и радуется». Слово: еще, которое вырвалось у нее при известии о благородном поступке графа Палена, относилось к тому, что незадолго перед тем Черкасский вышел в отставку, несмотря на настойчивые просьбы государя. Но Черкасский был независимый человек, а граф Пален чиновник, и на следующий день пришло известие, что он должность министра юстиции принял. Слух о том, будто в петербургских высших сферах случайно встретился порядочный человек, оказался ложным, и слезы радости были напрасны.

Из этого рассказа можно видеть, с каким горячим и благородным участием великая княгиня относилась к интересам своего русского отечества. Она глубоко скорбела о господствующем у нас раболепстве, о постоянной розни, о мелких интригах, наполняющих, как высшие, так. и низшие сферы. В этом отношении она иногда говорила, что русскому обществу полезна примесь немцев, которые

лучше умеют за себя стоять и крепко сплочаются вместе. С сердечною болью отзывалась она и о господствующей у нас на вершинах любви к пошлости и рутине, о презрении к людям, о неумении ценить истинные заслуги. В последние годы ее жизни, при водворившейся у нас реакции, эти впечатления делались все сильнее и сильнее, и она с горечью отворачивалась от внутренней политической жизни, видя унижение всего, что ей было дорого, и чувствуя полное свое бессилие помочь чем бы то ни было.

Тем с большею горячностью принялась она за то дело, которое было у нее в руках, за устройство благотворительных заведений. Тут она была полная хозяйка и могла проявлять весь свой практический смысл. Она внимательно изучала всякое дело, вникала во все подробности, расспрашивала специалистов, осматривала за границею учреждения, подобные тем, которые она хотела основать в России, выбирала людей, умела их направлять, и сама, наконец, была вдохновляющим элементом всего предприятия. И ум, и энергия, и сердечное участие, все тут соединялось для достижения успеха. Ее учреждения останутся после нее памятником для потомства; но еще лучшим памятником останется воспоминание об этой возвышенной, изящной, благородной, горячей, истинно царственной личности в сердцах всех, кто знал ее близко. С памятью о великой княгине неразрывно связано имя верной ее фрейлины, баронессы Эдиты Федоровны Раден. Без нее двор Елены Павловны не мог бы быть тем, чем он был. Чтобы сделать из него умственный центр, чтобы сохранить в нем всегда возвышенную атмосферу, недостаточно одной владычествующей особы; надобно, чтобы и подчиненные лица умели поддерживать общее настроение, а баронесса Раден разумела это вполне. Я скоро с нею сблизился, и между нами завязалась неизменная дружба, которая с годами только крепла и крепла. «Ваша дружба была и будет одной из радостей моей жизни», – писала она мне много лет спустя. С грустным и вместе сладостным чувством привожу эти драгоценные для меня слова.

О баронессе Раден никто, ни знавшие ее близко, ни даже только слышавшие о ней, не говорили иначе, как с глубочайшим уважением. Это была одна из самых чистых и возвышенных душ, каких я встречал на своем веку. Удивительно даже, как в петербургской придворной атмосфере могла сохраниться такая неизменная искренность и прямота побуждений, такое полное самозабвение, такое отсутствие всего мелочного. Она вся жила в какой-то возвышенной нравственной сфере, откуда она взирала на жизнь и людей, стараясь всегда уловить их лучшие стороны, и никогда не прикасаясь иначе, как с чувством негодования, к мелким человеческим дрызгам и суетным побуждениям. Во всяком ее слове выражалась спокойная обдуманность и глубокая задушевность; всякий ее поступок проникнут

был чувством нравственного долга, который был неуклонным руководящим началом всей ее деятельности. С летами в особенности, эти внутренние, незыблемые основы ее нравственного бытия выступали все ярче. Все ее мысли были устремлены к вечному и неизменному.[...]*

При таком глубоко-религиозном настроении, она в родном протестантизме усвоила себе лучшие его начала: жадное искание истины и пламенное стремление личной души к верховному источнику всего сущего, помимо всяких церковных установлений. Эти чувства она выражала иногда с удивительным красноречием. Это были звуки, вырывающиеся из глубины души и возлетающие к небу. [...]***

Но проникнутая насквозь духом родного протестантизма, баронесса Раден понимала и другие стороны религиозной жизни. Ей совершенно чужды были протестантская узкость и исключительность. После зимы, проведенной в Риме, ее даже подозревали в наклонности к католицизму, до такой степени она горячо принимала к сердцу возвышенные черты католической религии, тот чистый энтузиазм и то радостное самозабвение, которые она умеет возбуждать особенно в женских душах.

«Я человек чрезвычайно терпимый, – писала она. – ...Я испытываю искреннее и часто умиленное восхищение перед земным величием католических церквей, не когда касаются существа моей веры, то я чувствую в себе опять гугенотку и не боюсь никакой аркебузады». Это была немецкая протестантская натура, расширенная русской средою, в которой она провела всю свою жизнь, а также и постоянным общением с тою высокою личностью, которой она была предана всею душою. Она любила приводить весьма характеристические слова великой княгини: «Я благодарю бога за то, что была воспитана в протестантизме и затем вступила в религию, которая ставит человеческий разум на свое место».

Огромное влияние на баронессу Раден имел слишком рано умерший ее старший брат, которого она страстно любила. Он был главным деятелем во II отделении, при графе Сперанском, и по всем отзывам был человек весьма замечательный. От него она с ранней молодости получила любовь к мысли и живое участие ко всем умственным интересам. Образование у нее было разнообразное и обширное. Она много читала и умела ценить всякую книгу. Сила и возвышенность мысли и разнообразные оттенки чувства были ей равно доступны. Чуждая философским вопросам, она с участием следила за чисто логической аргументацией. Но особенно развит у нее был

* Здесь опускаются выдержки из писем Э. Ф. Раден к Б. Н. Чичерину.

** Опускается отрывок из письма Э. Ф. Раден по поводу книги Б.Н. Чичерина «Наука и религия», в которой он «по ее мнению, недостаточно выяснил значение протестантизма для внутренней жизни человека».

эстетический вкус. Все отрасли искусства: музыка, живопись, ваение, поэзия, были ей понятны, не только внешнею, но преимущественно внутреннею своею стороною. Глубоко прочувствованное и изящно выраженное стихотворение приводило ее в восторг, и наоборот, всякое неверное чувство, всякое пошлое или резкое выражение оскорбляли ее чуткую душу. Сама она писала прелестно. Приведенные выше отрывки из ее писем могут служить тому доказательством. По ясности и изяществу слога, по глубине и возвышенности мыслей и чувств, по благородству тона, который в них господствует, иногда по меткости выражений, немногое может с ними сравниться. Ей случалось войти в письменные состязания с людьми не рядового ума и мастерски владевшими пером, как Ю. Ф. Самарин, и она не только им не уступала, но и возвышалась над ними. Я уже сказал, как она, вступившись за свои родные, близкие ее сердцу Балтийские провинции, с такою неподражаемою тонкостью и силою обличила всю его односторонность и пристрастие, что он должен был перед нею умолкнуть и протянул ей дружескую руку. Не менее любопытна ее переписка с ним по религиозным вопросам. Он излагал православную, а она протестантскую точку зрения, и это она делала с такою глубиною и задушевностью и в такой изящной форме, что невольно сочувствие становилось на ее стороне. Во многом они, впрочем, сходились, особенно в начале внутреннего освящения, которое Самарин ставил так же высоко, как она.

Столь же привлекателен был и ее разговор, не отличавшийся живостью, но всегда умный, спокойный, разнообразный, касающийся возвышенных сторон жизни и затрагивающий глубокие струны человеческого сердца. Она умела говорить со всеми, и, как подобало ее званию, всегда приветливо и с участием. Но особенно она раскрывалась в интимной дружеской беседе. Когда я бывал в Петербурге, я почти каждый вечер проводил в ее маленькой гостиной во флигеле Михайловского дворца и всегда жалел, когда тут присутствовал кто-нибудь посторонний, кроме самых близких друзей. День, когда я ее не видал, мне казался пустым: такое сердечное удовлетворение доставляла мне эта задушевная, полная прелести беседа. Здесь вполне высказывалось ее горячее, любящее сердце, ее сдержанный пыл, ее удивительная чуткость ко всему высокому, ее благородное негодование против человеческих низостей. И кого она раз любила, перед тем она раскрывалась с полным доверием, вызывая такое же доверие и к себе. Она была непоколебимо верным другом. И радости, и горе друзей, их успехи и их неудачи, возбуждали в ней самое теплое и глубокое участие. «Вы давно знаете, что счастье моих друзей – это солнечный луч в моей жизни», – писала она мне.

В своих привязанностях, так же как в своих помышлениях, она искала вечного и неизменного.

Не во всем, однако, мы с нею сходились. Со своим высоким нравственным строем она витала в какой-то идеальной сфере, из которой она не всегда могла разглядеть человеческую пошлость и судить правильно о жизненных отношениях. Особенно после смерти великой княгини, которая со своим ясным, практическим умом всегда трезво смотрела на вещи и низводила на землю идеальные стремления своей спутницы в жизни, в баронессе Раден развилась склонность видеть в слишком благоприятных красках окружающую ее среду. Этому способствовали и те страшные события, которыми ознаменовались последние годы царствования Александра II. Они усилили в ней и без того чрезмерно консервативный образ мыслей. Ей представлялось, что надобно всеми силами поддерживать новое правительство, водворившееся среди этих ужасов, и она не замечала, что это новое попечительство вовсе не нуждается в поддержке независимых людей. Особенно я сетовал на нее за то, что она не удержала Дмитриева от того пути, по которому он пошел. Она одна могла это сделать, ибо он был к ней привязан так же как и я. Мы составляли нераздельное трио. Имея в виду одно неуклонное чувство долга, исполненная и идеальных понятий о рыцарской преданности престолу, она не видела низменных путей и подводных камней чиновничьей карьеры. Оказалось, что мы на многое смотрим с совершенно противоположных точек зрения: она осуждала то, что я считал необходимым и должным и, напротив, поддерживала то, что я сильно осуждал. Мне памятен последний наш разговор о современном положении, при прощании во время коронации. Это был и вообще, последний наш разговор. Я поехал провожать ее на железную дорогу, и здесь, сидя с нею наедине в вагоне еще раз высказал ей все свои мрачные предчувствия насчет общего хода дел. Я говорил, что невозможно приехать короноваться при таких смутных обстоятельствах и не сказать народу ни единого слова об ожидающем его будущем. «А не думаете ли Вы, – оказала она, – что может водвориться управление, хотя не высокого строя, но проникнутое самыми чистыми нравственными стремлениями?» «Какая тут нравственность? – отвечал я. – Посмотрите, кто окружает престол, каких государственных людей нам привезли из Петербурга. Ведь это – настоящий зверинец. Мы топчемся в грязи; а что ж далее?» Это были последние слова, с которыми я с нею расстался.

Не долго, однако, она могла сохранить свои иллюзии. В последние годы жизни ей волею или неволею пришлось погрузиться в практическую деятельность и видеть вещи вблизи. После смерти великой княгини, она всю свою душу положила на поддержание основанных ею учреждений. Затем, во время войны, ей поручено было заведывание центральным складом Красного Креста. Наконец, в новое царствование, императрица призвала ее к содействию, по-

мощью и советом, в управлении женскими заведениями. Всюду она вносила воодушевлявшее ее чувство долга, и все, что она делала сама, было безупречно. Но, не созданная, в сущности, для практического дела, она приходила в отчаяние от постоянных столкновений с всеохватывающим господством житейской пошлости.

Когда она призвана была к императрице, она писала мне: «Я ничего не искала, это ведает бог, меня страшит та ответственность, которую я на себя принимаю, я вижу, как вокруг меня громоздятся целые горы инертности, рутины, пошлых чувств (самое большое, по-моему, зло, так как оно непоправимо), сложных интересов, а мне всему этому противопоставить нечего, кроме своей слабости и своего одиночества. И однако, в наши дни, каждый должен браться за плуг – не оглядываясь назад».

Но эта постоянная борьба была ей не по силам. Уже в 1876 г. она писала мне: «...Ах, мой дорогой друг, печальна жизнь! Ее выносишь так или иначе, но пройдя две трети обычного пути, уже чувствуешь себя утомленным».

С увеличением деятельности эта усталость все усиливалась В 1884-м году она писала: «Моя деятельность сопряжена с неприятностями, даже огорчениями, ибо возраст не притупляет некоторых чувств негодования и изумления, которые я испытывала с детства. Я бываю иногда так грустна и так утомлена, что мне хотелось бы бежать в пустыню. Господь помогает мне побороть мою слабость: показывая мне, как близка конечная цель, он помогает мне быть стойкой до конца».

В это время меня постигло глубокое горе, которому она показала живейшее участие*. У нее самой открылся рак; она была при смерти. Ей сделали опасную операцию, которая, однако, удалась. Едва вставши, она тотчас опять принялась за работу. В декабре 84-го года она писала:

«Я едва освободилась от своих физических страданий, как на меня нахлынули бесчисленные огорчения. Иллюзия ли верить в то, что их легче переносить у входа в вечность? Я молю бога, чтоб я не слишком быстро привыкла к порочному воздуху равнины, и больше всякого другого зла, опасаясь своей слабости».

А в январе 1885-го года: «Здоровье мое поправилось, я на ногах и исполняю все свои обязанности служебные и семейные, но не могу преодолеть жажды уединения вдали от света, которая растет с каждым днем. Три месяца тому назад я приготовилась к смерти без сожаления и без страха. Бог продлил мне жизнь, он этого хочет; следовательно, это нужно для моей бедной усталой души, а все-таки я не могу заставить себя с радостью творить его волю! Я чувствую себя

* Смерть дочери Ульяны Борисовны (род. 1877 г.) в сентябре 1884 г.

утомленной и грустной, я боюсь соприкосновения с миром, чувствительно понижающим моральный уровень; боюсь и личного эгоизма, проявляющегося во мнимом уединении, так как мир внутри нас со всеми его соблазнами тщеславия, более опасными даже, чем соблазны внешние [...]».

Летом она поехала лечиться за границу, но перед возвращением в Россию снова открылась опухоль. Она поняла, что все было кончено. Опять сделали операцию, но на этот раз это только ускорило конец. В октябре 85-го года, в то время, как я ехал из деревни в Москву, я вдруг получил телеграмму, извещающую меня, что она умирает и желает меня видеть. Я тотчас полетел в Петербург и застал ее уже в безнадежном состоянии, но еще крепкую духом, и ни словом, ни даже стоном не обнаруживавшую тех невыносимых страданий, которые она испытывала. Прямо с железной дороги сестра повезла меня к ней, говоря, что она ждет меня с нетерпением. Я вошел в комнату умирающей. Она посмотрела на меня своим глубоким взглядом, крепко пожала мне руку и с трудом, тихим голосом проговорила последние слова: «Вчера вечером я чувствовала себя очень плохо, но я молилась богу, если необходимо страдать всю ночь, чтобы Вас видеть, то продлить мои страдания. Я хотела пожать вам руку в последний раз». Она меня благословила и просила передать ее благословение моей жене. После этого я еще раз входил к ней по ее желанию, но она уже не могла говорить. На следующий день она скончалась, оплаканная всеми. Вылившимся из глубины сердца образ этой чистой и высокой души пусть сохранит о ней память для будущих поколений. Такие женщины редко встречаются на свете.

Другая фрейлина Елены Павловны, жившая в то время на вилле Бермон, баронесса Сталь, сестра нынешнего посла в Лондоне, была женщина совсем другого рода. Это была девушка в полном цвете молодости, красивая, изящная, умная, образованная, с некоторым талантом к живописи, но очень себе на уме. В семнадцать лет она откровенно говорила, что нельзя доверяться никому, и что надобно самому пробивать себе дорогу. Пути, которые она для этого избирала, были, однако, не совсем надежны. Пока она была еще очень молода, она сдерживалась и вела себя скромно: но впоследствии она сбросила всякую узду и выказала всю свою холодную, страстную, своенравную и лживую натуру. Великая княгиня принуждена была удалить ее от себя, и тогда, разъяренная, она пустилась на всякие каверзы, интрига и клеветы. Все это, однако, не послужило ни к чему. Она уехала за границу и вышла замуж за какого-то француза, виконта де Отерива, с которым потом, говорят, разошлась. Я потерял ее из виду.

Но все это оказалось уже много лет спустя. В то время, о котором я теперь говорю, м-ль Сталь была привлекательным центром

для молодых людей, живших на вилле Бермон. Дмитриев, Сергей Абаза, секретарь великой княгини, и я, все немного за нею ухаживали. Абаза за ужином поднимал бокал шампанского и говорил:

Пью за здравие Стали!
Милой Стали моей!

А Дмитриев к этому прибавлял:

Но, признаться, едва ли
Нам понравится ей!

Конечно, она искала выгодной партии, а не пустого волокитства. Если юная и красивая девица Сталь была предметом любезностей, то при дворе было два лица, которые были предметом неистощимых шуток и острот Дмитриева, одно тайных, другое явных. Первый был гофмаршал великой княгини, барон Розен, честный и недалекий немец, добродушный, но весьма чопорный, исполненный важности своего положения, своих отличий и своей должности. Он любил, чтобы все при дворе происходило в совершенно чинной форме, и когда мы с Дмитриевым однажды вздумали за гофмаршалским столом говорить стихи для удовольствия дам, он после обеда с негодованием отзывался: «Это не гофмаршалский стол, а какая-то академия!». Точно так же негодовал он, всякий раз, как великая княгиня не соблюдала тех обрядов, которые, по его мнению, были совершенно необходимы. Он был очень недоволен моею первой аудиенцией: «вот молодой человек, который хочет представиться, как все порядочные люди, и вдруг его принимают в утреннем костюме! На что это похоже?» Когда же дело касалось его самого, то он выходил из себя. Дмитриев очень забавно рассказывал, в какое неистовство однажды пришел барон, когда великая княгиня, перед отъездом из Рима, послала его к папе просить извинения, что она по нездоровью не может сама приехать проститься. «Что это случилось с этой великой княгиней! – восклицал он в бешенстве, – посылать меня, протестанта, на поклон к этой рухляди – папе!» Но оттуда он вернулся, как шелковый. «Да он очень приличен – папа! – говорил он. – Представьте себе, что он пригласил меня обедать. Это первый раз, что протестант обедает у папы». Дмитриев рассказывал про него бесчисленные анекдоты. Перед моим приездом в Ниццу барону ко дню именин великой княгини, была прислана телеграмма с известием, что ему жалуются Анна первой степени, а, между тем, самая лента еще не была доставлена. Барон пришел в большое затруднение, не зная, что ему надеть в этот торжественный день: Анна еще не пришла, а Станислав уже сделался ему противен. Он решил «*comme interimе*», надеть итальянскую ленту и с гордостью рассказывал всем о своем тонком изобретении.

Предметом явных острот был доктор Арнот, высокий, сухощавый, с еврейской физиономией австриец, которого Дмитриев все дразнил тем, что Австрия составляет помеху человеческому развитию и непременно должна разрушиться. Доктор приходил в ярость и не понимая, что над ним издеваются, пресерьезно старался убедить всех и каждого в необходимости существования Австрии. Я вспомнил свои старинные подвиги и начертал его жизнеописание в карикатурах. Между прочим, изображено было, как они вдвоем купаются: Дмитриев, в виде бесенка, показывает ему нос с берега, а долговязый доктор, погруженный по пояс в море и, поднимая свою косящую руку, кричит ему: «Нет Австрия необходима!»

При таких элементах время на вилле Бермон протекало в полном удовольствии. Мы проводили целые дни вместе, сменяя шутивную болтовню серьезными разговорами, иногда делали в компании прелестные прогулки по окрестностям. По вечерам у великой княгини обыкновенно бывала музыка; пела жившая у нее в то время красивая девица Штуббе, впоследствии вышедшая замуж за Александра Аггеевича Абазу. Однажды мы с Дмитриевым и с Сергеем Абазой ездили в Монако, куда их притягивала рулетка, а меня привел в восторг поезд через горы, который в раннюю летнюю пору представляет нечто совершенно идеальное. Мы были молоды, веселы, беззаботны. Перед нами в радужных цветах открывалось заманчивое будущее. В отечестве настала давно желанная пора свободы, и нам предстояла плодотворная деятельность. А пока мы проводили беспечные дни, в обществе изящных и привлекательных дам, в очаровательной обстановке, под сияющим небом юга, у берегов глубокого Средиземного моря в тени померанцев и олив. Даже в воспоминании все это представляется мне как листок из волшебной сказки, где в садах благодетельной феи встречаются странствующие принцы и заколдованные принцессы и проводят дни в невинных увеселениях. Грустная минута настала только тогда, когда пришла пора разъезжаться; но мы твердо надеялись увидеться вновь и зажечь прежнюю жизнь.

В половине июня мы с Дмитриевым и доктором поехали через Col di Tenda в Турин, куда вскоре должна была прибыть и великая княгиня, проездом в Германию. Во все время нашего 24-часового путешествия Дмитриев потешался над доктором. Бедная Австрия разрывалась на клочки. И днем и даже ночью это был непрекращающийся поток шуток и острот. Через несколько дней мои спутники отправились далее, а я намеревался ехать в Лондон, чтобы повидаться с Герценом. Мне хотелось переговорить с ним о настоящем положении дел в России и о той политике, которой надобно было держаться при существующих условиях. Затем я думал, побывав в Лондоне и Париже, походить по горам в Швейцарии, а зиму провести в Италии, преимущественно в Риме. Вообще, этот первый год

моего заграничного путешествия посвящался осмотру достопримечательностей Европы, после чего я уже хотел засесть за работу.

Однако в Лондон я попал не скоро. Брат задумал жениться и убедил меня ехать с ним в Ишль, где в то время находилась занимавшая его особа, дочь родной сестры графа Штакельберга, баронессы Мейендорф. Мы отправились через Швейцарию и Тироль, кой-где по железной дороге и пароходом, но большею частью в открытой коляске, что много способствовало полноте и свежести ощущений. Это было одно из самых очаровательных путешествий, какие мне доводилось делать. Я был увлечен, вознесен, отуманен целым роем совершенно новых для меня впечатлений, непрерывно меняющимся рядом восхитительных картин. Первое, что меня поразило, было великолепное Лаго Маджоре, самое величественное из итальянских озер. К сожалению, погода была не совсем благоприятная. Облака обвивали горы, порою шел дождь. Под зонтиками мы осматривали Борромейские острова. Но когда прорывался солнечный луч и озял эту дивную панораму гор, окаймляющих широкие воды озера, вокруг которого живописная крутизна альпийских скал украшается всею роскошью итальянской природы, можно было придти в полный восторг. Я обещал себе возвратиться сюда еще раз, чтобы видеть итальянские озера во всем блеске их красоты, что мне и удалось впоследствии. Взявши ветурино* в Беллинцоне мы поехали по долине Тичино. Тут я впервые увидел вблизи, можно сказать ощутил, горную природу в ее суровом величии, во всех переходах от уютных человеческих жилищ до возносящихся к небу голых утесов: внизу разбросанные хижины, окруженные зеленью каштанов и орехов, выше еловые леса, еще выше живописные скалы самых причудливых форм, грозно вздымающие свои головы, а внизу клубящийся поток, с ревом прорывающийся через теснины. В Айроло, где мы ночевали в самой простой, но необыкновенно чистой гостинице, со стенами украшенными изображениями подвигов Телля, на меня пахло духом мирной республиканской свободы. Рано утром мы переправились через Сен-Готард, частью идя пешком, и там, на вышине, среди голой каменистой пустыни, я увидел на скале надпись: *Suworowus victorus***, обличающую плохое классическое знание проходивших тут русских героев. Затем мы спустились в долину Рейссы, и здесь, одно за другим, представились нам Андерматт со свежими, ярко зелеными, нисходящими в долину пастбищами среди грозных утесов, клубящееся и пенящееся стремление Рейссы, смело перекинутой через нее Чертов мост, наконец Люцернское озеро, живописнейшее из швейцарских озер. Мы проплыли на пароходе мимо

* Извозчик в Италии, меняющий лошадей в пути.

** Должно быть: «*Suworowus victor*», т.е. «Суворов победитель».

часовни Телля, которая вызывала в воображении целый рой исторических и поэтических картин, и остановились в Веггисе, откуда я совершил свое первое значительное пешее восхождение. Мы пошли с братом на Риги, чтобы оттуда любоваться восходом солнца. Вечер был прелестный; Люцернское озеро, облитое теплыми лучами заката, представляло нечто совершенно волшебное; мне казалось, что я перенесен в какой-то очарованный мир. Однако, после первого часа пешего хождения, я с непривычки почувствовал такую усталость, что с некоторым смущением думал, как я доберусь до вершины. Но тут оказалось маленькое пристанище, где продавалось пиво; я выпил кружку и остальные два часа прошел так бодро и легко, что мог бы идти еще столько же.

Утром нас ожидало разочарование. Перед восходом солнца звонкий альпийский рог разбудил массу народа, ночевавшего в гостинице в ожидании великолепного зрелища. Все тотчас вскочили, наскоро оделись и побежали на площадку. Увы! ничего не было видно. Был дождь, холод, ветер; облака покрывали равнину и горы. Наконец, в какую-то скважину на небе проглянуло подобие красного луча, и толпа, удовлетворенная тем, что видела восхождение солнца, вернулась назад доканчивать свой сон. Это был пошленький интермеццо среди поэтических восторгов. Когда утром туман и дождь рассеялись, мы увидали тоже немного хорошего: вместо ожидаемого восхитительного ландшафта, перед нами расстилалась географическая карта, не представлявшая, в сущности, ни малейшего интереса, хотя любопытные, конечно, могли разглядеть на ней даже весьма отдаленные места. Но когда мы стали спускаться обратно, вид Люцернского озера в теплое и ясное утро опять предстал нам во всей чарующей прелести. Я убедился, что не нужно лазать высоко, чтобы наслаждаться красотами природы.

Из Люцерна мы через Цюрих и Констанцское озеро проехали в Тироль. Здесь опять нас сопровождал целый ряд самых очаровательных видов: скалы еще величественнее и разнообразнее, нежели виденные мною в Швейцарии, приютные долины, великолепные деревья, вместо больших озер маленькие ярко-изумрудные озерца, затерянные высоко в горах и так причудливо отражающие покрытую лесами окрестность; наконец, мирные села, на которых лежит печать патриархальной простоты, большею частью исчезнувшей в Швейцарии. Так, через Инсбрук и Зальцбург мы приехали в Ишьль.

При всем том, я остался неудовлетворенным. Этот ряд быстро сменяющихся картин представлял мне подобие волшебного фонаря, в котором одно впечатление вытесняет другое и ни одно не успевает запасть глубоко в душу. На родине я привык с природою жить, наслаждаться в полном спокойствии ее тихую красотую, чувствовать внутри себя ее проникновение; а тут я не успевал восхититься од-

ним, как уже на смену спешило другое. На каждом шагу хотелось остановиться, вдохнуть в себя и усвоить окружающее очарование, а вместо того мы стремились все далее и далее, так что в душе водворялся, наконец, какой-то хаос, в котором я не мог разобраться. Пребывание в Ишле послужило успокоением.

Мы остались там дней десять. Дела брата шли на лад. Ничто так не содействует поэтическому сближению, как интимная жизнь среди красот природы. Мы делали совокупные прогулки по прелестным окрестностям. Окончательное объяснение произошло в виду величественного водопада *Waldbachstruh*. Брат выехал из Ишля женихом. Он отправился в Вену, навстречу родителям, которые в это время решились ехать на зиму за границу. Отец уже несколько лет недомогал; у него открылась брайтова болезнь, и доктора советовали провести зиму в теплом климате. Брат думал устроить их в Ницце, где он мог жить вместе с ними и с невестою, не отлучаясь от своего места служения. Я же, со своей стороны, направился в Лондон, и уже оттуда, через Париж, хотел приехать в Ниццу и повидаться с семейством.

Я ехал большею частью пароходом, любуясь живописными берегами величественного Дуная и прелестного Рейна. Но вдруг, на одной из пристаней тогдашнего великого герцогства Нассауского, на пароход, совершенно для меня неожиданно, вступила великая княгиня Елена Павловна со всею своею свитою. С ними был и князь В. Ф. Одоевский, с которым я тут в первый раз познакомился. Некогда московский архивный юноша и писатель с некоторым дарованием, он впоследствии обратился в весьма добродушного придворного, но продолжал серьезно заниматься всякими безделушками, что приобрело ему прозвание: великий человек на малые дела. Узнавши, что я направляюсь в Лондон, он тотчас поручил мне отыскать для него книгу сигналов, которой я, впрочем, не нашел и никогда не узнал, на что она была ему нужна. Великая княгиня ехала в Остенде купаться в море перед возвращением в Россию. Меня пригласили погостить там некоторое время, и я, разумеется, охотно согласился.

Опять пошли завтраки и обеды за гофмаршальским столом, прогулки с дамами по набережной, долгие вечерние разговоры у баронессы Раден, иногда беседы с великою княгинею. На поклон к ней приезжали и посторонние лица. Был тогдашний принц-регент прусский, впоследствии император Вильгельм, с которым мне довелось тут обедать. Как нарочно, перед самым столом у великой княгини сделалась сильная мигрень, так что принимала баронесса Раден. Весь разговор шел о разного рода салонных играх (*petits jeux*). Меня, разумеется, это очень мало интересовало; но баронесса Раден объяснила мне, что страсть к этим играм составляет специальность всех царственных особ и что она даже по этому признаку заключила, что

Людовик-Наполеон действительно царственного происхождения, а не просто выскочка, как он сам себя величал.

Был также бельгийский король Леопольд I; но я его не видал. Однажды барон после завтрака выпрямился во весь рост и важным тоном произнес: «Теперь я должен идти принимать короля». Мне рассказывали, что в разговорах с великою княгиней, король Леопольд все сетовал о том, что после смерти Николая Павловича всякая международная полиция в Европе прекратилась. Это не дало мне весьма высокого понятия о его столь прославленном уме.

Из русских, приезжал тогдашний посол в Париже, граф Киселев, один из самых близких друзей великой княгини. В то время я мог только любоваться его красивою и величественною фигурою; но приехав в Париж, я узнал его ближе и нашел в нем некогда умного и тонкого, в то время уже значительно опустившегося старика, обратившегося в придворного, но сохранившего свои приветливые и аристократические манеры. По этому поводу я убедился, до какой степени придворная жизнь, даже при самых лучших условиях, налагает свои пути на человека. Когда я, побывавши в Париже, в первый раз свиделся с великою княгиней, она стала спрашивать меня о графе Киселеве. Я откровенно сказал ей, что нахожу его опустившимся и думаю, что его друзья оказали бы ему услугу, если бы посоветовали вовремя оставить свой пост. Когда я, после этого, на вопрос баронессы Раден, сообщил ей свой разговор с великою княгиней, она так расхохоталась, как будто я совершил нечто чудовищное. «Как, вы в самом деле сказали это великой княгине? – воскликнула она. – Да разве вы не знаете, что граф Киселев один из самых близких ей людей?» «Потому-то я и сказал, – отвечал я; – она одна может дать ему полезный совет». Но моя приятельница продолжала хохотать над моею наивностью. Я до сих пор думаю, что я был прав, и что Елена Павловна не была бы тою высокою женщиною, какою я ее знал, если бы ей нельзя было говорить подобных вещей. К сожалению, совет графу Киселеву дан был слишком поздно, когда министерство наделало ему неприятностей, стараясь всячески его выжить.

Как контраст с величавою осанкою графа Киселева, в одно время с ним приехал маленький, горбатый Александр Васильевич Головин, с рыбьим ртом и в тщательно приглаженном парике. Он имел репутацию огромного ума и считался вдохновителем великого князя Константина Николаевича, при котором он был тогда секретарем. «Ришелье едет», – возвестила нам однажды баронесса Раден. Я спросил, правда ли, что он так умен. «Он вовсе не умен, – отвечала она. – Я назвала его Ришелье, потому, что он считает себя великим государственным мужем. Но он честный и хороший человек, всею душою преданный своему великому князю». При первом же свидании с Головиным я мог убедиться, до какой степени это суждение

было верно. Приехав в Остенде, он пришел знакомиться со мною, не застал меня, и я на следующее утро отправился к нему. Он тотчас начал мне с важностью излагать подробную программу государственных преобразований, одним из двигателей которых был великий князь. Я, разумеется, со всем этим вполне соглашался, но заметил, что при громадности предстоящей задачи, когда все надобно перевернуть вверх дном и поставить на новых основаниях, меня пугает одно, именно недостаток подготовленных к такому делу людей. «Это не беда, – возразил Головнин. – Правительство само может создавать людей. Вот, например, великий князь Константин Николаевич послал человек сто за границу; они вернутся и будут у нас хорошо подготовленные люди». Я сказал, что на мои глаза, отправление чиновников за границу составляет весьма недостаточное приготовление для внутренних преобразований. Таким способом можно получить порядочных исполнителей, которые будут делать то, что им приказано, а у нас требуется совершенно иное: нужны люди, не только искушившиеся в государственных делах, но и хорошо знающие Россию, и притом независимые, способные не только быть орудиями, но и служить задержкою, если правительство пойдет по ложному пути. «Отчего же, и это легко сделать, – отвечал Головнин. – Надобно только, всякий раз, как проявляется дух независимости, давать награды. Вот, например, граф Путятин заключил трактат с Японией*, не имея на то никакого полномочия; за это ему пожаловали Александровскую ленту». Услыхав такой удивительный способ поощрять дух независимости, я не выдержал, немедленно обратился в бегство и полетел рассказывать этот прелестный анекдот баронессе Раден и Дмитриеву. Приехав в Лондон, я сообщил его Герцену, и он говорил мне, что они с Огаревым, вспоминая о моем рассказе, валялись от хохоту по дивану, до такой степени мысль давать награды за дух независимости казалась им восхитительной. Действительно, редко приходится наткнуться на более типический анекдот.

Головнин был идеал петербургского либерального чиновника. У него был готовый рецепт на все: на всевозможные государственные преобразования, на устройство мест и приготовление людей, на воспитание наследника, на путешествие царственных особ, и – доходя до последних подробностей придворных церемоний. Он с одинаковою важностью, отчетливостью и расстановкою излагал первоклассные государственные меры и повторял от слова до слова телеграмму, извещающую о здоровье императрицы или об образе жизни

* В 1855 г. адмирал Ефимий Васильевич Путятин подписал так называемый Симодский трактат, первый договор между Россией и Японией о дружбе и торговле. История этого посольства подробно описана И. А. Гончаровым в книге «Фрегат «Паллада», которым командовал И. С. Унковский, сын упоминаемого ранее С.Я. Унковского.

великой княгини. Если у него случайно спрашивали: когда он едет? он тотчас с величайшею подробностью начинал объяснять, в котором именно часу со сколькими минутами он со своим великим князем приедет на железную дорогу, где они будут завтракать, где обежать, и именно со сколькими минутами остановки, когда, наконец, они прибудут на место, и сколько дней и часов там останутся. Также чрезмерно подробен он был и в делах. Первою и важнейшею задачею администрации он считал собрание целых фолиантов никому не нужных мнений и справок. А, между тем, он, в качестве либерала, свысока говорил о нашей бюрократии, о петербургском чиновничестве, не подозревая, что он сам насквозь проникнут их духом. Чтобы не навлечь на себя подозрения в бюрократических наклонностях, ему казалось совершенно достаточным призвать изредка какого-нибудь легенького журналиста, побеседовать с ним важно, как подобает государственному мужу, и сочинить что-нибудь ему в угоду, дабы этим приобрести популярность. Так он именно поступал впоследствии, когда сделался министром народного просвещения. Но при всей узкости и ограниченности своего ума, он действительно был по-своему человек честный. Великому князю он оставался предан до самого конца, был всегда верным другом своих друзей, даже впадших в немилость, хотя и для них он изобретал иногда удивительные рецепты. Когда, после издания Положения 19-го февраля Н. А. Милютин уехал за границу, Головнин вздумал пристроить его к Публичной Библиотеке.

Впоследствии, уже в новое царствование, когда Д. А. Милютин удалился в Крым на покой, Головнин постоянно извещал его обо всем, что происходило в Петербурге. Сам он в это время, оставаясь членом Государственного Совета, не играл уже никакой политической роли, но продолжал изредка давать тонкие обеды для избранного круга высокопоставленных особ, в том числе для великого князя Константина Николаевича. После каждого такого обеда он аккуратно присылал Дмитрию Алексеевичу, который всего менее был гастрономом, не только подробный меню, но при этом и рисунок стола, с означением мест, где кто сидел. Эта черта характеризует человека.

Среди всех этих старых и новых знакомств я в Остенде несколько зажился и насилиу вырвался оттуда. Я поехал в Лондон пароходом через устье Темзы, и тут я в первый раз испытал все громадное впечатление современной промышленности. По обоим берегам реки тянулись бесконечные и разнообразные суда, верфи, фабрики и заводы; везде, шум, стук, свист; везде движение, жизнь, суета; повсюду облака угольного дыма, а внизу широкая Темза, несущая к морю свои мутные воды, загрязненные всякими промышленными и людскими отбросами. Все это производило на меня впечатление какой-то гигантской машины, работающей без устали, но руководимой разумом,

неуклонно идущим к своей практической цели. Самый Лондон поразил меня контрастом серых домов, дымных улиц с толпящимся народом, с несметным количеством экипажей, и великолепных парков, которые кажутся как бы пустырями среди многолюдной столицы. Я не только усердно осматривал все достопримечательности Лондона, но ездил и по окрестностям, в Виндзор, Ричмонд, Кью, Гэмптон-Корт, где в то время находились еще картоны Рафаэля, объехал весь остров Уайт, сидя на верху дилижанса с своим старым московским приятелем, графом Алексеем Васильевичем Бобринским, который был тут моим чичероне. Как страстный садовод, я особенно любовался английскими парками, великолепными деревьями, бархатными газонами, хотя находил несколько однообразным отсутствие всяких мелких произрастений. Я видел в этом образ самой Англии, где старая, ветвистая аристократия как бы выжила и вытеснила в город все остальное. Этому аристократическому величию, взлелеянному веками, я предпочитал более скромную русскую природу, где все растет на приволье.

Я виделся и с представителями в Лондоне русской дипломатии: с умным, но совершенно ко всему равнодушным бароном Брунновым, которому я был рекомендован великою княгиней; с Сабуровым, в то время первым секретарем посольства, впоследствии послом в Берлине, которого я знал с детства, и который встретил меня весьма дружелюбно. Он был тогда очень милый малый, неглупый, но прочного образования и серьезной подготовки у него не было, и он сам признавался, что совершенно выветрился в дипломатической карьере. Это он и доказал, когда был призван к настоящему делу. Руководствуясь в своих поступках не зрелыми убеждениями, а мелкими честолюбивыми целями и на лету схваченными мыслями, он скоро сломал себе шею.

Все это, однако, представляло для меня лишь второстепенный интерес. Главною целью моей настоящей поездки в Лондон был Герцен. Я слегка знал его в Москве, еще будучи студентом; но у нас были общие друзья, общие воспоминания и общие интересы. Мне хотелось основательно с ним переговорить о современном положении и посмотреть, нельзя ли направить его в смысле полезном для России. Его «Колокол» имел тогда громадное значение. Это была первая свободная русская газета, не стесненная никакою цензурою. Его жадно читали в Петербурге и в Москве. Каждый тайно привозимый из-за границы номер ожидался с нетерпением и передавался из рук в руки. Здесь в первый раз обличалась царствующая у нас неправда, выводились на свет козни и личные виды сановников, ничтожество напыщенной аристократии, невероятные дела, совершающиеся под покровом тьмы, продажность всех облеченных властью. Назывались имена; рассказывались подлинные события. Перед обличением Гер-

цена трепетали самые высокопоставленные лица. С подобным орудием в руках можно было достигнуть того, что было совершенно недоступно подцензурной русской печати. Можно было действовать на недоумевающее правительство, сдерживать его и направлять на правильную стезю. Но именно в этом отношении «Колокол» был более чем слаб. Он скорее мог сбить с толку и правительство и общество, нежели указать какой-либо определенный путь. В нем выражался весь Герцен, огненный, порывистый, нетерпеливый, раздражительный, полный блеска и ума, но кидающийся в крайность и не умеющий оценить существующие условия жизни. Уже в «Полярной Звезде» обнаружилась полная его теоретическая несостоятельность. Все восхищались художественною прелестью, живостью и теплотою его воспоминаний, которые останутся одним из лучших памятников русской литературы; но нелепые социалистические статьи, наполнявшие это издание, приводили в негодование его прежних друзей. В «Колоколе» он от теоретических вопросов перешел к практическим; условия были необыкновенно благоприятны; но несостоятельность оказалась та же. Статьи печатались без всякой общей мысли, под влиянием совершенно случайных побуждений или присылаемых неверных известий. Издатель то писал восторженное письмо государю, под заглавием «Ты победил, Галилеянин!» – и обещал быть верным слугою царю, если будут отменены крепостное право, телесное наказание и цензура, то вдруг без всякого серьезного повода, он забывал сказанное вчера, начинал бесноваться, ругал все и всех, печатал статьи с воззванием к топору. С умеренною и трезвою Москвою у него не было постоянных сношений; зато с Петербургом была непрерывная связь. Чернышевский с компанией шпиговали его всякими ложными известиями, всеми подобранными на улице сплетнями, всеми раздутыми новостями; они раздражали его впечатлительные нервы, и он приходил в негодование, раздражался потоком брани и становился слеп ко всему остальному. Я думал, что говоря с ним от имени его старых московских друзей, можно хоть сколько-нибудь умерить его неуместное раздражение и показать ему вещи в истинном свете.

Скоро я убедился, что это был совершенно напрасный труд. Я нашел прежнего Герцена, оставившего по себе столько воспоминаний в старой Москве, общительного, живого, бойкого, остроумного; разговор был блестящий и разнообразный; он лился потоком, переходя от одного предмета к другому, пересыпанный то живыми рассказами, то игривыми шутками, то острыми замечаниями. Это была неудержимая сила, сверкающая и пышущая во все стороны. Но под всем этим ослепительным фейерверком скрывалось полное отсутствие серьезного содержания. Даже то, что было вынесено из России, погибло в крушении европейской революции. Еще живя в Мос-

кве, Герцен от гегельянской философии перешел к точке зрения реализма, с которою он по странному, но весьма распространенному смешению понятий, соединял самые крайние социалистические утопии. С этим умственным багажом он переехал в Западную Европу; но тут с первых же шагов, на его глазах, все его мечты рассеялись как дым. И демократия, и социализм, в который он верил, как в новую религию, оказались несостоятельными. Герцен совершенно растерялся и не знал, где искать точки опоры. Вера в европейскую революцию исчезла; к революционерам, которых он видел вблизи, он питал глубокое презрение. В самом Прудоне, он, к великому своему прискорбию, замечал упадок. Как утопающий хватается за соломинку, он принялся возвеличивать русскую общину, в которой усматривал смутный зародыш какого-то социалистического будущего, тем самым сближался со славянофилами; но сам он ей не верил и в откровенные минуты признавался, что кидает пыль в глаза своим европейским друзьям. Он потерял даже веру в прогресс. Когда я заговорил с ним о развитии человечества, он мне сказал, что этим занимается Огарев, и молчаливый Огарев прочел мне какую-то беллиберду о стадном чувстве и о движении по спирали. Я убедился, что в политических вопросах у Герцена подготовки не было ни малейшей и что он даже не способен их понимать. Я говорил ему о значении и целях государства, а он мне отвечал, что Людовик-Наполеон ссылает людей в Кайенну. Я говорил, что преступление должно быть наказано, а он отвечал, что решительно не понимает, каким образом учиненное зло может быть исправлено совершением другого, такого же зла. Все теоретические вопросы разрешались у него остроумными сближениями, юмористическими выходками. В сущности, у него был ум совершенно вроде изображенного им доктора Крупова, склонный к едкому отрицанию и совершенно неспособный постичь положительные стороны вещей. В практических вопросах дело обстояло еще хуже. Когда я указывал ему на необходимость трезвого и умеренного образа действий при предстоящих в России великих преобразованиях, он отвечал, что это чисто дело темперамента и ссылался на Лустало и Камилля Демулена, как будто французская революция имела что-нибудь общего с современным положением России. Ему казалось даже, что человеку с умеренным взглядом на вещи надобно поступать на службу, а стоящий вне правительственных сфер непременно должен обретаться в отрицании и крайностях. Я приходил в отчаяние.

Часто и всегда с большим удовольствием ездил я в Путней*, где он тогда жил; но поболтавши с ним полдня, наслушавшись остроумных и занимательных речей, я возвращался опечаленный, ибо не

* Putney – пригород Лондона.

видел в этом никакого добра для России. Весь этот крупный талант погибал в бесплодном бесновании, которое могло только сбить с толку неприготовленные и неокрепшие умы. Мне даже казалось иногда, что проповедея умеренность можно ему повредить: он, пожалуй, лишится свойственного ему таланта, а серьезного слова все-таки не скажет. Но подобные опасения были напрасны. Никакая проповедь умеренности не могла на него подействовать: это было слишком противно его природе.

Мы расстались, однако, друзьями. При прощании он пошел проводить меня на железную дорогу, которая была недалеко от его дома, и уговаривал меня писать в «Колоколе», а он будет отвечать. Но я уже убедился, что всякие споры с ним будут бесполезны, и отказался. Однако я не выдержал. Я уехал в Париж, и он просил меня навести для него какую-то справку. В это время в Париже было получено известие о речи, сказанной государем московским предводителям дворянства, речи, в которой настойчиво выражалось намерение освободить крестьян. Посылая Герцену обещанную справку, я коснулся этой речи и сказал, что теперь ему опять придется воскликнуть: «Ты победил, Галилеянин!», после того, как он еще недавно печатал воззвание: «Крестьяне, точите топоры!» На это он мне написал, что ему с разных сторон делают подобные упреки и что он будет отвечать на них в «Колоколе». И точно, в следующем номере появилась статья под заглавием «Нас упрекают», в которой говорилось, что люди с горячим темпераментом увлекаются в разные стороны под влиянием ежедневных впечатлений, истощаются гневом и негодованием, падают и умирают в борьбе; доктринеры же не увлекаются, но и не увлекают других.

Меня это взорвало. Ссылаться на темперамент, отвечать легеньким издевательством, когда дело идет о благе отечества, о важнейших его интересах, о величайших преобразованиях, изменяющих весь его исторический строй, казалось мне недостойным не только возвышенного ума, но и благородного сердца. Под этим впечатлением я написал известное письмо, которое было напечатано в «Колоколе», в номере 1 декабря 1858 года, и которое было первым протестом русского человека против политического направления лондонской эмиграции. Я высказал тут Герцену все, что давно накопело на душе. Я говорил ему, что, как единственный свободный орган русской мысли, он сила и власть в русском государстве; а, между тем, он пользуется своим положением не для того, чтобы в незрелом и столь долго приниженном русском обществе развить политическое сознание и направить его к разумной цели зрело обдуманнами средствами, а для того, чтобы самому волноваться по всякому пустому поводу и волновать других. Вместо того, чтобы содействовать образованию у нас такого общественного мнения, какое требуется в на-

стоящую знаменательную пору, мнения независимого, стойкого, но умеренного, с трезвым взглядом на вещи, с крепким закалом политической мысли, он приучает нас к раздражительности, к нетерпению, к неуступчивым требованиям, к неразборчивости средств. Я с негодованием восставал против иронического его замечания, что революция – поэтический каприз истории, которому даже мешать неучтиво. «Существенный смысл упреков, которые вам делают, заключал я, состоит в том, что в политическом журнале влечения, страсти должны заменяться зрелостью мысли и разумным самообладанием. Если такое требование есть доктрина, пускай это будет доктринерством. Вам такой образ действий не нравится; вы предпочитаете быстро перегорать, истощаться гневом и негодованием. Истожайтесь! Таков ваш темперамент; его не переменишь. Но позвольте думать, что это не служит ни к пользе России, ни к достоинству журнала, и что во всяком случае нечего этим величаться»*.

Прежде, нежели посылать письмо в Лондон, я показал его Каченовскому, с которым часто видался в Париже. Дмитрий Иванович Качановский, профессор международного права в Харьковском университете, был человек несильного ума и небольшого таланта, с довольно узко либеральным взглядом, но чрезвычайно многосторонне и основательно образованный, с поэтической душой, большой любитель искусства, и очень приятный в личных отношениях. Он видался с Герценом в Лондоне и так же, как и я, был поражен отсутствием у него всякого серьезного основания. У людей, знакомых с политическими науками, на этот счет не могло быть двух мнений. Герцен был художник, а не публицист. Гуляя с Каченовским по парижским бульварам, мы зашли в какую-то кофейную, и я прочел ему свое письмо. Он вполне его одобрил: «Вы ничего лучшего не писали, – сказал он мне. – Посылайте непременно».

Эффект был значительный, и притом в противоположных направлениях, так что Герцен мог думать, что я свое дело проиграл, а я вполне добросовестно мог думать противное. С этой минуты резко обозначились два противоположные лагеря, на которые разделялось русское общество. С одной стороны, я получал многочисленные заявления сочувствия. Все московские друзья были на моей стороне. Кетчер с Бабстом написали даже по этому поводу к Герцену письмо, на которое он и им отвечал обычным своим издевательством, так что Кетчер с негодованием бросил его ответ в камин. Катков молчал, но на следующий год, задетый, в свою очередь, Герценом, он разразился против него бешеною руганью, что окончательно раз-

* Письмо Чичерина к Герцену появилось в «Колоколе» 1 декабря 1858 г. (№ 29); в сокращенном виде оно было напечатано Чичериным в книге «Несколько современных вопросов» (М. 1862).

делило обе партии.* Из Петербурга я также получал выражения сочувствия, между прочим, от того лица, мнение которого я выше всего ценил, от Н. А. Милютина. Но большая часть петербургских литераторов на меня восстали. Что Чернышевский печатно выступил против меня в поход, в этом не было для меня ничего удивительного. Социалист по убеждениям, он был главным заправилою той безумной агитации, которая тогда уже начиналась в среде русской молодежи. Но, к крайнему моему изумлению, на меня всеми силами ополчился Кавелин, с которым мы до тех пор шли рука об руку, который первый направил меня на настоящий путь и сам участвовал в письме к издателю «Голосов из России», писанном совершенно в том же духе и с теми же взглядами, как и письмо, напечатанное в «Колоколе». Я получил от него длинное послание, к которому приложены были и подписи некоторых других лиц, а именно: Бабста, Тургенева, Анненкова, Галахова, Маслова, Н. Н. Тютчева и Скребицкого. В резких выражениях меня упрекали в том, что я клевету на Герцена, приписывая ему революционные стремления, и действую на руку графу Панину и тому подобным реакционерам. Меня просили, по прочтении письма, отослать его к Герцену, как выражение полного ему сочувствия. Я это и сделал. Мудрено ли после этого, что Герцен совершенно сбивался с толку и не внимал никаким благоразумным советам?

Причина такого внезапного поворота в образе мыслей Кавелина объясняется происшедшею с ним служебною катастрофою. В это время наследник Николай Александрович, вошел уже в те лета, когда надобно было подумать о его воспитании, до того времени непростительно заброшенном. Руководить им призван был Владимир Павлович Титов, некогда принадлежавший к московскому литературному кружку, затем вступивший в дипломатическую карьеру и бывший перед войной посланником в Константинополе, человек честный, благородный, с разносторонним образованием, о котором остроумный поэт Тютчев говорил в шутку, что он создан был для того, чтобы составить инвентарь творения, но совершенно неспособный к педагогической деятельности. Он пригласил Кавелина давать уроки наследнику; но Кавелин, который был отличный профессор, со своей стороны вовсе не имел нужных качеств для того, чтобы преподавать плохо подготовленному мальчику. Я сам впоследствии слышал от наследника, что он решительно ничего не понимал в его лекциях. Ему нужно было начинать почти с азбуки, а ему читали высшие юридические теории. Между тем, окружающие государя были очень недовольны этими назначениями. Кавелин, постоянно вращав-

* Чернышевский напечатал в № 32 – 33 «Колокола» за 1859 г. «Письмо к издателю «Колокола» по поводу «Обвинительного акта» г. Чичерина».

шийся в петербургских либеральных кружках и весьма несдержанный на язык, имел легко расточаемую репутацию красного.

На беду, он невольно подал против себя оружие. В «Современнике» были напечатаны большие выдержки из его проекта освобождения крестьян, в котором проводилась мысль об единовременном всеобщем выкупе без всякого переходного состояния. Против этого плана можно было многое возразить; но преступного, очевидно, в нем ничего не заключалось. Между тем, государю дело представили в таком виде, будто Кавелин хочет подорвать доверие к правительству, критикуя благие его предположения и стараясь проводить собственные, крайне либеральные мысли. И вдруг, без всякого повода, даже не предупредив Титова, Кавелина устранили от преподавания наследнику. Мера, без сомнения, была весьма несправедливая. Титов обиделся и подал в отставку. То же сделал и князь Григорий Алексеевич Щербатов, пропустивший статью в «Современнике», а Кавелин просто остервенился. Он в личных вопросах был крайне щекотлив и никогда не забывал нанесенной ему обиды. Это была темная сторона его чистого и благородного характера. С тех пор он сделался рьяным врагом правительства, порицал все, что делалось, слушал всякие сплетни и не хотел видеть величия преобразований, изменявших весь строй русской жизни. После смерти Александра II, он уверял, что если на одну сторону весов положить то, что он совершил хорошего, а на другую все, что он сделал дурного, то первое окажется совершенным ничтожеством перед вторым. Он дошел даже до того, что защищал царевубийц. До такой степени этот страстный человек ослеплялся, как скоро он задет был лично. В первые минуты ярости он порвал даже с Титовым, который из-за него оставил свое место. Он порвал и с великою княгинею за то, что она, по возвращении в Россию, не тотчас за ним прислала. Когда он через несколько времени получил от нее приглашение, он не поехал. Баронесса Раден, которая сохранила с ним дружеские отношения, строго его осуждала.

Под влиянием таких-то впечатлений он написал упомянутое послание, в котором, отрекаясь от своей точки зрения, он прямо становился на сторону легкомысленной агитации Герцена. Имена других, подписавшихся под это послание литераторов, показывали однако, что тут было не одно личное раздражение. Имя Бабста, хотя он был из числа московских моих приятелей, не много для меня значило; я знал, что по бесхарактерности, он не сумеет противостоять влиянию среды, и подпишет все что угодно. Действительно, вернувшись в Москву, он вместе с Кетчером написал Герцену письмо совсем в другом смысле. Но когда Тургенев, Анненков, даже мягкий Галахов считали нужным протестовать против моих обвинений и выразить сочувствие Герцену, то это обнаруживало невообразимый туман, во-

царившийся в петербургской атмосфере. Совершенное отсутствие всякого здравого политического понимания, укоренявшаяся привычка вечно бранить правительство, преувеличенное значение, придаваемое всяким ходячим сплетням, наконец, полное ослепление насчет существования в России революционных стремлений, которые тогда уже зарождались и вскоре выразились в нигилизме, вот, что я увидел в этом письме. Мне говорили, что я клевету на Герцена, выставляя его революционером, когда он сам высказывал полное равнодушие к средствам, называя революцию поэтическим капризом истории, которому даже мешать неучтиво. Меня уверяли, что я действую на руку реакционной партии, когда я проповедовал благоразумие и хладнокровие. До какой степени петербургская среда отуманивала самые трезвые умы, можно видеть из того, что даже умеренный и здравомыслящий Никитенко занес в свой дневник*, что хотя способ действия Герцена вреден, но мое возражение, может быть, еще вреднее, ибо вызывает реакционные меры. Как будто реакционные меры вызывались не тою самою агитациею, против которой я восставал! Единственное, что могло удержат правительство, это – указание, что в самой литературе является отпор этому беснованию. В действительности, все эти опасения были совершенно напрасны; никаких реакционных мер не последовало.

Вот письмо Кавелина, копию которого я сохранил:

«Почтеннейший и любезнейший Борис Николаевич.

Я получил письмо Ваше из Ниццы, от 8 декабря, когда уже прочел Ваше письмо к Герцену, напечатанное в 29-м номере «Колокола». И прежде и после письма ко мне, я ни на одну минуту не сомневался в чистоте и благородстве побуждений, внушавших Вам горькие укоры Искандеру; но не могу не сознаться, что действие их на меня было тем тяжелее и горестнее, чем значительнее Ваше имя в нашей литературе и чем я тверже убежден в Вашей нравственной безупречности. Если бы письмо Ваше к Герцену было написано человеком мне совершенно неизвестным, я бы отвечал ему в самом «Колоколе». К несчастью, письмо писали Вы... и у меня отваливаются руки.

Основная мысль Вашего письма, как нельзя вернее. После первых взрывов негодования на порядок дел, какой у нас есть, на лица, которые стоят у нас на первом плане, давным давно следовало серьезнее подумать о том, что предстоит делать, чего ожидать, по како-

* А. В. Никитенко пишет в своем дневнике под 9 января 1859 г.: «В 29 № «Колокола» прочитал письмо к Герцену, приписываемое Чичерину, в котором Герцена упрекают от имени всех мыслящих людей в России, за резкий тон и радикализм. Это, конечно, отчасти справедливо, и Герцен вредит своему влиянию на общество и на правительство. Но возражение, ему сделанное, кажется, еще вреднее. Оно как бы оправдывает крутые меры и вызывает их».

му направлению идти. К сожалению, не только одна лондонская, но и русская наша литература, с этой стороны, сильно смахивает на фразу, мало питаю ум.

Если бы Вы сказали только это, Вы были бы совершенно правы; но рядом с тем Вы сказали много такого, чего сказать, конечно, не хотели.

Не стану говорить об том, что Вы не имели никакого права так жестоко, с высоты величия, говорить с человеком, которого, кроме большого имени и положительных заслуг, ограждают от всяких оскорблений великие несчастья и страдания. С этой стороны и защитники и порицатели Вашего письма равно не одобряют Вас. Из коротенького оправдания Герцена, напечатанного перед Вашим письмом, я вижу, что он не только обижен, но опечален и сконфужен таким неожиданным посланием. По тону его ответа я вижу, что от Вашего письма у него сердце перевернулось в груди. Его убивает мысль: неужели все мыслящее в России судит обо мне так бессердечно? На Вас лежала обязанность, если Вы раз решились укорять Герцена печатно, сделать это со всем возможным уважением к его личности и его злосчастной судьбе. Отсутствие и тени этого уважения, холодная беспощадность Ваших упреков, напоминающая бюрократическое «поставление на вид» начальников подчиненным, производит тяжелое и грустное впечатление.

Но если бы письмо Ваше было только холодно и безучастно к человеку, оно было бы несправедливо только к нему, но могло бы быть справедливо по существу дела. К сожалению, нельзя сказать и этого. Увлечшись желанием как можно ярче выразить свою мысль, с которою, повторяю, все согласны, – Вы прибегли к аргументам ложным, к клеветам, Вы непростительно искажаете истину.

Укажу на главное.

Вы особенно упираете на ту фразу в корреспонденции «Колокола», где крестьяне приглашаются точить топоры. Фраза эта действительно нехороша. Но скажите пожалуйста, какое право имели Вы, выводя из этой фразы, что Герцен желает революции в России, не привести множества других фраз из других номеров «Колокола», в которых не только корреспонденты, но и сам редактор положительно выражают желание, чтобы предстоящие реформы совершились у нас мирно и спокойно, без крови и жертв. Если бы не Вы так играли этой фразой, а кто-нибудь другой, я увидел бы в этой игре не ораторский оборот речи, а преднамеренную клевету и недобросовестность.

Вы говорите, что Герцен равнодушен к гражданским реформам, что ему все равно, сделается ли дело актом деспотизма или актом революции. Вы фехтуете с необыкновенным искусством против него его же собственными словами, чтоб доказать ему и убедить других в том, что реформа и революция для него все равно. А так как Герцен

давно уже пользуется у нас репутацией красного революционера, и притом Вы в своем письме ловко указываете на воззвание к топорам, с умолчанием желаний мирной реформы, то и остается впечатление, что, собственно говоря, Герцену смертельно хочется революции в России. Если Вы хотели выразить эту мысль, то я могу поздравить Вас с совершенным успехом. Справедливость, конечно, требовала упомянуть и о другом смысле тех же слов, которыми Вы так искусно пользуетесь, чтобы доказать революционные цели редактора «Колокола». Вы, я, все мы без исключения убеждены в том, что если правительство не проведет реформы мерами административными, то она совершится путем революции; Герцен мог хотеть выразить именно эту мысль. Но какое дело до того, что именно он хотел выразить? В плане оратора лежало доказать, что Герцен – революционер и желает произвести революцию в России, и потому, разумеется, следовало воспользоваться его словами в этом смысле. Истина и намерение – дело второстепенное. В ораторских состязаниях кто станет об них серьезно думать?

У Вас встречается также фраза и о том, как было бы плохо, если бы в недрах нашего отечества завелось несколько «Колоколов». Спасательное предостережение, особенно для России, где лица высшего управления ежеминутно твердят государю, что наша литература раздувает пламя, разжигает страсти! Скажите, ради бога, в чью пользу делаете Вы такие нападки? Не пожива ли это Паниным с компанией?

Итак, дело решенное: Герцен революционер, «Колокол» призывает к революции и даже призывает с успехом. Вы говорите в одном месте Вашего письма: «топор еще не в таком ходу, мы к нему не так привыкли, но судя по письму, напечатанному в «Колоколе», и это средство начинает приобретать у нас популярность». Вот что значит, Борис Николаевич, ораторское искусство! Захочешь опровергнуть противника, а глядь – своих оклеветал. Вы сумели отыскать в России любителей топора, которых мы не знаем, и которых до смерти хочется отыскать Тимашеву с товарищами. С каким пренебрежением, даже презрением – трактуете Вы наше горе и наши страдания! С издания рескриптов 20 ноября и 5 декабря, чего, чего, боже великий, мы не натерпелись и не вынесли! В феврале мы видели, как Главному комитету удалось обойти государя в истолковании усадеб; в марте реакция сказала еще решительнее. Положим, что для Вас все равно, будет ли мужик освобожден с землею или без земли, пройдет ли он через чистилище срочно-обязанных отношений или не пройдет: для нас же это далеко не все равно. Для нас такое или другое решение совпадает с спокойным или революционным выходом из теперешнего нашего положения. Теперь и правительство в этом убедилось. Могли же и мы так думать, не заслуживая еще за это ни презрения, ни насмешки! И

мы глубоко страдали. Дело освобождения крестьян, наш якорь спасения, стало быстро двигаться назад. В мае меня прогнали от наследника, как человека в высшей степени опасного, за то, что я осмелился прямо поставить вопрос о выкупе земель в «Современнике»; в журналах запрещено говорить о выкупе; по тому же поводу кн. Шербаатов должен был оставить свое место. Все эти события навели общее уныние на все, что есть либерального и просвещенного в России. Но когда издана была Главным комитетом известная Вам программа в руководство дворянству разных губерний, когда огласилось намерение правительства поставить всю Россию в осадное положение посредством уездных начальников и генерал-губернаторов, тогда объята были ужасам не одни либеральные и просвещенные люди, но и самые реакционеры. Настроение умов в то время напоминало 1849 год и последующие годы минувшего царствования. Что я не преувеличиваю, – это могут засвидетельствовать Вам люди всех мнений, и друзья и враги Ваши. Всякий, кто был в это время в России, кто испытал и видел тогдашнее настроение, не без глубокого негодования прочтет следующие высокомерные и жестокие слова из письма Вашего: «и откуда вся эта тревога? по какому поводу возгорелось негодование? Право, когда подумаешь об этом, становится и грустно и смешно. Не прошло еще и года с тех пор, как государь высказал твердое намерение преобразовать старое крепостное право... что же случилось в этот промежуток?.. Ну скажите, не похоже ли это на шутку?» Не знаешь, что и подумать, читая эти слова, пересыпанные рассуждениями о важности вопроса, о невозможности решить его сразу. Правительство действует мудро, строго и осторожно, преследуя зрело и дальновидно обдуманый план освобождения крестьян; все идет своим порядком; ничего особенного не случилось: о циркуляре Муравьева собственно и говорить не стоит. А мы, в легкомыслии и безумии нашем, думали, что вопрос о реформе и революции висит на волоске, что Муравьев, Ростовцев и другие, интриговавшие у государя под носом, пользовавшиеся в то время огромным его доверием, могут загубить все дело! В самом деле, какие мы жалкие безумцы! Ничего мы более и не заслуживаем, кроме презрения за свое легкомыслие.

Не забудьте, что письмо Ваше имеет политическое значение, что оно скреплено авторитетом Вашего имени – имени уважаемого и очень известного в России. Вы сами принадлежите к либеральной партии; находитесь в связи или в сношениях со всеми либеральными кружками и во всех подробностях знаете их стремления, цели, надежды, высказываемые и невысказываемые печатно. Свидетельство и отзывы такого человека в глазах правительства чрезвычайно важны. Само оно мало понимает смысл теперешнего литературного движения; тайная полиция, как гончая собака, вынюхивает только красного зверя, но, как 30-летний опыт доказал, часто слишком ув-

лекается своею специальностью и потому тоже судья не беспристрастный; наконец, реакция, враждебная всякому движению, столько же подозрительна в своих суждениях, как и тайная полиция. Как же узнать истину? Какая тайна скрывается в этих людях и в их мыслях? И вот, выступает один из них добровольно и раскрывает тайну. Признаться, то, что он говорит, заключает в себе мало утешительного; давнишние подозрения и опасения правительства, к несчастью, оказываются совершенно справедливыми. Оно давно предполагало, что цель Герцена произвести революцию в России, что с этою собственно целью и издается «Колокол»; что в обществе при помощи «Колокола», революционное направление растет и усиливается и в этом его поддерживают наши литературные органы. Правительство давно уже догадывается, что на мудрые его виды и предначертания относительно освобождения крестьян нападают, с одной стороны, реакционеры, а с другой, революционная партия, желающая воспользоваться этим государственным вопросом, чтобы произвести насильственный переворот в России. И что же? Все эти догадки оправдываются, как нельзя более! Из среды этой самой партии отделяется один из самых блестящих ее представителей. Он и в лице его «значительная часть мыслящих людей в России», от имени которых он говорит, сами ужаснулись этой партии, с которою они до сих пор шли вместе. Должно быть дело зашло уже слишком далеко, когда лучшие чувствуют себя вынужденными отказаться от бывших своих единомышленников! Должно быть, положение становится критическим, когда из груди этих лучших вырываются подобные признания о тех, которые стояли с ними в одном лагере.

Не думайте, чтобы я преувеличивал. В высших кружках все от письма Вашего в восторге. «Либеральная партия решила покончить и разорвать с партией революционной», – вот стереотипная фраза, которую приветствуют Ваше письмо в дворцах и высших административных сферах. Этого ли Вы хотели, Борис Николаевич? Единственный упрек, который Вам делают, есть тот – зачем Вы не представили Вашего прекрасного и благородного письма, до его напечатания, на одобрение правительства; оно бы непременно одобрило – письмо так хорошо, но испросить разрешение все-таки следовало. Отзыв этот идет от князя Долгорукова. И они правы. Письмом Вашим Вы оказали им существенную услугу. Такой помощи и поддержки они, конечно, не ожидали. Письмо Ваше неопровержимый документ, на который они с торжеством и гордостью могут сослаться теперь при преследовании своих целей.

Я понимаю, что можно не соглашаться с противником, наговорить ему самых жестоких вещей; я допускаю возможность, разорвавши с партией, которая идет слишком далеко, высказать против нее обвинение, которое, по бывшим близким моим отношениям к ней,

я, собственно говоря, не должен бы высказывать. Что делать, это – несчастье, это – трагическое положение. Тут сталкивается общественное благо с моими личными обязанностями, и я мог предпочесть первое последним. Но я спрашиваю Вас: думаете ли Вы серьезно, положив руку на сердце, что Герцен преднамеренно раздувает революцию в России и что в России есть революционная партия? Если Вы это думаете – Вы можете быть правы перед своим убеждением и своею совестью, что написали это письмо, но я с Вами не согласен и со скорбью должен отдалиться от Вас, потому что считаю такое убеждение не только совершенно ложным, но и крайне вредным. Если же Вы этого не думали, как же решились написать? Как же Вы могли доставить всей этой безмозглой челяди, наполняющей наши дворцы и салоны высшего круга, радость оправдывать свои отупелые и злонамеренные инсинуации авторитетом Вашего благородного имени? Ведь это значит продать свое право первородства – и за что же? за блюдо чечевицы. Нас же, друзей Ваших, Вы поставили в самое нелепое положение: перед одними опровергать взведенные Вами клеветы, а перед другими защищать чистоту и благородство Ваших нравственных побуждений!

Право, какое-то проклятие лежит на нашей литературе и на самой нашей мысли. Или у человека страсть говорить, и он говорит – ничего, или он имеет, что сказать, а станет говорить – выходит совсем не то, что он хотел сказать. Такому хаосу мыслей и слов видно предстоят Мафусаиловы лета.

Я не желаю, чтобы это письмо было напечатано в «Колоколе», или где бы то ни было; но если в Ваших намерениях не лежало высказать печатно все то, в чем Вы клеветеете на Герцена, на «Колокол», на русское общественное мнение, на русское правительство (считая его мудрым), на русскую литературу, то я прошу Вас сообщить это письмо в Лондон Герцену для собственного только сведения. Для пользы дела необходимо, чтобы он слышал разные мнения и мог извлечь из них то, чего ему необходимо придерживаться при дальнейшем издании «Колокола».

К. Кавелин.

С.-Петербург, 8 января 1859 года.»

К сожалению, я не мог отвечать на это послание так, как мне хотелось. Я получил его в Ницце, откуда не было okazji в Петербург. Приходилось писать по почте, следовательно, умалчивать обо всем, что могло бы сколько-нибудь скомпрометировать Кавелина. Я не мог даже напомнить ему, что еще недавно он стоял на той самой точке зрения, которую теперь так резко осуждал.

Только обиняками мог я отвечать на его обвинения. Воспользовавшись тем, что к посланию было приложено письмецо, касавшееся личных его обстоятельств, я написал следующее:

«Вы не можете себе представить, любезнейший Константин Дмитриевич, как мне грустно было получить Ваше письмо, грустно в особенности за Вас: Ваше расстроенное здоровье, стесненные обстоятельства, невозможность даже приняться за работу, все это до крайности печально. Надобно Вам непременно съездить за границу или в деревню подышать другим воздухом, забыть все волнения. Если будете за границую, не минуите Гейдельберга, где я поселяюсь с мая. Тогда мы с Вами на досуге переговорим о многом, чего в письме не перескажешь. Теперь скажу Вам только несколько слов о последнем своем письме. Я слышал о нем много разноречащих отзывов, но в сумме более одобрительных, нежели иных. Взвесив все, что было мне говорено, я могу оказать, что не только совесть моя чиста, но что к созданию высказанной правды присоединяется еще сознание принесенной пользы. Я не ожидал такого успеха. Успехом я считаю, как возбужденные прения, которые ведут к выяснению мысли, к обозначению направлений, так и то, что письмо было принято за желание либеральной партии разделаться с революционными стремлениями. Одного я не признаю – существование у нас партий. У нас есть только общественное шатание, в котором все бродит, как в хаосе. Затем я именно желал выразить протест либерализма против легкомыслия и раздражительности, которые во мне и во многих других возбуждают негодование. Люди серьезные, либеральные, которых мы с Вами уважаем, сомневаются даже в добросовестности Искандера: он бьет на эффект, он хочет играть роль – вот отзывы, которые я слышал много раз. Я, впрочем, не считаю его ни недобросовестным, ни даже революционером, разумея под этим словом человека, имеющего последовательное направление. Он просто ничего не понимает. У него нет ни такта, ни мысли. После крушения его надежд в <18>48-м году, он бродит наобум, под влиянием случайных впечатлений и своей раздражительной натуры. Вы, может быть, думаете, что я преувеличиваю. Сошлюсь на человека, который знает его так же хорошо, как я, с которым я советовался, при посылке письма и который так был им доволен, что сказал мне: «за это письмо я прощаю вам статью о Токвиле; вы высказали то, что я давно хотел сказать». Когда я назову Вам Каченовского, Вы поймете, что я мог совершенно полагаться на его благоразумие и беспристрастие. Заявить разрыв – это я хотел и считаю полезным, потому что оно удовлетворяет чувству многих и многих людей с хорошим направлением. Защиты же я на себя ничьей не брал. А можно бы, и очень сильно. Дело в том, что надобно прежде вырвать бревно из собственного глаза, а потом уже кричать о былинке в глазах другого. Я в России пришел к убеждению, что у нас общественная сфера хуже официальной. Насчет большинства нашего общества Вы будете согласны: оно состоит из помещиков-консерваторов и чиновников-взяточников.

Остается так называемое образованное меньшинство. Что же оно таксе? По-моему, журнальные кулисы не лучше петербургских передних. В России едва найдется 4 – 5 человек, на которых можно положиться, с которыми можно действовать. Как вспомнишь, например, недавно еще животрепещущий спор со славянофилами, как подумаешь, о чем и как он был веден, право, стыдно и за себя и за других. Я в этом случае беспристрастен: я в этом споре играл одну из главных ролей, я в нем составил себе репутацию, стало быть самолюбие должно заставлять меня преувеличивать его значение. Но я из всего этого вынес одно: сознание бесплодно затраченных сил и глупо приобретенной репутации. После этого Вы поймете, если я скажу Вам, что я выехал из России с глубочайшим отвращением от существующей у нас общественной среды – от бестолковой брани, от возмутительного легкомыслия, от пренебрежения к труду, от раздражительного самолюбия, от самодовольного невежества, от ничем не возмутимой наглости и от беспредельного эгоизма. Вы поймете, что я к общественному мнению в России совершенно равнодушен; я даже не признаю его существования. Я ценю мнение некоторых людей, которых знаю и уважаю, а затем пусть говорят даже, что я себя продал. Я до такой степени презираю эти толки, что они доставляют мне даже некоторое удовольствие. Нам ли возопить против других? Если у нас делается что-нибудь порядочное, так это единственно благодаря правительству. Оно подняло вопрос об освобождении крестьян, который без него покоился бы еще 50 лет и никто бы не думал его трогать. К чему же раздражаться, если он в частности идет не так, как желаете Вы, другой или третий? А в общем он идет хорошо, своим порядком. Пропустить крестьян через чистилище срочно-обязанных отношений я считаю не только полезным, но даже необходимым, и не желал бы, чтобы дело совершилось иначе. Я, может быть, неправ; это вопрос спорный. Но во всяком случае возопить против этого и считать все погибшим нет возможности. К другим административным реформам я, признаюсь, довольно равнодушен. Все, что делается и думается в Петербурге, имеет слишком мало значения для страны. У нас по всей земле разлита еще такая патриархальная тупость, о которую сокрушается и хорошее и дурное. Для нас нет опасностей, но зато у нас бесполезны и сила воли и энергия труда. Мы растем, как растения, по естественному закону природы. Это и горько и утешительно. Каждый из нас должен сосредоточиться в своей сфере, идти своим путем, по внушениям мысли и совести, мало обращая внимания на то, что делается кругом. Только этим способом мы выучимся действовать в ограниченном круге, чего мы еще не умеем. Мы всего требуем от правительства, мы хотим все большего и большего простора, мы жалуемся и выезжаем на стереотипных фразах, а пользоваться тем, что есть, мы решительно не умеем. Мы

даже не умеем высмотреть, можно ли что сделать и где. Что касается до бескорыстной работы, то об ней почти нет и помину, а это первая основа крепкой гражданственности.

Вот Вам мое *profession de foi*. Оно, может быть, не совсем утешительно, но зато искренно и внушено не случайными впечатлениями. Порукою тому служит то, что вот уже почти год, как я выехал из России. Вчуже успокаиваются мысли и чувства; из разнообразных фактов выходит общее впечатление и составляет суждение настолько беспристрастное, насколько допускает это натура человека. А между тем, я все-таки Россию люблю и посвящаю ей свою жизнь и не хотел бы жить вне отечества. Цель моя одна – в частной сфере действовать для общественного развития. Цель эта, разумеется, может быть достигнута только через десятки лет, но в этом только я вижу залог прочного будущего. Остальное все случайно.

Прощайте, крепко и крепко жму Вам руку. Будьте здоровы, приезжайте за границу, и тогда мы с Вами потолкуем в Гейдельберге».

Я, конечно, не без намерения сгустил краски в изображении господствовавшего у нас в литературе и в обществе легкомысленного отношения к жизненным вопросам, в защиту которого выступали Кавелин и его единомышленники. Меня возмущал этот близорукий взгляд на все окружающее, эта задорная манера во что бы то ни стало чернить все исходящее сверху и извинять все исходящее снизу. Меня сердили и взводимые на меня нелепые обвинения, будто я выдаю каких-то людей, с которыми я прежде шел рука об руку. При всем том, в итоге оценка была верна. Русское общество, почувствовавшее свободу после долгого гнета, шаталось, как узник, из мрачной темницы внезапно выпущенный на свет божий. Его надобно было успокаивать, а не возбуждать, под опасением вызвать сильнейшую реакцию. Отсутствие внутреннего равновесия именно и повело так скоро к владычеству Каткова и компании. Мысль, что Россия растет как дерево, своим органическим ростом, без участия мысли и воли человека, я нередко повторял и впоследствии.

На мое приглашение Кавелин действительно прибыл следующим летом в Гейдельберг, известив меня заранее, что он едет со мной ссориться. Шесть месяцев прошло со времени появления моего письма, а он все еще продолжал кипятиться. Наконец, обедая со мной вдвоем в ресторане, он объявил мне, что с людьми высказывающими подобные мнения, надобно совсем разорвать. Я в то время не придавал этой выходке серьезного значения. Мне казалось совершенно невозможным разойтись с близким человеком за то, что он требует умеренности и обдуманности в действиях, когда притом, не более как год тому назад, Кавелин сам вполне разделял эти взгляды и все, что произошло с тех пор, могло только подтвердить их необходимость. К счастью, в ту минуту, как он предавался своему напуску

ному негодованию, мимо нас проходил старик Велькер. Я встал, чтобы с ним раскланяться, и он остановился со мною поговорить, а Кавелин, взволнованный, пошел ходить взад и вперед по саду. Когда мы опять сели, кризис прошел, и о разрыве не было более речи. Мы вместе с ним поехали в Франкфурт, где в то время находились Станкевичи; мы жили там два дня, спали в одной комнате, спорили до трех часов ночи, но расстались друзьями. В откровенные минуты он даже признавался, что говорит под влиянием личного оскорбления. Он поехал в Лондон к Герцену, а я вернулся в Гейдельберг.

Но тут опять случилось обстоятельство, которое едва не привело к разрыву. Еще прежде, нежели я получил послание Кавелина, Мельгунов, который тоже был за границею, писал мне, что он, по поводу моего письма в «Колоколе», переписывался с Герценом, и, защищая меня против упрека, что я действовал под влиянием раздраженного самолюбия, указывал на то, что я совершенно те же мысли высказал в «Письме к издателю» в «Голосах из России». Я, со своей стороны, при случае написал Герцену, что Мельгунов не совсем точно назвал меня автором письма к издателю «Голосов», ибо мне принадлежит только вторая часть, первая же написана Кавелиным.

Когда вскоре после того Кавелин приехал в Лондон, Герцен показал ему мое письмо, и тот воспылил негодованием. Ему представилось, что я хотел, по его выражению, очернить его перед революционным комитетом. В то же лето я приехал на несколько дней в Остенде и тут узнал, что Кавелин находится в соседнем Бланкенберге, и злится на меня страшно. Мы отправились к нему с баронессой Раден и Дмитриевым, и после короткого объяснения наедине буря опять пронеслась. Я представил ему, что мне в голову не могло прийти, чтобы он захотел утаивать от Герцена свое участие в рукописной литературе и в «Письме к издателю». Мы принуждены скрывать это в России, чтобы не навлечь на себя жестокой кары, но в Лондоне нет причины не говорить об этом явно, не скрывая своих убеждений и не слагая с себя ответственности за высказанные мысли. Мы обнялись и опять расстались друзьями. На следующую весну он самым убедительным образом приглашал меня на кафедру в Петербургском университете, и когда вскоре после того мне случилось быть проездом в Петербурге, я навещал его каждый день, и отношения оставались самые дружелюбные. Окончательный разрыв произошел уже позднее, по поводу университетской истории*. Об этом я расскажу ниже.

Что касается до Герцена, то с ним после письма в «Колоколе», прекратились всякие дальнейшие сношения. Он напечатал мое пись-

* См. главу «Выход из университета» во II томе настоящего издания.

мо целиком, но почувствовал себя уязвленным. Уведомляя меня о получении коллективного послания, он высказал, что отныне мы можем смотреть друг на друга только как два офицера стоящие в противоположных рядах и издали уважающие один другого. С тех пор я его не видал, но продолжал с любопытством и даже с некоторым сочувствием следить за его бесплодной деятельностью. Несмотря на раздражительное самолюбие, которое портило многие возвышенные черты его характера, я не мог не ценить благородства его побуждений и высокохудожественного его таланта. «Былое и думы» я всегда перечитываю с истинным наслаждением, так тепло, умно и изящно изображено в нем прошлое. Я даже не мог винить его за бесполое беснование в «Колоколе», когда я видел, что в том его поддерживают люди, стоящие в первых рядах русской литературы. Но исход этого беснования мог быть только самый плачевный. «Колокол» падал более и более в общем мнении. Когда вспыхнуло польское восстание, Герцен вовсе не понял положения России и русских людей; он совсем потерял почву и должен был прекратить свое издание. С тем вместе порвалась живая связь с отечеством, которая одна его поддерживала и ободряла. Он остался грустным скитальцем, оторванным от родной земли и не нашедшим себе Приюта в чужой. Самая домашняя его жизнь подверглась глубокому расстройству. Жена Огарева перешла к Герцену, и друзья, под влиянием идей Жорж-Занд, нашли это совершенно естественным и законным. Но жить вместе они более не могли. Нельзя без грусти читать их переписку в последние годы, напечатанную в воспоминаниях Т. Пассек*. Видно, что над обоими тяготеет какая-то безотрадная судьба, что ни тот, ни другой не может найти покоя. Близкие с ранней молодости, они стремятся друг к другу, чувствуют, что на чужбине только один в другом они могут найти опору и утешение, а между тем, их разлучает роковая связь. Говорят, что в эту тяжелую пору своей жизни Герцен стал пить больше прежнего. Об этом свидетельствует портрет его, писанный художником Ге. Когда я увидел это произведение, я пришел в ужас. Неужели этот спившийся нахал тот самый Герцен, которого я знал полным силы, огня, благородства? Тем не менее, он не пал ни умственно, ни нравственно. Он не преклонялся, как Тургенев, перед русскою революционною дрянью, наводнившюю Западную Европу, а, напротив, хлестал ее со всею силою своего могучего таланта, со всем пылом своего благородного негодования. Несмотря на все его крупные ошибки, которые в значительной степени объясняются диким произволом власти, тяготевшим над его молодостью, он остался в памяти всех знавших его людей, как один из чистейших, благороднейших и даровитейших деятелей поколения сороковых годов.

* См. Т. П. Пассек. Из дальних лет. Воспоминания в двух томах. М., 1963.

Также печальна была и участь Огарева. В тех же воспоминаниях Т. Пассек нельзя без сердечного умиления читать последнего ее посещения угасающего поэта, который, одинокий, надломленный, больной, свято хранит воспоминания своей юности и переносится мысленным взором в свою далекую, любимую родину. Глубоко трогательны его последние, посвященные отечеству стихи, составляющие предисловие к недоконченной поэме «Радаев». Мечты его летят к столь близким душе его пустынным равнинам, к широким полям, к трудовой жизни русского мужика. Он всем сердцем приветствует восходящую для него зарю освобождения. Телом он прикован к чужбине, но душа его неизменно там, где протекли лучшие его годы, где он любил и страдал, в родной земле, с которою он связан всем своим существом. Так и умер бедный поэт, дважды женившийся в своей жизни и несмотря на свою мягкую и любящую натуру никогда не обретший семьи. Чужая рука закрыла ему глаза.

Возвращаюсь к своему путешествию.

Из Лондона в Париж я ехал через Гавр в компании с англичанином и французом, из которых последний очень меня забавлял. Он был владелец большого магазина в Париже и мог служить совершеннейшим типом современной французской буржуазии, со всеми ее мелкими сторонами, объясняющими ее покорность императорскому правлению. Он был необыкновенно словоохотлив, начал болтать уже в Лондоне, на станции железной дороги, и продолжал без умолку до прибытия на место. Началось сравнением между двумя столицами: Лондон нечист, Париж чист, там всегда метут; в Лондоне нищета, на улицах люди ходят в рубищах, в Париже все опрятны; в Лондоне домов не красят, в Париже велено красить. Затем он перешел к политике и выразил полное удовольствие существующие порядком: «Мятежей нет, к Франции относятся с уважением. До остального мне дела нет». Он рассказывал, что видел императора в Лондоне, когда еще он был претендентом, и в то время считал его кретином: «Но тем не менее, я подал голос за него из ненависти к республике, и очень многие действовали также». Я спросил, почему он так не любил республики? «Что вы хотите? Не было у меня к ним доверия. Мои друзья говорили мне: но почему же Вы им не доверяете? Я им говорю: я и сам не знаю, но я не могу заставить себя доверять, когда у меня нет доверия. Это то же, что и в религии, – я не знаю, почему это пришло, не знаю, почему ушло?»

По поводу религии завязался любопытный спор с англичанином. Тот все твердил: «Вы читали библию?» А француз отвечал ему разными рационалистическими рассуждениями в роде того, что человек не создал ни своего ума, ни своего сердца, и даже не воспитал себя, а потому не может подлежать вечному наказанию за действия,

которые проистекают от независящего от него источника; что богу, сотворившему мир, очень легко было вложить в человека, как неотъемлемую часть его природы, мысль о поклонении единому божеству, если бы это действительно было нужно для жизни, ибо всякое животное знает, что ему для жизни потребно. «Я думаю, Monsieur, что когда человек умер, то это надолго; он рождается вновь в своих детях, они в своих – так оно и идет. Что ж – таково мое мнение». А мне он шептал на ухо: «Библия – это куча глупостей первого сорта. Я думаю, что один человек бывает религиозен так же, как другой бывает игроком, третий любит женщин. Это расположение ума. А что касается духовенства, то я его не осуждаю, но я себе говорю: они делают свое дело, они обязаны его делать, я им отдаю свои два су на похоронах, или на каком-нибудь торжестве».

Я у него спросил, зачем он при таком образе мыслей отдал своих детей на воспитание духовенству. Он воскликнул: «Но я не противник религии. Я считаю, что религия очень хороша для воспитания детей и потом для несчастных. Если бы я был несчастен, я также молился бы богу; но теперь я довольствуюсь тем, что исполняя свои обязанности и не совершаю нечестивых поступков». Любопытно, что он также воспитывался духовенством, никогда не читал Вольтера, никем не был совращаем, а просто вдыхал в себя окружающий воздух. Это подтверждало меня в мысли, что старая религия ушла, а новая еще не родилась. Впрочем, он и политику считал такою же специальностью, как религию: один – купец, другой – ученый, третий занимается политикой и т. д. Власть же прежде всего должна сама себя сохранять. Император умеет это делать, и за это он его хвалит. Когда мы прибыли во Францию, наш француз еще более развеселился. Он с восторгом показывал нам прекрасное небо Франции, прекрасное солнце Франции. А англичанин, переходя в Гавре мимо кучек навоза или оборванных работников, потихоньку меня толкал и шептал мне: «Посмотрите, это все должно быть в Англии».

Я не мог, однако, не согласиться, что в сущности француз был прав в своих восторгах и в своих сравнениях. После смрадного, дымного, суетящегося Лондона, с серыми домами, с уродливыми монументами и озабоченными лицами, Париж сделал на меня светлое и отрадное впечатление. Точно я из фабрики перешел в гостиную. Мне казалось, что здесь все наслаждаются жизнью. Бульвары, кофейные, театры, рестораны, магазинные выставки, все как будто нарочно устроено для удовольствия людей, и все, действительно, пользуются доставляемыми им удобствами, с умением и не спеша. Особенно поразил меня парижский блузник, всегда опрятно одетый, смело и бодро расхаживающий с своею трубочкою среди несметной толпы. Он представлялся мне царем этого мира, сознающим свою силу и свое призвание. Демократия, которой я в то время еще глубоко сочувство-

вал, считая ее призванною к великой роли в судьбах человечества, являлась тут вышедшею из первобытной грубости и достигшею той уже обшлифованной простоты форм, которая обличает присутствие высшего просвещения. Мне казалось, что в настоящем эта демократия, слишком рано и неожиданно вызванная на политическое поприще, выносит на себе естественные последствия своего неустройства, то что в будущем ей несомненно принадлежит первенствующее положение в стране. И при всем том, не к ней лежало мое сердечное влечение, а к прошлой истории Франции, к тому несравненному умственному и политическому движению, которым ознаменовалась первая половина XIX века. Это я живо почувствовал, когда меня однажды Каченовский повел в заседание Академии нравственных и политических наук. Я был совершенно ошеломлен и очарован при виде всех этих давно знакомых мне по имени знаменитых людей, собранных вместе. В тот же вечер я написал в Москву к Е. Ф. Коршу и занес в свою записную книжку, чтобы сохранить для себя память об этом впечатлении:

«Не могу не поделиться с Вами одним из лучших впечатлений, какие я имел со времени отъезда из России. Сегодня утром мы с Каченовским были в заседании Академии нравственных и политических наук. Читались довольно скучные мемуары, но я ничего не слушал, я весь превратился в зрение. Не могу сказать Вам, какое действие произвело на меня собрание всех этих знаменитостей, которых имена были мне так хорошо известны из книг, и к которым я издавна привык обращаться с уважением. Я подсел к одному из слушателей и стал его расспрашивать об именах, как Приам расспрашивал Елену о греческих героях; только моя Елена была плешивая и в очках. Председательствовал Ипполит Пасси; подле него на секретарском месте сидел Минье. Вы не можете себе представить, что это за прелестная физиономия, сколько в ней мысли, спокойствия, благородства, добродушия и тонкости! Мы с Каченовским все время на него любовались. Подле Минье – Бартеlemi-Сент-Илер. На другой стороне зала старик Дюнуайе, с ним говорит Леон де Лавернь, далее Виллерме, Моро де Жоннес, Фаустин Эли, Лаферрьер. Я спросил об имени господина, который сидел поодаль, писал письма и все время ни с кем не говорил и не кланялся. Это был Корменен – физиономия очень умная, выразительная, но не симпатическая. Среди заседания отворилась дверь и вошел старичок с зонтиком в руках и с белою шляпою, которого все приветствовали с уважением. Я спросил: кто это? Господин Кузен. Опять отворяется дверь, входит высокий господин в синем фраке, застегнутый, лысый, с навислыми бровями, с величавой осанкой – Одилон Барро. Последний, впрочем, менее мне понравился, но у Кузена наружность чрезвычайно привлекательная: умная, подвижная, с французским добродушием, и

необыкновенно приятно улыбкою. Ведь не важный, кажется, человек: когда о нем говоришь, то обыкновенно подтруниваешь; а между тем, вид его привел меня в умиление. Не знаю, отчего, но от него, еще более, нежели от других, повеяло мне старой Франциею, блистательною эпохою Франции, с парламентскими битвами, с красноречием профессоров, с бурной журналистикой, с живою общественною жизнью, в которой было столько увлечения, столько сочувствия ко всему прекрасному, такая страсть к мысли, такая любовь к свободе, такое участие ко всему человеческому. И на всем этом лежит поэзия погибшего безвозвратно. Большая часть этих людей отжили свой век; многие из них оказались несостоятельными; но каждый совершил в своей жизни что-нибудь серьезное, каждый из них посвятил себя мысли и труду, оставил по себе след, каждый из них принимал деятельное участие в этой обаятельной среде, и жизнь его полна, имя его нельзя произнести без участия и уважения. И теперь эти люди сходятся и жмут друг другу руку в святилище, которое не подлежит влиянию политической борьбы. Тут я понял, как им должно быть горько и больно. Чтобы дополнить впечатление, надобно сходить в Пер Лашез и там видеть гробницу Бенжамен Констана рядом с монументом генерала Фуа, и Беранже, погребенного вместе с Манюэлем, с которым он не хотел разлучаться даже после смерти. Много там и других.

Каченовский познакомил меня тут с Пасси и с Воловским, который очень любезно пригласил меня к себе и завел разговор о нашей сельской общине. Мы сошлись во взглядах. Это был словоохотливый, но основательно и разносторонне образованный поляк, весьма приветливый в обращении и склонный к примирению с русскими. Он пригласил нас с Каченовским на ежемесячный обед экономистов, и тут я опять наслаждался, как молодой скиф, который, приехав в Грецию, своими глазами увидел тех людей, чьи произведения приводили его в восторг. Воловский познакомил нас с Ренуаром, Лавернем, Гильоменом, Леймари. Нас посадили по обе стороны председателя, старика Дюнуайе, с которым я вел беседу во все время обеда. После обеда тут же за столом начались прения, и я с каким-то душевным умилением слушал спокойный обмен мыслей основательно знающих науку людей. Это было именно то, о чем я мечтал у себя на родине. Как неизмеримо высоко все это стояло перед самоуверенным невежеством и высокомерною нетерпимостью моих соотечественников, которые вместо того, чтобы смиренно учиться, вздумали презрительно смотреть на всю западную науку! Я ушел вполне очарованный всем, что я видел и слышал. Мне казалось, что в мире нет ничего лучше собрания замечательных людей.

Скоро, однако, я все это покинул и отправился на юг искать других впечатлений. Настоящее пребывание в Париже было только за-

ручкою для будущего. Я остановился некоторое время в Ницце, где мои родители устроились на зиму. Радость свидания была большая; но отца я нашел не в хорошем состоянии. Непривычный к южному климату, он недостаточно остерегся, простудился и сидел большую часть в халате в своей комнате, откуда выходил только для катанья. Мы ездили с ним по прелестным окрестностям; он наслаждался южною природою, великолепием Средиземного моря, которые он тут видел впервые.

Ницца в это время была еще маленьким городком с довольно патриархальным характером, что придавало ей прелесть, ныне утраченную. Проживши здесь около месяца, мы с братом Сергеем поехали прямо в Рим, который был предметом самых пламенных моих стремлений. Я столько о нем слышал, что ожидал обрести там все, что может наполнить душу человека и вознести ее в идеальные области искусства и поэзии.

Действительность превзошла все мои ожидания. Я увидел здесь воочию всю историю человечества: и древность, и средние века, и новый мир, как бы слитые воедино и представленные в живых образах и в чудной гармонии. Прежде всего я, разумеется, побежал на Форум. Я ступал по почве, где волновались свободные граждане Рима, с их консулами и трибунами, где ратовали Сципионы и Гракхи, Цицерон и Цезарь. Передо мною лежал священный путь, по которому двигались триумфаторы, Фабриции, Фабии, Цинцинаты. Я стоял на Капитолии, в центре римского могущества и славы. Тут заседал Римский сенат, величайшее политическое собрание в истории, который в течение многих веков наполнялся славнейшими именами, руководитель политики, покоривший целый мир. Я видел Тарпейскую скалу, с которой сброшен был Манлий. Весь республиканский мир, с его суровыми доблестями, с его железною энергиею и все возрастающим величием, основанным на любви к свободе и на беспредельной преданности отечеству, восставал из пепла передо мною. Все мои классические воспоминания, мечты свободы и славы, целым роем воскресали в моей душе. В первый раз меня охватило и грустно величавое впечатление мира развалин, одинокие колонны, триумфальные арки, и этот дивный Колизей, которого изящные очертания рисовались на синем итальянском небе. Здесь каждый шаг ознаменован был историческими воспоминаниями, каждый камень говорил воображению. Я всходил на Палатин первое поселение древних римлян, и оттуда, с величественных развалин дворца цезарей, открывался очаровательный вид на холмы вечного города, на пустынную Кампанию, перерезанную красивыми арками водопроводов, на синие горы далекого Лациума. Со священным трепетом сходил я в Подземелье, где некогда хранились останки Сципионов, с почтением, подобающим древности, смотрел на квадратные камни укреп-

ления, восходящего ко временам мифического Ромула, на стену Севии Тулия, на построенный Тарквиниями громадный свод Клоака Максима, поныне служащий главной артерией городской канализации. И, наконец, насмотревшись всех наполняющих вечный город вековых памятников, насытившись впечатлениями, я при заходе солнца шел на Понто Ротто, где подо мною струились мутные волны исторического Тибра, а кругом в вечернем зареве сияли холмы.

Но не один древний Рим воскресал в моем воображении. В нетленных памятниках восставала и древняя Греция, с ее богами, героями и великими людьми. Я шел в Ватикан, и здесь видел дивные создания греческого искусства, собранные в одно величавое и гармоническое целое. Не в первый раз мне доводилось осматривать музеи скульптуры, но нигде они не производили такого впечатления. В других странах музеи представлялись мне не больше, как музеями, то есть собраниями статуй, вырванных из своего родного места и перевезенных на чужбину для услаждения или поучения публики. Здесь же весь мир богов и героев являлся мне как бы в настоящем своем святилище; они казались поставленными тут не для осмотра, а для поклонения. С таинственным благоговением входил я в освещенные сверху капеллы, где недвижно стояли Меркурий. Лаокоон, Аполлон Бельведерский, всех более поразивший меня своею красотою. Колоссальный бюст Зевса Олимпийского, отца людей и богов, движением бровей потрясающего землю, давал смутное понятие о погибшем произведении Фидия, перед которым преклонялась вся древность. Великолепная голова Менелая воскрешала в памяти могучие образы героев Илиады; Силен, няньчащий младенца Диониса, грациозные фавны, улыбающиеся сатиры, пляшущие менады вызвали представления вакхических торжеств, упоительных праздников ликующей и возрождающейся природы. И рядом с этим я видел как бы живого Демосфена, сверкающего очами и говорящего пламенную речь афинскому народу; передо мною стоял изящный образ Софокла, полная правды и простоты статуя Еврипида, покрытая шлемом голова Перикла. В Риме в первый раз я почувствовал всю обаятельную прелесть классических форм, всю чистоту, возвышенность и изящество греческого искусства, развернувшегося, как преходящий цвет весны на заре исторического развития, и оставившего человечеству недосыгаемые типы красоты.

Но стоило перейти в другое отделение Ватикана и перед очами открывался другой дивный мир, мир христианского искусства нового времени, достигшего высшей степени совершенства в произведениях Рафаэля и Микель-Анджело. Здесь в заимствованные у древности и никогда не стареющие формы вливалось новое содержание. С одной стороны, все библейское величие изображалось на потол-

ке Сикстинской капеллы, в этих колоссальных пророках и сивиллах, в могучей фигуре бога, творящего светила или оживляющего тело человека; с другой стороны, вся евангельская чистота и возвышенность, соединенные с неподражаемой грацией и изяществом, выражались в фресках великого урбинского художника. Афинская школа на одной стене и Disputa* на другой представляли как бы идеальную сущность всего языческого и христианского мира. Много раз ходил я любоваться и этим дивным Моисеем, единственной статуей нового времени, которая, несмотря на свою совершенно своеобразную форму, может по глубине и величине сравниться с отборными произведениями древности.

И как бы связью этих двух миров, древнего и нового, хранителем всех собранных тут сокровищ, являлось живое предание средних веков, римское папство, окруженное всем блеском и великолепием католического церемониала. Оно одно царило в Риме, еще не затронутым веянием новых идей и не опошленным натиском современности. Здесь все носило печать этой теократической власти, к подножию которой некогда склонялись земные цари и которая сохранилась непоколебимой среди всех превратностей истории. Здесь, в центре своего духовного могущества, она воздвигла себе как бы вселенский престол в величайшем произведении нового зодчества, в храме св. Петра, который по своим величавым размерам и по изяществу линий превосходит все, что мне доводилось видеть и прежде и после. В нем нет таинственной прелести готических соборов, где волшебный полумрак и глубокие звуки органа под стрельчатыми сводами призывают душу к благоговейной молитве и возносят ее в невидимый мир: это – храм, созданный для великих торжеств, для радостно настроенного народа; в нем есть что-то светлое, пышное и праздничное. Это – настоящий храм для католических церемоний, где папу несут на престоле, окруженного толпой кардиналов и епископов, в красных и фиолетовых мантиях, где происходит всенародное благословение города и мира. Я много видел этих церковных торжеств и любовался их великолепием, хотя должен сказать, что все в них казалось мне больше рассчитанным для глаз, нежели для души. Особенно чувствуется отсутствие наполняющей храм толпы великих и убогих, соединенных в общей молитве. Когда я в день Рождества Христова вошел в базилику св. Петра, меня неприятно поразили ряды солдат, устранивающих чернь и впускающих в запретное место вокруг алтаря только одетых во фрак иностранцев, собравшихся тут для зрелища. Глядя на все эти художественно организованные процессии и службы, обставленные самыми высо-

* Афинская школа и Спор о таинстве евхаристии – фрески Рафаэля Санцио в Ватиканском дворце папы в Риме.

кими созданиями искусства, я всякий раз с любовью вспоминал иное, гораздо более скромное религиозное торжество, которое далеко не отличается такую пышностью и блеском, но гораздо сильнее действует на душу. Я вспоминал, как на светлый праздник в тишине собирается народ на Кремлевской площади, как при первом ударе колокола Ивана Великого, все молча снимают шапки и осеняют себя крестным знаменем, и вслед затем по всей Москве пойдет неумолкающий гул бесчисленных колоколов. И после торжественного благовеста, призывающего всех православных к молитве, начинается ликующий, оглушительный трезвон, возвещающий великий праздник Воскресения. В благоговейном ожидании толпится на площади народ с зажженными свечами, и вот один за другим, идут вокруг соборов крестные ходы, с хоругвями, иконами, с облеченным в праздничные ризы духовенством и с радостным пением: Христос воскрес!

Полтора месяца, проведенные в Риме, были для меня событием в жизни. Я чувствовал себя как бы вырванным из земли и перенесенным в очарованный мир. Это было непрерывающееся восторженное состояние. Душа надолго насытилась возвышенными впечатлениями. Тут я впервые вполне понял высокий мир искусства и с тех пор сделался навсегда его поклонником и любителем. Мы с братом вставали рано и тотчас, напившись чаю, бежали осматривать музеи, церкви, развалины, ходили по Аппиевой дороге*. Окрестности ее возле Капенских ворот служили местом погребения знатных римских родов. Часть гробниц сохранилась до нашего времени, а по вечерам погружались в изучение книг по части древностей и искусства. Так незаметно летели дни полные наслаждения.

Я познакомился в Риме с двумя людьми, которые могли быть руководителями и пособниками в этих занятиях, с Ампером и Грегориусом. Я был им рекомендован баронессою Раден. Ампер был прелестный тип старого француза, живой, тонкий, разносторонне образованный, со свойственной его народу учтивостью и общительностью, с поэтическим полетом мыслей и чувств, в высшей степени обладавший французским даром вести разговор разнообразный и привлекательный, затрагивающий все стороны человеческого духа. Он знал Рим, как свои пять пальцев, не только как археолог, но как историк и поэт. Я не раз совершал с ним большие прогулки, и всегда это было для меня истинным наслаждением. Он знал историю и предания каждого места, по которому мы проходили: вот народная Субурра, где поселился Юлий Цезарь, когда хотел угождать черни; вот тропинка, по которой плебей Марциал ходил к своему приятелю Плинию младшему, жившему в аристократическом квартале; вот где

* Via Appia из Рима в Капую проведена в 312 г. до н. э. цензором Аппием Клавдием Цеком.

Сулла, сделав обход, разбил Мария; здесь Гораций встретил надоедаду. В галереях Ампер знал каждый бюст, объяснял характер лиц и выражение физиономий. И все это он пересыпал суждениями о современном порядке вещей. Он терпеть не мог ни древнего, ни нового цезаризма и всю душою скорбел о падении своего отечества.

Весьма приятен, хотя далеко не так привлекателен, был Грегоровиус, который в это время работал над своею «Историю города Рима в средние века». У него не было тонкости и изящества Ампера, но были солидные качества немца. Он был очень образованный человек, без национальных предрассудков, хотя исполненный патриотизма, с либеральным направлением, неутомимый архивный труженик, а вместе с тем одаренный чувством поэзии и художества. У немца, особенно молодого, эти различные свойства не всегда сочетаются в гармонической форме. У Грегоровиуса из этого проистекала некоторая манерность и претенциозность, которая усиливалась стремлением к светскому лоску и отражалась на самом его слоге. Оттого его история, при всех своих достоинствах, вышла каким-то странным произведением, полуученым и полухудожественным, отличающимся отсутствием простоты. Но в личных отношениях он был и поучителен и приятен. Мы также делали с ним большие прогулки за город.

Мы вернулись в Ниццу к свадьбе брата. От Рима во Флоренцию в то время не было еще железной дороги. Мы поехали в курьерской коляске, которая довезла нас до границы папских владений, а там должен был взять нас курьер из Флоренции. Но, по обыкновению, последний опоздал, и мы принуждены были провести несколько часов в Аквапенденте, в грязной гостинице, где нам дали отвратительную еду и морили холодом. Погода была скверная, кругом все сыро и грязно. Мы невольно вспомнили свой родной русский Ряжск, ненавистную нам станцию на полпути между Тамбовом и Москвой. Пошли бродить по городу и увидели, что все-таки это не Ряжск. Тут люди жили и понимали искусство. Кой-где встречались следы архитектуры, какой-нибудь изящный портик или старинные ворота, вделанные в новый дом. Зато в Ряжске можно было иметь теплую комнату и чай.

Но подобные впечатления возвышали только прелесть путешествия. Я был в таком упоении, что уговорил мать поехать с сестрою дней на десять в Рим, обещаясь быть их путеводителем. Отцу нельзя было двигаться; он их отпустил и остался с братом, а мы после свадьбы отправились по Корнишь, через Геную, Флоренцию и Сиену. Это был ряд самых очаровательных впечатлений. Мои спутницы были в полном восторге, и я рад был, что настоял на этой поездке. Показав им в Риме все наиболее замечательное, я посадил их на пароход в Чивита Веккиа, а сам отправился в Неаполь посмотреть на самую красивую природу, какая, может быть, существует на земном шаре.

Здесь в дивной гармонии соединяется все, что может пленить чувства человека: край, издавна манивший своею красотою, полный исторической и современной жизни, как бы лелеющийся на солнце под безоблачным нежным небом, при ярко голубом море; кругом ласкающий воздух, напоенный ароматами, плавные линии гор, помаранчевые рощи и стройные пинии и над всем этим величественный и вместе удивительно красивый Везувий с дымящеюся вершиною, который, как одинокий великан, вздымается над равниною, словно любясь расстилающеюся у ног его прелестью. Осмотрев Неаполь и его богатые музеи, посетив Помпеи, которые после величавых развалин Рима показались мне сохранившимся иод пеплом уездным городом древности, я поехал в Сорренто, где во всей своей волшебной роскоши представляется вид Неаполитанского залива. Сидя на висящей над морем скале, я вдыхал в себя этот упоительный воздух и любовался закатом солнца, тихо погружающегося в море и озаряющего своими золотыми лучами эту очаровательную картину. Рано утром я встал и пошел на Капо ди Манте. Там я долго сидел и не мог наглядеться на восхитительное зрелище, которое открывалось моим взором: у подножия лежал гладкий, как зеркало, отражающий голубое небо, Неаполитанский залив; налево рисовались на горизонте дымчатые, очертания замыкающих его островов, величественного Капри и изящного Иския; впереди расстилающийся полукругом Неаполь и весь усеянный виллами берег; справа поднимающийся плавными линиями высокий Везувий, увенчанный легким дымком, кругом яркая зелень апельсиновых рощиц с перемешанными между ними розовыми цветами персиков и блистающими на солнце каплями недавней росы, все это облитое тихим сиянием апрельского утра с носящимся в теплом и влажном воздухе весенним благоуханием. Это одно из тех впечатлений, которые не забываются ввек. Из Сорренто я поехал на Капри, любовался ярко голубой прозрачностью воды с серебристыми блесками в знаменитом Лазоревом гроте, затем въехал верхом на осле на высокую, отвесно вздымающуюся над морем скалу Тиберия, некогда любимый приют сумрачного деспота, отсюда правившего миром. Опять мне представился тот же вид, в меньшей прелести, но в еще большей величии: с одной стороны далеко внизу, весь окаймленный горами и поселениями Неаполитанский залив, а с другой стороны безграничная, бездонная лазурь и наверху и внизу, лазурь сияющая таким удивительным блеском и манящая к себе, такую чудною глубиною, что очарованный взор так в ней и тонет и не в силах от нее оторваться. Казалось, выше этого ничего уже нет; однако, еще больше впечатления произвели на меня Амальфи и вся дорога до Салерно по берегу моря. Я видел северную ривьеру от Ниццы до Специи и думал, что в мире не может быть ничего красивее этого сочетания величественных скал и лазурного

моря, с дорогою, извиною по берегу, украшенному противоположно зеленью померанцев и олив, со всюду ползущими растениями по оврагам, и с живописно раскинутыми местечками и городками, где самые простые постройки просятся на картину. То же самое я увидел и на южной ривьере, между Амальфи и Салерно, но в еще большем величии и красоте: здесь скалы еще живописнее, море сияет еще более яркою лазурью. Амальфи в особенности представляет такое очарование, с которым ничто не может сравниться. Внизу долина мельниц, с ревущим по ней потоком среди грозных теснин, у подножия которых тянутся покрытые фруктами апельсиновые рощи, пещеры, убранные лезущими отовсюду вьющимися растениями, живописные арки, перекинутые через клубящиеся воды, мельницы с крутящимися колесами, представляет как бы клочок Швейцарии или Тироля, перенесенный в роскошную природу юга и освещенный полуденным солнцем; наверху великолепное Ровелло с сарацинскими развалинами, вознесенное высоко над морем, откуда вид простирается в бесконечную лазурную даль: все это вместе является какою-то волшебною сказкою или поэтическим видением из другого мира.

Я доехал и до Пестума, видел удивительно сохранившиеся древние дорические храмы, возвышающиеся среди пустынной равнины во всей их гармонической простоте и изяществе. Но рядом с этим, как водится с путешественниками, пришлось натолкнуться и на впечатление совершенно другого рода. Я прибыл в Каstellамаре с намерением ехать в Амальфи и Пестум. Прихожу в гостиницу, чтобы закупить перед дорогою и сажусь за стол. Возле меня завтракает какой-то господин весьма приличной наружности с большою черною бородою. Он заводит разговор по-итальянски: я отвечаю тем же. Сначала речь идет о прекрасной погоде; я говорю, что хочу воспользоваться ею, чтобы съездить в Пестум. «Я никогда там не был, – сказал он, – хотите, я поеду с вами?» Меня очень удивило это неожиданное предложение со стороны совершенно незнакомого человека; но я вижу: имеет вид порядочный; я согласился. Оказалось, что это был англичанин, и притом переводчик Тассо, сэр Кингстон Джемс. Он был весь погружен в свой перевод «Освобожденного Иерусалима» и не раз дорогою пытался читать мне свои стихи. Но я все его уверял, что увлекаясь прелестными видами, буду слушать рассеянно. В Салерно. пришлось ночевать в одной комнате, так как в гостинице не было другого свободного номера. Как только мы в ней поместились, он тотчас вынул тетрадь из своего чемодана и воскликнул с торжеством: «вот они!» Но тут уже пора было спать, и я попросил его отложить чтение до нашего приезда в Ла Кава, где мы на следующий день должны были обедать. Однако, он не вытерпел и на обратном пути из Пестума, сидя со мною в коляске, сказал: «Нет, я вам все-таки прочту свои стихи». И

тут же начал декламировать свой перевод. Это было однако же только прелюдиею. Когда мы прибыли наконец в Ла Кава я пошел к себе в комнату, а он взялся заказать обед. Прихожу в столовую и вижу: стол накрыт, камин пылает, а мой англичанин расположился на диване с толстою тетрадью и с книгою. Как только я вошел, он тотчас вручил мне книгу и сказал: «Вы следите по оригиналу, а я вам буду читать свой перевод». При чтении он поминутно останавливался и восклицал: «Не правда ли, как верно? Вы не удивляетесь?!». Я, разумеется, поддакивал. Едва мы успели проглотить обед, как он опять принялся за свое чтение. Так мучил он меня весь вечер. Это было одно из первых моих знакомств с англичанами. «Вы очень удивились, когда я предложил вам ехать вместе? – спросил он меня. – Англичане обыкновенно имеют репутацию, что они нелюдимы. Но это происходит от того, что мы не любим вступать в сношения с своими соотечественниками за границею. Бог знает, к какому обществу они принадлежат, и в какие придется стать с ними отношения в Англии. А с иностранцами это не имеет дальнейших последствий». Последствий наше знакомство действительно не имело. Он дал мне свою карточку, прибавив, что когда я приеду в Англию, его перевод вероятно уже выйдет в свет. Но когда я в следующем году путешествовал в Англии, он был за границею. Лишь мельком я наткнулся на него раз в Гамбурге при рулетке, где мы впрочем оба были только зрителями.

Я совершил восхождение и на Везувий, и притом в особенных обстоятельствах. В то время было извержение, но не из кратера, а из бокового ущелья. Ночью из Неаполя виднелась огненная полоса, как горящие угли. В Неаполитанском заливе стояли тогда два русских фрегата, на одном из которых был Григорович. Однажды мы обедали в ресторане с ним и с двумя капитанами. Они предложили съездить ночью на Везувий посмотреть извержение. Большое шоссе было перерезано лавою; мы наняли ослов и взяли проводников, которые должны были вести нас окольными путями. Дорога в ночной темноте была убийственная; мы карабкались по невероятным тропинкам, а иногда и вовсе без тропинок, по крутым скатам и кустарникам. Наконец, после трех часов такой езды, мы совершенно измученные добрали до Эрмитажа. Тут мы думали несколько отдохнуть, но нашли только крошечную комнату с несколькими деревянными стульями. Спросили поесть; ничего не было. Монах принес нам только бутылку вина, которая оказалась уксусом, так что в рот нельзя было взять. Что было делать? Мы решились пешком, через груды лавы, идти на то место, откуда видно было извержение. Шли, шли, медленно подвигаясь с помощью факелов во тьме кромешной, по невообразимым кочкам, на которых можно было переломать себе ноги. Вдруг проводники объявили, что у них факелы погасли, и что надобно возвращаться назад. Тут уже я взбунтовался и решительно

сказал, что останусь сидеть на лаве, пока они не вернутся с новыми факелами. Так мы и сделали. Насилу, наконец, мы добрались до желанного места. Но тут перед нами открылось действительно невиданное зрелище. Мы стояли над извержением и видели под собою долину, представляющую настоящий ад. Огненные потоки беспрерывно, то здесь, то там, пробивались сквозь землю и текли медленными ручьями, пока постепенно не застывали. Воздух наполнен был смрадом, а лава кругом была такая горячая, что один из проводников завернул в кусок мягкой лавы медную монету, которую я сохранил. Налюбовавшись этим необыкновенным зрелищем, мы съехали обратно и к утру уже остановились отдохнуть в Геркулануме.

Из Неаполя я прямо проехал во Флоренцию, которую дотоле видел лишь мельком. Мне хотелось ближе узнать этот знаменитый город, некогда центр и рассадник итальянского искусства, произведший столько великих людей во всех сферах человеческого духа, отчество Данте, Макиавелли, Галилея, Бруннелески, Леонардо, Микель-Анджело. Прошли времена бессмертной его славы, но неувядающие памятники искусства сохраняют следы их для потомства и свидетельствуют о полноте духовной жизни, которая кипела здесь несколько веков тому назад. Изучивши в Риме искусство, древнее и новое на высшей точке совершенства, я мог уже с большим пониманием проследить постепенное его развитие от первых опытов Чимабуэ и Джотто до великих мастеров конца XV века. Здесь я мог в изумительном разнообразии произведений оценить просветленную чистоту и нежность Беато Анджелико и эпическую силу Гирландайо*. С невольным благоговением входил я в тесные и голые кельи монастыря св. Марка, каждая из которых украшена проникнутою глубоким религиозным чувством кистью великого художника, жившего в этой обители, и в тихом восторге останавливался я затем перед полною благочестивого умиления фрескою – Распятие. Кажется, из уст всех этих поклоняющихся висящему на кресте богу святых вылетают молитвы и как фимиам возносятся к небу. Но любимым моим местом в то время, был Карминэ, где я много раз ходил изучать фрески Мазаччио, этого слишком рано умершего гения, который впервые откинул условные формы и внес жизненную правду в область христианского творчества. Нигде, как во Флоренции, так ясно не раскрывается христианское искусство во всех основных своих мотивах, в его возвышенной чистоте полной глубокого внутреннего содержания. Нигде так резко не выступает различие между древним искусством и новым. Первое шло от формы к содержанию, второе, наоборот, от содержания к форме. Меня по-

* Чимабуэ Джованни (ок.1240 – 1302), Джотто ди Бондоне (1266 – 1337), Анджелико Беатто (1400 – 1455), Гирландайо Доменико (1449 – 1494) – итальянские живописцы, представители флорентийской школы.

ражало то, что в архаических статуях Греции мы находим уже вполне развитые, и изящные очертания человеческого тела, тогда как лица представляют еще чистые маски; у художников времен Возрождения, напротив, при сухом и часто неправильном рисунке тела, лица полны выражения, и лишь мало-помалу это духовное содержание облекается в классические формы, и, наконец, проникает их насквозь. Три украшающие флорентийские музеи прелестные мадонны Рафаэля представляют это взаимное проникновение идеи и формы в высшей своей гармонии. Но в ваянии я все-таки отдавал безусловное предпочтение древности. Восторгаясь произведениям новой скульптуры, которыми изобилует Флоренция, полными жизни и силы статуями Донателло, знаменитыми дверьми Гиберти, где с изяществом соединяется удивительная оконченность работы, колоссальным Давидом Микель-Анджело и могучими фигурами капеллы Медичи, я не мог, однако, не признать, что все это не достигает неподражаемой красоты античных образцов, которые я видел в Риме.

Я любовался и прелестными зданиями, составляющими переход от средневекового готического стиля к изящной архитектуре времен Возрождения: грациозной мраморной Канпанилой, полной статуй Лоджиа деи Ланца, церковью Ор Сан Микеле*, где кругом, по наружным стенам, стоят изваянные великими флорентийскими художниками изображения святых. Но более всего привлекла меня внутренность флорентийского собора, в котором таинственный полумрак готических церквей соединяется с закругляющимся простором, свойственным храмам нового времени. Меня пленяла изящная простота линий, представляющая переход от остроконечной вычурности средневекового стиля к пышности и блеску св. Петра. Это истинный храм периода Возрождения, где выступают уже все основные элементы нового времени, но еще обвитые пеленками, в каком-то смутном предчувствии, как бы предугаданные художественным чутьем. Только купол, расписанный Вазари, всегда приводил меня в негодование и портил гармонию впечатления.

Наконец, самые мелкие подробности, украшения церквей, резные изделия, в особенности же рассеянные всюду прелестные майолики школы делла Роббиа свидетельствуют об изумительном богатстве и разнообразии человеческого творчества в эту эпоху духовного пробуждения. В каждом углу Флоренции можно найти печать великого художника; везде разбросаны следы такого жизненного строя, где искусство было всепроникающим элементом и все носило на себе образ красоты.

* Церковь Or san Michele – Norreum sancti Michaelis – Житница св. Михаила, названа так потому, что здание ранее служило местом склада зерна. Построено в 1380 г. Симоне Таленти.

Во Флоренции у меня завелись интересные знакомства. Воловский дал мне письмо к профессору Корриди, милейшему итальянцу, благодушному, приветливому, образованному, а тот повел меня в знаменитый кабинет чтения Виессё и познакомил с стариком, у которого по вечерам собирались итальянские литераторы и политические люди. Это была для Италии важнейшая минута. Уже приближался час ее освобождения. Людовик-Наполеон произнес свое знаменитое слово австрийскому посланнику на приеме 1 января: отношения были самые натянутые. Австрия вооружалась, и Пиэмонт, со своей стороны, готовился к борьбе в надежде на опору Франции. Все ждали, что с минуты на минуту вспыхнет война. Между итальянскими патриотами, собиравшимися у Виессё шли оживленные разговоры. Все взоры устремлены были на Турин.

Туда я направился, посетивши наперед Болонью, Модену, Парму и Пьяченцу. В Болонью я попал в воскресный день и утром отправился в картинную галерею, где не было ни души. Обежав холодные произведения Болонской школы, я остановился в восторге перед св. Цицилией Рафаэля. Как нарочно, в эту минуту по всему городу звонили колокола, и серебристые их переливы проникали через окна потолка в освещенную сверху галерею. Казалось, это была какая-то льющаяся из горнего мира небесная музыка, та самая, которую разыгрывали ангелы, изображенные на картине, а стоящие на земле святые заслушались этих дивных звуков, уносящих их в райские страны. Я стоял очарованный и долго не мог оторваться от этого впечатления.

Всего более, однако, поразила меня Парма, произведениями Корреджио*, которого здесь только можно вполне понять и оценить. Я не мог налюбоваться этою бесконечною грациею и нежностью, переходящими иногда в чувственность, но доведенными до такой степени прелести и поэзии, в которой исчезает уже все материальное, и остается лишь какой-то неизъяснимо сладостный трепет, какое-то чарующее веянье красоты. Вознесение богородицы в куполе Пармского собора представляет всеохватывающее, безумное ликование прелестных форм, уносящихся в выпренье пространства. Все эти нежные ангелы с странными взглядами являются существами, принадлежащими к неведомому, волшебному миру, в котором нет ничего земного и царствует только безграничное чувство неги и упоения.

В Турин я приехал в самую роковую минуту. Австрия первая объявила войну и двинула свои войска в надежде нанести решительный удар, прежде нежели приспеют французы. Весь вопрос состоял в том, насколько последние будут в состоянии предупредить врагов. Понятно, с каким восторгом встретили пиэмонтцы первое появление же-

* Корреджио Антонио Аллегри (1494 – 1531), знаменитый итальянский живописец.

ланых союзников на итальянской почве. Весь Турин двинулся им навстречу на станцию железной дороги. Я тоже был тут, вместе со всем русским посольством. И как только стали вылезать из вагонов красные панталоны, ликование было всеобщее и неумолкающее. Затем прибывал батальон за батальоном, и все они, бодрые, уверенные в победе, украшенные венками, быстрыми и мерными шагами двигались среди несметной толпы громко приветствующего их народа. С утра до вечера в Турине раздавались непрерывающиеся клики. Мне невольно вспомнились стихи Беранже:

Les national, reines par nos conquetes
Ceignaient de fleurs les fronts de nos soldats.*

Я видел воочию то, что казалось легендой давно прошедших времен. Даже согбенная под императорским деспотизмом Франция исполняла освободительное свое назначение, за которое она так дорого должна была поплатиться.

Вместе с нашим посольством я поехал смотреть на приезд Людовика-Наполеона в Геную. Это было также зрелище, которого нельзя забыть. Пышная Генуя с ее великолепными дворцами, приняла праздничный вид. Улицы и дома были убраны коврами и флагами; вся гавань, с несметными наполняющими ее кораблями, была усеяна цветами. День был чудный; солнце в полном блеске озаряло эту радостную картину. Когда приблизилось судно, несущее императора, восторг был необъятный: оглушительные крики сопровождали его на всем пути. Это была, можно сказать, лучшая минута в жизни этого исторического лица, перешедшего через такие изумительные перемены высоты и падения. Вечером зрелище было, может быть, еще красивее. Весь город и гавань были иллюминированы. При блеске огней, изящные дворцы с висящими из окон роскошными коврами, с всюду веющими флагами, с перетянутыми через улицы гирляндами, под которыми двигались массы народа, восторженными криками приветствовавшего всякого появляющегося среди них французского солдата, все это представляло такое удивительное сочетание внешнего великолепия и национального одушевления, какое редко можно встретить в жизни. Я весь был наэлектризован. Электричество носилось в воздухе и поднимало дух всякого, кто вступал в эту атмосферу. Давно ожидаемая минута настала, минута возрождения и надежд. В близком будущем виднелось освобождение от иноземного ига, веками тяготевшего над страной, украшенной всеми дарами природы, но издавна угнетенной людьми, составлявшей приманку для могучих соседей. Для Италии вставала заря новой жизни; свободная и единая, она приоб-

* Возрожденные нашей победой народы
Увенчали цветами французских солдат.
Перевод С. П. Григоровой.

ретала возможность выказать все силы, лежащие в глубине народного духа. Здесь зажигалась искра, которая могла иметь значение для всего человечества, которая лицу мира могла дать новый вид. Под влиянием всех этих впечатлений, я написал восторженные «Письма из Италии», которые послал в Москву Н. Ф. Павлову. Он в этом году получил разрешение на издание еженедельной газеты «Наше время» и просил моего сотрудничества. Это был мой вклад, памятник моих тогдашних впечатлений, а вместе единственное, что я писал на русском языке во время путешествия за границу. Как скоро, увы, этим светлым мечтам суждено было рассеяться! За минутами восторга обыкновенно для народов настает пора тяжелых испытаний. Приходится применять к жизни то, к чему так пламенно стремилась душа, а это составляет задачу долгого и трудного исторического процесса, в течение которого попеременно наступают периоды подъема и угнетения. Всего чаще превратность судьбы постигает самих двигателей великих событий. Когда Людовик-Наполеон явился в Геную освободителем Италии, он не подозревал, что надевает себе петлю на шею. За Италией двинулась Германия и престол его рухнул и человечество, вместо свободы, обрело военную дисциплину.

Я не стал дожидаться в Турине окончания войны, которая могла затянуться. Первый год моих странствований кончился, и я хотел приняться за научную работу. С этою целью я в конце мая поехал в Гейдельберг, где думал слушать лекции Роберта Моля, знаменитейшего в то время ученого по части политических наук. Из бурной среды военного грома и политического движения я вдруг перенесся в мирный немецкий уголок, где студенты в цветных вышитых шапочках гуляли с собаками, а старые профессора, по прочтении лекции спокойно расхаживали по бульвару. Эти профессора, однако хорохорились. «Мы двинемся на Париж, – говорил мне Моль. Но когда пришли известия о сражениях при Мадженте и при Сольферино*, они не на шутку струсили. «Что с нами теперь будет?» – восклицал тот же Моль. Когда же последовал приказ о мобилизации, в населении поднялся ропот, и Баденское правительство принуждено было объявить всенародно, что война не шутка, что на удобства в ней рассчитывать нечего, и что бывают даже такие трудные времена, когда людям приходится спать без матрасов. Меня все это забавляло и я понимал, до такой степени, при таком настроении, южным немцам должен быть противен Берлин с его милитаризмом. Только слава немецкого оружия и приобретенное им невиданное могущество могли впоследствии побороть эти

* Сольферино, местечко в северной Италии, где 24 июня 1859 г. произошла битва между австрийскими и соединенными итальянскими и французскими войсками. Последствием ее был предварительный мир, заключенный в Виллафранке 11 июля 1859 г., по которому австрийцы должны были очистить Ломбардию.

чувства. Виллафранкский мир на время положил конец всем опасениям.

Приехав в Гейдельберг, чтобы слушать лекции Моля, я не нашел, однако, того, чего искал. В летний семестр Моль не читал энциклопедии политических наук, а читал немецкое право. Прослушав две, три лекции, я увидел, что они не принесут мне ни пользы ни удовольствия. Искать лекций по общему государственному праву в других университетах было уже поздно, да и справиться было негде. Поэтому я решил пока изучить все существующие учебники как новые, так и старые: Моля, Блунчли, Цахарие, Шмитгеннера. Скоро я увидел, что это все, что мне было нужно. Слушать общий курс весьма полезно для человека, которому это еще заново, у которого не выработались собственные взгляды. А я достиг уже той степени зрелости, когда мне для пополнения моих сведений нужно было главным образом живое и подробное, а не приобретаемое на студенческой скамье, более или менее элементарное знакомство с учреждениями. Вследствие этого я слушание курса политических наук вычеркнул из программы своего путешествия. Я решил в Германии ограничиться посещением важнейших университетов и знакомством с известнейшими профессорами, после чего я хотел ехать в Англию и Францию для изучения учреждений этих двух стран на местах.

При всем том, пребывание в Гейдельберге осталось для меня не без пользы. Я часто посещал Моля, к которому у меня было рекомендательное письмо от Капустина. Он принимал меня очень любезно, и я всегда выносил много дельного из его бесед. У него не было ни блеска, ни глубины, ни той тонкости и оригинальности, которые отличали Штейна; но ум был чрезвычайно твердый, трезвый и разносторонний. Литературу предмета он знал, как никто, и умел ценить по достоинству всякую книгу и всякого писателя. Несмотря на недостаток философского образования, он не думал отрицать метафизику и самые философские сочинения обсуждал умно и всесторонне, стараясь выяснить их значение для юридической области. Патриот и либерал, он не увлекался мечтами, не страдал преувеличенной теотоманией, а смотрел на вещи прямо и практически. Дара слова он не имел и лекции читал, бормоча себе что-то под нос; но они были полны содержания, и если бы я хотел в подробности изучить немецкое право, я не мог бы найти лучшего руководителя. Точно так же и разговор его, не блестящий и даже не живой, был всегда поучителен. Он хорошо знал людей и рассказывал много интересного о Франкфуртском собрании, где был министром юстиции. Он принимал вечером, за чаем, в семье, состоявшей из жены и дочери, умной девушки, которая вскоре потом вышла замуж за Гельмгольца.

Кроме Моля, я познакомился в Гейдельберге с другим деятелем того же профессорского парламента, положившего начало единству

Германии, со стариком Велькером, некогда знаменитым оратором Баденской палаты, пламенным патриотом, автором предложения о поднесении императорской короны прусскому королю. Он в старости был так же горяч, как и в молодости, особенно когда говорил о Германии, но с этим у него соединялось добродушие старого немецкого профессора, которое всегда меня привлекало. Я познакомился и с знаменитым Бунзеном, который так же как и Велькер, жил на покое в Гейдельберге. Ученый и дипломат, близко знавший знаменитейших людей своего времени, он в беседе был и занимателен и поучителен. Вообще Гейдельберг, расположенный в приятной долине на берегах Неккара, с живописными развалинами старого замка, с великолепными деревьями, с прелестными прогулками по окрестностям, представлял привлекательное место покоя для ученых стариков, которые пользовались тут и общением с профессорами университета. Но именно вследствие приятности жизни и красоты местоположения, он мало располагал к университетским занятиям. Моль говорил мне, что вообще студенты в Гейдельберге серьезно не учатся, а более гуляют с собаками и занимаются кнейпами.

Тут было, однако, чему поучиться. В этом маленьком уголке Германии было такое собрание выдающихся ученых, что ему мог бы позавидовать любой университет. Это был научный центр в полном смысле этого слова. Кроме Моля тут преподавал знаменитый Миттермайер, один из ученейших криминалистов Германии, в то время уже очень преклонных лет, романист Вангеров, первый знаток пандектов*, воспитавший многие поколения юристов, историк Гейссер, который читал тогда историю французской революции. Я из любопытства пошел его послушать и как раз попал на знаменитые его лекции о Мирабо, живые, картинные, полные политического смысла! По другим отраслям науки университет украшался еще более славными именами. Часто можно было видеть гуляющими вместе три светила современного естествознания: гениального Гельмгольца, химика Бунзена и физика Кирхгофа. Я в то время вовсе этим не занимался, но часто виделся с молодыми русскими естествоиспытателями, которые слушали лекции в Гейдельберге, с физиологом Сеченовым и окулистом Юнге. Оба были студенты Московского университета и вскоре потом сделали профессорами Петербургской медицинской академии. Сеченов был совершенно влюблен в Гельмгольца и уверял, что у него глаза, как у Сикстинской мадонны. Сам Сеченов был чрезвычайно приятен в личных отношениях. Мягкий, обходительный и живой, всегда ровного характера, он в то время уже был совершенно проникнут материалистическими идеями, но без всякой заносчивости. Мы с ним вели горячие споры о свобо-

* Пандекты – название одного из отделов римского права, по которому так стали называться курсы римского права в немецких университетах.

де воли. Естествоиспытателю, не знающему ничего, кроме своей специальности, не трудно впасть в такую односторонность, а Сеченов, к тому же, имел несчастье прочитать психологию Бенеке. При полном отсутствии всякого философского образования, такое отрывочное чтение могло только сбить с толку неприготовленный ум. Он и принялся поверхностными скачками выводить психологию из физиологии, что, конечно, не имело ни малейшего научного основания и вело лишь к тому, что в точные методы исследования вводилось логическое фантазерство. Это не мешало впрочем ценным его работам в чистой области физиологии. В бытность мою в Гейдельберге приехал туда и Менделеев, тогда еще очень молодой. Но это было уже перед самым моим отъездом, и я только раз провел с ним вечер.

Долго оставаться в Гейдельберге при провалившемся моем плане не было никакой нужды. Вследствие этого я поехал в Эмс на свидание с родителями. Отец, полечившись довольно неудачно в Париже, пил там воды. Я нашел его бодрым и свежим. Следов болезни почти не было. Он много ходил, и я, пожив с ним некоторое время, уехал, совершенно успокоенный на его счет. Мне в голову не приходило, что я вижу его в последний раз.

Я поехал сперва на несколько дней в Остенде, на поклон к великой княгине Елене Павловне, которая опять пользовалась там морскими купаниями, а оттуда через Париж в Швейцарию, где я хотел походить по горам. В Париж я попал как раз на 15 августа, Наполеонов день, когда назначено было торжественное вступление итальянской армии. Никогда в жизни я не видал такого скопления народа. С самой северной границы в поезд начали садиться массы пассажиров, которые спешили к празднику, и количество их все увеличивалось по мере приближения к Парижу. Вместо того, чтобы прибыть в девять часов вечера, поезд пришел в час ночи. Я пошел за своим багажом; меня привели в комнату, сверху до низу заваленную чемоданами, и сказали, чтобы я отыскал свой, если могу, а они не в силах. Нечего было делать, надобно было отправляться с одним дорожным мешком. Я вышел, но найти кареты не было никакой возможности. Я должен был с довольно тяжелым мешком в руках идти от станции северной железной дороги до Луврской гостиницы, где я предполагал остановиться. Но тут не было ни одного свободного номера. Пришлось среди ночи опять идти пешком на новые поиски, со своею грузною ношею. К счастью, мне удалось наконец захватить проезжающую мимо пустую карету. Но и этим не кончились мои мытарства. По сю сторону Сены ни в одной гостинице не было возможности найти даже самой крошечной комнаты; надобно было ехать на ту сторону. Долго и тут поиски были тщетны. Наконец, проездивши половину ночи, я в каких-то маленьких, грязных меблированных комнатах нашел конурку под чердаком и там ночевал.

Поутру я встал рано и пошел разыскивать Каченовского, который в это время тоже случился в Париже: встретил его у дверей его гостиницы, и мы вместе отправились смотреть на столь пышно возведенное зрелище, для которого собрались все эти несметные толпы. Мы видели проходящее перед нами победоносное войско с императором во главе; криков было много, но не было ничего похожего на тот народный энтузиазм, которого я был свидетелем в Италии. Несмотря на громадную толпу, стоявшую по обе стороны бульваров, встреча была холодная: слышны были только те заурядные возгласы, которые раздаются на всех подобных церемониях. Французы съехались смотреть на представление, но восторга не было никакого. В сущности, все были недовольны, начиная с самого императора, который, ввиду представившихся ему затруднений, мобилизации Германии и оказавшейся собственной его полной неспособностью к военному делу, принужден был заключить мир, не исполнив возведенной им программы. Недовольны были друзья Италии, которая была покинута на полу-пути; а с другой стороны, недовольны были консерваторы и приверженцы папства, которые думали, что сделано было слишком много; и справедливо опасались, что начатое движение на этом не остановится. Недовольны были, наконец, и дальновидные патриоты, которые в этих начинаниях не только не усматривали истинных интересов Франции, но предвидели, что они, в конце концов, могут пасть на собственную ее голову.

Насытившись зрелищем, я пошел отыскивать свой багаж. Но от улицы Сент-Оноре, до Северного вокзала мне опять пришлось идти пешком, потому что во всем Париже не было ни одного свободного извозчика. Наконец я получил свой чемодан, и снова должен был дожидаться часа два, прежде нежели поймал незанятую карету. Посмотревши вечером великолепную иллюминацию и фейерверк, я хотел ехать на следующий день, но принужден был остаться еще сутки, опять потому, что нельзя было найти извозчика на Лионский вокзал. Уже на третий день я выбрался из Парижа, и прямо поехал в Женеву, а оттуда в Шамуни.

Тут началось мое путешествие по Швейцарии, на этот раз уже с полным наслаждением. Большею частью я ходил пешком один, с сумкою на плечах и с зонтиком в руке. Проводника я брал только при трудных восхождениях; все остальное время Бедекер мог служить достаточным руководителем. Я вставал в пять часов утра и немедленно пускался в путь, шел не спеша, отдыхал, где хотел, любовался на досуге всем окружающим. Ничто так не сближает с природою, как это одинокое пешее хождение, полное поэтической прелести, где никто и ничего постороннее не развлекает внимания. Я говорил тогда, что природу, как женщину, надо видеть наедине, чтобы вполне ее понять, и чтобы впечатление от нее проникло в самую глубину души.

С первого же шага меня поразил в Шамуни снежный гигант, вздымающий свою величавую голову к небесам. Особенно он производил впечатление, когда мрак ночи спускался на землю, а белая вершина все еще продолжала сиять в вышине каким-то таинственным блеском. Поразил меня и царь ледников, Ледяное море, с его бесчисленными иглами и ущельями, спускающееся в долину между горами. Я поднимался к нему с обеих сторон, по живописным тропинкам между скалами и пещерами, откуда клубились горные потоки; затем по прелестной лесистой дороге я пошел пешком в Мартиньи, а оттуда к восточному берегу Женевского озера, полному воспоминаний о Руссо, где среди вод возвышается Шильонский замок, прославленный Байроном и Жуковским*. Его сводчатые подвалы, находящиеся под уровнем воды в озере, некогда служили тюрьмой. Судьба одного заключенного в них составила сюжет поэмы Байрона «Шильонский узник», переведенной Жуковским. И природа и поэзия соединялись здесь для полности очарования. Любуясь голубою, как небо, гладью озера, обрамленного горами, с игриво разбросанными повсюду местечками и садами, я вспоминал великолепную строфу английского поэта:

Eternal spirit of the chainless mind
Brightest in dungeons, Liberty, thou art.**

С Женевского озера я проехал в Интерлакен и оттуда обошел пешком весь Бернский Оберланд. Насытившись итальянскими видами, я обрел здесь новые и могучие впечатления. Тут не было ни классической красоты линий, ни яркого южного солнца, ни лазурной дали, уносящей душу в волшебную бесконечность; впечатление было более приятное, сельское, манящее в прохладу, более близкое к родному, а вместе окруженное удивительным величием: среди вздымающихся к небу скал живописные долины с великолепными, тенистыми деревьями, с свежими лугами, на яркую зелень которых спускаются белоснежные ледники, внизу клубящиеся между камнями потоки, повсюду бьющие из гор ключи, водопады, то рассыпающиеся в пыль, то с ревом и пеною низвергающиеся широкими струями, с сверкающими на солнце брызгами, местами светлые, стесненные между скалами озера, отражающие прелестные берега; везде печать сельской жизни, разбросанные хижинки с садами, пасущиеся стада, кой-где поле с обильною жатвой, и над всем этим снежная цепь Альп, то сияющих розовым блеском в безмятежные утренние часы, то горящих ярким пламенем при закате. Одинокого пешехода не смуща-

* Шильонский замок на скалистом острове Женевского озера.

** Вечный дух разума, не знающего цепей.

Ты в темницах всего лучезарнее. Свобода!

— Перевод Б. Н. Чичерина.

ют бесчисленные гостиницы и толпы туристов, на которых жалуются иногда путешественники. Все это исчезает для него среди величия и красоты окружающей природы. Он встает на заре, и когда он после ночного отдыха бодро пускается в путь, его разом охватывает все обаяние тихого свежего утра на горной высоте; серебристый звон колокольчиков на пасущихся по лугам коровах каким-то волшебным звуком раздается по долине; иногда слышатся повторяемые эхом переливы альпийского рога или гортанная песнь горного пастуха; в небесах, возвещая приближение солнца, сияют уже снежные вершины, и мало-помалу лучи спускаются в долины, освещая яркую зелень пастбищ и ослепительную белизну ледников. В одиноком упоении он весь погружен в созерцание, и одна за другою душу его охватывают сменяющиеся перед ним волшебные картины: то он всходит на горы, где у ног его извиваются облака, вокруг вздымаются грозные утесы, а далеко внизу расстилается роскошная зелень долин, то он спускается вниз и в лесной тени, осененный прозрачною листвою деревьев, в которой солнце играет с каким-то таинственным трепетом, он ищет прохлады у клубящегося потока; он стоит с смутными мечтами перед брызжущей пеной водопада; он входит в галерею ледников, полных прозрачным лазоревым блеском, как хрустальный дворец какой-то волшебницы. Когда же он вечером, утомленный от дневного пути, сядет отдохнуть, перед ним открывается новая, величавая и вместе полная грустно отрадного спокойствия, картина: теплые лучи заходящего солнца мало-помалу покидают долины, которые постепенно погружаются в мрак, а снежные горы долго еще продолжают сиять в вышине.

Я вернулся в Интерлакен в полном восторге. Отдохнув день, другой, я предпринял новое путешествие, еще более продолжительное. На этот раз я шел семь дней сряду. Из Интерлакена я через истоки и долину Роны прошел в Церматт и оттуда через Маттергорн спустился в Италию. Особенно поразило меня величие Альп в Церматте, удивительная панорама, раскрывавшаяся при вечернем освещении с Горнерграта, и, наконец, переход через Маттергорн на высоте 10500 футов над уровнем моря. Разумеется, на этот раз я шел с проводником и под вуалем, по снежной равнине, по бокам которой возвышались великаны, уступающие только Мон-Блану, Монте Роза, Маттергорн или Мон-Сервен, вдали, в бесконечной перспективе, вздымались вершины за вершинами, и над всем этим, при ослепительном блеске солнца, расстилось такое темно-синее небо, какого я никогда и нигде не видывал. Из этой области вечных снегов я постепенно спустился в равнины Италии. За снежными вершинами следовали живописные утесы; за соснами и елями великолепные каштаны, и наконец внизу мне представилась вся роскошь итальянской природы.

Турин я нашел уже не таким, каким я его оставил. Тогда все было полно восторга, теперь все находилось в сдержанном выжидании. Виллафранкский мир ничего не решил; Италии приходилось добиваться своей цели собственными средствами, избегая всего, что могло бы задеть могучих соседей. И она сделала это с удивительным политическим тактом, употребляя то хитрость, то силу, никогда не вдаваясь в излишества и проявляя везде удивительную сдержанность. Кавур вышел в отставку, но оставался тайным руководителем всего движения. На этот раз мне довелось с ним обедать у графа Штакельберга. С напряженным любопытством смотрел я на этого человека, от которого зависела судьба отечества. Он говорил о положении Италии, о том, что нет причины европейским державам препятствовать ее объединению. Ясно было, что он скоро вернется к делам.

Я съездил на несколько дней во Флоренцию, чтобы поближе посмотреть на это изумительное самообладание недавно освобожденного народа, предоставленного самому себе при самых трудных обстоятельствах. Я нашел своих тамошних знакомых исполненными надежд и готовыми постоять за себя. Самые умеренные увлекались общим движением. Во главе стоял человек с железною волею, который направлял все. И как характеристическая черта изящного населения, эта политическая решимость украшалась цветами поэзии. Флоренция была полна патриотических песен с грациозными оборотами, с звучными стихами, какие умеют сочинять только итальянцы. Перелетную ласточку народный поэт расспрашивает о подвигах героев; возвещается появление к весне, в знак свободы, Савойского креста на знамени Италии. Тонкие насмешки над кодинами, которым режут хвосты, грациозные аллегии насчет национальных цветов, красного, зеленого и белого, изливались в гармонических строфах, которые, не имея прочного значения, служили украшением улетающего дня. Я привез их множество в Турин на обратном пути.

Осень стояла великолепная и мне хотелось воспользоваться ею, чтобы насладиться на досуге итальянскими озерами. Начал я с маленького, но прелестного Лаго ди Орта. Отсюда я ранним утром пошел пешком через Монтероне к Лаго Маджоре. Когда я при лучах восходящего солнца взшел на вершину этой горы, перед мною открылось дивное зрелище: у ног ясное и гладкое, как зеркало, расстилалось величественное озеро, окаймленное горами, с плавными линиями, с бесконечными переливами тонов, по берегам бесчисленные виллы и местечки, среди вод, как брошенные букеты Борромейские острова, а вдали, как панорама этой прелестной картины, вся снежная цепь Альпов, сияющая на голубом небе. Я долго сидел в полном восторге, потом спустился к озеру и нанял лодку, чтобы переехать на острова. Лодкою управляла женщина: я опросил ее, довольны ли

они, что теперь стали подданными итальянского короля? Она наивно мне отвечала: «Господа довольны, а для бедных все равно, кто повелевает». Так, вековым гнетом искореняется народное чувство. Оно пробуждается сначала в высших слоях и только мало-помалу распространяется в массах.

Осмотревши в очаровательное осеннее утро прелестные Борромейские острова, с их редкими растениями и искусственными гротами, налюбовавшись озером, я проехал в Лугано, которое произвело на меня еще более чарующее впечатление: сохраняя тот же итальянский характер, оно уединеннее и живописнее других озер. Здесь я любовался и фресками Луини в Луганском соборе. Ранним утром я нанял лодку и из Лугано поехал к концу озера в Порлецца. Мне казалось, что я плыву в каком-то волшебном крае. Утро было совершенно тихое, но несколько туманное. Сквозь прозрачную мглу, освещенную лучами солнца, виднелось и гладкое зеркало озера и очертания окружающих гор и расстилающаяся у подножия их зелень деревьев. Из Порлеццы я пешком прошел к Комскому озеру и переправился в Белладжио. Тут опять представилось новое очарование. Я пробыл здесь два дня, то катаясь по озеру, то осматривая прелестные виллы, то любуясь открывающимися по обе стороны мыса волшебными видами. Все это путешествие завершилось Венециею, где я пробыл на этот раз дней десять. Я осмотрел ее уже не как новичок, у которого кружится голова от всего окружающего великолепия, а как человек несколько проникнувший в тайны искусства и способный оценить всякую подробность. Не было церкви, куда бы я не заглянул, не было картины, которой бы я не осмотрел с должным вниманием. На этот раз я понял и всю красоту древних мозаик, которые прежде казались мне уродливыми. Я увидел, что эти строгие византийские формы гораздо лучше вяжутся с архитектурными линиями, нежели более изящные образы новейших мозаистов. Собор св. Марка, с наполняющими его сокровищами, притягивал меня все более и более. Но не менее я любовался и пышными фресками Веронезе, изображавшими всю роскошь Венеции, достигшей вершины своего могущества и славы. Я видел и погибшую потом великолепную картину Тициана – Мучения св. Петра. Всего более, однако, привлекали меня мадонны Беллини, в которых строгость и чистота соединяются с удивительною нежностью и грациею. Я предпочитал их едва ли не всем мадоннам, которых я дотоле видел. Выше их я впоследствии ценил одну только Сикстинскую, которую вскоре потом увидел в Дрездене, и которая, после всех чудес Италии, представилась мне высшим перлом нового искусства, совершеннейшим сочетанием возвышенной и глубокой идеи с полной художественностью форм.

Утро посвящалось осмотрам, вечером же я садился в гондолу и при заходящем солнце наслаждался видом дворцов, церквей, кана-

лов и лагун. И еще более нежели в первый раз все это сознательно производило на меня впечатление полного и гармонического целого, где разлитое всюду художество, с совершенно своеобразным отпечатком, выражало самобытный характер некогда роскошно развивавшейся здесь жизни. Это было вместе с тем и последнее мое прощание с Италией. После этого я не раз туда возвращался, но никогда уже с тою свежестью чувств, которая жадно вбирает в себя новые впечатления и наполняет душу неведомым дотоле восторгом.

От итальянской природы и итальянского искусства я разом перепрыгнул в совершенно иную область, в мир немецкой учености. Первая моя остановка, Вена, в этом отношении представляла немного. В сущности это было не более, как отражением Германии. Я познакомился с несколькими профессорами, слушая их лекции; но единственный человек, который произвел на меня впечатление, был все-таки Штейн. С ним я более и более сближался, и все более ценил этот тонкий, разнообразный, оригинальный, хотя и не всегда верный ум. Его беседы доставляли мне истинное наслаждение.

Отправляясь из Вены в Берлин, я не мог миновать Праги, центра славянского движения. Тогдашний наш посланник при австрийском Дворе, Балабин, дал мне письмо к Ганке, который принял меня с распростертыми объятиями, показывал все и знакомил со всеми. Он повел меня в новопостроенный театр, где на непонятном мне чешском языке давали шекспировского Кориолана. Меня уверяли, что грамотность у них так распространена, что даже земледelec, идя за плугом, читает Шекспира. Ганка ввел меня и в Чешскую Беседу, где по вечерам собирались политические люди и литераторы. Старик ходил туда всякий день ровно в 7 часов, спрашивал обычную кружку пива и ровно в 9 уходил домой. Однажды он стал рассказывать мне, как он, будучи еще мальчиком где-то в глуши, вдруг нечаянно увидел славянские письмена и воспламенился неодолимым желанием читать по-славянски; как он из своей деревни ушел пешком и пришел в Прагу к Добровскому, умоляя, чтобы тот его выучил. Старик так воодушевился этими воспоминаниями, что уже 9 часов давно пробило, и все с удивлением видели, что Ганка продолжает рассказывать. Наконец, он взглянул на часы, опрометью вскочил и побежал домой. Из чешских знаменитостей, Палацкого в то время не было в Праге, но я познакомился с Шафариком, Ригером, Эрбеном и другими. Должен сказать, что я получил глубокое уважение к чешскому движению. Меня поразил и умилил вид этого маленького народа, который, стесняемый со всех сторон могучими соседями, вооруженными всеми средствами, какие дают и физическая сила и умственное превосходство, отстаивал свою независимость чисто духовным оружием. «У нас сняли голову, – говорил мне Ригер, – и мы теперь принуждены все тело восстанавливать из ног». И точно, когда

я пришел в театр, я с изумлением увидел, что партер набит битком, а ложи первых ярусов совершенно пусты. Но в сущности возрождение произошло не из народной массы, а из небольшого кружка просвещенных литераторов и ученых, которые зажгли светоч, озаривший самые глубокие слои и соединивший всех около общего знамени.

Совсем иное впечатление произвел на меня Берлин. Холодный, правильный, разбитый на квадраты, он не затрагивал ни одной сочувственной струны в моей душе. Замечательная по художественному исполнению статуя великого короля возбуждала мысль о правителе, только умевшем грабить своих соседей. Рядом с этим статуи героев отечественной войны напоминали времена подъема народного духа; но что осталось от этого подъема? Столица северной Италии, Турин, также разбитая на квадраты, во многом напоминал Берлин; но там была широкая политическая жизнь, там я видел народный энтузиазм. Здесь же политическая жизнь была самая жалкая; парламент был совершенно бессилён.

Принц-регент по собственной инициативе призвал к управлению умеренных либералов, которых тогдашний наш посланник в Берлине, барон Будберг, характеризовал как собрание воинствующих посредственностей. Поднятый с таким шумом германский вопрос замолк, до тех пор пока за него, несколько лет спустя, не принялся государственный деятель, который, идя по стопам Фридриха II и сочетая глубокое коварство с железною энергиею, умел перевернуть всю Европу и сделать Пруссию могущественнейшею державою в мире, не возбуждая впрочем сочувствия в тех, которые не поклоняются силе, а ищут удовлетворения высших потребностей человека*. В то время, как я был в Берлине, самая умственная жизнь, некогда стоявшая столь высоко, не представляла ничего. В университете, где читали Фихте, Гегель, Шлейермахер, Ганс, Савиньи, теперь почти что некого было слушать. Я был на нескольких лекциях и ни одна меня не удовлетворила. К Гнейсту у меня было письмо от Моля; но при знакомстве с ним меня постигло такое же разочарование, как и тех, которые при вступлении его в парламент, ожидали от него многого и нашли очень мало. Знание английских учреждений в прошедшем и настоящем, действительно было громадное, но политического смысла не было никакого. Он, все носился с нелепою мыслью, над которою смеялся и Моль, что для упрочения парламентского владычества в Пруссии, король должен актом личной воли заставить прусских юнкеров взять в свои руки все местное управление. «Надо заставить этих господ», – повторял Гнейст, и я слушал с удивлением такое необыкновенное понимание существа и условий свободы. Гнейст уверял, что то же самое должна сделать и королева Виктория, чтобы предупредить искажение англий-

* Б.Н. Чичерин имеет в виду германского канцлера Бисмарка (1815 – 1898).

ских учреждений. Конечно, ни одному англичанину не мог пригодиться такой рецепт немецкого профессора.

Без сожаления покинул я Берлин и направился в Мюнхен. Мне очень хотелось познакомиться с Блунчли, к которому у меня также было письмо от Моля. Им я остался чрезвычайно доволен. У него, конечно, были свои недостатки. Лишенный основательного философского образования, явление в Германии довольно обыкновенное при тогдашнем упадке философии, он увлекся фантазерством земляка своего Ромера и стал развивать совершенно неприложимые к государственной жизни понятия об органических отправлениях, принимаемых в буквальном смысле. Это было тем удивительнее, что по натуре у него был ум трезвый, ясный и сильный. Лекции он читал превосходно. Мы много с ним беседовали и во многом сходились. Он выражал мне несбывшуюся уверенность, что я буду играть видную роль в моем отечестве. «У вас есть свои мысли, – говорил он. – Я живу в стране гораздо более образованной, нежели ваша, и вижу, как мало вообще людей, у которых есть собственные мысли. Большая часть повторяет только чужие». Он не знал, что в России собственные мысли менее всего требуются и менее всего терпимы. Лет десять спустя после австро-прусской войны я снова встретился с Блунчли в Берлине. На этот раз мы с ним поспорили насчет политики Бисмарка, которую он поддерживал и которой я не мог сочувствовать. Он занес этот разговор в свои записки, которые были напечатаны после его смерти, и заметил при этом, что для него всегда странно, когда русские говорят о праве и свободе. Он не понимал, что именно потому, что у нас так мало того и другого, мы особенно дорожим этими началами у других. Когда гораздо более образованные народы оказывают им презрение, то чего же нам требовать у себя? Блунчли напирал на то, что немцы народ негосударственный и что с ним без насилия ничего не сделаешь. Но, конечно, подобный довод не мог быть для меня убедительным. К чему привело это насилие, у всех на глазах? Оно произвело тот страшный милитаризм, который тяготеет над Европою и подавляет все духовные ее стремления.

Блунчли повез меня к Зибелю, который в то время был профессором в Мюнхене и произвел на меня также самое лучшее впечатление. Я познакомился с Пёцлем, с Карьером, с Боденштедтом. Раз в неделю мюнхенские профессора собирались вечером в маленьком ресторане и за кружкой пива вели оживленные беседы. Меня приглашали на эти собрания, оставившие во мне самое приятное воспоминание. Здесь немецкая ученость соединялась с немецким добродушием, господствовало настроение, которое так хорошо обозначается словом *Gemuthlichkeit*. После Берлина, тут всего яснее представилось мне различие между южною Германиею и северною. В первой сосредоточивается все, что в немцах есть симпати-

ческого; вторая является представительницею отталкивающих сторон немецкого характера. Немец до сих пор остался тем, чем он был в средние века, носителем двойственного мира: с одной стороны – он добродушный идеалист, с другой стороны – он грубый варвар. Во времена политического бессилия преобладала первая сторона, представляемая преимущественно южными немцами, хотя в то время и север отчасти поддавался тому же направлению. Эта эпоха и произвела тот высший цвет немецкой поэзии и немецкой философии, который составляет неопределимый вклад в духовную жизнь человечества. В настоящее время, с переходом центра тяжести в Берлин, на первый план выдвинулась вторая сторона: добродушный мечтатель затмился, остался грубый варвар*.

Погостив в Мюнхене, осмотревши все его примечательности, я в начале 1860 года поехал в Париж, думая провести там остальную зиму. Но тут я получил ошеломившее меня известие из дому: отец скончался. Из Эмса он поехал домой, по-видимому, совершенно поправившись; но уже дорогой оказалось у него возобновление болезни. Он понял, что дело непоправимо, и не хотел более лечиться, а поехал доживать последние свои дни в любимый Караул. Однако он никому не говорил о своих предчувствиях и старался даже скрывать свое положение. В Вене я получил от брата письмо, которое несколько меня встревожило, но затем пришло другое, успокоительное. Первое мое движение было тотчас ехать в Россию; но я сообразил, что мое внезапное появление могло еще более раздражить больного, а потому решил подождать дальнейших известий. Вследствие моих постоянных переездов, я долгое время их не получал: телеграфов еще не было, и все письма из дому посылались в Париж. Приехав туда, я тотчас побежал на почту, и тут узнал, что все уже было кончено. Это был самый жестокий удар, какой я дотоле испытывал в жизни. Никогда я так живо не чувствовал, как сильно и глубоко я любил отца. Я решил тотчас вернуться в Россию к матери, и затем уже, побывши с нею некоторое время, закончить свое путешествие. Брат Сергей в это время слушал лекции Рошера в Лейпциге. Я написал ему о своем намерении, и он присоединился ко мне в Берлине. С глубокою скорбью в сердце поехали мы на родину.

Приезд наш в Россию ознаменовался целым рядом неприятных впечатлений, составлявших резкий контраст с тою свободою и теми удобствами, к которым мы привыкли в заграничной жизни. Первый казус встретился на границе. Все вещи путешественников были уже осмотрены и мы собирались продолжать свой путь, как вдруг с таин-

* Эти строки были давно написаны, когда разоблачения насчет истязаний, которым подвергаются немецкие солдаты, явились живым подтверждением высказанного здесь взгляда. – *Прим. Б. Н. Чичерина.*

ственным видом входит чиновник и спрашивает: «Кто из вас Борис Чичерин?» Я сказал, что я. «Где ваш чемодан?» «Вот он». Чиновник приказал отнести его в другую комнату и сам вышел. Затем он вернулся и с тем же таинственным видом спросил: «Кто из вас Сергей Чичерин?» Повторилась та же история и с чемоданом брата.

Оказалось, что мы оба были отмечены, как опасные либералы; ожидали, что мы можем провезти в Россию всякие революционные издания. Наши вещи тщательно перешарили и отобрали все, что у нас было печатного. Ничего, однако, не нашли, кроме невинных путеводителей, да газет, в которые была завернута обувь. Все это и было отобрано, переписано и отослано в тайную полицию. А между тем, в это самое время, мои книги, которых было не мало, под казенною печатью пересылались через русскую границу прямо в Петербург. Опасаясь притеснений на таможне, я в Берлине заехал в посольство и просил знакомых отправить мои книги с курьером в Петербург. Это и было сделано. Я получил тут живую иллюстрацию господствующих у нас административных порядков.

Затем начались неприятности дороги. От границы до Ковно не было не только железного пути, но даже и дилижанса; надобно было ехать в линейке. В Ковно мы прибыли вечером и нашли отвратительную гостиницу, с нетопленной и грязной комнатой. На следующее утро нужно было добыть подорожную, ибо отсюда приходилось ехать на перекладной. Для этого недостаточно было предъявление заграничного паспорта; требовалось еще свидетельство от местной полиции о беспрепятственном выезде, которое я должен был доставать сам. В этих хлопотах прошло почти полдня; наконец мы выехали уже санным путем. Подъезжая к маленькой речонке, мы увидели на ней окраины. Дорога шла вдоль берега и потом уже поворачивала на реку; но тут стоял небольшой обоз с лесом. Ямщик, не желая его дожидаться, прямо направился к реке. «Не езд, не езд, потонешь», – закричали ему стоящие тут мужики. Я, видя, что он не слушается, схватил его за руку и пытался его удержать; но он только хлестнул лошадей и бухнул нас прямо в воду. Лед, конечно, не выдержал; лошади и сани провалились; мы сами и наши вещи были насквозь промочены. Пришлось ехать обратно на маленькую станцию и там сушить платье и отогреться. Это была уже иллюстрация не правительственных порядков; а народного характера: русское авось и ничего проявлялись во всей своей прелести. И при всем том я ощущал некоторое удовольствие, встречаясь с этими привычными мне с детства чертами. Переход от образованного благоустройства к первобытной дикости производил такое впечатление, как будто из тесной долины выезжаешь на простор. Кой-как добрались мы до Острова, откуда уже железная дорога, через Петербург, довезла нас до Москвы.

В Москве старые друзья и товарищи встретили меня самым радужным образом и проводили меня обедом у Владимира Самарина. И тут, после долгого путешествия, охватило меня отрадное чувство возвращения в родной город. Насмотревшись Европы, я оценил и всю живописность Москвы, особенно, когда вернулся в нее весною. Я все любовался холмистым местоположением, прелестным видом с кремлевских высот, множеством церквей, отдельно стоящими уютными домиками, а весною – обилием зелени их окружающей. Все это было так своеобразно и вместе так говорило сердцу, что я живо ощутил всю невозможность оторваться от родной почвы и переселиться в чужие края. Я чувствовал, что здесь я должен жить и умереть.

Затем предстояла дальнейшая, и притом ужасная, дорога. Снегу в эту зиму навалило необыкновенное множество, и ухабы были страшные. Как я ни привык к нашему зимнему пути, но ничего подобного я в жизни не испытывал; а тут пришлось это испытать после удобств заграничного путешествия. Из Москвы до Рязани мы ехали в тяжелом дилижансе. На каждом шагу он вваливался в ухаб, а если выбоина была порядочная, то и совершенно в ней застревал. Приходилось дожидаться, пока подъедет какой-нибудь обоз. Кондуктор сзывал людей, и они совокупными усилиями вытаскивали из ямы грузную громадину. А через четверть часа опять повторялась та же история. В Рязани мы пересели уже в легкие сани, и тут надобно было днем и ночью крепко держаться, чтобы не вывалиться из экипажа, который поминутно перебрасывало из стороны в сторону, из одной ямы в другую. О сне, конечно, нельзя было и думать. Когда же мы, наконец, въехали в свои степи, пришлось по глубоким сугробам ехать гуськом. Так добрались мы до Караула.

Здесь мы нашли всю семью под удручающим впечатлением недавней утраты. В первый раз караульский дом, прежде столь оживленный и веселый, постигнут был великим несчастьем. В нем царствовала тишина, знак глубокого горя. К тому же и мать была больна; она не могла меня даже видеть. В самую минуту смерти отца у нее от внезапного прилива крови сделалось воспаление глаз. Ее лечили и мы надеялись, что она скоро поправится. Мы не подозревали, что выздоровления не будет; ей суждено было остаться слепою навек. Впоследствии доктора объяснили, что от накопления слез произошел разрыв сосудов. Надобно было тут же сделать операцию; но кто мог сделать это в деревне? Когда ее повезли в Москву, было уже поздно.

Не могу сказать, с какою сердечною болью увидел я комнату, где умер отец, слушал рассказы о его тихой кончине. Кроме неразлучной спутницы его жизни, которая до самого конца окружала его самыми нежными заботами, и пятерых из младших детей, тут были и

старые друзья дома: Сергей Абрамович Боратынский, Антон Аполлонович Жемчужников, Петр Андреевич Хвощинский. Они вместе с детьми несли его гроб к последнему жилищу. Мне было горько и больно, что меня не было тут. Одно меня утешало, мысль, что отец жил и умер, как следует человеку, как можно пожелать всякому: он жил окруженный счастливою семьею, добрыми друзьями и общим уважением, разумно и честно устроил свои дела, поставил всех детей на ноги, наслаждался первыми их успехами на жизненном поприще, и тихо скончался в любимом, им самим созданном гнезде, где все говорило его сердцу, и где он с полным домом оставлял дружную семью, воспитанную в нравственных правилах и тесно соединенную вокруг матери.

Вернувшись опять за границу, я писал брату Василию: «Как ни печальны были обстоятельства, при которых я возвратился домой, мне было хорошо и тепло в своем гнезде. Все там напоминало отца, он там был близок и жив во всем, что он создал, и было что-то отрадное в сознании, что мысль его не погибла, что она жива в новом поколении, которое с новыми силами и новою любовью продолжает его дело. Посадки, заботы об украшении дома получают двойную цену вследствие этого предания о дорогом человеке. Правда, семья была в сборе и дом не казался пустынным. Но мне кажется, что если бы я даже жил в нем один или по крайней мере вдвоем, я и тут чувствовал бы себя счастливее, нежели где бы то ни было. Ты от Караула отвык, а для меня там сосредоточивается все, что я люблю больше всего на свете. Только там я дома, а всякое другое место для меня чужое».

Унынию, господствовавшему в караульской семье, которого не могла разогнать добродушная веселость милого Петра Андреевича, безотлучно остававшегося при матери в эти печальные дни, соответствовала и суровость внешних впечатлений. В начале марта был такой буран, какого я не видал в жизни. Девять дней сряду без перерыва несла ужасная вьюга; ветер врывался сквозь двойные окна, выдувал подоконники в дверях. Обращенная на восток передняя часть дома, всегда необыкновенно теплая, сделалась так холодна, что в ней нельзя было сидеть и мы держались в задней. Все сообщения были прерваны. Путешественники должны были девять дней сидеть на станции, где их застала погода. Крестьяне могли кормить свой скот, только проделавши дыры в крышах. Множество людей и животных погибло. Снегу нанесло столько, что когда утихла метель, во многих местах можно было ездить по кровлям. Это было страшное ополчение природы, перед которым человек чувствовал все свое бессилие.

Скоро, однако, первые лучи весеннего солнца внесли новую жизнь и в природу и в удрученные сердца людей, которые оттаяли вместе с землею. Именно в эти минуты затишья после сильного гора всего глубже западают в душу впечатления природы. Закрытая для

всего остального, она раскрывается для вечного, установленного в мире порядка явлений. Каждый шаг новой весны, сливаясь с воспоминаниями всех прежних весен, с образом золотых дней детства, вызывал давно умолкнувшие ощущения. Живительное обаяние воздуха, согретого внешними лучами, первые проталины, пробивающаяся на них свежая травка, появляющиеся из-под снега желтые и синие цветы, все более и более распространяющиеся по отгалой земле, затем прилет птиц, пение жаворонка высоко в небе, крик собирающихся стадами гусей, журчание потоков, наконец, широкое половодье, затопляющее всю окрестность, то сверкая на солнце, то расстилаясь зеркальной гладью, отражающею синее небо; все это быстрое шумное, чарующее пробуждение и обновление природы повергало душу в какой-то неизъяснимый восторг. После всех виденных мною чудес, я приходил к убеждению, что лучше русской весны нет ничего на свете. И когда затем эта весна раскрылась в полной своей прелести, когда зазеленели деревья, зацвели луга, развернулась душистая черемуха, когда, как бы пушистою снежною пеленою покрылись вишни и яблоки, а вокруг дома все украсилось пышным цветом сирени, когда в рощах раздался громкий хор соловьев, сливаясь по ночам с криком коростеля и с гулом лягушек, я еще сильнее прежнего почувствовал все очарование мирной сельской природы, которая была мне несравненно ближе и сроднее, нежели волшебные картины Италии и живописное величие швейцарских долин. И впоследствии, не раз, когда я, налюбовавшись великолепными видами юга, приезжал в скромную русскую деревню, с ее расстилающимися вдаль полями, где никакая преграда не отделяет одного владения от другого, с ее патриархальной простотою и широким привольем, мне казалось, что я точно от светского общества разряженных и убранных дорогими камнями красавиц возвращался в свой уютный домашний уголок к законной жене, не блистающей пышными нарядами, но гораздо более говорящей сердцу. Только в России, где земля так обширна, а население так скудно, где человек не наложил везде на природу свою руку, не покорил ее себе, а затрагивает ее только слегка, оставляя ее большею частью в первобытном виде, сохранилась настоящая деревня. И со своей стороны природа не подавляет человека своим величием и красотой, не уносит его в волшебные края, а живет с ним мирно и любовно, доставляя ему все нужное без усиленного труда и сохраняя над ним свое тихое обаяние. Чем старше я становлюсь, тем более по душе мне приходится именно эти сельские впечатления. Великолепные картины оставляют меня равнодушным, а волнующаяся по широкому полю нива, мирная речка, с растущим по ней камышом, тенистая роща, солнечный луч, пробивающийся сквозь прозрачную зелень деревьев, затрагивают глубокие струны сердца и вызывают рой воспоминаний о давно прошедших и невоз-

вратных днях молодости. До конца жизни человеку всего ближе и, всего дороже то, что запало ему в душу в ранние годы и что связано с впечатлениями детства.

Радостные ощущения весны были временно нарушены новой болезнью матери. У нее сделалось опасное воспаление в боку во время самого половодья, когда трудно было добыть доктора. К счастью, брат Андрей сам была медик; он принял решительные меры и ее спас. Когда же тревога миновалась, настала новая семейная радость. Брат Владимир задумал жениться на второй дочери С. А. Боратынского. Старая дружеская связь отцов переходила и на новое поколение. Он получил благословение матери, и мы с ним вдвоем поехали в Мару, оттуда он вернулся женихом. Однако, на свадьбу я не остался. Надобно было ждать три месяца, а у меня оставался всего год для изучения Англии и Франции. В конце мая я простился с семьей и поехал прямо в Лондон.

Я попал на Международный статистический конгресс, который сделал на меня впечатление огромной комедии. Я постоянно ходил на заседания юридического отделения, из которых я надеялся извлечь что-нибудь для себя полезное, однако напрасно. Председательствовал лорд Брум, который в статистике ничего не понимал и ею вовсе не интересовался, но очень доволен был разыгрывать важную роль председателя. Ни одного дельного прения я не слышал. В числе говорящих отличался между прочим только что кончивший курс в Московском университете студент Куломзин, впоследствии управляющий делами Комитета министров. Нахватавшись кой-каких сведений в свое кратковременное пребывание в Германии, он ловко умел пускать ими пыль в глаза и производил впечатление особенно на невинного председателя. Я удивлялся, как его смелости, так и наивности слушателей; но высокого понятия о конгрессе я через это не мог получить.

Под конец все члены конгресса, то есть, записавшиеся на него лица были приглашены на огромный раут к лорду Пальмерстону, который тогда был первым министром. Все высшее английское общество можно было видеть в этой невообразимой толкотне. Тут я встретил молодую англичанку, с которой я познакомился в Риме, обедая с нею всякий день за табльдотом. Увидев меня, она воскликнула: «Не правда ли, как это мило быть на Статистическом конгрессе?» Этот эпитет показался мне тем более подходящим, что за несколько месяцев перед тем я встретил ее в Турине, на станции железной дороги, в сопровождении жениха и с чучелом лисьей головы на коленях, и когда я спросил, зачем у нее это чучело, она точно так же воскликнула: «Не правда ли, это очень мило, лисья голова?» Она зазвала меня к себе, объявив с самодовольною улыбкою, что теперь она принадлежит к палате пэров. Когда я пришел, мать ее таинственно и важно

сообщила мне, что дочь ее замужем за помощником церемониймейстера палаты лордов, а отец ее зятя сам церемониймейстер палаты лордов. Тут же она поведала мне всю генеалогию и всю родню знаменитого рода Клиффорд. Дочь пригласила меня в церковь, посмотреть свадьбу дочери лорда Кларендона, сказавши, что там я увижу весь цвет английской аристократии. Церковь была приходская и у нее было свое место. Но тут произошел маленький инцидент: какая-то другая дама заняла место, принадлежавшее моей спутнице, а последняя старалась отстоять свои права. «Неправда ли, какая это неучтивая особа?» – сказала она мне при выходе. Чтобы немного ее поддразнить, я заметил, что она была даже несколько взволнована. «Неужели?» – воскликнула она в ужасе. «Ведь это очень вульгарно, быть взволнованной». Все это были для меня забавные черты английских нравов и понятий.

Еще с большим комизмом поразило меня заседание собиравшегося при Статистическом конгрессе общества для распространения десятичных мер и весов, на которое повел меня однажды Капустин, находившийся тоже в Лондоне. Председательствовал лорд Эбрингтон; секретарем был знакомый Капустину Мичель, состоявший при английском посольстве в Петербурге. Когда мы вошли, говорил сэръ Джон Боуринг, известный последователь Бентама, а за ним начал нескончаемую речь какой-то господин, который всю свою жизнь посвятил распространению десятичной системы, черта чисто английская. Я уныло сидел в углу и слушал это скучное разглагольствование. Вдруг вижу, секретарь окидывает взором собрание. Заметив меня, он тихонько меня подозвал и просил предложить резолюцию в смысле деятельности общества, сказавши, что им особенно желательно, чтобы предложение исходило от иностранца. Меня это забавляло и я ответил, что если это доставляет им удовольствие, то я ничего против этого не имею. Однако вскоре он переменял свой план и нашел почему-то лучшим, чтобы предложение сделал швед, а я бы его поддерживал. Я и на это изъявил согласие. Тогда лорд Эбрингтон важным голосом прочел написанную им, но предложенную будто бы шведом, резолюцию: «пора напирать на правительства, чтобы повсюду ввести десятичные меры и весы». Я встал и сказал, что готов был поддерживать эту резолюцию, но должен заметить, что в России не так легко напирать на правительство, как в других странах. Председатель с серьезным видом тотчас принялся что-то писать, и скоро из-под его пера вышла новая редакция, в которой слова: «напирать на правительства» были заменены словами: «почтительно представить правительствам». Лорд Эбрингтон спросил меня, имею ли я что-нибудь против этого оборота; я отвечал, что ровно ничего, и резолюция была принята единогласно. Не знаю, напирал ли кто на правительства, или представлял им почтительно; в России во вся-

ком случае никто об этом не думал и подержанная мною резолюция осталась только в моей памяти в виде комического эпизода из жизни международных съездов.

Мы с Капустиным знакомились и с другими курьезами чисто английской общественной жизни. В это время между рабочими шла деятельная агитация в пользу девятичасового рабочего дня. Мы пошли на маленькое собрание, где какой-то господин в течение часа плавно и гладко говорил невообразимую политико-экономическую чепуху, ссылаясь даже на короля Альфреда и доказывая, что девять часов составляют максимум нормального рабочего дня для всякого человека. Аудитория состояла из рабочих, которым, конечно, весьма приятно было работать меньше, а получать за это ту же самую плату. Все они тотчас подписались членами союза, имевшего целью осуществление этой программы. В настоящее время дело идет уже не о девятичасовом, а о восьмичасовом рабочем дне. Надобно надеяться, что со временем рабочий день совершенно сократится, а будет получать только заработная плата.

Мы пошли и в один из клубов, в которых ведутся прения о текущих политических вопросах. Какой-то господин с сигаркою в зубах важно сидел на председательском месте, и разные оборванные и засаленные ораторы говорили один за другим, подражая приемам английского парламентского красноречия, что, конечно, походило на карикатуру. Мы спросили по кружке пива и сели за стол. Против нас сидел какой-то человек в нищенском одеянии, положив руку и голову на стол. По-видимому, он спал, и так как его шея сзади была совсем открыта, то мы видели, что на нем не было следа какого бы то ни было белья. Вдруг этот человек вскочил, когда дошла до него очередь, и не останавливаясь, без малейшей запинки, точно в старину русские семинаристы, в течение получаса проговорил речь, в которой можно было только понять что он Кобдена и Брайта считает людьми второстепенного свойства, не стоящими на уровне современных требований. Проговоривши последнее слово, он разом опустился на стул и тотчас положил опять руку и голову на стол; и опять нам стало видно, что у него нет ни малейшего следа рубашки. Все эти своеобразные проявления английского общественного красноречия производили на нас впечатление комическое и странное. Это было как бы неуклюжее отражение прекрасного образа в ломаном зеркале.

Такой же забавный эпизод доставил нам и один из наших соотечественников. Еще в первую мою бытность в Лондоне Герцен с большим юмором рассказывал мне, как князь Юрий Николаевич Голицын, задумавши ехать из России в Лондон, наперед прислал своих людей, которые заняли для него великолепный апартамент в одной из первых гостиниц, но скоро проели все деньги и пришли просить

их у Герцена. Тот, однако, денег не дал, а советовал им жить поскромнее. Вскоре прибыл и сам князь Голицын с похищенной в России девицею и с большим крокодилом, купленным в Египте. Этот крокодил был торжественно выставлен на балконе, но через несколько дней умер, вероятно потому что ему тоже нечего было есть. В короткое время у его хозяина все деньги ушли, и он принужден был поступить на службу к подрядчику концертов Мелону, который развезил его по Англии на показ, как любопытного зверя, и теперь привез его обратно в столицу. Однажды, взглянув на приклеенную к стене афишу с объявлением о концерте, мы с Капустным вошли в маленький, весьма невзрачный зал и увидели тут действительно князя Юрия Николаевича Голицына, дирижирующего оркестром. На афишке, в числе прочих исполняемых пьес, напечатано было огромными буквами: Герцен-вальс и Огарев-полька, сочинение князя Ю. Н. Голицына. Однако эти волшебные имена не служили приманкою для англичан. Публики было очень мало, а рукоплесканий и того менее. Подрядчик наконец рассчитал дирижера, который не приносил ему дохода. Голицын принужден был принести повинную и вернулся в Россию.

Несколько позднее я имел случай проникнуть и в лондонские трущобы. В Лондон приехал граф Г. А. Строганов, муж великой княгини Марьи Николаевны. Он через посольство получил полицейскую стражу и мы вдвоем совершили ночной обход Восточного конца, заходили в смрадные трактирчики, где матросы плясали с публичными женщинами, в углы, служащие притоном всяким мелким и крупным мошенникам, в ночлежные дома, битком набитые нищими и бродягами. Грубость, грязь и нищета всего этого населения представляли резкий контраст с роскошными дворцами, великолепными парками и блестящими экипажами западной половины Лондона.

Но изучая темные низменности английского быта, я любовался и великими его сторонами. Я ходил в Парламент, и тут в первый раз услышал политическое красноречие во всем его блеске, в его обаятельном действии на слушателей. Это была уже не маленькая туринская камера, где я не понимал ни слова и из которой я мог выносить только чисто внешнее впечатление. Это был старейший парламент в мире, родоначальник европейской свободы. Это была та знаменитая палата, где ратовали Чатам и Питт, Фокс и Шеридан. Статуи этих великих бойцов стояли у преддверия, как бы живые в ораторских позах. Я с восторгом слушал их славных преемников, Дизраэли, Гладстона, Росселя, Пальмерстона. Мне казалось, что сильнее свободной и увлекательной речи ничто не может действовать на человека. Отсюда я ходил и в смежное Вестминстерское аббатство, этот пантеон великих людей Англии, знакомых мне с детства, поэтов, ученых и государственных деятелей. Я находился в редоточии жизни, кото-

рая в течение многих веков проявляла все высшие силы человеческого духа и по всем отраслям производила недостижимые образцы. Но в отличие от Турина, тут не было в то время ни жгучих политических вопросов, ни носящегося в воздухе народного энтузиазма. Я видел перед собою издавна вошедшую в нравы и в обыденную жизнь политическую деятельность великого народа, гордого своею свободою, носящего в себе славные предания, не стремящегося уже к приобретению новых прав, но спокойно уверенного в прочности приобретенного, уважающего власть, но чуждого всякой тени раболепства. Многие в английском быте не было мне сочувственно: чрезмерное неравенство, преклонение перед аристократиею, грубость низших классов, упорное сохранение обветшалых форм; но парламентские учреждения бесспорно составляли высший идеал политической свободы, выработанный историею образец для всех народов мира. Не всем дано его достигнуть; но все, во имя человеческого достоинства, обязаны к нему стремиться.

Рядом с этим я ревностно изучал современные английские законы и установления, углублялся в Блэкстона и Стифена, читал парламентские синие книги, в особенности же старался познакомиться с практическою, живую стороною учреждений. У меня было много знакомых между юристами и адвокатами. Я часто с ними беседовал, усердно ходил в суды и в заседания юридических обществ. В одном из близких к Лондону графств держались в то время ассизы*, и я туда поехал с письмом от одного из знакомых адвокатов. «Если вы случайно не найдете там адресата, – сказал мне мой приятель, – отдайте кому-нибудь другому. Когда вы знаете одного из нас, вы знаете всех». И точно, меня приняли самым радушным образом, ввели в свой круг, показывали и объясняли мне все. Вообще, я вынес самое приятное впечатление от радушия, гостеприимства и любезности английских адвокатов. Это, может быть, та часть английского общества, с которою сближение всего легче и приятнее. В них нет английской чопорности, великосветских претензий и этикета. Английское радушие соединяется здесь с полною непринужденностью. Я пленялся и выработанными веками, строго законными формами публичного и гласного судопроизводства, в то время еще неизвестного в моем отечестве. Но вместе с тем я был поражен недостатками чисто обвинительного процесса. Подсудимому даются все гарантии, но зато невинный свидетель под перекрестным допросом подвергается настоящей пытке. Отсутствие допроса обвиняемого и запрещение показаний по наслышке часто оставляет многое невыясненным. Я видел разительные примеры, как иногда самому подсудимому вредит невозможность сделать на суде показание. В этом от-

* Сессия суда присяжных.

ношении французское судопроизводство казалось мне значительным усовершенствованием английского, хотя за последним остается установление основных гарантий правильного суда.

Осмотрев в Лондоне все, что мне было доступно и что могло меня интересовать, я отправился внутрь страны. Мне хотелось видеть провинцию, в особенности мировые учреждения. Один из знакомых адвокатов, секретарь Общества для поощрения общественной науки, Гестингс, доставил мне приглашение на годичный съезд этого общества, который в начале октября должен был состояться в Глазго. Я воспользовался этим случаем, чтобы посмотреть Шотландию: из Эдинбурга я проехал по стране, некогда заселенной прославленными Вальтер Скоттом горцами, ныне представляющей пустыню, где пасутся стада, а осенью охотятся англичане. Мне случилось ехать в дилижансе по этим пустырям с каким-то недавно вернувшимся из Индии английским офицером. Мы несколько часов сряду проезжали по совершенно голым местам, которые почему-то называются Оленьими лесами. Когда мы опрашивали, чьи это владения нам все отвечали одним именем: маркиза Брэдолбэн. Ехавший с нами господин постоянно с подобострастием повторял: his Lordship, титул несравненно более внушительный в Англии нежели у нас его превосходительство. Наконец, приехавши на какую-то станцию, мы на всех стенах увидели самого маркиза Брэдолбэн. «У вас нет таких тузов на континенте», – с грустью сказал мне мой спутник. И точно, тут с непривлекательной стороны представляются обширные английские поместья, из которых вытеснено туземное население, а что остается, укрывается в бедных землянках, где не хотел бы жить русский мужик.

Из Обана я на пароходе в великолепный осенний день, проехал на Стаффу, посмотреть знаменитый грот Фингала, затем любовался шотландскими озерами, Лох-Ломонд, Лох-Катрин, Лох-Тей. После Италии и Швейцарии все это, конечно, казалось мне довольно посредственным. Только воспоминания романов Вальтер Скотта придавали поэзию краю.

В Глазго меня встретил Гестингс. В качестве почетного иностранца меня поместили к одному из местных тузов, господину Дункану, который носил звание декана гильдий и жил на даче недалеко от города. Тут же должен был помещаться Мишель Шазалье, который, однако, к большому моему сожалению, на съезд не приехал. Сам хозяин, старый холостяк и тори, довольно угрюмого нрава, представлял немного интересного; но его гостеприимство не оставляло ничего желать. Все время он меня кормил и поил отлично, всякий день возил на конгресс, показывал фабрики и все примечательности города, и все это притом, без малейшего принуждения.

Что касается до конгресса, то и этот ученый съезд произвел на меня странное впечатление. Толпы народа обоего пола ходили, как

на зрелище, из одного отделения в другое; читалось множество самого разнообразного свойства записок; но путных прений я и тут не слышал. Каждому позволялось говорить только десять минут, что вело иногда к забавным сценам. В одном из отделений председательствовал сэр Джон Пакингтон. По какому-то важному вопросу просил слова известный историк, сэр Арчибальд Ализон. Но едва он закончил свой приступ, как уже десять минут истекли, и председатель с грустным видом показал ему на часы. «Впрочем, – прибавил он, – вы такое всеми уважаемое лицо, что я даю вам еще десять минут». Историк обрадовался и продолжал свою речь; но прежде нежели слушатели узнали, что именно он хочет сказать, новые десять минут истекли, и тут уже председатель был неумолим. Историк сел с отчаянным жестом. Вообще, мне показалось, что все эти съезды служат более для увеселения, нежели для серьезного дела. Единственная польза, которую они приносят, состоит в собирании сведений, но и это может делаться помимо их. Основательное же обсуждение вопросов тут немисливо и еще менее могут иметь значения решения по большинству голосов, в которых принимает участие масса случайно собравшейся публики. Вся эта толкотня, суета и говорение пустых речей достойно завершились многолюдными обедами. Сначала дал обед городской голова. Так как лорд Брум был председателем съезда, то хозяин попросил его идти вперед, но тот в ужасе отступил и воскликнул: «герцоги, герцоги!» и тогда выступили вперед герцог Монтрод и другой, имени которого я не припомню. Затем, в виде финала, последовало громадное общее пиршество с бесчисленными речами, наполненными хвалами ничего не делавшему председателю. Подле меня сидел какой-то шотландец, который, слушая, приходил в негодование и с горечью говорил: «Этот человек ненасытен до похвал». И вдруг, когда до него дошла очередь, он вскочил и произнес лорду Бруму такой панегирик, перед которым бледнели все остальные.

Мой благодетель Гестингс пригласил меня приехать после съезда в Вустер, где жил его отец и где вскоре должны были происходить четвертные заседания мировых судей, особенно меня интересовавшие. Но времени еще было довольно и я хотел им воспользоваться, чтобы кой-что посмотреть. На съезде один господин читал записку о кооперативных товариществах, которые тогда только что возникали. Я подошел к нему и спросил, нельзя ли с этим ближе познакомиться. Он пригласил меня приехать к нему в Лидс. Я там застал его за прилавком. Это был мелкий торговец суконным товаром. С величайшей предупредительностью показал он мне все лавки, склады, книги и расчеты существовавшего там общества потребителей, затем пригласил меня к себе на дачу, где я ночевал, и наконец дал письмо в Рочдэль, где я осмотрел все заведение знаме-

нитых рочдэльских пионеров. Оттуда я проехал в Манчестер, где видел пьяных баб, валяющихся по улицам, а в субботу вечером собрание на площади рабочего люда, толкующего о политических вопросах. Многие и тут говорили с совершенно парламентскими приемами, но именно в этих речах толку не было никакого; когда же кто высказывал какое-нибудь замечание просто, то прорывалась искра здравого смысла. Я увидел, что в мало образованных людях стремление усвоить себе ораторскую рутину затмевает трезвый взгляд на вещи.

Направляясь к Вустеру, я заехал в деревню к лорду Эрскину, к которому у меня было письмо от его брата, секретаря английского посольства в Турине. Я увидел скромное и радушное житье английского семейства, принадлежавшего к высшей аристократии (лорд Эрскин был член палаты пэров), но с небольшим состоянием. Чопорности и великосветских претензий не было и следа. К обеду, по английскому обычаю, разумеется, принаряжались В первый день я, по принятому этикету, счел долгом явиться в белом галстуке, но видя, что хозяин дома в черном, я на следующий день тоже надел черный, а хозяин, чтобы не отстать от меня надел белый. Так мы три дня сряду менялись нарядами. Но за исключением этого, освященного непреложным законом обыкновения, стеснений не было никаких. Вечером приезжал доктор и составлялась маленькая партия в вист. Все это напоминало мне мирную семейную жизнь в глухой русской деревне. По утрам, после завтрака, мы с хозяином гуляли пешком. Он повел меня на съезд мировых судей, который я в первый раз имел случай видеть. Тут же я присутствовал при собрании йоменов*, которые совершенно напомнили мне русских помещиков, толкующих о лошадях и собаках.

Осмотревши затем близлежащий старый и любопытный город Честер, я прибыл в Вустер, где встретивший меня на вокзале Гестингс, объявил мне, что все мировые судьи, и я в том числе, едут на день в деревню к председателю съезда, лорду Додлей. Это был один из первых богачей Англии. В то время он был еще холостой и принял нас в своем лежавшем недалеко от Вустера великолепном поместье, представлявшем образец английской аристократической роскоши и комфорта. Кругом обширного дворца, построенного в изящном итальянском стиле, простирался огромный парк с искусственными, обделанными мрамором прудами и высоко бьющими фонтанами. Это была настоящая вельможная резиденция. Угощение было подходящее к пышной обстановке. На следующее утро мы вернулись в город на съезд. И тут меня приняли самым радушным образом, сажали на заседаниях вместе с судьями, а за общим обедом все-

* Йомен – мелкий землевладелец.

гда рядом с председателем. Не могу достаточно нахвалиться приветливостью англичан; но самое производство дел не произвело на меня хорошего впечатления. Лорд Додлей был человек небольших способностей, и плохой председатель. Когда я спросил, отчего его выбрали, мне отвечали, что не могли обойти самого крупного землевладельца в графстве. Занимая эту должность в течение нескольких лет, он немного навострился, но делал иногда удивительные промахи. В одном из дел, которые судились с присяжными, он совершенно неправильно поставил вопрос и когда присяжные вынесли обвинительный приговор, бывшие между судьями коронные юристы объявили, что остается прибегнуть к милосердию королевы, ибо приговор вынесен по ошибке. До этого, однако, дело не дошло: присяжных вернули, председатель поставил вопрос иначе, и получил новый вердикт, противоположный предыдущему. Это было чересчур бесцеремонное отношение к правосудию. Вообще, я убедился, что английские мировые судьи, со своим судебно-административным ведомством, связанные законами, которые требуют значительных юридических знаний, большею частью находятся в руках дельцов секретарей. Мне рассказывали даже про одного секретаря суда, который прямо говорил: «графство, которым я имею честь управлять».

После съезда Гестингс пригласил меня в деревню к его отцу, который был доктор и баронет. После мелкого торговца, небогатого лорда и пышного вельможи, это был новый образчик английской деревенской жизни. И тут я нашел полнее радушие; но вместе с тем, надобно признаться, была непроходимая скука. По утрам мы с Гестингсом ходили пешком по окрестным горам, а после обеда мужчины спали перед камином, дамы же сидели в кругу и молчали. Мне после объяснили, что в Англии так водится. Нужно только держать себя смирно и не соваться с разговорами: тогда вас принимают за спокойного человека и все вас любят.

Вообще, я вынес из Англии весьма смешанное впечатление. И в этот и в следующий раз, когда я весною приехал в Лондон с рекомендательными письмами из Парижа, я сходил со многими людьми, с некоторыми даже весьма замечательными: с историком Гротом и его весьма умною женою, с журналистом Риволь, с лордом Амбортоном, с экономистом Синиором, с знаменитым Брайтом, и всегда замечал какую-то странную смесь ума и ограниченности, непринужденности и чопорности, радушия и неприветливости. Если я один раз находил необыкновенную любезность, то я мог быть уверен, что при следующей встрече, с другим человеком, а иногда и с тем же самым, я нападну на совершенно противоположное. В умственном отношении, я всегда чувствовал, что говоря с англичанином, надобно непременно становиться на английскую точку зрения. Беседа с немцем о предметах науки, с французом обо всем на свете,

чувствуешь себя даже при разности взглядов, в какой-то общей атмосфере; с англичанином, волею или неволею, переходишь на особую почву, со всех сторон огороженную. С пользою и удовольствием можно говорить с ним чисто об английских интересах, где он у себя дома, хотя он далеко не пренебрегает и другими. Напротив, в отличие от других народов, которые довольствуются своим, у него первое дело – собирание всякого рода сведений; ему нужно все видеть, все узнать, часто неизвестно зачем, ибо цельного из этого ничего не выходит. Все эти сведения укладываются у него в голове, друг возле друга, вовсе не заботясь о взаимном соглашении. Всякий факт имеет для него значение чисто как факт, а не как выражение смысла. Английский ум, по преимуществу реалистический, менее всего способный к обобщению. В практической области они изумительны; в политической жизни они могут служить образцами для всех; но как теоретики, они крайне слабы. Самая теория английской конституции выработана иностранцами. Можно сказать, что целая высшая половина человеческого мира для англичанина не существует. Когда же он пускается в эту область, то обыкновенно у него мысль заменяется своеобразною, а иногда и дикою фантазией. Отсюда полное отсутствие у них истинно философского смысла. Англия – отечество чисто реалистической, то есть самой односторонней и низменной философии. Отсюда также необыкновенное уважение ко всему фактически установленному, к общественным приличиям, к общественному положению. Отсюда, наконец, возможность фактического сожительства всего бесконечного разнообразия не клеящихся друг с другом явлений. Англия – страна всякого рода контрастов: богатства и бедности, утонченности и грубости, свободы и стеснений, независимости и подобострастия, поэзии и прозы, высоких нравственных стремлений и самого узкого эгоизма, широкого образования и паразитического скудоумия. И все эти контрасты не сглаживаются и не сливаются в одно гармоническое целое, а связываются только тем, что все они выросли из одной почвы и являются отпрыском общего корня – своеобразного английского духа.

В ноябре я поехал в Париж и там поселился на всю зиму. Я усердно принялся за изучение французской администрации, читал книги, регламенты, часто ходил на судебные заседания Государственного совета; посещал также суды, в особенности же старался знакомиться с людьми, от которых мог получить какие-нибудь сведения. В эту зиму в Париже у меня завелось знакомство обширное и интересное, особенно в кругу орлеанистов. Из всей разнообразной массы людей различных народностей, с которыми мне на моем веку доводилось сходитья, образованный француз старого времени был для меня самым приятным собеседником. Тонкость и подвижность ума, изящество форм, общительность характера, определенность

мысли при отсутствии всякой резкости и с постоянным сохранением уважения к чужому мнению, все это делало из разговора живой обмен мыслей, всегда занимательный, а нередко и поучительный. Самая физиономия старых французов, их подвижные, хотя часто неправильные черты, тонкое и умное выражение, были для меня чрезвычайно привлекательны. Я даже удивлялся иногда, отчего у молодого поколения, даже между выдающимися людьми, нет таких лиц.

Старика Пасси я знал уже прежде, но теперь сошелся с ним ближе. У нас завязалась даже переписка, которая продолжалась до самой его смерти. Он любил вступать в сношения с молодыми русскими учеными, полагая, что присоединение славянских элементов к кругу сил, работающих для науки, может открыть человеческой мысли новые горизонты. Множество его писем сохраняются у меня. Это был образец старика, который на склоне лет достиг ясного и спокойного созерцания. Не смущаясь мировыми переворотами, он смотрел на них, как мудрец, с высоты вынесенного из науки и жизни философского взгляда. Либерал по убеждениям, он не жалел о прошлом, не возмущался настоящим, а старался без гнева и пристрастия постигнуть смысл событий, вытекающий из данных общественных условий. Как наблюдатель, он с некоторым недоверием смотрел на будущее. Господствующая в больших городах Франции среди рабочей массы ненависть к богатым казалась ему камнем преткновения для упрочения демократии. Глубокий знаток экономического быта, бывший трижды министром финансов при Людовике-Филippe, он хорошо понимал, как административные, так и политические вопросы. Его книга об образах правления свидетельствует и об основательном знании истории, которую он считал единственной твердой опорой для правильных политических взглядов. При таких данных разговор его был чрезвычайно разнообразный и привлекательный. Он переходил от теории к практике, высказывая всегда ясные и твердые суждения, с беспристрастной оценкой людей, касаясь многого виданного им в жизни или почерпнутого из изучения истории. И это не был монолог, как у многих французов; он умел слушать так же, как и говорить. Это был спокойный обмен мыслей, в котором мудрый старец излагал плоды своей многолетней жизни, протекшей в самом центре политического и умственного движения.

Дальнейший ход событий не только не уменьшил, а скорее усилил скептический его взгляд на современное положение Европы. В 1869 году он писал мне:

«Я стар, я многое видел, и не имею к разуму человеческому большего доверия, чем имел его канцлер Оксеншерна. Я бы хотел ошибаться, но мне кажется, что народы Европы не так скоро достигнут цели, к которой идут. Рабочие классы находятся теперь во власти

антисоциальных доктрин и страстей, и рано или поздно между ними и другими классами возгорится самая роковая борьба. То, чего они хотят – неосуществимо, и те бури, которые они вызовут своими требованиями, еще раз заставят наделить власть чрезвычайными полномочиями. Зло одно и то же, как в Англии, так и во Франции и в Германии, и нельзя ожидать, чтобы из умов оно не перешло в действие. В этом заключается серьезная сторона положения. Ненависть к богатым стала преобладающим чувством в городских массах. Эта ненависть громко проявляется и теоретически облекается в самые разнообразные формы, ничего при этом не теряя в опасной своей силе; в конце концов она вызовет своего рода социальную войну, одну из тех гражданских войн которые приводят к диктатуре. Западной Европе предстоит пройти через решительный кризис; дай бог, чтобы она вышла из него более спокойной и более разумной, чем она была до сих пор. Многие мог бы я вам рассказать о современном состоянии Европы, о прогрессе социализма, о недостатке просвещения во Франции среди всех классов, о недалёковидности правящих. Но времени у меня сегодня нет».

С тех пор прошло двадцать лет и зло только усилилось, и не видно из него исхода. Невежественные массы, вооруженные выборным правом, смыкаются в сплоченные ряды, хватаются за самые наивные теории, и при современной умственной анархии из среды образованных классов раздаются голоса, поддерживающие их бессмысленные притязания.

Из экономистов я продолжал видаться с Воловским и Дюнуае, познакомился также с Мишель Шевалье, у которого бывал по вечерам. На одном из ежемесячных обедов, на которые меня приглашали довольно часто, я сошелся с Дюпон-Уайтом, с которым скоро сблизился и впоследствии вступил также в переписку. Он был тогда один из немногих, смотревших правильно на деятельность государства и не вдававшихся в одностороннее ограничение его задач. Только теперь его начинают ценить. Мы в этом отношении совершенно с ним сходились; я проповедовал в России то, что он писал в Париже. Когда вышла его книга: *L'individu et L'Etat*, Катков говорил, что это французский Чичерин. Но ценя его направление и еще более его разнообразный и приятный разговор, я находил в нем, однако, более тонкости, нежели силы. Политические суждения были нередко поверхностны, оценка людей далеко не всегда правильная, и вообще он производил впечатления живого, образованного и тонкого, но несколько легкого ума.

Сходясь с Дюпон-Уайтом в воззрениях на государство, я, конечно, не мог сходитьсь с Лабулэ, к которому имел письмо от Ампера. Лабулэ пользовался большою репутацией; он в *College de France* читал курс, привлекавший большое стечение публики. Но в сущности,

Моль был прав, называя его болтуном. Главную приманкою его чтений составляли язвительные намеки на современные порядки во Франции. При давлении императорской власти, этого рода оппозиция доставляла такое же удовольствие, как у нас пропущенная цензурою статейка, в которой можно было читать между строками. В научном же отношении, эти чтения не давали ровно ничего. В политике далее Соединенных Штатов Лабулэ не шел; идеалом его было ограничение государства чисто полицейскими обязанностями, да и то лишь настолько, насколько это не могло быть исполнено частными силами. И этот взгляд он излагал в сочинениях, похожих на карикатуры, как «Paris en Amerique» и «Le Prince Caniche». Точно так же и разговор его ограничивался разглагольствованиями о вреде государственного вмешательства и о том, что в Соединенных Штатах все отлично идет. Поучительного я мало в нем находил, а монотонный докторальный тон, вовсе не свойственный французам, нагонял на меня скуку.

Несравненно сильнейшее впечатление произвели на меня старые корифеи орлеанской партии, в особенности Тьер. Он всегда принимал меня чрезвычайно любезно, и я часто бывал у него по вечерам. Это был самый блестящий ум, какой мне доводилось встречать, и что замечательно, это именно был блеск ума, а не остроумия. Речь его лилась непринужденным и неуправляемым потоком самого разнообразного содержания. Всякий вопрос его воодушевлял, и все, что он говорил, было сильно, метко, живо и картинно. Всякое слово било в цель и поражало слушателя. Этот маленький старичок, с довольно пошлою наружностью, с тонким и хриплым голосом, с фамильярными жестами, как бы вцеплялся в своего собеседника, который оставался совершенно очарован сверкающим перед его глазами изумительным фейерверком. Иногда он расспрашивал и всегда точно и умно, но большею частью это был монолог. Нужно было только завести его и уметь вставить слово возражения или ответа, и тогда уже не было удержу; оставалось только слушать и наслаждаться. Когда он, беседуя однажды о Людовике-Филиппе, сказал мне, что король был чрезвычайно умен, но любил всегда говорить и не давал другому произнести слово, я понял, что эти два человека никогда не могли ужиться вместе: каждый хотел говорить один. Эта страсть говорить у Тьера проявлялась иногда в довольно забавной форме. Однажды я прихожу вечером и застаю его дремлющим у камина. Я сел возле него я сделал какой-то вопрос. Он тотчас воодушевился и начал сперва тихо, а потом все более и более возвышая голос. Вдруг его теща мадам Дюен, которая в доме всем распоряжалась, резко его остановила: «Вы знаете, что вам запрещено говорить». Оказалось, что у него были пятна в горле и доктор наложил запрет на разговор. Тьер с грустным видом замолк, и разговор продолжался без него.

Но через несколько минут он не выдержал, и снова возвратился к прежней теме, опять сначала вполголоса, потом все более воодушевляясь. Теще опять пришлось его укрощать, и он с отчаянием сел; но, наконец, он окончательно закусил удила: речь полилась потоком, и я только махал рукою на тещу, чтобы та оставила его в покое.

Случалось, что он хотел произвести эффект, но это назначалось только для новых лиц, которых он сразу хотел чем-нибудь поразить. В первый же вечер, когда я явился в его гостиную, он чтобы попытать меня, отпустил мне фразу, которую я несколько лет спустя, встретил в одной из его речей в Законодательном Корпусе: «Франция – генеральный штаб, Англия – муниципий». Произнеся это изречение, он остановился, чтобы посмотреть, какое оно на меня произведет впечатление, и что я на это скажу. Я отвечал, что для водворения свободы мало одного генерального штаба; необходимы муниципальные добродетели. При дальнейшем знакомстве такие заранее обдуманные эффекты уже не повторялись. В сущности, ему не за чем было к ним прибегать. Эффекты производились сами собой, игрою этого необыкновенного ума, который с одинаковою легкостью выражал свои суждения то в точно определенной мысли, то в картинном образе или сравнении. Последние бывали иногда поразительны. Одно мне особенно памятно и имеет некоторый исторический интерес. В 1870 году, за несколько месяцев до франко-прусской войны, я посетил Париж. Тьер в то время был в трауре по своей теще и принимал в маленьких апартаментах небольшой крут друзей и знакомых. Я удостоился быть принятым в это число. Это была пора пробуждения либеральных идей, которым уступало само императорское правительство. Эмиль Оливье был тогда на вершине своей славы; все за ним ухаживали, и сам Тьер хлопотал о принятии его в Академию. Я пошел в Законодательный Корпус и там слышал речь Оливье. Он сделал на меня впечатление легкомысленного человека, хотя Дюпон-Уайт уверял, что он стоит и Тьера и Гизо. Вечерам у Тьера я спросил его: «Что такое Оливье?» «Вот видите, – отвечал он, – в Ницце есть деревья, которые в очень короткое время вырастают на огромную высоту. Я вижу дерево, которое толще меня; ветви в толщину моей руки. Я спрашиваю: сколько ему лет? говорят: девять. Я подхожу, трогаю его палкою, палка туда уходит; оно как масло». События слишком скоро доказали верность этого изображения.

С тех пор я Тьера не видал, но с величайшим сочувствием следил за его патриотическою деятельностью для восстановления разгромленной Франции. Это был патриот в истинном смысле слова: выше и дороже Франции для него не было ничего на свете. Когда его свергли, я написал ему письмо, где говорил, что считаю это действие преступлением против отечества. Он прислал мне ответ, в котором излагал свои убеждения. Помещаю его здесь, как любопытный

памятник великого человека и как воспоминание его дружеского ко мне расположения.

«Париж. 12 августа 1876 г.

Дорогой Чичерин, я очень запаздываю своим ответом, но вы меня простите, если примете во внимание несоответствие между временем, которым я располагаю, и тем, что мне приходилось выполнить. Не то, чтобы я отдавал политике все свое время; бывает конечно и так; когда на меня возложено бремя государственных дел, я отдаю себя этим делам до того, что забываю о жизни, но когда бремя это переносится на других, я оставляю его на них целиком, и не из эгоизма, а из уважения к лежащей на них ответственности. Дай бог, чтобы это им удалось, дай бог ради нас и ради всего мира. Избавившись от правительственных забот, я посвящаю науке все то время, которое мне оставляют мои обязанности депутата. Ваш beau-frere*, человек очень просвещенный, очень интересный, занимающий здесь хорошее положение, расскажет вам обо мне, так как я вижу его часто и всегда с удовольствием; он знает, что я весь ушел в свою работу и не являюсь помехой для тех, на кого возложена обязанность действовать.

Ваше письмо доставило мне бесконечное удовольствие. Я чрезвычайно счастлив, что вы вспоминаете обо мне и с таким дружественным чувством. Вы свидетель как близкий, так и далекий моей продолжительной и трудолюбивой жизни и вы имели возможность судить об искренности и о постоянстве моих чувств. Вполне чисто-сердечно я стремился к установлению конституционной монархии. Я родился в доброй чиновничьей семье, вступившей в родственные связи с семьей богатых коммерсантов еще до Французской революции, я воспитывался в лицеях Первой Империи и ничто не отвращало меня от либеральной монархии; наоборот, все связывало меня с ней, как мои родители, так и мое образование, наполовину военное, наполовину либеральное, наконец самый мой характер. Я бы принял ее от Карла X, от Людовика Филиппа, наконец, даже от самого Наполеона III. Но эти три государя с намерениями несомненно хорошими, но с печальным ослеплением сделали все, чтобы помешать ее успеху. Истинный принцип либеральной монархии состоит в том, чтобы государь ступешевывался и давал представителям власти возможность следовать за настроением страны. Но все эти государя хотели управлять согласно собственному вдохновению, несомненно с добрыми намерениями, однако, они делали это так, что оскорбляли все национальные чувства. Карл X, защищая религию, как он ее понимал, Людовик Филипп, желая сделать приятное Европе, поддержки которой он добивался, Наполеон III, придавая себе аллюры своего славного дяди, все они упорствовали и противо-

* Шурин (beau-frere) Чичерина – П. А. Капнист.

действовали склонностям страны и упорствовали до тех пор, пока не вызвали непреодолимого сопротивления. Результатом было трехкратное падение монархии, после чего новая попытка установления монархии стала уже невозможной. Нужно было видеть положение, каким оно создалось в Бордо, для того, чтобы понять до какой степени напрашивалась та линия поведения, которой я держался. Ко мне обратились потому, что иначе нельзя было действовать. Роялисты меня не любили, будучи убеждены в том, что я не буду их пассивным орудием. Либералы относились ко мне с сочувствием, однако испытывали некоторые опасения в виду прежних моих монархических тенденций, и все меня терпели, готовые меня покинуть, если я уклонюсь в сторону одной из трех партий, стоявших друг против друга. Я не располагал ни одним солдатом, ни одной копеей денег, перед лицом восьмисот тысяч чужеземных солдат хозяев на французской земле. Так мне и пришлось управлять, сохраняя равновесие между всеми партиями, из которых ни одна не поддерживала меня искренно. Я раздавил бешеное восстание, овладевшее столицей при страшной вооруженной силе, я избавился от пруссаков посредством обязательства, заключенного на основании финансовых операций, не имевших прецедента и, наконец, восстановил немного порядка и много доверия. Видя меня на деле, республиканская партия прониклась ко мне доверием и стала меня поддерживать, но роялисты, бессильные, яростно нападали на меня. Я не мешал им говорить и действовать и занялся исключительно освобождением территории. Но добившись этого избавления, я должен был припереть к стене три монархические партии, требуя от них, чтобы они или признали республику, которую я считал единственно возможной государственной формой, или же сами установили монархию, если считали возможным сделать такую попытку. Они избрали этот последний путь, и я предоставил им свободу действия. Они покрыли себя позором и доказали всецело, что в настоящее время невозможно ни что иное, как только республика.

И сейчас положение продолжает быть трудным в стране, принявшей республиканскую форму правления, при правительстве, ненавидящем республику. Из этого противоречия вытекают печальные дергания, которые, быть может, со временем приведут к серьезной опасности. Но при разумном ведении дела можно будет из этого положения выйти. Необходимо прежде всего, как можно дольше сохранить мир. Ваш император, которого во Франции глубоко почитают, хочет мира, и он прав. Но симпатии к славянам несколько беспокоят Европу, которая пришла бы в настоящее отчаяние, увидя, что мир подвергается опасности со стороны агитаторов на Востоке. Поверьте мне, мир нужен всем и будьте уверены, что несмотря

на наши несчастья не нам он более всего нужен; сохраним его с достоинством все.

Я пространно изливаюсь перед вами, как перед старым другом и будьте уверены, что я всецело разделяю дружественное чувство, с которым вы ко мне относитесь. Вы очень бы меня осчастливили, если бы посетили нас. Я еду на три месяца в Швейцарию и буду занят продолжением своей книги. Если бы вам пришла счастливая фантазия побродить по Европе, я был бы счастлив побеседовать с вами обо всей вселенной, не меньше. Прощайте, прощайте.

А. Тьер».

История строго осудит тех людей, которые вместо того, чтобы сомкнуться вокруг единственного человека, способного возродить Францию после ужаснейшего разгрома и дать ей подобающее ей место в ряду европейских держав, низвергли его в виду стоявшего еще в стране неприятеля, и сами, запутавшись в своих темных интригах, принуждены были сделать собственными руками то, против чего они восставали. Надобно сказать, что большинство старых орлеанистов, Дюфор, Ремюза, Одилон Барро, Дювержье де Горанн, даже близкий друг орлеанской семьи Монталиве, последовали за Тьером. В этих людях любовь к отечеству стояла выше интересов партии и личных связей. Направленные против Тьера козни были делом измельчавшего под императорским правительством молодого поколения, с герцогом де Броль во главе, за которым скрывался тайный зачинщик всех интриг, граф Парижский.

Я звал некоторых из этих орлеанистов прежнего времени: Одалона Барро, у которого я обедал с Кузеном и Рейбо; старого знаменитого герцога де Броль, пожелавшего узнать от меня о ходе освобождения крестьян в России; Баранта, Минье, Дювержье де Горанн, который принимал по вечерам. Последний в особенности в резких выражениях отзывался о современном императорском правлении. «Нами управляют лакеи!» – говорил он мне с негодованием. Понятно, как этим старым парламентским борцам горько было видеть господствующее раболепство и унижение народа, за которые впоследствии так дорого заплатились французы. Несколько раз я был и у Гизо. На всех этих людей я смотрел с глубоким уважением. Даже в Гизо, который лично был мне всех менее симпатичен, я видел крупного представителя либерального времени, великого историка и великого оратора.

С другой стороны, я видался и с республиканцами. У Тьера я познакомился с Бартеlemi-Сент-Илером, про которого Тьер говорил: «Хорошо бы, если бы все республиканцы были как Сент-Илер; это – ангел, спешший с небес». Основательный ученый, хотя невысокого ума, он в сущности не был политическим человеком. Я возобновил

знакомство и с двумя принадлежавшими к республиканской, партии французами, которые были на съезде в Глазго, с Демарэ и Гарнье-Пажесом. С первым, в особенности, я довольно часто видался в Париже. Хороший адвокат, бывший *batonnier**, он был человек с живым и тонким умом и весьма обходительный. Его весьма неглупая жена умела говорить о политических вопросах так просто и здраво при твердости убеждений, как редко встречается у женщин. Но добрейший и честнейший Гарнье-Пажес, некогда член временного правительства и министр финансов в 1848 году, был чистый ребенок, как признавали и его друзья. При этом он воображал, что он популярнейший человек во Франции. Это было республиканское простосердечие во всей своей наивности. Через этих господ я познакомился и с другими, бывал на вечерних собраниях у Карно, где в небольшом кругу обсуждались современные политические вопросы. Уже в то время я был убежден, что империя продержится недолго, и что за нею последует республика; я даже высказывал это Сент-Илеру. Но я не мог не видеть, что люди, принадлежавшие к республиканской партии, гораздо низшего калибра нежели старые орлеанисты, которые представляли высший цвет французского ума и образования. Республика водворилась во Франции не вследствие обилия собственных сил, а вследствие несостоятельности прежних правлений. Она явилась неподготовленной и упрочилась, не столько волею людей, сколько силою обстоятельств, не допуская ничего другого. Поэтому, когда вымерло старое поколение орлеанистов, общий уровень значительно понизился.

Я посещал и некоторые светские салоны, но должен сказать, что единственный приятный салон такого рода, в котором мне случилось быть, держался русскою дамой, графиней Сиркур, рожденной Хлюстиной. Она была в то время вся больная, вследствие нечаянного ожога и принимала в известные часы, иногда утром, иногда вечером, сидя в креслах и положив голову на подушку. К ней стекались и светские люди, и ученые и литераторы. Она со всяким умела говорить и всякого вызывать на разговор. У нее это было даже особенное искусство. Разговор ее не был непринужденным обменом мыслей, вызванным минутным впечатлением или общими интересами. Поговоривши с одним о том, что его занимало, она в миг с тем же вниманием обращалась к другому и переходила на новую тему. Говорили даже, что она всякий раз к разговорам готовится. Но так как это делалось, умно, с тактом, и знанием людей, то в итоге все выходило ладно и приятно. Муж ее был человек недалекого ума, но образованный, много читавший. Он уверял, что француженки, весьма приятные в прежнее время, сделались невыносимо скучны вслед-

* Старшина адвокатского сословия.

ствие того, что они воспитываются монахами. В других салонах, где я иногда бывал, у герцогини де Роган, приятельницы г-жи Сиркур, у Булье, действительно царил непроходимая скука. Вместо общего разговора была только суета и толкотня, часто беспрестанно приезжали и уезжали. Правду сказать, в то время для общего разговора было мало пищи. Для умственного оживления гостиных необходима живая окружающая атмосфера, а в ту пору во Франции не было ни умственного движения, ни политической жизни. Последняя была подавлена императорским деспотизмом, а первое заглохло под влиянием получившего преобладания реализма. Я ходил иногда в Законодательный Корпус, но слышал только ничтожные прения рабоче-лепного собрания. Грустно было видеть нисшедшую с прежней высоты французскую трибуну. К сожалению, мне не довелось слышать ни Тьера, ни Фавра. О первом я мог составить себе некоторое понятие по его разговорам; последнего же я слышал раз уже несколько лет спустя, да и то не в палате, а на публичной лекции, которую он читал. Я был им совершенно очарован. Содержание лекции было пустое, но голос, приемы и дикция были поразительно художественны. Я говорил, что после Рашели не видал ничего подобного.

За недостатком политического красноречия все стекались слушать академические речи. Мне удалось попасть на знаменитый прием Лакордера в Французскую Академию. Надобно было стоять у входных дверей с семи часов утра в ожидании открытия залы, и затем сидеть в страшной тесноте. Но все это вознаграждалось впечатлением собрания, в то время еще полного знаменитостей. Я слышал важную, исполненную мысли, речь принимающего Гизо, и пламенную речь облеченного в свой монашеский костюм Лакордера, по бокам которого, как восприемники, сидели Беррье и Монталамбер.

Не могу не упомянуть и об умилительном знакомстве в мире художества, которое довелось мне сделать в Париже. От хранителя Берлинского музея, Ваагена я имел письмо к одному старому французскому художнику Перену, которого Вааген просил показать мне замечательные рисунки другого, уже умершего художника, Орселя.

Перен принял меня самым ласковым образом, и я скоро сблизился с его семьей. Это был образец самых чистых и возвышенных сторон французского быта. Семейное согласие было полное, доброта непомерная, и вся жизнь наполнялась и облагораживалась любовью к идеальному, религиозному искусству. Но всего трогательнее была сохраняющаяся, как святыня, память об умершем друге, Орселе. Перен и Орсель вместе учились у Герена, вместе жили в Италии, вместе работали и проводили всю жизнь. Председатель лондонского общества художеств Чарльз Истлек, который знал их в молодости, говорил мне, что это был самый удивительный пример дружбы, какой он встречал в жизни. Когда с одним из друзей случалось какое-

нибудь горе, другой, хотя бы он был в отдаленной стране и занят работою, тотчас все бросал и ехал его утешать. Орсель действительно был человек с замечательным талантом; но и Парен не был лишен дарования. Им обоим заказаны были фрески в Нотр-Дам де Лоретт; Орсель писал одну капеллу, а Перен другую. Но Орсель умер, не докончив своей работы. Тогда Перен бросил свою, докончил капеллу друга и с тех пор посвятил себя исключительно изданию его произведений. Когда я с ним познакомился, прошло уже десять лет со времени смерти Орселя; но вся семья была полна воспоминаниями о нем. Перен говорил об умершем друге постоянно со слезами на глазах. В длинные вечера, которые я у него проводил, он все показывал мне рисунки Орселя, которыми я не мог не любоваться: до такой степени все было чисто, возвышенно и изящно, все строго обдумано и глубоко изучено. Это была манера Овербека, но без немецкой претенциозности и в несравненно более художественной форме. Я, как драгоценную память, храню подаренный мне Пареном альбом с исполненными им и его учениками гравюрами этих рисунков.

Я часто виделся в Париже и с пребывавшими там русскими с Тургеневым, с Ханьковым, с Н. И. Тургеневым, который, давно выселившись из отечества и имея в Париже свой дом, продолжал живо интересоваться Россией и русскими. Видался я и с князем П. В. Долгоруким, который в то время также выехал из России и не подвергался еще опозорившему его приговору. Однажды Тургенев пригласил нас с Ханьковым обедать к Вефуру, сказавши, что его звал Долгорукий, и он просит нас придти на подмогу. Мы пошли; Долгорукий на этот раз держал себя скромно и обед вышел оживленный.

Это нам так понравилось, что Тургенев тут же предложил собираться раз в неделю. Скоро, однако, Долгорукий своими резкими выходками, лишенными всякого серьезного основания, так нам надоел, что мы стали его избегать и ходили уже обедать втроем. Я, впрочем, остался ему благодарен за то, что он отвел меня во многие парижские гостиные, которых он был тогда усердным посетителем. Между прочим, он повез меня к Тьеру.

19 февраля 1861 года телеграф принес нам из отечества великую весть: русский народ был свободен! Для России наступала новая пора, для которой все мы работали, которую мы так страстно ожидали. В тот же день вся наша компания собралась на обед, на котором был и пребывавший в Париже декабрист князь С. Г. Волконский. От полноты души подняли мы бокалы за государя, освободителя миллионов русских людей. Вскоре мне пришлось написать статью об этом преобразовании. Мой приятель Демаре задумал издавать маленький журнал «*La critique franchise*», который служил, впрочем, больше для собственного его развлечения и просуществовал очень недолго. Он просил у меня статьи и я воспользовался этим случаем, чтобы изло-

жить весь ход освобождения крестьян. В отдельных оттисках я разослал эту статью всем своим парижским знакомым.

В апреле приехал и сам главный двигатель в этой реформе, Н. А. Милютин, совершенно счастливый и довольный тем, что после долгой и упорной работы вырвался наконец на свободу. Мы видались почти каждый день; я с любопытством слушал его рассказы; мы ходили вместе в судебные заседания Государственного совета, ездили навещать В. П. Боткина, который в это время приехал больной из Италии и поселился в окрестностях Парижа. Но уже приближался срок моего возвращения на родину. Мне очень хотелось пробыть еще лето во Франции. Некоторые из моих знакомых, между прочим граф Кергорлэ, приятель Токвиля, звали меня в деревню погостить и посмотреть на провинциальные порядки. Это было бы драгоценным дополнением к сведениям, приобретенным в Париже. Но время уже не позволяло мне воспользоваться этими приглашениями. Я был выбран Советом Московского университета исправляющим должность экстраординарного профессора по кафедре государственного права, а с осени должен был начать свой курс, а у меня еще ничего не было готово. Я хотел посвятить этому лето, живя в деревне и пользуясь полным досугом. В конце мая я распростился с милым Парижем, оставившим во мне столько хороших воспоминаний, и приехал прямо в Караул.

Я возвращался на родину после трехлетнего путешествия с богатым запасом новых сведений и впечатлений. Европа дала мне все, что могла дать. Я собственными глазами видел высшее, что произвело человечество, в науке, в искусстве, в государственной и общественной жизни. И я не мог не убедиться, что все это бесконечно превосходило то, что я оставил в своем отечестве. Это не был своеобразный, отмеченный особою печатью мир, противоположный России, как уверяли славянофилы.

Нет, в противоположность однообразной русской жизни, вылитой в один тип, где на монотонном сером фоне незатронутой просвещением массы и повального общественного раболепства, кой-где мелькали огоньки мысли и просвещения, я находил тут изумительное богатство идей и форм; я видел разные народы, каждый со своим особенным характером и стремлениями, которые, не отрекаясь от себя, но при постоянном взаимодействии с другими, совокупными усилиями вырабатывали плоды общей цивилизации. Еще менее я мог заметить признаки мира разлагающегося. Напротив, рядом с отживающими формами я видел зарождение новых свежих сил, исполненных веры в будущее. Эти силы были еще неустроенны; впереди предстояло им еще много борьбы, усилий, может быть временно попятных шагов и разочарований. Но цель была намечена, и веющее повсюду могучее дыхание мысли и свободы обеспечивало успех.

Глядя на Европу, невозможно было сомневаться в прогрессивном движении человечества.

Но вместе с тем я глубоко чувствовал, что вся эта раскрывающаяся передо мною в таком блеске Европа, со всем изумительным богатством явлений, были мне чужды и что я всем моим существом принадлежу своей однообразной, убогой, погруженной в мрак невежества родине, которая одна затрагивала самые заветные струны моего сердца. «Все чужое мне до смерти надоело, – писал я брату еще зимою. – Ни за что бы я не пошел в дипломатическую карьеру. Не презирать отечество с высоты европейского просвещения, а усвоить для него плоды этого просвещения и, может быть, вложить в него свою лепту, распространить в родной земле хотя бы неслышными и незаметными путями добытые человечеством умственные блага, сеять на тучной, но необработанной русской ниве возвращенные Европой семена мысли и свободы, такова была задача, которую я себе поставил, такова была отныне цель моей деятельности. Европой я мог любоваться, но жить и действовать я мог только в России. Насмотревшись чудес, познакомившись с европейской жизнью и с людьми, я мог уже с полным сознанием и с созревшей мыслью посвятить себя на служение отечеству в новую, открывшуюся для него историческую эпоху.

«Ах, пора в Россию, – писал я брату перед отъездом из Франции. – Прошедший год был для меня не бесполезен и я не жалею, что съездил. Для образования это нужно. Но уже мне заграничная жизнь решительно надоела по горло. От безделья просто не знаешь, куда деваться, а работать в путешествии невозможно. Засяду же я после этого дома и уже ничем меня не выживут».

Алфавитный указатель имен и примечания

Абаза Александр Агеевич (1821 – 1895), управляющий гофмейстерской частью двора вел. кн. Елены Павловны, министр финансов в м-ве Лорис-Меликова в 1880 – 1881 гг., покинул свой пост в связи с изменением политического курса после смерти Александра II; впоследствии член Госуд. совета и председатель департамента экономии 382

Абаза Сергей Агеевич (1833 – 1908), чиновник особых поручений и секретарь вел. кн. Елены Павловны 381, 382

Абамелек Анна Давыдовна, см. Баратынская А.Д.

Авилов, учитель русского языка в семье Чичериных 136, 140, 148

Аксаков Иван Сергеевич (1823 – 1886), известный славянофил, публицист и поэт. Редактировал ряд сборников и журналов («Московский Сборник», «Русская Беседа», «Парус», «День», «Москва» «Русь») 133, 134, 136, 182, 247, 309, 317, 319, 320, 321, 322, 323, 327, 348

Аксаков Константин Сергеевич (1817 – 1860), русский публицист, критик, поэт, историк, языковед, один из идеологов славянофильства. Сын С.Т.Аксакова, брат И.С.Аксакова 136, 146, 155, 161, 210, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 341, 348

Аксаков Сергей Трофимович (1791 – 1859), писатель, литературный и театральный критик, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1856). Автор книг «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука» и др., отец И.С. и К.С. Аксаковых 316, 319

Аксакова Анна Федоровна, см. Тютчева А.Ф.

Александр I Павлович (1777 – 1825), император (с 1801 г.) 33, 145, 151, 191, 257, 323, 372

Александр II Николаевич (1818 – 1881), император (с 1855 г.) 207, 272, 378, 395

Ализон сэр Арчибальд (1792 – 1867), баронет, английский историк и юрист 446

Альфред Великий (849 – 901), король английский (с 871 г.) 442

Алябьев, брат Александры Васильевны Киреевой, товарищ Б.Н. Чичерина в студенческие годы 172, 174, 184, 195, 197

Алябьева Александра Васильевна (1812 – 1891), дочь Василия Федоровича Алябьева, помещика Вологодской и Владимирской губ., с 1832 жена Алексея Николаевича Киреева (1812 – 1849), офицера Ольвиопольского гусарского полка, известная московская красавица 172

Ампер Жан-Жак-Антуан (1800 – 1864), французский историк литературы, автор трудов о древнем Риме, член Французской Академии 414, 415, 451

Андреевский Михаил Степанович, майор в отставке, предводитель дворянства Кирсановского уезда Тамбовской губернии (1860 – 1869), женат на Марии Владимировне, рожд. Вышеславцевой (? – 1901) 63, 85, 86, 126, 127

Анненков Павел Васильевич (1813 – 1887), литературный критик, автор известных воспоминаний, собиратель материалов по биографии Пушкина и редактор первого посмертного издания его сочинений, друг И. С. Тургенева 157, 240, 243, 244, 265, 395

Ансильон Фридрих (1767 – 1837), прусский историк 102

Антоний Марк (ок. 83 – 30 до н.э.), римский политический деятель и полководец, друг и доверенное лицо Цезаря, член второго триумvirата, вместе с Октавианом (впоследствии императором Августом) и Марком Эмилием Лепидом 111

Анцифорова Надежда Ивановна, экономка в семье Чичериных 89, 90

Арапетов Иван Павлович (1811 – 1887), окончил курс на юридическом факультете Московского университета; служил в департаменте уделов и II Отделении собственной е.и.в. канцелярии. Был близок с И.С. Тургеневым, К.Д. Кавелиным, А.В. Дружининым, И.И. Панаевым, В.П. Боткиным и другими литераторами 1840-х г. В 1859 г. был назначен членом редакционных комиссий от комитета по устройству крестьян разных ведомств 237

Арапов Устин Иванович (? – 1873), генерал-майор, предводитель дворянства Тамбовской губернии (1840 – 1845) 63, 64, 67, 68

Арапова Мария Ивановна, жена предыдущего 63, 125

Арбеньев, помещик Кирсановского уезда Тамбовской губернии, бывший владелец усадьбы Караул 52

Аристотель (384 – 322 до н.э.), греческий ученый и философ, ученик Платона 143, 188, 200

Арнольди Лев Иванович 216

Арнет Франц Осипович, доктор медицины, состоящий при вел. кн. Елене Павловне, родом австриец 382

Арсений (Федор Павлович Москвин, род. в 1795 г.), митрополит Киевский, в 1832 г. рукоположен во епископа Тамбовского, в 1841 г. назначен архиепископом Подольским, в 1860 г. назначен митрополитом Киевским и Галицким 63

Астафий, крепостной башмачник Чичериных 116, 117

Бабст Иван Кондратьевич (1824 – 1881), профессор политической экономии сперва в Казанском ун-те (в 1851 – 1857 гг.), потом в Московском (1857 – 1874); в 1864 – 1868 гг. директор Лазаревского ин-та в Москве; в 1862 г. сопровождал наследника Николая Александровича в путешествии по России; после его смерти состоял при цесаревиче, будущем Александре III, во время подобных же поездок в 1866 и 1869 гг. 171, 393, 394

Базилевская Надежда Петровна (рожд. Озерова), мать П.И. Базилевского 206, 207, 208

Базилевский Петр Иванович (1829 – 1883), сын предыдущей, товарищ братьев Чичериных по университету 184

Байрон Джордж-Ноэл ь-Гордон (1788 – 1824), знаменитый английский поэт-романтик 136

Бакунин Михаил Александрович (1814 – 1876), один из основателей анархизма; поддерживал близкие отношения с Белинским, Боткиным, Грановским, Катковым, с последним в 1840 г. поссорился и вызвал на дуэль, которая, впрочем, не состоялась; в 1862 году, после побега из ссылки в Сибири, оказался в Англии и был принят Герценом в редакцию «Колокола» 268

Бальзак Оноре де (1799 – 1850), знаменитый французский писатель 69

Баранов Павел Трофимович (1814 – 1864), граф, генерал-майор; губернатор Тверской губернии в 1857 – 1862, женат на Анне Алексеевне рожд. Васильчиковой 216

Барант (1782 – 1866), барон, французский государственный деятель, историк и публицист 456

Баратынская Екактерина Федоровна (рожд. Черепанова, 1776 – 1852) жена А.С. Баратынского, фрейлина вел. кн. Марии Федоровны, одна из первых учениц Смольного монастыря 37

Баратынская Анастасия Львовна (рожд. Энгельгардт, 1804 – 1860), с 1826 г. жена Е. А. Баратынского 38, 42

Баратынская Анна Давыдовна (рожд. Абамелек, 1816 – 1889), с 1832 г. фрейлина, знакомая А. С. Пушкина, с 1835 г. жена И. А. Баратынского 40

Баратынская Наталья Абрамовна (1810 – 1855), дочь А. С. Баратынского 42

Баратынская Софья Михайловна (рожд. Салтыкова, в первом браке за А. А. Дельвигом, 1809 – 1888), с 1831 г. жена С. А. Баратынского 36, 42, 44, 75

Баратынский Абрам Сергеевич (1767 – 1811), владелец (с 1797) имения Мара в Кирсановском уезде, тамбовский губернский предводитель дворянства (1803 – 1806) 37

Баратынский Евгений Абрамович (1800 – 1844), поэт, друг А. С. Пушкина; в 1811 г. за «неблаговидную проделку» (кражу денег) по высочайшему повелению исключен из Пажеского корпуса с воспрещением вступать на военную службу 28, 48, 49, 53, 70

Баратынский Иракий Абрамович (1802 – 1859), брат Е. А. Баратынского, флигель-адъютант (с 1831), ярославский (с 1842), казанский военный губернатор (1846 – 1857), сенатор 40

Баратынский Лев Абрамович (1806 – 1858), поручик, адъютант малороссийского генерал-губернатора (1829 – 1834), чиновник по особым поручениям при московском губернаторе 40

Баратынский Сергей Абрамович (1807 – 1866), владелец имения Мара Кирсановского уезда, где постоянно проживал с начала 1830-х гг., чиновник по особым поручениям при тамбовском губернаторе П. А. Булгакове 40, 43, 44, 46, 47, 48, 58, 61, 66, 73, 74, 77, 79, 438, 440

Барро Камилл Одлон (1791 – 1873), французский государственный деятель, глава оппозиции при Людовике-Филиппе, министр-президент перед февральской революцией 1848 г. и министр юстиции в 1848 – 1849 гг. 409, 456

Бартелими-Сент-Илер Жюль (1805 – 1895), французский публицист, ученый и государственный деятель, профессор греческой и римской философии в College de France, автор статей по философии и религии Востока, впоследствии сенатор (1876) и министр иностранных дел (1880) 409, 456

Баршев Сергей Иванович (1808 – 1882), профессор уголовных и полицейских законов в Московском ун-те (1834 – 1876); в 1842 – 1845 гг. – цензор; в 1845 – 1850 гг. – директор Московского технического уч-ща; в 1847 – 1855 гг. был деканом юридического факультета Московского ун-та, в 1863 – 1870 гг. – ректором; автор первого русского курса уголовного права «Общие начала теории и законодательства о преступлении и наказаниях» 180, 182, 196, 226

Барятинский Александр Иванович (1814 – 1879), князь, генерал – фельдмаршал, прославился окончательным покорением Кавказа; в звании наместника кавказского (назначен в 1856 г.) способствовал захвату в плен Шамиля и замирению края; в 1862 г. покинул свой пост вследствие расстроенного здоровья 230, 234

Бастиа Фредерик (1801 – 1850), французский буржуазный экономист, выступал с активной проповедью «свободного предпринимательства», которое рассматривалось им в качестве решающего условия установления социальной гармонии в буржуазном обществе 190

Батенков Гавриил Степанович (1793 – 1863), участник Отечественной войны 1812, декабрист, с 1825 г. состоял в «Северном обществе», 20 лет просидел в Петропавловской крепости, затем был выслан в Томск 253

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855), известный поэт романтического направления 104

Бахметева Александра Николаевна (рожд. Ховрина, 1823 – 1901), писательница, автор популярных книжек «для народа и для детей» с религиозным направлением 217

Безобразов Владимир Павлович (1828 – 1889), академик, специалист по политической экономии и финансовому праву, преподавал в 1868 – 1878 гг. в Царскомеском лицее; преподавал также сыновьям Александра II и вел. князю Константину Николаевичу 257, 305

Бек Август (1785 – 1867), немецкий филолог-классик и историк, прославившийся изданием «Свода греческих надписей», заложивший основы изучения античной экономики 154

Бекетов, помещик Кирсановского уезда, откупщик 45, 46

Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848), знаменитый литературный критик, публицист 103, 157, 171, 221, 239, 285, 290

Беллини Джованни (1425 – 1516), итальянский живописец, глава венецианской школы, учитель Тициана 366

Беляев Иван Дмитриевич (1810 – 1873), историк русского права, профессор истории русского законодательства в Московском ун-те (1852 – 1873); большой известностью пользуются его исследование «Крестьяне на Руси» и «Рассказы из русской истории»; по своему мировоззрению примыкал к славянофилам 339, 344, 345

Бенардаки Дмитрий Егорович (ум. 1870), таганрогский грек, рыботорговец, разбогател на винных откупах, был одним из крупнейших предпринимателей своего времени. На дочери его Александре (1832 – 1856) был женат первым браком Александр Аггеевич Абаза 315

Бенедиктов Владимир Григорьевич (1807-1873), русский поэт, переводчик 103

Беранже Пьер-Жан (1780 – 1857), знаменитый французский поэт, автор песен, большинство которых сделалось народными 410, 422

Берг Федор Федорович (1793 – 1874), граф, генерал-фельдмаршал (с 1865 г.); в 1863 г. был назначен наместником Царства Польского; член Госуд. совета 236

Бергем Николай (1624 – 1683), итальянский живописец 111

Беринг (Тимашев-Беринг) Алексей Александрович (1812 – 1872), московский обер-полицмейстер и вице-губернатор (1851) 191

Берне, француз, гувернер в семье Чичериных 100

Беррье Пьер Антуан (1793 – 1868), знаменитый французский адвокат и политический деятель, член французской академии, монархист 458

Бестужев Александр Александрович (псевдоним Марлинский, 1797 – 1837), русский писатель, критик, публицист; декабрист 103

Бестужев-Рюмин Константин Николаевич (1829 – 1897), историк, выпускник Московского университета (1851); в 1851 – 1853 гг. был домашним учителем в семье Чичериных 30

Бисмарк Оттон (1815 – 1893), князь, знаменитый германский государственный деятель, один из создателей объединенной Германии, в течение многих лет

руководитель внешней и внутренней политики Пруссии, первый государственный канцлер Германской империи (1871 – 1890) 433, 434

Благово Дмитрий Дмитриевич (в монашестве Пимен, 1827-1897), мемуарист, архимандрит Толгского монастыря, настоятель русской посольской церкви в Риме 173, 185, 186

Блакстон сэр Вильям (1723 – 1783), английский юрист, профессор Оксфордского университета, автор классических «Commentaires on the Laws of England» (в русском переводе «Истолкование английских законов» в 3-х тт., 1780 – 1782) 444

Бланк Григорий Борисович (1811 – 1889), помещик Усманского и Липецкого уездов Тамбовской губ., почетный мировой судья Усманского округа, публицист, в 60-х гг. сотрудник «Вестей», в 70-х гг. – «Русского мира»; рьяный крепостник 342

Блюдов Дмитрий Николаевич (1785 – 1864), граф, государственный деятель, друг Н. М. Карамзина, П. А. Вяземского 33

Блунчли Иоганн Каспар (1808 – 1831), знаменитый немецкий юрист, профессор государственных наук, читал лекции в Цюрихе, Мюнхене и Гейдельберге 434

Боборькин Петр Дмитриевич (1836 – 1921), русский прозаик, драматург, журналист, театральный деятель 242

Боборькин Николай Николаевич (1812 – 1888), поэт, автор книги «Стихотворения» (М., 1858) 314

Бобринский Алексей Васильевич (1831 – 1888), граф, егермейстер двора е. и. в., член Госуд. совета с 1863 г.; московский губернский предводитель дворянства (1875 – 1883) 389

Бобринский Василий Алексеевич (1804 – 1874), граф, вследствие участия в Южном обществе состоял под надзором (1826), сыл «западником», через несколько лет после драки с С.П. Шевыревым был избран тульским губернским предводителем дворянства (1862 – 1863) 168

Богданович Евгений Васильевич (род. 1832), генерал-лейтенант, член Совета м-ва внутренних дел; староста Исакиевского собора, составитель и распространитель всевозможных «патриотических» изданий самого грубого пошиба, из которых наиболее обращала на себя внимание серия под заглавием «Кафедра Исакиевского собора» 271

Боденштедт Фридрих (1319 – 1392), немецкий поэт и драматург, переводчик Пушкина, Лермонтова, Тургенева, автор книг о Козлове, Пушкине, Лермонтове и русских народных поэтах; в 1854 – 1857 гг. читал в Мюнхенском университете лекции по славянским языкам и литературам 434

Бодиско Елена Константиновна (1824 – 1904), жена А.В. Станкевича, двоюродная сестра Т.Н. Грановского 286, 288

Боливар Симон (1783 – 1830), руководитель борьбы за независимость испанских колоний в Америке 29

Бологовская Агния Александровна, дочь А.Н. Бологовского 118, 119

Бологовская Наталья Александровна (ум. 1907), дочь А.Н. Бологовского, замужем за Г. В. Кондоиди 118

Бологовская Софья Борисовна (рожд. Хвоцинская), дочь кирсановского уездного предводителя дворянства Б. Д. Хвоцинского, тетка Б. Н. Чичерина, владелица села Умет Кирсановского уезда Тамбовской губернии, замужем за кирсановским помещиком Александром Николаевичем Бологовским 32, 49, 55, 59, 117

Бологовский Александр Николаевич, помещик Кирсановского уезда Тамбовской губернии 59

Бондарский Яков Петрович, учитель закона божьего, преподаватель гимназии 103

Боткин Василий Петрович (1810 – 1869), писатель по вопросам искусства и литературы, сотрудник «Отечественных записок» и «Современника» 1840-х гг., происходил из старинной купеческой семьи 221, 238, 245, 285, 460

Боуринг сэр Джон (1792 – 1872), английский государственный деятель, путешественник и писатель, переводчик поэтических произведений разных народов, в том числе и русских, автор сочинения о десятичной системе 441

Брайт Джон (1811 – 1889), английский политический деятель, в 1838 – 1847 гг. противник хлебных законов, борец за свободную торговлю, религиозную терпимость и расширение избирательных прав рабочего класса 442, 448

Брольи Ашиль-Шарль-Виктор (1785 – 1870), герцог, французский государственный деятель, министр иностранных дел и председатель совета министров при Людовике-Филиппе, член Французской Академии 456

Брольи Жак-Виктор-Альбер (1821 – 1901), герцог, сын предыдущего, писатель и историк клерикального направления, член Французской Академии 456

Броффернио Анджело (1802 – 1866), итальянский поэт и публицист, член пьемонтской палаты депутатов, принадлежал к демократической левой партии, сторонник Гарибальди 369

Брум Генри (1778 – 1868), известный английский оратор и государственный деятель либерального направления, писатель 446

Бруннелески Филипп (1377 – 1446), один из лучших итальянских архитекторов, строитель купола Флорентийского собора 419

Бруннов Филипп Иванович (1797 – 1875), барон, впоследствии граф (1871 г.), дипломат, посол в Лондоне (1858 – 1874) 389

Брусилов Николай Петрович (1782 – 1849), писатель 49, 69, 136

Брэдолбэн, маркиз 445

Брюллов Карл Павлович (1799 – 1852), художник 109

Бугаев Николай Васильевич (1837 – 1903), математик, философ, профессор физико-математического факультета Московского университета, председатель Московского математического общества, основатель Московской философско-математической школы 242

Будберг Андрей Федорович (1817 – 1881), барон, дипломат, посланник в Берлине (1851 – 1856, 1858 – 1862) и Вене (1856 – 1858), посол в Париже (1862 – 1868), член Госуд. совета 433

Булгаков Петр Алексеевич (1809 – 1883), Тамбовский губернатор (1843 – 1854) 64, 67, 74

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 – 1859) – журналист, до 1825 года сотрудничал в «Полярной звезде» К.Ф.Рыльева и А.А.Бестужева; в 1825 – 1859 гг. издавал (с 1831 совместно с Н.И.Гречем) газету «Северная пчела» 342

Бунзен Роберт Вильгельм (1811 – 1899), знаменитый немецкий химик-экспериментатор, в 1852 – 1889 гг. профессор Гейдельбергского университета 425

Буслаев Федор Иванович (1818 – 1897), академик, профессор русского языка и словесности Московского ун-та в 1847 – 1881 гг., автор фундаментальных трудов по языкознанию в т.ч. «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1861) 153, 155

Бюлер Федор Андреевич (1821 – 1896), барон, выпускник Училища правоведения, директор Московского главного архива министерства иностранных дел 68

Вааген Густав-Фридрих (1794 – 1868), немецкий художественный критик, изучал европейские картинные галереи, в том числе Эрмитаж 458

Вадковская Екатерина Федоровна см. Кривцова Е. Ф. 34

Ван Дейк Антонио (1599 – 1641), знаменитый фламандский портретист и исторический живописец 370

Ван Гойен Ян (1596 – 1656), голландский пейзажист; некоторые произведения его имеются в Эрмитаже («Зимний ландшафт», «Вид на р. Маас», и др.) 111

Вангеров Карл-Адольф (1808 – 1870) профессор Гейдельбергского университета по кафедре римского права 425

Василий Шуйский (при вступлении на престол Василий IV Иоаннович, 1552 – 1612), Московский царь с 1606 по 1610 гг. 21

Васильчиков Алексей Васильевич (1776 – 1854), чиновник при посольстве в Вене; сенатор, с 1838 г. в отставке в чине действительного статского советника. 216

Васильчиков Петр Алексеевич (1829 – 1898), сын предыдущего, с 1851 служил в губернском правлении в Петербурге, камергер 184

Васильчикова Александра Ивановна (рожд. Аркарова), жена Васильчикова А. В. 216

Вашингтон Джордж (1732 – 1799), первый президент США (1789 – 1797) 29

Веласкес Диего Родригес (1599 – 1660), испанский художник 111

Великолепов Никандр, портной из Тамбова 65

Вельер Карл Теодор (1790 – 1869), немецкий публицист и государственный деятель либерального направления, член баденской палаты депутатов и франкфуртского национального собрания, профессор государственного права 405

Вернадский Иван Васильевич (1821 – 1884), крупный экономист, статистик, историк, основатель знаменитой династии ученых. Окончил Киевский университет, профессор Московского университета 226

Веронезе Кальери Паоло (1528 – 1588), прозванный по месту рождения (Верона.) один из лучших итальянских живописцев венецианской школы 111, 366

Вефур, парижский ресторатор 459

Виардо Полина (1821 – 1910), французская певица, славилась виртуозной вокальной техникой, глубоким и экспрессивным воплощением образов; с И. С. Тургеньевым ее связывали долгие романтические отношения 239

Виктория (1819 – 1901), с 1837 королева Великобритании и Ирландии 433

Виллерме Луи Ренэ (1782 – 1863), французский врач и статистик, член академии нравственных и политических наук 409

Вильгельм I (1797 – 1888), с 1861 г. король Пруссии и с 1871 г. император объединенной Германии 385

Витгенштейн Петр Христианович (1768 – 1842), фельдмаршал, принимал участие в военных действиях против Польши, затем перешел в корпус графа Зубова на Кавказе и участвовал во взятии Дербента 212

Воейков Алексей Васильевич (1778 – 1800), генерал-майор, состоял на военной службе с 1793 года, ординарец Суворова, с 1810 по 1811 годы – директор Особой канцелярии. Участвовал в сражении при Бородине, был ранен в 1815 году, вышел в отставку 75

Воейков Леонид Алексеевич, сын предыдущего, помещик Борисоглебского уезда Тамбовской губ. 76

Воейкова Вера Николаевна (рожд. Львова, род. 1792), дочь известного русского архитектора второй половины XVIII в. Николая Александровича Львова 75

Волконский Сергей Васильевич, князь, видный общественный деятель Рязанской губернии (умер во второй половине 1880 годов) 315

Волконский Сергей Григорьевич (1788 – 1865), князь, декабрист, был в Сибири на каторге и поселении, в 1856 г. амнистирован 459

Воловский Луи-Франсуа-Мишель Ремон (1810 – 1876), польский эмигрант 1831 г., французский экономист и политический деятель умеренно-либерального направления, профессор промышленного законодательства в Conservatoire des Arts в Париже 410, 420, 451

Вольтер (Франсуа Мари Аруэ, 1694 – 1778), знаменитый французский литератор, философ и историк, один из виднейших просветителей XVIII века 97

Вольфзон, преподаватель Б.Н. Чичерина 138, 139, 140, 148

Вронченко Федор Павлович (1780 – 1852), министр финансов (1844 – 1852) 254

Вышеславцев Алексей Владимирович (1831 – 1888), писатель, путешественник и историк искусства, по окончании курса в Московском университете был военным врачом и находился во время Крымской кампании на Малаховом кургане; плавал в 1857 – 1859 гг. вокруг света на клипере «Пластун» и написал «Очерки пером и карандашом из кругосветного плавания» (СПб., 1862 и 1866) 52, 59

Вышеславцев Владимир Сергеевич, отец А. В. и Л. В. Вышеславцевых 59

Вышеславцев Лев Владимирович (1830 – 1892), помещик Кирсановского уезда Тамбовской губ.; в 60-х гг. мировой посредник, позже председатель Тамбовской губернской земской управы 52, 59

Вышеславцев Сергей Васильевич, дед А.В. и Л.В. Вышеславцевых 52, 59

Вышеславцева Мария Афанасьевна (рожд. Соймонова) 52

Вышеславцева Наталья Ивановна (рожд. Сабурова, (? – 1840) 59

Вяземский Петр Андреевич (1792 – 1878), поэт, друг А. С. Пушкина 33, 270

Вязовой Василий Григорьевич (ок. 1826 – 1891), сын тамбовского извозчика, при содействии Н. В. Чичерина окончил гимназию и обучался на медицинском факультете Московского ун-та, студентом преподавал математику Б. Н. Чичерину и его братьям 103, 104, 105, 106, 108, 130, 141, 142, 148, 149, 184, 200

Гагарин Константин Иванович (1800 – 1851), князь, тамбовский предводитель дворянства 64, 68

Гагарина Екатерина Андреевна, княжна, сестра Натальи Андреевны, жены Г.Ф. Петрово-Соловово 207

Гакстаузен Август (1792 – 1866), барон, исследователь русской общины, предпринял (1842 – 1843) путешествие по России, написав об этом книгу 337

Галахов Алексей Дмитриевич (1807 – 1892), историк литературы 394, 395

Гамалея Николай Михайлович, тамбовский губернатор (до 1838), товарищ министра государственных имуществ 64, 65, 66

Ганка Вацлав (1791 – 1861), известный деятель чешского национального возрождения, писатель и поэт, профессор Пражского университета 432

Ганс Эдуард (1797 – 1839), немецкий юрист, представитель гегелианизма и так называемого философского направления в юриспруденции, противник исторической школы юриспруденции, вождем которой был Савиньи 160, 433

Гарнье Пажес (1803 – 1878), французский политический деятель и историк, участник февральской революции 1848г., после которой был мэром Парижа и министром финансов 457

Гегель Георг-Фридрих-Вильгельм (1770 – 1831), знаменитый немецкий философ 160, 188, 200, 201, 433

Гейссер Людвиг (1818 – 1867), немецкий историк и политический деятель, профессор Гейдельбергского университета, член Баденской палаты депутатов 425

Герен Пьер (1774 – 1833), французский живописец псевдоклассического направления 458

Герцен Александр Иванович (1812 – 1870), публицист, эмигрировал в 1847 г., в 1857 – 1875 г. издавал в Англии журнал «Колокол», автор классических в своем роде воспоминаний «Былое и думы» 59, 66, 134, 145, 157, 164, 171, 221, 237, 241, 266, 282, 285, 310, 324, 325, 328, 382, 389, 391, 392, 395, 396, 397, 398, 401, 405, 442

Гестингс, секретарь английского Общества для поощрения общественной науки 445, 446, 448

Гете Вольфганг (1749 – 1832), знаменитый немецкий поэт 139

Гизо Франсуа-Пьер-Гильом (1787 – 1874), знаменитый французский историк и видный государственный деятель 154, 165, 171, 181, 453, 456

Гильомен Жильбер Юрбен (1801 – 1864), французский издатель, выпускавший преимущественно сочинения по экономическим наукам 410

Гладстон Эварт (1809 – 1898), знаменитый английский государственный деятель, первоначально консерватор, затем либерал, входил в состав нескольких правительств 443

Глинка Федор Николаевич (1786 – 1880), поэт-декабрист, автор, как обозначил их А.Пушкин, «элегических псалмов» 167

Гнейст Генрих-Рудольф (1816 – 1895), немецкий юрист и публицист, профессор Берлинского университета 433

Голицын Григорий Сергеевич (1780 – 1848), князь, генерал-адъютант при Павле I, пензенский губернатор (1812 – 1816), сенатор 45

Голицын Дмитрий Владимирович (1771 – 1844), князь, генерал-губернатор Москвы с 1820 г. до смерти 192

Голицын Михаил Федорович (1800 – 1873), князь, полковник в отставке, звенигородский уездный предводитель дворянства (1843 – 1854), попечитель и главный директор московской глазной больницы 208

Голицын Сергей Михайлович (1774 – 1859), князь, член Госуд. совета (с 1837); действ. тайный советник I класса (с 1852); попечитель Московского учебного округа (с 1830), председатель Московского опекунского совета (с 1830) 194, 211

Голицын Юрий Николаевич (1823 – 1872), князь, уездный предводитель дворянства в Тамбовской губернии, прославился созданием хора из своих крепостных (1842), с которым успешно гастролировал в т.ч. за границей, имел репутацию большого сумасброда 64, 187, 188, 442, 443

Голицына Луиза Трофимовна (рожд. Баранова, 1810 – 1887), жена М.Ф. Голицына 208

Головин Александр Васильевич (1821 – 1886), сотрудник вел. князя Константина Николаевича по морскому ведомству, министр народного просвещения в 1861 – 1866 гг.; при нем издан университетский устав 1863 г., и проведен ряд прогрессивных мероприятий по народному образованию 386, 387, 388

Голохвастов Дмитрий Павлович (1839 – 1892), звенигородский предводитель дворянства, сын П. Голохвастова (1796 – 1849), попечителя московского учебного округа (с 1847); общественный деятель, близкий по убеждениям к славянофильству, в министерстве гр. Игнатьева подготовлял данные для созыва Земского собора 193, 194, 195, 196, 212

Гончаров Иван Александрович (1812-1891), русский писатель, автор известного описания посольства Е.В. Путятина «Фрегат «Паллада», романа «Обломов» и др. 245, 387

Гончаров Сергей Николаевич (1815 – 1865), брат жены Пушкина Натальи Николаевны, с его слов были записаны воспоминания о Пушкине 275

Гораций (65 – 8 до н. э.), знаменитый римский поэт 104, 414

Горстин Иван Николаевич (1797 – 1876), поручик в отставке (с 1821), предводитель дворянства Козловского уезда Тамбовской губернии 45

Грановская Лизавета Богдановна, жена Т.Н. Грановского 221

Грановский Тимофей Николаевич (1813 – 1855), профессор всеобщей истории в Московском ун-те с 1839 г.; одновременно с университетским курсом выступал с публичными лекциями, имевшими громкий успех (в 1843 – 1844 гг. курс по истории средних веков, в 1845 – 1846 гг. – сравнительная история Англии и Франции); и как ученый, и как политический мыслитель, принадлежавший к числу либеральных профессоров западников, имел большое влияние на молодежь 133, 135, 136, 138, 140, 141, 142, 147, 148, 151, 154, 156, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 171, 173, 175, 178, 179, 180, 183, 187, 188, 206, 217, 221, 227, 228, 238, 249, 251, 261, 262, 266, 275, 277, 282, 285, 287, 325, 337, 341, 343

Грегориус Фердинанд (1821 – 1891), немецкий историк, автор «Истории Рима в средние века» 414

Греч Николай Иванович (1787 – 1867), журналист, писатель, филолог. В 1812 – 1839 гг. издавал (с 1825 совместно с Ф. В. Булгариным) журнал «Сын отечества» 342

Григорович Дмитрий Васильевич (1822 – 1899), писатель 109, 244,

Григорьев Аполлон Григорьевич (1822 – 1864), русский поэт, литературный и театральный критик, переводчик, мемуарист 341

Григорьев Василий Васильевич (1816 – 1881), востоковед, профессор Петербургского ун-та 341, 342

Гримм Август Теодор (1805 – 1878), педагог и беллетрист, воспитатель детей Николая I, а затем Александра II, но после смерти покровительствовавшей ему императрицы Александры Федоровны уехал в Германию 154

Грот Джордж (1794 – 1871), английский историк и политический деятель радикального направления 448

Гумбольдт Вильгельм (1767 – 1835) – немецкий филолог, философ, языковед, государственный деятель, дипломат 154

Гурьев Александр Дмитриевич (1786 – 1865), граф, киевский, волынский и подольский генерал-губернатор (1835 – 1837) 62

Гурьева Ольга Николаевна, см. Четвертинская О.В. 212

Гфрёрер Август-Фридрих (1803 – 1861), немецкий историк католического направления 329

Данте Алигьери (1265 – 1321), величайший итальянский поэт, автор «Божественной комедии» 166, 419

Дельвиг Антон Антонович (1798 – 1831), поэт 38

Дельвиг Софья Михайловна, см. Баратынская С.М.

Деянов Иван Давидович (1818 – 1897), граф, сенатор, директор Публичной библиотеки (1861 г.). в 1866 г. назначен тов. м-ра народн. просвещения; с 1874 г. – член Гос. совета; с 1882 г. министр народного просвещения 271, 294, 295

Демарэ Эрнст-Леон-Жозеф, адвокат в Париже, издатель журнала «La critique française» 457

Демулен Камилл (1760 – 1794), деятель великой французской революции, автор памфлетов 391

Депретис Агостино (1813 – 1887), итальянский государственный деятель, член левой партии сардинской палаты депутатов, впоследствии министр и министр-президент объединенной Италии 369

Державин Гавриил Романович (1743 – 1816), русский поэт XVIII в. 75, 103

Дизраэли Бенджамин (1804 – 1881), с 1876 г. граф Биконсфильд, английский политический деятель, консерватор, блестящий оратор, писатель 443

Дмитриев Александр Иванович (1759 – 1798), переводчик поэмы Камюэнса «Лузиада» и др. 291, 378

Дмитриев Михаил Александрович (1796 – 1866), поэт и литературный критик, автор «Мелочей из запаса моей памяти», отец историка русского права Ф. М. Дмитриева 291, 310

Дмитриев Федор Михайлович (1829 – 1894), товарищ Б. Н. Чичерина по университету, историк русского права, профессор Московского университета по кафедре иностранного государственного права (1859 – 1868), попечитель Петербургского учебного округа (1882 – 1886), сенатор 187, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 328, 341, 371, 381, 382, 387, 405

Добролюбов Николай Александрович (1836 – 1861), литературный критик, публицист, сотрудничал в «Современнике», примыкал к революционно-демократическому лагерю 245, 369

Долгорукая (Долгорукова) Надежда Сергеевна (1811 – 1880), сестра А. С. Долгорукова, замужем за С. И. Пашковым 205, 206, 207

Долгорукая (Долгорукова) Ольга Александровна (рожд. Булгакова, 1814 – 1865), жена А. С. Долгорукова: на балу по случаю этой свадьбы был Пушкин 204

Долгоруков Александр Сергеевич (1809 – 1873), князь, чиновник особых поручений при московском военном генерал-губернаторе, с 1832 камер-юнкер; женат на Ольге Александровне, урожд. Булгаковой 204, 205

Долгоруков Василий Андреевич (1804 – 1868), товарищ военного м-ра; в 1848 г. военный м-р; в 1856 г. после заключения мира отстранен от должности в результате неудач Крымской кампании; вскоре затем назначен членом Госуд. совета, шефом жандармов и главным начальником III отд. собственной е. и. в. канцелярии 400

Долгоруков Николай Александрович (Коко, 1833 – 1873), князь, закончил медицинский факультет, служил военным медиком в Крымскую кампанию, впоследствии полтавский губернский предводитель дворянства 205

Долгоруков Петр Владимирович (1816 – 1868), князь, печально известен участием в подготовке дуэли Пушкина, генеалог, автор «Российского родословного сборника», с 1859 г. в эмиграции издавал газеты «Будущность», «Правдивый», «Листок», печатая в них памфлеты против русского правительства 459

Достоевский Федор Михайлович (1821 – 1881), великий русский писатель 240

Дружинин Александр Васильевич (1824 – 1864), русский писатель, литературный критик, переводчик Байрона и Шекспира; инициатор создания Общества для пособия нуждающимся литераторам и учёным 244

Дункан, декан гильдий в Глазго (Шотландия) 445

Дурново Сергей Гаврилович, отставной военный, владелец соседнего с Чичеринскими имения в Чернавке 71, 72

Дьяконов Михаил Васильевич (1807 – 1886), художник-портретист 109

Дюмулен Федор Иванович, учитель немецкого в семье Чичериных 91, 92, 95, 110, 126, 129

Дюнауйе Бартеlemi-Пьер-Жозеф-Шарль (1786 – 1862), французский экономист 451

Дюпон-Уайт Шарль (1807 – 1878), французский экономист и политический писатель 451

Дюфор Жюль-Армай-Станислав (1798 – 1881), французский политический деятель, адвокат, глава кабинета при Людовике-Филиппе, второй и третьей республиках, член Французской Академии 456

Дюшатель (1803 – 1867), граф, французский государственный деятель 210

Екатерина II (София-Августа-Фредерика, 1729 – 1796), императрица с 1762 г. 145, 323

Елагина Авдотья Петровна (рожд. Юшкова, в первом браке за В.И. Киреевским, 1789 – 1877), хозяйка известного в Москве литературного салона 158

Елена Павловна (Фредерика-Шарлотта-Мария), великая княгиня, (1806 – 1873), жена вел. князя Михаила Павловича (с 1824 г.); овдовела в 1849 г.; покровительница наук и искусств; ее салон играл большую политическую роль в эпоху крестьянской реформы 227, 324, 338, 370, 371, 372, 373, 375, 380, 385, 388, 426

Ельчанинов Алексей Васильевич, помещик, сосед Чичериных, бывший управляющий Палатой государственных имуществ 68

Ермолова Екатерина Петровна (1829–1910), фрейлина императрицы Марии Александровны, жены императора Александра II 217

Ефименко Александра Яковлевна (1848 – 1918), русский и украинский историк, этнограф, первая в России женщина -почётный доктор российской истории (1910) 340

Жемчужников Антон Аполлонович (1800 – 1873), предводитель дворянства Лебедянского уезда Тамбовской губернии (1837 – 1840), владелец имения в селе Леденевка 60, 62, 64, 70, 77, 111, 438

Жеребцов Николай Арсеньевич (1807 – 1869), писатель, был губернатором в Вильно; издал книги «О распространении знаний в России» (1848) и «L'Histoire de la civilisation en Russie»(1850), в которых резко осуждал реформы Петра I 314

Жуков Василий Григорьевич (1796 – 1881), фабрикант и заводчик, был избран Петербургским городским головой 234

Жуковский Василий Андреевич (1783 – 1852), поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, критик 66, 88, 102, 104, 145

Забелин Иван Егорович (1820 – 1907), выдающийся историк-археолог; начал службу в Оружейной Палате «канцелярским служащим II разряда» (1837 г.), он постепенно выдвинулся как один из наиболее самобытных и крупных знатоков архивного дела, в 1879 г. был избран председателем О-ва истории и древностей российских; в 1884 г. – членом корреспондентом, а в 1892 г. – почетным членом Академии Наук. Один из создателей и директор Исторического Музея в Москве. Автор известных сочинений «Домашний быт русских царей и цариц в XVI – XVII вв.», «Опыты изучения русских древностей», «История города Москвы» и др. 280, 282

Закревская Аграфена Федоровна (рождённая гр. Толстая, 1799 – 1879), известная красавица, предмет увлечения и адресат стихов А. С. Пушкина и Е. А. Баратынского, князя П. А. Вяземского, жена графа А.А. Закревского 203

Закревский Арсений Андреевич (1783 – 1865), граф, генерал-адъютант, участник Отечественной войны 1812 года, министр внутренних дел (1828 – 1831), московский генерал-губернатор (1848 – 1859), уволен с должности из-за скандала, вспыхнувшего вокруг имени его дочери Лидии Арсеньевны, которая, не разведясь с первым мужем Дм. К. Нессельроде, вышла замуж за князя Д. В. Друцко-Соколинского 168, 191, 192, 193, 203, 223, 319, 320

Замятнин Алексей Михайлович (1801 – 1885, тамбовский помещик 67, 69

- Замятнин Дмитрий Николаевич (1805 – 1877), министр юстиции (1862 – 1867) 374
- Замятнина Александра Павловна (урожд. Левшина), жена А.М. Замятнина 67
- Заточник Даниил, предполагаемый автор «Моления Даниила Заточника» 135, 145
- Захарьин Григорий Антонович (1829 – 1897), известный терапевт, профессор кафедры диагностики Московского ун-та (с 1862 г.) 304
- Зибель Генрих (1817 – 1895), немецкий историк и государственный деятель, профессор, с 1875 г. директор прусских государственных архивов 434
- Зубков Василий Петрович (1799 – 1862), чиновник московской палаты уголовного суда, был близок к литературным кругам 69
- Иванов Петр Степанович, капитан в отставке, сосед Чичериных, живший в Каравайне, в 25 верстах от Караула 77
- Иванова Софья Николаевна (рожд. Сандунова), жена предыдущего 76, 260, 261
- Иван III Васильевич (1440 – 1505), вел. князь московский, при котором завершился процесс объединения великорусских областей под властью Москвы 167
- Иноземцев Федор Иванович (1802 – 1869), русский врач клиницист, педагог и общественный деятель 153
- Иосиф II (1741–1790), император Священной Римской империи и правитель Габсбургских (Австрийских) земель 352
- Истлек сэр Чарльз, председатель Лондонского общества художеств 458
- Кавелин Константин Дмитриевич (1818 – 1885), юрист, публицист и историк, один из основателей юридической школы в русской историографии, либерал 68, 134, 138, 149, 153, 154, 155, 158, 160, 161, 162, 171, 172, 176, 221, 227, 228, 231, 245, 251, 256, 257, 261, 266, 285, 342, 371, 394, 395, 396, 401, 404, 405
- Кавельняк Луи Эжен (1802 – 1857), в 1848 г. военный министр Франции; военный диктатор, неудачно баллотировался в президенты Франции 190
- Кавур Камило Камило (1810 – 1861), граф, первый министр Сардинского королевства, один из создателей объединенной Италии 368, 369
- Калачев Николай Васильевич (1819 – 1855), историк права и археограф; в 1848 – 1852 гг. – профессор истории русского законодательства Московского ун-та; в 1865 г. назначен управляющим Московским архивом м-ва юстиции, с 1877 г. – директор основанного по его инициативе Археологического института 337
- Камбаров Иван Александрович, тамбовский помещик 85
- Камбарова Елизавета Михайловна (урожд. Циммерман), жена предыдущего 52, 60, 85
- Камп Иоахим (1746 – 1818), немецкий детский писатель 88
- Каннинг Джордж (1770 – 1827), английский государственный деятель 29
- Капнист Петр Алексеевич (1839 – 1904), советник посольства в Париже, впоследствии посыл в Вене, шурина Б. Н. Чичерина 184
- Капустин Михаил Николаевич (1828 – 1899), юрист, профессор международного права Московского университета 172, 424, 441, 442, 443
- Карамзин Николай Михайлович (1776 – 1826), писатель, историк, автор «Истории Государства Российского» 33, 88, 102, 278
- Карл X (1757 – 1836), король Франции в 1824 – 1830 гг. 454
- Карно Лазарь-Ипполит (1801 – 1888), французский политический деятель, министр народного просвещения в 1848 г., член Законодательного корпуса (с 1863 г.) от оппозиции 457

Каррьер Мориз (1817 – 1895), немецкий философ и эстетик, профессор в Гиссене и Мюнхене 434

Катков Михаил Никифорович (1818 – 1887), публицист, издатель «Русского Вестника»; первоначально умеренный либерал, западник-англоман, с 1863 г. занял резко «охранительную» позицию; в руководимой им газете «Московские ведомости» в 1870 – 1880-х гг. был на стороне всех реакционных мероприятий Д. Толстого и К. Победоносцева, выступал с нападками на Б.Н. Чичерина 153, 155, 175, 177, 243, 262, 267, 268, 269, 270, 272, 273, 274, 276, 279, 293, 294, 345, 346, 352, 354, 355, 356, 404, 451

Каченовский Дмитрий Иванович (1827 – 1872), профессор Харьковского университета по кафедре международного права, защитил докторскую диссертацию в 1855 г. в Москве и сблизился здесь с кружком западников, 1858 – 1859 гг. провел за границей для ознакомления с политической жизнью и наукой Западной Европы 393, 402, 409, 427

Кек Валерий Трофимович (1801 – после 1878), пензенский помещик 45

Кетчер Николай Христофорович (1809 – 1886), врач, начальник Московского врачебного управления; литератор и переводчик Шекспира, Шиллера и др.; принадлежал к кружку Станкевича, был редактором «Журнала м-ва внутр. дел» (1843 – 1845) и «Магазина Землеведения» (1855 – 1860); вместе с Галаховым готовил к изданию сочинения Белинского 243, 277, 280, 282, 284, 285, 286, 289, 356, 393, 395

Кингстон Джемс, переводчик 417

Киреева Александра Васильевна, см. Алябьева А.В.

Киреева Ольга Алексеевна, см. Новикова О.А.

Киреевский Иван Васильевич (1806 – 1856), русский философ, литературный критик, один из основоположников славянофильства 144, 145, 308, 309

Киреевский Петр Васильевич (1808 – 1856), русский историк-фольклорист, славянофил, младший брат предыдущего 161

Кирхгоф Густав-Роберт (1824 – 1887), знаменитый физик, профессор в Бреславле (1850 – 1854) и Гейдельберге (1854 – 1874), член Берлинской академии, вместе с Бунзеном создатель спектрального анализа 425

Киселев Павел Дмитриевич (1788 – 1872), граф, первый министр государственных имуществ при Николае I, посол в Париже (1856 – 1862), член Госуд. совета 234, 386

Кларендон Джорж Вильерс (1800 – 1870), лорд, английский государственный деятель, министр иностранных дел во время Крымской войны 1854 – 1856 гг. 441

Клиффорд, церемониймейстер палаты лордов 441

Кобден Ричард (1804 – 1865), английский государственный деятель, член парламента, лидер движения в пользу отмены хлебных законов (1838 – 1846), пропагандист идей свободной торговли, инициатор предложений о взаимном сокращении вооружений 442

Ковалевский Максим Максимович (1851 – 1916), профессор государственного права и сравнительной истории права в Московском ун-те (1877 – 1887); был удален с кафедры за «неблагонадежность», после чего читал курсы в Стокгольме и Оксфорде 242

Ковалевский Евграф Петрович (1792 – 1867), попечитель Московского учебн. округа (с 1856 г.), министр народного просвещения в 1858 – 1861 гг. 359

Ковальская Мария Андреевна (рожд. Хвоцинская), тетка Б.Н. Чичерина по матери 57, 77, 128

Козловский Михаил Дмитриевич, владелец с. Богданово, в 7 верстах от Ка-
раула 71

Кокорев Василий Александрович (1817– 1889), русский предприниматель,
сыгравший значительную роль в развитии промышленности и торговли; разбо-
гатев на винных откупах, стал миллионером, учредителем многих железнодо-
рожных компаний, пароходств, промышленных и торговых предприятий 344

Кокошкин Федор Федорович (1773 – 1838), драматург, управляющий мос-
ковскими театрами (1823 – 1831) 22

Кологривов И.С., помещик Аткарского уезда Тамбовской губ. 63

Коломб, француз, учитель танцев в семье Чичериных 113

Кондырев, председатель Тамбовской гражданской палаты 71

Конклер, швейцарец, воспитатель в семье Хвоцинских, матери Б.Н. Чиче-
рина 30, 93

Константин Николаевич, вел. князь (1827 – 1892), генерал-адмирал, брат
Александра II и главный пособник его реформ в первые годы царствования 386,
387, 388

Корменен Луи-Маркдела Гэ (1788 – 1868), виконт, французский юрист и
политический деятель, оппозиционный публицист при Людовике-Филиппе,
вице-президент учредительного собрания 1848 г., потом член Госуд. совета 409

Корнилов Александр Алексеевич (1801 – 1856), лицейский товарищ
А. С. Пушкина, участник движения декабристов, с 1832 г. на граждан-
ской службе, тамбовский губернатор (1838 – 1843) 66

Корнилов Федор Петрович (? – 1895), чиновник Приказа общественного
призрения Тамбовской губернии, управляющий делами Комитета министров, 66

Корреджио Антонио Аллегри (1494 – 1534), знаменитый итальянский жи-
вописец 421

Корриди, итальянский профессор 420

Корсаков, товарищ Б.Н. Чичерина по университету 173, 184, 194

Корш Валентин Федорович (1828 – 1893), журналист и историк литерату-
ры; долгое время был помощником редактора и редактором «Московских Веду-
мостей»; после того как газета перешла к Каткову, взял в аренду «С.-Петербургские
Ведомости», которые вел в 1863 – 1874 гг. в умеренно-либеральном духе 341

Корш Евгений Федорович (1810 – 1897), журналист, брат предыдущего; слу-
жил библиотекарем в Румянцевском Музее; в 1858 – 1859 гг. издавал «Атеней»;
известен своими переводами Фюетель дю Куланжа, Кутлера, Каррьера и др.
153, 178, 221, 240, 262, 267, 275, 343, 349, 355, 356, 357, 409

Коссович Каэтан Андреевич (1815 – Петербург), русский востоковед, пре-
подавал санскрит, авестийский и древнеперсидский языки в СПб ун-те. 142, 148

Костомаров Николай Иванович (1817 – 1885), известный историк-украино-
фил; в 1859 – 1862 гг. профессор русской истории СПб ун-та; в русской историо-
графии известен своей федеративной теорией происхождения древней Руси 162

Кошанский Николай Федорович (1781 – 1831), профессор русской и латин-
ской словесности в Царскосельском лицее, автор «Общей риторики» (1818) 102,
140

Кошелев Александр Иванович (1806 – 1883), известный публицист и обще-
ственный деятель, близкий к славянофильству. В качестве члена губернского
Рязанского комитета по освобождению крестьян принимал деятельное участие
в подготовке реформы, был сторонником освобождения крестьян с землею; в
1861 – 1863 гг. на него было возложено управление финансами Царства Польско-
го; позднее принимал участие в земских учреждениях, в Московском о-ве сельс-

кого хозяйства, в Московской городской думе и в О-ве любит. российской словесности; в 1871 – 1872 гг. издавал журнал «Беседа», в 1880 – 1882 гг. – «Земство» 25, 306, 313, 314, 316, 348, 358

Краевский Андрей Александрович (1810 – 1889), редактор-издатель журнала «Отечественные записки» (1839 – 1867), газет «Голос» (1863 – 1883), «Литературная газета», «Русский инвалид», «СПб. ведомости» 157, 265

Кривцов Николай Иванович (1791 – 1843), тамбовский помещик, брат декабриста Кривцова, сосед Чичерина по имению 32, 34, 35, 47, 50, 51, 69, 70, 78, 79, 80

Кривцова Екатерина Федоровна (рожд. Вадковская, ? – 1861), сестра декабриста Ф. Ф. Вадковского, замужем за Н. И. Кривцовым (с 1820) 36, 37, 42, 46, 48, 49, 51, 56, 58, 69, 70, 77, 78, 79

Кривцова Софья Николаевна, дочь Н.И. Кривцова 34

Крузе фон Николай Федорович (1823 – 1901), известный общественный деятель, служил с 1855 г. цензором при московском цензурном комитете, находя возможным помогать прогрессивной печати, в т.ч. «Русскому Вестнику», 1858 г. вынужден был оставить службу; в 1865 – 1867 гг. избирался председателем петербургской губернской земской управы 343, 344, 356

Крылов Никита Иванович (1807 – 1879), выдающийся профессор римского права Московского ун-та (1835 – 1872), как лектор имел исключительное влияние на аудиторию 88, 102, 138, 153, 175, 176, 177, 178, 179, 183, 184, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348

Крюков Дмитрий Львович (1809 – 1845), закончил словесное отделение Казанского университета, в 1833 г. получил степень доктора философии, и был отправлен за границу, где слушал лекции в Берлине 134, 153

Кудрявцев Виктор Дмитриевич (1828 – 1892), профессор истории и философии Московской духовной академии; преподавал логику и историю философии сыну Александра II – наследнику Николаю Александровичу 153, 155, 250, 262, 265

Кузен Виктор (1792 – 1867), французский философ-эклектик и историк, министр народного просвещения (1840) 409

Куломзин Анатолий Николаевич (1838 – 1924), государственный деятель, историк-финансист, управляющий делами Комитета министров (1883 – 1902), член (1902 г.) и председатель (1915 – 1916) Госуд. совета 440

Курута Иван Эммануилович (1782 – 1852), сенатор, в 1843 г. отправлен ревизовать Тамбовскую губернию на предмет проверки законности порубки казенных лесов 64, 67, 68

Кутайсов Ипполит Павлович (1808 – 1849), граф, муж княжны Натальи Александровны Урусовой, фрейлины (с 1830 г.) 63

Лабулэ Эдуард-Рене Лефевр (1811 – 1883), французский ученый, публицист и политический деятель, профессор сравнительного правоведения в Collège de France, сторонник широкой свободы личности и сведения роли государства до минимума 451, 452

Лавернь Леоне (1809 – 1880), французский экономист и политический деятель консервативного направления, член палаты депутатов 409, 410

Лакордер Жан-Батист Жан-Батист (1802 – 1861), французский католический священник-проповедник, член французской Академии, в своих проповедях соединял церковную доктрину с учением о политической свободе и правах народа и со свободой научного исследования 458

Лакретель Жан (1766 – 1855), французский историк, автор «Истории французской революции» (1801 – 1806) 102

Ламанский Евгений Иванович (1825 – 1902), известный финансист и банкир, служил в министерстве финансов, управляющим Государственного банка, председателем правления Русского банка для внешней торговли (1871 – 1874) 257

Ламармора Альфонсо Ферреро (1804 – 1878), маркиз, пьемонтский, потом итальянский генерал и политический деятель, в 1856 г. морской министр и председатель Совета министров 369

Ланской Сергей Степанович (1787 – 1862), граф, назначался губернатором во Владимире и в Костроме, с 1850 член Госуд. совета, с 1855 по 1861 гг. – министр внутренних дел 234

Лафуррьер Луи-Фирмен-Жюльен (1798 – 1861), французский юрист, приверженец историко-философского изучения права, член Французской Академии 409

Лебедев Василий Иванович (1825 – 1863), писатель, священник, преподавал логику и историю философии в Московской духовной академии 342

Левшина Александра Павловна см. Замятина А.П.

Леймари Ашиль (1809 – 1861), французский историк, экономист и журналист 410

Ленц Эмилий Христианович (1804 – 1865), физик, автор «Руководства к физике для русских гимназий» (1839) 103

Леонардо да Винчи (1452-1519), живописец, скульптор, музыкант, поэт, архитектор и ученый 419

Леонтьев Павел Михайлович (1822 – 1874), профессор римской словесности и древностей Московского ун-та; деятельный сотрудник Каткова по «Русско-му Вестнику» (с 1850 г.) и с 1865 г. – по «Моск. Ведомостям», был горячим сторонником классической школы и способствовал проведению гимназической реформы (1871) 153, 155, 250, 262, 267, 271, 272, 274, 275, 346, 356

Леопольд I (1790 – 1865), король бельгийский с 1831 г. 386

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841), великий русский поэт 103, 145

Лешерн фон Герцфельд Иван Карлович (1795 – ?), в 1836 г. уволился по домашним обстоятельствам от службы с чином генерал-майора, оставаясь до конца своей жизни председателем Орловской казенной палаты 67

Лешков Василий Николаевич (1810 – 1881) профессор международного и полицейского права Московского ун-та, близкий по своим взглядам к славянофилам. Ему принадлежат сочинения «Русский народ и государство» (1858) и др. 180, 181, 182, 196, 225, 344

Ливий Тит (59 до н. э. – 17 н. э.), римский историк, автор «Римской истории от основания города» 97, 139, 171

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825 – 1888), граф, генерал-адъютант, участвовал в войнах на Кавказе (с 1847) и с Турцией (в 1853 – 1855 гг. и в 1877 – 1878 гг.), в 1880 г. был назначен министром внутренних дел с диктаторскими полномочиями; сделал неудачную попытку облечь в либеральные формы борьбу со «смутой» и опереться при этом на реакционные круги общества 271

Лошкарев Григорий Сергеевич (1788-1849), генерал-лейтенант, сенатор 364

Лошкарева, жена Григория Сергеевича Лошкарева 364

Львова, урожденная княжна Долгорукова, дочь А.С. Долгорукова 204

Любимов Николай Алексеевич (1830 – 1897), профессор физики Московского ун-та (с 1859 г.), сотрудник «Русск. Вестника» и «Моск. Ведомостей», автор известного учебника «Начальной физики» (1876 г.) 341

Людовик XIV (1638 – 1715), король Франции (1643 - 1715), известный как «король-солнце»; в годы его царствования Франция пережила расцвет культуры 252

Людовик-Наполеон (Наполеон III, 1808 – 1873), французский император (1852 – 1870), племянник Наполеона I; после революции 1848 г. избран президентом республики; в 1852 г. провозглашен императором; после поражения при Седане взят в плен немцами и свергнут с престола (1870) 386, 391, 421, 454

Людовик-Филипп (1773 – 1850), французский король из младшей (Орлеанской) линии королевского дома Бурбонов, сменил на престоле Карла X в 1830 г. после буржуазной революции, в 1848 г. был свергнут и бежал в Англию 181, 182, 188, 210, 450, 454

Людовик IX (Святой) (1214 – 1270), король Франции, известен принятием свода законов, развивающих феодальное право, крестовыми походами на Святую землю, воплощением духовного идеала рыцарства 165

Лясковский Николай Евстафьевич (1840 – 1893), химик, агроном, доцент, профессор агрономической химии Московского университета; с 1891 г. – член Ученого комитета мин-ва госуд. имуществ 105

Макзиг, садовник, служивший в имении Караул 35, 80, 150

Макиавелли Николо (1469 – 1527), знаменитый итальянский политический писатель, автор сочинения «Il Principe» (Государь) 419

Малибран Мария (1808 – 1836), французская певица 166

Мальшев, студент-юрист 142, 178

Манзони, гувернантка в семье Чичериных 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 121

Манюэль Жак-Антуан (1775 – 1827), французский политический деятель; член палаты депутатов, где занимал место в рядах либеральной оппозиции 410

Мария Федоровна (1759 – 1828 г.), императрица, супруга императора Павла I 37

Мария Николаевна, великая княгиня (1819 – 1876), дочь Николая I, в первом браке – жена Максимилиана герцога Лейхтенбергского и во втором (1854) – графа Г. А. Строганова 443

Маркевич Болеслав Михайлович (1822 – 1884), русский писатель, публицист, литературный критик, государственный служащий 203

Марлинский, см. Бестужев Александр Александрович

Маслов Иван Ильич, чиновник удельного ведомства, приятель И. С. Тургенева 394

Мейендорф Софья Густавовна (рожд. гр. Штакельберг, 1806 – 1891), жена барона Егора Казимировича Мейендорфа 383

Мельгунов Николай Александрович (1804 – 1867), писатель и публицист, переводчик и библиограф, музыкальный критик и композитор, в числе произведений которого песни и романсы на слова А. С. Пушкина, Е. А. Баратынского, А. С. Хомякова, Н. М. Языкова 133, 139, 256, 263, 264, 265, 405

Менгден Владимир Михайлович (1825 – 1910), барон, служил в Сенате, член Тульской врем. ком. по кр. делам, в 1864 – 1866 гг. на службе в Царстве Польском, с 1889 г. член Госуд. совета 297

Менделеев Дмитрий Иванович (1834 – 1907), знаменитый химик, профессор Петербургского университета 426

Меньшиков Александр Сергеевич (1787 – 1869), светлейший князь, генерал-адъютант, адмирал, был известен своими злыми шутками и замечаниями 207, 254

Мерзляков Алексей Федорович (1778 – 1830), поэт, критик, профессор Московского университета, с 1828 декан отделения словесности 166

Мертваго Сусанна Александровна (урожденная Соимонова, 1815-1879), начальница Родионовского института благородных девиц в Казани 174

Микель-Анджело (Микеланджело) Буанарроти (1475 – 1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор, поэт, мыслитель эпохи Возрождения 414, 419

Миллер Сергей Иванович (1815 – 1867), архитектор, основатель и первый председатель Московского общества любителей художеств 79, 208

Мильтгаузен Богдан Карлович (1782 – 1854), адъюнкт-профессор при Московской медико-хирургической академии, главный доктор в странноприимном доме гр. Шереметева 137, 180, 184, 226

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816 – 1912), член Госуд. совета, военный министр в 1860 – 1881 г., прославившийся преобразованием армии, завершившееся Уставом 1874 г.; примыкал к либеральному крылу реформаторов, вышел в отставку, когда определилось реакционное направление политики Александра III, и до смерти жил в своем имении в Крыму 229, 231, 232, 236, 257, 334, 388

Милютин Николай Алексеевич (1818 – 1872), брат предыдущего, выдающийся государственный деятель эпохи Александра II, товарищ министра внутренних дел в 1859 – 1861 гг., фактический руководитель подготовки крестьянской реформы 1861 г.; в 1859 – 1861 был также председателем Комиссии по разработке проекта Земской реформы; в 1864 г. ему было поручено проведение реформы в Польше, в 1867 был вынужден выйти в отставку по болезни 231, 233, 234, 235, 236, 237, 240, 276, 315, 326, 332, 333, 359, 373, 388, 394, 460

Миные Огюст (1796-1884), французский историк либерального направления, один из создателей буржуазной теории классовой борьбы. 154, 409, 456

Михаил Павлович, великий князь (1798 – 1849) 372

Мичель, секретарь Лондонского общества распространения десятичных мер и весов 441

Мишле Жюль (1798 – 1874), французский историк, автор «Краткой истории Франции» (русский перевод, 1838) 102, 154

Мишо Жозеф-Франсуа (1767– 1839), французский историк, автор книги «История крестовых походов» 102

Моль Роберт (1799 – 1875), знаменитый немецкий юрист, с 1827 г. профессор Гейдельбергского университета 423, 424, 433, 434, 452

Монталамбер Шарль Форб де Трион (1810 – 1870), граф, французский писатель и политический деятель клерикального направления, член Французской Академии 458

Монталиве Март-Камиль-Башассон (1801 – 1885), граф, французский государственный деятель, министр внутренних дел и народного просвещения при Людовике-Филиппе 456

Мордвинов Николай Александрович (1827 – 1884), сын сенатора, чиновник министерства внутренних дел, в 1849 г. привлекался к следствию по делу Петрашевского; подвергнут секретному надзору 260, 261, 263

Морошкин Федор Лукич (1804 – 1857), известный ученый юрист, возглавлял в Московском университете кафедру «права знатнейших древних и новых народов», читая также курсы русского и римского гражданского права 172, 182, 225

Муравьев Михаил Николаевич (1796 – 1886), сенатор, член Госуд. совета (с 1850 г.), председатель департамента уделов (с 1856г.), министр госуд. имуществ (1857 – 1861); в 1863 г. назначен генерал-губернатором сев.-зап. губерний для подавления польского восстания, за что получил прозвище «вешателя» 359, 399

Муромцев Сергей Андреевич (1850 – 1910), либеральный политический деятель, видный публицист и ученый. В 1881 г. профессор Московского университета, позднее председатель I Государственной думы 242

Мусин-Пушкин Алексей Сергеевич (1820 – 1881), граф, муж Натальи Николаевны Трубецкой 211

Мусин-Пушкин Михаил Николаевич (1795 – 1862), граф, участник походов 1812 – 1814 гг., попечитель казанского учебного округа (1829 – 1845), Петербургского университета (с 1845), где учредил факультет восточных языков, в 1849 г. стал сенатором 246

Набоков Дмитрий Николаевич (1826 – 1904), с 1867 статс-секретарь, начальник Собственной его императорского величества канцелярии по делам Царства Польского, в 1878 – 1885 министр юстиции, сторонник сохранения суда присяжных и принципов судопроизводства, введенных в ходе судебной реформы 1864 г. 236

Назимов Владимир Иванович (1802 – 1874), генерал от инфантерии; генерал-адъютант; попечитель московского учебного округа (1849 – 1855), виленский военный губернатор; член Госуд. совета 249

Наполеон Бонапарт (1769 – 1821), французский император 353

Наполеон III, см. Людовик-Наполеон

Нарышкин Лев Кириллович (1809 – 1855), действительный статский советник, чиновник особых поручений при Государственном Контроле, уездный предводитель дворянства по Петербургской губернии 58, 234, 261

Нарышкина Надежда Ивановна (рожд. Кнорринг, 1825 – 1895), жена Александра Григорьевича Нарышкина, известная московская красавица, имела роман с драматургом Сухово-Кобылиным, от которого родила дочь; бросив мужа, уехала во Францию, где в 1864 г. стала женой Александра Дюма-сына 214

Нарышкина Софья Петровна (рожд. Ушакова, 1823 – 1877), жена Константина Павловича Нарышкина 205

Нахимов Павел Степанович (1802 – 1855), знаменитый российский адмирал, в 1853 г. уничтожил вдвое превосходящие силы турецкого флота в Синопской бухте, герой обороны Севастополя (1855), был смертельно ранен пулей в висок на Корниловском бастионе Малахова кургана 156

Нахимов Платон Степанович (1790 – 1850), брат предыдущего, служил во флоте, оставил морскую службу в чине капитана 2-го ранга, был инспектором студентов московского университета, а затем главным смотрителем Странноприимного дома гр. Шереметева в Москве 155, 156, 193

Неволин Константин Алексеевич (1806 – 1855), известный юрист, автор «Энциклопедии законоведения» (1839 – 40), «Истории российских гражданских законов» (1851) 172, 246

Некрасов Николай Алексеевич (1821 – 1877), поэт, сотрудник, а впоследствии и соиздатель «Отечественных записок», редактор журнала «Современник» (1847 – 1866), был женат гражданским браком на А.Я. Панаевой 245

Нессельроде Лидия Арсеньевна (рожд. графиня Закревская, 1826 – 1884), графиня, дочь А.А. Закревского 203

Никитенко Александр Васильевич (1805 – 1877), профессор русской словесности, академик; в 1839 – 1841 гг. редактировал «Сын Отечества», служил цензором (с 1853 г.); с конца 50-х гг. состоял редактором «Журнала м-ва народн. просвещения» 246, 396

Никифоров Николай Александрович (ум. 1871), Тамбовский губернский предводитель дворянства 310

Николай Александр Павлович (1821 – 1899), барон, сенатор (с 1863 г.) и статс-секретарь; член Госуд. совета (с 1875 г.); министр народного просвещения в 1881 – 1882 гг. по протекции К. Победоносцева 293

Николай I Павлович (1796 – 1855), император с 1825 г. 251, 254, 256, 257, 273, 319, 320, 386

Николай Александрович, наследник цесаревич (1843 – 1865), старший сын Александра II, которому Б.Н. Чичерин преподавал курс русского права 394

Николай Николаевич, великий князь (1831 – 1891), третий сын императора Николая I; во время русско-турецкой войны 1877 – 1878 г. состоял главнокомандующим армии, действовавшей на европейском театре 334

Новикова Ольга Александровна (рожд. Киреева, 1840 – 1925), писательница славянофильского направления, дочь Александры Васильевны Киреевой 175

Новосильцева Мерепа Александровна, жена московского вице-губернатора Петра Петровича Новосильцева 182

Норов Авраам Сергеевич (1795 – 1869), участник Отечественной войны 1812 г., министр народного просвещения с 1854 по 1858 гг., председатель Археологической комиссии, автор ряда путевых заметок (Палестина, Египет, Нубия) 246

Оболенская Мария Александровна (рожд. Львова, 1831 – 1909), замужем за Иродионом Андреевичем Оболенским 210

Оболенский Владимир Андреевич (1815 – 1877), князь 207

Огарев Николай Платонович (1813 – 1877) известный поэт и публицист, друг Герцена, эмигрировал в 1856 г. вместе с женой, урожденной Н. А. Тучковой, и, поселившись в Лондоне, принимал деятельное участие в издании «Колокола» 25, 59, 245, 391, 407

Огарева Наталья Алексеевна (рожд. Тучкова, 1829 – 1913), вторая жена Николая Платоновича Огарева, с 1856 г. гражданская жена А. И. Герцена 245, 406

Одоевский Владимир Федорович (1803 – 1869), князь, помощник директора Публичной библиотеки и директор Румянцевского музея (1846 – 1861), писатель и общественный деятель, автор «Русских ночей» и «Сказок дедушки Ирины», музыковед 385

Озеров Константин Петрович, брат Н.П. Базилевской 208

Оксеншерн Аксель (1583 – 1651), граф, шведский государственный канцлер при Густаве Адольфе и Христине 450

Оливье Эмиль (1828 – 1913), французский государственный деятель, министр юстиции, глава умеренно-либерального кабинета в 1870 г. 453

Олсуфьев Василий Александрович (1831 – 1883), владелец усадьбы на Девичьем поле и хрустального завода в Рославле 204

Олсуфьева Мария Алексеевна (рожд. Ребиндер, 1836 – 1866), жена предыдущего 204

Орлов-Денисов Николай Васильевич (1815 – 1856), граф 209

Орлова-Денисова (рожд. Шидловская, 1821 – 1883), жена предыдущего 209

Орнатский Сергей Николаевич (1806 – 1884), юрист, профессорствовал в Киеве и в Харькове; в 1848 г. занял кафедру энциклопедии права в Московском ун-те 224, 226

Орсель Андре-Жак-Виктор (1795 – 1850), французский художник 458

Осипова Катерина Петровна 23, 54, 90

Островский Михаил Николаевич (1827 – 1900), брат драматурга А.Н. Островского; с 1878 г. помощник государственного контролера; в 1881 г. министр госуд. имуществ, в 1893 г. председатель департамента законов Госуд. совета. 295

Офросимов Федор Сергеевич (1817-1885), член Рязанского губернского комитета по крестьянским делам, с 1865 г. председатель Пронской уездной земской управы 315

Пёцль Иосиф Иосиф (1814 – 1881), немецкий юрист, профессор Вюрцбургского и Мюнхенского университетов и политический деятель 434

Павлов Михаил Григорьевич (1792 – 1840), профессор сельского хозяйства Московского университета (с 1820) 22

Павлов Николай Филиппович (1803 – 1864), писатель и критик, автор стихотворений и беллетристических повестей (особенный успех имели «Три повести», вышедшие в 1835 г.); переводчик Шекспира (в 1838 г. напечатал «Венецианского купца»); напечатанные им в 1847 г. «Четыре письма к Н. В. Гоголю» произвели в свое время сильное впечатление; в 1851 – 1858 гг. был в ссылке за найденные у него «вольномдумные» бумаги; в 1860 г. издавал «Наше время», с 1863 г. переименованное в «Русские Ведомости» 22, 24, 45, 46, 46, 49, 69, 70, 83, 132, 135, 136, 137, 142, 146, 149, 158, 166, 177, 187, 192, 218, 222, 223, 247, 263, 264, 281, 290, 306, 317, 341, 342, 423

Павлова Каролина Карловна, жена предыдущего 132, 133, 147, 149, 210, 222, 263

Пален Константин Иванович (1830 – 1912), граф, министр юстиции в 1867 – 1878 гг., потом член Госуд. совета 374

Палеолог Софья (ум. 1503), племянница последнего византийского императора Константина XI Палеолога, с 1472 жена великого князя Ивана III Васильевича 240

Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784 – 1865), английский государственный деятель, руководитель иностранной политики Англии, вождь либеральной партии, неоднократно бывший министром и главой кабинета 443

Пальчиков, псковский помещик 69

Панаев Иван Иванович (1812 – 1862), русский прозаик, поэт, литературный критик; сотрудничал в «Отечественных записках», был официальным редактором «Современника» (вместе с Н.А. Некрасовым), при этом его жена А.Я. Панаева с 1846 г. жила гражданским браком с тем же Некрасовым, что не нарушило дружеских отношений и совместного проживания всех троих 157, 245

Панаева Авдотья Яковлевна (по второму мужу Головачева, 1819 – 1893), писательница, жена писателя И. И. Панаева, гражданская жена Н. А. Некрасова 245

Панин Виктор Никитич (1801 – 1874), министр юстиции в 1859 – 1862 гг., член Госуд. совета; председательствовал в редакционных комиссиях при Главном комитете по крестьянскому делу; затем состоял членом Комитета об устройстве сельского состояния, был противником проведения крестьянской реформы 332

Панчулидзева Софья Николаевна (рожд. Сушкова, 1800 – 1843), жена Александра Алексеевича Панчулидзева, тайного советника, саратовского губернского предводителя дворянства (1822 – 1831), пензенского губернатора (1831 – 1859) 43

Пассек Татьяна Петровна (урожд. Кучина, 1810 – 1889), жена этнографа Вадима Вас. Пассека, писательница, автор воспоминаний «Из дальних лет» 406, 407

Пасси Ипполит (1793 – 1880), французский политический деятель и экономист, министр финансов в 1840 и 1848 – 1849 гг. 409, 410, 450

Пашков Сергей Иванович (1801 – 1883), поручик в отставке, женат на Н. С. Долгоруковой 205, 206

Пеликан Карл Венцеславич (Федорович) скрипач, учитель музыки в Тамбове, брат В. В. Пеликана, ректора Виленского университета 111, 112, 113

Перен Альфонс (1798 – 1874), французский живописец – пейзажист и исторический художник, ученик Гёrena 458

Петр I Алексеевич (1672 – 1725), император, вступил на престол в 1682 г. 354

Петрово-Соловово (Соловой) Григорий Федорович (1806 – 1879), ротмистр Кавалергардского полка (с 1836), камергер, предводитель дворянства Кирсановского уезда Тамбовской губернии, женат (с 1834) на фрейлине княжне Н. А. Гагаринной 69, 72, 73, 74

Петрово-Соловово Наталья Андреевна (рожд. Гагарина, 1815 – 1893), жена предыдущего 74, 75, 207

Пикулин Павел Лукич (1822 – 1885), московский врач-терапевт, адъюнкт-профессор Московского университета, заведовавший терапевтическим отделением госпитальной клиники при университете; редактор-издатель журнала «Вестник садоводства», друг Грановского, Станкевича, Кетчера, Чичерина 289

Писарев Александр Иванович (1803 – 1836), драматург 22

Питт Уильям Старший, граф Чатам (1708 – 1778), английский политик и государственный деятель

Питт Уильям Младший, граф Чатам (1759 – 1806), сын предыдущего, в 1783 и в 1804 гг. премьер-министр 443

Платон (428/427 – 348/347 до н.э.), греческий философ., ученик Сократа и учитель Аристотеля 143, 188, 200

Плевако Федор Никифорович (1843 – 1908), знаменитый русский юрист, адвокат, судебный оратор 243

Плещеев Алексей Николаевич (1825 – 1893), русский поэт, переводчик, сотрудник (1872 – 1884) «Отечественных записок» 70

Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907), ближайший советник Александра III; в 1860 – 1865 профессор гражданского права в московском университете; с 1868 г. – сенатор; с 1872 г. – член Госуд. совета; в 1880 – 1905 гг. обер-прокурор Св. Синода; после смерти Александра II способствовал повороту политики в сторону реакции; инициатор создания церковно-приходских школ; автор ряда трудов по истории права 293, 295, 297, 303

Погодин Михаил Петрович (1800 – 1875), профессор русской истории Московского ун-та (1826 – 1344), член Академии Наук (с 1841 г.), секретарь О-ва Истории и древн. российских; издавал журналы «Московский Вестник» (1827 – 1830) и «Москвитянин» (1841 – 1856) 153, 278

Поливанов Михаил Александрович, студент Московского университета 68, 103

Полонский Яков Петрович (1820 – 1898), русский поэт, член-корреспондент Петербургской АН (1886); многие его стихи положены на музыку и стали народными песнями 136

Полуденский Михаил Петрович (1830 – 1868), по окончании курса в Московском университете по филологическому факультету служил в московском архиве Министерства иностранных дел и в московской дворцовой конторе 172, 221

Полуденский Сергей Петрович (1821 – 1858), старший брат предыдущего 231

Поляков Лазарь Соломонович (1842 – 1914), коммерции советник, банкир, принимал участие в строительстве железных дорог 272

Попов Александр Николаевич (1820 – 1877), историк, славянофил, служил во II Отделении е. и. в. канцелярии, участвовал в комиссиях по подготовке реформ 138, 182

Попов Нил Александрович (1833 – 1891), профессор русской истории Московского ун-та (с 1860 г.); публицист, по взглядам был близок к славянофилам 341

Прудон Пьер-Жозеф (1809 – 1865), знаменитый французский экономист, наиболее характерными сторонами учения которого являются теории собственности и экономических противоречий и учение о справедливости 190

Пулята Дмитрий Васильевич (1806 – 1889), генерал-адъютант 109

Путятин Евфимий Васильевич (1803 – 1883), адмирал, генерал-адъютант; участвовал в 1827 г. в Наваринском сражении и в 1838 – 1839 гг. в морских действиях у кавказских берегов (заяятие Туапсе); выдвинулся в качестве дипломата (им заключен в 1855 г. договор с Японией в Симодэ и в 1858 г. – трактат с Китаем в Тянь-цзане); в 1858 – 1861 гг. состоял военно-морским агентом при посольстве в Лондоне 387

Пушкин Александр Сергеевич (1799 – 1837), великий русский поэт 28, 66, 102, 104, 145, 253, 254, 302

Раден Эдита Федоровна (1825 – 1885), баронесса, фрейлина вел. княгини Елены Павловны; ее образование и тонкий ум снискали ей видное положение в русском обществе, в числе ее друзей был цвет русской культуры, литературы и науки 328, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 385, 405, 414

Рафаэль Санти (1483-1520), итальянский живописец и архитектор 412

Рахманов Михаил Федорович (1802 – 1871), камергер, тамбовский помещик 45, 76, 207

Рахманова Софья Ивановна (рожд. Миллер), жена предыдущего, овдовев, вышла замуж за князя Владимира Андреевича Оболенского 207, 208

Рачинская Варвара Абрамовна (рожд. Баратынская, 1810 – 1891), младшая дочь А.А. Баратынского 42

Рачинский Сергей Александрович (1833 – 1902), сын предыдущей, ботаник, публицист и педагог, был попечителем сельских школ Бельского уезда Смоленской губ. 302

Ревель, итальянский политический деятель 369

Редкин Петр Григорьевич (1808–1891), русский правовед, историк философии, с 1834 г. профессор Московского университета, в 1863 возглавил кафедру энциклопедии права в Петербургском университете, в 1873 – 1876 был его ректором 138, 153, 154, 158, 160, 162, 171, 175, 178, 180, 221, 225, 227

Рембрандт Харменс ван Рейн (1606 – 1669), голландский живописец, рисовальщик и офортист 111

Ренуар Огюстен-Шарль (1794 – 1955), французский экономист, чиновник судебной магистратуры, член палаты депутатов (1831 – 1837) 410

Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич (1778 – 1845), князь, генерал-губернатор Украины с 1816 по 1835; на дочери его княгине Варваре Николаевне был женат шурин Б. Н. Чичерина Василий Алексеевич Капнист 40

Репнина Варвара Николаевна (род. 1841), дочь предыдущего 40

Ригер Франц (1818 – 1903), известный чешский политический деятель 432

Ровинский Дмитрий Александрович (1824 – 1895), русский либеральный судебный деятель, историк искусства и коллекционер, с 1866 прокурор московского судебного округа 181

Рождественский Иван Николаевич (1803 – 1894), протоиерей, председатель Общества любителей духовного просвещения, член Московской Духовной Академии 142

Рождественский Петр Абрамович, учитель словесности в тамбовской гимназии 89

Розен Андрей Федорович (1803 – 1879), барон, шталмейстер вел. кн. Елены Павловны, впоследствии обергофмейстер 28, 381

Ромер Фридрих (1814 – 1856) и Теодор (ум. 1856), братья, немецкие государствоведы 434

Россель Джон (1732 – 1878), английский государственный деятель либерального направления, министр иностранных дел (1859 – 1865), потом премьер-министр (1865 – 1866) 443

Ростовцев Яков Иванович (1803 – 1860), генерал-адъютант, начальник главного штаба по военно-учебным заведениям, председатель редакционной комиссии по выработке положений о крестьянах 234, 399

Рошер Вильгельм (1817 – 1894), немецкий экономист, один из основателей исторической школы в политической экономии, профессор Геттингенского и Лейпцигского университетов 436

Рубини Джованни-Батиста (1795 – 1854), известный итальянский тенор 166

Сабуров Александр Иванович (1799 – 1880), офицер лейб-гвардии Гусарского полка (1826), декабрист 59, 60, 61

Сабуров Алексей Иванович, генерал-майор, женат на своей кузине Е.М. Саатиной 57, 59, 61, 77

Сабуров Андрей Александрович (1838 – 1916), министр народного просвещения (1880), сенатор, член Государственного Совета 60

Сабуров Андрей Иванович (1797 – 1866), адъютант при военном министре, директор императорских театров (1853 – 1863) 60, 61

Сабуров Иван Васильевич (1788 – 1873), капитан в отставке, пензенский помещик, автор работ по сельскому хозяйству 45, 58

Сабуров Петр Александрович (1835 – 1918), советник посольства в Лондоне, посол в Берлине (1879 – 1884), владелец имения в селе Сабурово-Покровское Козловского уезда Тамбовской губернии; 60, 62, 389

Сабуров Яков Васильевич (1790 – 1855), майор в отставке, предводитель дворянства Городищенского уезда Пензенской губернии (1825 – 1827) 45

Сабуров Яков Иванович (1798 – 1858), писатель, тамбовский уездный предводитель дворянства (1840 – 1851) 46, 57, 58, 59, 61, 77, 94, 103, 261

Сабурова Александра Петровна (рожденная Викеньтева), жена Сабурова Александра Ивановича 60, 85

Сабурова Екатерина (1829 – 1905), драматическая актриса Александринского театра с 1855 г. 86

Савельев Павел Степанович (1814 – 1859), русский археолог, востоковед-арабист, нумизмат 343

Савиньи Фридрих-Карл (1779 – 1861), знаменитый немецкий юрист, основатель исторической школы права 154, 160, 433

Савич Иван, управляющий именем Циммерманов в Тамбовской губ. 52

Салиас де Турнемир Елизавета Васильевна, (рожд. Сухово-Кобылина, 1815 – 1892), графиня-писательница, известная под псевдонимом «Евгения Тур» 265, 285

Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826 – 1889), знаменитый русский сатирик 305

Самарин Владимир Федорович (1827 – 1872), студент Московского университета, потом поручик л.-гв. Гусарского полка 184, 185, 437

Самарин Дмитрий Федорович (1831 – 1901), славянофил, общественный деятель 185, 202, 319

Самарин Николай Федорович (1829 – 1892), окончил курс в Московском университете по юридическому факультету, служил на Кавказе, потом был чиновником особых поручений при обер-прокуроре Святейшего Синода 185, 187

Самарин Петр Федорович (1829(?) – 1892(?)), писатель, земский деятель 185

Самарин Федор Васильевич (1784 – 1853), шталмейстер при дворе Александра I, после выхода в отставку занимал различные общественные должности в Москве, развивал овцеводство в своем Симбирском имении, отец братьев Самариных 214

Самарин Юрий Федорович (1819 – 1876), славянофил, публицист, активно участвовал в подготовке крестьянской реформы, с 1866 состоял гласным Московской городской думы и губернского земского собрания, в 1869 был избран почетным членом Московского университета, а в 1872 – Московской духовной академии 134, 155, 214, 247, 253, 258, 293, 312, 319, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 332, 336, 338, 347, 348, 377

Самарина Софья Юрьевна (урожд. Нелединская-Мелецкая, 1793 – 1879), жена Ф.В. Самарина 215

Сандунов Николай Николаевич (1768 – 1832), юрист, профессор Московского университета 76

Сандунова Надежда Николаевна (рожд. Иванова), жена предыдущего 77

Сатин Николай Михайлович (1814 -1873), литератор, приятель Огарева и Герцена 59, 245

Свербеев Дмитрий Николаевич (1799-1874), в молодости чиновник и дипломат, затем хозяин известного московского литературного салона 158, 217

Свиньин Петр Павлович (1801 – 1882), владетель дома на Покровке 206, 211

Сенявин Иван Григорьевич (1801 – 1851), московский губернатор в 1840 – 1844 гг. 146

Сергеевич Василий Иванович (1832 – 1910), историк русского права; профессор истории русского права в СПб ун-те (с 1872 г.), в 1897 – 1899 гг. состоял его ректором 340

Сеченов Иван Михайлович (1829 – 1906), выдающийся физиолог, профессор Петербургской медико-хирургической академии и Новороссийского, Петербургского и Московского университетов 229, 425, 426

Сиркур Анастасия Семеновна (рожд. Хлюстина, 1814 – 1863), графиня 457, 458

Скотт Вальтер (1771 – 1831), знаменитый английский исторический романист 445

Скребицкий Александр Ильич (1827 – 1915), доктор медицины, окулист, писатель, автор исследований о слепых в России и монументального труда «Крестьянское дело в царствовании Александра II» 394

Смирнов Феохтист Яковлевич, учитель физики Б.Н. Чичерина 103

Соболевская Екатерина Александровна, дочь А.Н. Соболевского 174

Соболевская Мария Александровна (рожд. Левашова), жена А.Н. Соболевского 174

Соболевский Александр Николаевич 174

Соболевский Сергей Александрович (1803 – 1870), русский библиофил и библиограф, автор эпиграмм и других шуточных стихотворений, друг Пушкина 55, 133, 223, 174, 314

Соймоновы, родители М.А. Соймоновой, в замужестве Вышеславцевой 173

Соллогуб Владимир Александрович (1814 – 1882), граф, служил в министерстве иностранных дел, писал повести и пьесы, большой успех имел водевиль «Беда от нежного сердца» (1850) 290

Соллогуб Марья Федоровна (рожд. Самарина, 1821 – 1888), жена Л.А. Соллогуба 215, 216

Соллогуб Лев Александрович (1812 – 1852), граф, брат В.А. Соллогуба, 215

Соловьев Сергей Михайлович 1820 – 1879), знаменитый русский историк, профессор Московского ун-та, автор ряда исторических исследований; положил начало строго научной разработке русской истории 89, 153, 155, 162, 172, 175, 176, 250, 278, 279, 285, 339, 340, 361

Сперанский Михаил Михайлович (1772 – 1839), граф, общественный и государственный деятель, реформатор и законодворец, член Российской академии (1831); в 1809 году составил план государственного переустройства, включавший конституцию и освобождение крестьян, однако был обвинен в измене и сослан в Н. Новгород, при Николае I возглавил работу по кодификации законов, читал юридический курс будущему императору Александру II 75, 376

Сталь Елена Михайловна, фрейлина вел. кн. Елены Павловны, замужем за виконтом де Отерив 380, 381

Станкевич Александр Владимирович (1821 – 1907), член Воронежского губернского присутствия; автор беллетристических произведений; брат известного Н. В. Станкевича (1813 – 1840), кружок которого в 30-х годах занимал видное место в литературных кругах Москвы 243, 267, 280, 282, 286, 287, 288, 289, 317, 342

Станкевич Елена Константиновна, см. Бодиско Е.К.

Стечкина Любовь Яковлевна, писательница, которой И.С. Тургенев оказывал поддержку 243

Стифен сэр Джемс (род. около 1790 г.), профессор Кембриджского университета по кафедре новой истории 444

Столыпин Алексей Аркадиевич (Монго, 1816 – 1858), лейб-гусар (1835), драгун, капитан, друг Лермонтова (приключение, случившееся с ними, легло в основу поэмы «Монго»), участник боев на Кавказе и Крымской войны 252

Столыпин Афанасий Алексеевич (1788 – 1864), штабс-капитан, участник Бородинского сражения, предводитель дворянства Саратовской губернии, двоюродный дед Петра Аркадьевича Столыпина, его сестра Елизавета Алексеевна – бабушка М.Ю. Лермонтова 209

Столыпина Наталья Афанасьевна (1840 – 1905), дочь предыдущего, замужем за Шереметевым В.А. (см.) 210

Стриневский Николай Федорович, муж тетки Б.Н. Чичерина, помещик Тамбовской губернии 54, 55, 68, 103

Строганов Григорий Александрович (1823 – 1878), граф, муж великой княгини Марии Николаевны, о браке было объявлено после кончины Николая I (1854) 443

Строганов Сергей Григорьевич (1794 – 1882), граф, с 1835 по 1847 г. был попечителем Московского учебного округа, председателем О-ва истории и древностей российских; вышел в отставку после конфликта с министром народного просвещения С. С. Уваровым; в 1854 – 1855 гг. участвовал в Севастопольской кампании; в 1859 – 1860 гг. был московским военным губернатором; в 1863 – 1865 гг. – председателем комитета железных дорог; до смерти наследника Николая Александровича (1865) состоял попечителем его и его братьев Александра, Владимира и Алексея 152, 153, 156, 193

Сумароков Измаил Иванович, преподаватель истории и статистики в тамбовской гимназии, советник тамбовского Губернского правления, управляющий Палатой государственных имуществ Пензенской губернии, управляющий Казенной палатой Владимирской губернии, преподавал историю Б.Н. Чичерину 100, 101, 102, 105, 140

Сухово-Кобылин Александр Васильевич (1817 – 1903), драматург, автор пьес «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина»; подозревался в убийстве (1850) своей любовницы француженки Луизы Симон-Деманш, одновременно имел бурный роман с Н.И. Нарышкиной (см.), замужней московской красавицей, родившуюся от этой связи дочь Луизу удочерил в 1883 г. 214

Сушков Николай Васильевич (1796 – 1871), драматург и поэт, одно время был губернатором в Минске, после 1841 г. оставил службу и жил в Москве 217, 218

Сютяев Василий Кириллович (1819(?) – 1892), раскольник, крестьянин Новоторжского уезда Тверской губернии 303

Татаринов Василий Иванович (р. 1823), юрист, профессор Демидовского лицея в Ярославле, товарищ Б.Н. Чичерина по студенческим годам 171

Татаринов Валериан Александрович (1816 – 1871), тайный советник, директор II Отделения е. и. в. канцелярии, член Госуд. совета, под его руководством была проведена реформа всей системы государственного контроля в России 68

Тацит Корнелий (ок. 55 – ок. 117 н.э.), один из величайших историков Древнего Рима 97, 139

Тенкат, голландец, гувернер в семье Чичериных 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102

Терновский Петр Матвеевич (1798 – 1874), писатель, протоиерей; был профессором богословия и церковной истории в Московском университете 158, 168, 180

Тимашев Александр Егорович (1818 – 1893), генерал-адъютант, начальник штаба корпуса жандармов и управляющий III Отделением собств. е. в. канцелярии (1856 – 1861), министр почт и телеграфов (1867 – 1868) и внутренних дел (1868 – 1877) 398

Тинторетто (1519 – 1594), знаменитый итальянский живописец венецианской школы 366

Титов Владимир Павлович (1803 – 1891), дипломат, посланник в Константинополе (1843 – 1854) и Штутгарде, в 1857 – 1859 гг. воспитатель старших сыновей Александра II 394, 395

Тициан Вечелио (1477 – 1576), знаменитый итальянский живописец венецианской школы 366

Токвиль Алексис Клераль (1800 – 1859), граф, французский писатель и государственный деятель, автор книг «Демократия в Америке» и «Старый режим и революция» 66, 351, 352, 460

Толстой Дмитрий Андреевич (1823 – 1889), граф, обер-прокурор Св. Синода с 1865 г., министр народного просвещения в 1866 – 1880 гг., министр внутренних дел с 1882 г. до смерти 271, 279, 294, 295

Толстой Лев Николаевич (1828 – 1910), граф, великий русский писатель 240, 298, 300, 301, 303, 304

Трель, учитель фехтования 143

Трубецкая Надежда Борисовна (рожд. Четвертинская, 1812 – 1909) 212, 213

Трубецкой Алексей Иванович (1806 – 1855), князь, муж предыдущей, виленский вице-губернатор 212

Трубецкой Николай Иванович (1797 – 1874), князь, управляющий Дворцовой конторой, впоследствии председатель Опекунского совета 211, 240

Трубецкой Николай Петрович (1820 – 1900), князь, почетный опекун Екатерининского и Елизаветинского институтов благородных девиц в Москве, председатель Московского отделения Русского Музыкального Общества, дружил с Н.Г. Рубинштейном, один из создателей Московской консерватории 207

Трубецкой Петр Иванович (1789 – 1871), князь, сенатор, Смоленский, затем Орловский губернатор 207, 212

Тургенев Иван Сергеевич (1818 – 1883), знаменитый русский писатель 134, 157, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 254, 309, 394, 395, 459

Тургенев Николай Иванович (1789 – 1791), в 1816 помощник статс-секретаря Госуд. совета; основоположник финансовой науки в России, автор «Опыта теории налогов» (1818), декабрист, один из основателей Северного общества декабристов; в 1824 г. уехал за границу и в восстании 14 декабря 1825 не участвовал, заочно судим, амнистирован в 1856 г. 33, 182, 459

Туровский Кирилл (ок. 1130 – ок. 1182), церковный деятель, религиозный мыслитель 135, 145

Тучков Алексей Алексеевич (1800 – 1878), инсарский уездный предводитель дворянства Пензенской губернии, в 1850 вместе со своими зятями Н.П. Огаревым и Н.М. Сатиным подвергался аресту, находился под тайным надзором полиции 25, 60,

Тучков Павел Алексеевич (1803 – 1864), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, член Госуд. совета; в 1859 – 1864 гг. московский генерал-губернатор 181

Тьер Луи-Адольф (1797-1877), французский политический деятель и историк 154, 171, 452, 453, 454, 456, 458, 459

Тьерри 102, 154

Тютчев Николай Николаевич (1815 – 1878), тайн. сов., член Совета департамента делов 394

Тютчев Федор Иванович (1803 – 1873), поэт 247, 394

Тютчева Анна Федоровна (1829 – 1889), дочь поэта Ф. И. Тютчева; в 1853 – 1858 г. состояла фрейлиной цесаревны, позже императрицы Марии Александровны; с 1858 г. – воспитательница младших детей Александра II; в 1866 г. вышла замуж за И. С. Аксакова и удалилась от двора. Была видной деятельницей в славянофильских кругах. Автор мемуаров «При дворе двух императоров» 322

Тютчева Катерина Федоровна (1835 – 1882), младшая дочь поэта, писательница; известны письма К.П. Победоносцева к ней 218, 271

Уваров Сергей Семенович (1786 – 1855), граф (с 1846), министр народного просвещения с 1833 по 1849 г.; при нем был основан университет в Киеве, возобновлен обычай посылать молодых ученых за границу, основан целый ряд учебных заведений, положено начало реальному образованию, автор девиза «Православие, самодержавие, народность» 151, 152, 156, 193, 212

Унковский Семен Яковлевич (1788 – 1882), выпускник Морского кадетского корпуса, служил в английском флоте, участвовал в Трафальгарском сражении (1805), в 1813-1816 гг. был помощником М.П. Лазарева в кругосветном плавании на корабле «Суворов», по выходе в отставку поселился в деревне, где написал «Записки моряка. 1803 – 1819» (М., Из-во им. Сабашниковых, 2004) 71

Урусов Сергей Семенович (1816 – 1883), князь, статс-секретарь, член Госуд. совета, председатель департамента законов (1872 – 1883), главноуправляющий II Отделением собствен. е. и. в. канцелярии 302

Урсова Наталья Александровна (1812 – 1882), фрейлина с 1830 г., замужем за графом И.П. Кутайсовым с 1834 г. 63

Устинов Адриан Михайлович (1802 – 188?), помещик с. Беково Сердобского уезда, Саратовский губернатор 43, 45, 178, 185

Устинова Анна Карловна (рожд. Шиц, ум. 1837), жена предыдущего 43

Устрялов Николай Герасимович (1805 – 1870), историк, автор «Руководства к первоначальному изучению русской истории» 88

Ухтомский, товарищ Б.Н. Чичерина по университету 194

Фадеев Ростислав Андреевич (1824 – 1883), известный российский военный историк, генерал-майор; в 1876 – 1878 гг. доброволец, участник национально-освободительной борьбы балканских народов 328

Фельцын Рафаил Иванович, помещик, сосед Баратынских по имению Мара 44

Фелелонов Степан Иванович, учитель рисования в семье Чичериных 102, 103

Фет Афанасий Афанасьевич (1820 – 1892), русский поэт-лирик 244, 302

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов, 1783 – 1867), митрополит московский 149

Филипп IV Красивый (1268 – 1214), французский король из династии Капетингов 165

Фихте Готлиб (1762 – 1814), немецкий философ 433

Франклин Бенджамин (1706 – 1790), американский государственный и политический деятель, один из отцов-основателей, скрепивший своей подписью все три важнейших исторических документа Декларацию независимости США, Конституцию США и Версальский мирный договор 1783 г. 29

Фридрих II Великий (1712 – 1786), король прусский с 1740 г. 433

Фуа Максимилиан Себастьян (1775 – 1825), французский генерал и политический деятель, во время реставрации член палаты депутатов 410

Ханьков Николай Владимирович (1822 – 1878), русский востоковед, историк, этнограф, дипломат, член-корреспондент СПб АН 238, 240, 241, 459

Хвоцинская Екатерина Борисовна, мать Б.Н. Чичерина, см. Чичерина Е.Б.

Хвоцинский Владимир Андреевич, камер-юнкер, двоюродный брат матери Б.Н. Чичерина 56, 57

Хвоцинский Дмитрий Андреевич, тамбовский помещик, двоюродный брат матери Б.Н. Чичерина 56

Хвоцинский Петр Андреевич, тамбовский помещик, двоюродный брат матери Б. Н. Чичерина 57, 62, 77, 122, 345, 438

Хвоцинский Федор Андреевич, отставной военный, двоюродный брат матери Б.Н. Чичерина 56, 64

Хвоцинский Борис Дмитриевич, тамбовский губернский прокурор, кирсановский уездный предводитель дворянства (1819 – 1825), дед Б.Н. Чичерина 30

Хомяков Алексей Степанович (1804 – 1860), поэт, философ и публицист, один из теоретиков славянофильства, участвовал в издании журнала «Русская беседа», член петербургской Академии наук (1856 г.) 133, 134, 136, 145, 146, 247, 248, 258, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 317, 319, 324, 329, 348

Хрулев Степан Александрович (1807 – 1870), боевой генерал, в начале 1855 г. переведен в состав севастопольского гарнизона, за мужество награжден орденом святого Георгия, командовал 2-м армейским корпусом на Кавказе 185

Цезарь Гай Юлий (100 – 44 до н.э.), знаменитый римский политик и полководец 97, 414

Циммерман Александр Михайлович, тамбовский помещик 24, 25, 52

Циммерман Лизавета Михайловна (рожд. Камбарова), жена предыдущего 52
Цицерон Марк Тулий (106 – 43 до н. э.), римский государственный деятель, оратор, писатель 97

Цуриков Павел Григорьевич (1813 – 1878), звенигородский купец, получивший потомственное дворянство за церковно-благотворительную деятельность 311

Чаадаев Петр Яковлевич (1794-1856), русский философ, публицист, друг Пушкина 133, 134, 147, 282

Черкасская В.А., княгиня 205

Черкасская Екатерина Алексеевна (рожд. Васильчикова. 1825 – 1888), жена кн. Вл. Ал. Черкасского 216, 217

Черкасский Владимир Александрович (1824 – 1878), князь, видный государственный деятель царствования Александра II; принимал деятельное участие в крестьянской реформе сперва в качестве члена Тульского губ. комитета, затем в 1858 – 1861 гг. как член-эксперт в комиссии для составления положения о крестьянах; в 1863 г. был назначен в помощники Н. А. Милютину для проведения крестьянской реформы в Польше и вместе с ним вырабатывал Положение о польских крестьянах 19 февраля 1864 г.; в 1868 г. был избран Московским городским головой, но в 1870 г., вызвал недовольство высших сфер и подал отставку. Во время Турецкой войны на него возложено было устройство Болгарии, но он умер, не закончив дела 155, 216, 233, 236, 315, 321, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 348, 358, 361, 373, 374

Чернышевский Николай Гаврилович (1828 – 1889), публицист, литературный критик, прозаик, революционный демократ 245, 390, 394

Четвертинский (Святополк-Четвертинский) Владимир Борисович (1824 – 1859), князь 212

Четвертинская Ольга Николаевна (урожд. графиня Гурьева, 1830 – 1855), жена предыдущего 212, 213

Четвертинская Надежда Борисовна, см. Трубецкая Н.Б.

Чечурин, студент Московского университета 181

Чивилев Александр Иванович (1808 – 1867), доктор политэкономии и статистики, профессор Московского университета., директор Московского дворянского института (1842 – 1849), затем начальник II Отделения Департамента уделов, наставник вел. кн. Александра Александровича и Владимира Александровича 153, 176

Чичерин Андрей Николаевич (1834 – 1902), брат Б. Н. Чичерина 112, 219, 440

Чичерин Василий Дементьевич, дед Б.Н. Чичерина 21, 50

Чичерин Василий Николаевич (1829 – 1884), брат Б. Н. Чичерина, служил советником посольства в Париже, был женат на дочери бар. Егора Федоровича Мейендорфа (1794 – 1879) бар. Жоржине Егоровне Мейендорф 25, 26, 69, 70, 79, 85, 116, 123, 132, 363, 367, 383, 385, 414, 438

Чичерин Владимир Николаевич (род. 1830), брат Б. Н. Чичерина, служил в Кирасирском «Военного ордена» полку; в 1869 – 1878 гг. кирсановский предводитель дворянства 98, 184, 197, 200, 206, 251, 256, 259, 440

Чичерин Дементий Андреевич, прадед Б.Н. Чичерина 21

Чичерин Матвей Меньшой, основатель дворянского рода Чичериных 21

Чичерин Николай Васильевич (1801 – 1860), отец Б.Н. Чичерина, помещик Тамбовской губернии, откупщик; был женат на Екатерине Борисовне Хвоциской 21, 22, 23, 26, 28, 30, 36, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 79, 80, 81, 104, 110, 111, 123, 132, 145, 146, 186, 219, 256, 385, 437

Чичерин Сергей Николаевич (род. 1836), брат Б. Н. Чичерина, председатель Тамбовского мирового съезда 52, 435, 436

Чичерина Екатерина Борисовна (рожд. Хвошинская), мать Б.Н.Чичерина 23, 30, 31, 49, 52, 69, 123, 219, 437

Шаузель Мария Григорьевна (рожд. княжна Голицына, 1802 – 1865), графиня 45

Шафарик Павел Йозеф (1795 – 1861), словацкий и чешский славист, деятель чешского и словацкого национально-освободительного движения 432

Шаховская Наталья Борисовна (рожд. Святополк-Четвертинская, род. 1820 – 1906), основательница общины сестер милосердия «Утоли моя печали» в Лефортове (ныне городская больница №29) 212

Шевалье Мишель (1806 – 1879), французский экономист классической школы, сенатор с 1860 г., президент международной лиги мира (с 1869 г.) 451

Шевырев Степан Петрович (1806 – 1864), историк русской словесности, критик и поэт; с 1834 г. преподавал в Московском ун-те; в 1837 г. получил звание ординарного профессора; в 1847 г. занял кафедру истории русской словесности и был назначен деканом; кафедру занимал до 1857 г., когда был отрешен от должности, в 1860 г. выехал за границу, где и умер 98, 133, 134, 135, 136, 140, 141, 144, 149, 153, 166, 218, 249, 250, 264

Шекспир Вильям (1564 – 1616), знаменитый английский драматург 97, 283, 341

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775 – 1854), немецкий философ 144

Шереметев Василий Алексеевич (1834 – 1884), граф, предводитель московского губернского дворянства 210

Шеридан Ричард Бринсли (1751 – 1816), знаменитый английский драматург и политический деятель 443

Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих (1759 – 1805), немецкий поэт, философ, историк и драматург, представитель романтического направления в литературе 139

Шлейермахер Даниель (1768 – 1831), знаменитый немецкий философ, теолог и проповедник 433

Штакельберг Эрнест Густавович (1813 – 1870), граф, флигель-адъютант, посланник в Турине (1856 – 1861), впоследствии посол в Париже, женат на маркизе Анне де Тамизье 367, 383

Штейн фон Лоренц (1815 – 1890), немецкий юрист, государствовед и экономист 364, 365, 424, 432

Шубин Семен Львович, учитель рисования в семье Чичериных 109, 110

Шувалов Петр Андреевич (1827 – 1889), петербургский обер-полицеймейстер, позже генерал-губернатор; директор департамента общих дел м-ва внутренних дел, управляющий III отделением собственной е. и. в. канцелярии, генерал-губернатор Остзейского края и шеф жандармов (1866 – 1874); в качестве посла в Лондоне участвовал в Берлинском конгрессе 236, 374

Щепкин Михаил Семенович (1788 – 1863), знаменитый актер Малого театра 22

Щербатов Алексей Григорьевич (1777 – 1848), князь, участник русско-прусско-французской (1806 – 1807), Отечественной войны 1812 г., московский генерал-губернатор (1844 – 1848) 148, 191, 192,

Щербатов Александр Алексеевич (1829 – 1902), князь, сын предыдущего, был первым московским головою при введении всесословного городского управления (1863 – 1867), в 1866 г., при его содействии была открыта 2-я городс-

кая больница, позднее переименованная в Щербатовскую больницу, почетный гражданин Москвы, товарищ Б.Н. Чичерина 172, 184., 399

Щербатов Владимир Алексеевич (1826 – 1888), князь, брат предыдущего, в 1863 – 1869 гг. губернатор, предводитель дворянства Саратовской губернии 210

Щербатов Григорий Александрович (1819 – 1881), князь, сын А.Г. Щербатова, в 1856 – 1858 гг. попечитель С.-Петербургского учебного округа, один из разработчиков университетского Устава, в 1861 – 1864 гг. был петербургским губернским предводителем дворянства, участвовал в работе земства 395

Щербатова Мария Афанасьевна (рожд. Столыпина, 1832 – 1901), старшая дочь А.А. Столыпина, жена В.А. Щербатова 210

Щербатова Мария Павловна (рожд. Муханова, 1836 – 1892), княгиня, жена кн. А. А. Щербатова 327

Щербина Николай Федорович (1821 – 1869), русский и украинский поэт, известный своими резкими эпиграммами 341

Эбрингтон, английский лорд, председатель общества для распространения десятичных мер и весов 441

Эйхгорн Карл Фридрих (1781 – 1854), немецкий юрист, историк права, один из главных представителей исторической школы права 154, 200

Эли Фаустен (1799 – 1884), известный французский криминалист 409

Эрбен Карел Яромир (1811 - 1870), чешский поэт, фольклорист 432

Эрскин, лорд, член английской палаты пэров, 447

Эрскин, брат предыдущего, секретарь английского посольства в Турине 447

Юнге Эдуард Андреевич (1833 – 1898), окулист, профессор Петербургской медико-хирургической академии 425

Юрьев Сергей Андреевич (1821 – 1888), литератор, критик, в 1871 – 1872 гг. был редактором в «Беседе», позже в «Русской Мысли» 243

Языков Николай Михайлович (1803 – 1846), поэт 83, 147

Яниш Каролина Карловна, см. Павлова К.К.

Содержание

От издательства	5
Предисловие С.В. Бахрушина	9
Предисловие	18
Мои родители и их общество	21
Мое детство	82
Москва сороковых годов	
Приготовление к университету	132
Студенческие годы	151
Москва и Петербург в последние годы царствования Николая Павловича	200
Литературное движение в начале нового царствования	256
Путешествие за границу	363
Алфавитный указатель имен и примечания	462

Борис Николаевич Чичерин

ВОСПОМИНАНИЯ

в 2-х тт.

Редактор Л. Заковоротная
Компьютерная верстка Н.А. Кильдишева

Подписано в печать 30.10.10

Формат 60x90^{1/16}

Тираж 3000 экз.

Заказ № 1740

Издательство им. Сабашниковых
119270, Москва, Фрунзенская набережная, 38/1
тел.: (499) 242-59-63
e-mail: sabashnikov@sabashnikov.ru

Отпечатано в ППП Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6